RUSSKIE.ORG

ТИМОФЕЙ КРУГЛОВ

ВИНОВНЫ В ЗАЩИТЕ РОДИНЫ, или РУССКИЙ

роман

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга о тех, кто, не сходя с собственного дивана, оказался за границей — о 25 миллионах советских русских, брошенных на окраинах бывшей империи. Эта книга о тех, кого Родина не взяла с собой. Эта книга о тех, кого не стали эвакуировать. Эта книга о совести россиян…

Как из советских становятся русскими? Ответ на этот вопрос дала новейшая история. Судьба человека снова становится главной сюжетной линией художественного произведения.

Любовь встречается с ненавистью и смертью, верность присяге — с предательством. В центре повествования Интерфронт Латвии и Рижский ОМОН, впервые описанные изнутри. Друзья и враги, победы над собой и поражение великой империи — случай, выбравший Иванова, становится точкой на графике закономерностей, частью всемирного плана, по которому русский народ стал одним из самых больших разделенных народов в истории.

- ТИМОФЕЙ КРУГЛОВ
  - От издателя (Вместо предисловия)
  -
  - Пролог
  - Часть первая. В забытьи
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
    - Глава 14
    - Глава 15
  - Часть вторая. Память возвращается
    -
    - Глава 1
    - Глава 2

        - Глава 3
        - Глава 4
        - Глава 5
        - Глава 6
        - Глава 7
        - Глава 8
        - Глава 9
        - Глава 10
        - Глава 11
        - Глава 12
        - Глава 13
        - Глава 14
        - Глава 15
        - Глава 16
        - Глава 17
        - Глава 18
        - Глава 19
        - Глава 20
    - Часть третья. Свидетель
        - Глава 1
        - Глава 2
        - Глава 3
        - Глава 4
        - Глава 5
        - Глава 6
        - Глава 7
        - Глава 8
        - Глава 9
        - Глава 10
        - Глава 11
        - Глава 12
        - Глава 13
        - Глава 14
        - Глава 15
    - Эпилог
    -
- notes
    - 1

ТИМОФЕЙ КРУГЛОВ
ВИНОВНЫ В ЗАЩИТЕ РОДИНЫ, или РУССКИЙ

От издателя (Вместо предисловия)

С Валерием Ивановым я познакомился в Сети. В сентябре 2004 года. Россия еще не отошла от трагедии Беслана. Украину спешно готовили к «оранжевой революции». Латвию, Литву и Эстонию уже полгода как приняли в НАТО и ЕС. А Михаил Саакашвили уже девять месяцев был президентом Грузии.

Погруженный в то время преимущественно в украинскую предвыборную тематику, я часто публиковался с экспертными комментариями на сайте «Кремль. Орг» — одном из Интернет проектов Фонда эффективной политики Глеба Павловского. Однажды, зайдя на форум сайта, я с удивлением обнаружил новую тему под названием… «Мы — русские!». В то время еще не было «Русского проекта» Единой России, Сурков еще и не думал читать лекции о русской политической культуре, а о концепции «Русского мира» рассуждали преимущественно в узких кругах интеллектуалов-постмодернистов. И тут на «прокремлевском» ресурсе — «Мы — русские!». Естественно, пройти мимо я не мог.

Заинтересовавшую меня тему открывала одноименная статья неизвестного мне автора с хрестоматийной русской фамилией. Как достаточно быстро выяснилось из текста, Валерий Иванов оказался нашим соотечественником из Риги, принадлежащим к удивительной, неизвестной ранее международному праву, категории «неграждан» — жителей Латвии, в большинстве своем — русских, лишенных основных гражданских прав.

В статье Иванова шла речь о тысячелетнем русском присутствии в Прибалтике, о том, что еще в XII веке, задолго до прихода немцев, здесь были основаны русские города, и католические монахи испрашивали разрешение у русских князей на ведение проповедей на землях нынешней Латвии. Глубокий исторический экскурс доказывал, что именно русское присутствие всегда приносило мир и процветание населению края, что русские здесь — не пришельцы, не «оккупанты», а прямые наследники тех миллионов наших соотечественников, благодаря труду, молитвам и ратному подвигу которых и созидалось процветание этой земли.

Исторические факты служили доказательством вопиющей несправедливости нынешнего государственного устройства Латвии, где единственным «хозяином» страны признаны латыши, а русские считаются «оккупантами» с соответствующими всем известными последствиями.

Иванов дискутировал с представителями т. н. латвийской «русскоязычной оппозиции», доказывая, что для русских

неграждан Латвии неприемлем путь натурализации, поскольку натурализовавшийся русский гражданин, поклявшийся в верности режиму, который его лишил гражданских прав, никогда уже не будет заинтересован в изменении антироссийского и антирусского курса Латвийской Республики.

По сути, автор пытался сформулировать политическую идеологию, способную объединить те самые 500 тысяч русских «неграждан», к коим принадлежал и сам, «неграждан», которых латвийская государственность лишила избирательных прав, выдав в знак их «особого» статуса фиолетовые паспорта с надписью «Aliens passport» — «Паспорт чужого», «неграждан», которые уже долгие годы являлись лишь разменной картой в действительно чужой для них внутрилатвийской политической борьбе. Все это было смело, убедительно и справедливо.

Естественно, я оставил свой комментарий к статье Иванова, он ответил мне… Увидев друг в друге единомышленников, мы достаточно быстро обменялись личными мэйлами, и общение перешло на уровень частной переписки. Валерий Иванов оказался очень интересным собеседником. Публицист с очень острым пером, бесспорным литературным даром, он был остроумен, интеллигентен, он стоял на четкой гражданской позиции, он был. русский, и это многое объясняет.

Кстати сказать, начатая Ивановым тема «Мы — русские!» продержалась на форуме Кремль. ОРГ топовой в течение года…

Начало нашего знакомства совпало по времени с «оранжевой революцией» на Украине — мы живо обсуждали события на «майдане», и Иванов проводил очень интересные и оригинальные параллели с тем, что происходило в Прибалтике во времена «перестройки», с теми событиями, которые, по его мнению, запустили процесс распада СССР. Информированность моего нового «виртуального» товарища в вопросах политической борьбы в Латвии времен «Атмоды» говорила о том, что у него было бурное политическое прошлое. Да и сам он однажды признался, что его вечный статус «негра», без права на получение латвийского гражданства, связан с активным участием в деятельности Интерфронта Латвийской ССР, который противостоял Народному Фронту Латвии в борьбе против выхода республики из состава СССР. А еще были отрывочные и осторожные упоминания о Рижском ОМОНе, которые достаточно прозрачно намекали на то, что Иванов имел какое-то отношение и к деятельности этого знаменитого подразделения.

В 2005 году, когда начал работу Интернет-портал «Россия и соотечественники» — RUSSKIE.ORG, Валерий Иванов начал регулярно публиковаться на нашем информационном ресурсе.

Его смелая и яркая публицистика представляла точку зрения латвийских «неграждан» и содержание его текстов во многом расходилось с той информацией, которую нам представляли как местные «русскоязычные», так и российские СМИ.

В мае 2005 года Иванов прислал в редакцию портала статью под названием «Россия и мы Русский взгляд из Латвии».

«Распалась связь времен. Сопричастность народу и государству. 15 лет назад закончилась совместная ИСТОРИЯ. Мы перешли в подраздел «Страны Балтии». Нас не касаются ни лучшие, ни худшие страницы современной истории России. Все опосредовано. Ничего — напрямую. Параллельные прямые в которой раз разошлись. Нас приподняли и переставили на европейскую, узкую, колею. Мы сопротивлялись. Объективные обстоятельства оказались сильнее. Пусть только на время. Время подзатянулось… не оставив иного выхода, кроме как бежать по шпалам…»

Автор констатировал, что с того момента, когда Латвия перестала быть неотъемлемой частью России, на территории которой был образован Советский Союз, местные русские выпали из контекста русской истории, из «опыта физической, телесной жизни в России, из опыта российской жизни», перестав таким образом быть субъектом истории, став ее объектом.

По мысли Иванова, в отличие от латышей, которые всегда были лишь объектом в чьей-то большой игре, для русских такое положение недопустимо. В условиях, когда Латвия уже стала частью НАТО и ЕС, в условиях нарастающего глобального политического кризиса, русским необходимо определиться. И это определение может быть только одним: по оси Восток-Запад, католицизм и Православие, Россия и ЕС.

Для себя и своей семьи Иванов делал однозначный выбор.

«Только СОПРИЧАСТНОСТЬ современной российской истории сохранит нас русскими. Какой бы она, сегодняшняя Россия, ни была. У русских другого пути, кроме как ВМЕСТЕ с Россией пройти ее исторический путь — НЕТ. Вместе с тем, никто и не заставляет нас оставаться русскими вместе с Россией. Но оставаться русскими ВНЕ причастности к судьбе России и судьбе русского народа ДАЛЕЕ НЕВОЗМОЖНО».

Это были не просто громкие слова. Это была программа действий. Еще накануне он мне писал о том, что не видит никаких перспектив в Латвии, перспектив ни для жизни, ни для борьбы. Рубикон пройден. Пора домой.

Нужно отметить, что в ходе нашей интенсивной переписки я неоднократно пытался вывести общение с Ивановым из «виртуала» в «реал». Но всякий раз мой виртуальный товарищ

деликатно уходил от этой темы. Я не настаивал — у каждого из нас есть свои причины для выбора того или иного способа общения.

После публикации вышеобозначенной статьи Иванов все реже стал выходить на связь. В редких письмах он оправдывался — «извини, сборы!…». Наконец, спустя месяц я получил последнее короткое письмо: «Завтра ВОЗВРАЩАЕМСЯ». И все. Иванов исчез. Он пришел в мою жизнь из виртуального мира и, вернувшись в реальную русскую жизнь, растворился в ней, растворился в России, став ее неотъемлемой частью, частью своего народа. И в этом был свой глубокий смысл.

Но что-то мне подсказывало, что это еще не конец истории.

Несколько месяцев назад по электронной почте я получил весьма невразумительное письмо от знакомого журналиста из Петербурга, из которого было понятно лишь то, что в прикрепленном файле есть что-то, что должно меня заинтересовать. Дело было утром — я совершал неприятный, но необходимый процесс чистки почтового ящика от надоедливого спама, и лишь отдаленно знакомый адрес входящего письма удержал меня от того, чтобы отправить его туда же, куда до этого улетели предложения купить керамическую плитку, загородный дом, виагру, воспользоваться новым сервисом почтовой рассылки или зайти на самый откровенный сайт.

Чертыхаясь про себя, я кликнул на прикрепленный вордовский файл, подтвердил открытие^ «Тяжелый, однако», — программа грузилась долго и неохотно. Наконец, появился белый виртуальный лист и я прочел: «Тимофей Круглов… Виновны в защите Родины, или РУССКИЙ… Роман…». Кто такой Тимофей Круглов я не имел ни малейшего представления. Судя по тому, что «рукопись» состояла более чем из 600 страниц 12 шрифта Times New Roman, скорее всего — очередной графоман из числа многочисленных городских сумасшедших, да еще и «повернутый» на национальной идее, о чем недвусмысленно свидетельствовало название «романа».

«Нда.», — только и смог сказать я. Прокрутив ролик мышки, я обнаружил несколько нарочитых эпиграфов, в том числе — в стихах (естественно, куда же без стихов), посвящение, конечно же — «с любовью и благодарностью»… Иронически улыбаясь, я «докрутил» до первых строк «пролога»..

«Валерий Иванов — мой сосед по даче…»… Не понял. Какой такой Валерий Иванов? Забавно, бывают же совпадения. Ладно, Тимофей Круглов, видать, питерский пенсионер, который развлекается бумагомаранием.

Кстати, довольно неплохой русский язык. Что там дальше?

Новые соседи — муж и жена, ну-ну. Рижский бальзам. «.Переезжаем. Из Латвии, на постоянное место жительства в Россию.»

И тут я «завис». Тупо уставясь в экран, я продолжал по-идиотски улыбаться. «Валерий Иванов? С женой?? Из Латвии, на постоянное место жительства в Россию???». Улыбка наконец-то сошла, сменившись гримасой предельного удивления. Что же там дальше? Курсор мышки на быстрый прогон страниц вниз. Ага, Интерфронт, Рижский ОМОН, политик, журналист, режиссер.

Не оставалось никаких сомнений в том, что Иванов вернулся. Иванов, пришедший из Сети и ушедший в реал, вновь вторгается в мою жизнь из Сети, теперь уже в качестве «героя романа». Мистика какая-то.

Автоматически прогоняя страницы вниз, я даже уже не особо удивился, обнаружив в теле «романа» знакомую статью, написанную Ивановым специально для русских. орг… Ту самую, о сопричастности… Надо же, даже первоисточник указан.

Первоначальный скепсис исчез без следа. Я понял, что так же, как четыре года назад я не смогу пройти мимо Иванова с его русской темой. Но 600 страниц!!! Ладно, не беда. Присоединяю смартфон к компьютеру — спасибо новым технологиям, благодаря им я накануне прочел «Бесконечный тупик» Галковского и «Пирамиду» Леонида Леонова! Не таскать же с собой в метро эти «кирпичи»! Теперь вот в эту же компанию и Тимофея Круглова с Ивановым заодно. А еще спасибо московским пробкам! Благодаря им мы лезем в метро и, защищаясь от окружающего, утыкаемся глазами кто в страницы книг, кто — в экраны смартфонов, коммуникаторов и пр., не замечая, как проходит время, ну и заодно — как сосед давит тебя в бок или отрывает своей сумкой пуговицы твоего нового пальто.

600 страниц пролетели незаметно. «Сделанное не может быть несделанным.» — эта китайская мудрость, рефреном проходящая через роман Тимофея Круглова, его роман о Валерии Иванове, приобретала, действительно, мистический смысл.

Да, это был роман о Валерии Иванове. Как следовало из текста книги, вернувшись с женой из Латвии в Россию, Иванов обосновался в Вырице — поселке в 60 километрах от Петербурга, известном тем, что здесь жил и нашел упокоение святой старец Серафим Вырицкий, родился Иван Ефремов, живал Василий Васильевич Розанов… Дух писательства, видать, витает в Вырице. Не зря соседом Иванова оказался тот самый Тимофей Круглов, решивший поведать миру о том, что услышал от Иванова за долгими вечерними разговорами. А рассказывать, как оказалось, было о чем.

Перед читателем проходит жизнь героя романа — Валерия Иванова, от рождения на пограничной заставе в Туркмении, где служил его отец-пограничник, до самых актуальных событий современности, до событий 08.08.2008, ставящих многоточие в бурной и яркой деятельности Героя, заставляющее читателя надеяться на продолжение этого увлекательного повествования.

Но главные события книги, что неудивительно, связаны с временами «перестройки» и посвящены острой политической борьбе в Латвии накануне распада СССР. Герой романа становится одним из сотрудников Интерфронта Латвийской ССР, противостоявшего народному Фронту Латвии в борьбе против выхода республики из состава Советского Союза. Книга развеивает миф о том, что русские вместе с латышами боролись за выход из СССР, ярко описывая деятельность Интерфронта как массового народного движения, преимущественно состоявшего из русского населения этой прибалтийской республики. Массовые акции протеста, баррикады, политические интриги, противостояние спецслужб, и, конечно же — любовь, страстная, трагическая любовь на фоне геополитической катастрофы, на фоне распада привычного строя жизни, на фоне уничтожения Родины.

Острая политическая коллизия приводит Героя в ряды бойцов знаменитого Рижского ОМОНа — единственного воинского подразделения на пространстве бывшего СССР, оставшегося верным Присяге и до конца, уже после 21-го августа 1991 года, выполнившего свой долг перед Отечеством. Страницы романа, посвященные Рижскому ОМОНУ, пожалуй, наиболее интригующие и, во многом — сенсационные. Сенсационные в том смысле, что, не смотря на яркость истории этого подразделения, до последнего времени не появилось ни одного, сколько-нибудь заметного исследования, а уж тем более — художественного произведения, посвященного этим «последним солдатам Империи». Тимофей Круглов первым срывает табу с этой запретной темы, опасной и страшной для нынешнего латвийского государства, неудобной и позорной для России 90-х годов.

А еще это роман о русских соотечественниках — о 25 миллионах простых советских людей, не по своей воле оказавшихся после распада СССР за пределами РФ, «проклятых и забытых» Родиной в «лихие» 90-е годы, но сохранивших честь, совесть и, несмотря ни на что, любовь к России, любовь к русской земле. Это роман о наших соотечественниках, которые не смирились с жизнью под властью неонацистких этнократических режимов, пусть и ставших частью «Большой Европы», и на свой страх и риск вернулись в Россию, вернулись только потому, что

они — русские, а русские не могут жить без России.

Роман Тимофея Круглова возвращает современной русской литературе положительного Героя, для которого слова «Родина», «Присяга», «Вера» и «Верность» — не пустой звук, а ценности, ради которых стоит жить, стоит бороться, стоит умереть. Эта неожиданная и потрясающая книга ломает пагубную постмодернистскую литературную традицию «игры» со смыслами и ценностями, которые не должны быть предметами «игры». Она формирует смыслы и ценности, возвращает русской литературе гражданскую миссию, миссию формирования Гражданина.

Роман Тимофея Круглова, давно прочитанный мною, я не стираю из памяти смартфона. И по-прежнему, застревая в пробках, или сидя в метро, я наугад открываю страницу за страницей и снова вчитываюсь в уже знакомые, казалось бы, строки…

Найти автора романа оказалось непросто. Журналист из Петербурга, приславший мне рукопись, рассказал, что Тимофей Круглов предложил, было, роман для публикации в ряде крупных издательств, но получил отказ. Что, впрочем, и не удивительно — тема чересчур острая, автор широкому читателю не известен, да и нужно найти время на то, чтобы осилить эти 600 страниц и оценить по достоинству уровень произведения. А время, как известно, у нас в большом дефиците.

Но в еще большем дефиците — хорошая русская литература. Посему Институт Русского зарубежья решился на беспрецедентный для нас шаг. Согласовав с Тимофеем Кругловым все вопросы авторского права, мы начинаем проект, связанный с изданием романа «Виновны в защите Родины, или РУССКИЙ». Ввиду скромных ресурсных возможностей Института как неправительственной организации, роман публикуется ограниченным тиражом, и будет сопровождаться информационной кампанией по его продвижению в Сети Интернет на Информационно-аналитическом портале «Россия и соотечественники» — RUSSKIE.ORG и дружественных Интернет-ресурсах, в том числе — сайтах наших зарубежных соотечественников.

Мы также обращаемся ко всем, кто заинтересован в том, чтобы роман стал доступен широкому кругу читателей, с предложением финансовой поддержки реализации проекта.

Издавая книгу, мы делаем первый шаг в надежде на то, что издание романа Тимофея Круглова станет заметным событием в русской литературной и общественной жизни. Увлекательного и познавательного вам чтения, дорогие соотечественники!

Сергей Пантелеев, *директор Института Русского зарубежья*

Посвящается Елене, с любовью и благодарностью

Все главные герои — образы, собирательные, совпадения имен случайны, описанные события являются художественной реконструкцией действительности и не могут, служить основанием, для предъявления юридических претензий.

Уголовный кодекс Латвийской ССР

Статья 59. Измена родине

Измена родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР, переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, — наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или смертной казнью с конфискацией имущества.

Ели растворились
В молоке ночном,
Птицы притаились,
Встал на якорь дом.
Окна отворились —
Воздуха глотнуть…
Как же мы любили,
Выбирая путь.
Млечный путь в Россию —
Наш тернистый путь.
Как же мы просились
Отдохнуть чуть-чуть!
Как же мы устали
На пути домой.
Как мы не расстались
На дороге той?
Речка на излучине,
Рельсов полукруг.
«Все еще получится», —

Говорит мне друг…
Ели да березы,
Сосны да рябины —
Ходят рядом грозы,
Да проходят мимо.
По дороге к храму
Девочки в платочках
За юбку держат маму.
Я вернулся! Точка.[1]

Пролог

Вся квинтэссенция поэзии —
Скользящее по яйцам лезвие.

Валерий Иванов

Валерий Иванов — мой сосед по даче. До его приезда в Вырицу я, признаться, скучал. Осень 2005 года выдалась погожая, солнечная, теплая. Чего, казалось бы, лучше? Сиди, отдыхай, наслаждайся новым и неожиданно грустным своим состоянием. Привыкай к тому, что ты теперь пенсионер. Пусть пенсион небольшой, но я ведь и без него материально достаточно независим! Да и не был я так уж изнурен работой в последние годы. Больше числился, чем отсиживал в присутствии. Но и давней мечты своей — перебраться на дачу окончательно и бесповоротно — осуществить не мог. Я, к несчастью, человек одинокий теперь, а жить на два дома одному тяжеловато.

И вдруг рубеж перейден. Я перевез на дачу самые дорогие мне вещи, квартиру в Питере сдал надолго приятелю сына, а сам затворился в одиночестве. Доживать. После смерти жены привычный мир рухнул. Творческих планов не осталось. Точнее, не осталось к ним интереса — и тоже внезапно. Август и сентябрь я провел в хозяйственных заботах, устраиваясь впервые зимовать в теплом, но не совсем еще готовом к круглогодичному проживанию доме. За хлопотами время прошло незаметно. А потом вдруг меня охватила тоска. Взрослые дети живут своей суматошной жизнью — делают деньги. Маши уже два года как нет со мною.

Я ходил по грибы, слушал тишину в осеннем лесу, нарезал огромными кусками прозрачный, осязаемо насыщенный свежестью воздух и глотал его жадно, прижимая руку к уставшему сердцу.

Соседи не докучали, благо в Вырице нет тесноты — все живут просторно. Да и не связывало нас ничего. С одной стороны дом вообще пустовал уже два года. С другой стороны — лес. Осенью, когда разъезжаются тысячи дачников, можно гулять по поселку часами и никого не встретить, кроме цыганской подводы.

Потому я и не знал сначала — обрадоваться или огорчиться, когда солнечным октябрьским утром к пустовавшему рядом дому, устало урча дизелем, подкатила тяжелая фура с прицепом. Я как раз возвращался из леса с лукошком. Хочешь — не хочешь, а пришлось пройти мимо. Водитель уже отцепил прицеп, в котором

поблескивала за отдернутым задним пологом легковая машина, и теперь подавал фургон к железным воротам. А посреди кривой улочки, прямо на моем пути, стояли обнявшись мужчина и женщина средних лет. Они оглядывались вокруг так, словно наши раскидистые ели и высокое небо над ними, трава по пояс на обочине и пронзительно желтый березовый лист в луже под ногами были пейзажем иной планеты. Неожиданно для себя я поздоровался с ними…

К вечеру, когда бесчисленные коробки с книгами, книжные стеллажи, старинные письменные столы, компьютеры, мониторы и немногие другие вещи были наконец внесены в дом и кое-как распиханы по углам, хозяйка пригласила всех к столу. Я тоже отказываться не стал. Среди людей, почти тут же после приезда новоселов явившихся из города помочь в разгрузке, оказались мои хоть и шапочные, но знакомцы — довольно известный режиссер телевидения и популярный в перестройку тележурналист. Дело пошло веселее, да и интерес у меня появился к приезжим нешуточный. Видно приелось мне добровольное одиночество. А может, писательский инстинкт проснулся — соседи мои новые оказались людьми любопытными.

Маринованые копченые куры, латвийский сыр, огромные караваи душистого ржаного хлеба, Рижский черный бальзам, крепкий кофе. Катерина — жена нового соседа выглядела очень молодо для своих сорока лет и несмотря на бессонную ночь, проведенную в дороге, без устали потчевала мужчин, легкой поступью сновала по непривычному еще большому дому, разыскивая то посуду затерявшуюся, то скатерть. Потом откинулась наконец с наслаждением на спинку мягкого кресла, легкая тень усталости появилась на раскрасневшемся, как от жара, лице. А в живых, проницательных карих глазах все стояло какое-то неверие в окруживший всех внезапно уют. В огонь камина, с гудением бившийся в жаропрочное стекло, в пронзительный синий осенний вечер за окном, в свежее дерево внутренней обшивки старой бревенчатой дачи. В лица друзей мужа, горячо обсуждавших планы на будущее, в их живую и русскую речь. Как будто могло быть все иначе, как будто и мы не в России живем.

Хозяин — Валерий Алексеевич устроился так, чтобы видеть всех и курил беспрерывно, запивая дым черным кофе. Поредевшие русые волосы, рыжая короткая бородка на широком русском лице, чуть прищуренный острый взгляд. Кошачьи мягкие повадки уже погрузневшего, заматеревшего большого тела.

Рассказывает хорошо поставленным сочным голосом историю из новой своей — российской жизни:

— Мы ведь сначала в Питере квартирку маленькую покупали, дом уж потом — в надежде, что когда-нибудь сюда, за город, окончательно переберемся. Звоним в агентство, говорим, так и так, хотим квартиру купить. А еще к зимней даче присмотреться, да родителям квартиру помочь купить и теще тоже. Короче говоря, серьезные покупатели. А тетка на том конце провода капризно так спрашивает:

— А вы из Петербурга или переезжаете откуда-то? — Отвечаю терпеливо.

— Переезжаем. Из Латвии, на постоянное место жительства в Россию.

— Откуда?! Из Европейского Союза в Россию?!!

— Да, а что ж такого?

— Да как же вы можете из свободной демократической страны в нашу дикую совковую грязь?!

— Простите, я что-то не очень хорошо понимаю, вы можете предложить нам варианты?

Нам нужно купить для начала небольшую квартиру в Петербурге, а потом еще…

— Нет, это я вас не понимаю! Да вы что, с ума сошли — переезжать в Россию?

— Послушайте, я с кем разговариваю? С агентом по продаже недвижимости? Это риэлторское бюро?

— Да, конечно. Но вы хорошо подумали, прежде чем уезжать из Европы? Вы знаете, какая у нас в России страшная жизнь?

— Я знаю совершенно точно только то, что вы, девушка, в Европейском Союзе уже давно вылетели бы с работы и собирали пропитание в мусорных баках!

— Это почему?!

— Да потому, что я хочу приобрести сразу несколько объектов недвижимости. Дорогих объектов. А вы меня посылаете… обратно в Латвию.

— Я не понимаю.

— Ваше счастье, что вы даже этого не понимаете! Вот потому-то я и еду в Россию, а не наоборот!

Все дружно засмеялись, как будто история и в самом деле была смешная. Как соучастники, прямо… А я… Я впервые задумался над тем, какие мы все же разные люди. Я сразу уловил эту «разность» — неуловимую на первый взгляд. Но вот в чем она состояла, так и не мог пока определить. На первый взгляд люди как люди. Такие же русские, как и я. Так в чем же дело? Что царапает меня чуть ли не при каждой реплике Иванова? И ведь друзья его — питерцы, ничуть не отделяют его от себя. Ну, понятно, давно, еще с перестройки, знакомы. Я это выяснил уже,

перебросившись накоротке со своими знакомцами во время коротких перекуров, когда таскали вещи. Для них Иванов такой же точно русский, как они. А для меня — нет И они сами, Тышкевич с Украинцевым, снимавшие обо мне очерк когда-то; они скорее с Ивановыми одно целое, чем со мной. Что за штука такая неожиданная?

Я улучил момент и перехватил Тышкевича, вышедшего во двор, проветриться после жаркой уже от камина гостиной.

— Послушай, Анатолий Александрович, ты мне расскажи хоть немного об Ивановых — соседи все же теперь, что за люди?

— Да я ж тебе говорил уже — жену мало знаю. А Иванов мой старый товарищ. Еще в конце восьмидесятых судьба свела. Он в Интерфронте Латвии тогда занимался СМИ, мы сотрудничали. Там много завязок было интересных — Рижский ОМОН, Приднестровье, приключения всякие, сюжеты, — Вот даже как. А что ж он только сейчас в Россию вернулся?

— Это история долгая, Тимофей Иванович, за пять минут на крыльце не расскажешь! Вы теперь соседи, познакомишься поближе, узнаешь много интересного.

— Погоди, Толя, так кто он по жизни вообще?

— Да как тебе сказать. Политик, журналист, режиссер. В общем, наш человек. Да и супруга Литературный институт окончила, аспирантуру. Но сложно у них жизнь закручена, этого не отнимешь. Ты ведь, Иваныч, никогда политикой не интересовался, вроде? Зачем тебе?

— Так вот. Интересно стало. Новые люди.

— Да какие они новые? Они-то как раз старые. Как и мы с тобой. А новые люди вокруг нас бродят — «племя незнакомое»!

— Ну, эти мне нелюбопытны! Я от них в Вырицу сбежал — надоели.

— У тебя Интернет есть? Зайди в поисковики, почитай их статьи, они тебе прояснят может быть что-то. Ты же человек профессиональный, сразу разберешься, чем они дышат!

Я так и сделал. Попрощался с новыми соседями, и той же ночью, устав от бессонницы, поднялся внезапно с постели, уселся удобно в кабинете и вошел в Сеть.

«Россия и мы»

Русский взгляд из Латвии

Валерий Иванов. 04.05.05

Перемелется — мука будет. Все будет, хорошо.

Или плохо. Главное — будет. И вопрос лишь в том, что мы выбираем. — быть или не быть? Гамлетовский вопрос витязя на распутье… Налево пойдешь — космополитом, станешь.

Направо пойдешь — недолатышом… Прямо пойдешь… Что там. — прямо?

Государственная граница. — Стой, кто идет? — Стой, стрелять буду!

Распалась связь времен. Сопричастность народу и государству. 15 лет назад закончилась совместная ИСТОРИЯ. Мы перешли в подраздел «страны Балтии». Нас не касаются ни лучшие, ни худшие страницы современной истории России. Все опосредованно. Ничего — напрямую. Параллельные прямые в который раз разошлись. Нас приподняли и переставили на европейскую, узкую колею. Мы сопротивлялись. Объективные обстоятельства оказались сильнее. Пусть только на время. Время подзатянулось… не оставив иного выхода, кроме как бежать по шпалам. Очень неудобное на самом деле занятие. На каждую наступать — семенить приходится, через одну — прыгать. Да и как ни прыгай — а куда рельсы-то идут? Куда?

«Помимо метафорических отсылок к общей истории, в обыденной речи содержатся указания и на другие, более материальные основания этнической общности. Часто как о носителях общерусского качества говорят о плоти, крови и генах. Однако при внимательном рассмотрении употребляемых в разговоре тропов такого рода оказывается, что русскостью кровь, гены или плоть наделяет именно опыт физической, телесной жизни в России, опыт российской жизни. Получается, что русскость — это органическое качество, нечто вроде «осадка», образующегося в результате «реакции» — проживания человеком своей жизни в контексте российской истории.» *(Рис Нэнси. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. — М.: Новое литературное обозрение, 2005).*

Вот именно из «контекста российской истории», из «опыта физической, телесной жизни в России, опыта российской жизни» мы и выпали. Выпали тогда, когда Латвия перестала быть неотъемлемой частью России. России, на территории которой был образован Советский Союз. Неотъемлемой частью которого была и Латвия. И мы с вами.

Сначала мы выпали из юридического поля. Мы стали жить по разным законам. По разным правилам игры. С разными правами на участие в этой «игре», с разным статусом. Потом мы выпали из экономики. Из политических процессов. Теперь мы все стремительнее выпадаем из культурного поля. И это не только разные языковые практики, даже с точки зрения филологии. Это

еще и выпадание из общекультурного контекста, выпадание из общероссийского, русского контекста вообще — от праздников до бытовых привычек, от образов до социально-бытовых проблем; от постоянно изменяющейся системы приоритетов — до отношения к внешнему миру, частью которого для нас вдруг стали, ВНЕШНЕЙ частью стали — Россия и русские.

Надо признаться себе, что мы, русские зарубежья, не воспринимаем Россию и русских адекватно. Мы и любим, и боимся страну и народ, которые давно уже стали иными, чем были та страна и тот народ, которые остались в нашей памяти. Мы отстали на 15 лет. На 15 лет перемен и кризисов. Многие из нас на самом деле уже не представляют толком, что там, на нашей большой Родине? Многие не имеют возможности элементарно достоверно, на собственном опыте СРАВНИТЬ сегодняшнюю Россию с сегодняшней Латвией.

С 1990–1991 годов мы не сопричастны истории России. Но и этого мало, мы уже отделены от большой Родины не только государственной границей, со всеми вытекающими последствиями. Мы отделены от России и русских настойчиво введенным в употребление лукавым термином «русскоязычные».

Таким образом, для России и русского народа мы стали дважды чужими:

1. Как непричастные с определенного момента к российской истории.

2. Как «русскоязычные», а не такие же, как россияне, — русские.

И то и другое есть воздействие не зависящих от нас обстоятельств. Мы, русские в Латвии, неожиданно СТАЛИ не субъектом, а объектом истории, в отличие от латышей, каковым всегда подобное положение зависимости и подчиненности было свойственно. И это единственное, что нас с латышами сегодня уравняло в этой жизни. Они были, а мы, русские в Латвии, с определенного момента СТАЛИ ОБЪЕКТОМ истории, а не творящим ее субъектом. В то же самое время, каковыми бы ни были силы, влияющие извне на Россию и русский народ, в НЕЙ проживающий, — эти силы так и не смогли лишить ни Россию, ни российских русских статуса СУБЪЕКТА, творящего ИСТОРИЮ.

Латвия, латыши, а вместе с ними и русские в Латвии (в условиях разде-ленности с русским народом и непричастности к контексту современной российской истории) субъектом истории никогда не были и не будут. А зачисление нас (пусть и ВНЕ нашей воли) в класс «русскоязычных» лишь четче обозначило ТЕНДЕНЦИЮ.

Кто виноват — известно. Объективные обстоятельства (в

большей степени) и мы сами (пусть и в меньшей степени), как не сумевшие сохранить свою сопричастность российской истории. Это утверждение, естественно, не касается постоянно проживающих в Латвии граждан Российской Федерации. Хотя необходимо отметить тот факт, что и их принадлежность к российскому историческому контексту выражена, увы, слишком вяло и маловразумительно. Но у этой группы русских по крайней мере ЕСТЬ ПОТЕНЦИАЛ увеличения своей вовлеченности в политическую, экономическую и культурную жизнь России.

Опыт прошедших полутора десятков лет ясно показал — прямое влияние на общественно-политическую и культурную жизнь России русских, постоянно проживающих на постсоветском пространстве и не имеющих российского гражданства фактически является НУЛЕВЫМ. Несмотря на то что русских этих более 25 миллионов человек.

Куда более сильным является влияние на новейшую российскую историю и сопричастность к ней тех регионов, где российских граждан значительное количество, — это Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия. Более того, у этих «непризнанных республик» и у их населения (вовсе не обязательно русского!) есть вектор БУДУЩЕГО, который прямо сопряжен с будущим России. Удельный вес, если так можно выразиться, 25–30 миллионов русских зарубежья многократно превышает численность населения всех непризнанных республик. Но, тем не менее, эти миллионы русских остаются неиспользованным и стремительно ТАЮЩИМ потенциальным ресурсом. Причем не только ресурсом России и русского народа, но и НАШИМ, русских, вычеркнутых из сопричастности современной российской истории, РЕСУРСОМ, ресурсом и возможностью нашего, русских, брошенных в зарубежье, ВОЗВРАЩЕНИЯ в СУБЪЕКТЫ мировой истории из ОБЪЕКТОВ ее воздействия. Но возможность эта ОСУЩЕСТВИМА сегодня и всегда (!) лишь только через возвращение в лоно России — либо путем прямой репатриации и воздействия на российскую историю ИЗНУТРИ, либо путем принятия российского гражданства и проведения ЗНАЧИМОЙ для общероссийского контекста организованной политики на местах постоянного проживания русских, оказавшихся не по своей воле за пределами Российской Федерации.

Остальное — пребывание в виде неприсоединившейся, неопределившейся диаспоры — так или иначе ведет к политической и культурной изоляции, ассимиляции и ИСЧЕЗНОВЕНИЮ нас в качестве части русского народа. Многолетний опыт всех волн русской эмиграции явственно об

этом свидетельствует.

До определенного времени особый, исключительный в мировой практике статус НЕГРАЖДАН Латвии и Эстонии позволял русским этих постсоветских республик сохранять свой политический потенциал и в определенной степени воздействовать на исторические процессы в России, быть ОТЧАСТИ вовлеченными в общий русский исторический контекст. Но ОСНОВОЙ этой сопричастности НЕГРАЖДАН Латвии — России и русскому народу — всегда была ВОЗМОЖНОСТЬ для этой, и ТОЛЬКО этой категории русских зарубежья ЛЬГОТНЫМ путем получить ГРАЖДАНСТВО РФ в сокращенные сроки. Все остальное, включая организацию тех или иных акций протеста, всегда было лишь попытками всех (кроме самих русских) участников политического процесса использовать русских ближнего зарубежья в качестве заложников большой политики или просто своекорыстных интересов различных финансово-экономических группировок.

Точно так же и упорное нежелание миллиона почти русских неграждан Латвии и Эстонии натурализоваться основано именно на нежелании терять статусную ВОЗМОЖНОСТЬ получения на льготных условиях российского гражданства и возможность репатриации на большую Родину.

Уникальный статус и, соответственно, уникальное по удельному весу в Прибалтике количество русских могли дать неожиданный, исторически нетрадиционный результат: впервые в мировой истории могло быть создано некое особое сообщество русских, не являющихся непосредственно гражданами России, но ВЛИЯЮЩЕЕ на современную российскую историю и существующее в особом самодостаточном статусе ОРГАНИЗОВАННЫХ РУССКИХ ЗАРУБЕЖЬЯ. Русских пророссийских, но участвующих в особом, европейском ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩЕМ РУССКОМ проекте. (Аналогом здесь может быть лишь, отчасти, Приднестровье. Но только отчасти, поскольку, как и в Южной Осетии, и в Абхазии, в Приднестровье этническая русская составляющая сильно размыта.) Понятно, что речь идет о гипотетической автономизации русских областей Прибалтики и их возможном объединении вне республиканских границ, несмотря на разорванность, скажем так, Даугавпилса и Нарвы. Особо оговорюсь, что названный проект совершенно гипотетический и мог быть осуществлен только в результате скоординированной деятельности русских общин Латвии и Эстонии при непосредственном заинтересованном участии России, и то лишь в период последних двух «перестроек» прибалтийского

государственного пространства — либо в 1991 году, либо в 2004-м, в период, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ вступлению названных постсоветских республик в ЕС и НАТО.

Понятно, что отсутствие возможностей для пропаганды организации подобного проекта, отсутствие сильной политической воли в постперестроечной ельцинской России и коллаборационистская подрывная деятельность русскоязычных политических партий как Латвии, так и Эстонии, вкупе со спешным выстраиванием этнократическими режимами этих стран (при полной поддержке Запада) репрессивной антирусской составляющей, — все вместе сделало подобный проект неосуществимым. Соответственно, мы и рассматриваем его сегодня лишь в качестве одной из исторических возможностей, оставшихся в прошлом. Но этот проект все же возможен и в будущем, если результаты Второй мировой войны и принцип «нерушимости границ» будут попраны окончательно, если прекратит свою деятельность ООН, если одно только «право сильного» останется на планете. Тогда возродившаяся Россия сможет, если пожелает, явочным порядком восстановить справедливость и помочь находящимся вокруг ее границ анклавам с преобладающим этнически русским населением пойти по пути, к которому давно уже толкают албанцев сербского Косово Соединенные Штаты.

Что же мы имеем в «сухом остатке»? Почему замолчали все политические партии «русскоязычных»? Почему в общественно-политической жизни Прибалтики настало такое затишье? Почему все сильнее давление и репрессии со стороны националистических режимов? Почему с каждым днем все усиливается антироссийская и антирусская истерия?

Пройден очередной узловой момент, очередная «точка бифуркации». Возможности политических маневров, позволяющих отвлечь население от экономических проблем, практически исчерпаны. Русские, не имеющие своего представительства в политике, понявшие наконец, пусть и с заметным опозданием, что «русскоязычные» партии являлись лишь частью общеевропейской системы безопасного расширения ЕС и НАТО, — русские выбили последние козыри у властей Латвии и Эстонии своим подчеркнутым равнодушием к попыткам создать из них «дымовую завесу» для прикрытия уже наступающего экономического и политического кризиса. Кризиса неминуемого и обусловленного «посттравматической реакцией» Восточной Европы после уже ВТОРОЙ в течение 15 лет кардинальной перекройки географического, политического, экономического и, главное, военно-стратегического пространства.

Неграждане уже никому не нужны и не интересны. Наступил момент жесткого и окончательного на данный исторический период ОПРЕДЕЛЕНИЯ. И, как всегда, это определение для Прибалтики может быть только одним: по оси Восток—Запад, католицизм и православие, Россия и ЕС.

Если быть более точным, то недавняя смерть папы римского польского происхождения может или прекратить, или, наоборот, превратить извечное историческое противостояние конфессий в противоборство уже по более жесткому критерию — православие и антихристианская Европа. А за Европейским союзом все более просматривается роль Великобритании и вообще АНГЛОСАКСОНСКОЙ составляющей мировой политики. Передел же внутреннего пространства ЕС становится явью сегодня. И тем значимее будет роль Восточной Европы в этом процессе.

Никакие этические — христианские, космополитически-демократически-правовые стандарты, пусть даже «двойные», скоро не будут действенны в этом новом мире. Судьба неграждан Латвии и Эстонии, судьба русских на территории ЕС тем более уже никому не интересна. России, которая ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ как с внешней, так и с внутренней политикой, неграждане тоже становятся не нужны в качестве аргумента в переговорах с ЕС и НАТО. Этот аргумент себя исчерпал, порох отсырел и так и не загорелся. В первую очередь по вине самой России, поскольку САМООРГАНИЗАЦИЯ системного и результативного сопротивления русских Прибалтики националистическим режимам без внешнего вмешательства метрополии — это МИФ. Но все это уже дело прошлое, и сожалеть о том бессмысленно.

Неприсоединившееся, неопределившееся «болото» «русскоязычных» неграждан уже не нужно никому. России теперь нужны определившиеся РУССКИЕ, определившиеся российские граждане и репатрианты. ЕС нужны безвольные космополиты либо отрекшиеся от Родины «особые, европейские русские», помогающие вести войну против России с использованием «русского фактора» — новые янычары, преданные пресловутым «западным демократическим ценностям», занятые своим чисто физическим выживанием и не мешающиеся под ногами.

Насколько Россия в состоянии САМА в новых условиях ИСПОЛЬЗОВАТЬ на этот раз остатки русского резерва — зависит от нее. И от НАШЕГО вместе с тем желания, чтобы Россия этот наш, последний, ресурс использовала. Европа же нас по головке гладить не будет, перемелет на кормовую муку и выплюнет.

А мы, хотим или не хотим, должны понять, что только СОПРИЧАСТНОСТЬ современной российской истории сохранит нас русскими. Какой бы она, сегодняшняя Россия, ни была. У

русских другого пути, кроме как ВМЕСТЕ с Россией пройти ее исторический путь — НЕТ. Вместе с тем никто и не заставляет нас оставаться русскими вместе с Россией.

Но оставаться русскими ВНЕ причастности к судьбе России и судьбе русского народа ДАЛЕЕ НЕВОЗМОЖНО.

Валерий Иванов,
главный редактор Народного портала
Русского Движения Латвии,
специально для www.russkie.org

«Ах ты ж, мать твою ети! Причастности ему захотелось!» Из этого моего, очень российского, раздражения и родилась, в сущности, книга про Иванова. «Да еще фамилия — Иванов! Наглость какая!».

Часть первая. В забытьи

Глава 1

До свиданья, друзья, до свиданья!
Зацепившись полой за открытую дверь,
Рвется с треском душа на прощанье.
Что же с рваной душою мне делать теперь?
До свиданья, друзья, до свиданья.
Снова осень, и к югу все птицы летят,
И затопят вот-вот батареи.
Под одним одеялом любимые спят,
А меня проводница согреет.
Снова осень, и к югу все птицы летят.
А на юге созрел налитой виноград,
А над ним в черном небе не звезды висят
Или трассеры, или увесистый «град».
Так и лупят, заразы, неделю подряд!
А на юге созрел налитой виноград.
Мне в дорогу никто «Приезжай!» не сказал.
Мне никто не сказал «Возвращайся!».
Только водку и хлеб принесли на вокзал
Да глаза отводили, а ты — улыбайся…
Мне в дорогу никто «Приезжай!» не сказал.
Ну и что? Я приехал, и вместе со мной
Потянулись на север птицы.
Таял снег. Все пропахло, как потом, весной.
Как же мог я не возвратиться?
Ну и что? Я приехал. Так что же со мной?
Десять лет. Десять зим. Десять осеней, что ли?
Десять весен. Мы спим. Я не вышел из роли.
Просто вышел курить на крыльцо.
Просто вечер ноябрьский и ветер в лицо.
Просто звезды, как трассеры, в небе горят.
Просто, может, не весь я вернулся назад?

Вернемся назад. Начнем сначала. Пробежимся по жизни пунктиром, как целеуказующей трассирующей очередью. «9_grammov» — позывной Иванова сегодня. Иронический никнэйм, учитывая абсолютное добродушие его хозяина. И в самом деле, «искренне Ваши 9 граммов» в качестве подписи в только что полученном мэйле или комменте мало кого оставят без растерянной улыбки. «Письмецо в конверте погоди, не рви! Не везет мне в смерти повезет в любви.»

1960. Валерий Алексеевич любил при случае рассказать, что родился он под «белым солнцем пустыни». Именно там, где происходило действие знаменитого советского боевика. И это на самом деле было так, хотя многие и не верили.

Кавалерийская застава — сто двадцать сабель, двенадцать собак. Иранская граница. Каракумы и Каспий. Пески обтекали море. Море обтекало пески. По солончакам — такырам гонял на мотоцикле в редкие свободные часы молодой начальник заставы. Но на старой фотографии, подаренной сыном отцу на День пограничника сорок лет спустя, увеличенной и отретушированной в «фотошопе», старший лейтенант Иванов красовался на вороном коне по кличке Огнемет.

Все было как в кино. И осетровая рыба в заливчиках, оставленных на берегу частыми на мелком Каспии штормами. И черная икра в бочонках. И сушеный картофель. И главное — вода.

Вода, которую собирали в дождевые цистерны зимой. Вода с комками верблюжьей шерсти, которую покупали на сопредельной стороне, у иранцев. Вода из грязного пруда в ближайшем туркменском селении, мутная, с ишачьим пометом и песком. Вода из опреснителя — по ведру в неделю на человека.

Песок, в котором можно было печь яйца или гнать брагу прямо во фляжках, набивая их виноградом. Скорпионы, тарантулы — всякая нечисть, которую надо было вытряхивать из сапог, прежде чем надеть их, даже поднимаясь «в ружье». Железные сборные домики офицерского состава, в которых днем, от жары, можно было передвигаться только ползком.

Мать, потянувшись на кухне за тазиком, закричала, увидев в нем пригревшуюся кобру.

На крик прибежал дежурный по заставе — молоденький сержант и с перепугу высадил в гадину пол-обоймы из «стечкина». Чтобы купить новый тазик вместо продырявленного сержантом, нужно было по пескам проехать километров двести. Кизыл-Атрек, Кизыл-Арват, Кара-Кала, Фирюза, Чатлы, Сырдарья, Амударья, Копет-Даг. Музыкой первых воспоминаний отзывались эти слова, прозвучав вдруг за праздничным столом, когда родители с друзьями начинали вспоминать службу.

Сорок с лишком лет спустя, получив наконец в посольстве России в Латвии дубликат утерянного свидетельства о рождении, высланный из Ашхабада после пяти лет непрерывных запросов, Валерий Алексеевич уже знал, что Кизыл-Атрек перенесли на другое место, что, конечно, не осталось там ни комендатуры, ни русских вообще. А в присланной российским консулом в Туркменистане книжечке-дубликате на первой странице красовались цветной Туркменбаши с огромной сияющей «гайкой»

на пальце и томик «Рухнамы». Вспомнившиеся туркменские слова — «атасы», «миллети» — непривычно смотрелись, набранные латиницей, а не кириллицей. Но, так или иначе, без этой книжечки не получить российского гражданства, не прервать затянувшуюся на целую жизнь командировку русского человека на окраины бывшей империи. Бывшей? Жизнь уже научила не бросаться такими словами… Нет ничего «бывшего». Все «бывшее» остается с тобой. Как сказали китайцы еще тысячу лет назад: «Сделанное не может стать несделанным».

Повзрослев, Валерий Алексеевич не любил экзотических афоризмов. Но этот — запомнился. Как и тот, куда более известный — про жизнь в эпоху перемен. Цой, кстати, хотел перемен. «Требуют наши сердца!» Вот и погиб в Латвии. Той самой, которая стала полигоном перемен… Цоя Валерий Алексеевич тоже не любил. «Но если есть в кармане пачка сигарет…» — единственная строчка, которую он признавал. А вот в детстве-юности, прошедших уже в Прибалтике, любил читать про перемены. «Хождение по мукам», например. Или «Белую гвардию». Или «Повесть о жизни». И, зачитавшись до рассвета, когда розовые чайки, подкрашенные первым солнцем, начинали кричать за окном, плавно планируя на мусорники во дворе, вздыхал, отложив книгу. «На нашу долю ничего не осталось. Ни войн, ни революций. Ни Золотого века русской литературы, ни Серебряного века поэзии. Когда из никого становились всем, а из всего — ничем. Когда любовь была нежна, а смерть прекрасна».

Довздыхался юноша бледный. Впрочем, если уж правду говорить, то не бледный, а скорее даже рыжий. Весь в веснушках тогда, русые волосы хохолком на стриженом затылке. И «повесть о жизни» еще только начиналась — продолжалась белыми летними ночами на островах Балтийского моря после белого солнца пустыни. И впереди еще были и хождение, и гвардия. И любовь, и муки. А пока… пока он еще только-только родился.

На этой границе никогда не было спокойно. Американцы, еще в начале 50-х усилившие свое влияние на Иран, хозяйничали в нем как хотели. Помимо непосредственной охраны государственной границы и постоянного наблюдения за сопредельной территорией, застава обеспечивала встречу наших агентов, готовила коридоры и отправляла разведчиков в Иран через свой участок. Случались и задержания нарушителей, и прямые огневые контакты. Забот у старшего Иванова — тогда еще молодого начальника заставы хватало.

Главная боль у любого командира — личный состав. Простые русские парни, попавшие в пустыню. Хорошо, если с самого начала службы. Тогда они втягивались, другой жизни в войсках

не представляли и благополучно возвращались домой. Но однажды на заставу прислали нескольких солдат второго и третьего года службы, переведенных из Прибалтики. Почти все они сломались, посчитав, что попали в ад.

Застава, на которой родился младший Иванов, была расположена на берегу Каспийского моря; с тыла шла гряда барханов сыпучего песка. В таких песках закапывали легендарного Саида, по таким же барханам брел с чайником на ремне красноармеец Сухов. «Я мзду не беру, мне за державу обидно!» — говорил басмачам Верещагин. И пел про девять граммов в сердце. Конечно, маленький мальчик не помнил толком ничего о первых годах своей жизни. Вспоминал по рассказам отца, представлял по знаменитому фильму, снятому гораздо позже. Но белое солнце пустыни все же опалило мальчика, оставив в жизни Иванова свой след.

На другой заставе, тоже кавалерийской, граница с Ираном проходила по середине речки Атрек, пересыхавшей в летнее время. Следующая застава находилась в горах — отрогах Копет-Дага. Там была пресная вода — из расщелины камней бил родник! Снизу, из долины, привозили арбузы и виноград. Вокруг росли гранатовые деревья и инжир.

На этой заставе был свой любимец — архар Яшка. Когда Яшка подрос и из ласкового козленка превратился в настоящего горного козла с огромными закрученными рогами, он стал бросаться на всех, кто не носил форму. Доставалось, конечно, и женщинам, и детям. Тогда Яшку поменяли туркменам на радиоприемник. Но архар убежал обратно на заставу, забрался в баню, объелся мыла и бесславно сдох. Это было последнее из того немногого, что помнил маленький мальчик о Туркмении. Был у него еще старший брат — Юра, были у них, конечно, тюбетейки и расшитые мамой белые рубашечки. Так они и застыли на снимке — с мамой, с братом и архаром Яшкой — на фоне изрезанной трещинами скалы. Отец увлекался фотографией.

Капитану Иванову повезло. После девяти туркменских лет (да еще ведь год за два тогда считали) его откомандировали в Москву, в Высшую школу КГБ, на командные курсы. Там же, в Москве, с ним была и жена — Нина. А мальчики на время остались у бабушки — на Урале.

В Москве Нину Алексеевну послали на ВТЭК и обнаружили у нее противопоказания к жаркому климату. Иначе трубить бы Ивановым в Средней Азии до конца жизни. А так повезло. После окончания курсов капитана перевели в Северо-Западный округ. В Ленинград он прибыл с женой и двумя сыновьями. Чтобы не жить с семьей в гостинице на чемоданах, офицер согласился на первую

же вакантную должность начальника заставы — на острове Вильсанди, в Эстонии. Впервые за девять лет он увидел снег. Песчаные барханы, потрескавшиеся солончаки. колючки, превращающиеся миражами в деревья на берегу озера; шакалы, дикобразы, вараны, каракурты, фаланги, скорпионы, змеи, жара, жара, жара. Все это осталось в прошлом. Маленький островок в Балтийском море; лес, грибы, ягоды, одинокие эстонские хутора — казались первое время все тем же миражом. Не верилось, что служба может быть и такой.

Именно с этой заставы Иванов-младший и помнил себя отчетливо, здесь, в четыре годика, мир стал для него раскручиваться по нити времени. Нить эта, однако, тянулась издалека. Был у отца дядя — Дмитрий Иванов. В 40-м году его призвали в армию, в пограничные войска. В первые же дни войны он погиб, защищая маленький остров в Балтийском море. Теперь начальником заставы на этом острове стал отец Иванова.

Когда началась перестройка и на всех вылился грязный ушат разоблачений советского прошлого, двадцатипятилетний Иванов с пристрастием допросил родителей о сталинских временах. Оказалось, никто из большой семьи не пострадал от репрессий, не умер от голода, не был объявлен кулаком и даже не был скрытым диссидентом. Это показалось довольно странным — ведь если верить внезапно «вспомнившим все» историкам и публицистам, каждый второй советский человек должен был пострадать от страшного режима. Тогда отец коротко рассказал сыну о своем детстве. Скупой рассказ этот Валерий Алексеевич помнил почти дословно.

Пермская область, Верещагинский район. Там, в захолустье, среди холмов, стояла деревенька Комино. В деревне было всего шесть дворов. На высоком берегу извилистой речки Тык стоял дом Ивановых. Вернее, две избы, соединенные между собой сенями под общей крышей. За лужайкой были новые амбары, погреб и большой высокий новый дом, только что построенный, вкусно пахнущий смолой и тесом. На берегу речки росли черемуха да рябина, а между ними стояла баня. Вся усадьба в пятьдесят соток была огорожена забором из жердей. У Ивановых было шестеро детей, кроме того, одного родственника, оставшегося без родителей, взяли на воспитание. Жил в семье и тот самый дядя Митя, что стал потом пограничником и погиб на Балтике.

Дедушка Валерия Алексеевича работал счетоводом-бухгалтером в колхозе, бабушка на разных работах в поле, прадед на ферме. Дома хозяйством занималась прабабушка — Дарья Михайловна. До замужества она жила в прислугах у местного

батюшки, в семье об этом часто вспоминали почему-то. В 1938 году была сильная засуха. На полях зерновые выгорели. Люди голодали. Детям выдавали по норме черный хлеб, испеченный наполовину со жмыхом или отрубями. Но семья Ивановых не бедствовала. Дома всегда были свежее молоко, овощи, иногда и мясо. В хозяйстве держали корову, овец, поросенка. В 39-м и 40-м годах был большой урожай, и амбар полностью засыпали зерном. Но в войну прадед все зерно сдал в колхоз для посева.

Дед Валерия Алексеевича по матери был артиллеристом, дошел до Берлина. Правда, пока жив был, так и не рассказал ничего внуку. Не любил вспоминать войну, хотя и надевал боевые ордена по праздникам. А вот дед со стороны отца все военные годы отслужил на Дальнем Востоке и воевать начал только в 45-м, уже с японцами. Но умер рано, так что рассказов тоже не осталось.

Отец закончил к концу войны семь классов. Тогда и познакомился он на танцах в сельском клубе с будущей женой. Но, конечно, поженились они не сразу. Отец поступил на фельдшерско-акушерские курсы. Уже в 18 лет он заведовал медпунктом в староверском селе Андронятское. Тяжело было лечить тех, для кого обращение к медицинской помощи считается делом грешным, но Алексей Иванович справился. Через два года пришло время идти в армию. Военком предложил поступать в Алма-Атинское пограничное командное кавалерийское училище. А через 4 года свежеиспеченный лейтенант Иванов вернулся на родину, женился и увез молодую жену в Туркмению — на заставу.

Валерий Алексеевич несколько лет просил отца хотя бы набросать свою автобиографию, хотя бы записать, как родню звали. Ведь и у мамы было шестеро детей в семье. А значит, одних дядь и теть у Иванова целый десяток. А двоюродных братьев и сестер — точно уже и не сосчитать. Он и видел-то только некоторых. Раза два в детстве был в деревне у бабушек. Да в Перми, где в основном вся родня осела потом. Ну, приезжали, конечно, иногда родственники в Эстонию, потом в Ригу. Да только трудно поддерживать родственные связи, всю жизнь колеся по окраинам огромной страны. Отец сначала отмахивался от настойчивых расспросов младшего сына, но потом, уже на пенсии, подолгу рисовал родословное древо крестьянской семьи, вспоминал, кто жив, у кого сколько детей осталось.

Когда наступили переломные и голодные 90-е годы, миллионы русских, оказавшихся в одночасье за пределами собственной страны, ставших иностранцами, не сходя с собственного дивана, не раз вспоминали это обстоятельство — родня осталась в России.

Опереться было не на кого, выживать сообща, как выживали россияне, вмиг обрубившие от себя вместе с латышами и туркменами тридцать миллионов русских, оставшихся за пределами РФ, — не получалось. А ведь если попробовать подсчитать, то на тридцать миллионов, рассеянных по постсоветскому пространству русских людей, наверняка у каждого второго россиянина приходится по близкому родственнику. Значит, кинул не только Ельцин, кинули равнодушно не просто русских — соотечественников, но и буквально братьев и сестер по крови почти все «россияне».

Я, конечно, хотел было сказать Валерию Алексеевичу, что никто нас не спрашивал. Но почему-то не стал. Выслушал молча и принял к сведению. Привыкнув к постоянным утверждениям журналистов и политиков о том, что «Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна», я как-то заново удивился сухим цифрам, которые любил приводить Иванов. О том, что русских в России оказывается не половина, как я привык считать, а восемьдесят с лишком процентов. О том, что самое большое национальное меньшинство в России — татары, составляют всего лишь около четырех процентов всего населения страны. «А. э. мэ..», — блеял я, но возразить было нечего.

Узнав о том, что в Латвии (ныне считающейся государством латышей) русских на момент получения республикой независимости была ровно половина, я стал теряться, не зная, что сказать в ответ на гневные филиппики нового знакомца о «россиянстве» и «многонациональности», об отсутствии в Российской конституции даже намека на руссский народ как государствообразующий. Что уж тут говорить о брошенной родне, ведь и на самом деле даже у меня несколько родственников после войны были отправлены государством поднимать и развивать народное хозяйство — кто в Прибалтику, а кто в Среднюю Азию. Правда, связи с этой родней оказались потерянными давно, а вспоминать о всяких «троюродных» в перестройку и вовсе было некогда. Все менялось, мчалось кувырком, пьянило переменами даже меня, уже и в те годы человека пожилого.

Творческим людям, к коим я себя скромно причисляю, свойственно было концентрироваться на двух лишь вещах — мировой политике и культуре, и себе лично.

Честно говоря, оставшись не у дел, с трудом дотягивая до оказавшейся вдруг мизерной пенсии, я быстро вспомнил про брата, осевшего «на земле», под Питером. С его помощью купил домишко, сын помог потом найти непыльный заработок чуть в стороне от привычной профессии, родственники жены внезапно разбогатели и тоже помогли выкарабкаться в самые трудные

годы. А теперь и вовсе все наладилось. Думал уже, что никогда не возьмусь за раздолбанную «Ромашку», заброшенную на чердак. Впрочем, сын уже год как научил меня пользоваться компьютером и подключил к Интернету. Да вот скучно стало, а тут Ивановы поселились рядом. Знакомых у них в Вырице, конечно, не было — так мы втянулись в общение. Часто спорили поначалу, ругались в меру, как люди интеллигентные. Потом Иванов поостыл, вжился в Россию, устроился на службу, не вылезал из Питера и Москвы. Но как-то вдруг, разом свернул все проекты, купил себе с Катериной Sky link, чтобы не остаться без Интернета в нашем дачном поселке, нашел занятие, чтобы удаленно, по Сети, зарабатывать скромную копеечку, — и наши разговоры с ним возобновились.

Мало-помалу я стал вникать в его с Катей мир, оказавшийся на самом деле вовсе не таким чужим. А потом и сам до пишущей машинки добрался, с целью разобраться не столько в соседях, сколько в себе и в России, опять несущейся вскачь и никому не дающей ответа на классический вопрос: «Куда несешься ты?».

Вырица наша, конечно, не Баден-Баден, хоть и считалась всегда поселком курортным. Зимой у нас тишина, сугробы да елки в снегу. Летом-то, конечно, население в десять раз увеличивается за счет дачников — переваливает за сто тысяч. А вообще-то — деревня деревней… Отринув Ригу и Петербург, удалившись к нам в Вырицу — «растить капусту», Иванов любил вспоминать свои «крестьянские» корни. Правда, ни одной грядки не завел на своем большом участке — вырастил только аккуратный газон, который и косил летом каждую неделю с ворчливым удовольствием.

Когда начинали только, в перестройку еще, ругать советскую власть, Валерий Алексеевич, далеко уже не крестьянский сын, всегда говорил оппонентам, как-то внезапно увлекшимся воспеванием дореволюционной России, с упоением и слезой вспоминавшим «поручиков голицыных»: «А кем ты был бы, если бы не советская власть? Пахал бы себе тощую землю в своей деревне. Или ты из бар происходишь? Так их на всю Россию было три-четыре процента, не более. На всех на вас мужиков с деревеньками не хватит!».

То, что советская власть была антирусской, — это правда. То, что за счет русского народа советская империя строилась, — это тоже правда. Но даже это не повод для предательства своей страны и Родины. Так думал комсомолец Иванов. Сказать по правде, постаревший сегодня и узнавший многое Иванов нынешний — крестившийся, переваливший давно за сорок — думает так же. Соблазн, однако, многих увлек за собой. Да только выиграли единицы. Поэтому сколько бы лет ни прошло, а не

будет большинство народа относиться к Советскому Союзу с презрением и ненавистью. А будет считать распад державы «геополитической катастрофой» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Что вовсе не помешает жить дальше, богатеть, в церковь ходить и Богу молиться. И нет здесь никакого противоречия.

А кто Советский Союз ненавидел, тот и нынешнюю Россию ненавидит по-прежнему. Да и царская Россия ему тоже нехороша. Самые ярые антикоммунисты — «либералы», они же и самые ярые враги Православия сегодня… Российской империи вчера, и ненавистники русских — всегда. Так о чем спор? Разве что о том, как же это все произошло-то? Как стало возможно? Откуда ноги растут?

С преемственностью как быть? Или же быть преемственности гордости и боли за Российскую империю, за СССР и за нынешнюю Россию, потому как — РОДИНА. Или же быть преемственности идее уничтожения царской России, Советского Союза и нынешней Российской Федерации. Последовательного уничтожения. «До основанья». А затем? А затем русских не будет. Тут и сказочке конец. Вот он снова — вопрос власти и ее легитимности. Власть, она ведь без населения все равно не власть. Без народа. И плевать на «демократические выборы» — поскольку без электората власть вполне может обойтись. И без выборов тоже. А вот без народа, нет Не над кем властвовать будет.

— Нет, Тимофей Иванович! — твердил мне сосед упорно. — Родина — это не трудовая книжка, здесь «перерыва в стаже» быть не может. И с этим вопросом власти придется разбираться, если она хочет властью остаться, конечно.

Глава 2

1965. Крохотный островок Вильсанди в жизни Ивановых сменила застава на Ирбенском направлении (пролив между эстонским островом Сааремаа и латвийским мысом Колка). Полуостров Сырве вытянут в сторону Латвии. На его оконечности — мыс Сяэре, длинный и узкий, как высунутый язык. Когда отец впервые взял младшего сына с собой на маяк, стоящий почти на самой кромке мыса, и показал ему сверху, с огромной высоты, латвийский берег, просматривающийся через пролив в ясную погоду даже невооруженным глазом, Валера, конечно, не знал, что ему показали судьбу.

Подниматься по железной винтовой лестнице на такую высоту было страшно, хотя часть пути наверх его и несли на руках — взрослому-то без одышки не подняться. А наверху, на маленькой площадке вокруг сердца маяка — огромной лампы с отражателями — порывами задувал просоленный ветер и кричали рассерженно чайки. Дома внизу — всего два казались малюсенькими, а прожекторный пост рядом со старым дотом и вовсе игрушечным.

Мыс слизывал своим острым языком волны и терялся в зеленоватой синеве моря. Слева от него вода была темная, с белыми барашками пены — с этой стороны сразу шли большие глубины. А справа, на мелководье, вода искрилась солнцем, просвечивала каждым камнем на чистом галечном дне и была изумрудной.

Впереди, сразу за кончиком песчаного мыса, плавала в воде капля маленького островка, на котором не росло ни одного деревца, зато была тьма дикой клубники — самой сладкой на свете ягоды. А позади мыс, окаймленный зарослями густого, высокого можжевельника, раздавался вширь. Там прятались круглые бетонные основания старинной Церельской батареи, бившей немецкий флот еще в Первую мировую. Вслед за можжевельником, чем дальше от моря, тем выше, поднимался лес. Перед ним в небо втыкались антенны поста технического наблюдения, а еще дальше, рядом с укрывшейся в лесу заставой, — пограничная вышка. Глубоко в лесу скрывался и командный пункт знаменитой 315-й батареи капитана Стебе-ля, до осени 41-го не дававшей фашистским транспортам пройти в уже захваченные немцами Ригу и Таллин. По берегам, вдоль прибоя, тянулась контрольно-следовая полоса, переходить которую разрешалось мальчику только в одном, строго определенном месте. А если снова обойти сверкающий

отражатель маяка, стараясь не смотреть под ноги — в головокружительный провал железной площадки, подвешенной над бездной, — то далеко в море, на горизонте, можно было увидеть силуэт сторожевика морских частей погранвойск.

Это был дом. «Лапсепыльв», как говорят эстонцы, — «поле детства». В этом поле можно было гулять везде — пятилетнему Валере все позволялось на участке заставы, потому что каждый шаг его был виден часовому на вышке и нарядам — дозорам, секретам, охранявшим этот кусочек морской границы со Швецией. На прожекторном посту пограничники катали мальчишку на сиденье оператора прожектора, как на карусели, по кругу, и море со всех сторон сливалось в одну сплошную зеленую полосу с можжевельником на берегу.

Забрасывая невод, солдаты брали ребенка с собой в лодку, а потом разрешали перебирать трепещущую рыбу в тяжелой мокрой сети и различать ее учили тоже. Неплановые щенки от овчарок становились тягачами для санок, а когда наскучивало выстраивать в домики домино в Ленинской комнате заставы, дежурный давал разбирать-собирать автомат, который Валера и поднимал-то еще с трудом.

Летом приезжал на каникулы старший брат — Юра, учившийся в окружной школе-интернате для детей пограничников в Ломоносове, под Ленинградом. Мальчишки купались в море, играли в старых дотах Отечественной и Первой мировой, находили, случалось, и оружие, оставшееся с войны. Однажды часовой буквально за ноги выдернул из земли мальчишек, прятавших под стоящим на бетонных столбах фундамента зданием заставы неразорвавшиеся противотанковые гранаты — как раз под канцелярией, где сидел отец. Война в этих местах прокатывалась через острова не однажды и была страшной. Вот и дядя Митя погиб где-то здесь еще в 41-м.

Аэродром в Когула, сейчас заброшенный, был знаменит тем, что оттуда в самом начале войны производились летчиками полковника Преображенского первые налеты наших бомбардировщиков на Берлин. Эстония и Латвия уже были захвачены фашистами, а Моонзундский архипелаг все еще не сдавался. Дальнобойные морские батареи, построенные по проектам генерала Карбышева, громили транспорты противника, а потом взрывали себя; командные пункты — бетонированные крепости — затапливали. И как немцы ни пытались их осушить, привести в порядок, чтобы наладить оборону островов уже от наступающих русских, так у них ничего и не получилось.

Остров Сааремаа — Островная земля, когда-то носил немецкое имя Эзель. А еще раньше славяне называли остров —

Сырой. Остров великанов, так называли его сами эстонцы. Местные парни действительно бывают под два метра ростом — блондины с голубыми глазами. Не похожи на нынешних эстонцев на большой земле совершенно. Да и всегда настоящей Эстонией считалась именно Островная земля. Вот и последних лесных братьев оттуда выковыряли лишь к концу 50-х. А одного фрица, прятавшегося на эстонском хуторе с войны, нашли и вовсе в 69-м. И просто отпустили домой, полусумасшедшего от непрерывного страха, длившегося десятилетиями.

Рядом с заставой стоял дивизион ракетчиков ПВО. Уходящие в землю бетонные своды с ракетами внутри поражали детское воображение. Ракеты были как рыбы, такие же сверкающие и хищные, несмотря на плавные обводы. В клуб к ракетчикам ходили смотреть кино. Долго, казалось, шли по деревянным мосткам через болото, в котором водились медянки — ящерицы без ножек, хоть и не змеи, и не ядовитые, но кусались они все равно очень больно. Там же, в клубе, на Новый год Дед Мороз вручал подарки детям. Там же жили друзья — Олежка Иншаков, Наташка Ниже-городова, Светка Даркова. Все они потом вместе пошли в первый класс. Но до школы пока далеко еще было. И можно было позволить себе жить привольно на заставе.

Собирать щавель для зеленых щей сразу за забором — по брустверам окопов и блиндажей заставской линии обороны. Бежать на кудахтанье в курятник и подбирать свежие яйца, опасаясь петуха, норовящего больно клюнуть худые голые коленки. Или собирать утиные яйца на берегу моря. Пытаться подстрелить зайца из самодельного можжевелового лука. Смотреть, как отец возвращается домой со связкой уток или страшно шевелящимся мешком с угрями.

Мама вешала извивающегося угря на проволоку за дверную ручку и потом, надрезав у головы, плоскогубцами снимала с него чулком кожу. А нарезанные куски угря еще долго самостоятельно прыгали на сковородке. Вяленые сиги, подвешенные прямо за окном, чай на веранде через «соломинку» стрелки зеленого лука, сорванного тут же на грядке. Пистолет у отца под подушкой, который так никогда и не удавалось вытащить тайком.

Жизнь была насыщена природой, но не имела никакого сходства с деревенской, как у бабушек, на Урале. Ни пастбищ с коровами, ни деревенской грязи, ни сельского быта. Только природа и оружие. Море, лес, тишина и отец, отдающий очередному наряду приказ: «Приступить к охране государственной границы Союза Советских Социалистических Республик!».

Алексей Иванович брал с собой сынишку на расположенную

рядом, в Мынту, базу торпедных катеров. Иногда выходили в море — на страшной скорости, в облаке брызг проносились вдоль острова. Чтобы не укачивало, офицеры щедро закармливали мальчонку шоколадом из морских пайков, открывали сгущенку, паштет, сыр в маленьких баночках. А во время крупных учений к берегу на участке заставы подходили большие десантные корабли, открывали створки огромных ртов, и из черного чрева тяжело сползала в волну бронетехника морской пехоты. Над островом проносились с ревом штурмовики, исчезая над морем. И тогда уже не казалась застава такой одинокой, оторванной от всего мира. И понятным становилось слово «продержаться». Огромная страна была рядом — чуткая, неделимая, своя, родная. И то, что ты находишься на самом ее краешке, только подчеркивало ее огромность и незыблемую надежность. Казалось бы, какое дело дошколенку до таких понятий, как «Родина», «страна», «свои и чужие»? Но ведь надо было как-то объяснить сыну, что такое граница, что такое застава, чем занимаются все эти взрослые люди вокруг? И потому эти — абстрактные для большинства детей — понятия становились для Валеры и его немногих на границе сверстников самыми первыми и яркими, определяющими всю картину мира.

Первые книжки — собрание сочинений Гайдара, по которому мама уже в четыре года научила читать. Круглый стол в гостиной, который накрывался одеялом, чтобы получился домик, вокруг которого можно было маршировать, сочиняя песенки и исполняя их на ходу. Огромные елочные шары, подаренные Дедом Морозом в клубе ракетчиков. Мальчишки (брата привезли на зимние каникулы) соревновались — чей шар крепче и бросали их на пол все с большей и большей высоты, пока оба шара не разбились.

Отец круглые сутки пропадал на границе, мать изредка выбиралась в город на целый день, и тогда дежурный по заставе вел мальчика в столовую обедать и обязательно наливал «генеральского» компота, на две трети стакана состоящего из сухофруктов. Уже появился в семье первый телевизор — «Сигнал». Принималась только одна — эстонская программа, и первой запомнившейся передачей, из-за мультипликационной заставки, была «Актуальная камера» — новости на эстонском языке.

Однажды на заставу приехал начальник штаба погранотряда. Он привез отцу новые погоны. А утром следующего дня, когда отец вышел на построение, дежурный сержант по привычке начал доклад: «Товарищ капитан…» Строй не выдержал и, улыбаясь, хором поправил: «Майор!» Вместе с новыми погонами пришла новая должность. Алексея Ивановича перевели в штаб отряда.

Надо было переезжать в Кингисепп. Город этот, тогда еще носивший имя эстонского революционера и чекиста, когда-то был столицей Эзель-Викского епископства — одного из государств, входивших в Ливонский орден, и назывался по-немецки Аренсбург. Свидетелем той эпохи остался древний рыцарский замок, нерушимо стоящий на берегу моря с XIV века. Эстонцы сейчас называют город — Курессааре. Журавлиный остров, значит. Красиво, конечно. Но славянское имя острова — Сырой — все равно было в самом начале истории этой земли.

Населения в районном центре пятнадцать тысяч человек. И штатских русских здесь не увидишь, в отличие от Таллина или Нарвы. Штаб погра-нотряда с гарнизоном да ракетный полк ПВО. Вот и все русские. Погран-зона к тому же. Но зато живая природа не покидала маленького городка. Огромный парк вокруг крепостных валов замка был полон ручных белок. «Микки, микки, микки», — звали их по-эстонски, и тогда они доверчиво спускались с дерева и брали орешки прямо с ладони или даже сами прыгали на людей и проворно карабкались по одежде, обыскивая, обнюхивая карманы в поисках лакомства. Среди детей ходила легенда, что, когда одного жителя поймали за ловлей белок, его выслали с острова.

Замок был центром мальчишеской жизни! Шесть веков уже стоит он, ни разу не поддавшийся приступу врага, хмуро поглядывая на море узкими бойницами, поблескивая под редкими лучами солнца витражами в стрельчатых окнах. Толщина стен, особенно на первых этажах, несколько метров. В каждом окне поэтому — глубокая ниша, в которой можно сидеть часами, забравшись в оконный проем с ногами, — читать Шекспира, заданного на лето.

У островных мальчишек был свой Эльсинор, свои предания и легенды, оживающие в потайных ходах среди стен, в настоящих рыцарских латах, расставленных в сводчатых переходах расположившегося в замке краеведческого музея.

В прудах рассекали желтую ряску на темной воде ручные утки и лебеди. Все чисто, зелено, миниатюрно, уютно. Но настороженным был этот уголок островной земли, потому что мир здесь никогда не был долгим. На скамейках в парке всегда можно было найти свежевырезанную свастику или целый лозунг: «Хитлери мытлесид элавад я выйтлевад» — «Идеи Гитлера живут и побеждают». А в 74-м году, когда Союз, казалось, стоял нерушимо, демонстрации прокатились по центру города. Штаб погранотряда на главной улице был залит красной краской, у офицерских домов стояли часовые. И хорошо, что отец был в отпуске, а то звездопад, полетевший с погонов, мог бы коснуться

и старшего офицера штаба майора Иванова.

Вспыхнуло все в один момент. На окраине города, за пределами гарнизона пограничников, стоял, охраняемый часовым, вертолет на открытой площадке. Местная молодежь как-то вечером, подвыпив, начала забрасывать часового камнями. Попали по голове. Тот, контуженный, залитый кровью, погнался за хулиганами, прыснувшими в разные стороны. Заскочил в один из частных домов, находившихся рядом, и, не разбираясь, полоснул из автомата по всей семье. Конечно же разобрались. Конечно же все погасили. Но этот, обычный для окраин империи инцидент вскрыл заодно местное диссидентское подполье, которое сообщало свежую информацию западным радиоголосам и руководило исподволь акциями протеста населения. Кого-то выслали из погранзоны, кого-то арестовали. Наказали сурово и руководство погранотряда.

Всякие байки о своем пограничном детстве рассказывал мне Иванов долгими зимними вечерами. Однажды, во время инспекторской проверки, на остров сбросили нескольких офицеров из калининградской школы морских диверсантов. Всех их, так или иначе, пограничники задержали, уложились в конкретный срок. Кроме одного. Офицер в штатском, сброшенный с парашютом с вертолета, прошел по болотам и лесам весь немаленький остров и, уходя от преследования пограничников, встретил местного хуторянина-эстонца. Представился ему геологом.

— Знаю я, какой ты геолог, — сказал ему старый эстонец по-немецки. — Тебя с ночи русские ищут.

«Геолог», естественно, не стал спорить. Эстонец его накормил, переодел и спрятал в подполе. Зашедшей на хутор «тревожной группе» эстонец сказал, что никого из посторонних не видел. Когда вышло обусловленное условиями проверки контрольное время, «геолог» тепло попрощался с хуторянином и сам явился в штаб погранотряда с докладом. Эстонца, конечно, выслали с островов за пределы погранзоны. Но не посадили. Время было застойно-спокойное и мягкое.

Ивановы, покинув заставу, обустраивались в новой двухкомнатной квартире в кирпичной пятиэтажке напротив штаба отряда, находившегося не в гарнизоне, расположенном на окраине, а в самом центре города. Дом был городской, но четыре квартиры в нем были отданы офицерам. В одном подъезде двум семьям пограничников, во втором — ракетчикам. Все это было кстати, младшему сыну пора было идти в школу. Да и старший уже устал учиться в интернате.

Островная земля. Моонзундский архипелаг. Самый большой

остров — Сааремаа (второй по величине на Балтике после шведского Готланда). Хийумаа, Муху, Вормси… И сотни маленьких островков, включая и вовсе безымянные. Столица и райцентр — город Кингисепп, ныне Курессааре. Добираться паромом от Виртсу на Большой земле — до Куйвасту на острове Муху. Дальше — от Муху до Сааремаа — по дамбе. А можно лететь самолетом прямо из Таллина. Час на Ил-14. Позже, уже на Як 40, всего тридцать пять минут. Конечно же, если есть в паспорте отметка «ЗП» (зона пограничная). Немногие организованные туристы за месяц подавали заявление в МВД с просьбой разрешить посещение острова. Теперь сами эстонцы говорят, что так-то оно было лучше. Не было сотен тысяч иностранцев, накинувшихся саранчой на заповедную природу, когда ушли наши пограничники. Зато и в советское время на Сааремаа было все. Свой пивзавод, построенный чехами, свои рыболовецкие колхозы и рыбоперерабатывающие цеха, свои мясной и молочный комбинаты. В магазинах всегда были свежие продукты, в универмаге и уж тем более в сельских промтоварных лавках можно было купить все, что не только в России, но и в Эстонии считалось дефицитом, — от итальянской обуви до американских джинсов.

Море было прохладным, но чистым. Рыба — свежая, вяленая, копченая — была у всех своя. Весной весь город покрывался рамками с плотвой и ельцом, выставленными на солнце в окнах немногих пятиэтажек, на чердаках, во дворах деревянных домиков за каменными оградами, сложенными из плиток известняка, везде. Грибы, к которым эстонцы довольно равнодушны, ягоды, молоко, сметана, творог — все это было привычно, обыденно. Острова в этот, как оказалось, короткий, советский период истории — не знали бедных. Надувались потихоньку гордостью, как и вся Прибалтика: «Мы кормим весь Союз!» Гордость переросла со временем в спесь. А потом, в первые годы после независимости, спесь лопнула. И снова стали тянуть лямку. Прилично, чисто, культурно. Но, как и до войны, появились хозяева, на которых и надо было работать.

Ну что ж, так оно привычнее. Крестьянский труд и море уже не приносят прибыли, уже нет советских дотаций. Но зато есть тысячи иностранных туристов, хлынувших на лоно нетронутой, заповедной природы в бывшей погранзоне. Туристам нужны отели, горничные, повара, официанты, шоферы, экскурсоводы и симпатичные девочки. Кто-то должен убирать, чистить, мыть, подавать. Такова жизнь в Европе. Такой она была при царе, при немцах, такова она и сейчас. Такой и будет. Советские русские развратили народ, отучили работать. А ведь у каждого народа

есть свое место на земле. Вот и «берег ветров» превратился в курортную зону. Как говорят туристы — здесь особенная аура. Валерий Алексеевич, навестивший остров уже в новом веке, вздыхал про себя: «Аура эта скоро исчезнет, растает, не выдержит сотен тысяч туристов и, главное, бесцельности нынешнего существования островов. Раньше здесь люди выживали. Раньше острова были форпостом, крепостью на морском пути. Теперь не нужны крепости. Выживает теперь не самый упорный, а самый угодливый и изворотливый. Остров великанов стал островом официантов. Ну что же? Время такое. К тому же каждому — свое».

Но еще в 70-х здесь все было по-другому. Свои четырнадцать лет Валера встретил обычным январским утром. Русские дети учились во вторую смену в эстонской средней школе. Всего по одному классу — от первого до десятого. Да и то в каждом русском классе десять — пятнадцать учеников, редко больше. Все — дети офицеров. И делились не на гражданских и военных, а на пограничников и ракетчиков — в зависимости от того, где служили отцы — в погранотряде или ракетном полку ПВО. Мама работала в «Военной книге», к тому же все знала о пристрастиях сына, и подарок ко дню рождения лежал на письменном столе аккуратной стопкой. Толстенные «20 лет спустя» да еще три тома «Виконта де Бражелона». И не из свежих поступлений в магазин, а 56-го года издания. Прекрасно сохранившиеся, вкусные, упоительно толстые тома. «Три мушкетера» из тисненной золотом серии «Библиотеки фантастики и приключений» были прочитаны давным давно, а вот продолжения не найти было даже в лучшей на острове гарнизонной библиотеке погранотряда. Хотя там, казалось, было все: собрания сочинений Жюля Верна и Майн Рида, Марка Твена и Конан Дойля, Беляева и Грина. многотомная «Библиотека пионера», и даже все двадцать восемь томов «Антологии зарубежной фантастики».

Русская и советская классика были, конечно, и на домашних полках, и на многочисленных книжных стеллажах у соседей снизу — тоже пограничников. Строгая школьная «англичанка» по вечерам превращалась из Элеоноры Васильевны в тетю Элю и занималась с Валерой дополнительно английским, который сама она учила в Москве, а потом и в Лондоне, прожив там три года вместе с мужем, служившим в охране советского посольства, состоявшей, как правило, из офицеров-пограничников.

А еще был почтовый ящик, который, если сравнить с нынешним временем, действительно был почтовым. Так славно морозным зимним утром спускаться на первый этаж и вытягивать из ящика толстые книжки журналов, хрустящие и почему-то кажущиеся особенно гладкими на ощупь газеты. и письма!

Письма да извещения на посылки и бандероли были самыми радостными открытиями. От девочек и от мальчишек, от очаровательной польки из Зелены Гуры, смешно называвшей Иванова: «Валерию!» «Здравствуй, Валерию!» — писала она, не догадываясь, что это просто имя в адресе в дательном падеже.

Четырнадцать лет считались солидным возрастом. Ведь даже фильмы в эстонских кинотеатрах делились не только на те, которые «до 16», но и на те, которые «до 14 лет». Так что «Ромео и Джульетту» и «Генералы песчаных карьеров» можно было смотреть уже семиклассникам. Впрочем, детство Иванова на островах было вполне целомудренным. Наезжая иногда в Таллин, к другу Аркадию, отца которого — начальника тыла отряда — перевели туда на новую должность, Валера с удивлением замечал, что есть вещи, обыденные для таллинских школьников, вещи и проблемы, которые в их классе мальчишки даже и не обсуждали — как принадлежавшие какому-то другому миру. Они с Аркашкой часто наведывались (налетали, точнее) друг к другу на каникулы; между встречами посылали друг другу бандеролями маленькую бобину с пленкой, на которую записывали на обычном магнитофоне длинные звуковые письма друг другу.

Через три года, когда семья переедет в Ригу, все изменится. Семнадцатилетний Иванов пустится тогда (как ему казалось) во все тяжкие, стараясь наверстать, ухватить, проглотить побольше свободы и соблазнов большого столичного города. А пока. Пока ему только что стукнуло четырнадцать. Валера бережно отложил в сторону — на сладкое — четырехтомник Дюма, включил магнитофон «Иней» и под любимую «The Night Chikago Died» повис на перекладине, подвешенной в дверном проеме, стараясь подтянуться по крайней мере двадцать раз, а если получится, то и больше.

В подарках были не только книги от матери, но и новый мохеровый шарф от отца, и роскошная коробка ленинградских конфет от старшего брата-студента, присланная, наверное, родителям по почте, заранее. Наскоро позавтракав вместе с первыми страницами «20 лет спустя», Валера заставил себя оторваться от книжки и быстро оделся.

Пробежал рысью со своего третьего этажа вниз, усмехнувшись победно на площадке, на которой обычно сидели соседи — эстонские подростки — и дулись в карты. Долгое время, направляясь в школу во вторую смену, он проходил сквозь них, уже пришедших из школы, как сквозь строй, получая обидные щипки и подножки. Пока недавно не остановился и вместо обычного злобного чертыханья не заехал одному из картежников такого подзатыльника, что у того и карты из рук выпали. Тройка

пацанов зашипела свое «куради райск» и «вене сига» («чертов гад», «русская свинья»), но драться почему-то не стала, а потом и вовсе убралась с площадки и больше там не собиралась. А на Новый год, встретившись у подъезда, они даже прокричали ему: «С праздником!» А он им пожелал: «Хеад уут аастат!» — по-эстонски.

Куда идти в первое утро своих четырнадцати лет? Январский морозец только подгонял длинные ноги навстречу заалевшему на востоке небу. Валера быстрым шагом, почти бегом заторопился по улице Ленина к парку. Раскидистые дубы, тополя, клены виднелись уже издалека в конце упиравшейся в парк улочки, тянулись вверх снежными кронами, заслоняя собой крепостные валы старинного рыцарского замка.

Валера прошагал по скрипучему от мороза деревянному мосту через ров, по длинному изогнутому тоннелю в толще крепостной стены вошел во внутренний двор. Прямо перед ним тянулась вверх двумя башнями квадратная громадина замка, с такими маленькими, по сравнению с этой каменной глыбой, воротами посередине. Но он не пошел через заснеженную предзамковую площадь, а круто свернул налево и по пологому, разъезженному саночниками спуску взбежал на крепостной вал. Прямо перед ним над городом вставало желто-красное огромное солнце. На валу не было ни души, как и во всем парке в этот, еще ранний час.

Сегодня здесь стояла морозная тишина, лишь изредка скрипящая снегом под ногами. Солнце поднималось все выше и выше, и алым светом начинало слепить глаза. Подросток развернул плечи, расставил уверенно ноги и сунул руки в карманы новенькой финской нейлоновой куртки. Ему исполнилось четырнадцать лет. Он уже не мальчик, он… юноша? Он имеет теперь право на любовь, которая пришла в этом возрасте к Ромео, на подвиг, который четырнадцатилетними совершали комсомольцы и пионеры-герои. У него впереди целая жизнь! Может быть даже, потом, в глубокой старости, он встретит новый, XXI век, о котором лишь фантасты пишут сегодня в книжках. Но прожить сорок лет — это слишком долго! «Разве можно будет в сорок лет понять и почувствовать все то, что чувствую я сейчас? — спрашивал он кого-то внутри себя. — Разве тогда, в старости, если доживу до нее, я смогу вспомнить, каким я был сильным, умным, талантливым, удачливым?» Мир становился все более ослепительным; внезапно, при полном безветрии, с заиндевевших ветвей деревьев пушистыми солнечными искрами сам собой начал осыпаться невесомый снег.

Там, впереди, за парком, за Ратушной площадью, за штабом

погранот-ряда, за школой; в новом районе, пятиэтажки которого лишь чуть-чуть проступали на горизонте даже отсюда, с высокого крепостного вала, наверняка сидела у окна и смотрела в его сторону, отложив учебник, самая лучшая девушка на свете, и сегодня он пригласит ее к себе на день рождения, и, может быть даже, вскоре, на танцах для русских школьников в Доме офицеров, где играет пограничный ВИА, он будет танцевать с ней под «Перемена мала, я смолчу, как всегда»… и не смолчит, признается ей в любви.

Дожив все же до сорока лет и встретив новый век, Валерий Алексеевич, уже знавший про себя, что дожил он действительно чудом, и чудо это было вовсе не в его власти, тем не менее любил при случае, развалившись «в кресле у камина» и покуривая любимую сигаретку, вспоминать юность.

«Знаете, друзья, я никогда ничего не сделал для того, чтобы жизнь моя выстроилась так причудливо и не совсем обыденно. Я никогда не мечтал, даже в детстве, стать политиком или журналистом, ходить в море, повидать другие континенты, участвовать в войнах и революциях, снимать пусть документальное, но все же кино, в общем, говоря проще — увидеть *столько* жизни и так много оттенков ее и сторон попробовать буквально на вкус. Иногда даже до оскомины.

Я был тихим книжным мальчиком. Я никогда не стремился на самом деле ни к приключениям тела, ни к подвигам духа. Мне вполне хватало книг и собственного уютного дивана. Единственное, что я делал сам, — я просто не отказывался от того, что предлагала мне жизнь. Нужно ехать вслед за отцом к новому месту службы — и я ехал. Нужно было идти в армию — и я шел. Нужно было работать или учиться — и я учился. Нужно было окунуться с головой в политику или идти на войну — я не сам это выбирал. Мне всегда почему-то предлагали все это какие-то люди, или просто так складывались обстоятельства. Жизнь, как в романе Пьюзо, «делала мне предложения, от которых я не мог отказаться». И ведь действительно не мог. Так разве я виноват в том, что жизнь моя сложилась так, как сложилась? Сам я и пальцем о палец для этого не ударил. Я только не отказывался. Я слабый человек, я не умею сказать жизни — нет!

Я знаю многих людей, которые сами ищут приключений на свою голову, все бегут куда-то в поисках экстрима, тоскуют от ежедневной сытой суеты, мечтают о другой доле.

Я же всю жизнь мечтал только об одном — о любви и покое. Но так уж получается, наверное, в жизни, что именно любовь и покой являются той приманкой, на пути к которой ее трепетного и мечтательного соискателя ожидает длинная штурмовая полоса,

полоса препятствий длиною в те самые первые сорок лет жизни, которые, увы, удается преодолеть далеко не всем мужикам, даже тем, кто гораздо круче нас.»

В свои сорок семь, уже в Питере, а точнее, на даче в Вырице, когда камин в большой гостиной, полной светлого дерева и яркого солнечного света, стал не фигурой речи, а реальностью и даже обыденностью бытовой — для тепла, а не для эстетики, — Валерий Алексеевич вычитал в одной из книжек уникальное присловье: «В России живем!»

Понимая теперь, что и туркменская пустыня, и эстонские острова, и рижские мостовые — все это была и есть тоже Россия, Иванов уже не искал больше других слов для объяснения всего, что с ним в жизни случилось и, даст Бог, еще случится: «Чему вы удивляетесь, братцы? В России живем!»

Конечно, Валерий Алексеевич слегка рисовался, да и позволял себе такие разговорные эскапады только с самыми близкими людьми, умевшими вместе с ним иронически усмехнуться над его же словами.

Зная о том, что играет сам с собою, помня, что «русский человек всегда себе кажется самозванцем», Иванов был потрясен собственным детским дневником, обнаруженным случайно в одной из кочевавшей с ним по жизни коробок с архивами. Конечно же, дневник этот не перечитывался ни разу с момента его написания. Да и теперь открывать его было больно и страшно, и неудобно, и стыдно почему-то. Но, преодолев в первый раз внутреннее смущение; странное, как будто в чужие, а не в свои собственные залезаешь детские секреты, Валерий Алексеевич уже не мог оторваться и обнаружил очень много для себя интересного.

— И самое главное, Катенька, — говорил он своей второй и, как втайне надеялся, уже последней и любимой жене. — Ведь что интересно, оказывается, я всю свою жизнь уже в детстве себе предсказал, именно в этом самом дневнике!

— Что именно, Кот?

— Да все, абсолютно все! Я-то ведь искренне считал, будучи уже взрослым человеком, что в детстве даже и не мечтал о том, какую жизнь хочу прожить.

— Ну, так не бывает, милый.

— Ну, конечно, мечтал, но мне казалось почему-то, что в детстве я стремился совсем к другому, не к тому, что получилось. Не могу вспомнить даже, какой мне представлялась идеальная жизнь. У меня ведь никогда, даже в детстве, не было кумиров. То есть тех, «делать бы жизнь с кого»! Ну да, я любил тех или иных героев книг, уважал каких-то исторических деятелей. Но никогда

я не хотел стать чьей-то копией, пусть даже это был бы величайший человек на земле.

— Да и я была такою, разве нет?

— Так ведь, наверное, потому мы с тобой и вместе сейчас, а? Дай поцелую! Ну вот, сладко!..

Так вот, в результате, стал. копией своих детских мечт! Невероятно!

— Что ж тут такого удивительного, милый? Ты хотел, ты стал! Гордиться можно этим! И я тобой горжусь! Ты у меня лучший в мире Кот!

— Ну нет, Катя, нечем мне гордиться, и ты сама это знаешь. То начинал, это не закончил, этим не стал… Все как у всех. Но другое меня поражает. Вот, скажем, герой нынешних сериалов — селф-мейд-мен, короче. Сделавший себя сам. Мачо такой, хреначо…

Но ведь даже этот убогий типаж, он ведь себя по какому-то лекалу сам себя, понимаешь, сам себя всю свою жизнь вытачивал! А я вот напрочь и искренне забыл о том, что, оказывается, с детства хотел прожить именно такую, свою жизнь! Я всегда, все годы, лет так с семнадцати и до нынешнего момента, когда открыл этот нелепый детский дневник, был убежден в том, что живу чужой, не своей жизнью! Что судьба, случай или, не знаю кто еще, просто вдоволь поиздевались надо мною и подсунули мне чужой сценарий!

— Не ты ли сам говорил мне, что жизнью своей доволен и другой не хотел бы?

— Знаешь, к сорока годам мне стало казаться, что я уже все, абсолютно все в жизни испытал. Я ничего не хотел, мне ничто было не интересно. Я умереть хотел тогда от нежелания повторять все снова и снова. Еще один вагон съеденных шашлыков. Еще один снятый сюжет. Еще одна смазливая ассистентка. Пошлости говорю, прости… Страна моя рухнула. Я не смог отомстить за нее в полной мере, согласно присяге. Я пытался, но не смог этого сделать до конца, и пусть никто бы не смог, но мне это было все равно. Я так и не нашел тогда *Любовь,* которой жаждал с самого детства, с первого класса, может быть. Я только потом снова нашел тебя. А без этого — без страны, без любви, без цели в жизни — зачем мне было жить? Строить капитализм в отдельно взятой Латвии?

Натурализоваться в латыши или валить еще дальше на Запад? Не нужен мне берег турецкий! Нам предлагали в 91-м эмигрировать на Кубу. Даже в Китае можно было устроиться тогда, пока был на нас спрос. Но зачем я на Кубе? Кем? Без Родины, без долга. Наемником? Куда, к кому? Да я же и не был

никогда, в отличие от моих товарищей, крутым бойцом — я аналитик, политик. кому нужен проигравший политик? Журналист? Для кого писать и снимать?!! Для кого?

Зачем? В 90-е годы это был просто нонсенс. Я поиграл в коммерческое телевидение, в рекламу, я накатался по белу свету, я пощупал моделей и досыта наобедался в дорогих ресторанах. Но зачем?!

— А просто личное счастье, частная жизнь? Семья, дочка, быт?

— Ты же все знаешь. Дочь выросла. Любовь с первой женой кончилась. Все сломалось вместе со страной. А потом, к счастью, сломался и бизнес. И только тогда я снова встретил любовь, я снова стал выкарабкиваться, я ощутил аппетит, хоть какой-то аппетит к жизни.

— Да у тебя просто было несварение желудка вместе с кризисом среднего возраста.

Бог тебя спас.

— Бог. Конечно, Бог. Только зачем? Да и не думал я тогда о Боге. Я лишь с тобой, потом, когда уже пережил свои сорок и вошел с тобой вместе в новый век, понимать стал, что не все так просто было. И с крещением в августе 91-го. И с детскими мечтами, которые, оказывается, сбылись, хотя я и сам этих детских мечт не помнил. Вот послушай, хоть и стыдно читать это сегодня. Вот что я нашел. Пятнадцать лет ведь мне было.

Глава 3

1975.

«— Вот это номер! Жизнь-то сложна! Что же делать?

— А черт, его знает! Наверное, любить.

— Всю жизнь, до смерти?

— И даже после!

25.02.75. Меня раздирают, на куски отчаянные сомнения. Я хочу быть и военным, и хочу объездить весь мир. Выход, наверное, один — работать бы в армейской газете!

27.02.75. Теперь я понял, почему так велико мое желание стать военным. Ведь со словом, «офицер» у меня ассоциируются такие понятия, как воля, честь, решительность, мужество, то, чего мне иногда не хватает.

28.02.75. Сегодня я убедился, что алгебру знаю на слабую четверку с минусом, а геометрию вообще на двойку с плюсом. Стыдно стоять у доски и копаться при решении простых в общем-то примеров, ведь у меня экзамены, на носу. И потом, в Суворовское ведь тоже дураков не берут! Ну, теперь постановляю: каждый день повторять не менее трех параграфов по алгебре, а сегодняшние задания по алгебре и геометрии разжевывать до последнего неясного знака. А вообще, как говорит. Юрка С., «учеба задавила»! За последнюю неделю руки даже не тянутся к стихам.

01.03.75. Ну вот и началась весна. Неохота учиться! Вчера получил от Аркашки магнитофонную ленту — письмо. Сегодня записал на пленку ответ и отправил ему в Таллин. Интересно! А я все-таки очень хочу подружиться с какой-нибудь хорошей девчонкой: умной, смелой, решительной и ласковой. Истосковался по ласке, не материнской, не ласке вообще, а дружеском участии. Эх, жизнь!

Жизнь очень сложная штука — жить так, как надо, — наука!

02.03.75. Иногда меня охватывает страшное желание писать, писать и еще раз писать. Прочитал сейчас очень верные слова: «Любовь, как и всякие другие чувства, должна чем-то питаться». Я же, не видя Наташу уже два года, перестаю ежечасно думать о ней. Она не исчезла в моей душе, но постепенно отодвинулась на второй план. Эх, организовать бы клуб спорщиков! Так иногда охота подискутировать, посоревноваться интеллектами.

03.03.75. В последнее время я замечаю за собой увлечение сочинениями. Я с охотой берусь за самую трудную тему. И прямо скажем, не без успеха. Из всех профессий сейчас я бы, пожалуй, выбрал три: журналиста, офицера и киноактера. Странный подбор, не правда ли?

05.03.75. По алгебре решаю регулярно, каждый день. Еще занимаюсь по утрам атлетикой, после занятий — холодный душ. Сегодня после уроков были танцы. Играли «Искатели». Ирина Жилина сама пригласила меня станцевать танго. И я почти уже не слышал музыку. Я осторожно взял ее ручку в свою. Она (Ирина) была прекрасна. Я избегал смотреть и даже дышать на нее. Но танцевал я довольно сносно. Она спросила меня: «Валерка, а ты с кем-нибудь дружишь?» «Дружу, — ответил я, — с Юри-ком». «Да нет, — сказала она, — с девочкой!» А потом тихо добавила: «Если нет, то плохо». Музыка кончилась. Ирина взяла меня под руку, и я отвел ее на место. В следующий раз я не вытерпел и сам пригласил ее. Я старался развеселить Ирину, показать себя остроумным, эрудированным, кажется, мне это удалось. Я говорил с Ириной обо всем. Но — вот осел! — не поговорил с ней о стихах. Интересно, как мило умеет она сердиться! И все свои просьбы делает так непринужденно, с такой улыбкой, да еще посмотрит чудным взглядом очей! Сам кидаешься помочь ей. Но она, пожалуй, избалована вниманием Юрика. И еще, кураты побили Язю, сволочи! Набросились кодлой. Но он не струсил, одному харю до крови разбил.

16.03.75. Скучно… Сегодня посмотрел французский фильм. «Жил-был полицейский» с Мирей Дарк в одной из ролей. Фильм, понравился. Мирей Дарк тоже.

А если я не мог иначе? Я мог, я сделал, только так! Мне ни к чему копейка сдачи На неразменный мой пятак!

Пусть сотню раз неверен будет Мой первый шаг, мой сотый шаг. Пусть сотню раз меня осудят — Я мог! Я сделал — только так!

26.03.75. Сегодня утром, сильно заболело горло, но я попил чаю с лимоном, и вроде бы. все прошло. Побродил по комнате, не зная, чем. заняться, и вдруг оделся и пошел на улицу. Забежал в магазин, купил конфет, и, старательно дыша носом, чтобы, не заболеть, отправился к дому, где живут Жилины. Хотел сначала зайти внутрь, но побоялся, что меня увидят. Как раз напротив их дома живет Финкель, а в самом их доме Ахто. Странно, да? Испугался гласности там, где нет тайны, — это уже что-то. И так, значит, прошелся я у нее под окнами пару раз и зашел к Финкелю для маскировки. Ну а затем, пошел домой и весь день просидел на месте. А все-таки я пойду в Суворовское, если зрение позволит. Ох и скука. И это называется каникулы!

03.04.75. Мой идеал девушки: белокурая, голубоглазая, стройная, конечно. Умная, непосредственная, но без наивности, честная, но умеющая хитрить, когда это нужно. Сегодня мне приснился сон, будто я оказался в Ленинграде, в квартире

Жилиных, которые тоже там. оказались. Что она почти любит меня. Но вдруг ее выдают замуж по каким-то страшным обстоятельствам, и я ничего не могу сделать. Потом я сижу где-то на набережной и сердце щемит такая боль, что я проснулся. К нам приехал еще один новенький из ракетчиков — Саня Воробьев, он сидит со мной. Хороший, видимо, парень.

16.04.75. Итак, я, кажется, окончательно выбрал себе профессию. Поступаю в Высшую школу КГБ на факультет, журналистики.

27.04.75. Ну, дела… Я, кажется, рассорился со всеми мальчишками, кроме Воробьева. С ним я, наоборот, подружился. С Бурыкиным я сейчас тоже разругался. По-видимому, из-за Ирины мы постоянно чувствуем неприязнь друг к другу. Притом, они одноклассники и на год старше. И вот неприязнь вылилась в ссору. Ну хорошо же! Они еще узнают, что я за человек!

30.04.75. Сегодня в школе был вечер. Там была и Ирина. Боже, как она хороша! Нет, это нельзя описать! Она прекрасна. Красота, ум, воля. Что еще нужно? О боги! Красавица! Но она сама мне сказала, что у нее сердце из льда.

11.05.75. Уже двенадцать дней я ничего не записываю. Рекордная лень. Родители уехали в отпуск, в Ялту, а я остался на попечении соседей. По-моему, эта весна самая лучшая в моей жизни! Чуть ли не каждый день теплыми майскими вечерами мы собирались в штабном дворе. Ночи белые. Светло. Саня Воробьев играет на гитаре, и птицы тоже поют. Разговариваем, смеемся, в общем, ходим пьяные этой весной, счастьем, жизнью. Ну и жара же уже сейчас! До тридцати градусов на солнце! Я уже открыл купальный сезон и успел сгореть. Очень сложные у меня отношения с Ириной. Не могу никак разобраться, в чем дело? Я, кажется, раздумал в Суворовское. Говорят, после него нет выбора, куда поступать. А это мне не подходит.

Заповеди на будущее:

1. Пей, не опускаясь до свинства!

2. Не кури!

3. Не хвастай и не лги даже по мелочам (когда это не нужно).

4. Не унижай человека, зависимого от тебя.

5. Самообладание и самостоятельность.

6. Осторожность.

Завязалась переписка с Людой Д. Она хвалит мои стихи!

13.05.75. Читал сейчас Куприна, и его рассказы, буквально потрясли меня красотой и увлекательностью изображения. Особенно понравилась его повесть «Прапорщик армейский». Почему так увлекли меня эти рассказы? Не потому ли, что в них я ищу и изредка нахожу случаи, подобные моему? Читая Куприна, я

невольно сравниваю себя и И. Ж. с его героями и убеждаюсь в том, что любовь — это очень непросто. Я иногда вижу Лену Гончаренко. Она очень красива и умна. Ей не откажешь в тактичности, в общем, повезет тому, кто на ней женится.

15.05.75. Только что пришел из кино, смотрел новый французский фильм «Великолепный». Понравилось. На обратном пути я прошелся по ночному городу. Здорово! Не холодно, но ночная прогулка бодрит. Твои шаги так гулко отзываются на пустынных улицах, и лишь кошки перебегают тебе дорогу. Забежал в сад, чужой, разумеется, и позаимствовал три огромных тюльпана. Особенного греха, по-моему, в этом нет, так как наши ребята таскают дорогие вещи из магазинов, я по сравнению с ними невинная овечка.

18.05.75. Ну, теперь-то я на скуку не жалуюсь. Сегодня ночью мы с Иншаковым (его отпустили ко мне ночевать) не смыкая глаз гуляли по городу. Обошли, наверное, весь Кингисепп! Хорошо! Тихо, на улицах никого нет, все спят, и лишь ты идешь по городу и ощущаешь власть бодрствующего над спящим. Тюльпанов мы нарвали штук пятьдесят самых различных цветов и оттенков. А один букет положили под дверь И. Ж.

19.05.75. Сегодня опять сакую. Просидел в школе три урока, а потом отпросился у Мальцевой (хороший учитель!) и ушел домой, сказав, что больной. Что-то я в этом году стал много и безбоязненно прогуливать. Теперь я понял, что меня так потрясло и удивило вчера во внешности

Ирины — я почувствовал в ней не только интеллект, ум, прочие духовные, сердечные качества, но и женщину. Но почувствовал без похабного разглядывания и грязных мечтаний.

22.05.75. Вот и кончилась моя любовь. Все было буднично и просто. Никаких заверений в дружбе, трогательных объяснений. Просто она отдала Бурыкину все мои записки со стихами. И дала ему право осмеивать меня. Если он кому-нибудь скажет, про эти записки, я его изобью, но дело-то не изменится! Как горько ощущать крах всех своих идеалов. Впрочем, может, она и права. После чудесной погоды поднялся ветер и ливень, а вечером была гроза — вовремя, не правда ли?

28.05.75. Кончили учебу. Готовлюсь к экзаменам. Прочитал сейчас пару книг (фантастику) о том, как игроки в кости силой воли подчиняли себе кубики. Затем подряд выкинул четыре шестерки. Вероятность (об этом, я тоже прочел в книге) — 1 шанс на 50 тысяч. Как это понимать? Сегодня утром заболело горло. Стал в «позу Льва». Повторил асану три раза, и боль как рукой сняло. Чудеса в решете!

29.05.75. Еще один день канул в Лету. Снова скучаю… А Ирину

я все-таки вспоминаю. Странно. Прошло только двадцать дней с отъезда родителей, а я уже скучаю по ним. А точнее говоря, надоело одиночество. Послезавтра — экзамен. Анатомия. Перечитал все свои стихи. Некоторые просто отличные. (На мой взгляд, конечно.)

31.05.75. Пришел только что с экзамена по анатомии. Получил пять. Иногда, сидя вот, как сейчас, в кресле, с книгой, слушая музыку, я со страхом вдруг спрашиваю себя: «Неужели моя жизнь так и пройдет без приключений, великих дел, необузданных страстей?» И мне становится не по себе, и я думаю — способен ли я на что-нибудь значительное? И не могу найти ответ на этот вопрос.

01.06.75. Вот и началось лето, а погода совсем паршивая — дожди. В последнее время я стал увлекаться Лермонтовым. В его книгах я черпаю (и с немалым наслаждением) познания, пусть теоретические, о любви, о смелости, о мужестве, о жизни. Из всех героев книг, что я читал, мне больше всего нравятся Печорин и Штирлиц — Исаев. Вот это подбор! Сейчас час ночи. Сижу, слушаю поп-музыку по приемнику. Выглянул случайно в окно подышать свежим воздухом и заметил, что настали белые ночи. В самое темное время можно свободно читать. Фонари не горят, да их и не надо. В такие минуты становится немного грустно, и сердце щемит какое-то ожидание. Как у Грина. Несбывшееся.

05.06.75. Получил по сочинению четыре. А еще мечтаю стать журналистом! Никуда не годно! Стоят холода, всего плюс десять. Фигово. Скоро приедут Ренев с Аркашкой. Написал сегодня на всякий, не дай бог, случай завещание. (9-го числа геометрия, а я еще не знаю ни одного билета. Боюсь ужасно.)

Удивительно, только сейчас я почувствовал, что я уже почти взрослый человек и физически, и духовно. Уже вечер, а я еще не притрагивался к билетам. На что же я сдам геометрию?

07.06.75. Приехали из отпуска родители. И я сразу повздорил с отцом. Видимо, я разобрался, почему я остерегаюсь драться и дерусь лишь в крайнем случае. Я боюсь не боли, нет Я боюсь того, что, если не справлюсь с противником, меня засмеют. И это меня останавливает.

15.06.75. Ездили с родителями, Барановыми и их гостями на дюны… К ним родственница приехала — Марина. Она старше меня на два года. Но маленькая ростом, хоть и красивая.

Веселая и очень простая. Жалко, скоро уезжает. Поиграли в волейбол, купались, жарили шашлыки. В общем, время провели здорово. А к вечеру мы с Мариной пошли гулять по дюнам и отошли подальше от взрослых. И Марина серьезно так спросила меня — целовался ли я уже с девочками? Я, конечно, соврал, что

целовался еще в седьмом классе. Тогда она стала дразниться, что не верит и чтобы я показал, как надо целоваться. А то она еще не целовалась ни разу в жизни. И я сказал, что надо уйти еще дальше. Мы отошли в густой-густой можжевельник на берегу, как будто ищем клад. И там набрели на какую-то лодку. Лодка была большой, хорошо снаряженной и совершенно целой. Побродив вокруг нее, мы заметили, что ее тащили волоком на машине и замаскировали в кустах весла. Тогда мне словно стукнуло в голову, что вчера отец говорил по телефону о какой-то украденной лодке. Мы пошли и сказали об этом ему. Он и Баранов сразу посерьезнели и без промедления пошли туда. Номер на лодке был стерт, но по оставшимся цифрам можно было разобрать номер своровавшей. Тогда взрослые взяли топор, прорубили днище у лодки и сломали весла. Затем, как только мы приехали домой, отец позвонил на заставу, на чьем участке дюны, чтобы за лодкой установили наблюдение. Дело, как сказали отец с Барановым, было серьезным, так как на этой лодке вполне можно было попытаться уйти в Швецию. Снова я почувствовал, что здесь, что ни говори, граница. Вместе с этим я ощущал законную гордость за то, что именно я нашел эту лодку. Марина уезжает завтра. Смог бы я поцеловать ее, если бы не эта проклятая лодка?

17.06.75. Завтра уезжаю с Реневым дня на три на Сырве, к Черкесовым. Думал, что туда поедут и девятиклассники на экскурсию, то есть что там будет и Ирина, но они будут на 14-й, а не на 15-й заставе. А какая у меня все-таки хорошая мама!

22.06.75. Сегодня вернулся с Сырве. Было очень здорово. Погода наладилась, стоит жара, на небе ни облачка. Жили в пустой квартире на ПТН (отец Оли Черкесовой начальник пункта технического наблюдения, капитан-лейтенант. Смешные звания в морчастях). Там для нас поставили кровати со всем бельем. Вполне комфортабельные условия, даже ели мы у Черкесовых. Вообще, Черкесовы очень хорошие люди. Купались в море, там очень глубоко, больше пяти метров. И я с маской и ластами нырял там, достали ракету от пистолета, убили змею. Зашли на 15-ю заставу, на которой мы жили когда-то. Было здорово. Там, на Сырве, я здорово тосковал по Ирине. А потом, сегодня днем за нами заехали на ГАЗ-66 и отвезли на 14-ю заставу, к девятиклассникам. Там мы побыли до вечера и вместе с девятым (теперь десятым) классом уехали домой, в Кингисепп. Кстати, на ПТН я обыгрывал в теннис всех моряков, а потом, когда приехали на 14-ю заставу, я обыграл всех девятиклассников. Все это видела Ирина, но делала вид, что ей не интересно. А остальные, даже девчонки, говорили: «Здорово играет, лучше всех!» Посмотрел я на Ирину, на то, как она все время проводит с Бурыкиным, и вдруг все мое

взволнованное от встречи с ней состояние исчезло. Да, она без сомнения, красива, умна, спортсменка, но даже со своими подругами она ставит, себя выше всех. Короче говоря, любовь к Жилиной уходит на убыль. Кстати, признавалась же мне в любви Иришка Китова, пусть и в письмах.

25.06.75. Отец наконец-то договорился с Ребане — капитаном яхт-клуба, и мы снова весь день провели в море на его крейсерской яхте! Здорово! Подходили к песчаной банке далеко от берега и купались, прыгая в воду прямо с яхты! Вода была такая прозрачная, что я боялся ноги отшибить, прыгая, хотя глубина все же была метра три, не меньше!

26.06.75. Сейчас я прочитал в книге: «Кто же боится смерти в пятнад-цать—семнадцать лет?» Я совершенно не согласен с этим утверждением! Именно сейчас, в начале жизни, когда я еще не познал всех ее радостей, но понял, как она хороша, я особенно страшусь с ней расстаться.

27.06.75. «Чтобы почувствовать себя живым, надо ускользнуть от лап смерти. Чтобы ускользнуть от них, надо попасть в эти лапы».

30.06.75. В Кингисеппе построили новую почту. Шикарное здание. Вообще, в последнее время город сильно похорошел. Если бы только здесь жили одни русские! Смотришь на бесчинства куратов и невольно становишься националистом.

01.07.75. Вчера вечером, едва я лег спать, меня охватило весьма странное и постыдное чувство, а именно — страх. Почему?! Сам до сих пор не разберусь. В тот час я боялся всего: предстоящей поездки на дюны, моря, воды вообще, эстонцев. Но через некоторое время я все же взял себя в руки. Что это было? Я вдруг понял, что я взрослею, что мне уже не четырнадцать, а шестнадцатый год, что я никогда уже не буду тринадцатилетним. Вообще, в последнее время меня стали занимать (видимо, от безделья) странные мысли. И я боюсь. Что упущу свое, прожив всю жизнь, и опомнюсь, когда уже будет поздно. Хочется, чтобы со мной что-то случилось, чтобы, попадал в крупные переделки, чтобы, я почувствовал, что меня можно уважать. Опять жарко. Странно. Только второй день стоит солнечная погода, а она мне надоела. Хочу сильный ветер, ливень как из ведра, хочу настоящей, полной событий жизни. Читаю сейчас «Основы, марксистской философии». Странно, но мне интересно.

10.07.75. Сегодня начал ездить на работу в колхоз. Работка, конечно, не то чтобы, адова, но паршивая. Попробуй-ка помахай тяпкой четыре часа без перерыва, и все при тридцатиградусной жаре. Ирина, видимо, куда-то уехала, я ее не встречаю больше. Люблю я ее или нет? Достоин я ее или нет? Человек я или нет?

Достоин я уважения или нет? Недавно прочитал такие слова: «Он не сможет обидеть слабого, сделать подлость, написать анонимку на сослуживца…» И задумался: а я, я могу сделать это? И чем взрослее я становлюсь, тем больше понимаю, что жить очень непросто.

15.07.75. Погода хорошая — дождик. Работаю в колхозе. Ничего — терпимо. Написал в газету «Советская Эстония» заметку. Думаю, ни черта не выйдет.

18.07.75. Сегодня получка. За очередную неделю работы, в колхозе получил 24 рубля.

Не густо, конечно, но терпимо. И все время машу тяпкой и думаю о разном, но больше всего об Ирине. И если иногда мне дают выпить рюмочку-другую родители или мы с Реневым опустошаем по бокалу домашнего вина, уворованного у его бабушки из сарая, то всегда я мысленно провозглашаю тост: «За Ирину!» Снова читаю Куприна. Ищу объяснения своим поступкам в его рассказах о любви. И опять перед глазами Ирина. «Жизнь сера, как армейское сукно».

23.07.75. Ну вот и кончилась моя «работа». Скоро поеду в Таллин. Читаю много и больше классику. Проглотил «Хождение по мукам», оказалось очень интересно. Ездил вчера на дюны. Никого не было, чувствовал себя эдаким Робинзоном. Загорал, купался нагишом. Здорово! В этом была вся прелесть. Уляжешься всем своим натуральным голым телом на мокрый песок берега и смотришь на волны, ощущая природу.

28.07.75. Вот я и в Таллине. Ничего, живу. Погода жаркая. Аркашка на работе последний день. А я гуляю. Походил по Вышгороду, зашел в тир, пострелял. Ничего стрелял — из 50 выбил 47. А вообще-то здесь тоже скучно. Черт! Скоро в школу!

5.08.75. Завтра улетаю домой, в Кингисепп. Ничего, приятно погулял. Видел монумент, посвященный Ледовому походу, ходил в кино. Теперь немного знаю Таллин, в центре не заблужусь. Сегодня открываю «Советскую Эстонию», а там моя заметка о кинотеатре — здорово! Напечатали все-таки!

6.08.75. Вот я и дома. А до чего же быстро! Сел в восемь часов в самолет в Таллине. Вышел из него в половину девятого в Кингисеппе. Хоть я и не первый раз летаю на самолете, но все равно здорово. Пополнил теперь свою коллекцию поп-музыки. Записал Deep Purple, Sweet, Alice Cooper, Stoking Blue, Slade и др. Здорово, что мою заметку напечатали. Да еще с рисунком. Главное начало положено. Я понял вдруг, что для Ирины я просто мал возрастом, ведь она старше меня на год. И вот такое дело: я ее люблю, а она меня нет А люблю ли я ее? На улице страшная жара, я потею, как негр в Сахаре.

8.08.75. Опять жарко. Учу английский и марксистскую

философию. Утром бегаю купаться. Скучно.

16.08.75. Погода портится. Но я не даю себе скучать. Читаю, читаю и читаю. Сейчас Рижская киностудия снимает у нас в замке фильм — хожу смотреть. Получил письмо от Люды Д., очень обрадовался и сразу написал ответ на пяти страницах, испортив три черновика.

23.08.75. Сегодня целых два часа говорили с отцом об армии, о войне. И я еще острее ощутил, как это важно — быть офицером, солдатом, не допустить войны. И всегда первые — пограничники. Как в Отечественную, так и на Даманском.

12.09.75. Я решил идти, если позволит, зрение, в политическое пограну-чилище. Проклятый дальтонизм! Неужели же я не пройду медкомиссию?

13.09.75. Суббота. Сегодня в ДОФе были танцы. Хорошо было. Но. Ирина ни разу не взглянула на меня.

15.09.75. Были в колхозе на картошке. Стихи… Что-нибудь случается со мной, я вижу любимую, грущу. День-другой эта встреча присутствует в моем сознании, и на третий невысказанные слова или обращаются в стихи, или умирают. Сегодняшний день не прошел бесцельно, я написал стихотворение.

5.10.75. Черт. бы. побрал эту математику, а вместе с ней и физику! Получил письмо от Люды и от Аркашки Москвина. Слушаю Битлов. Погода осенняя, пасмурная, но я такую люблю. Скучно. Получаю письма от Л. Д., страшно их распечатывать. Ну да ладно. Я давно как-то прочитал в дневниках Лермонтова запись, что он всегда набело переписывал свои стихи с детства и подбирал куда-то. Так вот, Лермонтова потрясло, что то же самое делал Байрон. Меня же потрясло то, что я, сам того не зная, делаю то же, что и Байрон с Лермонтовым.

10.10.75. Вот уже второй день сакую. Скучно, но в школе еще хуже. Слушаю «Шокинг блю». Об Ирине уже не думаю. Почти не думаю. Д. С. проявляет знаки внимания по отношению ко мне. Но это так, между прочим. Погода хреновая. Настоящая балтийская погода. Дождь, но не сильный, а мелкий, нудный. Поморосит, часок, глядишь — солнце светит. Солнце с полчасика погреет, снова дождь. И так весь день. Играю в теннис в подвале. Обыгрываю по малости наших ребят. Купил новую ракетку, а родители новый холодильник. Смешно. Вот только не пойму, что смешно. Читал Хемингуэя, очень понравилось. Особенно «Прощай, оружие». Скучно и зябко.

11.10.75. Я стану знаменитым! Мое имя будет знать если не весь мир, то Союз обязательно! Я рожден не для подчинения! Ужасно хочется выбиться в люди. Чувствую, что вряд ли у меня есть талант, крупный талант к писательскому делу, да и к

математике у меня не лежат мозги, а если еще не попаду в училище, то совсем плохо дело. Сегодня хороший денек. Я опять лежу, сакую. Болею. Отец опять уехал на границу. Вот что значит быть пограничником. Хоть офицер и служит в штабе, все равно десять дней в месяц он должен быть на границе. Вот так-то. Об Ирине вспоминаю лишь с огорчением, но не с любовью. Надо уметь пересиливать себя. Выпишу из дневника все, касающееся Ирины, и пошлю Люде, выдав это за маленькую повесть с выдуманными персонажами.

14.10.75. Получил письмо от Люды Д. В письме фотография. Она красивая! Скучно! Терпеть не могу математику. Погода ценная. Все!

Глава 4

1976. Алексей Иванович выехал в Ригу рано утром на грузовой машине, куда солдаты споро погрузили вещи. Еще год назад в пограничных войсках решили возродить ликвидированный некогда Прибалтийский пограничный округ со штабом в Риге. Отца Валеры перевели на новое место службы уже тогда, но квартиру в только что построенной девятиэтажке ему, как и большинству офицеров управления дали только в июне 1976 года. Квартира была трехкомнатной, на девятом этаже, в Иманте — новом рижском микрорайоне.

Перспектива расставания с островами сначала будоражила воображение Иванова, потом, когда пришло время собирать вещи и прощаться с одноклассниками, навеяла легкую грусть и небольшое беспокойство — как-то оно там сложится, в новой школе? Жалко было серебряных перстня и значка с гербом Кингисеппской средней школы, торжественно вручаемых ее выпускникам. Всего-то год оставалось проучиться. Жалко было моря, старинного замка; жалко намечавшегося романа со Светкой.

Но лучшие друзья — Аркашка Москвин и Андрюха Ренев уже уехали — один в Таллин, другой в Москву. Где-то в Латвии, в Даугавпилсе каком-то, жила теперь Люся Донченко, переписка с которой длилась уже третий год. Ирка — первая любовь почти, дочь однокашника отца по училищу, давно уже была в Выборге. Старший брат — Юра — учился в институте в Ленинграде. Да и детство, как наивно казалось шестнадцатилетнему юноше, кончилось уже давно. Пора было вступать в новую, взрослую жизнь, и переезд в Ригу оказался очень кстати. Лето только начиналось по-настоящему. И когда в конце июня, вслед за отъехавшим грузовиком с вещами, к дому подъехал штабной «уазик» с сержантом за рулем и прапорщиком рядом — старшим машины, Валера Иванов почти без сожаления окинул взглядом свой двор на прощание. Они сели с мамой на заднее сиденье, а прапоршик обернулся к маме и спросил обыденно: «Ну что, Нина Алексеевна, поедем?» «Поедем», — вздохнула почему-то мама, и машина тихонько тронулась с места, развернулась, проехала мимо штаба погранотряда, Дома офицеров, автобусной станции, разогналась, шурша, по свежеасфальтированному шоссе в сторону Куйвасту — на паромную переправу.

Через час они уже ехали по узкой, длинной дамбе, соединяющей остров Сааремаа с островом Муху. Чайки метались над водой, камыши золотисто блестели по обе стороны дамбы на

мелководье. Вот и старинная ветряная мельница показалась, еще несколько километров, и «уазик» плавно остановился у шлагбаума перед пирсом. Пограничник на КПП отдал честь прапорщику, не проверяя документы пожелал счастливого пути Ивановым, и машина въехала на небольшой автомобильный паром, приткнувшийся к пирсу. Морская свежая волна чуть покачивала судно, внутри пахло маслом и отработанными газами. Зато на палубе можно было осмотреть панораму медленно удаляющихся островов, получить соленую порцию брызг в лицо и спрятаться наконец в небольшом буфете для пассажиров.

Еще минут сорок паром преодолевал небольшой пролив, отделяющий Моонзундский архипелаг от материка, пока не причалил деловито в Вирт-су. Ивановы с прапорщиком снова сели в машину и через два часа уже были в Пярну. Пока ехали, Валера вспоминал Ромассааре — маленький порт с двумя причалами, неподалеку от Кингисеппа. Там билась волна о кранцы по бокам пирсов, там была заводь, окаймленная гранитными валунами, на которых мальчишки любили загорать; с которых прыгали в глубокое здесь море, ныряли, шарили по дну, вытаскивая на берег трубчатый порох, рассыпавшийся с затонувшего еще в войну транспорта с артиллерийскими зарядами. Потом эти трубочки заворачивались в фольгу, поджигались, мини-ракета взлетала, рыская зигзагом, и, пролетев несколько метров, шипела, падая в волны прибоя. Одно лето Валера провел здесь не с мальчишками, а с новой соседкой по дому — одноклассницей Ольгой. Отец ее был ракетчик, он совсем недавно вернулся из Египта после войны. Ольга хвасталась невиданными тогда еще никем в городке цветными фломастерами, резинками причудливой формы и разного цвета с арабской вязью на них, рассказывала всякие небылицы со слов отца. Они рисовали этими фломастерами, устроившись на горячих гранитных валунах; пенистая, теплая волна омывала ноги, рискуя подмочить альбомы для рисования. Тут и подраться пришлось с эстонцами, которые начали дразнить их с Ольгой на остановке автобуса, отправлявшегося в город. Но Ольга тоже уехала вскоре — ее отца перевели в Ленинград. Валера еще раз подумал, что вовремя уезжает с острова, и сосредоточился на разглядывании Пярну, уже тянувшегося по краям шоссе, незаметно превращаясь в главную улицу города.

На автовокзале они с мамой попрощались с прапорщиком, перекусили, потом сели в новенький междугородный «Икарус» и полетели вдоль моря, то прятавшегося за соснами, то снова выглядывающего, блестя зеленоватой голубизной за разбросанными по берегу пригоршнями огромных валунов,

казавшихся с дороги просто просыпавшимися камушками. Ригу Валера просто-напросто проспал, задремав в дороге. И проснулся только тогда, когда автобус уже остановился на автовокзале. Жара, суета, петушки на шпилях соборов, вереница желтых такси на маленькой площади… и все люди вокруг говорят по-русски! После Эстонии, где даже в Таллине эстонская речь все же была слышна куда чаще русской, после островов, где русскими вообще были только военные, — это казалось каким-то чудом.

Таксист, резво промчавшийся по набережной и понтонному мосту на левый берег, в новом микрорайоне запутался. Иманта росла стремительно, белыми корпусами девятиэтажек наступая на сосновые рощи, протыкая небо строительными кранами, удивляя не привыкшего к таким масштабам подростка огромными корпусами новой очереди знаменитого радиозавода имени Попова.

Почти полчаса кружили они по Иманте, пока наконец Валера не заметил в одном из дворов знакомый грузовик с прицепом и солдат в зеленых фуражках, разгружающих вещи.

Конечно, мальчик бывал уже не раз и в Ленинграде, и в Таллине, и в Перми — на родине родителей, но все же сразу после Кингисеппа с его старинными улочками новый огромный белоснежный микрорайон показался невозможно современным, просто фантастическим. А когда, опережая нагруженных холодильником солдат (лифт еще не работал), он галопом взбежал на девятый этаж и кинулся к окнам их новой квартиры — дыхание и вовсе перехватило. Панорама Иманты, белыми уступами выплескивающейся прямо в зеленое море бескрайнего — до горизонта — соснового леса, настолько отличалась от безмятежного покоя маленького островного городка, сулила столько новых впечатлений и переживаний, что тут же забылось все, милое раньше сердцу, и новая, сказочная, огромная жизнь, казалось, тут же, у распахнутого в бездонную пропасть окна, подхватила его и понесла по ветру.

(И только много-много лет спустя острова стали вдруг сниться Валерию Алексеевичу почти каждой ночью. Он все карабкался вверх — то на Сыр-веский маяк, то на самую высокую башню замка в Курессааре. Он бродил белой майской ночью по спящему городку и собирал в палисадниках ярко-красные огромные тюльпаны, он танцевал с девочкой — одной и той же, почему-то, в Доме офицеров, признавался ей в любви и все не мог вспомнить потом, кто же это был из одноклассниц? Огромные зеленые волны с белыми клочками пены захлестывали его во сне прозрачной водой, стекали по голому телу и пытались унести с собой, на тот берег, с которого началось его плавание по жизни…

и не могли.)

Обжились быстро, благо не привыкать уже было менять квартиры, города, да и просто заставы. Все удобства, два санузла, огромные коридоры и кухня, три комнаты распашонкой, новая мебель и даже новенький цветной телевизор — только-только поступивший в продажу огромный ящик с большим экраном. В телепрограммах цветные передачи отмечали прямоугольничком. Сначала их было не так много, а потом все больше и больше.

Новые друзья, с которыми вместе ходили отдавать документы в новую школу — в десятый класс. Сережка Гасенок, Сашка Ладейкин, Ирка Шмы-гина — все они попали в один десятый «б». Естественно, что офицеров в штаб вновь созданного Прибалтийского погранокруга собирали со всего Союза. Сашка приехал из Даурии — с Дальнего Востока, Сережка из Калининграда, Ирка из Таджикистана. Этажом ниже жили сестрички Афонины, погодки, тоже ровесницы Валеры, только учиться им предстояло в параллельном десятом. Афонины были из Алма-Аты, как и Светка Маляренко — девятиклассница и Сашка Гребенкин — ровесник Валери-ного старшего брата. А вот Леночка Белкина — ей еще только в восьмой класс идти — приехала из Туркмении. Всех и не перечислить — все-таки больше ста квартир в доме принадлежало пограничникам. Соседи по площадке, жившие напротив, служили раньше на Кавказе. А рядом с Ивановыми жил вертолетчик, погибший потом в Афгане.

Все офицеры, как и их семьи, были, конечно, русскими. Если не выделять отдельно украинцев и белорусов, конечно. Но привыкшие жить по заставам и гарнизонам в национальных республиках пограничники уже четко понимали, кто для них свой, а кто чужой в советской семье народов. Конфликтов на национальной почве в отдаленных, приграничных районах было множество. Да и власть — она всегда власть, а олицетворяли ее для местного населения на окраинах огромной страны именно пограничники. Не говоря уже о том, что и в самые спокойные, мирные времена на границе всегда находились участки, в которых прорывалось напряжение, доходившее до прямых вооруженных столкновений. Кроме того, именно пограничников, как войска, выполняющие постоянно реальную боевую задачу, имевшие и в мирное время боевой опыт и соответствующую боевую подготовку, часто использовали в локальных войнах, перманентно вспыхивавших на планете. Пограничники нередко становились военными советниками, инструкторами, разведчиками, основным личным составом ограниченных воинских контингентов. Прямое подчинение Комитету государственной безопасности диктовало и специфику службы,

многое в которой не укладывалось в рамки привычных представлений советского общества, которое в массе своей считало, что живем мы в мирное и спокойное время.

Конечно, дети всего не знали и знать не могли, но о многом догадывались, а что-то просто не могло пройти мимо них. Так, в семье Ивановых не велено было афишировать некоторые моменты семейной биографии, но тем не менее сыновья знали, что отец несколько месяцев был в Чехословакии во время известных событий, что год с лишним, до ранения, пробыл советником в. Мозамбике, скажем. Правда, отец не покупал на чеки импортных вещиц, не привозил из Африки редких сувениров. Говорить о заграничных командировках и тем более обсуждать их с посторонними было не принято.

Но тем удивительнее было для мальчика знакомство с сослуживцем отца — Царевым, только что вернувшимся из Штатов, где он служил в охране посольства. Царев сам пригласил мальчика послушать музыкальные записи, привезенные из Америки, подарил ему несколько редких дисков со шлягерами 70-х. Это не были тяжелые рок-группы, наоборот, впервые Валера услышал легкую, мелодичную музыку, которая оказывается тоже была популярна на Западе, только не среди тинейджеров, а у людей старшего поколения.

Оторванные в очередной раз от своих школ, друзей и привычной обстановки, ребята, приехавшие в Ригу к новому месту службы родителей, быстро и легко перезнакомились и подружились. Этому способствовало, конечно, и то, что их родители часто уже были знакомы, пересекались где-то в других округах, в училищах, погранотрядах.

Жизнь потекла стремительно, полная новых знакомств и впечатлений. Все квартиры в доме уже были обхожены. Тогда еще не вышла на экраны «Ирония судьбы», но сюжет этого фильма отчасти был уже предвосхищен в этом конкретном доме. Мало того, что все почти здания в Иманте были как братья-близнецы, так еще и мебель в квартирах «пограничного» дома у всех одинаковая. Ведь никто из офицеров не тащил обычно с другого конца страны старье, старались обновить обстановку уже в Риге. У многих и мебель тоже была раньше служебной, а не только квартира. Ну а поскольку планировка квартир, естественно, тоже была одинаковая, то и расставить мебельные гарнитуры «Рига», закупленные большинством новоселов, можно было именно так, и никак иначе. Так что почти в любой квартире «пограничного» дома можно было чувствовать себя так же уютно, как в своей, и заранее знать, где что находится. Одна среда, общая служба родителей, одна школа у детей. Это была интересная смесь

привычной гарнизонной жизни, когда все и все про всех знают, с широтой возможностей довольно большого столичного города.

До начала занятий в школе было еще далеко, и свободная от забот молодежь проводила время, осваивая совместно Ригу и, особенно, Юрмалу. Ездили на пляж почти каждый день, поражаясь толпам отдыхающих, заполнивших взморье. Вечерами устраивались на лугу за домом — перед сосновым лесом, начинавшимся тут же, на песчаном взгорке. Сашка Гре-бенкин приносил гитару, жгли костер, пели за полночь песни, играли в «картошку». Старшие попивали, конечно, портвейн, ну а тем, кто помладше, а компания собиралась разновозрастная — без ограничений, хватало и одной-двух сигарет, выкуренных часто впервые. Девчонкам посопли-вее, младшим сестренкам, которых не прогонишь ведь, дарили шоколадки и не давали их в обиду. Но и обижать было некому — все были свои — пограничные и долго еще так и держались, особняком, не обращая внимания на местные, рижские компании микрорайона.

Вспыхивали, как порох, скоротечные детские романы, легкие увлечения, каждый раз казавшиеся чем-то особеннным и вечным. И так же быстро сгорали, оставляя на губах вкус первых поцелуев, легко забывавшихся поначалу, вспоминающихся потом всю жизнь.

Поглядывая в окно школьного кабинета литературы на заснеженные сосны, отложив в сторону сочинение на заданную тему, Иванов торопливо нацарапывал жестким стержнем наивные строки о первом опыте любви. Одноклассник — будущий «золотой голос Латвии», а пока еще просто солист школьного ВИА, вскоре положит их на музыку и будет петь на выпускном бале, который наступит неожиданно слишком быстро после такого долгого детства.

Звенит в снежинках тишина,
Вечерний лес покрыла тайна.
Не знаю, в чем моя вина?
Но мы расстались не случайно.
Здесь летом, в зелени травы,
В багряном пламени заката
Впервые целовались мы,
Но это было лишь когда-то.
А слово горькое «сейчас»
Всю боль мою в себя вместило.
Сейчас судьба простила нас,
Зато любовь нас не простила.
Не думал я тогда, что вдруг
Земля качнется под ногами,

Все переменится вокруг,
И я смогу расстаться с Вами.
А лес все так же молчалив,
Вот только снег покрыл всю зелень.
Я был, наверно, тороплив…
Вот так же быстро шло и время.
Звенит в снежинках тишина.
Вечерний лес покрыла тайна.
Не знаю, в чем моя вина,
Но мы расстались не случайно.

Глава 5

Выпускной вечер в Рижской 76-й средней школе заканчивался. Десятый «б», уже бывший десятый, на первом утреннем автобусе дружно отправился из Иманты в Юрмалу. Рассвет на море встретить, правда, не успели — в июне светает рано. Но под первыми солнечными лучами побродили по взморью, попели песни. У маленького магазинчика в Булдури на глазах выпускников остановился молочный фургон; грузчик выставил у дверей несколько ящиков молока, и машина спокойно поехала дальше. Опустошили один ящик, набросав в него денег мирно спящим еще продавщицам, и потом, сидя на пляже, с наслаждением, картинно, пили молоко из больших стеклянных бутылок, смеясь над другими выпускниками, съехавшимися в Юрмалу со всей Риги и обалдевшими от такой картины. Но спиртного немало уже было выпито тайком этой ночью, и хотелось теперь не буйной радости, а тихой грусти.

У Иванова не так много было друзей в этом классе. Приехав в Ригу год назад, он дружил со своими соседями — такими же, как он, детьми пограничников. Сережка, Сашка, пара девчонок из их «пограничного» дома. С остальными одноклассниками их тесная компания чаще конфликтовала, порой до драки; в остальное время просто сосуществовала по необходимости. Уж слишком разными они были по сравнению с коренными рижанами. Рижане по большей части были по-городскому наглы, развязны, считали, что они почти «европейцы» и все-все уже повидали на свете. Они в основном хорошо учились (школа была базовой для Академии наук), занимались спортом, с детства ходили в кружки и клубы. Родители у них, как правило, были весьма состоятельными или же принадлежали к городской интеллигенции, словом, так или иначе, не были «солдафонами».

При всем при том «пограничники» повидать успели куда больше своих рижских сверстников. Просто опыт их был несколько специфическим. Да и образование они по многим предметам успели получить куда более солидное, несмотря на высокий статус их новой рижской школы. И принципы, то самое мировоззрение, основы которого закладываются в детстве, у них были во многом другие, чем у одноклассников. Ребята быстро успели понять, что за признанными лидерами класса на самом деле не стоит ничего серьезного, заработанного ими лично. И модная одежда, и хорошие (при учителях) манеры, и общая городская «нахватанность», и широкий кругозор — все это было, по большей части, им просто «дано». И слишком часто на деле

оказывалось, что товарищи они не из лучших, что знания их и успехи на олимпиадах подсужены, что за примерным комсомольским поведением многие скрывают банальную и слишком раннюю подлость.

Конечно, Валера и его друзья не были тихими ангелами. Да что там, их поведение, в отличие от примерного (на глазах учителей) большинства, было просто вызывающим. Но оно не было двойственным. Если кого из учителей любили, так искренне. Не любили — тоже искренне, не скрывая того от педагогов. Но не прятали себя — какими были друг с другом, такими и в школе.

Компания Иванова не стала принимать близко к сердцу прохладные отношения с новым десятым классом, волею судьбы ставшим для них выпускным. Они просто жили своей жизнью.

С кем-то несколько раз подрались. С кем-то заключили союз, допускавший приятельские, но не дружеские отношения. И потихоньку стали осваиваться в Риге самостоятельно.

Свобода, та самая, притягательная для всех юношей, внешняя свобода крупного и к тому же немного «западного» по советским меркам города, манила их своей новизной после суровых и простых прелестей гарнизонной жизни. И если раньше каждый шаг их так или иначе становился известен родителям и учителям, да и свои же сверстники, такие же, как они все — офицерские дети, — накладывали друг на друга известные ограничения, принятые в их кругу, то в Риге вся компания сорвалась с катушек по полной программе.

Впрочем, «срывание с катушек», воображаемое про себя ребятами, было на самом деле весьма невинным даже по тем временам. Прогуливали уроки, попивали винцо, курили в подъездах и бренчали на гитарах вместо посещения подготовительных курсов в вузы.

Смешно, но, ведя обычную для многих выпускников школы жизнь, они чувствовали себя в глубине души чуть ли не преступниками. Резкий переход от во многом идеального и тепличного в нравственном отношении мира застав и пограничных гарнизонов к миру большого города подстегивал, торопил пробовать все, ранее неизведанное, большими кусками, глотать не прожевывая, как будто можно было не успеть, как будто жили в последний раз.

В школе показывались редко. Иванов выезжал на хороших знаниях (особенно по гуманитарным предметам), полученным в своей прежней школе, где учителями у него, несмотря на Богом забытые острова в погран-зоне, были жены офицеров с прекрасным московским образованием. Да и внимания к каждому

ребенку было в несколько раз больше, поскольку в классах было не более десяти—пятнадцати учеников. Его друзья-соседи держались за счет взаимопомощи и хороших способностей к точным наукам. Кроме того, уровень знаний местных отличников оказался на удивление низким по сравнению с гарнизонными школами в далеких военных городках. К тому же в десятом «б», в котором они все учились, было тридцать девять учащихся. И три параллельных десятых класса. Короче, в этом потоке никому, собственно, не было дела до нескольких новичков, всего лишь на год появившихся в школе. А потому вперед и с песней!

Рига манила кинотеатрами, кафе, новыми знакомствами, неисследованными окрестностями. Именно тогда Валера впервые закурил, тогда же нормой стало выпить с друзьями. Причем не винца какого-нибудь, как изредка случалось и в Кингисеппе, а водочки. В доме было много девчонок — ровесниц, или чуть младше, или чуть старше — какая разница? Любови, танцы, страдания, стихи — все это переполняло до края последний «учебный» год. Ощущение свободного полета над бездной — вот что это было такое на самом деле. Неудивительно, что аттестат зрелости не изобиловал у ребят пятерками, чудо, что было не так уж много троек. У Иванова все они пришлись на естественно-научный цикл, остальное вытянул на «хорошо» и «отлично» благодаря старой школе. Если учесть, что бывали недели, в которые ребята ни разу не показывались на уроках, — ничего удивительного в таком результате не было.

Заранее подав документы в военкомат для поступления в Высшее пограничное военно-политическое училище в подмосковном Голицыне, Валера не загадывал много на будущее. Вернувшись домой после выпускного, он едва успел раздеться и тут же упал на постель, открыв глаза только на следующее утро. Правда, смутно припоминалась мама, будившая его, чем-то кормившая прямо в постели. Но окончательно в сознание он пришел только на следующий день — и не от выпитых символического шампанского да нескольких глотков водки тайком в пустынных школьных закоулках — от впечатлений.

«Детство закончилось», одновременно и грустно и радостно подумал он, проснувшись. И вспомнил свою кингисеппскую школу, как будто наяву услышал, как хор девочек-старшеклассниц всегда пел на последнем звонке: «Детство мое, постой, погоди, не спеши. дай мне ответ простой, что там, впереди?»

Здесь, в Риге, все было по-иному. Целых два школьных ВИА всю ночь соревновались друг с другом, кто лучше перепоет новинки из «Deep Pur-ple» или старые добрые шлягеры Beatles. Ну

и, конечно же, «Отель Калифорния» и «Дым над водой» повторили раз по десять под тихий восторг танцующих в полумраке пар, тесно прильнувших друг к другу, под громкие выкрики старательно топчущих паркет зала «кружков». «Детство закончилось!» — сколько раз повторял про себя эту фразу Валерий Алексеевич потом… И в восемнадцать, и в двадцать пять, и в тридцать лет. Но вдруг, как-то резко, фраза зазвучала уже по-другому. «Молодость кончилась», — грустил сорокалетний Иванов. А уж когда стало под полтинник, то и вовсе: «Жизнь прожита.»

Детство на самом деле, конечно, осталось там, на островах, утонуло в Балтийском море.

А Рига стала для шестнадцатилетнего Валеры началом юности. А взрослым. стал ли он взрослым, женившись? Или приняв на руки новорожденную дочь? Или приняв крещение — во всех смыслах этого непростого слова — в августе 91-го года? Или не станет уже взрослым никогда? Я не знаю. Смотрю вот сейчас на него, курящего сигарету за сигаретой, сидящего в кресле у камина в тельняшке и валенках — круглый кот из детской книжки, не иначе.

Да и стихи его стали другими, другими, другими.

Вишня. Девочка. Всюду кошки.
Яблоки падают прямо в темя.
Ветви тянутся прямо в окошко.
Наливается в яблоках время.
Наливается кровью сердце —
Толчками, сверчками, водой ключевой.
Солью, сахаром, луком, перцем
И смородинной кислотой.
Боже мой! Двадцать лет
Словно были и нет
Чай под яблоней — наш секрет.
Наш защелкнувшийся браслет.
Обручальное наше кольцо —
Ветер, вечер и лето в лицо.
Наши книги и наша река.
И скамеечка в лопухах.

Валерий Алексеевич щурится от дыма, попавшего в глаза, делает глоток кофе и продолжает рассказывать мне, дачнику, свою жизнь. У меня бессрочный, до полного старческого маразма, творческий отпуск. Я скучаю. И потому слушаю, от нечего делать, его бесконечный, немного ленивый рассказ, потихоньку

соображая про себя, а не сделать ли из этого хоть какой да товар?..

Всего две недели прошло после выпускного, а на руках у абитуриента Иванова уже и воинское требование, и направление из военкомата. Три медкомиссии прошел он на пути к этим документам. Одну в военкомате, одну в поликлинике 4-го медицинского управления, одну в районной поликлинике. А все книга профессора Рабкина с тестами на цветоощущение, выученная им наизусть. Книгу эту, по просьбе отца, принес Валере сосед по площадке — майор медицинской службы. Иванов зазубрил все картинки, все правильные ответы, потому что, говоря по правде, на самом деле был дальтоником. И вот три комиссии победил. Несколько раз вызывали его и на собеседование в Большой дом на улице Ленина. Сначала за пропуском в приемную, вход с угла, в маленькую дверь под ажурным «фонарем» вычурного старинного здания с множеством балкончиков, башенок и прочих украшательств югендстиля начала XX-го века. Потом в главный вход, на второй этаж, по роскошным переходам, неожиданно скромным не по архитектуре, нет, по внутренним деловым интерьерам. «Целый полковник» за столом, сидящий напротив, приветливо расспрашивает о планах на будущее, о родителях и школьных друзьях.

Хитрый, как ему самому казалось, молодой человек называет самых приличных из приятелей, отличников примерного поведения, «забывая» упомянуть о тех, с кем провел в одной компании свой первый год в Риге.

— А как же Сергей Гасенок, Саша Ладейкин? — удивленно спрашивает полковник. — Вы же в одном доме живете, в одном классе учились. Что же, вы не дружили, что-ли? — Теперь он уже хмурится.

— Ну, это так, приятели, — краснеет Иванов, уже понимая, что вляпался на совершенно ненужной лжи.

А потом повторное собеседование и снова неприятность. Когда в первый раз заполнял анкету, нужно было указать место работы мамы, и он, не помня точно номер ее торга, написал от балды, какой придется. Теперь ему снова пришлось выслушивать внушение.

— Нам нужны серьезные и ответственные молодые люди, — втолковывал ему по-отечески полковник Матвеев. — Хорошо, что мы прекрасно знаем Алексея Ивановича, вот на кого вам бы надо равняться, Валерий. Да и старший брат ваш заканчивает институт с отличием, насколько я знаю, собирается после окончания идти на флот, становиться кадровым офицером. Направление в училище я подпишу, но пусть вам на всю жизнь будет уроком наш

разговор — маленькая ложь, пусть даже без злого умысла, всегда может принести большие неприятности. И даже не вам лично, это как раз не так уж трагично, а делу, которому вы будете служить. А вот это уже очень и очень серьезно. Запомните, в жизни нашего офицера нет мелочей. Сегодня — забыл, завтра — недосмотрел. А за вами — люди, личный состав, ваши солдаты, а за вами — Родина. Помните об этом!

— Полковник встал, подчеркнуто крепко пожал Валере руку и отпустил с Богом, подписав направление в погранучилище.

Кто бы как ни относился к Комитету государственной безопасности, но те слова ой как нужны были молодому Иванову. Да еще, если бы он не пропустил их мимо ушей… А так полжизни потребовалось ему потом для того, чтобы совершать ошибки, большие и маленькие глупости, страдать самому и заставлять страдать близких, пока не понял наконец, что на самом деле хотел ему сказать повидавший жизнь, виды и людей полковник. Пока не понял, *что* тот успел разглядеть важного в характере подающего надежды юноши, *что* может помешать Иванову в еще только начинающейся жизни.

Но давно известно пока гром не грянет — мужик не перекрестится. Банальные истины потому банальны, что они — верны. И пока ты не перестанешь отмахиваться небрежно — мол, знаю, знаю — от самых простых житейских истин, пока не дойдут они не только до ума, но и до сердца, пока не обожжешься до кровавых пузырей — не поумнеешь.

А если бы еще кто сказал тогда Валере, что есть еще отсечение собственной воли, что есть еще Царский путь Золотой середины, он и вовсе бы слушать не стал. Поскольку долгие годы был убежден, что соль жизни

— в ее крайностях. Любить так любить, гулять так гулять… Работать так работать. Меры не знал никогда молодой Иванов ни в чем. И удержу тоже. Делал что хотел, жил как хотел, ошибался как хотел. Много находил, много терял. Потом вдруг понял а жизнь-то пролетела почти! Приуныл. Стал есть себя поедом. А потом понял: наконец, что такова его жизнь, таковы его «пути небесные». Что только так он смог бы стать человеком, а никак иначе. Жизнь выковывала его, как каждого из нас, ударяя по той стороне, по какой именно *этому* куску мягкого железа надобно. Прибавляя стойкости, силы, ума, души, ответственности, жалости и ненависти в пропорции необходимой, чтобы в результате получился все же именно Иванов, а не Петров или Сидоров. И успокоился тогда Иванов и стал себе жить-поживать. Какой уж есть.

Глава 6

Гвоздики белые стояли
На этом праздничном столе,
И их фужеры отражали
В своем граненом хрустале.
Ты горько плакала впервые,
Ломала хрупкие цветы.
Кругом огни — огни ночные
Средь напряженной темноты.
Да тишина, что хуже крика,
Да кровь в прожилке на виске.
И никого. Лишь ты — трусиха.
Соль слез. Букет гвоздик в руке.

Гвардии рядовой Иванов переминался в тулупе и валенках с ноги на ногу. Обойдя пост, он мечтал о сигарете да вспоминал, чтобы быстрее закончился второй час смены проводы в армию. Была тогда середина мая… Влажная прибалтийская весна… Солдат поежился, передернул плечами в тяжелом тулупе, перехватил поудобнее карабин и медленно побрел обходить автопарк. Приказом начальника войск правительственной связи КГБ СССР в карауле в войсках выдавали личному составу СКС, несмотря на то что постоянным личным оружием у каждого был, естественно, автомат. Говорят, чтобы меньше было происшествий со стрельбой на посту. «С автоматом было бы удобнее», — возразил про себя приказу Иванов и снова вернулся мыслями к весне. После неудачной попытки поступить в военное училище жизнь неожиданно пошла совсем не в том направлении, которое привычно виделось Валере и его родителям раньше. Само собой подразумевалось, что младший сын пойдет по стопам отца, закончит погранучилище, будет себе служить, где прикажут, — вот и все планы на будущее. Так вроде и складывалось. Обманув последовательно все медкомиссии, абитуриент Иванов прибыл в подмосковное Голицыно и начал сдавать экзамены. Он уже успел получить две пятерки — по истории и за сочинение, готовился к ненавистной математике, но тут их группу направили на училищную медкомиссию.

«Обрадовать» Иванова в «абитуру» пришел майор — преподаватель училища и давний друг семьи, присматривавший за парнем по просьбе отца.

— Понимаешь, Валера, медкомиссия тебя «задробила». Я мог

бы настоять на твоем зачислении, экзамены ты сдаешь хорошо, да и преемственность у нас в войсках ценят. Но комиссия городская, из штатских. И потом, все равно медкомиссию тебе проходить на каждом курсе. Рано или поздно все равно отчислят и пойдешь дослуживать солдатом на заставу еще два года. Тебе это надо?

— Не знаю, — потерянно промямлил Иванов, уже предполагавший подобный расклад после того, как на медкомиссии окулист выложил перед ним не обычную книгу с картинками профессора Рабкина, заранее выученную им наизусть, а какие-то совершенно незнакомые таблицы.

— Мне очень жаль, из тебя вышел бы хороший курсант. Но делать нечего. Время еще есть, экзамены в гражданские вузы начинаются только в августе. Поживи пока у нас, посмотри Москву. Вечером позвоним Алексею Ивановичу, он через неделю возвращается из отпуска, из Перми, заедет к нам — в Ригу отправитесь вместе. Иди собирай вещи.

— Это уже все окончательно, Николай Петрович? — робко спросил парень.

— К сожалению, да. Приказ об отчислении из абитуры уже подписан. Ты, конечно, можешь с нашими оценками поступить во Львовское училище — журналистов и культпросветработников. Но это Советская армия, я бы тебе не советовал туда идти. Ни учиться, ни служить. Там, к сожалению, бардак полный, в отличие от нашей системы. Только никому об этом не говори, понял?

— Понял. — мрачно протянул Иванов, тоскливо проводив взглядом взвод курсантов в зеленых фуражках — старшие курсы отправлялись на стажировку в войска. Он знал о взаимной корпоративной неприязни между войсками КГБ и армией. Разница была в том, что войска КГБ несли боевую службу и в мирное время, соответственно, в них на порядок выше была дисциплина, другие условия службы, выше уровень подготовки, личный состав был славянским, да и много чего еще было совсем по-другому устроено.

— Ну, тогда забирай чемодан и пошли к нам, пора обедать.

Так вот и закончилась мечта. Закончилась определенность. Нужно было думать, что делать дальше. Бродя с утра до позднего вечера по Москве, Валера почти не обращал внимания на город. Тем более что столица, хоть и был он в ней впервые, как-то ему не глянулась, в отличие от любимого с детства Ленинграда, который он и знал хорошо, и понимал.

О том, кем быть, Иванов не задумывался в последнее время. Все, казалось, было решено. И тут такой афронт неожиданный. Юноша покупал в киосках разные, незнакомые раньше сорта

сигарет — для пробы, много курил, но в голову ничего путного так и не приходило.

Аттестат у него был не очень, сказалась вольная жизнь в Риге в десятом классе; технические специальности его не привлекали. Гуманитарные науки были понятнее и проще, он всегда много читал, без особых усилий со своей стороны получал с лету пятерки по литературе, языкам, истории. Но сказать, чтобы его куда-то влекло конкретно, он не мог. Так ничего и не придумав, решил дожидаться отца, а там ехать в Ригу, авось все само собой разрешится.

Отец, конечно, был разочарован. Но самым обидным было то, что он во всем винил сына.

По его словам выходило, что никакого дальтонизма у Валеры нет, а просто он решил «откосить» от военного училища и потому сам завалил медкомиссию. Этого Валера ожидать просто не мог, настолько это не соответствовало действительности. Конечно, сорвавшийся с катушек при переезде семьи в Ригу бывший отличник и паинька не ждал от отца особых похвал. Но от такой несправедливости комок подступал к горлу и хотелось заплакать.

От громкого треска и ослепительного света внезапно взлетевших со всех сторон ракет часовой Иванов ошарашенно вздрогнул и чуть было не передернул затвор карабина. Черное зимнее небо все расцвело разрывами фейерверков. «Новый год же у немцев наступил!» — сообразил наконец растерявшийся солдат и смачно выругался на себя за невольный испуг. «Надо же, новогодний салют принять за нападение на пост», — засмеялся он в голос, осматриваясь кругом. Гарнизон Отдельного гвардейского Бранденбургского трижды орденоносного полка правительственной связи КГБ СССР находился в небольшом городке Рехаген, в часе езды от Берлина. Но зарево от сотен и тысяч взлетавших ракет было совершенно невиданным никогда ранее. «Как будто и в самом деле война началась!» — подумал Иванов, вспоминая редкие сигнальные или осветительные ракеты, которые взлетали в новогоднее небо над Кингисеппом на островах; да даже и в Риге никаких фейерверков на Новый год не было, кроме самопальных. Иногда к обычным ракетам добавлялись СХТ (сигналы химической тревоги), тревожно и совсем непраздничо завывавшие в вышине. А тут! Как салют в Москве в День Победы по телевизору!

Новый год «по Москве» Иванов успел встретить в караульном помещении. Командир полка лично прибыл поздравить караул, передал в подарок огромный торт, испеченный женами офицеров, и целую корзину всякой немецкой дребедени — колы, жевательных резинок и конфет. Вспомнив об этом, часовой

огляделся воровато, перекинул карабин «на ремень», что уже было нарушением устава, расстегнул тулуп и добрался до заныканной в шинели пачки жвачки. Засунул в рот сразу пару пластинок, застегнулся и снова предался назойливым мыслям о годе, предшествовавшем призыву.

Вернувшись из Москвы в Ригу, Валера уже собрался было побездельничать, оставив все на усмотрение родителей, но не тут-то было. Старший брат Юра заканчивал в Ленинграде Электротехнический институт по специальности «конструирование дальней корабельной радиосвязи». Учился он отлично, школу закончил с медалью, в институте получал Ленинскую стипендию, словом, был живым укором непутевому младшему брату. Родители повздыхали, поругались между собой и отправили младшего поступать в гражданский вуз в «колыбели трех революций». Конечно, содержать двух студентов в Ленинграде было достаточно накладно для семьи подполковника Иванова, но делать было нечего.

Валера встряхнулся, словно и не было неудачного поступления в училище, и отправился в любимый город на Неве. Неповторимый ленинградский запах ворвался в поезд уже при подъезде к Варшавскому вокзалу. С детства наезжавший в Ленинград при первой возможности, а возможностей таких предоставлялось немало, Иванов давно уже успел и изучить и полюбить совершенно неповторимую имперскую Северную столицу.

«Не знаю я, известно ль вам,
Что я певец прекрасных дам,
Но с ними я изнемогал от скуки.
А этот город мной любим
За то, что мне не скучно с ним, —
Не дай мне бог, не дай мне бог,
Не дай мне бог разлуки.
Не знаю я, известно ль вам,
Что я бродил по городам
И не имел пристанища и крова.
Но возвращался я домой
В тот край меж небом и Невой.
Не дай мне бог, не дай мне бог,
Не дай мне бог иного…

Эта песенка Евгения Крылатова из «Достояния республики» непроизвольно мурлыкалась немузыкальным Ивановым всякий раз, когда он попадал в Ленинград после долгой разлуки с ним.

Город этот словно пунктиром проходил по всей его жизни, странным образом возникая в самые важные ее периоды. Вот и тогда очередная развилка судьбы нарисовалась перед юношей именно в Питере.

Кем быть? Куда поступать? Остановившись в комнате, которую старший брат снимал у вдовы-генеральши; в комнате, набитой антиквариатом, в комнате с огромным арочным окном, выходившим на Малую Голландию, неподалеку от дома Блока, Иванов совершенно ошалел от своей сопричастности русской истории и литературе, от ощущения жизни, открывающейся перед ним именно здесь.

На выходе из метро «Маяковская» его внезапно остановила стройная ладная девушка с круглым лицом, окаймленным пышными волнистыми черными прядями.

— Валерка! — она даже завизжала от восторга неожиданной встречи и порывисто обняла юношу. Тут же сама испугалась таких бурных проявлений чувств и отступила на шаг.

— Наташка! Ты тут поступаешь? — Иванов взял девушку под руку, они отошли в сторонку, потоптались в фойе станции, потом выскочили на Невский, смеясь и дурачась.

— Ой, тут и Светка, и Ольга! А мальчишек из нашего класса нет никого.

— Обидно! А как там остров наш поживает?

— Да что ему сделается! Наши все разъехались дальше учиться, кто куда, по всему Союзу.

Ну а как ты? Почему не в Риге поступаешь? Это у нас, на островах, некуда, а в Таллин многие поехали. Слушай, там же Люська в Латвии, в Даугавпилсе! Вы виделись?

— Нет пока, только переписываемся. А я в Институт культуры поступаю, на режиссуру.

— Да ты что? Режиссером будешь? Ну надо же!

— Это если поступлю. В Риге же все творческие профессии только на латышском, — заважничал Иванов.

На самом деле еще неделю назад он и знать не знал ни о том, что есть такой институт культуры на самой Дворцовой набережной, ни о том, что там есть факультет режиссуры.

Да и все его знакомство с профессией режиссера заключалось в наспех пролистанной книге Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Просто к брату в гости зашел сокурсник, посидели все вместе, немного выпили. И вот тогда сокурсник посоветовал Юрке, на голову которого внезапно свалился младший братец:

— Пусть попробует в институт культуры, на режиссуру. Там в прошлом году перебор был, конкурс страшный — человек тридцать—сорок на место. Ну вот, все и испугались, говорят —

боятся, что даже недобор будет на экзаменах!

На следующий день Валера отыскал институт, что было нетрудно, обошел вокруг старинное здание, оценил Марсово поле, Лебяжью канавку и вид на Неву, открывающийся из окон института, набрался наглости и подал документы в приемную комиссию.

Однако на первой же консультации он узнал, что конкурс вовсе не так мал — больше десяти человек на место. А главное оказалось, что вместо английского, которого Иванов не боялся, надо будет сдавать неведомую и страшную «специальность». За этим словом скрывался экзамен по актерскому мастерству, о котором абитуриент, естественно, только слышал краем уха, но понятия не имел, что это такое. Однако отступать было поздно, документы уже поданы.

Обо всем этом Иванов, конечно, не стал рассказывать бывшим одноклассницам по Кингисеппской школе. Они встретились, поехали в Петергоф; на последние деньги Валера угощал их шампанским и шашлыками, рассказывал о «творческих планах» и, в общем, покорил совершенно.

Тем временем надвигались вступительные экзамены, к которым парень так и не успел подготовиться. Он, правда, выучил басню и лирическое стихотворение Блока. Но о том, что еще ждет его, не имел никакого понятия. Однако, как ни странно, экзамен сдал на «хорошо». А ведь, в отличие от него, поступать сюда съехались люди уже взрослые, окончившие культпросветтехникумы, работавшие в театрах или Домах культуры. Жутко и весело было наблюдать, как в коридорах института танцевали, пели, жонглировали мячиками и разыгрывали сценки какие-то совершенно не от мира сего молодые люди.

Войдя в аудиторию, Иванов увидел в экзаменационной комиссии известного на всю страну актера и внутренне ойкнул. На каком-то автопилоте он прочитал басню и стихотворение, принял участие в короткой импровизированной сценке и сел писать сценарий на тему пословицы: «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться». Этот сценарий, впрочем, удался неплохо — что-то на тему защиты окружающей среды. Да и сценарий массового театрализованного представления о проводах в Советскую армию — тоже.

Но радоваться было рано. Даже получив пятерки по истории и сочинению и четверку за русский устный, он так и не прошел по конкурсу. Счастливый сон быстро закончился, а с ним и белые гвоздики, подаренные Оле, бывшей однокласснице и подружке, с которой когда-то вместе купались в порту Ромассааре; ее белое

платьице, трепетавшее на ветру Дворцового моста, пирожки с мясом у Эрмитажа, короткий поцелуй и обещание встречи. Встречи, на которую Валера так и не пришел, отправившись несолоно хлебавши обратно в Ригу. В таком же неведении о том, куда он вдруг подевался, осталась и Наташка, с которой они встречались в Поварском переулке, в часы, когда ее тетка уходила на работу. И Светка, которую он провожал домой куда-то на край света, в Купчино, и тоже говорил о любви. И Ленинград — Петербург — Петроград, мудрый и загадочный город, намекнувший слегка иронически на скорую встречу.

Специальность, на которую поступал Иванов, называлась «режиссура массовых театрализованных праздников». Пришла перестройка, и немало таких «праздников» пришлось ему организовывать, режиссировать, проводить. И демонстрации, и пикеты, и митинги, и беспорядки, и многие другие «театрализованные праздники», порой даже со стрельбой и красочными взрывами. И выступать с грузовичка на забитой толпой Дворцовой площади, в том числе. Город все знал, город грустно улыбался и ждал нового возвращения Иванова.

Почти тридцать лет спустя, уже имея в Питере квартиру и работая в глянцевом журнале обозревателем, Валерий Алексеевич случайно попал на эксклюзивную экскурсию. Прохаживаясь по крыше Эрмитажа, снимая удивительные панорамы из-за спины прекрасных скульптур, застывших на Зимнем дворце, Иванов ощутил вдруг, как Петербург открывается ему, как он принимает его и говорит: «Теперь ты знаешь, как это бывает. Ты видел всего лишь кусочек моей истории. Но она теперь вся твоя. Не надо карабкаться снова и снова, чтобы достичь вершин. Ты на крыше Эрмитажа, ты видишь город оттуда, откуда видели его единицы коренных петербуржцев. Успокойся. Я принимаю тебя насовсем — таким, какой ты есть».

И тогда Иванов неожиданно перестал метаться в стремлении снова выстроить, уже в России, карьеру и положение. «Никуда не уйдет», — подумал он и, посоветовавшись с женой, бросил с ней вместе утомительный офис на Фонтанке, переехал на дачу, за город, остановился перевести дух и осмыслить в конце концов и тот кусок жизни, что остался позади, и тот, что предстояло еще, Бог даст, прожить на родине.

А в Риге, в 77-м еще году, не дожидаясь конца лета, Иванов пошел работать на завод имени Попова — знаменитое объединение «Радиотехника». Молодость, глупость, жажда жизни и любви, особенно любви, переполняли его до краев. Но не успел он опомниться, как прошел год, и девочка, целовавшая его осенью у березки, одиноко раскрасившей сосновый бор на окраине

Иманты, принесла ему букет белых гвоздик майским днем. И не расставалась с ним до утра, плача, ломая хрупкие стебли цветов: «Не уходи, милый, теперь ты просто не можешь уйти.» — всхлипывала она. Но уже разыскивали пропавшего до утра парня родители, уже собраны были вещи, и он сам вырвался из девичьих рук, спеша навстречу в очередной раз сказанному жизнью слову: *надо.*

37-й автобус, мокрый от весенних теплых дождей, вез его в военкомат на улице Слокас. Валера стоял у заднего окна желтого «Икаруса» и провожал взглядом белые коробки девятиэтажек по одну сторону улицы Рудзутака и темно-зеленую полосу леса с другой стороны; потом автобус неторопливо проехал мимо громадины радиозавода и свернул на воздушный мост.

«Прощание славянки» неслось из чьих-то «Жигулей», терпеливо провожавших пешую колонну призывников со сборного пункта на вокзал. Ночная пьянка в поезде, потом Минск, посадка на грузовики, в которых всех похмельно мутило, и, наконец, учебка специалистов в Несвиже — старинном владении Радзивиллов. 12-й гвардейский Митавский полк правительственной связи.

С одной стороны отдельного городка учебного батальона стоял величественный Фарный костел, откуда по воскресеньям доносились звуки органа, с другой — разлеглись пруды, за которыми на острове, в парке, белел замок Радзивиллов. Будущих классных специалистов гоняли как сидоровых коз. Ежедневные три-шесть километров по утрам — через парк до ближайшей деревни; технические классы с аппаратурой связи, развертывание радиорелейной станции, стрельбы, строевая, наряды. Через полгода — значок специалиста третьего класса на грудь и распределение. По всему миру. В Монголию, Мары и на Дальний Восток — тех, кто не проявил достаточного рвения. Тех, кто учился получше, — в Чехословакию, Польшу, Венгрию, Германию. Некоторых выпускников учебки отправляли на Кубу или во Вьетнам. да где только не служили в то время советские солдаты.

Так Иванов, через Молодечно и Брест, на поезде, отправился до Франк-фурта-на-Одере. Оттуда на машинах в Котбус. Из Котбуса в Рехаген. И началась служба.

— Стой, кто идет? Осветить лицо! — заорал Иванов показавшейся смене.

— Разводящий!

Глава 7

«Путь от Волги и до Шпрее, всем известно, был нелегок и суров! Знамя славы фронтовой над нами реет, знамя братьев и отцов! А мы стоим здесь на заданьи, всегда в дозоре боевом, солдаты Группы войск, Советских войск в Германии, покой земли мы бережем.» — Многоголосое мычание рот, вышедших на вечернюю прогулку, мешало разговору. В этот вечер ответственным по роте был старший лейтенант Гриценко, и он, по своему обыкновению, освободил Иванова от прогулки, повел в летнюю курилку — излить душу, поговорить о чем-нибудь, кроме службы.

Старлей был слегка пьян, несмотря на дежурство, и потому в выражениях не стеснялся. Странная дружба с рядовым солдатом основывалась на том, что Гриценко был совершенно нетипичным офицером и вообще белой вороной в трижды орденоносном полку. Он просто не хотел служить и мечтал уволиться из войск, куда попал по молодой глупости, соблазнившись после первого года срочной службы предложением закончить курсы младших лейтенантов и таким образом перейти в совершенно другое положение. Курсы он закончил, погоны офицерские получил, но оставаться в кадрах уже не имел никакого желания, поскольку еще до армии успел поступить в Литературный институт, где и продолжал теперь учебу заочно. Старший лейтенант Гриценко был поэт. В этом году ему нужно было защищать в Литинституте диплом — свой очередной поэтический сборник. Но командир полка под любым предлогом не хотел отпускать офицера на защиту, справедливо полагая, что после защиты старлеем диплома будет труднее мотивировать нежелание отпускать молодого литератора на гражданку.

Тогда Гриценко начал добиваться, чтобы его просто-напросто выгнали. Он стал пить в открытую, демонстративно, часто прямо на службе. Но командиры просто-напросто «не замечали» такого безобразия, редчайшего в полку, и только все чаще назначали поэта в разные безобидные, по большей части хозяйственные, наряды. То по штабу дежурить, то по по столовой, то по автопарку. Узнав, что служивший в его роте Иванов тоже пишет стихи, Гриценко проникся к рядовому симпатией. Человеком старлей был порядочным; сам безобразничал, добиваясь увольнения, но солдат в свою борьбу с начальством не вовлекал. Просто отводил душу в беседах о гражданке, читал свои стихи, разбирал неумелые творения Иванова, советовал, просто старался поддержать в солдате творческую жилку, чтобы не умерла в нем

музыка после службы в армии, чтобы не забыл о том, что поэзия существует.

Для Иванова такое отношение к себе и своим стихам было внове. Он в первый раз в жизни познакомился с настоящим поэтом. В Риге круг его знакомств был очень далек от творчества. Сначала офицерский дом, потом рабочие на заводе — в этой среде про свое детское увлечение стихами лучше было просто молчать в тряпочку — не поймут, хорошо, если не засмеют. Надо же было такому случиться, чтобы именно в армии, в Германии, ему попался поэт в обличье старлея взвода тропосферной связи!

Иванов воспрянул духом, зачастил в библиотеку, стал готовиться к поступлению после службы в университет. Конечно, о Литинституте он даже и не мечтал. Да и поэзию никогда не считал своим призванием и не относился к ней серьезно, скорее стыдился этого своего увлечения. Ему и в голову не приходило, что поэзия может быть профессией, делом каким-то на всю жизнь! Но неожиданное приятельство с Гриценко все же сказалось. Валера перестал думать о школе прапорщиков, в которую зазывали солдат второго года службы, гарантируя им контракт и службу в ГСВГ по окончании школы. А ведь в те годы попасть на службу в ГСВГ мечтали многие! Двойной оклад, льготы, возможность покупать разные шмутки, иногда слегка спекульнуть привлекали многих офицеров, и уж тем более прапорщиков.

Иванов, потянув солдатскую лямку, да еще вдали от дома, за границей — без увольнений, без посылок — соскучился по гражданке и серьезно пересмотрел свое былое желание посвятить жизнь армии. Он не разочаровался в ней, как можно было бы подумать, совсем нет! Просто понял, в том числе и благодаря поэту — старлею, что жизнь не заключается только в привычной ему среде, что есть еще много в жизни других занятий и возможностей, от которых глупо было бы отказываться вот так, сгоряча.

Сама по себе служба в войсках правительственной связи его вполне устраивала. Офицеров в полку было чуть ли не больше, чем солдат, порядок был исключительным, а то, что служить всегда легче там, где порядок, а не там, где бардак, солдаты понимали очень быстро. Никакой дедовщины, которой пугали призывников дембеля на гражданке, в этих войсках не было. Да и первые полгода службы Иванов провел в учебке, а там все курсанты одинаковы. Но и в «боевом» полку, уже в Германии, тоже не было ничего подобного страшилкам, которыми любила пугать друг друга перед армией молодежь.

Конечно, старослужащий был уважаем молодыми солдатами, но скорее как более опытный и умелый наставник, имеющий

право погонять «молодого» по службе, не оскорбляя лично. А уж о каких-то физических издевательствах или побоях и речи быть не могло. Вот физподготовкой, изнурительными тренажами и изучением вверенной техники «деды» нагружали «салаг» по полной программе. Да, требовали ритуального уважения к «дедушке». Но и только.

Офицеры в полку были профессионалами высокого класса, отличными техническими специалистами. Конечно, выполнение боевых задач способствовало более тесным взаимоотношениям среди экипажей радиостанций, из которых в основном и состоял полк. Случись что во время выполнения боевой задачи по обеспечению правительственной связи — отвечать все равно офицерам в первую голову. Но и они зато, понимая это, не только натаскивали солдат по службе, но и относились как к людям, от которых зависит многое.

Впрочем, к такому отношению Иванов привык еще в детстве, ведь в погранвойсках, входивших в ту же систему КГБ, взаимоотношения между офицерами и солдатами строились на тех же принципах — боевая задача требовала отдачи от каждого.

Всегда приятно вспоминать «тяготы и лишения», которые позади. Отсюда, наверное, и столь любимая всеми мужиками застольная армейская тема. Монотонность и трудности службы быстро забываются, а разнообразные приключения и полезные в молодости испытания — остаются навсегда.

К счастью, большинство экипажей радиорелейной роты, в которой служил Иванов, не засиживались подолгу в гарнизоне. Повседневная служба в самом полку утомляла железной упорядоченностью. Старые гарнизонные казармы, доставшиеся в наследство еще от танковой дивизии СС, были уютны и удобны. Идеальный порядок и чистота, налаженный быт, отличное питание по нормам пограничного пайка; обмундирование и то отличалось наличием полушерстяного комплекта, кожаными ремнями и юфтевыми сапогами. В уютной солдатской чайной поражали воображение прибывших из Союза курсантов разнокалиберные ряды колы и прочих «химических» напитков в красивых нестандартных бутылках; искусственный немецкий мед и конфеты в красивых упаковках, жевательная резинка и прочая ерунда, которую быстро распробовали на вкус и от которой так же быстро отказались, предпочитая яркой немецкой химии натуральные советские продукты.

Денежного содержания в принципе хватало, правда, рассчитывать надо было только на себя — ни посылок, ни переводов служащим за границей солдатам не полагалось. Письмо через Москву со штампом «полевая почта номер такой-то»

— вот и вся связь с домом.

Но даже базовые двадцать восемь марок, плюс доплаты за классность, за должность и прочее, были для солдат немалыми деньгами. Хватало и на «подшивку», одеколон и прочие туалетные принадлежности, и на «чайник». Многие умудрялись экономить жалованье и тогда отоваривались в промтоварном магазине джинсами Wrangler, туфлями «Саламандра» и прочими редкими в Союзе вещами, забивая дембельский чемодан подарками. Иванов денег не копил, тратил тут же на необходимое, да и в частых командировках марки тоже не были лишними. Домой он уезжал с одним лишь фотоальбомом, купленным в универмаге «столицы» ГСВГ — Вюн-сдорфа. Зато альбом был немецким — бархатным, с золотой надписью по-русски: «Воспоминания о моем пребывании в ГДР».

Служить за границей было интересно и почетно. Но зато не было ни увольнений, ни отдыха. «Личного времени у солдата нет, у него есть только лишнее время». А потому, в отличие от частей, расквартированных в Союзе, в ГСВГ зарядка была обязательной и по воскресеньям, и по праздникам. Тренажи по защите от оружия массового поражения были чуть ли не главным предметом боевой подготовки после специальности. Марш-броски, стрельбы — все по полной программе, как будто не в «королевских» войсках связи служили, а в десантуре.

Личный состав в полку был исключительно славянским, поэтому никаких национальных «землячеств», конечно, не было, что сильно облегчало служебные и внеслужебные взаимоотношения. Тип радиорелейной станции, на которой служил Иванов, был одним из самых востребованных в войсках. Благодаря этому добрую половину службы он провел на выезде, обеспечивая так называемую «реальную правительственную связь». Конечно, часто солдаты и не знали толком, кому лично они эту связь обеспечивают. Поднялись по тревоге, выехали в указанный район, развернули антенны, вошли в связь и. дальше уже легче. На радиорелейном интервале экипаж из троих солдат и начальника станции — офицера или прапорщика — мог сидеть неделями автономно. Сами себе готовили, сами себя охраняли, сами себе были хозяевами. В рамках выполнения поставленной задачи, конечно. Начальник станции прапорщик Романовский был уже немолод, опытен, за ним экипаж был как за каменной стеной, а потому и командира старался не подводить даже по мелочам. Зато и Рома не зажимал в командировках нелепой, в условиях «выезда», гарнизонной дисциплиной; при малейшей возможности старался показать ребятам страну, вывести в город, дать редкую возможность пощупать жизнь за границей. Это

стоило многого, ведь большинство солдат, служащих в ГСВГ, так ничего за два года службы и не видели, кроме вокзала в Вюнсдорфе или военного аэродрома — по прибытии на службу — и по дембелю. Военный городок, полигон и обратно — вот и вся «заграница». А связистам повезло, служебные обязанности позволяли исколесить всю страну, много где побывать, многое увидеть.

Иванову «повезло» дважды, и он посмотрел даже главную для солдат ГСВГ достопримечательность — гарнизонную гауптвахту в Вюнсдорфе. В этом старинном мрачном здании — бывшей немецкой тюрьме когда-то сидела Роза Люксембург. Семь суток, проведенные там за нелепую самоволку, стали поводом до конца службы «гордо» цитировать сержантам одного с ним призыва известную армейскую поговорку: «Чистые погоны — чистая совесть». Впрочем, как бы там ни было, а дембель, как и положено, оставался неотвратимым.

Зима, полигон на «Стеклянной горе». Радиостанция мобильного узла правительственной связи развернута рядом с наблюдательным пунктом, откуда командующий войсками Варшавского договора маршал Куликов показывает руководителю ГДР Эриху Хоннекеру современное вооружение в условиях «встречного боя». Иванов сдал дежурство и выскочил из теплой машины на мороз, перекурить на воздухе после душного железа набитого аппаратурой кунга станции. «Хорошо, что сигаретами запасся», — лениво подумал он, затягиваясь крепким, чуть пахнущим одеколоном дымком. (Сигареты за границей солдатам выдавали — пятнадцать пачек в месяц и два коробка спичек. Конечно, этого не хватало. Но некурящим вместо сигарет полагались две пачки сахара, и это помогало выходить из положения. Покупать сигареты в «чайнике» было очень накладно — там даже пачка «Примы» стоила примерно полторы марки. Зато пачка рафинада обходилась всего в девяносто «фенешек». Некурящий водитель экипажа получал сигареты, как курильщик, и отдавал их Иванову. А тот, в свою очередь, покупал в «чайной» сахар и отдавал его товарищу.)

Над головой пронеслась пара вертолетов, вынырнувших внезапно из-за леса. Они хищно наклонились и выпустили ракеты по стоящей внизу, в долине, бутафорской деревне. Взрывы разметали несколько зданий, но тут же, уже высоко в небе, раздался грохот штурмовиков фронтовой авиации и сразу, опережая звук, ровными рядами встали на месте «деревеньки» две стены огня и дыма. Слева и справа, обтекая наблюдательный пункт командования, потекли в атаку боевые машины пехоты. «Ну вас на фиг, ребята!» — не позавидовал мотострелкам зябко

передернувшийся (в одном ПШ выбежал из станции) Иванов. В такой мороз еще «Ура!» кричать да ходить в атаку — на фиг, на фиг! О том, что и самим частенько приходилось несладко, когда, проделав по тревоге марш в несколько сот километров через полстраны, нужно было развертывать станцию в каком-нибудь гиблом месте, а «время связи» уже вот-вот, и это не учения, как у армейцев, а совершенно реальная боевая задача, и очень большие начальники должны эту связь получить, — обо всем этом вспоминать не хотелось, хотелось почувствовать себя в более привилегированном положении.

Внезапно какая-то запоздавшая БМП вынырнула из снега совсем рядом со станцией.

Ошалевший, видимо потерявший ориентацию, сержант высунул голову из командирского люка и стал вертеть ею во все стороны, озираясь ошалевшими глазами. «Куда прешь, мудила?!» — ошарашенно заорал Иванов, невольно сдергивая с плеча совершенно бесполезный в этой ситуации автомат, без которого и поссать не выходил никто из станции. На крик из кунга выпрыгнул прапорщик, мгновенно оценил ситуацию и кинулся было наперерез офуевшей бээмпэшке, но ее люк уже захлопнулся, боевая машина взревела и понеслась догонять свой наступающий батальон прямо через находившийся рядом армейский узел связи. Траки перемалывали кабеля, тянувшиеся от станций к вышке с высоким начальством, снег, смешанный с песком, летел из-под гусениц во все стороны на поворотах вихляющей по сугробам БМП. Наконец, промчавшись буквально в сантиметрах от припаркованного тут же микроавтобуса — салона Хоннекера, тяжелая бронемашина вырвалась на простор и умчалась в долину.

Рома, отряхиваясь, подошел к Иванову: «Совсем ошалели воины! Ну, сейчас начнется. Смотри, военный, в чем разница между армейцами и правительственной связью!» Прапорщик хитро улыбнулся. И точно, с вышки гурьбой посыпались офицеры и стали разбираться с армейским узлом связи, связисты которого поленились закопать в землю телефонные кабеля, идущие от их радиостанций на НП. Связь с вышкой у них прервалась, естественно, в самый неподходящий момент. Иванов вспомнил, как их экипаж материл втихаря своего прапорщика, заставившего их не присыпать свой кабель снегом, как это сделали армейцы, а закопать чуть не на полметра в мерзлый грунт. Теперь-то у них со связью все было в порядке, а вот армейцам будет полный песец.

«Ну так, что вы хотите, товарищ прапорщик, пехота, одно слово!» — смущенно засмеялся Иванов, посмотрел в лукавые глаза Ромы и виновато крякнул. Начальник вздохнул сокрушенно, хлопнул рядового по плечу и запрыгнул обратно в станцию.

К визиту Брежнева в Берлин готовились, конечно, тщательней обычного. Экипаж Романовского должен был обеспечивать один из дублирующих каналов связи. В Карлсхорст — район, где находилось советское посольство в Германии, — станция прибыла за неделю до высокого визита. Куда потом и когда — это дело не солдатское, да и начальник станции вряд ли знал об этом. Просто сидели на посольском узле связи, наслаждались внезапно выпавшим отдыхом. Обычное кирпичное четырехэтажное здание ничем не выделялось из посольского комплекса. Вот только в войну именно в этом здании находилась штаб-квартира абвера — немецкой военной разведки.

Покопавшись днем для порядка в оборудовании станции, и без того проверенном неоднократно, солдаты вечером шли в кино в посольский клуб или играли на старинном бильярде. Огромный, неразборный дубовый стол стоял на массивных резных ножках, искусно вырезанных в форме львиных лап. И на каждой ножке стояла дата — 1926 год. Поговаривали, что стол этот остался в здании еще со времен адмирала Канариса, который и сам на нем игрывал в свое время. Впрочем, связанными с минувшей войной реалиями удивить было трудно. Рома, например, жил в Рехагене в небольшом двухэтажном особнячке, переделанном под офицерские квартиры. В конце войны в этом доме квартировал генерал Власов. Куда ни посмотри — история дышала рядом.

В Карлсхорсте, рядом с советским посольством, находился мемориальный зал—музей ГСВГ — бывшее военное училище вермахта, в котором состоялся торжественный акт подписания капитуляции фашистской Германией. Чтобы экипаж не маялся от вынужденного безделья, начальник станции вывел его в музей. Конечно, ни в бар, ни в кафе для иностранных, по большей части, туристов солдаты не попали — только посмотрели издали да облизнулись. Зато с интересом осмотрели экспозицию. Вот стол, за которым подписывали капитуляцию. Вот стул, на котором сидел маршал Жуков. Солдатам показали хроникальные кадры, снятые здесь же в 45-м году, провели по всем залам музея. А вот и фотографии наших летчиков, которые направили свой падающий самолет в сторону от жилых кварталов Берлина, спасая мирных жителей. «А город подумал, а город подумал — ученья идут», — пела Эдита Пьеха в одной из своих популярных песен. Оказывается, об этом. Сфотографировались на стоящих во дворе танках, бравших Берлин, прошлись немного по городу, вернулись в посольство, поужинали не торопясь, наслаждаясь «цивильной», не гарнизонной, пищей и вообще обстановкой, перешучиваясь с улыбчивыми официантками. А ночью — подъем, «сбор», выезд в

резиденцию, отведенную немецкими властями нашему генсеку.

Развернули станцию на окраине обширного парка, подальше от окруженного фонтанами главного здания резиденции. Помучились, поднимая девятнадцатиметровые антенные мачты, что было совсем не просто сделать на маленьком пятачке между высокими деревьями, да еще ночью. Растяжки путались в ветвях, декоративный кустарник и клумбы, разбитые на лужайке, трудно было обойти, чтобы вписать тяжелый ЗИЛ-131 в выделенное связистам ограниченное пространство. Но справились — не в первый раз. Нервировало только пристальное внимание охраны к каждому шагу, да мешал подполковник с посольского узла связи, сопровождавший экипаж в резиденцию. Электропитание подключили от местной сети, но двухсоткилограммовые бензоагрегаты — генераторы все-таки тоже вытащили из агрегатного отсека и завели ненадолго, проверили автономность станции. Когда все устаканилось, встало на свои места, заработала аппаратура и оба полукомплекта вошли в связь, волнение спало. Генсек не генсек, а наше дело — солдатское. Подполковник пожал Роме руку, поблагодарил экипаж за службу и уехал. Успокоенная охрана тоже рассосалась по своим постам, наказав «не отсвечивать» лишний раз и не выходить днем из станции. Кокетливая официантка в сопровождении безразличного служивого в штатском принесла завтрак в сияющих судках, развернула накрахмаленные салфетки, умилилась «мальчикам», засмущавшимся такому обхождению, и тоже ушла, оставив наконец солдат в покое.

Так продолжалось неделю. Днем сидели в станции, дежурили посменно на связи, отсыпались. Ночью выходили размяться, покурить осторожно на свежем воздухе, оправиться «по-болыпому»… Прилетел и улетел Леонид Ильич, пробывший в Берлине всего два дня. На второй день после окончания визита поступил приказ сворачиваться и возвращаться в часть.

Так и шла потихоньку служба. Бежишь утром с голым торсом, топая сапогами по обочине автобана, затормозит вдруг рядом с растянувшейся ротой какая-нибудь красотка в открытой иномарке, нарочно протащится на первой скорости рядом с солдатами, постреляет глазками и притопит на педаль, стремительно удаляясь в сторону Западного Берлина. А ты топаешь дальше, день за днем, день за днем. Но размеренное течение гарнизонной жизни вдруг нарушается командой: «Экипаж, сбор! Выезд!». И тогда на середине фильма, например, «Женщина, которая поет» или прямо со стрельбища, или со штурмовой полосы экипаж летит в казарму, за оружием и вещмешками, потом в автопарк; прямо у станции получает боевой

приказ и летит по Германии, торопясь к точке связи — одинокой и самодостаточной, но все же только частицей огромной боевой машины — самой мощной ударной группировки советских войск в Европе — ГСВГ. На четыре часа боя в условиях современной ядерной войны была рассчитана полумиллионная группировка, выдвинутая на Запад, непосредственно к границам НАТО.

И когда один раз весь полк был поднят ночью по тревоге и весь снялся с места за сорок минут, выдвинулся несколькими колоннами в разных направлениях в районы рассредоточения — все солдаты знали об этой сухой, в остатке, правде «на случай ядерной войны». Все дороги были запружены войсками. На марше остановилась колонна, собирая с экипажей регулировщиков, высылая их вперед на перекрестки. Покурили, перебросились парой слов со случившимися рядом мотострелками, также поднятыми по тревоге. Те сказали, что получили боекомплект перед выездом, полный. Это было большой редкостью для пехоты и означать могло что угодно.

Когда мобильный узел правительственной связи прибыл в район рассредоточения и станция Романовского развернулась в указанной точке, прапорщик озвучил экипажу строгий приказ: войдя в связь, поддерживать канал, но не вести никаких переговоров даже по служебной линии. Только поддерживать связь и слушать. Эфир на высоких частотах был просто забит натовцами, оживленно, как никогда, ведущими радиообмен. Через полчаса к станции подкатили по просеке со стороны шоссе две боевые машины десанта. Лейтенант-крепышок вызвал прапорщика, посоветовался с ним недолго и отдал десантуре приказ занимать круговую оборону вокруг станции. Иванов присел на бугорок рядом со вторым связистом, тоже старослужащим, они закурили «Охотничьих» из армейского пайка, помолчали, отдыхая после суеты развертывания станции. Оба знали, что положенное по боевому расписанию прикрытие полевых узлов правительственной связи армейскими подразделениями никогда не выставлялось в мирное время. Потому и противогазы, обычно мирно лежащие в кунге за стойками с аппаратурой, были у солдат при себе.

Ну что, Валера, началось, что ли? — ефрейтор со знаменитой фамилией Бунин был с Орловщины, из рабочей семьи и отличался немногословием и обстоятельностью.

— А я что, Пушкин? Или маршал Куликов? — Иванов затянулся покрепче, потом долго смотрел, как пробиваются косые утренние лучи сквозь клубящееся сиреневое облако дыма. — Начаться в любой момент может…

— Я их, сук, зубами рвать буду! — твердо пообещал кому-то

Бунин. Валера спросил себя: «А я?» И тут же, не задумываясь долго, ответил вслух, подчиняясь поднявшейся внутри ярости на всех, кто мог сорвать приближающийся дембель:

— Если только кто живым к нам прорвется, тут и уроем. А вот если ядерной бомбой саданут, ну, тогда обидно просто будет, что ни до кого не дотянуться.

— Через наши трупы из Сибири дотянутся! — веско подытожил Бунин. — Ну что? Пойдем и мы закапываться, пока Рома не вздрючил?

Неподалеку сноровисто окапывались десантники.

Калейдоскоп в голове прокручивал картинку за картинкой, они осыпались и снова собирались в единое целое из обрывков воспоминаний, запахов, слов и даже прикосновений. Вот рука автоматически прикоснулась, погладила холодный ряд металла и эмали на теплой шерсти «парадки». Это значки — «гвардия» и «специалист первого класса». Вот блеснул за окном вагона кусок мокрой брусчатки под фонарем у железнодорожного переезда. В ожидании, когда пронесется мимо поезд, застыла перед шлагбаумом пара немцев-мотоциклистов с девчонками, крепко обхватившими их кожаные куртки. А Иванову вспомнилась сразу брусчатка гарнизонного плаца, веселый рев полкового оркестра, грянувшего «Прощание славянки» на разводе, свой четкий шаг по этой брусчатке, крепкое плечо шагающего справа товарища да захлопывающиеся при звуках оркестра окна верхних этажей немецких домов, стоящих тесно сразу за высоким забором части. Знаменитый поезд Вюнсдорф — Москва набирал ход, весело постукивал на стыках рельсов, несся домой, в Союз.

Уже в Бресте, выйдя покурить на перрон, Иванов стал замечать, что в толпе, окружившей вокзал, он пытается найти — и находит! — знакомые лица. Ведь это уже Союз! Это не заграница, здесь все возможно, любая встреча уже не кажется несбыточной, любое мелькнувшее рядом лицо может оказаться родным или хотя бы просто знакомым!

В Гомеле, пересаживаясь на поезд, идущий в Ригу, Иванов с недоумением столкнулся с патрулем, проверившим у него документы и отпустившим тут же дембеля с Богом. В киоске продавались советские сигареты, пиво, конфеты. А девушки, сколько девушек вокруг! Не толстозадых коро-вистых немок, а своих, русских, стройных красавиц с певучей волнующей речью. Родной речью.

Рублей было в обрез, зато немецкой мелочи — денежек — «фенешек» и даже марок, взятых на память, — полно. Но не купишь ведь ничего здесь за марки! Зато в вагоне ехали еще дембеля — возвращались в Ригу из Белоруссии артиллерист и два

ракетчика. Они столкнулись с Ивановым в тамбуре, перекурили вместе и тут же утащили к себе — пить портвейн.

Портвейн! За все время службы в Германии Иванов выпил, наверное, несколько кружек пива в гасштедте да один раз отвратительной немецкой водки Lunikoff. Не то чтобы возможности — желания рисковать доверием начальника станции, частенько отпускавшего свой экипаж на выезде перекусить в немецком заведении, не было.

…Привокзальная площадь Риги как-то неуловимо изменилась. Валера сунулся было переходить ее поверху, как привык, но не нашел знакомой «зебры» пешеходного перехода. Долго мотал головой в недоумении, пока не заметил открытого зева подземного перехода, построенного за время его отсутствия. Он быстро сбежал по ступенькам вниз, разобрался в подземном лабиринте и уже уверенно вынырнул на другой стороне площади прямо у остановки своего автобуса. Желтый «Икарус» 37-го маршрута подрулил буквально в то же мгновение. Иванов жадно всматривался в окно — через Даугаву строили еще один мост — вантовый красавец пришел на смену понтонному уродцу. Родная Иманта за это время шагнула еще дальше, и его дом, стоявший раньше на краю нового микрорайона, теперь оказался почти что в центре жилого массива.

Дембель в маю — все по фую! — весело пронеслось в голове у солдата. Шел 1980-й, олимпийский, год.

Глава 8

1982. В Каунасский госпиталь КГБ Валерий Алексеевич попал совершенно здоровым, что и способствовало его дальнейшим приятным воспоминаниям о пребывании в этом медицинском учреждении. Отец, не любивший использовать служебное положение, на этот раз внял мольбам матери и попросил начмеда округа пристроить в госпиталь для «проверки здоровья» свое непутевое чадо, чтобы студент-первокурсник получил вполне законную отсрочку от неминуемо надвигающейся сессии.

Сессия, правда, ничем особенным студенту Иванову не грозила. Дураком он не был, к тому же иногда даже лекции посещал. Несмотря на службу в армии, знаний, полученных в основном в Кингисеппской средней школе, не растерял. Да и читал очень много, что еще нужно, чтобы кое-как протащить свое тощее тело через игольное ушко сессии на филфаке? Но было много обязательных работ, не сданных в срок, и обязательных часов, не отсиженных чинно на заднице в аудитории. Да и «кое-как» сданная сессия родителей почему-то тоже не устраивала. Решено было потому сессию отодвинуть под благовидным предлогом, а Валеру поместить куда подальше, где стены покрепче, а порядки пожестче, дабы прервать веселую жизнь решившего как следует «оторваться» после армии младшего сына.

Когда абитуриент Иванов подошел к стенду на первом этаже филфака Латвийского госуниверситета, то первое, что он увидел, — это длинный список лиц, зачисленных на дневное отделение первого курса. Группа к-1 (krievu 1- русская то есть) — главная профильная группа — состояла из двадцати пяти человек. Пробежав глазами список, Валера увидел свою фамилию в обрамлении двадцати четырех девичьих. Короче говоря, на тот момент он был единственным мужиком в группе. Надо ли говорить о том, с каким волнением входил он в аудиторию на установочное собрание группы? Или о том, как оценивающе загудели девушки, увидев единственного в их группе парня. А был Иванов тогда скорее высок, чем низок; худ, скромен, улыбчив. легко краснел и часто поправлял падающую на глаза челку мягких русых волос.

Девушки были как девушки. В основном дочки или внучки офицеров — такова была особенность русской Риги, русской процентов на семьдесят. И красивые были, и страшненькие. Но по большей части — совсем сопливые, отчего свежеиспеченный студент горько вздохнул и, как сквозь строй, прошел к последней скамейке. Прошло минут пять.

В аудиторию впархивали все новые девицы — здоровались, целовались, визжали радостно при встрече. Девушек Иванов, конечно, любил. Но не в таком же количестве, и не одному же хозяйничать в этом цветнике? А с кем покурить, выпить, в конце концов, отметить 1 сентября?!

И тут, как будто кто-то (добрый или злой?) услышал его молитвы… Раздался новый одновременный девичий выдох, и в дверях показался парень в сером костюмчике. Невысокий, чуть мешковатый блондин, с отсутствующим, направленным глубоко в себя взглядом голубых глаз.

Он плюхнулся рядом с Валерой и представился:

— Арий!

— Арий?

— Ну да. Имя такое. От ариев.

— Арийцев, значит?

— Точно! — Студент улыбнулся. — У меня мама — латышка. А папа — русский, потому я Алексеев.

— Валерий… Иванов. — Они пожали друг другу руки, что, естественно, не осталось незамеченным девчонками, прыснувшими при виде «серьезного мужского знакомства».

«Писун какой-то, — мрачно оценил сокурсника Иванов. — Наверняка после школы сразу. Ну ладно, пить, курить научу, все хоть не один здесь буду.»

Веселая полная блондинка — куратор группы — быстро познакомилась со студентами и объявила, что она будет вести курс советской поэзии. А группа в полном составе вместо «картошки» отправится уже завтра на месяц работать в Ботаническом саду университета, том, что в Задвинье. Пока девицы шумно обсуждали эту новость, ребята двинулись к выходу. Уже в коридоре Валера предложил, испытующе щурясь:

— Ну что, пойдем покурим?

— Пойдем, — отозвался Арик, вытаскивая из кармана пачку «Элиты». Они вышли на улицу, закурили и двинулись по Бирзниека—Упиша в сторону центра.

Иванов продолжал прощупывать неразговорчивого нового товарища.

— А как ты в группе оказался, тебя же в списке не было?

— А я по армейской квоте пролез, да и экзамены сдал нормально, просто я с заочниками сдавал, позже, потому и не встретились.

— Так ты служил? — изумился Валера.

— На флоте. В Германии, в Ростоке, три года, — спокойно ответил Арий.

— Здорово! Я ведь тоже в ГСВГ служил, только под Берлином!

А ты кто по ВУСу?

— Радист.

— Опять почти коллега! А я в правительственной связи, на «релейке» всю Германию объехал!

— Ну ты даешь, — засмеялся, наконец и Арик, — я ведь тоже подумал, что ты только после школы. наверное, даже не куришь!

— Ну так что, надо отметить встречу, наверное? — решил ковать железо, пока горячо, Иванов.

— День вроде знаменательный, почему бы и нет? — согласно покивал сокурсник.

— По коктейлю для начала? — с надеждой перевел разговор ближе к теме Валера.

— Не, — помотал головой Арик, — по коктейлю не хочу.

— А чего так? — У Иванова сразу упало настроение.

— Давай лучше возьмем сразу пузырь-другой, чего там пачкаться-то? — посмотрел Арик на него недоуменно.

— Ну, ты и мертвого уговоришь! — возликовал Иванов, и они дружно, не сговариваясь, свернули к водочному магазину напротив кино «Палладиум».

Так их стало двое. А еще через месяц, уже после отработки «картошки» на цветочных плантациях Ботанического сада, в группе прибавились еще два парня — тоже отслуживших армию. Какими правдами и неправдами они прорвались в эту престижную группу уже после основного зачисления, сверх списка — толком никто не знает. Ну, да это и не важно. Костец — бывший курсант ракетного училища, отчисленный после третьего курса и счастливо избежавший отправки на срочную службу, носил черную бороду, как у хасида, говорил, что «папа у меня — грек», но характер имел чисто еврейский. Сашка Боготин — маленький и юркий, бывший механик-водитель БМД, гордился своей службой в ВДВ и мамой, трудившейся в Центральном книжном коллекторе, то есть «сидевшей» непосредственно на самом что ни на есть филологическом дефиците.

Четверым бывшим армейцам удалось за первый же семестр учебы достичь высокой слаженности своего небольшого коллектива. Правда, «чувства локтя» они добивались уже не строевой подготовкой, а усиленным употреблением веселящих напитков. Так, весело и непринужденно, провели ребята первый семестр, и сессия подступила к ним совсем незаметно, почти как дембель. Правда, вовсе не так радостно. Кто-то из первокурсников махнул на все рукой, кто-то навалился на книжки, а Иванов нежданно-негаданно оказался сразу после новогодних праздников в Каунасском госпитале.

Сам Каунас со всеми его достопримечательностями Валеру не

заинтересовал. Обычный прибалтийский городок. Пешеходная улица, Музей чертей, Чюрленис, Межелайтис и прочая типично прибалтийская байда мало волновали столько лет прожившего в Эстонии студента, да еще приехавшего в Каунас из Риги.

Солдат-пограничников в маленьком госпитале на лечении было не очень много. Немного было и офицеров. В одной палате с Ивановым их лежало двое — майор КГБ и капитан-лейтенант морчастей погранвойск. Майор был уже пожилым (на самом деле, ему было около сорока), каплею не было и тридцати. Появление двадцатидвухлетнего студента офицеры восприняли как нечто само собой разумеющееся, особенно когда выяснили фамилию, должность отца и нашли общих знакомых, которых не могло не найтись в таком тесном сообществе.

Глупых вопросов по поводу того, от чего лечится Иванов и что он тут вообще делает, никто не задавал. Все были люди взрослые, опытные и повидали много жизненных ситуаций. Лежит себе вьюноша, отдыхает, укрепляет нервы витаминами и хвойными ваннами — значит, переучился, только и всего. Майор слег после инфаркта. По всему видно было, что приехал он недавно из заграничной командировки. В том числе по новому японскому кассетнику и маленькому цветному телевизору, которые он взял с собой в палату. По редким музыкальным записям, которые крутил он тоскливыми иногда январскими вечерами. Именно с тех пор стоит услышать Иванову мелодию «Бесаме мучо», как сразу вспоминается больничная палата на троих в старинном здании госпиталя, огромное арочное окно, за которым кружится снег под фонарем, спирт, подкрашенный морсом, на общем столе, да грустный смех молоденьких сестричек, «накативших» после отбоя и застрявших на пару часов в гостеприимной офицерской палате.

Напротив, дверь в дверь через коридор, находилась женская палата. Там лежали жены и дочки офицеров. Была там и Галя Сказова — худенькая шатенка с зелеными глазами, восторженная и нежная. Жена прапорщика, она была ровесницей Иванову. Но самим своим статусом замужней женщины казалась совсем взрослой юному студенту. А потому ставшие со временем привычными перекуры на лестнице после отбоя, по ее, конечно, а не по Валериной инициативе, превратились в затяжной поцелуйный обряд, повторявшийся каждый вечер.

Учительница музыки из Светлогорска Галя как будто сошла из рассказов Бунина, такое у нее было «легкое дыхание». Забравшись Иванову под майку узкой горячей рукой с длинными, чуткими пальцами пианистки, она быстро играла коготками по голой его спине какие-то ей одной известные гаммы, отчего

полумрак на госпитальной лестнице преображался в сияние; чердачная площадка с казенной урной под разлапистой монстерой в облезлом ведре превращалась в зимний сад; застиранный халатик молодой женщины и больничная пижама студента были ее пеньюаром и его мундиром. Все это незаметно, как будто само собой расстегивалось, развязывалось, руки проникали в самые потаенные места, и только чей-то надсадный кашель курильщика площадкой ниже заставлял парочку очнуться и перевести дыхание.

— Ритмичнее, ритмичнее, ритмичнее, — задыхаясь, шептала учительница музыки, когда к ней прижималось полное молодой силы энергичное тело студента, обнимая ее все крепче, не стесняясь напряжения, которого не могла она не заметить, двигаясь навстречу в такт отчаянно романтической музыке, звучащей внутри юной женщины наперекор госпитальной скуке и тоскливому зимнему вечеру.

— Вот так хорошо, Галина Юрьевна? Я все правильно делаю? — шептал Валера, играя ученика, смело берущего аккорды на ее уже опытном, чувственном, отзывающемся на каждое прикосновение гибком стане.

— Аллегро модерато. аллегро вивачиссимо! — вдруг торжествующе и неприлично громко взорвалась она смехом, укусила юношу в полную силу за шею, не сдерживаясь уже, и тут же отстранилась резко, опустилась на колченогий стул у монстеры, переводя дыхание, расслабленно раскинув длинные руки, повисшие, как увядшие стебли отцветших цветов. — Хорошо с тобою, Валерка! Хорошо мне с тобою, Валерка, — тихо, почти шепотом, дважды выдохнула она.

— Галочка, славная моя птичка, — гладил ее по волосам Иванов, распаленный, жаждущий продолжения, не понимавший в грубой своей нечуткости, неопытности, что для нее все уже закончилось.

— Пойдем вниз, неудобно, — отстранила его резко Галина. Медленно, с гримассой боли, она поднялась со стула и обхватила Валеру, почти повисла на нем.

— Что с тобой? — перехватил он ее покрепче.

— Ничего страшного, милый, просто голова закружилась. — Я ведь здесь второй месяц уже.

Вот, нашел себе в госпитале больную бестолковую женщину, нет, что ли, сестричек, здоровых как лошади? — неуклюже попыталась она сострить и криво, с мукой в глазах, улыбнулась.

— Тебе плохо? — не на шутку испугался Валера, приобняв ее и осторожно спускаясь по скользким бетонным ступенькам лестницы.

— Н-нет, все хорошо. Мне очень хорошо с тобою, Валерка, — снова повторила она. — Только теперь останься здесь, покури. Я пойду вперед сама, а то увидят, неудобно будет.

Она высвободилась и медленно, придерживаясь за перила, пошла вниз.

Иванов выкурил две сигареты подряд, перевел дух, заправил майку, выдернутую, как оказалось, из пижамных штанов, застегнул пуговицы на куртке и отправился на этаж.

Там, несмотря на близость к отбою, у телевизора в холле толпились больные: и солдаты, и офицеры, и редкие женщины. Пела девочка из «Верасов»: «У меня братишки нет, у меня сестренки нет, говорят, с детьми хлопот невпроворот.» Студент покрутил головой, выискивая Галину, но не нашел. У двери своей палаты подождал немного, но тут по коридору пробежала медсестра с капельницей, прикрикнула на ходу: «Идите к себе, больной, не стойте тут под ногами!» — и скрылась в женской палате. Валера пожал плечами, потоптался, помялся, не веря, что случилось что-то серьезное, и вошел к себе. Майор с каплеем гоняли чаи, кассетник на тумбочке уютно и страстно вращал что-то латиноамериканское.

— Садись, студент, выпьем рюмку чаю! — позвал каплей Михалыч. Неунывающий толстячок с выпирающим брюшком и оттопыривающимися ушками пользовался искренней любовью всего госпиталя. В том числе и потому, что однажды, мрачным зимним вечером, когда больные, собравшись на ужин в офицерской столовой как-то одновременно загрустили — Михалыч тут же вызвал огонь на себя.

— А знаете, друзья, как меня матросы на корабле зовут? — жизнерадостно вопросил в угрюмую тишину столовой капитан-лейтенант.

Все продолжали мрачно ковыряться в тарелках.

— Винни-Брюх! — громко и даже с некоторой гордостью назвал свое прозвище Михалыч. Больные сначала недоуменно посмотрели на него оценивающе, потом улыбнулись, затем улыбки перешли в сдержанные смешки, и наконец столовая взорвалась долго не умолкающим хохотом. Все оживились, забыли на время про свои болезни, а Михалыч как ни в чем не бывало с аппетитом прикончил ужин и пошел за добавкой.

В госпитале он лежал после сердечного приступа, полученного неподалеку, в Клайпеде. Каплей уже не первый год принимал на верфях корабли пограничных проектов и перегонял их к месту службы. То с Балтики на Черное море, то с Севера на Тихий океан. Месяцами в море. Во время коротких стоянок, как объяснял он сопалатникам, ночевать приходилось опять же в

кают, поскольку в гостиницы, как известно, не попасть. А так хочется поспать на твердой земле после длинного перехода, просто слов нет Вот и снимаешь какую-нибудь подружку на ночь, не ради любовных приключений, а чтобы койка под тобой хотя бы этой ночью не качалась.

Так и переутомился в Клайпеде, ненароком, жизнелюбивый каплей. Пришлось отправиться в Каунас подлечиться.

— Слушай сюда, Валерыч! Я тут завел общение на короткой ноге с одной «старушкой» из соседней палаты — Валечка, ты ее знаешь. Ты должен мне помочь!

— Чем же я-то могу помочь? — искренне удивился Иванов.

— На чердак вместо Михалыча с ней ходить будешь, — добродушно подначил майор.

— Да брось ты, Борис Николаевич, — обиделся каплей. — Может, у меня серьезное лирическое чувство!

— Ага, у тебя лирическое чувство, а у нее муж — комендант режимного объекта. Не боишься, что вычислит?

— Так вот потому-то мне и нужна помощь молодой гвардии! — Винни-Брюх похлопал Валеру могучей дланью с татуировкой — якорем на запястье. — Чтобы к Валечке муж зря не таскался из своего поселка и не бросал вверенного ему объекта, к ней будет передачки подружка молоденькая возить — подружка в погонах, правда — капитан из радиоцентра. Но чтобы, в свою очередь, капитанша эта тут не скучала и нам с Валькой не мешала, ее надо занять. Ты, Борис Николаевич, для нее, прости, староват, да и служить вам вместе еще, нехорошо с подчиненной фамильярничать.

— Ну, Михалыч, тебе, может и список личного состава центра кадро-вичка перебросила? — полушутя-полусерьезно осведомился майор. — Так мы ее быстренько в Якутск переведем вместе с мужем — оленей пасти на режимном объекте!

— Эх, товарищ майор, я же забочусь о морально-нравственном состоянии личного состава вашего нового места службы! — каплей попытался свести в шутку разговор, начинавший принимать неприятный оборот. — Ведь Валька — баба-огонь! Она все равно себе мужика на стороне найдет, если захочет! А я все-таки свой, у меня и допуск имеется. — Михалыч невинно посмотрел на собеседников и состроил постно-ответственную рожу офицера при исполнении.

Все захохотали.

— Давай-давай, учи студента, только смотри, чтобы он по твоим стопам до инфаркта не дошел, — не отказал все же себе в ехидстве Борис Николаевич.

Майор, вернувшийся из длительной загранкомандировки (как

потом объяснил Валере отец), был назначен в расположенный неподалеку от Каунаса центр радиотехнической разведки, занимавшийся, помимо различных сугубо специфических приемо-передающих задач, радиоперехватом и дешифровкой. Ну а то, что капитан Таня, сыгравшая роль дружеского прикрытия для любвеобильной Валечки из соседней палаты, служила в радиоцентре переводчицей, а может и еще кем — это и сам Иванов вскоре понял.

На следующий день, в воскресенье, Михалыч с утра пораньше смотался в город, откуда вернулся с тортом, коньяком и букетом алых роз в целлофане. Каплей спрятал все это в палате под своей кроватью и встал на пост у приемного отделения, как часовой у знамени части. Вскоре он вернулся в палату уже не один. Вслед за ним, щурясь от бившего через окно, разыгравшегося внезапно январского солнца, вошла невысокая, стройная, но при этом женственно округлая девушка с короткой стрижкой. На светло-русых, от солнца почти золотых волосах, еще умирали — таяли несколько снежинок, превращаясь в капельки бриллиантов. «Дыша духами и туманами.» — пронеслось мгновенно в закружившейся голове Иванова. Такие фигуры могли быть только во французском кино. Такие лица, такие глаза могли быть только у русских женщин до революции.

Татьяна (так представил заранее капитана Михалыч) сама подошла к постели студента, едва успевшего при ее появлении отложить книжку и принять более-менее приличную позу.

— Не вставайте! Вы ведь тоже больной, правда?

— Еще недавно был здоров. А вот сейчас сердце защемило, — совершенно искренне ответил Валера, соскочив с койки и отвесив галантный полупоклон.

— Не надо мне представляться, ведь мы старые друзья с вами, Валера, — с легкой иронией прошептала девушка ему на ухо, легонько притронувшись к его щеке губами и подставив свою, румяную с мороза щечку для ответного поцелуя.

— Таня, наконец-то вы нас осчастливили, — приобнял ее чуть-чуть Иванов, — заметив краем глаза, как напряглась девушка, увидев входящего в палату майора. — Борис Николаевич, это Таня — единственная близкая мне душа в этих заснеженных литовских просторах!

— Как интересно! — воскликнул майор. — Здравствуйте, Татьяна Федоровна! Неужели вы не успели рассказать своему другу детства, что он лежит в одной палате с вашим непосредственным начальником по службе?

Таня едва заметно покраснела, она ведь не знала, что коварная Валя и простоватый Михалыч, вовлекшие ее в

наперсницы их скоротечного романа, давно уже обо всем рассказали майору.

— Я только вчера узнала от Валентины Петровны, что Валера объявился вдруг здесь, в Каунасе! Я-то думала, что он в Риге, грызет гранит наук, как и подобает студенту.

Наши родители служили вместе в Эстонии, с тех пор мы не виделись.

— Не пугайтесь, Татьяна Федоровна! Я ведь имею честь быть знакомым и с Федором Никитичем и с Алексеем Ивановичем. Так что даже рад, что вы не забываете старых друзей — это лучшая служебная аттестация в наше время. Знаешь ведь, наша служба любит семейные династии. Глядишь, мы и Валерия Алексеевича уговорим перейти на заочный да и заберем к себе в центр, у нас ведь для филологов работа всегда найдется. Особенно если они из наших. Ну ладно, идите воркуйте, молодежь, а я прилягу пока, что-то опять мотор щемит.

— Может, сестру позвать, Борис Николаевич? — засуетился Иванов, несколько обескураженный тем оборотом, которые вдруг приняли совсем невинный разговор и совсем невинный розыгрыш.

— Не надо. Я вот пилюльку приму — и полегчает.

— Так что ж ты, Таня, гостинцы-то не достаешь? — укоризненно обратился майор к девушке, забираясь, кряхтя, на больничную койку поверх одеяла.

— Растерялась! Столько впечатлений сразу! — Таня стала разбирать сумку, вынимая оттуда апельсины, соки, увесистую палку сервелада и, после некоторого раздумья, бутылочку «Плиски». — Это вам на всех, товарищи мужчины, — певуче протянула она, очевидно оправившись и обдумав уже ситуацию. — А остальное, уж не обессудьте, Валентине Петровне.

— Бренди мне, остальное товарищам, — безапелляционно заявил майор и, засунув бутылку под подушку, махнул молодежи рукой в сторону двери: идите покурите там в холле, пока Михалыч не объявится.

Между тем давно исчезнувший из палаты Михалыч уже отправился под ручку с Валентиной Петровной в сторону одиноко стоявшего во дворе госпиталя здания клуба, всегда пустого в это послеобеденное время тихого часа. Таня с Валерой вышли в пустой коридор, сделали несколько шагов в сторону курилки, и тут же оба остановились, повернувшись друг к другу.

— Друг детства, значит. — задумчиво протянула молодая женщина, пристально рассматривая стремительно начавшего краснеть Иванова. — Кстати, наши отцы действительно в Эстонии пересекались по службе. Только ты тогда еще в школе учился. А я

уже в институте была, в Москве.

— А что вы заканчивали? — оправился наконец Иванов.

— Мориса Тереза. Ну, на «вы»-то не надо, «друг детства»!

Она улыбнулась и, взяв Валеру под руку, повела прогуливаться по холлу.

— Я тебя всего на шесть лет старше, между прочим. Так что давай на «ты». Тем более я так соскучилась по нашему острову. Вы давно с Сааре-маа уехали?

— В 76-м. Летом. Вы, ты, наверное, должны помнить моего старшего брата. Он на год младше. тебя.

— Юра, кажется? Помню. Его еще комиссаром звали — он в своем классе комсоргом был. А я в нашем. И тебя, кстати, помню, маленький такой был шкет, рыжий, весь в конопушках и ужасно ученый. Но ты только пришел в нашу школу после начальной, а я уже заканчивала. И вот смотрите, что выросло! Пойдем присядем? Ты куришь?

— Курю, — почти гордо ответил Валера, зажигая спичку и протягивая огонек длинной коричневой More в мраморных пальцах Татьяны, унизанных кольцами и перстнями, но с бецветным нежным лаком на коротко подстриженных ноготках.

Девушка грациозно, с прямой спиной, села на краешек облезлого дивана в пустынном холле приемного отделения. Еще раз внимательно оглядела стоявшего перед ней Иванова и скомандовала:

— Садитесь, корнет! Иванов послушно сел рядом.

— А ведь неплохой у меня «друг детства» объявился! — сама себе утвердительно сказала Татьяна. — Я хочу с вами дружить, поручик! Вы готовы к безумствам? — Девушка испытующе посмотрела прямо в глаза Валере.

— Рад стараться, мадемуазель! — Подскочив с дивана, он, дурачась, прищелкнул больничными шлепанцами. — Чем могу служить? Надо застрелить соперника? Или дюжину соперников? А может быть, какой-нибудь негодяй похитил из вашего сейфа губную помаду с грифом «Совершенно секретно»?

Таня облегченно, как показалось Иванову, рассмеялась и снова притянула его на диван, усесться рядом.

— Ты хороший! А я испугалась, что Борис Николаевич меня проверяет.

— О чем ты? — Валера с удовольствием вдохнул легкий аромат французских духов и чистоты, донесшийся от волос девушки.

— Понимаешь, майор наш на службе всего неделю успел побыть перед тем, как слег в госпиталь. Он мне еще не понятен до конца. Вот и подумала, что он сам всю историю с Валентиной для

чего-то выдумал. Потом вот ты появился нежданно. А мы ведь в самом деле встречались в детстве, бродили по одному и тому же парку. И папу твоего я помню, очень интересный мужчина.

— Неужели все так запутано у вас, как в шпионских романах? — недоверчиво отодвинулся Валера, смотря почти строго.

— Это все шутки, просто шутки, — вздохнула она. — Михалыч говорил Вале, что ты стихи пишешь. Почитай мне что-нибудь, а? Ну, по секрету. — Таня доверчиво, без видимого кокетства откинула прядь волос, обнажив маленькое розовое ушко с тонкой работы золотой сережкой. — Ну же, шепчи мне про любовь!

И он зашептал, прижимаясь все ближе и ближе к вспорхнувшей на зимнюю ветку госпитальной скуки яркой заморской птице:

История, достойная пера,
Когда любовь, как сердца боль, остра.
Когда забудешь, что такое скука,
И верностью соединит разлука,
И майской кажется осенняя пора —
История, достойная пера!
Соавторы любовного романа,
Страница за страницей, ночь за ночью —
Мы пишем без утайки и обмана,
Историю, где правда в каждой строчке.
Мы рукопись в тираж не отдавали,
Мы как могли ее не предавали,
В единственном и вечном экземпляре
Ее хранить друг другу мы поклялись.
Счастливый сон сменяется кошмаром,
Очнувшись, просыпаешься в раю…
Но каждым утром, солнечно-туманным,
Я рядом руку чувствую твою.

— Еще, читайте еще, поручик. — Таня неожиданно погладила Иванова по руке и больше ее не отпускала. Ему хотелось курить, но рука была занята нежным женским теплом, подрагиванием пульса на запястье в такт ритму небрежных строчек, и он все читал и читал ей свои стихи, которым никогда не придавал значения, понимая их как детское, слегка постыдное теперь увлечение. Но Таня просила, и он читал и читал, удивляясь про себя, что в состоянии вспомнить хоть что-то.

Приворотным зельем потчевал
Нежных слов.
Знал, что замуж выйти хочется.
А любовь?
Если стерпится, то слюбится —
Говорил.
Я хотел — пускай забудется.
Не забыл.
Ворожил и заговаривал
Тайну глаз.
В кипятке из боли варится
День без ласк.
Сам себя поймал и корчусь я
От огня.
На костре, что приготовлен был
Для тебя.

Валера не выдержал и поцеловал нежный пух завитка у прозрачного ушка, в которое он шептал.

— Дежавю. Я как будто во сне все это уже видел. Весь сегодняшний день. Тебя, этот снег, мороз за казенным окном. Какая-то юлиано-семе-новщина наяву. Майор, радистка Кэт, стихи.

Я сел в электричку, не взяв цветы —
Это уже не важно.
Я просто ехал туда, где ты
Со мною была однажды.
Я просто ехал пройтись, взгрустнуть
По отгоревшему лету.
Я просто ночью не мог заснуть
И долго лежал без света.
Море замерзло, весь пляж в снегу,
Наше кафе закрыто.
Пора возвращаться, а я не могу
Поверить, что здесь так тихо.
И нет никого. Все дорожки пусты…
Я тоже побрел к вокзалу.
В буфете за кофе сидела ты,
Чтобы начать сначала.

Таня вздохнула, как будто прошелестела перелистываемая страница. Обхватила лицо юноши ладонями, вгляделась в

Иванова пристально, взмахнув ресницами пронзительно-синих глаз.

— Я ведь только что познакомилась с тобой. И вот сижу млею. Ты ведь мальчик еще совсем. Маленький мальчик — Валерочка. Как все пушло, наверное, выглядит со стороны, а мне — все равно… Знаешь, я три года в Алжире была переводчицей у… военпредов. Грубые мужики — наши; еще хуже — приторные арабы с камнем за пазухой. Жара, жара, жара. Потом три месяца в Союзе и… полтора года в Париже. Франция — сказочная страна только для туристов, мон шер. Такая тоска, ты не представляешь, милый, какая тоска — все эти путешествия. Вот уже полгода здесь, в

Литве. Даже к маме на Украину, домой, еще не успела съездить. Сразу сюда. Служба, снег, книги. Одно развлечение — квартирку обставлять по своему вкусу. Ни с кем нельзя ничего — все про всех и все знают, ну, ты же помнишь эти военные городки, а наши — в особенности. Вот и Валя навязалась в подруги, а она ведь меня на десять лет старше. И вдруг этот госпиталь, какой-то «друг детства», за которого, как она сказала, «можно будет выйти замуж», «полезно выйти»… Вот, ты все знаешь. Какая чушь! Провинциальные игры соскучившихся особистов или перезревших свах? Что им нужно от нас, от тебя? Какой с тебя прок, студент?

— Ерунда какая-то, Таня. Просто ерунда. Ты все усложняешь. Ни я никому не нужен, ни ты. Просто у Валентины роман с Михалычем. Просто ей нужно было по-женски прикрыться нами от своего коменданта. А то, что майор родителей наших знает, — так у нас все всех знают. Перестань… Я и так уже просто схожу с ума. Только от тебя схожу с ума, совсем не зная тебя. Но только от тебя, а не от случайностей. Я в детстве еще выписал в дневник: «Случай есть точка на графике закономерностей». Закономерностей.

Вот, слушай:

Не заставляй себя любить!
Известно, сердцу не прикажешь,
И то, что ты мне ночью скажешь,
Самой себе не повторить.
Не заставляй себя любить,
Когда не в силах лицемерить —
Ведь все равно мне не поверить,
Ведь все равно мне с этим жить.
Не заставляй себя любить,
А вдруг получится нежданно
И будет больно так и странно

Рассветным утром уходить.
Не заставляй себя любить!
Пойди на кухню, выпей чаю.
Я, в общем, даже не скучаю,
Мне просто… хочется курить.

Валера высвободил наконец руку и закурил, не спросив разрешения у… дамы. Именно в даму, молодую и слегка надменную, превратилась вдруг как-то сразу Татьяна. Даже отодвинулась на край дивана. Сама, порывшись в сумочке, щелкнула тонкой черной зажигалкой, прикурила свою длинную коричневую сигарету.

По лестнице спускалась, шлепая тапочками, Валентина. Веселая, не в больничном халате, а в красивом платье, с букетом роз в руках.

— Ну что, молодежь, вспомнили детство золотое? Танечка, сейчас супруг мой подъедет, он из Вильнюса, с совещания, возвращается. Звонил в госпиталь, сказал, что тебя заберет, если не уехала еще, в городок. Да и меня наконец проведает сам — соскучился, говорит.

Врет, конечно, но все равно приедет! Так что пошли в мою палату, встретим супруга как полагается — растрепами и под капельницей. А лучше бы — с клизмой!

— Ну, Валя, вы скажете тоже, что молодой человек подумает? — улыбнулась одними губами Таня.

— А пусть думает что хочет, может, быстрее повзрослеет, — отмахнулась Валентина Петровна. — Ну, побежали, прощайтесь, наконец!

Таня вспорхнула с продавленного дерматина, изящно повернувшись, протянула Валере руку для поцелуя. Он вскочил, поцеловал запястье и выдохнул, подчеркнуто играя:

— Мадемуазель. Могу ли я надеяться на новую встречу с вами?

— По-про-буй-те, — насмешливо протянула девушка и, совершенно по-детски, порывисто и громко вдруг чмокнула Валеру в щеку, растрепав ему обратным движением руки пушистую русую челку на глазах. — До свидания, поручик! Вы поняли меня?! До *свидания!* — И застучала каблучками вслед за Валентиной, едва не натолкнувшись на Галю, застывшую на лестничной площадке.

Юношеские романы. Увлечение за увлечением, выдумка за выдумкой. Влюбчив был юноша Иванов, все казалось ему — вот она, большая любовь, рядышком! Жизнь казалась вечной, жизнь

была беспечной, особенно после армии. Все пути открыты. Учеба, карьера, пусть еще непонятно, где? Семья, дети, квартира, дача — все со временем будет. А пока — надо успеть пожить, наесться до отвала, чтобы потом не было «мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Великая страна, чудесная страна! Чуть скучноватая своей железобетонной стабильностью и предсказуемостью, ну да и фиг с ним! Время летит, «время, вперед!».

Глава 9

1983. В ночь, когда у Валерия Алексеевича родилась дочь — Ксения, у него страшно разболелись зубы. Не помогали таблетки анальгина, не облегчала боль ватка с одеколоном. Устроившись на диване в гостиной новой четырехкомнатной родительской квартиры в Кенгарагсе, поближе к телефону, Иванов стонал сквозь теплый шерстяной шарф, которым согревал разбухшую щеку. И периодически звонил в шестую больницу, в родильное отделение. Наконец сонный голос дежурной объявил ему, что он стал отцом девочки весом 3 килограмма 900 граммов и ростом 49 сантиметров. Состояние матери хорошее. Валера разбудил родителей, сообщил им, что они теперь дедушка и бабушка, и тут же провалился в сон.

«Пути небесные» Ивана Шмелева он тогда еще не читал. И понимание знаков Провидения, судьбы, промысла Господня не казалось важным. Да и слов-то таких Иванов тогда не употреблял. «Случай есть точка на графике закономерностей», — любил он повторять цитату. Купера? Кажется, ему приписал авторство таинственный Гривадий Горпожакс, автор любимого в детстве «Джина Грина — неприкасаемого». Обложка этого приключенческого романа до сих пор стоит перед глазами. А саму книжку давно зачитали приятели… жаль, издание было в советское время единственное — 1974 года, кажется, и потом не то запрещенное, не то изъятое из продажи вплоть до перестройки.

Дешевый во всех смыслах боевичок Горина, Поженяна, Аксенова (вот он — Горпожакс-то!) тогда, в 70-х, притягивал к себе уже одним оформлением: на черном фоне обложки цветными огнями горело отражение дороги в зеркальце заднего вида с потрясающей надписью дорожного знака на американской (!) улице — ONE WAY. «Джин лениво погладил рукою лежачее рядом голое тело Тран ле Чин»… Что-то в таком духе. «Зеленые береты», мутные воды Потомака, Вьетнам, лобстеры, виски, Кей Джи Би, «беретта» под мышкой, ну и так далее. «Приключения тела», как называл это в то же самое время герой другого любимого романа — «Обитаемый остров» — Максим Каммерер. Прогрессор, в общем. «Массаракш»! Вот из такого месива, наряду с русской, зарубежной и советской классикой, конечно, складывалось мировоззрение молодого человека. Голод на книги у Иванова всегда был потрясающий. С четырех лет, когда мама, еще на заставе, научила его читать. Первыми книгами стали четыре тома Гайдара. Потом… толстенная книжища без обложки — «Русские народные сказки», неведомо каким образом

оказавшаяся в маленькой заставской библиотеке. И Лев Толстой для детей. Дежурный сержант, сидевший «на коммутаторе» под плакатом «Болтун — находка для шпиона», рядом с книжным шкафом, в котором и помещалась вся заставская библиотека, дразнился:

— Это толстый написал!

— Нет, Толстой! Толстой! — отчаянно защищал любимого автора мальчик.

— Ну вот же, написано: толстый! — продолжал дразниться дежурный по заставе.

Наверное, наверное, мама привозила из города, куда наведывалась с оказией — отрядной машиной, — не только мороженое в стаканчике, но и детские тонкие книжки. Но их Иванов почему-то не запомнил.

Потом, конечно, были Куприн, Катаев, Чехов, все Толстые, Тургенев, Достоевский, Шолохов, Островский, Честертон и Теккерей, Диккенс и Вальтер Скотт, Гете и Гофман, Бальзак и Стендаль, но еще и Распутин, и Белов, и даже Остап Вишня в трех томах, и Семенихин, и Бабаевский, и Анатолий Иванов, и Бондарев, и Орлов, и Маканин, короче, все советские «классики» позднего периода — и «деревенщики», и «сорокалетние», да еще военные мемуары, и военные приключения в сериях, а еще Пушкин и Лермонтов, Блок и Есенин, Маяковский и Байрон, и Шелли, и Бодлер, и

Шекспир — и все в собраниях сочинений, прочитанные от корки до корки, потому что чтение было страстью. В универе, конечно, этот малый круг существенно расширился до обязательной программы филфака и сверх того, но основное, кроме Евангелия, разумеется, было заложено в детстве.

Обычный советский набор. Все, что продавалось в «Военной книге». Понятно, что именно там не было тех книг, которых больше всего жаждала юная душа. Книг, которые пришли не то чтобы слишком поздно, но тогда, когда душа уже отгорела. Может, и к лучшему.

Так вот, «Пути небесные». На первом курсе Иванов сначала обратил внимание на самых броских, вызывающе красивых студенток. И быстро вычеркнул их из списка достойных.

Потом, потом стал примечать обаяние. Как правило, это были девушки постарше, почти его ровесницы, во всяком случае, не вчерашние школьницы шестнадцати лет, каких было в группе подавляющее большинство. Именно среди них, тех, что почти ровесницы, оказалась жена. С которой прожито было семнадцать лет. Алла родила Валерию Алексеевичу дочь. А он придумал дочке имя — Ксения.

Алла, бывало, сетовала: «Всю жизнь мечтала — будет у меня дочь, назову Валерией. А тут муж — Валера. Валерия Валерьевна — это как-то уже слишком. Пришлось от мечты отказаться.»

Она была самой обаятельной в группе. По крайней мере, для Иванова. Роман начался перед 8-м Марта. Валера тогда только-только закончил сдавать свою первую сессию. Справка из госпиталя, предъявленная в феврале, уже перед каникулами, помогла. Сессию Иванову продлили, разрешили сдавать индивидуально. Не особо напрягаясь, студент сдал экзамены и даже умудрился получить стипендию. Так что поездка в Каунас и месячное пребывание в госпитале себя оправдали. Прервали череду бесконечных гулянок с сокурсниками. Дали передышку, «тормознули» не знавшего по молодости удержу Иванова. Правда, родители все равно были недовольны, поскольку едва Валеру выписали, как он пропал на неделю и появился в Риге только после того, как начальник госпиталя отыскал его в военном городке, неподалеку от Каунаса.

Роман с Татьяной — переводчицей радиоцентра в Линксмакальнисе — оказался скоротечным. Борис Николаевич — майор, сосед по палате, выписавшись в один день с Ивановым, попросил подождать его немного в госпитале, обещая сюрприз, а сам уехал. Не прошло и часа, как в приемном отделении, где на потертом диване коротал время Валерий, появилась Таня, уже не раз навещавшая «больного». Она порывисто обняла юношу, скорее по-дружески, чем страстно.

— Ну что, выздоравливающий, в гости ко мне поедешь?

— Так у вас же пропускной режим, секретность.

— Забыл, что у меня подруга — жена коменданта? Вот пропуск!

— От таких предложений не отказываются! — расцвел Иванов и решительно подхватил сумку с вещами.

Во дворе госпиталя на ослепительно-белом под солнцем снегу сверкала новенькая синяя «Волга» в экспортном исполнении. Таня широким жестом, приглашающе, махнула рукой:

— Карета подана, граф!

— Это твоя? У майора такая же точно. Или он дал покататься?

— Ага, даст он мне свою машину! — засмеялась девушка. — Просто в одном месте получали и почти в одно время. Начальник наш был очень недоволен — такая сопля, по его мнению, и такая же тачка, как у него!

— Цивильно! — Со сдержанным восхищением Валера устроился на переднем сиденье. Машина благоухала внутри

чистотой, свежестью и тонкими духами. На цепочке перед ветровым стеклом болтался брелок — бронзовый негритенок с членом больше собственного роста.

Татьяна, включая зажигание, краем глаза уловила невольное смущение Иванова, разглядывающего брелок, и лукаво улыбнулась:

— Надеюсь, меня не посадят за растление малолетних!

— Тоже мне старушка! — рассердился Валера, покраснев и отворачиваясь в сторону.

— Ладно, ладно, поедем скорей, а то я со службы отпросилась на час, вместо обеда.

Татьяна ловко развернулась и выехала из ворот госпиталя на шоссе.

У молодой женщины было все, о чем только могли мечтать ее сверстницы. Личный автомобиль, и не «жигуленок», подаренный папой, а «Волга», купленная на «свои», заработанные в Африке, а затем и в Париже, чеки. Своя собственная, пусть однокомнатная, квартирка, обставленная новой мебелью, увешанная африканскими сувенирами, полная всяких, дразнящих воображение советского человека, мелочей. Книги, книги, книги, большая часть которых — на французском, немецком, английском, — привезена «оттуда».

Модная одежда, коллекция французских духов и алжирского золота. Кофеварочки, пепельницы, зажигалочки, сумочки, перчаточки, тапочки, пижамки, лифчики. Все было исполнено шарма, все было вызывающе прелестно. Включая, конечно, хозяйку.

Чистая звезда французского кино, а не хохлушка с Донецка.

— Я так рада тебе, Валери, — шептала она ему, дразня французским интонированием, чувственно, сознательно грассируя, играя с ним звуками, как фантиком с котенком.

Они лежали рядом на разложенном угловом диване, смотрели какое-то жутко буржуазное кино по невиданному еще никогда Ивановым видео, болтали ни о чем, наслаждаясь теплом, уютом, несмотря на то что за окном морозная январская ночь и строго охраняемый спецназом режимный объект. А у них тут ликер «Айриш мист», виски «Баллантайн», крепкий Camel у Иванова и длинная, тонкая сигаретина Моге у Тани.

Легкомысленная пижамка хозяйки распахнута на груди, не скрывая ее упругой, волнующей прелести. Нога ее под верблюжьим одеялом коленкой невзначай касается напряженного достоинства юноши, прижимает его, молодая женщина смеется вспыхнувшему лицу Валеры, целует его по-сестрински, ласково, но не более того, и тут же сама просит:

— Обними меня, мальчик мой, не бойся, женщины не кусаются!

— Таня, Танечка, милая, — бормочет Иванов, теряя голову, целует нежную шею, гладит горячими руками молочное чудо груди, целует, как впервые в жизни, напряженные, дерзко подрагивающие соски, гладит бархатную спину, невольно касаясь «кошачьего места» на границе спины и резинки пижамных брючек. Женщина вздрагивает, притягивает к себе лицо юноши, целует его «по-французски», чувственно, пока хватает дыхания, и мягко отстраняет от себя, успокаивая.

— Без вольностей, мон шер, только без вольностей!

В однокомнатной квартирке только одно спальное место, поэтому, после недолгих колебаний, гостю было предложено спать вместе, но «по-братски», без приставаний.

Сладкая пытка продолжалась каждую ночь. Татьяна не высыпалась, утром сбегала на службу с кружащейся головой. Вечером врывалась в квартирку, захлопывала гулко дверь, задраивала, как люк в подводную лодку. Быстро съедала приготовленный старшей подругой, опекавшей в ее отсутствие гостя, ужин, спала час-другой, приходила в себя, а потом все начиналось сначала.

Они читали друг другу стихи. Он ей свои, она ему — Вийона, Бодлера, часто на французском, он так просил. Они строили планы. О том, как он переведется на заочный и переедет к ней, в Литву, устроится здесь на службу. О том, как свести вместе родителей — отец Тани тоже был офицер-пограничник, только в запасе уже. А главное, они не заправляли каждый день перестилаемую Таней постель, они жили в ней всю эту неделю, изводя друг друга ласками, но так и не позволив себе за все эти дни дойти до последней черты.

Невинное бесстыдство рук и губ давно уже переступило все границы. Они стали ближе многих любовников и супругов, изучив каждый миллиметр тела друг друга, каждую родинку, каждую складочку. К концу недели Таня уже перестала надевать пижамку, оставаясь в символических трусиках, она сама, дурачась, стягивала с Валеры трусы и любовалась возбужденной плотью, но до последнего не позволяла ему перейти символическую грань. Они не раз уже наблюдали с пристальным, страстным любопытством, как возбуждение их достигало апогея и кончалось закономерно, как и положено природой. Они ни капли уже не стеснялись друг друга, даже наоборот, испытывали все возможные способы прикосновений, объятий, поцелуев. Исследовали привычки, впрочем, какие тогда у Иванова могли быть привычки в любовной науке? Скорее, реакцию на все — на

холодное и горячее, на страстное и нежное, на сладкое и соленое. Видео быстро прискучило, и теперь только музыка да трепет пламени свечей окружали маленькое пространство их выдуманного мира, который не мог не рассыпаться однажды, чтобы не взорваться.

Это просто поехала крыша,
Это просто наехали мыши.
Это я? Нет, не я. Я вышел.
Спи же, спи же, ну, тише, тише.
Обними меня! Ближе, ближе.
Неудобно, спустись пониже.
Ты готова уже — я вижу.
Ну, не надо так громко, тише!
Ну же, милая, я все чувствую.
Я люблю тебя всеми чувствами.
Моя славная, моя девочка,
Моя сказка, моя припевочка!
Ты такая сейчас нежная,
Ты такая вся белоснежная.
Подожди еще, ну хоть чуточку,
Поцелую тебя минуточку.
Хорошо, хорошо, ненаглядная,
Нет, не так, давай просто лягу я.
Ты ж сломаешь меня так, солнышко!
Ну же, ну же, давай до донышка!
Боже, что ты со мною творишь,
Ну зачем это все говоришь?
Я же чувствую это без слов,
Я же вижу твою любовь!
Тише, тише, ну, дождь по крыше.
Тише! Тише! Ну, бегают мыши.
Куда делся? Я был, но вышел.
Завтра снова приснюсь, ну, тише.

Звонок из госпиталя был предсказуемым, но все равно неожиданным. Пропавшего студента, не объявившегося после выписки дома, разыскивали родители. Прощания с Татьяной, ушедшей с утра на службу, не получилось. Короткий разговор по служебному телефону, бессвязные фразы, обещания писать, договоренность о скорой встрече.

Молчаливый майор, бывший сосед по палате и начальник Тани, отвез его на своей машине в Каунас. Прежде чем отправиться на вокзал, заехали в госпиталь. Полковник

медслужбы в накрахмаленном белом халате сухо поздоровался и стал звонить в штаб Прибалтийского погранокруга — отцу Иванова. Заверив Алексея Ивановича, что сын немедленно выедет в Ригу, и положив трубку, полковник неожиданно скупо усмехнулся в усы:

— Ну что, студент? Нагулялся?

— Нагулялся… — буркнул, глядя в пол, Валера.

— Ты, вьюноша, не забудь, что тебя здесь не только родители разыскивали. — Полковник посмотрел насмешливо на покрасневшего студента. — Что, вспомнил, наконец, Ромео, что у тебя здесь не одна Джульетта? Иди и больше к нам не попадай, займись делом. Ни гулянки, ни жизнь от тебя никуда не уйдут, поверь мне на слово, еще устанешь от этого. А вот время, время уходит очень быстро. — Полковник вздохнул и вместо прощания просто махнул рукой в сторону двери.

Галя, Галочка, Галина — похудевшая, с черными кругами под огромными на осунувшемся лице глазами, в большом, не по росту, больничном халате, лежала на кровати поверх одеяла, невидяще смотря в потолок. Остальные больные в женской палате сменились. Но, судя по любопытным взглядам, которыми они наградили мявшегося у входа Иванова, все подробности госпитальной личной жизни были им прекрасно известны. Самая пожилая из них неожиданно встала, запахнула халат и кивнула товаркам — пойдемте, девушки, погуляем! «Девушки» согласно потянулись к выходу, оставив молодежь наедине.

— Валерка. — прошептала Галка запекшимися губами и закашлялась. — Дай воды напиться, братец Иванушка!

Валера кинулся наливать ей сок из банки, стоявшей на тумбочке, присел на кровать, подал стакан, подождал, пока женщина смочит пересохшие губы, пока напьется, вытягивая тонкую, длинную шею, как галчонок. Галчонок.

— Ну куда же ты пропал? Я тут совсем сдала, иду по коридору, от стенки к стеночке шатаюсь, а перед глазами — Валерка. Пойду покурить, курить не могу, кашляю, а перед глазами — Валерка. Прости, это от болезни, наверное, все плачу и плачу. Ты уже в Ригу уезжаешь? Нагулялся со своей переводчицей? — Валера протестующе помотал головой, но Галина сухой, горячей ладонью прикрыла ему губы. — Не ври. Я замужняя женщина, а вы люди свободные, чего тебе стесняться? Это мне стыдиться надо, дуре.

Иванов поцеловал узкую ладошку, прижал ее к своей щеке и отвернулся.

— Я буду писать тебе, Галчонок, — неуверенно поообещал он. — Просто дела всякие с майором, насчет службы.

— Какие дела, мальчик мой? Какая служба? Не наслужился еще, не наигрался? Не твое это, Валерка, вспомнишь мои слова когда-нибудь. — Она откинулась на подушку и замолчала.

— Да нет, что ты, Галочка, я же в универе учусь, на кой ляд мне портупея?! — запротестовал было Иванов, но она остановила его взглядом.

— Поцелуй меня теперь на прощание. И никогда не ври женщинам, ладно? Лучше промолчи. Обещаешь?

Валера неловко нагнулся, клюнул Галку в бледную щеку, устыдился, порывисто расцеловал мокрые глаза, носик, тонкую шею, потом резко поднялся и вышел из палаты, не оглядываясь. Борис Николаевич, заждавшийся его в своей «Волге», недовольно включил зажигание и поехал на вокзал. Оттаял он только в буфете. Взял обоим по сто пятьдесят коньяку, пару шоколадных конфет, чокнулся и махом опрокинул свой стакан.

— Ну, бывай, студент! Даже завидую тебе, что ты так и не понял что, зачем и почему. Отцу привет передавай. И запомни, Алексей Иванович многое бы дал, чтобы позволить себе прожить другую жизнь. Он ведь человек талантливый. Только служба наша не предполагает личных… — Он помолчал, повертел стаканом, подыскивая слова, — Ну, в общем, личных интересов.

Валера непонимающе посмотрел в лицо седому уже майору, больше похожему на директора школы.

— Ты что, в самом деле не понял или дурачка включил с Татьяной? — Борис Николаевич не дождался ответа и зажевал это дело конфетой. — Ну, счастливо! Доверься судьбе, интуиция иногда на автопилоте из таких виражей выводит. — Не закончив фразы, майор похлопал Иванова по плечу и ушел.

Дорогу в поезде Иванов проспал. Уже в автобусе, подъезжая к Иманте, завидев впереди сахарные девятиэтажки в окружении сосен, присыпанных снегом, он внезапно подумал: «Что за ерунда, в самом деле?» И надолго выкинул из памяти и Галку, и Татьяну, и майора. Надо было сдавать сессию, снова окунаться в студенческую жизнь, надо было разгрызть будущее с хрустом, как яблоко, пережевать, пережить и выплюнуть косточки.

От Галки вскоре пришло письмо, потом телеграмма о том, что она будет проездом в Риге.

Пару раз домой позвонила Татьяна, раговаривала вежливо, интересовалась учебой, а потом звонить перестала. Иванову, конечно, было уже не до этого.

Он взялся за книги, сдал сессию, по утрам начал бегать по лесу, благо, что начинался он сразу за их домом, стоило лишь перейти через дорогу. По выходным, вместе с соседом, военным медиком — фанатом здорового образа жизни, ходил пешком

через лес в Юрмалу, километров за десять—пятнадцать от дома. Они по дороге не разговаривали, просто шли и шли — сначала по просеке, потом через поля, потом снова через лес. Доходили до речки — Лиелупе и по высокому берегу сворачивали налево, к станции Приедайне. Перекусывали бутербродами или съедали что-нибудь в станционном буфете, а потом снова возвращались домой пешком, потратив на этот поход весь день.

В понедельник Иванов аккуратно приходил в универ к первой паре, старательно отсиживал лекции, потом шел в научную библиотеку. Друзья-сокурсники, с которыми было столько выпито в первом семестре, тоже вынужденно притихли. Все они сдавали первую сессию с проблемами и приключениями — остались без стипендии, а Костеца даже на недельку родители уложили в наркологию, чтобы остановился. Там Костец встретился неожиданно с Ариком, чему оба много смеялись, и только Сашка умудрился удержаться на плаву, не прибегая к радикальным средствам. Он по-прежнему каждый день приходил на лекции с дикого бодуна, но занятий все же не пропускал и даже устроился подрабатывать сторожем на стройку — в центре города, напротив МВД, возводили элитную гостиницу «Ридзене» для высокого начальства. Его примеру вскоре последовали и сокурсники — Иванов сначала сторожил по ночам Ботанический сад в Задвинье, а потом и вовсе рядом оказался, в здании Госкомитета по труду, по соседству с «Ридзене». За ночь через две платили семьдесят рублей в месяц. У Иванова еще была стипендия — это плюс сороковник. Стипендию он отдавал обычно родителям, хотя было это чистой формальностью, все равно они полностью его обеспечивали. Ну а «зряплата» шла на возросшие со временем потребности частной жизни. Представить себе, что уже через несколько лет именно из отеля «Ридзене» прогремят первые автоматные очереди по омоновскому наряду, поддержанные огнем из Министерства внутренних дел, стоящего напротив; представить, что вскоре в здании Госкомтруда, которое сторожил Иванов, разместится американское посольство и станет новым — «Вашингтонским» обкомом для всей Латвии, — было решительно невозможно.

Когда были сданы латынь и старославянский, когда мозги перестали плавиться от исторической грамматики, когда осталась позади вторая сессия, студенты снова начали потихоньку расслабляться; тогда наличие двух, а потом и трех (Костец тоже устроился на работу) сторожек в ведении сокурсников оказалось неожиданным благом. Почти каждый вечер на всю ночь до утра у них было место для встреч, занятий и девочек.

Однако было событие, которое во многом предопределило

дальнейшую жизнь еще недавно отслуживших в армии первокурсников. Всем им было тогда по двадцать два года, и новая страсть — жениться! — сплотила их дрогнувшие было в борьбе с гранитом знаний ряды.

А начиналось все так наивно и просто — на носу было 8-е Марта. Девчонок было двадцать пять штук, ребят всего четверо. Раскинули мозгами и стали считать деньги, которых, как всегда, много не оказалось. Посоветовались с родителями. Валерина мать тогда работала завсекцией в крупном промтоварном магазине, расположенном в знаменитой «Кишке» — длинном торговом ряду на улице Маскавас в Кенгарагсе. Она достала для мальчишек двадцать пять красивых коробочек с импортным зеленым мылом, вкусно пахнущим зелеными яблоками.

Осталось присовокупить и подписать открытки, купить оптом двадцать пять штук тюльпанов и приготовить праздничный концерт. Тут уже дело было за Ариком — признанным бардом группы. Вместе с Костецом они разучили на двух гитарах пару шлягеров Антонова. Валера написал шутливое поэтическое послание от «филолухов» «филоложкам», на оставшиеся копейки закупили вина и отправились на лекции.

Но последние три рубля Иванову пришлось все же опять потратить на подорожавшие в день праздника тюльпаны. Точнее, на один тюльпан — высокий, зеленый, в хрустящем целлофане. Его он преподнес отдельно — Алле.

Как уже говорилось, девушки в группе были разные — очень красивые и глупые, обаятельные, но постарше сверстниц и. была еще одна категория сокурсниц, которых Иванову трудно было классифицировать за слишком явной малочисленностью. Это были девушки творческие. Или, по крайней мере, интересовавшиеся творчеством, как таковым.

Обе они были молоденькими, только после школы, первокурсницами. Обе были обаятельными и симпатичными, но не это отличало их от большинства старательных и в общем-то неглупых сокурсниц. Они жили, буквально жили искусством.

Они были на самом деле влюблены, страстно, нежно, по-детски влюблены в литературу, кино, театр, музыку. Они посещали поэтическое сообщество филфака, устраивавшее закрытые вечера в кафе «Лингва», они не вылезали из библиотек сверх программы, они посещали оперу и филармонию. Одна из них, Майя, была скорее ценителем и потребителем талантов. Другая, Катерина, была талантом сама.

Иванов дружил с ними обеими. Его стихи печатали иногда в университетской газете, он входил в объединение поэтов «Маляр», да и вообще считался в группе личностью, не чуждой

творческого начала, особенно когда был в запое.

Конечно, девушки семнадцати лет, живущие книгами и знающие о жизни все, что о ней *написано* было великими творцами простые человеческие взаимоотношения, такие как любовь, замужество, дети. считали абсолютно глупыми, не имеющими к ним никакого отношения. По крайней мере, на ближайшие десять лет. Иванов быстро это понял и, не прекращая приятельских отношений с родственными душами, быстро переключился на объект более реальный.

Алла была его ровесницей, на полгода всего младше. Она уже успела закончить два курса Политехнического, училась на инженера-энергетика, когда внезапно ушла из РПИ (Рижский Питомник Идиотов) и поступила на филфак ЛГУ (Лучшие Годы Уходят). Девушка была из рабочей семьи — отец трудился прорабом на стройке, мать-швея была даже награждена за свои достижения орденом. Честно говоря, Иванову редко случалось общаться с девушками из этой среды. Ну, за исключением недолгой работы на заводе до армии. Все его любови и просто подружки всегда были из офицерских семей. У них были одни убеждения (впрочем, у кого тогда вообще убеждения были *иными?),* одна среда, одна биография, один образ жизни, да и материальные возможности родителей, соответственно, тоже были примерно одинаковы.

Может быть, поэтому все, что говорилось в семье Аллы ее родителями, было ему страшно ново и интересно. Его забавляло поначалу, а не раздражало, как потом, уже после свадьбы, что теща-орденоносец совершенно не могла понять, «за что платят такие деньги военным бездельникам». Теще, женщине безусловно работящей, ни минуты не сидевшей без дела, но всю жизнь прожившей в Риге, невозможно было объяснить в ответ на замечание: «Твоя-то мама вообще сколько лет не работала», что сама по себе жизнь жены начальника заставы в Туркмении, в песках, в горах, где никакой работы нет просто по определению, — это тяжкий и порою невыносимый труд. Теща с тестем не понимали, что такое отцовские два ранения, полученные в мирное время, они видели только, что у него полковничьи погоны и «Волга» с водителем, на которой, кстати, и отправились вскоре в ЗАГС молодожены. Простейшая сентенция о том, что для того, чтобы стать генеральшей, надо выйти замуж за лейтенанта, совершенно искренне не приходила в голову этим русским рижанам. Они не понимали, что где-то и сейчас есть родной для Ивановых Урал, и Пермь с ее заводами, и родная деревня Ивановых, с ее непролазной грязью. Митрошкины были честными, много работавшими простыми людьми, всю жизнь

прожившими в Латвии, никуда почти из нее не выезжавшими, с большой родней в Латгалии и, понятно, потомками русских староверов, бежавших в Прибалтику еще при Петре Первом. Большая Россия для них была страной чужой и далекой уже тогда, в советское время.

Валере, родившемуся в Туркмении, успевшему еще ребенком объехать половину Советского Союза, Валере, у которого родня была в Перми, брат служил во Владивостоке, а дома лежал на полке дембельский немецкий альбом, — ему было странно и от этого еще более интересно видеть совершенно другой мир, в котором выросла Алла.

Сама она, впрочем, была девушкой вполне современной и разносторонней, на одном месте сидеть не любила, выпрашивалась у родителей в экскурсии по разным советским республикам и тоже успела увидеть, что мир за границами Риги отнюдь не заканчивается.

Стройная, спортивная, не то чтобы писаная красавица, но притягательная редким обаянием, Алла как бы застряла посередине между миром Иванова и миром родителей. Значит, был в Союзе и такой, третий мир. Наверное, их было много-много больше, но, как ни странно, они оказались разными, и это впоследствии довольно больно ударило по Валерию Алексеевичу, на своей шкуре с годами прочувствовавшему, что «Не в свои сани не садись» и многие другие банальные русские пословицы на деле оказались куда мудрее книг Карнеги, Владимира Леви и прочего «психоложе-ства».

Но тогда, в самом начале их романа, само по себе ощущение возможности какой-то новой, взрослой, семейной, самостоятельной жизни, жизни во взаимной *любви,* так долго, с детства, взыскуемой Ивановым, наполняло юношу щенячьим восторгом — и только. А потому простая благодарность за подаренный цветок, дружеский поцелуй в щеку и приглашение мимоходом — зайти домой, пообедать блинчиками с сердцем, приготовленными собственноручно, покорили Иванова сразу и бесповоротно, и он потерял голову.

Музей театра, в котором проходила редкая по тем временам британская выставка «Театр шекспировских времен», находился в двух шагах от дома Аллы. И потому приглашение в гости после посещения выставки оказалось естественным. И блинчики — просто объеденье. И обыденная неромантичность происходящего так резко отличалась от привычных, всегда немного «на цыпочках» увлечений, случавшихся у Иванова до Аллы, была потрясающей именно этой своей простотой. Все восхищало Валеру и в Алле, и в ее родителях, даже то, что он не мог ни

понять, ни принять. А вот поди ж ты — нравилось, и все! Наверное, просто пришло время жениться. И эта целевая, программная установка на уровне генов блокировала все, что оказалось до обидного простым и понятным потом, когда первые годы супружеской жизни остались позади. Может быть, он бы одумался со временем, не стал портить жизнь ни себе, ни Алле, но опять вмешался случай, подстегнувший события.

К Алле в гости неожиданно приехал давний ее ухажер — какой-то слесарь из далекого волжского городка, в котором Алла в детстве отдыхала летом у дальних родственников. Причем приехал явно с намерением жениться на Алле и увезти ее к себе на Волгу. Эта история Иванова не охладила, а, наоборот, разъярила. Он сделал все для того, чтобы Алла определилась и навсегда осталась его, и только его девушкой. Ухажер остался с носом и вернулся восвояси на свой завод, а Алла забеременела от Валеры, и без свадьбы было уже не обойтись.

А ведь был же у Иванова пусть и небольшой, но опыт. Татьяна, с которой он познакомился в Каунасе, показалась ему слишком самостоятельной и взрослой, слишком *обеспеченной,* она явно заняла позицию ведущего в их отношениях. И уже одно это, да и неясные намеки майора на «полезность» такого брака заставили Валеру с легкостью забыть о приятных, но тревожащих неподконтрольностью ему самому матримониальных намеках со стороны молодой женщины.

И ведь уже делал, сразу после армии, попытку жениться. Даже заявление в ЗАГС подавал.

Причиной стал банальный, не совсем трезвый спор «на слабо» на вечеринке в «пограничном» доме. Все свои — знакомые и родные. Соседи по подъезду.

Светка Маляренко была на год младше Валеры. Они познакомились еще в то, первое, рижское лето, когда пограничники только заселили новую девятиэтажку в Иманте. Но тогда случилась любовь с Леночкой Белкиной, вообще восьмиклассницей, и Валера, поглощенный первым на новом месте чувством, ни на кого больше внимания не обращал. А вот когда вернулся из армии «олимпийским» дембелем, в мае 80-го, тогда подросшие за это время девушки-соседки по-новому стали открываться молодому парню.

Но началось все опять не сразу — первой встречей во дворе; началось все опять откуда-то сбоку, через цепь случайностей, издалека, с тех хитрых «подходцев», которыми изобилует наша жизнь. «Пути небесные» понимать доступно только избранным, и не с житейским и духовным опытом вчерашнего солдата было разобраться в хитросплетениях случайностей, поступков,

желаний, намерений и обстоятельств.

Отдохнув после дембеля недели три, не больше, Иванов снова вернулся на родную уже «Радиотехнику». Настраивал магнитолы «Рига», флиртовал со сборщицами, пил спирт с рабочими и тихо дожидался осени, чтобы поступить на дневной рабфак университета, или «нулевой» курс, как его еще называли тогда.

Пограничный дом жил своей жизнью. Отец получил повышение по службе и новое звание, старший брат, уйдя после окончания ЛЭТИ на Тихоокеанский флот офицером-двухгодичником, решил остаться в кадрах. Семья должна была скоро переехать из трехкомнатной в Иманте в новую четырехкомнатную квартиру в Кенгарагсе — Алексею Ивановичу теперь положена была, как полковнику, дополнительная комната. Остаток короткого прибалтийского лета вчерашний дембель проводил по будням на радиозаводе, сидя в белом халате за осциллографом в индивидуальной выгородке на втором этаже огромного нового корпуса. Настраивал и проверял блоки, целовался на перекурах с хорошенькими монтажницами на лестнице, со вкусом обедал в роскошном комбинате питания, таскал домой трехлитровые банки с соком, положенные «за вредность», да обсуждал с напарником — интеллигентным пожилым рабочим — события в Польше и другие насущные вопросы мировой политики.

Мир, с одной стороны, казался застывшим, как муха в янтаре, — солнечное утро, тысячи людей в белых халатах, трудящихся за стеклянными стенами современного производства под веселую музыку заводского радио: «Раз, и два, и три, четыре, пять — снова я иду тебя искать…» — пел веселый голос из мощных стереоколонок «АС-90», выпускаемых здесь же, в знаменитом цехе акустики. Двести полновесных рублей зарплаты — приличные по тем временам для двадцатилетнего парня деньги. Выходные часто проводились в Юрмале — сперва на пляже, потом в каких-нибудь «Вигвамах» — уютном кафе-ресторане, стилизованном под. непонятно даже под что, такими смешными были бревенчатые купола на открытом воздухе, деревянные чурбаки вместо стульев, цыплята гриль, сухое вино и разливное пиво с тминным сыром — одновременно. Вечерами собирались иногда «У самовара» в Дзинтари, там, в псевдорусском «трактире», парни в алых косоворотках и сапогах подавали мясо с грибами в горшочках, водочку, но главное — там играла живая музыка, были танцы и дачницы со всех концов Советского Союза.

С другой стороны, на заводе открыли новое огромное бомбоубежище на несколько тысяч человек. Сдача в эксплуатацию

нового объекта гражданской обороны сопровождалась учениями. Внезапно, не прошло и часа после начала первой смены, заревел сигнал тревоги, и металлический голос диктора объявил об угрозе ядерного взрыва. Всем было предложено обесточить рабочие места и, согласно планам эвакуации, выдвигаться к бомбоубежищу на внутренней территории предприятия. Народ загудел и быстро повалил к выходам. Наиболее впечатлительные женщины бежали, толкаясь и повизгивая, даже падали на лестницах; паники не было, но и стопроцентной уверенности в том, что это всего лишь учения, не было тоже. Поэтому, когда у входа в бомбоубежище рабочих встретил начальник гражданской обороны и вместе с мастерами стал распределять — кому какие объекты убирать после строителей и приводить в порядок, попутно раздавая ведра, швабры и тряпки, — все вздохнули с облегчением. А дня через два отец убыл в командировку — формировать боевую маневренную группу из состава войск погранокруга для возможного введения на территорию Польши. И однажды ночью, когда Валера уже крепко спал — вставать в первую смену на завод приходилось рано, — за стеной, в соседней квартире, в голос, очень громко и протяжно запричитала соседка — молодая еще женщина с двумя маленькими детьми. Мать проснулась, пошла узнавать, в чем дело и не нужна ли какая помощь. Вернулась не скоро, ничего не сказав, и только на следующий день вечером объяснила сыну, что мужа соседки, капитана, сбили в горах Афганистана. Несколько экипажей вертолетов из состава войск Прибалтийского погранокруга постоянно, сменяя друг друга, находились там, приобретая боевой опыт.

Совсем недавно отец рассказывал, что экипажи вертолетов, находящиеся в Афгане, за последний месяц в несколько раз превысили нормы расхода боеприпасов. По существующему порядку все отчеты, включая эксплуатационные, присылались по месту «приписки» личного состава, временно откомандированного в состав Ограниченного контингента советских войск. Алексей Иванович объяснил сыну, наказав не болтать лишнего, что это значит, что война перешла в новую фазу, «духов» теперь давят по-настоящему, не жалея ракетных залпов с воздуха даже по одиночным целям, прямо как американцы во Вьетнаме. Значит, сопротивление растет, те же американцы через Пакистан перебрасывают оружие и формируют новые партизанские группы, поэтому война эта всерьез и надолго. Но и без нее не обойтись, если не мы, то те же американцы займут стратегический плацдарм у наших южных границ и не только разместят там ракеты средней дальности, но и всеми

силами постараются дестабилизировать положение в советской Средней Азии, ведя подрывную работу среди мусульман, забрасывая агентуру, пытаясь наладить массовое потребление наркотиков в Советском Союзе. Все это показалось тогда Иванову каким-то фантастическим приключенским романом — слово «боевик» тогда еще не было в ходу. Приключения «Джина Грина — неприкасаемого» из подросткового детства оживали в нем и будоражили. Но утром он снова ушел на завод, и все это показалось ему таким далеким и несерьезным, что только поэтому он выполнил наказ отца — не болтать никому о рассказанном. А теперь соседа — дяди Жени уже нет, весь его экипаж погиб и соседка плачет каждую ночь, стараясь не разбудить маленьких детей, но все равно слышно — ведь стены в девятиэтажке сами знаете какие, да и балконная дверь открыта летней ночью для прохлады — все слышно, все слышно.

В 79-м году, когда началась война, вся рота Иванова, служившего тогда в ГСВГ, написала рапорта с просьбой отправить для дальнейшего прохождения службы в Афганистан. Командир полка грозно, но с одобрительной улыбкой, притаившейся в глазах, выругал солдат, «не понимающих, что их служба впереди пограничных застав не менее ответственна, чем в районе боевых действий.» И добавил для совсем уж непонятливых, что война на Юге не отменяет сдерживания НАТО на Западе, поскольку все это звенья одной цепи и неизвестно еще, где вспыхнет огонь завтра.

Валерий Алексеевич рассказывал мне это, не отрываясь от огромного старомодного «тринитрона» в своем кабинете на даче в Вырице. Он курил, пил кофе, отвечал на мои, полные скучающего соседского любопытства, вопросы и одновременно бродил по новостным сайтам Сети; только что ему позвонил приятель из Эстонии — председатель Лиги защиты русских — и предупредил о новых событиях вокруг Бронзового солдата в Таллине. За спиной, на экране телевизора с выключенным звуком, мелькали картинки спутникового круглосуточного информационного канала РТР. Просторный уют большого бревенчатого дома в окружении елей и березок, стеллажи с тысячами книжных томов по стенам, картины друзей-художников, уютные кресла, мониторы компутеров и раскрытые ноутбуки (кабинет Валерий Алексеевич делит с Катериной на двоих), серая выриц-кая кошка, спящая на спине, развалив лапки, у системного блока; овчарка, лежащая у ног, — покой и тишина окружали нас, обволакивали мирной истомой. Но картинка на «плазме» показывала очередную взорванную ночь и концлагерь для русских в терминале Таллинского порта, на мониторе мелькали заголовки информационных агентств, кричащие о том, что НАТО и ЕС

поддерживают действия Эстонии. Отмалчивался демонстративно и не делал никаких заявлений президент — бывший подполковник КГБ, тоже служивший когда-то в ГСВГ.

А на стене, рядом с письменным столом, заваленном фотографиями, флэшками и дисками, висел бумеранг, вывезенный Ивановым из Австралии. По бумерангу скакали кенгуру, он поблескивал красным полированным деревом и все время грозил сорваться с вбитых в дерево стен двух маленьких никелированных гвоздиков, на которых держался.

Валерий Алексеевич перехватил мой взгляд, усмехнулся и снял бумеранг со стены.

— А он ведь и в самом деле возвращается! — Иванов поднялся с вертящегося кресла и подошел к окну, распахнутому в сад. Изловчился и бросил, крякнув, кривую загогулину в томное весеннее небо. Бумеранг пролетел над лужайкой, чуть подумал, вздрогнув, сделал плавную петлю и влетел обратно в кабинет, снеся по дороге хрустальную вазу с веткой цветущей черемухи. Ваза тяжело ухнула на пол, залив водой и мокрыми белыми лепестками половицы.

— Слава богу, не разбилась, — удовлетворенно выдохнул Иванов, поднимая мокрую вазу, заблестевшую сразу влажными искорками на солнце, льющемся в окно. — А ведь могла и разбиться вдребезги. — Валерий Алексеевич задумчиво посмотрел на экран телевизора, на котором, блестя щитками космических шлемов, наступала цепью на русских мальчиков эстонская полиция. Я молчал, не удивляясь уже несколько театральным жестам соседа, постоянно твердившего мне про «образы» и «смыслы», которыми наполнена жизнь. Иванов поднял выразительным жестом палец, дескать, погоди секунду, сейчас что-то покажу, подошел к компьютеру и открыл один из порталов, на которых периодически публиковал свои статьи. На большом фото, предварявшем статью, чуть прищурившись, с усталой рассеянной улыбкой, смотрел на читателя он сам…

— Вот, погляди! 2007 год, а меня как в 91-м торкнуло… Истерики не принимаю, но только «дарагие рассияне» опять лишают русских людей веры в Родину. Помогают ассимиляции, так сказать, чтобы и мысли не было вернуться в Россию!.. (Непечатное слово сорвалось с уст и вышло таким цветистым, что даже сам автор невольной импровизации смутился.)

Оно конечно, еще Иван Грозный писал польскому королю, что «тебе со мною ругаться честь, а мне с тобою — бесчестие!». Эстония — это еще не повод для великой державы содрогаться от негодования. Но судьба русских людей, похоже, никого в российских властных структурах не волнует сама по себе именно

потому, что они — русские.

«Бронзовый солдат живее всех живых?

Это нужно не мертвым…

Я не знаю, какие меры, примет, наконец, моя страна в отношении Эстонии. Я не знаю, когда перестанут, «обсуждать» и «консультироваться» депутаты, сенаторы, и министры.

Они, на самом, деле, «обсуждают, и консультируются» уже 17 лет.

«Наши» в очередной раз не пришли и вряд ли когда-нибудь придут. «Наши» (я не имею в виду молодежный клоунский союз, устраивающий пер-формансы с резиновыми изделиями), НАШИ, в исконном РУССКОМ смысле этого слова, наверное, слишком сильно заняты пошивом георгиевских ленточек. А значит, «наших» в России попросту уже не осталось. Во всяком случае, во власти.

Никто! Никто из политиков, политиканов и политпроституток НИ РАЗУ не вспомнил о ЖИВЫХ русских людях в Эстонии. О тех, кто пошел под дубинки, водометы, и слезоточивый газ; о тех, кто пошел в камеры эстонского гестапо. О тех, кого убивали под объективами телекамер.

Весь день ответственные лица моей страны что-то неуклюже бормотали о павших красноармейцах, о памяти, о победе в Великой Отечественной войне и о том, что они «не допустят», «выразят», «сделают заявление» и «посоветуются». Им вторили в очередной раз, как после Кон-допоги, не знающие, что сказать, журналисты. И тоже: «оскорбили память мертвых», «неизвестна судьба памятника», «Бронзового солдата распилили на части»…

А под этот закадровый текст на экране шла «картинка» с избиваемыми, растоптанными русскими людьми. Еще ЖИВЫМИ русскими людьми! Которых топчут уже 17 лет — начиная с того момента, когда первый президент России прилюдно помочился на шасси самолета, на котором прилетел в Таллин — подписывать приговор русским во ВСЕЙ Прибалтике.

И все эти годы российские политики — «наследники Великой Победы», устраивающие каждый год помпезные юбилеи и раздающие георгиевские ленточки, — ПРЕДАЮТ живых русских людей.

«Это нужно не мертвым. — это нужно ЖИВЫМ!» — неужели никто этого не помнит?

Проблема легитимности российской власти — проблема из проблем. Капкан, из которого никак не вырваться ни президенту, ни его помощникам, не говоря уже о многократно перекрасившихся депутатах и сенаторах. НАДО соблюсти невинность «первого президента России». Иначе, конечно, КАК быть с легитимностью президента нынешнего? И то же самое с Конституцией. И самим,

государством. Да, это ПРОБЛЕМА.

И всем, приходится ЛГАТЬ. Лгать, что неделю назад почивший Ельцин «дал народу России истинное народовластие». Лгать, закрывать глаза, не упоминать… Но ведь все равно ПРИХОДИТСЯ, приходится смотреть ПРАВДЕ в глаза. Никуда не деть предательство миллионов ЖИВЫХ русских людей в Прибалтике и во всех республиках бывшего СССР. Никуда не деться от предательства в Рейкьявике; никуда не деться и от договора по ДОВСЕ. И от расширения НАТО на Восток. И приходится исправлять ошибки, и приходится разрывать договоры. И называть вещи своими именами — все равно приходится. Иначе — конец.

Сейчас, когда я пишу эти строки, по телевизору показывают умершего чуть не в один день с Ельциным Ростроповича и восторгаются тем, как он играл Баха на руинах Берлинской стены… А за пять минут до этого показывали президента, который укорял НАТО за. все, что послужило следствием позорной сдачи итогов той самой ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Никакого ЦЕЛЬНОГО непротиворечивого мировоззрения, никакой ясной картины мира, ни одного слова без ЛЖИ. И снова, когда бьют и даже уже (события в Таллине продолжаются и этой ночью и уже перешли в противостояние русских не только с полицией, но и с эстонскими националистами без формы) УБИВАЮТ русских людей, нам обещают «посоветоваться с европейскими организациями». Нам показывают СИЛЬНЫЙ ход — почти начало экономической блокады — на Камчатке (!) в торговой сети из продажи изъяли свежие эстонские молочные продукты…. Наверное, много изъяли… Это серьезный удар по Эстонии, конечно. И адекватный. Лицу нашей власти адекватный. Лицу власти моей страны.

НАШИ не пришли в Латвию, когда там. закрывали русские школы. НАШИ не пришли в Эстонию. НАШИ не пришли… Этих «НАШИХ» оскорбляет только, когда тревожат мертвых русских бойцов. Живые русские воины, в которых вынуждены превращаться простые сопливые мальчишки и девчонки в Риге и Таллине, слишком, опасны, для политического и материального благополучия лиц, имеющих серьезные бизнес-интересы в Прибалтике. НАШИ не придут. Или придут слишком поздно. Таково свойство нынешних «наших».

Россия — моя страна. Я гражданин России. Но когда мне пишут письма мои соотечественники и друзья, оставшиеся в Таллине и Риге, не по своей вине оставшиеся там и не по своему желанию; когда меня спрашивают: «Что же там у ВАС? Опять тысяча первое китайское предупреждение?» — что я могу сказать о МОЕЙ стране?

Меня трудно назвать человеком вспыльчивым. Я не привык бросаться голословными обвинениями и мечтать о благоглупостях — вроде подъема по тревоге Псковской дивизии.

Я знаю, что политика — это искусство возможного. Но всему есть пре[дел.]

И даже если ЗАВТРА УТРОМ Россия сделает все, что в ее силах, чтобы ЗАЩИТИТЬ русских людей в Эстонии — единственных сегодня истинных и достойных наследников Победы, СОБОЮ защищающих павших воинов, — даже если Россия это сделает.

Сегодняшнее задумчивое мычание власть имущих все равно вечным позором останется на политических партиях, сенаторах, депутатах и министрах.

НЕ ЭТИМ людям СМЕТЬ праздновать 9 Мая и раздавать георгиевские ленточки.

«В МИДе пообещали, что действия эстонских властей не останутся без ответа…» — это ночные новости по ОРТ. 00 часов 20 минут. 29 апреля 2007 года.

В Таллине этой ночью русские снова ждали, что придут наши. Валерий ИВАНОВ, специально для russkie.org»

Иванов заварил нам новую порцию кофе, добавил себе ломтик лимона в персональную чашку с нарисованным на ней пузатым котиком — не иначе подарок Кати. Мягко, по-кошачьи опустился во вздохнувшее тяжко компутерное кресло и повернулся ко мне.

Я начал говорить что-то возбужденное о том, что вот, уже погиб русский мальчик, гражданин России, что его час избивали, прикованного наручниками к фонарному столбу в центре Таллина, и не вызывали «Скорую», пока он не умер, что Россия этого так не оставит, зря Валерий Алексеевич так, под одну гребенку, всех политиков равняет.

Иванов вежливо выслушал меня и безнадежно отмахнулся рукой:

— Ничего не будет. События в Таллине — это воплощение в жизнь старого натовского сценария, который был опубликован еще три года назад. Они, суки, *тестируют* эстонскими руками поведенческие реакции русских в Прибалтике и вызывают Россию на разведку боем, пускай даже дипломатическим, чтобы обнаружить алгоритмы действий нашей стороны. Ставка в этой военной штабной игре — неминуемое введение войск НАТО в Прибалтику. Предлог всегда отыщут. Это будет, как всегда, любая, спровоцированная дестабилизация. Англосаксы по-прежнему используют Прибалтику как полигон. Русских много, Россия — рядом. Сиди, играй в свои штабные игры, просчитывай

варианты, проводи эксперименты, как на лабораторных мышах… В Литве дадим гражданство. В Латвии не дадим. В Эстонии разрешим голосовать негражданам на муниципальных выборах, в Латвии — нет В Риге прищучим русских детей, самое больное, посмотрим, как и кто будет реагировать. Введем в игру провокаторов из числа еврейских — русскоязычных партий и их же руками купируем ситуацию — пусть русские почувствуют себя беспомощными. А Россия. Россия, надеюсь, ответит с другой стороны. Но только как объяснить все это русским в той же Эстонии? Что они удачно провели отвлекающий маневр, оттянули внимание и силы противника, которому в результате этого нанесен удар сзади, с той стороны, откуда он не ждал? И совсем в другой части света? Стратеги, мать их… А людям-то каково? Живым людям! Нельзя так, Тимофей, с живыми русскими людьми. Так что. давай-ка лучше о бабах поговорим.

Надо, наверное, сказать уже сморщившемуся слегка презрительно читателю, что такой, с виду комфортно-необременительной, как нарисовал я выше, жизнь моего соседа стала совсем недавно, после переезда в Россию. Да и то не сразу. И неизвестно — надолго ли. На самом деле затянувшийся этот и запоздалый, может быть, переезд чуть не стоил жизни и Валерию Алексеевичу, и особенно Кате. Но все эти мытарства и печали — сюжет для совсем другой истории. Да и в Латвии за пятнадцать прожитых там при «независимости» лет бывали у Иванова и падения, и взлеты. Приходилось порою попадать в положения, куда более красочно описанные у Булгакова в знаменитом «Беге».

«Константинопольский период» — так называл иронически годы своих неудач Валерий Алексеевич. Тяжко было и в 92-м, едва вернулся он в совершенно не ждавшую его Латвию из негостеприимной для рижских омоновцев ельцинской России. Тяжко было и на рубеже веков, когда рухнули от одного росчерка государственного пера, прикрывшего независимое русское телевидение в Риге, с таким трудом заново выстроенная жизнь и относительное благополучие семьи. Всякого навидался мой сосед в жизни, потому и дорожил так нежданно обретенным в русской деревне покоем. И не загадывал далеко, зная, что будущее по-прежнему неопределенно и от превратностей судьбы никто не застрахован. «Пережили голод, переживем и изобилие», — часто приговаривали они с Катериной с горькой усмешкой, припоминая, видимо, холодные и голодные годы, каких на долю обоих выпало тоже немало.

Вот и купался в тепле и уюте Валерий Алексеевич, согласно немудреному присловью — вдруг война, а я голодный! И рассказывал мне о молодости безмятежной так *подробно,* как

будто оттягивал тот момент, когда неминуемо спрошу я его о днях тяжелых.

— Так вот, я ведь и в самом деле тогда чуть не женился на Светке.

Соседка по пограничному дому — Светка Маляренко была дочкой начальника политуправления округа. Когда Иванов вернулся из армии, она уже расцвела, была полна гоголевского, украинского очарования. Не то панночка, не то любовь кузнеца Вакулы, отославшая его верхом на черте в Петербург за черевичками.

Света училась на втором курсе экономического факультета знаменитого РКИиГА — Рижского краснознаменного института инженеров гражданской авиации. Как и все студенты ГВФ, она ходила в форме, которая шла ей просто «ужасно». «Ужасно красивая была тетка», — сказал бы Валерий Алексеевич сейчас. Впрочем, именно так он и сказал.

«И вот идет вся в белом стюардесса, как принцесса, *доступная,* как весь гражданский флот», — дразнился Иванов, перефразируя известную песню Высоцкого, когда изредка встречал соседку на лестнице или сталкивался с ней перед лифтом.

Но Светка отшучивалась и убегала, всегда убегала. Она дружила с двумя соседками постарше, сильно постарше — тоже, естественно, дочерьми пограничников.

Только подругам ее — Марине и Ольге — было уже почти под тридцать. Обе они работали вольнонаемными в вычислительном центре ПрибВО, только если Марина была замужем, то разведенная Ольга жила одна в трехкомнатной квартире под Ивановыми. И над Маляренко, соответственно. Одна она жила потому, что отец вместе с супругой надолго уехал военным советником куда-то в Африку. Иванов знал их всех, но ровно настолько, насколько знал всех обитателей своего большого дома.

У Ольги часто собирались девичники. Она сама, Марина, Светка со старшей сестрой. Особенно когда у замужней Марины муж-рыбак надолго уходил в море. Тогда снизу допоздна раздавался звонкий женский смех, играла музыка. А еще чаще в открытое окно неслись любимые песни.

«Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идет.» — заводила Ольга. А Светка подхватывала, давясь от смеха, но очень звонко: «На нем защитна гимнастерка, она с ума меня сведет.» Валера тогда высовывался в свое открытое на кухне окно и свешивался вниз, обнаруживая чью-то пушистую голову с распущенными черными кудрями — не понять сверху — Ольга или Светка.

— Это хто ж там спивает? — громко задавался один и тот же вопрос.

— Гарны дывчины! — раздавался неизменный ответ, кто бы там ни оказался. Все подружки оказались, хотя бы по одному из родителей, хохлушками.

Но дальше обмена любезностями дело не шло. У Иванова была своя компания, у них — своя. Все изменилось после памятной вылазки за грибами, ближе к осени. Как обычно, в субботу к дому подъехали два «Икаруса» с военными номерами. Политуправление округа не забывало штабных офицеров и их семьи и потому все лето организовывало по выходным поездки — то за ягодами, то за грибами. Ездили обычно далеко, километров за сто — в сторону Рои, в закрытую для посторонних погранзону. Там и природа нетронутая, и грибов побольше. На этот раз вместе с любившим прогулки отцом отправился и Валера.

Побродив по лесу часов пять, Ивановы набрали полные корзины и вышли к шоссе. Там уже сидели, дожидаясь автобуса, Марина с Ольгой, те самые, постарше, подружки Светки Маляренко. Разговорились, стали закусывать. Тут и бутылка нашлась у отца с собою. Разговор пошел веселее. Когда подъехал автобус, все сели уже рядом, одной компанией. Не доезжая до дома, дружно вышли на окраине Иманты, где у Ивановых был огородик и маленький домик. Там достали еще бутылочку — женщины оказались не промах, благо программистки — техническая, раскованная интеллигенция. Потом уж послали крайнего — «младшенького» Иванова в ближайший универсам — «Вильнюс» за добавкой. Сидели весело, однако, по понятным причинам, отец все же с сожалением стал собираться домой. Пошли все вместе — пешочком-то до дома было минут двадцать ходьбы. Отец попрощался с компанией и пошел сдаваться матери и чистить грибы, а Валеру женщины дружно задержали этажом ниже — у Ольги.

Так они подружились. И веселая, заводная морячка Марина незаметно увлеклась молодым парнем, а он и рад был вниманию старших, интересных интеллигентных женщин, принадлежавших к тому же к незнакомом еще миру «физиков», то бишь — математиков-прикладников. Что они там считали и обсчитывали в своем военном ВЦ, Иванов не спрашивал. Женщины любили и знали поэзию и частенько допоздна засиживались, теперь уже вместе с Валерой, у Ольги. Пили ликер или водку, разводя ее соком манго из больших жестянок, которые доставала где-то оборотистая Ольга. Сидели за полночь при свечах, читали по очереди Цветаеву и Ахматову, Гумилева и Вознесенского, Рождественского и Рубцова, болтали обо всем на свете. Как-то раз

в компании появились сослуживцы женщин по ВЦ — подружка Светы Аня с мужем Федей — ведущим инженером ВЦ и кандидатом наук.

Федя, подвыпив, начал читать свои стихи, откровенно любительские, искренние, но страдавшие абсолютным отсутствием у автора чувства ритма и банальностью образов. Простейшая версификация, которой Иванов овладел по наитию еще в детстве, давалась Феде с огромным трудом, но зато энтузиазма в нем было — хоть отбавляй.

Не сдержавшись, да еще и подвыпив, Валера уединился от компании на кухне и быстро написал небольшой сонет, посвященный Марине. Державшаяся на людях с мужчинами подчеркнуто строго, Валеру она привечала — ведь никто в офицерском доме не подумает, что взрослая женщина двадцати семи лет, замужняя и с ребенком, может завести роман с едва вернувшимся из армии парнем.

Стихи прошли на ура, взрослая компания приняла юношу в свои ряды и стала относиться к Иванову серьезно, как к младшему, но своему. Эти встречи многое дали зеленому, наивному Валере. Новый срез общества, новый взгляд на жизнь, серьезные жизненные и человеческие, взрослые проблемы в этой компании встречались совершенно по-другому, чем в его семье. Это поколение быстро стало своим, оно куда больше отвечало запросам давно созревшего для другой, более сложной жизни вчерашнего дембеля. И конечно, он не мог не влюбиться в Марину. Стихи писал ей каждый день. Она переписывала их в тетрадку, она стала встречаться с ним тайком после работы. Они сидели на набережной, смотрели на Даугаву, фонари на мосту, бежавшие огнем строчки световой газеты на доме напротив, через реку, и делали вид, что это — просто дружба.

Ну, не было это и огромной любовью, конечно. И когда Иванов впервые заночевал у Марины дома, когда он в конце концов, после долгой томительной ночи поцелуев и нежных объятий все же оказался в ее постели, женщина сначала пыталась ему объяснить, что для нее в их отношениях главное — это его внимание, его стихи, романтика, которой наполнена стала жизнь. Что «постель» для нее — это всего лишь утомительная обязательная процедура, навроде мытья полов. Но Иванов не верил, не мог поверить и все же добился своего. Гордый и счастливый, лежал он рядом с обнаженной спящей женщиной, первой в его жизни, смотрел на медленно проступающий во тьме комнаты в коммуналке прямоугольник окна, все явственнее проявлявший с рассветом свои очертания. И тут раздались шаги на лестнице. Потом открылась дверь в коридоре. И тут же ключ

заворочался в скважине двери в комнате, где спали любовники. Иванов в ужасе успел еще натянуть на себя брюки и выпрыгнуть из постели, но тут дверь открылась, и в комнату вошла, произнося про себя всякие нелестные слова, Маринина мама. Она хорошо знала Валеру, ведь они с мужем-пограничником жили как раз в том самом пограничном доме. А сюда она зашла перед работой передать дочке наставления в связи с завтрашним возвращением ее мужа в Ригу.

Рассеянно поздоровавшись с Ивановым, как будто он действительно просто зашел к дочке в гости; подчеркнуто «не замечая» ни беспорядка в комнате, ни деликатных предметов нижнего белья, разбросанных у раздвинутого двуспального дивана, Зинаида Петровна прошла к холодильнику, выгрузила в него из своей объемистой сумки какие-то продукты и повернулась к проснувшейся наконец дочери, спешно натянувшей одеяло по самые глаза.

— Ты бы хоть молодого человека чаем напоила, соня.

— Ой, мама, я тебе все объясню, — заторопилась Марина.

— А не надо мне ничего объяснять, дочка, мне уже соседи все давно объяснили, — устало вздохнула мать. — Игорь завтра прилетает, внучка просилась с тобой его встречать. Ты хоть сегодня-то заберешь ее домой из садика?..

Не дожидаясь ответа, Зинаида Федоровна подняла сумку и побрела тяжелой походкой к двери. Оглянулась сокрушенно в дверях и еще раз вздохнула: — Ах, дети, дети.

Первой мыслью Иванова было, конечно, то, что он, как честный человек, должен немедленно на Марине жениться и усыновить ее пятилетнюю дочь. Однако Марина встретила эту идею без энтузиазма.

Сидя на скамейке на набережной, на их любимом месте, под осыпающимися уже листьями, ежась от ветра, она тихо втолковывала набычившемуся Валере простые житейские истины:

— Поверь мне, мой хороший, я люблю тебя, и ты любишь меня. Сейчас. Но вечной любви нет Она может вспыхнуть на месяц, другой, на три месяца, максимум. А потом, потом будет просто привычка. Хорошо, если останутся уважение друг к другу, совместный дом, быт. Но любовь все равно уйдет.

— Как ты можешь, Марина? — с болью почти физической одно и то же твердил Иванов, обнимая родное, *близкое* тело, целуя светлые локоны, вдыхая запах любимых духов.

— Я знаю, о чем говорю. Ты такой молодой, все у тебя еще впереди. Встретишь скоро новую девушку, сверстницу, женишься на ней, все у тебя еще будет, Валерочка.

— А ты, как же ты?!

— А я буду перечитывать твои стихи. Они у меня в служебном сейфе лежат, переписаны все в тетрадку. Взгрустнется — вспомню, что ты у меня был, поплачу и буду жить дальше, дочку растить.

Осень, осень, осень осеняет
Нас с тобою ветром и дождем.
Осень прямо в лица листьями бросает,
Словно отрывным календарем.
Любим мы недолго, жизни не хватает,
Чтобы полюбить и разлюбить…
Листьев желтых стаи к югу улетают.
Я опять не знаю, как мне быть.
Что за наслажденье разлюбить весною,
Что за счастье осенью любить!
Я нескромных мыслей от тебя не скрою,
Если буду меньше говорить.
Я пою негромко, я хожу по кромке
В мелких лужах тоненького льда.
Легкий шарфик скомкав, бывшая девчонка
От меня уходит навсегда.
Осень, осень, осень замерзает
В собственных неласковых словах.
Осень, осень, только осень знает,
Кто зимой вернется в летних снах..

Игорь, муж Марины, догадывался, что с женой происходит что-то не то. А может, доброжелатели доложили, кто его знает? Но виду, как умный мужик, он не показывал, чтобы не попадать в идиотское положение. Даже когда вся компания собралась у Марины с мужем в коммуналке праздновать ее день рождения, он сам попросил Федю, с которым был хорошо знаком, привести всех, Валеру в том числе. И молчал с каменным лицом, когда, подвыпив, Марина стала вдруг кричать ему:

— Понимаешь, я люблю этого человека! — Она потянулась фужером в сторону Иванова, вжавшегося в стул и не знавшего — гордиться, смутиться или просто уйти. — Тебя не люблю, а его люблю! И все это знают, понимаешь, все!

— Ну, хватит, смени пластинку, Дездемона, — пыталась урезонить подругу Ольга, но Марина все не унималась, порываясь через стол повиснуть у Валеры на шее.

Игорь налил себе водки в стакан для воды и залпом выпил, не закусив. А потом вышел из комнаты, бросив на ходу:

— Вы тут гуляйте, а я подожду, пока она протрезвится.

Дверь гулко хлопнула. Марина пробилась все же к Иванову и теперь сидела у него на коленях. Обняв ему голову, как ребенка, баюкала его и тихо всхлипывала, как будто кто-то ее обидел.

Ольга с Федей с трудом оторвали ее от Валеры и кое-как уложили спать.

Домой уезжали все вместе, на одном такси. На этом роман и кончился. Зато на очередной вечеринке у Ольги, когда там снова появилась уезжавшая на практику Светка Маляренко, Марина сама же, снова подвыпив, стала ловить молодежь «на слабо».

— А вот давайте поспорим на ящик шампанского, что вы не поженитесь! — громко заявила она, глядя на молодую парочку, мирно и вполне невинно сидящую напротив нее на диване.

Заводная Светка придвинулась к Валере поближе и крепко обняла.

— Такой кадр пропадает! Даешь пари! — Она крепко поцеловала Иванова в губы. Тот вяло попытался сопротивляться, но она тянулась к нему все настойчивее, пока наконец поцелуй не перерос в затяжной, а нетрезвая уже компания не заголосила, смеясь:

— Горько! Горько! Горько! Один! Два! Три! Четыре.

Назло всем Валера сам уже крепко обнял нахальную Светку и не отпускал, не отнимал губ, пока хватало воздуха в легких.

— Тридцать три!!!! — восторженно завопили все хором.

— Завтра подаем заявление! — решительно заявил Иванов. — Шампанское наше, Мариночка, готовь ящик!

Марина смеялась громче всех, пока смех не перешел в истерику. Тогда Валера потянул притихшую Светку за руку и вывел на лестницу. Они целовались долго и страстно, внезапно вспомнив все — и первую встречу четыре года назад, и школу, и посиделки дворовой компании под гитару в сосновом лесу напротив пограничного дома.

На следующий день Иванов получил расчет на заводе — он все же поступил на дневные подготовительные курсы в университете и повел Светку в ЗАГС, подавать заявление.

Родители встретили молодых, заявившихся поздно вечером в квартиру Ивановых с бутылкой шампанского, цветами для мамы и радостной вестью, настороженно.

Они все твердили о том, что не надо спешить, надо хорошо все обдумать, проверить чувства.

Но тут уже Светка закусила удила. Ей вдруг действительно страстно захотелось замуж, и немедленно. Месяц они с Валерой практически не расставались. Они бродили по Старой Риге, сидели в кафе, вместе просиживали вечера у Ольги, благо жили все в одном подъезде. Обедали и ужинали частенько, по-свойски,

у родителей Иванова или у Маляренко. На удивление, родители девушки оказались очень рады тому, что дочь выходит замуж. Генерал-майор, человек резкий и принципиальный на службе, дома был просто своим в доску, почти уже тестем для соседского парня. Он сам пригласил Алексея Ивановича с супругой на праздничный обед, чтобы обговорить наконец свадьбу.

Но Ивановы ни в какую не хотели подыгрывать скоропалительному решению молодых, к тому же еще студентов. Они предлагали перенести свадьбу хотя бы на полгода, справедливо полагая про себя, что дети за это время наиграются в молодоженов и разбегутся. Валера вообще-то тоже не разделял такой спешки, но Светка настаивала — или свадьба через месяц, или они расстанутся вовсе. А любви так хотелось, так верилось в нее, что он и представить не мог, как проживет без Светки хотя бы день.

На обед к Маляренко родители все же пришли — полковнику неудобно было отказывать генералу. Валера пришел за полчаса до родителей. Будущие тесть с тещей встретили его, как всегда, ласково, а невеста была бледна от волнения и прекрасна. Белое в горошек платьице вихрем летало вокруг маленькой округло-точеной фигурки, глаза горели.

— Пойдем скорее, — потянула она Иванова в свою комнату. — Знаешь, — шептала она, обнимая жениха, — я бы отдалась тебе прямо сейчас, если бы у нас было чуть больше времени! Мне тебя не стыдно нисколько, вот ничуточки! Так странно! Такой родной, почти муж!

Светка скинула платье и стала переодеваться в праздничное, готовясь к приходу старших Ивановых. Оставшись в одних трусиках, она снова, без всякого смущения, подбежала к нему, сидящему на диване с ее небрежно сброшенным платьицем на коленях, обалдевшему от восторга.

— Видишь? Нисколько тебя не боюсь! — воскликнула она. — Поцелуй меня скорее, дай руку, вот сюда, сюда, ниже, не бойся, ты ведь муж мой, ты муж мой, правда?

Иванов поднял девушку на руки и стал целовать, не ощущая ни времени, ни того, что за тонкой стеклянной дверью снуют, звеня посудой, родители Светы.

Звякнул мелодично, раз-второй, дверной звонок.

— Родители! — Иванов опомнился и поставил Светку на ноги. — Одевайся!

— Так сладко, так сладко, первый раз в жизни меня целовали держа на руках! — медленно, с мечтательной надеждой сказала, нет, почти пропела она, как арию из трагической оперы.

Такой Иванов и запомнил ее навсегда. На цыпочках,

протянувшую к нему руки, почти обнаженную, стоящую на соскользнувшем с вешалки праздничном шелковом костюмчике и белой блузке к нему, все забывшей, все отвергшей в этот миг, кроме него, Иванова.

Маляренко долго уговаривали Ивановых пойти молодым навстречу и сыграть свальбу, не откладывая ее в долгий ящик. Генерал пообещал, что в течение полугода сделает молодым отдельную двухкомнатную квартиру и обставит ее. Мать Светы, классическая хохлушка, улыбаясь, выразила готовность сидеть с детками, если они вдруг появятся быстро, чтобы студенты не прерывали учебу. Но старшие Ивановы дружно стояли на своем — свадьба только через полгода, не раньше. Пусть докажут серьезность намерений.

Расставались сухо. Валера, красный как рак, уходил вместе с родителями.

В коридоре его задержала Светка.

— Никогда! Слышишь? Никогда не приходи ко мне больше! — отчетливо и твердо отрезала она и подтолкнула его к двери.

На этом все кончилось. Иванов страдал, но не очень долго. В конце концов у него появились новые друзья, в его жизнь вошел университет, пусть пока еще и на «нулевом» курсе, но все же дневной — все всерьез. Поступление на первый курс было практически гарантировано, надо было только прилично сдать экзамены на рабфаке весною. Новые друзья, лекции, зачеты… К тому же через месяц Маляренко переехали из пограничной девятиэтажки в «генеральскую» квартиру в центре Риги, и больше он со Светкой никогда не встретился. Слышал от ее старшей сестры, что вскоре она все-таки вышла замуж за какого-то лейтенанта. Уехала с ним в Алма-Ату, там развелась, потом опять вышла замуж. Последний раз он услышал о Светке Маляренко уже после 2000 года. Оказалось, что она жила со вторым мужем в Германии, где тот служил. Потом опять развелась и вернулась в Ригу. С кем-то живет, иногда пьет и не очень счастлива.

— Жалко-то как! — вспомнил ее Иванов. — Такая она была… созданная для любви.

Наверное, наверное, не было дыма без огня, когда в пограничном доме судачили о Светке как о девчонке легкомысленной, легко менявшей парней, обзывали даже худым словом.

Но Иванов-то знал, она просто искренне, всю без остатка, отдавала себя понравившемуся ей человеку, и только, если сама любила. А вот если любовь кончалась, то режь ее — ничего тебе не обломится больше никогда. Видимо, не было в ней дешевого

обывательского ханжества. Любишь — отдавайся вся, доверяйся, пусть выпьют до капли. Но и к себе требовала такого же отношения.

Наверное, мог Иванов настоять на своем, пойти наперекор родительской воле. Был бы постарше, потверже стоял на своих ногах — так бы и сделал. А тогда вот не смог. Может быть, потому, стараясь взять у родителей реванш поскорее, закрутил он уже на первом курсе роман с Аллой, в твердой уверенности, что уж на этот-то раз все будет так, как он сам решит. Он понимал, чувствовал, что Алле тоже пора замуж выходить. А раз так, то почему бы не жениться на ней? Другая среда, другое воспитание, другой мир, в котором она росла, настолько отличный от мира Ивановых и тех же Маляренко, не пугали молодого дурака. Так он сам назвал себя потом. Только уже через много лет.

Нет, не жалел он о браке с Аллой, все-таки семнадцать лет вместе прожили. И дочь Ксению любил очень. Не было бы ее, развелись бы давно, не дожидаясь, пока подрастет. Да и еще что-то не пускало. Может, остатки совести, может, была у него все же к Алле любовь, да только ветра новой, постперестроечной жизни ее погасили.

С самого начала у них с Аллой все пошло как-то боком. И виноват в этом был только он, торопившийся стать взрослым, убедивший себя, что любит Аллу навеки. Убедил ли он так же ее? Трудно сказать даже сейчас. Ребеночек у них появился очень быстро. 8 марта первое свидание, а родилась дочка уже в следующем апреле. Так что свадьбу на этот раз пришлось ускорять и родителям, поставленным перед фактом. Вряд ли оба, уже в двадцать два года, были настолько наивны, что не понимали, от чего появляются дети. Не береглись, намеренно, вместе. Время подошло. Вот и завели семью. А может, «пути небесные» так распорядились. Не ради них, ради Ксюши, выросшей и красавицей, и умницей. Конечно, и Валерий Алексеевич, и Алла были солидарны в одном, даже спустя семь лет после развода — дочь у них будет не просто незаурядной, но даже выдающейся.

Сколько стоит любовь?
Сколько стоит
Улетать, отпадать,
Умирать, воскресать?
Что на чашу весов
Уронить мне такое,
Чтобы все-таки знать,
Сколько стоит сказать

Это Слово.

Вспоминая те годы, Валерий Алексеевич вздыхал мечтательно и грустно: «Не понимают, не ценят люди главной особенности брежневского счастливого, застойного времени. Никогда больше, ни в одной стране мира не будет такого, чтобы все, понимаете, вся страна, были озабочены только одним — любовью. Дома, на работе, на службе, на отдыхе, в творчестве, в кино, в песнях, в искусстве — царила тогда *любовь!* Да, в СССР не было секса и порнографии в их западном понимании. Но столько любви никогда не было ни в одной, отдельно взятой стране, и никогда, никогда больше этого не будет.

Мне тут же начнут кричать про очереди за колбасой и отсутствие Шопенгауэра в широкой продаже… Да только не верю я этим людям. Колбаса им была нужна, да только сколько им не дай ее, все равно ведь не насытятся, а вот Шопенгауэр. Философ, утверждавший, что есть только два пути — путь наслаждения любой ценой и путь уменьшения страданий. Если бы интеллигенция действительно хотела Шопенгауэра, не продалась бы за «чупа-чупс» в перестройку. Колбасы она хотела и туалетной бумаги. Безостановочное пищеварение и комфортное выделение — вот предел мечтаний диссидентщины того времени. А колбаса… Была, была колбаса. И было ее ровно столько, сколько нужно, чтобы не надоедала… А кто действительно хотел, тот мог найти и прочитать все, что угодно. А вот сейчас и колбаса невкусная, и ничего, кроме Устиновой, большинство все равно не читает… А любви нет Секса зато сколько угодно. Сбылась мечта Познера, будь он неладен!

Куда серьезнее я отнесусь к тем, кто скажет, что та страна любви 70-х — 80-х («Любовь — волшебная страна!» — пели «Самоцветы») — та страна была безбожной страной, потому и рухнула… И соглашусь с ними.

Но все-таки ту страну жалко. А какой станет новая Россия — я еще не знаю.»

Глава 10

1989. На 23 февраля Валерию Алексеевичу подарили много цветов и еще больше книг.

Дети со всей школы отлавливали учителя на перемене. Подбегали, распахивая огромные глаза, стыдливо мялись, потом из-за спины протягивали букеты, открытки, перевязанные красными ленточками книги. Или, если дело было на уроке, хором кричали: «Поздравляем!», — срывались с мест и окружали смущенного литератора. Кабинет русского языка был весь в красных гвоздиках. Отдельно, в огромной вазе, стояли алые розы. Книги Валерий Алексеевич тут же прятал в стол — сколько раз он просил детей не дарить ему ничего, объяснял, что это неэтично, что ему неудобно принимать подарки от своих учеников. Но все тщетно. Правда, коробки конфет, кофе, всякие одеколоны дарить перестали. Но от цветов и книг ни в день рождения, ни на 1 сентября, ни 23 февраля было не отвертеться.

Молодой учитель посоветовался с директрисой, с которой был в приятельских отношениях, и с организатором воспитательной работы — они сказали махнуть рукой и успокоиться. Все равно младшеклассники и без всякого повода частенько подкладывали учителям на стол то яблочко, то пару конфет, оторванных от своего завтрака, и бороться с этим было бесполезно. Мужчин в школе было мало — только физрук, военрук, географ и… он. Разгадать такое отношение детей к учителю было несложно. Стоило открыть любой классный журнал и посмотреть на последние страницы, как все становилось ясно. В некоторых классах у половины учеников в графе «родители» значилась лишь мама.

И все-таки какая большая разница между русскими и латышскими детьми! Хорошо, что *эта* школа была русской. Взять хотя бы сочинения на свободную и любимую детьми тему: «Если бы я был волшебником!» Латыши обычно старательно перечисляли дорогие вещи, которые они бы себе «наколдовали» в этом случае: велосипеды, машины, куклы, яхты и видеомагнитофоны. А русские «простодырые» детки искренне писали о том, что «лишь бы не было войны», или о том, что в первую очередь они бы вылечили всех больных детей и взрослых.

Когда родилась дочь, Иванов сначала продолжал подрабатывать сторожем, потом понял, что это положения не спасет, и после третьего курса перешел с дневного отделения на заочное.

Его тут же пригласили учителем русского языка и

литературы в латышскую школу на Авоту, неподалеку от филфака. Студент сначала отказывался — ведь он и педпрактики еще не проходил в универе, и понятия не имел даже о том, как заполнять классный журнал. Не говоря уже о методике преподавания, тем более русского как иностранного, точнее, неродного, если говорить о латышах, языка. Да и латышский язык он тогда не знал совершенно. Если без эстонского на островах, например, было не обойтись, там он звучал повсюду, поскольку русского населения, кроме военнослужащих на Сааремаа тогда уже не было; то в Риге, с ее на две трети русским населением, без латышского можно было обойтись совершенно безболезненно. Испытавший еще в детстве на своем собственном опыте, что такое бытовой национализм, Иванов тем не менее не питал никакого неуважения к латышам, да и к любым другим национальностям. В Эстонии он получил хороший урок, лишивший его излишних иллюзий по поводу «советского братства народов», но в Латвии все это быстро позабылось; да и к тому же молодой человек был не настолько глуп, чтобы не понимать — в любом народе есть хорошие и плохие люди. Просто системы координат у многих не совпадают. И потому кажется, что в одном народе хороших людей больше, чем плохих, а в других — меньше.

Приняв для себя это нехитрое умозаключение за аксиому, он больше не заморачивался этим вопросом. Поэтому латышский язык он не учил не потому, что плохо к нему относился, а потому, что незачем было.

В Кингисеппской средней школе уроки эстонского были со второго класса, да и среда помогла — он вполне прилично изъяснялся и читал; телевидение поначалу на острове вообще было только на эстонском языке — это тоже поспособствовало. Вражду с эстонскими школьниками подросток на язык никогда не переносил. Слишком не усердствовал, но природные способности помогли — проблем с эстонцами в общении у него не возникало.

В Ригу Иванов приехал после девятого класса. Учить латышский в десятом классе «с нуля» его, как сына военнослужащего, никто не заставил.

Правда, какие-то лекции по латышскому языку и даже экзамен были в университете, но и там вопрос решился просто. Перед экзаменом Сашка Боготин выпросил у матери, работавшей на центральной книжной базе, жуткий дефицит — несколько томиков Ремарка на латышском языке. Этого подарка преподавателю хватило для того, чтобы все четверо ребят сдали экзамен. Латыш был мужиком добрым, пожившим на свете, главное, что запомнилось всем студентам из его лекций, которых они практически не слушали, — это назидательная фраза:

«Смотрите на все глазами филолога!» И действительно, не раз потом вспоминался этот урок Иванову. Мир слов, мир языка, его структуры, стилистики, сравнительное языкознание — все пригодилось в жизни и в работе. Без этого простого совета — смотреть глазами филолога было бы трудно понять некоторые сокровенные вещи из области понятий, смыслов, истинных значений слов — и их подмены, ловко совершаемой социальными манипуляторами при каждой революции или перестройке.

Валерия Алексеевича все же уговорили выйти на работу в латышскую школу. На зеленого студента, едва перешедшего на четвертый курс, взвалили двойную нагрузку — тридцать шесть часов в неделю. Шесть уроков подряд каждый день, кроме воскресенья. И шесть подготовок! Он преподавал русский и литературу в классах с шестого по одиннадцатый. Понятно, что ни о каком качестве преподавания речь уже не шла. Тем более что латышского тогда Иванов просто не знал. Языком он овладел уже после перестройки, просто-напросто на слух, не занимаясь этим никогда специально. Он читал, переводил, составлял со скрипом бумаги на латышском. Говорил бойко, но с такими нарочитыми порой синтаксическими ошибками и так ломая язык, что все вокруг, кроме латышей, конечно, покатывались со смеху. Особенно нравилось ему переводить буквально с русского на латышский идиоматические выражения, не поддающиеся прямому переводу, и популярные советские песни, весело распевая их в минуты хорошего настроения. Но все это было гораздо позже. А тогда, в 84-м году, он чувствовал себя в латышской школе полным идиотом, поскольку прекрасно понимал, что такой преподаватель, как он, просто-напросто дискредитирует идею преподавания русского языка в латышской школе.

И все-таки он старался как мог, оправдывая свои уроки «методом погружения в русский язык». Выдержал учебный год и многое понял благодаря этому опыту. Валерий Алексеевич подружился с некоторыми латышскими учителями, особенно семейной парой — Эриком и Гунтой. Муж преподавал физику, жена — латышский язык и литературу. Они были очень культурными и начитанными людьми. В лаборантской у Эрика, где учителя частенько выпивали после уроков, стояли книжные стеллажи, битком забитые русской классикой на русском же, естественно, языке. Это была их личная библиотека, не помещавшаяся дома, в маленькой однокомнатной квартирке. В тесный круг прибился вскоре и еще один студент — Янка. Молодой латыш учился на физмате заочно и преподавал в школе математику в младших классах. Они прекрасно чувствовали себя

вместе, дружили, помогали друг другу, а весь остальной коллектив смотрел на них косо, но молчал, потому что власть еще была советской и напрямую упрекать парторга школы Эрика в дружбе с русским было пока неуместно.

Директриса — Илзе Иванова — относилась к однофамильцу приветливо, она-то прекрасно знала, что ни один опытный учитель не стал бы тянуть такую нагрузку, как этот желторотый студент. Надо сказать, что преподавание русского языка как система было в национальных школах отработано прекрасно. Методическая литература, учебники, достаточное количество часов, опытные в подавляющем большинстве учителя — все это, вместе с насущной пользой и понятной мотивацией, давало необходимую базу для быстрого и уверенного овладения русским языком любым желающим. А вот латышскому языку в русских школах учили отвратно.

Старшеклассники-латыши хорошо относились к Иванову. Они много читали на русском языке, молодой учитель беседовал с ними о книжных новинках, о жизни, рассказывал о балто-славянских языковых связях, об истории Прибалтики. И очень скоро с ужасом понял, что многие ребята, особенно девушки почему-то, искренне считают, что латышская литература появилась чуть ли не раньше русской. Более того, никто из них толком не слыхивал даже про «младолатышей», про то, что сам по себе литературный латышский язык, как и латышская нация в целом, сформировался только в конце XIX-го века, да и то при усиленной помощи русской интеллигенции и прямом одобрении царского правительства и на его, можно сказать, деньги.

Откуда ноги растут у такого вопиющего незнания латышами подлинной своей истории, он спросил у Гунты. Та прямо сказала, что советские учебники стараются обходить эти вопросы стороной — ведь тогда само существование многих национальных республик покажется совершенно неоправданным. Да и родители, особенно из творческой латышской интеллигенции, внушают детям, что латыши — это отцы слонов, а немцы (на самом деле державшие предков латышей в рабах почти семьсот лет) ходили у латышей чуть ли не в подпасках.

Однажды, задав семиклассникам самостоятельную письменную работу, Иванов неторопливо прошелся по классу и вдруг заметил, что один из мальчиков вместо упражнения старательно раскрашивает фломастерами какие-то рисунки. Он отобрал блокнот и перелистал его с нескрываемым удивлением — на каждой странице был вклеен черно-белый портрет одного из членов фашистского «политбюро» при всех нацистских регалиях. А мальчишка, высунув от усердия язык, не усики и рожки этим

фото пририсовывал, что еще можно было бы понять, а украшал их любовно, придавая невыразительным копиям цвет. Иванов не стал сразу читать ему нотацию, а просто забрал блокнот и велел писать упражнение.

На перемене он подошел к классному руководителю мальчика — молодой латышке — учительнице латышского языка и показал ей блокнот, спросив, что она об этом думает?

Та небрежно пролистала несколько страничек и, остановившись на особо красочно разрисованном Гиммлере в гестаповском мундире, искренне выдала: «Cik skaisti!» («Как красиво!»). Валерий Алексеевич не стал спорить, просто забрал у нее блокнот и пошел к директору разбираться в ситуации. Политически грамотная и опытная директриса, Илзе сразу поняла, чем все пахнет. Она засуетилась, пообещала во всем разобраться и прямо при Валерии Алексеевиче вызвала в школу родителей мальчика для беседы. Иванов оставил ей блокнот и ушел в раздумьях пить водку с Эриком. Физик, которому уже стала известна обошедшая весь педколлектив история, только вздохнул философски и предложил выпить «за победу!».

— Ты еще и не то здесь можешь увидеть, — предупредил он. — А поработал бы ты в глубинке, где-нибудь в Курземе.

Буквально на следующий день весь седьмой класс в начале урока встал и хором заявил, что отказывается говорить по-русски. Иванов не стал топать ногами и грозить директором. Он просто сел за свой стол, не разрешив классу сесть, и, пока они стояли, весь урок методично выставлял каждому ученику по единице. Близился конец четверти, и на следующем уроке класс уже примерно исправлял оценки. А Иванов сделал выводы и к концу учебного года уволился. Директриса его не держала. Илзе, несмотря на фамилию Иванова, была «чистой латышкой». Таких латышей с русскими фамилиями — Лодочкина, Пантелеев, Горбунов, Макаров, Мельник — в Латвии чуть ли не каждый третий. Во времена Ульманиса насильственная латышизация была настолько сильна, что латышами часто записывали и русских, и поляков, и белорусов. Со временем они ассимилировались, и таким образом полку «латышей» прибывало. Сама же нация была плодом желания царской России противопоставить искусственно создаваемую нацию немецкому засилью в Прибалтике, с одной стороны, и англосаксонского плана оторвать от России куски побольше путем создания народов-гомункулусов — с другой. Похожие процессы шли в начале века и на Украине, пусть и в несколько другом геополитическом окружении.

«Латыши — это янычары Запада, онемеченные балтийские

славяне, забывшие свое кровное родство», — писал о них Иванов уже после перестройки. Но в 84-м году он просто плюнул и забыл. Жизнь только начиналась, Союз был нерушимым, а про национальные проблемы он и сам знал по эстонскому опыту, да и друзья, съехавшиеся в «пограничный» дом со всех концов страны, в свое время просветили и про казахов, и про азербайджанцев, и про многих других «братьев наших меньших»…

Последнее лето застоя Валерий Алексеевич провел воспитателем в пионерском лагере ПрибВО — в Вецаки. Наверное, об этом можно было бы написать отдельную книгу. О прелести разбросанных по всему курортному поселку лагерных корпусов причудливой дачной архитектуры начала века. О загорелых пионервожатых и летних кафе, о детях, приносивших не только хлопоты, но и наивную радость чистой любви и уважения, то, чего Иванову так не хватало в латышской школе. О море и соснах, о ночных купаниях и быстротечных — на одну смену — романах.

Все лето пионерские отряды Валерия Алексеевича получали почетные грамоты, а сам он успевал и за детьми присмотреть, и насладиться безмятежным покоем навсегда уходящей эпохи. Хорошо, что не знал он тогда, что это лето для страны — последнее безмятежное лето… Лето, от которого остались на память лишь эти небрежные строки:

Земляника! Ну-ка, взгляни-ка!
Сколько цветочков среди камней.
Будут и ягодки…
Рядом — ручей.
Вода журчит среди скользких дней.
Тихо.
Ситец не ситец, а шелк и батист —
Две земляничины вверх и вниз,
Словно раздавлен на блузке сок,
Словно ударило сладко в висок.
Земляника — кровь с молоком.
Кто о ком…
А вот колокольчики синим звенят
На зеленом ветру среди белых ромашек
Я бы хлопнул рюмашку
За ночную рубашку
До самых пят.
Переступишь по ней и потом шажком
По некрашеным половицам. Еще девицей.
Окно распахнуто прямо в сад.

И звезды в ряд, и липы шумят.
Перевернута новой любви страница.
Снова не спится, и дым струится
В солнечном первом луче.
Сигарета в руке, голова на плече.
Земляничины выросли на глазах,
На последних, на девичьих, сладких слезах
Созрели и соком брызнут вот-вот…
Скоро уж минет год.
С этого лета..
Ты помнишь, началась гроза,
Когда друг друга мы любили.
Едва закрою я глаза,
Как вижу тот июльский ливень.
Окно открыто было настежь,
Вода хлестала с водостока
И нас переполняла счастьем
И предопределеньем рока.
Ты задыхалась и смеялась,
Ты плакала, шептала что-то,
Вода о землю разбивалась,
Соединялась, растекалась,
Как мед по сотам.
Как мед любовь твоя светилась
В полумраке притихшей дачи.
Как гром мне в ухо сердце билось,
Под левой грудью, меда слаще.
Потом запели громко птицы.
Дождь перестал, и ты устала.
Мы не могли наговориться —
И дня и ночи было мало.
А впереди, казалось, годы
Любви и гроз, тепла и света.
И я транжирил беззаботно
Короткое такое лето.

Весьма кстати осенью подвернулась работа в издательстве газеты «За Родину» ПрибВО.

Там Валерий Алексеевич впервые вплотную столкнулся со всем циклом выпуска крупной ежедневной газеты. Начал, как водится, с корректуры. Вычитывал гранки и свежесверстанные полосы, подрабатывал внештатным корреспондентом, редактировал брошюры в типографии, принюхивался ко всему,

что пахнет печатной краской. Познакомился с линотипами, опробовал в руках верстатку и научился пользоваться наборными кассами, присмотрелся к цинкографии, печатному цеху и ротации. Завел знакомства в Доме печати, где было тогда самое современное производство и располагались редакции крупнейших республиканских газет и журналов.

Начал со временем писать и туда, но быстро понял, что одно дело свои окружные газеты — армейская и пограничная, где и сам Иванов был своим, а совсем другое дело — латышские и «русскоязычные» коллективы для «их своих».

Так, в военном издательстве, прошли почти три года, а когда в 86-м чуть не в два раза повысили учителям зарплаты, Иванова пригласили преподавать в русскую среднюю школу в самом центре Риги на бульваре Коммунаров, ныне Калпака. Уже в первые годы «второй независимости» прекрасный старинный особняк, стоящий к тому же напротив Академии художеств Латвии (до революции в нынешней «латышской академии» было еврейское коммерческое училище), у русских отобрали, и 35-я средняя школа почетного знака Латышских красных стрелков, по всем праздникам выставлявшая караул у знаменитого памятника стрелкам в Старой Риге, прекратила свое существование. Но пока, пока шел еще только 89-й год, и Валерия Алексеевича дети поздравляли с Днем Советской армии. Поздравляли накануне праздника, на 23-е у Иванова выпал методический день.

Последним уроком был классный час. Иванов разобрал успехи и поведение своего выпускного десятого «б» и отпустил было учеников с Богом, но тут пришлось задержаться. Дождавшись, пока кабинет опустеет, к учителю подошел один из мальчиков — Алеша Крустс. Таких русских детей с латышскими фамилиями в Риге тоже хватало, как и латышей с фамилиями русскими.

— Что вы хотели, Алексей? — рассеянно спросил учитель, собирая свой пухлый портфель.

— Валерий Алексеевич, тут вот в классном журнале у меня записано, что я латыш. — десятиклассник побледнел, но держался уверенно.

— Ну да. И что тут такого, Алексей? — Иванов запихнул в портфель последнюю пачку тетрадей с сочинениями и с силой защелкнул плохо поддающийся замочек.

— Перепишите, пожалуйста!

— Что переписать? — не понял учитель.

— Национальность мне перепишите! — Юношеский голос сорвался на высокую ноту.

— То есть как это переписать? Зачем?

— Я русский! Я не хочу быть латышом!

— Погоди, погоди. — Валерий Алексеевич открыл журнал и стал листать страницы. Он и так помнил, что Алеша записан латышом, что мать растит его одна и фамилия у нее другая, чем у сына, — русская. Но надо было хоть немного собраться с мыслями.

— Неужели для тебя так важна национальность, Алеша? — Учитель сознательно перешел с учеником на «ты» и посмотрел ему в упрямые голубые глаза, в которых предательски блеснули слезы.

— Я русский! У меня мама русская, и сам я русский! Перепишите, я имею право! — выкрикнул Крустс и выбежал из кабинета.

Иванов вздохнул и подошел к окну, выходившему на парк Коммунаров. Деревья стояли голые, сквозь них на той стороне парка торчала высотка гостиницы «Латвия», резко диссонировавшая со стоящим чуть ближе и правее планетарием — бывшим православным собором. Весной и осенью вид преображался, чаровал своей красотой. Сейчас же, в февральскую слякоть, от него только зябко стало.

Завтра торжественное шествие в честь Дня Советской армии, которое устраивает Интерфронт. Все учителя пойдут, договорились заранее. Пойдут и старшеклассники, хотя их специально предупредили, чтобы сидели лучше дома — не детское это дело. Интересно, много ли соберется народу?

Сбор намечен как раз в парке Коммунаров, отсюда пойдем к памятнику Воинам-освободителям в парке Победы, на той стороне Двины. После нескольких многотысячных шествий Народного фронта, после той злобы и плохо скрываемой ненависти к русским, которыми задышали латышские газеты и телевидение, не идти было просто нельзя. Иванов подхватил портфель, занес журнал в учительскую, накинул пальто и заглянул в тренерскую на первом этаже. Федорыч, пока еще в спортивном костюме, кряхтя снимал кроссовки — ему еще в Елгаву ехать, домой.

— Ну что, Евгений Федорович, завтра встречаемся?

— Обязательно, Валерий Алексеевич! — Физрук выложил на стол огромные багровые кулаки. — Мы им покажем кузькину мать и кое что еще. — Он зло хохотнул.

— Ну, тогда я побежал, мне еще дочку из садика забрать, — заторопился Иванов и вышел на улицу. Прямо за углом школы, у здания МВД, стояла кучка латышей с плакатами — очередной пикет, призывающий милицию к демократическим переменам, что на самом деле значило: «Чемодан — вокзал — Россия!»

«Визитную карточку покупателя» — солидный документ с силуэтом Риги, фотографией владельца и круглой печатью, без которого тогда невозможно было купить ни продуктов, ни сигарет, ни туалетной бумаги, — Валерий Алексеевич как-то сразу потерял. Поэтому пришлось по дороге заскочить к Алле, в ее латышскую школу. Алла преподавала русский язык шестилеткам в школе продленного дня на углу Таллинас и Кришьяна Барона. Иванов быстренько просквозил через парк Коммунаров, перешел центральную улицу Ленина, нырнул в Кировский парк за Советом министров и уже через несколько минут стоял на остановке 6-го трамвая.

Алла ждала его в учительской. Едва увидев мужа, она вскочила, попрощалась с коллегами подчеркнуто по-русски, на что они подчеркнуто ответили по-латышски, и супруги пешком пошли на Матвеевский рынок. Алла купила немудреных продуктов на пару дней, Иванов подхватил сетку, и они уселись наконец в свой родной 11-й трамвай.

— Устала? — Валерий Алексеевич погладил бледную холодную руку жены, погрел ее своей всегда горячей ладонью.

— Не столько устала, сколько надоело. Надо в русскую школу переводиться. Представляешь, сегодня прихожу в школу, а мои крохи старательно пытаются заполнить какие-то листочки! Они же писать еще толком, даже по-латышски, не умеют, а тут корпят, стараются. Классная им подсказывает, чуть ли не за них пишет. «Что это такое?» — спрашиваю. Классная сразу собрала листочки и убежала. А детки мне и говорят: мы подписывались против строительства метро. «Чем же вам метро помешало? — спрашиваю, — Кто-нибудь из вас видел метро когда-нибудь? Это же такая красота! Так быстро, удобно, за десять минут всю Ригу можно будет из конца в конец проехать! А знаете, как в метро красиво, тепло, особенно в такую погоду!»

«Нам skolotaja (учительница) сказала, что если у нас построят метро, то Рига провалится под землю», — они мне отвечают.

Нет, ты представляешь? Какие сволочи! Детям по шесть лет, а они их подписи против метро собирают! Деньги из союзного бюджета, а латышам все одно жалко! Будут давиться в трамваях, лишь бы только сотня-другая русских метростроевцев сюда не приехала. Для них же, идиотов, за счет Союза метро строить! — Алла всплеснула руками. Говорила она громко и звонко, по учительской привычке, и все пассажиры в трамвае настороженно притихли. Но свары, обычной в последнее время, когда, слово за слово, весь трамвай включался в словесную перепалку, сегодня не последовало. Вся Рига с напряжением ждала завтрашнего мероприятия Интерфронта. К огромным толпам

дисциплинированных латышей, по первому призыву прессы как по приказу выходящим на митинги, все уже привыкли, теперь же свое слово собирались сказать русские, и город как бы замер в ожидании этого ответа.

— Ничего, ничего, все им всплывет, как в том анекдоте, — нарочито громко успокоил жену Иванов и пристально обвел взглядом молчащих пассажиров. Кто-то удовлетворенно кивнул, кто-то отвел глаза, но все молчали. Только одни демонстративно развернули газету НФЛ «Атмода» и уткнулись в нее, другие с таким же вызовом показали всем, что читают «Единство» или «Советскую Латвию».

На остановке «Казармью» Валерий Алексеевич отдал сетку жене и вышел — забрать дочку из садика, пока Алла будет готовить ужин. Садик был хороший — ведомственный — от швейной фабрики «Ригас адитайс», где трудилась орденоносная теща. Она и внучку пристроила. Ксюшу отдали в ясли, когда ей и двух лет не было, — Валерий Алексеевич работал, Алла доучивалась на дневном в университете. А жили они уже отдельно от родителей.

Когда встал вопрос о том, что пора бы молодым начинать вести собственное хозяйство, Ивановы, в четырехкомнатной квартире которых молодой паре с ребенком выделили самую удобную комнату, обратились к сватам с предложением чуть-чуть добавить денег, и тогда они разменяют с доплатой свою квартиру, чтобы у молодых было приличное отдельное жилье со всеми удобствами. Но теща отказалась наотрез — вышла дочка замуж, пусть муж обеспечивает! Нина Алексеевна — мать Валеры — обиделась такой несправедливости. Она до сих пор еще вспоминала пышную свадьбу сына, на которой настояли сваты. Ивановы предлагали молодым не устраивать дорогих торжеств, а лучше поехать в свадебное путешествие на Черное море, к дяде, в Геленджик. Предлагали в подарок солидную сумму, чтобы месяц-другой можно было пожить на юге, ни в чем себе не отказывая.

Но Антонина Сильвестровна, а она крепко держала под каблуком своего покладистого мужа и все в семье решала сама, возмутилась:

— Нет, свадьба должна быть пышной, иначе нас родня не поймет!

Никакие аргументы больше ею в расчет не принимались. В результате родителям Иванова пришлось выложить несколько тысяч на банкет, продолжавшийся два дня. Из сотни с лишком гостей только человек десять были со стороны жениха, остальные — многочисленные родственники и друзья со стороны невесты. Понятно, что кочевавшие с границы на границу Ивановы не могли

пригласить всех своих не менее многочисленных родственников из Перми. А у сватьи одних сестер было шесть, и все с детьми, подругами, дальними родственниками. Большинство перебрались давно из родной Латгалии в Ригу, остальным не составило труда приехать из Резекне.

Вот тут-то и дала себя знать в первый раз почти сословная разница в нормах поведения и обычаях между семьями жениха и невесты. Не в том дело, кто лучше, кто хуже, просто — разные они слишком были люди. В детях все это уже нивелировалось, они не придавали такого значения всем этим вопросам, да и собственных денег у студентов, конечно, не было — как родители решат, так и будет, легко соглашались они с любым вариантом.

Но потом все же разные семейные традиции проявились и в молодой семье. У Ивановых все главные вопросы в семье решал отец. Мать была «боевой подругой». Она, конечно, исподволь, на то она и «шея», поворачивала «голову» — отца — в нужном ей направлении, но решающее слово все равно всегда оставалось за Алексеем Ивановичем. Так было принято в большинстве офицерских семей. Теща, наоборот, подчеркнуто вертела мужем как хотела, ее можно было бы даже назвать «феминисткой», если бы только она сама знала такое слово. Она была труженицей не меньшей, чем Нина Алексеевна, и так же могла, не присев за день ни разу, переделать кучу дел, гореть на работе, обиходить семью, только выходило все это у нее как-то так, что все сразу понимали или непременно обязаны были понять, кто в семье Митрошкиных главный.

Отгуляв свадьбу, теща сразу обозначила свою позицию: теперь все вопросы обеспечения молодой семьи ложатся на мужа Аллы или, поскольку он и сам тогда был студентом, на его родителей. А теща с тестем свое дело сделали, дочку замуж выдали, у них свой сын растет, надо ему обеспечивать сытое будущее. Ивановы поудивлялись, пообижались и, вздохнув, стали решать проблемы сына сами. Четырехкомнатную сперва разменяли на «трешку» со всеми удобствами для родителей и на однокомнатную с частичными удобствами для молодых.

Молодожены рады были, ведь квартирный вопрос многих испортил, а у них, в их-то годы, стараниями Валериных родителей была своя отдельная квартира. Была горячая вода, но не было ванны. Туалет на лестнице. Зато квартира почти в центре, на Пернавас, в старом доходном доме напротив Ювелирного завода, рядом с красивым парком и в двух шагах от улицы Ленина.

Правда, первый этаж, и окна выходили на улицу, по которой бесконечно шастали автобусы и троллейбусы; по тротуару ходили

люди, заглядывая в огромные витринные окна квартирки, переделанной из старого, немецкого еще, магазинчика. Окна были низкими, начинались в полуметре от тротуара и занимали в единственной комнатке и небольшой кухне рядом почти всю стену. Летом их было не открыть даже в жару, и так вся жизнь проходила как в аквариуме. Соседи, опустившиеся латыши, торговали водкой по ночам; иногда идущие за горючим пьяницы ошибались окнами и стучали среди ночи к Ивановым. В общем, было «весело», но все-таки квартира своя — и жить отдельно от родителей оказалось пусть более хлопотно, но зато куда как удобней. Конечно, маленькую дочку пришлось отдавать в ясли, а это тоже было непросто, хорошо, что теща хоть здесь помогла — устроила внучку в хорошее место.

Раньше, пока еще жили вместе с родителями, Иванов тоже учился на дневном. Алла не брала «академку», не стесняясь огромного живота ходила на лекции до последнего. Быстро родила, первый месяц пожила с малышкой у тещи, чтобы привыкнуть к новому своему материнскому положению. Потом, конечно, снова вернулась с ребенком к Ивановым.

Они ходили на лекции по очереди, благо учились в одной группе. Алексей Иванович перешел в группу оперативных дежурных по войскам округа, состоявшую из четырех полковников, которые заступали на дежурство сутки через трое. Он смог чаще бывать дома и порою, едва явившись со службы, принимал новое дежурство — над внучкой, а Валера с Аллой вместе отправлялись в универ на лекции. Ксюшка уже деда начала принимать за отца, радостно агукала, когда он, не переодевшись, еще в форме, поднимал ее на руки, тетешкал кроху. И, конечно, не обходилось без подмоченного внучкой на радостях дедушкиного кителя.

Долго так продолжаться не могло, к тому же сын, на этот раз твердо настоявший на своем и женившийся все же, несмотря на очередные уговоры родителей повременить, после свадьбы мало переменил свое поведение. Женившись, он первое время порадовался тому, что добился своего, но голод на жизнь все еще не оставлял молодого парня. Он искренне старался быть примерным отцом, но двадцать два года все же не тот возраст, чтобы вот так сразу взять и оставить вольные студенческие привычки.

Родителям невмоготу было видеть, как Алла одна, без загулявшего с сокурсниками мужа, проводит иногда вечер за вечером. И это тоже послужило причиной решения дать молодым возможность пожить отдельно — авось сын все же образумится, зная, что теперь-то уж некому будет помочь молодой жене

возиться с ребенком.

И Валерий Алексеевич потихоньку понял, что жизнь надо менять. Перешел на заочное, устроился на работу — сперва в латышскую школу, потом в военное издательство. Деньги были небольшие — рублей сто пятьдесят чистыми. Но родители помогали, Алла исправно получала стипендию, словом, на жизнь хватало. Да и компания друзей рассыпалась — Сашка женился и тоже ушел на заочное, устроился в милицию — инспектором по делам несовершеннолетних. Арик, недолго думая, поглядел на друзей и отправился по очереди ко всем сокурсницам — делать им предложение, о чем рассказал, смеясь, Иванову только лет через десять после своего второго уже брака. Однокурсницы ему почему-то отказали, и тогда он на фольклорной практике сошелся с молодой аспиранткой латышкой и быстренько женился на ней, чтобы не отставать от товарищей. Уйдя на заочное, он сначала шил дома джинсы, продавая их в Ленинграде фарцовщикам, потом устроился таксистом.

Универ Арик забросил окончательно тогда, когда, вспомнив о школьном увлечении, переквалифицировался в свободные художники. Он начал писать пейзажи с видами Вецриги, морские этюды, полюбившиеся многочисленным туристам, натюрморты с цветами, портреты маслом по фотографиям заказчиков. Набил руку, увлекся и уже в перестройку приобрел некоторую известность. Со временем его работы стали покупать галереи, имя начало появляться в каталогах. Когда Валерий Алексеевич вернулся в Латвию после своих горячих точек и занялся телевидением, он тоже немного помог старому другу раскрутиться, правда, не совсем бескорыстно — до сих пор, теперь уже в большом вырицком доме Ивановых в России, стены украшают картины Ария Алексеева.

Еще на втором курсе женился Костец и, бросив универ, устроился с молодой женой в маленькой захолустной Иецаве — мастером в ЛТП. Зато ему сразу дали от работы квартиру. В общем, не зря говорят, что именно филфак дает самое широкое образование — ребята разбрелись кто куда, и только Иванов хоть как-то оправдывал филологическое прошлое.

Увидев, что сын потихоньку взялся за ум, родители Иванова скрепя сердце разменяли оставшуюся у них после первого размена трехкомнатную распашонку в Плявниеках и «сделали» молодым однокомнатную квартиру со всеми удобствами в уютной и удобной малосемейке на окраине Чиекуркалнса, недалеко от престижного Межапарка. Садик, в котором ждала теперь Валерия Алексеевича дочка, остался все тем же, стало даже удобнее с транспортом. С Пернавас надо было нести ее,

кроху, на руках до улицы Ленина, потом через весь парк Покровского кладбища. Закутанная в шубку, как медвежонок, Ксения сонно сопела, уткнувшись папе в плечо, пока он, поскальзываясь и чертыхаясь, боясь упасть, тащил ее по утрам в садик.

А теперь садик оказался на полпути между работой и домом, если ехать на 11-м трамвае.

Очень удобно. Валерий Алексеевич зашел в группу, когда там уже почти никого из детей не осталось. Уютная, крупная телом молодая воспитательница Катя шутливо погрозила ему пальцем. Катя жила неподалеку от Ивановых и порою сама приводила Ксюшу родителям по дороге домой.

— А я уж думала, снова мне вам дочку с доставкой на дом отправлять!

— Педсовет у нас был, — на ходу оторвался Валерий Алексеевич и стал помогать одеваться счастливому ребенку.

Катя, полная женской молодой силы, не толстая, но большая, налитая соком, махнула на него рукой, дескать, все равно не верю, и занялась другими детишками.

Через несколько лет Иванов случайно встретит бывшую воспитательницу дочки на улице и не поверит своим глазам. Она сама окликнет его.

— Валерий Алексеевич, не узнаете меня?

Он как раз только вышел из новенького «плимута», купленного им для своей набиравшей обороты телевизионной студии.

Иванов пристально посмотрел на стоящую перед ним изможденную пожилую женщину.

Только по глазам и смог узнать свою ровесницу — веселую, сочную, никогда не унывающую Катю из Ксюшиного садика.

— Катя, вы ли это?! — невольно вырвалось у него, и он сам засмущался. Еще недавно, пока не пошли в гору телевизионные дела, он сам выглядел, признаться не лучше, первые годы после его возвращения из Приднестровья в Латвию семья жила фактически впроголодь. Постоянного заработка у Иванова не было, Алле в школе платили копейки, родители давно на пенсии.

— Что, сильно изменилась? — горько улыбнулась Катя. — Садик закрыли давно, работы нет Мужу уже полгода зарплату не платят, только обещают. Я вас попросить хотела, Валерий Алексеевич, вы ведь теперь на телевидении работаете. Я вас сразу узнала, и передачи у вас такие интересные. Помните моего Олежку, они еще с Ксюшей дружили?

— Конечно помню. — Иванов действительно только сейчас подумал о мальчике, с которым часто играла в садике Ксения.

— Он у меня бальными танцами занимается. — Катя замялась, — точнее, занимался. Сейчас ведь платное все стало. А у него талант, он уже и за границей призы выигрывал. Раньше все оплачивали родители его партнерши, а вот теперь партнерша сменилась и. мы никак не можем теперь не то что на соревнования его отправить, но даже костюм сшить.

Иванов почувствовал, как внутри у него зашевелились противоречивые чувства. С одной стороны — до боли жаль мальчишку, с другой стороны — надо бы дать денег, а их, как всегда, давать жалко, такое время поганое, самому вечно не хватает, хотя, конечно, сейчас он был в состоянии добыть для Кати латов двести—триста. Для него деньги не очень большие, а для нее сейчас, по всему видно, просто фантастические. Но ведь свободных, как всегда, нет с собою, надо что-то предпринимать, потом, деньги зарабатываются вовсе не так легко. Да и кто ему-то помогал когда, кроме родителей? Все эти подленькие мыслишки тут же заворочались в голове, но Катя упредила.

— Может быть, вы могли бы как-то дать объявление для телезрителей, что мы ищем спонсора для Олега? Сейчас часто так делают. — Катя с надеждой посмотрела на Валерия Алексеевича. Поняв, что о его деньгах речь не идет, Иванов тут же повеселел:

— Ну что вы, Катя, конечно, сделаем! Принесите мне, пожалуйста, несколько фотографий Олежки на танцах там, на соревнованиях. Постарайтесь отобрать повыразительней. И напишите текст, телефон свой. Я потом отредактирую, смонтирую все, естественно, повторим несколько раз, конечно, бесплатно.

В глазах у Кати застыла такая мука, смешанная с искренней благодарностью, что Валерий Алексеевич быстро заткнулся. Он еще раз пообещал сделать все, что в его силах, и сухо раскланялся, лишь бы закончить этот разговор.

Совсем недавно умерла соседка Иванова. Ее дверь была напротив. Тоже была женщина крупная, даже толстая. Ну, правда, пенсионерка уже! Латышка… Они не были толком знакомы, так, здоровались по-соседски. Но однажды в дверь Иванову позвонила дворничиха. Она плохо говорила по-русски, хотя и не переставала, встречая Иванова на лестнице, тихонько, с оглядкой, ругать новую власть и хвалить «krievu laiki» — русские времена. Наверное, дворничиха помнила, как часто перед домом останавливался омоновский «уазик», как, грохоча тяжелыми ботинками, поднимались на пятый этаж «черные береты» с оружием, с которым никогда не расставались. Тогда омоновцы еще были истинными хозяевами Риги, их и боялись, и уважали одновременно. Поняв, что Иванов был как-то связан с этими ребятами в камуфляже, с которыми он частенько уезжал потом

вместе, дворничиха после его возвращения домой вела себя с ним подчеркнуто приветливо. Хотя времена и изменились до неузнаваемости. Впрочем, родившаяся в Риге и лучше Иванова знавшая латышей Алла не раз повторяла мужу, что не исключено, что та же самая дворничиха сама регулярно стучит в полицию безопасности.

Дворник извинилась за поздний визит и попросила Иванова помочь соседке, а то сама она с ней не справляется. Они вместе вошли в квартиру напротив. Толстая соседка, оставшаяся грузной даже потеряв половину своего былого веса, упала с кровати, с которой, видно, давно уже не поднималась, и не могла самостоятельно подняться обратно. Иванов с помощью дворничихи с трудом водрузил ее на место. У женщины, как оказалось, началась водянка. Она уже не была толстой, как раньше, она теперь просто пухла от голода. «Дело известное — пенсия, наверное, латов сорок. И тридцать пять из них надо заплатить за квартиру», — подумал Иванов мрачно. В отличие от дворничихи соседка не скрывала в перестройку своих симпатий к Народному фронту. Ходила на митинги, носила цветы к «Милде» — памятнику Свободы. Здороваться с русскими соседями, правда, не перестала, но видно было, что она всей душой на стороне новой власти. Теперь женщина умирала от голода.

Иванов не злорадствовал, рассказывая потом Алле, что случилось с соседкой. «Горе тому, кто соблазнит единого от малых сих», — сказал бы он сейчас, а тогда просто выругался в адрес «свободной и независимой» Латвии, тихонько, чтобы не разбудить ребенка. Алла выслушала, сжала губы и вышла на кухню, стала перебирать что-то в холодильнике. Потом хлопнула дверь — жена пошла навестить соседку. С тех пор Алла частенько носила ей продукты, иногда даже покупала чего-то побольше, специально для больной. Но соседке становилось все хуже и хуже, и недавно Алла, собравшись к ней зайти, уткнулась в опечатанную дверь.

— Умерла, — скорбно подтвердила потом дворничиха. С Аллой, хорошо знавшей язык, она говорила по-латышски. И тут же добавила: — Нечего было за латышские глупости голосовать старой корове!

Видно, не простила дворничиха своей же, латышке, ее увлечение Народным фронтом. А может, проверяла Аллу, кто знает…

Знал бы Иванов 23 февраля 89-го года, чем все закончится, знали бы все участники той интерфронтовской демонстрации, может быть, разнесли бы Ригу по камешку. Но не знали. Предчувствовали, предполагали. Но не знали еще *точно*.

В назначенное время Валерий Алексеевич топтался с букетом красных гвоздичек у планетария, поджидая физрука. Он пришел пораньше и теперь не жалел об этом, своими глазами наблюдая, как со всех концов города стекается в парк Коммунаров русская Рига.

Толпа все прибывала и прибывала. Люди приходили собранными, решительными. Не было атмосферы беззаботного праздника, было напряжение предстоящей борьбы. Вскоре люди уже не помещались в небольшом парке. Человеческое море выплеснулось на тротуары, потом на дорогу. Движение по центральной магистрали Риги, улице Ленина, вскоре перекрыла милиция. Подчиняясь просьбе организаторов шествия, русские выстраивались в нескончаемую колонну шириной во всю проезжую часть, сколько хватало места. Метрах в трехстах впереди, у памятника Свободы, рядом с которым шествие должно было поворачивать налево, к вокзалу, чтобы потом, сделав небольшой круг, обходя узкие улочки Старой Риги, выйти на набережную, послышались возбужденные крики. В ответ людская река тут же качнулась и пошла, медленно втягиваясь в берега улицы, закручивая небольшие водовороты по бокам, обходя скамейки и телефонные будки, втягивая, принимая в себя со всех сторон новые ручейки. Потом течение подхватило всех, усилилось и уже невозможно было выйти из колонны или пересечь ее, хотя бы наискосок, пробиваясь к своим. Да и не нужно было, поскольку *все* вокруг были *своими.* Вскоре поняли это и Иванов с Евгением Федоровичем, кинувшиеся было догонять показавшихся впереди шебутных десятиклассников из своей школы, поднявших над головами огромный красный флаг. «Где только взяли?» — удивились учителя.

Основная масса народа была штатской, много женщин. Но тут и там в колонне мелькали офицерские фуражки — лишенные боевого приказа, лишенные права исполнять присягу, офицеры не могли позволить лишить себя еще и права на гражданский протест. Перед перекрестком у «-Милды» течение реки вдруг застопорилось, она стала разливаться, выходя из берегов, крики у памятника перешли в слитный рев, но еще невозможно было понять, что же там происходит. Остановившись на минуту, колонна вдруг поднапряглась, подталкиваемая идущими сзади, и прорвала затор, пошла мощно, неудержимо. Впереди, высоко над людьми вдруг показались советские флаги — это молодежь залезла на телефонные будки у агентства «Аэрофлота», и теперь, размахивая ими, азартно переругивалась с кем-то, еще невидимым. Но Иванов уже тоже подходил к перекрестку, плотно сдавленный людьми, стараясь не потерять хотя бы Федоровича,

да еще не дать задавить хрупкую молодую женщину рядом с ним, из последних сил старавшуюся не зацепиться за что-нибудь под ногами, не упасть под напором толпы. Упасть, впрочем, вряд ли получилось бы — некуда, но придавить могли, особенно сейчас, на повороте. Тут уж не до хороших манер было, поэтому Валерий Алексеевич просто толкнул плечом могучего физрука и показал взглядом на женщину. Тот понял, кивнул. Иванов просунул руку сквозь чьи-то бока рядом, обхватил тонкую фигурку за талию и рванул к себе. Та было испугалась, всхлипнула даже от страха неслышно в ревущем дыхании огромной массы людей, но, увидев успокаивающий взгляд интеллигентного с виду мужчины, перестала сопротивляться. Федорыч ухитрился, отодрав чей-то хлястик на пальто, просунуть на помощь свою лапищу; рванули вместе и каким-то чудом протащили женщину по воздуху, воткнули буквально между собой, раздвинулись с трудом в стороны и поставили ее, побледневшую, на землю.

— Спасибо, товарищи! — выдохнула она и несмело улыбнулась. Но разговаривать было уже невозможно. Только проходя перекресток, уже у самого памятника, можно было понять, в чем причина недавней задержки. У подножия «Милды» сгрудились на ступеньках, облепили его, как муравьи, несколько сотен латышей. Они-то, едва сдерживаемые двумя милицейскими цепочками, и заходились в отчаянном крике, скандируя неистово проходившей мимо них в неестественно спокойном, пронзительном молчании нескончаемой колонне русских: «На вокзал! На вокзал! На вокзал!» Когда кому-то из латышей вдруг удавалось прорваться сквозь взмыленных милиционеров и попытаться по-собачьи «куснуть», достать как-нибудь кого-нибудь из русских, шедших с края колонны, там моментально образовывался новый водоворот; наглеца либо били чем попало, либо затаскивали внутрь колонны и потом выплевывали с другой стороны, протащив сквозь строй, надавав оплеух и обложив по всей его хуторской родне. Сильно, правда, никого не били, били обидно, давая понять — лучше не связывайся, порвем, как Тузик грелку.

Вскоре крики стали ослабевать. Пусть и отобрали энфээловцы в пикет на пути шествия русских самых крепких своих активистов, но и они скоро выдохлись и только шипели сорванными глотками, провожая больными от ненависти глазами бесконечно идущих сквозь город русских. Их было сотни тысяч! Когда Иванов с Федоровичем и зажатая между ними тоненькая женщина — Регина — вырвались вместе со всей колонной на Привокзальную площадь, расступились, пошли посвободнее, поворачивая теперь уже направо, к реке, то останавливаясь, то

пробегая несколько метров, чтобы не растягивать строй, все стали невольно оборачиваться на ходу, оглядываться, оценивая, сколько же нас?! И по сразу загоравшимся восторгом глазам, по веселым возгласам внезапно сбросивших напряжение людей уже было ясно — нас *очень* много!

Регина, спасенная учителями от давки, возбужденно знакомилась, рассказывала о себе, искала вокруг коллег — проектировщиков из своего института. Пока Федорыч басовито говорил в ответ о себе, Иванове и школе, Валерий Алексеевич впервые обратил внимание на лозунги и транспаранты, которые несли люди. Понятно, что в колонне полыхали огнем шелковые советские знамена, флаги Латвийской ССР и сотни обыкновенных флажков от первомайских демонстраций. Его внимание привлек скромный лист ватмана, на котором черной тушью лаконичным и ровным чертежным шрифтом было написано: «150 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Латвии от фашизма, уже никогда не уйдут с этой земли!»

На Комсомольской набережной, уже на подходе к Октябрьскому мосту, кто-то вдруг тронул его за плечо. Оглянувшись, Иванов радостно вскрикнул: «Эрик! Гунта!»

Это действительно были они — его бывшие коллеги из латышской школы. Гунта, не чинясь, потребовала «бучиню», подставила щечку и сама поцеловала Валерия Алексеевича. Эрик смущенно улыбался, поправляя то и дело «профессорские» очки на тщательно выбритом остром лице. Он был без шапки, седые волосы аккуратно причесаны, из-под солидного пальто выглядывали белая сорочка и галстук. Заметив оценивающий взгляд Иванова, он ответил на незаданный вопрос.

— Я прямо с заседания РОНО, ушел из школы, теперь инспектором тружусь в Московском районе. Ты вовремя уволился тогда, у нас вообще невозможно стало работать. Недавно заходил на Авоту по делам, так в школе каждый вечер какие-то собрания Народного фронта, Гражданского комитета, говорят даже, что начали формировать что-то вроде айзсаргов — военизированное формирование какое-то. Партийная организация распалась фактически, русские учителя все поуходили. Ну вот, мы с Гун-той и решили не участвовать в этом шабаше.

— Я рад вас видеть здесь. Не только здесь, вообще рад всегда, но здесь особенно, — тихо, стараясь не выдать охвативших его чувств, сказал Иванов.

Колонна уже вошла на Октябрьский мост, с середины его было видно, что первые ряды шествия достигли подножия монумента Воинам-освободителям — далеко впереди за Двиной, в парке Победы. А позади Иванова колонна извивалась вдоль

набережной, тянулась в сторону вокзала и все не кончалась. Когда друзья и сами дошли наконец до парка Победы, то невольно ахнули — такого моря цветов, окружившего подножие высокой стелы памятника и бронзовые фигуры воинов, здесь еще никогда не было. И такого людского моря. Толпа окружила монумент, растеклась по обширному парку, а колонна подходивших людей все не кончалась. Интерфронт вывел на свою демонстрацию несколько сотен тысяч рижан.

Русские показали — просто так они не сдадутся.

Глава 11

Вечерние новости по Латвийскому телевидению напоминали истерику. Никто из латышей, уже привыкших к тому, что они, и только они являются главными действующими лицами объявленной из Москвы перестройки, не ожидал, что кто-то, вопреки указаниям московских функционеров самого высокого ранга, не раз приезжавших в Прибалтику и подгонявших, одобрявших, призывающих «ускорить и углубить» процессы демократизации, что кто-то, вопреки всему, посмеет пойти поперек воли Центра. Да еще — русские! Этого никто не ожидал, но этого подспудно опасались, несмотря на все заверения идеологов Политбюро, что национальные народные движения в республиках могут ничего не бояться, что никто им мешать не будет.

Все «народные» фронты создавались «сверху», им оказывали содействие и помощь как административным ресурсом на местах, так и скоординированной поддержкой из-за пределов Советского Союза. А главное, никто не должен был «мешать перестройке», организуя неподконтрольные Центру массовые движения «снизу». Потому и стихийно возникший на базе знаменитого Рижского института инженеров гражданской авиации Интерфронт Латвии сразу же попытались направить в «нужное» русло.

Но назначенные сверху для руководства русским движением люди не справились с поставленной им задачей — «оседлать» Интерфронт и в зародыше пресечь всякое сопротивление далекоидущим планам Центра. Вчерашние народнофронтовцы — Татьяна Жданок и Анатолий Белайчук со своей «русскоязычной» командой так и не стали лидерами нового движения, более того, очень скоро были вытеснены на перефирию и могли только наблюдать за тем, как растет, ширится, набирает силы совсем не тот Интерфронт, какой хотели и могли бы позволить себе перестроечные Москва и Рига.

Может быть, впервые в истории СССР русское движение сопротивления не было сразу подмято под себя «русскоязычными» космополитическими функционерами. И даже в названии Интернациональный фронт трудящихся на самом деле была выражена вовсе не антирусская, антинациональная идея, скорее наоборот, по тем временам и по той обстановке Интерфронт выражал собою идею сопротивления многонациональной русофобии, насаждаемой из Москвы «советскими метисами»; русофобии, поставленной ими на службу очередной попытке развала российской государственности,

независимо от политического строя. Русских среди *некоренного* населения национальных республик — нелатышей в Латвии, неэстонцев в Эстонии, немолдаван в Молдавии — всегда было *подавляющее* большинство, более девяноста процентов. Все это знали, все это понимали, все ощущали себя в интердвижениях Эстонии или Литвы, в Интерфронте Латвии в первую очередь *русскими.* Русскими, готовыми принять как братьев всех, кто не заражен русофобией.

Именно эта основная идея была самой страшной для политики управляемой перестройки, ведущейся по указанию союзного центра. Сама идея Интерфронта, как массового, снизу созданного — *русского* в своей основе движения сопротивления, неподконтрольного указаниям космополитического мирового правительства, до сих пор вызывает ярость не только у недалеких националистов в Латвии или Эстонии, но и у всех командующих объединенным глобалистским штабом. А потому оболгана, извращена и старательно стирается из памяти, пусть и двух десятков лет не прошло еще, и живы реальные участники таких недавних событий.

После той памятной демонстрации 23 февраля 1989 года жизнь Иванова начала неуловимо, даже для него самого, поворачивать в сторону от давно намеченного спокойного течения. Он по-прежнему ходил на работу, в меру старательно готовился к урокам, корпел над ненавистными тетрадями с упражнениями и с увлечением выискивал проблески таланта в сочинениях старшеклассников. Но в то же самое время он, вместе с физруком и пожилым учителем физики, всю жизнь, еще с довоенных времен, жившим в Латвии и на многое открывшим коллегам глаза, создал в школе интерфронтовскую ячейку, в которую записались вскоре все учителя, кроме двух латышек.

Регина, инженер-проектировщик, с которой он познакомился на шествии, была активисткой Интерфронта с момента его основания, с первого — учредительного собрания. Она хорошо знала руководителей движения, особенно выдвинувшегося на первый план Алексеева.

Иванов начал писать в недавно созданную газету Интерфронта «Единство», потом, разочаровавшись в ее первом редакторе Тихомирове (преданной креатуре Жданок), вместе с Региной и ее коллегами по институту начал издавать свою малотиражку — информационный бюллетень Кировского (центрального) районного совета Интерфронта.

Их небольшая газета, набиравшаяся на простой пишущей машинке, сверстанная путем склеивания статей и рисунков на бумажный лист формата А3, переснятая потом и размноженная

на «Ромайоре», пользовалась успехом. Вскоре предприимчивой Регине пришла в голову мысль, что бюллетень можно и нужно продавать, чтобы получить собственные средства для нужд организации. Пусть по десять копеек, но даже две-три тысячи тиража еженедельно давали возможность не выпрашивать у сочувствующих руководителей предприятий бумагу и допуск к множительной технике, а самим распоряжаться процессом.

Впрочем, вскоре Регина познакомила Валерия Алексеевича с Сашей Васильевым. Саша — сорокалетний режиссер, переехавший в Ригу из Ашхабада к осевшим здесь стареньким родителям, с радостью схватился за предоставившуюся ему после долгого перерыва возможность снова поработать по специальности — режиссером и оператором создаваемой Интерфронтом видеостудии. Васильеву требовался журналист для работы в кадре, и Иванов с готовностью согласился попробовать себя в новом деле. Вскоре Регина представила Иванова и самому Алексееву. Наступило лето, закончились занятия в школе. Валерий Алексеевич ушел в отпуск, но не прерывал своего участия в деятельности ячейки Движения.

Старший Иванов — Алексей Иванович, к тому времени уволившийся в запас, работал начальником первого отдела рижского отделения крупного союзного треста «Высоковольтные сети». В Кегумсе, в пятидесяти километрах от Риги, недалеко от ГЭС, на берегу водохранилища, у треста была своя база отдыха. Там, в небольшом домике, выделенном отцу от работы, и проводили обычно лето Валерий Алексеевич с женой и дочерью. Место было просто райское.

Вокруг на много километров тянулся чистый сосновый лес, полный грибов и ягод. А Двина, широко разлившаяся перед плотиной Кегумской ГЭС, плескалась метрах в двадцати от крыльца коттеджа. Баня с бассейном, персональная лодка на каждый домик, теннисный корт и спортивный зал с тренажерами, бильярд и детская площадка, причал с каноэ, байдарками и водными велосипедами для общего пользования — все это содержалось в чистоте, порядке и полной исправности. Народу здесь жило немного, да и те — все свои.

Рано утром косые лучи солнца, проникающие сквозь сосняк на берегу, вспугивали туман над притихшей рекой. Плескалась лениво сытая рыба, хорошо видная в прозрачной воде под горбатым мостиком у пирса — хоть веслом ее бей, поскольку на червя не берется в июльский зной. Валерий Алексеевич в одних плавках выходил на крыльцо, еще не проснувшись толком брел по росе к деревянным мосткам. Закуривал первую сигарету, болтая ногами в парной воде; наслаждался тишиной, смотрел на

плывущие по воде клочья тумана, разгоняемые уже припекающим, несмотря на ранний час, солнцем. Лениво вспоминалось, что взята с собой на дачу пишущая машинка, что надо бы наконец засесть, как мечталось зимою, за давно вынашиваемый сценарий или книжку. Но впереди еще было столько времени до середины августа, до конца длинного учительского отпуска, что даже думать о пишущей машинке не хотелось. Иванов поболтал еще немного ногами в воде, решился и, оторвав задницу от нагретого дерева мостков, ухнул в теплую, еще хранящую в себе вчерашний знойный день воду.

Он не спеша плыл брассом вдоль берега, сначала обрывистого, с накренившимися над водой елками и диковинными сосновыми корнями, с васильками, голубевшими на островках мха вокруг подтопленных пней, с черничником, с редкими земляничными кустиками, отчетливо видными снизу, от воды, но которые фиг разыщешь, продираясь по берегу. Потом пошли камыши, берег ушел направо излучиной, и перед Ивановым открылась голубая ширь водохранилища с далекими домиками на той стороне, с электричкой, ящерицей пробежавшей в сторону Риги. Он повернулся на спину и долго лежал почти без движения, глядя в небо, чуть пошевеливая руками, чтобы удержаться на плаву.

Ксения встретила его на причале. Алла уже накормила дочку, и теперь шестилетняя, очень серьезная на вид девочка ждала, когда же папа возьмет ее с собой на лодку удить рыбу.

Светлорусые, почти пепельные от солнца хвостики выгоревших волос шелковисто свисали над загорелыми тонкими плечиками.

— Па-а-па! Ну скоро мы пойдем ловить рыбок? — звонко заголосила Ксюша, уворачиваясь от мокрых рук отца. Не ускользнула, подлетела к небу, залилась от восторга, крутясь над головой Иванова. На крыльцо вышла сонная Алла.

— Хоть бы сейчас дали отоспаться, непоседы. — Она сердито зевнула, посмотрела на счастливую дочку, на речку, на ослепительное солнце и сменила гнев на милость. — Ксения, дай папе позавтракать сперва. Иди ешь, мореплаватель. — Она насмешливо посмотрела на мужа. — Регина сегодня приедет с Людмилой. Ну а там и Толик, известно, объявится. Так что покатаешь Ксюху на лодке и потом пойдешь в поселок, может, мяса купишь в кооперативном да зелени.

— А может, совместим? Давай прямо на лодке на тот берег — в магазин сходим и ребенка проветрим заодно? — предложил Иванов. — А то неохота кругаля давать на велосипеде, лишних три километра пилить да обратно еще с сумой тащиться!

— Ну, давай. Иди ешь, остынет. Только посуду помоешь, пока я собираюсь.

— Это нарушение Женевской конвенции! — взмолился Валерий Алексеевич.

— А я не нанималась весь свой отпуск у плиты стоять, да еще и посуду за вами мыть!

— Мама, я помою, давай на лодке в магазин, мороженого купим! — Ксения подбежала к отцу и ухватила его за ладонь. Иванов, готовый было сорвать на жене неожиданно вспыхнувшее радражение, пересилил себя и буркнул Алле:

— Помою, помою. Собирайся иди. — Дернул дочку за хвостики, за один, за второй… — А ты мне поможешь посуду на мойку отнести, да, котенок?

Компания друзей заявилась ближе к вечеру на омоновском «рафике». Толян выгрузил женщин, хлопнул по плечу водителя, тоже в штатском, и отпустил машину.

С Толиком Иванова познакомил как-то бывший сокурсник Сашка Боготин, бросивший универ и перешедший в милицию. Сашка не задержался долго в инспекторах по делам несовершеннолетних — поработав годик, перешел в уголовный розыск и даже был на хорошем счету. Валерий Алексеевич, бывало, заскакивал к нему в райотдел, вытаскивал из кабинета, и старые друзья отправлялись поговорить и попить водки. Постепенно в их тесной компании стал все чаще появляться старшина вневедомственной охраны Мурашов. Толик был парнем компанейским и заводным, легко контачил с людьми, быстро вживался в новую еще для него Ригу. Про себя он много говорить не любил, рассказал только, что приехал из Тулы — встретил где-то на отдыхе рижанку, женился скоропалительно и переехал к ней жить. Мурашов закончил летное училище, был вертолетчиком. В Риге работы по специальности не нашлось сразу, но Толик ждать не стал, взял и устроился в милицию. Сначала во вневедомственную охрану, а в 88-м, когда стали создавать отряды милиции особого назначения, подал рапорт в числе первых и стал рижским омоновцем. Он быстро продвинулся, получил офицерское звание и вообще был человеком легким и деятельным. Все знают Дмитрия Харатьяна, так вот, Мурашов был того же типа, очень похожим на известного киноактера, только покрупнее и помужественнее, что ли. Женщины, впрочем, не делали разницы — падали с ног при одном взгляде, что одного, что другого. Но с Хара-тьяном Иванов не был знаком, а вот Мурашов не раз поражал его воображение не выдуманными, а совершенно реальными, на глазах Иванова, можно сказать, совершаемыми подвигами на любовном фронте.

Впрочем, офицером он тоже был неплохим, сослуживцы любили его не только за веселый нрав и отзывчивость. Стояло за Толиком что-то еще такое, глубоко скрываемое, внутреннее, что заставляло довериться ему в любых ситуациях. Выделяло его и начальство. Иванов частенько теперь и сам появлялся на базе ОМОНа в Вецмилгрависе, бывало даже, зависал там на пару дней, несмотря на то что порядки на базе были довольно строгие. (Очень скоро это обстоятельство решающим образом скажется и на его будущей политической работе, и на личной судьбе, но тогда все еще только начиналось, и один Господь знал, почему именно эти два мужика встретились и подружились как раз перед тем, как состоялось новое распределение ролей в мировой жизненной драме. Они, конечно, не стали главными героями грядущих битв. Однако даже участие в массовке требовало совершенно новых качеств для каждого, кому выпало жить в проклятые еще китайцами времена перемен).

Регина дружила с коллегой по работе — высокой, синеглазой, фигуристой блондинкой — Людмилой. Люда тоже участвовала в их общих интер-фронтовских делах и тоже была не замужем, несмотря на то что ей было уже чуть за тридцать. Иванов при случае познакомил женщин с Толиком. Уже тогда о Рижском ОМОНе ходили легенды — отряду удалось быстро прижать поднимавшую голову преступность. Действовали омоновцы непривычно жестко и решительно, взяток не брали, рядовому милицейскому начальству не подчинялись и вообще славились своей независимостью и, как сейчас сказали бы, «отмороженностью» — в хорошем, если так можно выразиться, смысле этого слова.

Толик, конечно, очень быстро и как-то даже «привычно» положил глаз на красавицу Людмилу, еще быстрее добился своего и хотел было развязаться с очередной пассией. Но не тут-то было. Люда влюбилась в него не на шутку, да и постоянные контакты с Ивановым, служившим связующим звеном в их отношениях, не позволяли Толику просто спрятаться от

Люмилы хотя бы на недоступной для посторонних базе ОМОНа. Хочешь не хочешь, а приходилось встречаться.

Тем не менее Толик ко всему относился легко, ситуация его не раздражала, а Люде только одного и надо было — хоть видеться иногда. Потому и на дачу к Иванову они приехали все вместе. Толик, как и все омоновцы тогда еще не ангажированный ни одной политической силой, принялся готовить шашлык вместе с Аллой, слегка оттаивавшей всегда в его обществе, зато Регина с Людой стали грузить Иванова интерфронтовскими делами, зная, что решить их лучше до готовящегося застолья.

Речь шла о поездке в Ленинград на учредительный съезд Объединенного фронта трудящихся СССР. Интерфронт Латвии участвовал в мероприятии как один из главных соучредителей. У движения к тому времени уже был свой штатный состав, руководили им освобожденные лидеры ИФ — Алексеев и Лопатин. Регина, тайно влюбленная в Алексеева, часто виделась с ним, они приятельствовали. Естественно, отношения эти не выходили за рамки рабочих — Анатолий Георгиевич был примерным семьянином, у него две взрослые дочери-красавицы, поэтому речь не шла ни о каких интрижках, конечно. Но зато Регина постоянно продвигала вперед Иванова, полагая, наверное, справедливо, что в движении не хватает на штатной работе именно таких людей, как он. А налипло тогда вокруг Интерфронта много «попутчиков», как просто случайных, так и тщательно «подсовываемых» в руководство движением со стороны.

Иванов должен был ехать на съезд не в качестве делегата, а как корреспондент «Единства» и интерфронтовского телецентра, для освещения, так сказать, довольно важного политического события. Ехать надо было за свой счет, ИФ оплачивал только билеты. Поскольку Иванов не был в штате движения, то вставал вопрос средств. В середине длинного учительского отпуска семейный бюджет Ивановых уже трещал по швам. Регина решительно полезла в сумку и вытащила объемистый, тяжелый пластиковый мешок с «белой» мелочью — выручку от распространения их районного бюллетеня Итерфронта за месяц. Высыпали содержимое мешка на стол, подсчитали — оказалось вполне достаточно, даже на случай непредвиденной ситуации. Алла была не слишком довольна внезапно наметившейся отлучкой мужа, но, поскольку, в отличие от своих родителей — почти энфээловцев, разделяла политические убеждения супруга, протестовать не стала.

А Толику тогда и вовсе, казалось, было все по фигу — ОМОН еще стоял вне всякой политики.

Ехали в Ленинград весело, но по-деловому. Алексеев никаких вольностей со спиртным и прочими безобразиями не терпел. Иванов в этой поездке работал в связке с Сашей Васильевым — режиссером и оператором телестудии ИФ. Валерию Алексеевичу предстояло при необходимости работать в кадре, а главное написать подробный отчет о съезде для «Единства».

Уже по прибытии в Ленинград начали расставлять точки над Отметились в музее Кирова, где будет происходить съезд, нанесли визит в райком партии, находившийся неподалеку, полюбовались великолепием интерьеров здания райкома —

бывшего великокняжеского дворца. Первый секретарь райкома, курировавший съезд ОФТ, поскольку мероприятие проходило на его территории, был в оценке общей обстановки лаконичен. Власти у партии почти не осталось. Ни один серьезный вопрос было уже не решить, как прежде, надавив непререкаемым партийным авторитетом. Все в районе держалось только на давних личных связях и хороших отношениях с руководителями предприятий и организаций. А если этих отношений нет, то и сделать ничего нельзя.

Многие стали подчеркнуто выходить из-под партийного контроля, недвусмысленно кивая на приоритет высшего партийного руководства, не то что разрешающего — настоятельно требующего скорейшей демократизации на местах. А понимали эту демократизацию одинаково — можно все, война все спишет. Хаос и разруха еще только начали маячить на горизонте, но опытные хозяйственники и руководители уже давно поняли — страна выводится из-под их контроля и делается это сознательно. Итожа свою краткую речь перед гостями, секретарь еще раз подчеркнул — он рад помочь, он на стороне всех здоровых, как он выразился, сил в государстве, но если московское руководство будет и дальше перестраиваться с такой силой, скоро все обвалится не только в Прибалтике, но и в самой России, в Ленинграде в том числе. В городе традиционно много интеллигенции, вся она настроена революционно, жаждет нового Октября наоборот. Гласность ударила всем в голову, влиять на средства массовой информации никто уже не в силах, даже собственные, партийные газеты стали неуправляемы.

Когда, уже в следующем году, Иванов попал в Смольный на встречу с первым секретарем Российской компартии Полозковым, он сам понял — это конец партийной власти. Перед собравшимися журналистами мямлил затасканные слова человек, переодень которого в синюю спецовку — и никогда не отличишь от сантехника. Только суровые комитетские прапорщики охраны на входе в Смольный да традиционное наличие деликатесов в буфете еще создавали видимость наличия у партии какой-то власти. Внутреннее содержание было изъедено ржавчиной, и партия готова была рухнуть в один момент.

На съезде Объединенного фронта трудящихся было интересно. Там не было партийных функционеров, зато в работе участвовало много делегаций со всех регионов страны, представлявших стихийно, снизу оформлявшееся движение народа, пытавшегося сохранить свою страну. Была делегация из Тирасполя, были представители всех прибалтийских интерфронтов и движений, шахтеры из Новокузнецка,

внушительная питерская команда, состоявшая как из рабочих, так и из профессуры.

Все пытались найти выход из кризиса, в который вовлекало страну ее руководство. Все верили, что народ в состоянии что-то сделать сам, все надеялись на различные формы самоорганизации масс. Но никто не владел практическими ресурсами — все в стране подчинялось одной централизованной схеме распределения и управления. А власть центра если и отдавала ресурсы в чьи-то руки, разрушая саму себя, то только тем, кто жаждал помочь в упоенном разрушении. Но зато тот же самый Центр очень зорко следил за тем, чтобы остатки административного ресурса ни в коем случае не доставались противникам перестройки. Точнее, *такой* перестройки, какая была задумана сверху и планомерно осуществлялась.

Все делегаты съезда видели, что страна несется под откос, все понимали, что надо что-то делать, но инерция веры в могущество Советского Союза и советского строя была такова, что почти никто не представлял себе, как мало времени осталось на то, чтобы попытаться хотя бы затормозить процесс, который «пошел», дать передышку оголтелому промыванию мозгов, дать народу время *одуматься.*

Вечером, когда встал вопрос о ночлеге, окончательно определился и расклад сил. Жданок с Белайчуком предложили Иванову ехать с ними в дорогую гостиницу, где у них заранее были забронированы номера. Вопрос оплаты, естественно, они также решали сами.

Валерий Алексеевич вежливо отказался и вместе с Алексеевым и его группой остался ночевать в общежитии ПТУ, расположенном недалеко от места проведения съезда. Эта ли мелочь с гостиницей была тому причиной или репортаж, написанный им о съезде для «Единства», но только по возвращении в Ригу Анатолий Георгиевич пригласил его через Регину к себе на Смилшу и предложил новую поездку в Ленинград, уже для участия в прямом эфире «Горячей линии» на телевидении, вместе со знаменитыми Гдляном и Ивановым. Только те будут говорить о событиях в Фергане, а рижане должны были подготовить видеоматериал, иллюстрирующий рассказ о событиях в Латвии.

Забыв про отпуск и срочно перевезя семью с дачи в рижскую квартиру, Валерий Алексеевич вместе с Сашей Васильевым отправился в Елгаву, снимать сюжет о развале под давлением местных латышских властей Рижской автомобильной фабрики. Латыши мечтали перепрофилировать ставшее им ненужным производство знаменитых микроавтобусов на производство

плугов для будущих фермерских хозяйств. Пикантность ситуации была в том, что именно с РАФа и начиналось одно из самых дурацких веяний перестройки — выборы рабочими директора. К тому времени Бос-серт уже отчаялся бороться с местными националистами, для которых русский заводской коллектив был костью в горле, и готовился отбыть на стажировку в США — перестраиваться дальше.

Пригодились для показа на Ленинградском телевидении и архивные материалы о митингах Народного фронта с лозунгами, призывающими русских убираться на родину. А перед самой поездкой в Питер — 23 августа — в годовщину пакта Молотова—Риббентропа Васильев с Ивановым сняли знаменитую «Балтийскую цепь» и короткие интервью с активистами «гражданских комитетов» у «Милды». Нужно было видеть, как жирные латышские тетки, увешанные золотом, орали, тряся тремя подбородками в камеру в ответ на невинный вопрос Иванова: «А что это вы тут делаете?», что «русский старший брат нас обокрал, обобрал, отнял у нас все, с голой жопой теперь ходим…».

После совместного прямого эфира, длившегося полтора часа, рижан расхватали журналисты других СМИ. Интерфронтовцы разделились, чтобы не терять редкой возможности высказать свою точку зрения. Иванов самостоятельно выдал несколько интервью на радио, тоже в прямом эфире, ответил на вопросы местной прессы.

Анатолий Георгиевич внимательно и пристрастно изучил все, что от имени Интерфронта высказал журналистам молодой учитель, и довольно заключил:

— Валерий Алексеевич! Отныне у вас есть полное право работать с прессой и давать любые комментарии по поводу Интерфронта и нашей позиции.

Это было сказано в той самой гостинице «Дружба», рядом с телецентром на Чапыгина, которая потом надолго стала для Иванова родной. Именно в эту поездку Саша Васильев познакомил его со своими питерскими однокашниками по Институту театра, музыки и кинематографии, работавшими на Ленинградском телевидении. И тогда же новые знакомые намекнули Иванову, чтобы он отныне работал с ними напрямую, а не через занудного бывшего товарища. Наверное, у них были на то свои причины, Валерий Алексеевич не стал вдаваться в эти подробности. Потом все само собой прояснилось. А связи на телевидении нужны были тогда Интерфронту, как воздух.

Оставалась всего пара дней до начала занятий в школе. Пропустивший несколько рабочих дней в августе, Иванов

старательно наверстывал время, готовя кабинет русского языка и литературы к учебному году. Тут его и нашел один из штатных сотрудников ИФ и передал просьбу лидера Интерфронта срочно подойти в штаб-квартиру движения на Смилшу, 12. Учитель закрыл кабинет и не спеша пошел через Бастионную горку к Алексееву, благо идти было пять минут.

— Валерий Алексеевич, вы не хотели бы поработать у нас в штате? Для начала моим референтом. А там посмотрим. Какая у вас зарплата в школе?

— Двести пятьдесят рублей! — не моргнув глазом ответил Иванов, почти не соврав, но все же прибавив на всякий случай рублей сорок к тому, что получал на самом деле в сухом остатке за полторы ставки со всеми копеечными надбавками за проверку тетрадей и классное руководство.

— Хорошо, — не стал спорить Алексеев. — Так вы согласны? И как быстро вы сможете приступить к работе?

— Да хоть с понедельника! — Иванов лихорадочно обдумывал про себя, как он будет объясняться с женой. А главное — с директрисой — ведь часы на предстоящий учебный год уже расписаны. Где она найдет преподавателя за два дня до 1 сентября?!

К счастью, все обошлось. Алла давно уже мечтала расстаться с латышской школой, где она работала по распределению, и легко согласилась занять место Иванова в хорошо ей знакомой школе мужа. Директриса поворчала, повздыхала, но, поскольку отношения с Ивановыми, жившими с ней по соседству, были приятельскими, да и сама она состояла в интер-фронтовской ячейке, вынуждена была согласиться и отпустить молодого учителя. Авторитет Алексеева у русских Латвии был практически непререкаем.

А что же сам Валерий Алексеевич? Почему согласился не раздумывая? Неужели не понимал, что работа в общественной организации, идущей наперекор всей политике страны, кардинальным образом изменит его будущее? Неужели не предчувствовал, что может потерять все, даже семью?

Здравый смысл подсказывал, конечно, Иванову, что спокойнее и безопаснее было бы занять нейтральную позицию, окунуться в набирающее силы кооперативное движение, побарахтаться в мутной волне мелких издательств-однодневок, приложить приобретенные еще в «За Родину» опыт и связи в полиграфии и журналистике к зарабатыванию денег. Но еще сильнее было предчувствие надвигающейся катастрофы, которую нужно было остановить любой ценой. Присяга, Отечество, честь — не пустые слова. Люди, в которых молодой человек уже начал

немного разбираться к тридцати годам, резко разделились на два лагеря. И в том лагере, который следовал конъюнктуре, который ставил на перестройку и уже подсчитывал грядущие прибыли от предательств, люди были в подавляющем большинстве ему несимпатичны. Просто как люди. Он знал многих, кто слепо или наоборот расчетливо принял идеологию Народного фронта, среди них были и те, кто говорил на русском языке.

Как-то из любопытства Иванов даже посетил одно из первых собраний Балто-славянского общества, состоявшееся в фойе Кукольного театра. Символичное, подумал он, совпадение. «Кукол дергают за нитки, на лице у них улыбки…». Люди все больше были из числа творческой или околотворческой интеллигенции, окололитературной тусовки. Несостоявшиеся художники, поэты, мелкотравчатые журналисты, литработники, актеры. С некоторой натяжкой и самого Иванова, после учебы на филфаке, можно было бы причислить к этой… категории лиц. Но не к этой *среде.* Для того чтобы быть своим в этом обществе, надо было быть хоть немножко нерусским, хоть немножко диссидентом, хоть чуть-чуть, но верить в «обиженный и несчастный латышский народ, ограбленный русской империей». Принимать такие правила игры Валерий Алексеевич решительно отказывался. Ему было чуждо все, чем дышала русскоязычная тусовка, метавшаяся из НФЛ в Центр демократической инициативы, из Балто-славянского общества в Русское общество Латвии или Латвийское общество русской культуры. Чувство *границы,* впитанное с первым вдохом еще при рождении не позволяло, а главное — друзья, коллеги, сослуживцы, любимые женщины — *все* это было в другом лагере.

Иванову было совершенно наплевать на пресловутую пятую графу в паспорте, он не вдавался в подробности касательно евреев, почему-то обязательно оказывавшихся в руководстве всех перестроечных организаций; среди его друзей были и латыши, и армяне, и вообще кого только не было. Но вырос он, воспитывался, вскармливался совершенно иной — русской офицерской средой. Которая оставалась одной и той же и в Туркмении, и в Карелии, и в Эстонии, и в Латвии. С одним укладом жизни, с одним, не искаженным длительным пребыванием в одной и той же нацреспублике, русским, языком, со своими привычками и принципами, со своими понятиями о том, что прилично, а что нет

Сказать по чести, сам-то Валерий Алексеевич не был идеально тождествен среде, в которой сформировался, яблочко в его случае все время пыталось укатиться подальше от яблони. Но все равно оставалось яблоком и никак не могло стать грушей. Он

не был идеальным представителем своей среды, но с детства хранил в себе *понятие* об идеале. Он часто поступал вопреки идеалу, но всегда знал, что поступает именно вопреки, не обманывая себя и не ища кумиров на стороне. Да и никогда не было у него конкретных людей, на которых он старался бы быть похожим, «делал бы жизнь с кого». Какие идолы в наше-то время?! Но какое-то общее, коллективное бессознательное, присущее русскому народу, все равно закладывало свою систему координат, свое «нра — не нра», и переделать себя он не мог, да и не пытался.

Потом, потом, когда судьба снова сведет его с Катей Головиной, учившейся с ним вместе на первом курсе университета и уехавшей вскоре в Москву — в Литературный институт, закончившей там аспирантуру, написавшей диссертацию о русской религиозной философии, — только много лет спустя он испытает некоторое смущение, называя ей, второй своей жене, несколько книг, сыгравших огромную роль в его судьбе и во многом определивших мировоззрение: «Хождение по мукам», «Белая гвардия», «Бег», «Повесть о жизни», «Пути небесные», «Из тупика» и «Бесконечный тупик».

Катя улыбалась ехидно такой сборной солянке, но «красного графа» и Пикуля он позорить Катерине не давал, даже признав со временем конъюнктурную ноту одного и недостаток чисто литературного таланта — другого. Валентина Саввича он сам, вместе с ротой почетного караула и толпой почитателей, под военный оркестр провожал в последний путь на 1-е Лесное кладбище Риги.

Но что делать, что делать и кто виноват, если вся взрослая жизнь Иванова явилась каким-то отголоском любимых с детства романов? Понятно, что эмигрант Шмелев появился гораздо позже, не говоря уже о Галков-ском, но и они лишь подтвердили то, что выношено было каким-то образом самим Валерием Алексеевичем всей его бестолковой жизнью — не мыслями, но поступками, не философствованием, но каждым прожитым днем.

Концы связывались с концами сами по себе, независимо от знания. Опыт русской словесности и русской философии, лишь перелистанной по диагонали Ивановым, за неимением то самих книг, то досуга, компенсировался с лихвой, по его более позднему убеждению — собственной потрепанной шкурой.

«Чукча не читатель, чукча — писатель!» — вяло огрызался он, когда Катя, по возможности тактично, указывала ему на то, что в своей очередной статье Валерий Алексеевич опять «изобрел велосипед», давно рассмотренный пристально еще Розановым или даже Достоевским.

— Я практик, я занимаюсь вещами прикладными, Катя, как ты не поймешь?

То, о чем писали русские гении, требует соотнесения с событиями сегодняшнего дня, с узкой проблематикой русского движения в Прибалтике, хотя бы! Что мне с того, что Солоневич писал когда-то, Константин Леонтьев или Ильин? Я собственным опытом все это поверил и собственный опыт предлагаю массовому читателю, нашему потенциальному стороннику, живущему *сегодня;* читателю, который должен знать, что он должен делать *завтра* в совершенно конкретных обстоятельствах абсолютно реальной политической ситуации. Мне некогда перечитывать все то, что перечитала ты. Завтра будет поздно, поздно было уже вчера. Мы всегда опаздываем, потому что слишком много в наших идеологах книжного знания и слишком мало живой практики. Никогда почему-то не сочетается у нас поэзия русской мысли с прозой русской политической действительности!

Не был, никогда не был Иванов человеком деятельным и энергичным, эдаким русским Штольцем. Он всегда мечтал в душе прожить жизнь Обло-мова, да только обстоятельства все время складывались так, что он никогда не мог отказаться от предложения, сделанного ему перед очередной судьбоносной развилкой.

Мог ли он отказаться от предложения Алексеева? Мог ли он не приехать на базу обреченного Рижского ОМОНа, когда Толик весело предложил ему — давай умрем вместе? Мог ли он не взять хоть какой-то реванш за перестройку уже в 2000-х годах, организуя в Латвии из «ничего» Русское движение за гражданские права, тогда, когда все уже давно успокоились и само слово «русский» давно было под негласным запретом?

Иванов в душе своей был Обломовым, но и отказаться не мог. А вот почему именно ему — человеку не лучшему, не талантливейшему, не храброму — жизнь постоянно делала такие предложения, от которых он никак не мог отказаться, — он не знал.

И какое отношение ко всему этому имели любимые с детства книги, тоже не знал. Просто чувствовал, что имели отношение, и все тут. А когда наконец прочитал Евангелие, вообще перестал придавать всем остальным книгам значения судьбоносные. Все было, все сказано. В том числе и то, что будет.

Пиши иль не пиши, на вкус ли пробуй
Заветные слова, ночной любовный вздор,
А жизнь себе идет проторенной дорогой,

Сметая по краям бумажный пыльный сор.
Но двадцать лет спустя, обрушив с антресолей
Бумаги желтой ворох рассыпной,
Проглотишь жадно без воды и соли
Прожитой жизни черствый хлеб ржаной.
И каждое горячечное слово,
Врастающее в лист скупой строкой,
Былой любовью оживит нас снова,
И смыслом жизни снизойдет покой.

«Ты достоин обрести покой», — наверняка, вспомнив Булгакова, написал ему в 2007 году старый приятель, оставшийся в Риге. Иванов удалил письмо и не стал отвечать бывшему коллеге по школе. Вместе с прочувствованными словами о том, как ему не хватает «друга», этот человек сообщил, что он натурализовался и принял латвийское гражданство. Илье Карпову всегда не хватало ума или сердца остановиться и не совершать каких-то необратимых поступков. В том самом 1989-м, когда Иванов ушел из школы, в которой они вместе работали, в Интерфронт, Илья наконец-то добился того, что его приняли в партию. Это казалось ему необходимым для карьерного роста — надоело мужику ходить в учителях истории. Но уже через полгода, поняв наконец, куда ветер дует, историк прилюдно сжег свой партбилет и перешел в другую школу, в которой новый директор — «демократ» и сторонник независимости Латвии, азербайджанец по национальности, да еще замешанный, по слухам, в прогремевшем на всю республику «педофильском» скандале, предложил ему должность завуча.

Тогда Валерий Алексеевич надолго прервал всякие отношения с бывшим товарищем, хотя сам и не был коммунистом — даже отказывался, когда предлагали вступать, мотивируя отказ своей безалаберностью и несоответствием высоким коммунистическим идеалам. Но со временем все забылось. Илья настойчиво пытался наладить приятельские отношения, и Иванов, уже подрастерявший юношеский максимализм, да и многих друзей тоже, снова стал иногда встречаться с бывшим коллегой. В свое время Карпов, потомственный новгородец, у которого в Великом Новгороде были многочисленная родня, связи, родители, преподававшие на кафедре марксизма-ленинизма, отчаянно попытался зацепиться в Риге, в которую попал случайно — на экскурсию. Он плюнул на легкую карьеру в родном городе и вместе с женой рванул в Латвию. Чтобы получить жилье устроился участковым милиционером, работал потом в колонии и

лишь в перестройку сбросил наконец ярмо переселенца, расстался с МВД и пришел в школу, вернувшись к обозначенной в дипломе новгородского «педа» профессии. Таких людей, которые сами, не по распределению, не по приказу рвались в Прибалтику, считая ее вожделенным раем, было очень немного. Подавляющее большинство русских оказывались там не по своей воле, а потому, что так «Родина велела». Или жили там целыми поколениями, еще с царских времен, как, например, лидер Интерфронта — Алексеев.

Когда Ивановы переехали наконец в Россию, Карпов стал писать Валерию Алексеевичу письма чуть не каждый день. Иванов скрепя сердце сначала вежливо отвечал короткими, ничего не значащими фразами. А потом и вовсе прекратил ненужную переписку. Слишком много двойственного было в Карпове. Иванов немало мог бы ему простить и за многое, признаться, был и обязан — Илья был человеком достаточно теплым в общении и верным товарищем в *личной* жизни.

К тому же никто не обязан быть героем, и если для сохранения работы и спокойствия семьи Карпов был вынужден принять латвийское гражданство, то и флаг ему в руки.

Но писать Иванову о «молодой демократической республике» и обещать «похоронить коммуняк, исковеркавших Латвию» — этого не надо было делать. Тем более что совсем недавно скончались родители Ильи — остепененные в советское время по кафедре марксистско-ленинской философии. Иванову по барабану были все эти-измы, но в собственных-то родителей Карпову зачем было плевать?! Отношения закончились окончательно, но слова про «покой» Иванов запомнил. И надеялся, что Господь услышал слова бывшего приятеля об Иванове и сам продолжал за Илью молиться.

Но в 1989 году Иванов еще только начинал работу в Интерфронте. Движение крепло, его ячейки, районные, городские советы были на каждом русском предприятии, в каждой русской организации. А что было латышским в Латвийской ССР? Сельское хозяйство, щедро дотируемое из союзного бюджета, формируемого в основном за счет России. Высшая школа, за исключением Рижского института инженеров гражданской авиации, имевшего союзный статус, да нескольких военных училищ. Ну да, Академия наук, творческие союзы, сфера обслуживания. И, конечно, СМИ. Русские писатели, художники, музыканты, журналисты и даже юмористы, если им выпадала судьба родиться или жить в Риге, при первой возможности уезжали в Россию. Ни в советское время, ни после развала Советского Союза ни одна творческая личность «некоренной»

национальности не могла реализовать себя в Прибалтике.

Был, правда, один сомнительный путь — ассимилироваться до такой степени, чтобы навсегда вытравить остатки русского мышления и самосознания. Тогда, может быть, тебе могли бы позволить занять некую нишу, при условии, что ты будешь готов по первому зову публично и громко заявлять, что русская культура ничто по сравнению с великой латышской, эстонской, туркменской и далее по списку.

Из таких подонков окололитературного общества формировалось, к примеру, Латвийское общество русской культуры (ЛОРК), всегда готовое поддержать Народный фронт, а потом и латышское правительство во всех его начинаниях, в том числе и самых русофобских. «Русские по вызову», как правило, оказывались на поверку либо евреями, либо из непонятно как смешанных семей, а если даже и числились русскими по крови и паспорту, то только теми, кто еще в советское время по собственной воле бежал из забытой Богом русской провинции на вожделенный «советский запад» — в Прибалтику и первым делом старался выслужиться перед титульной нацией за свое «русское прошлое». Таких на самом деле были единицы, количественно — процент, от силы, от всего русского населения. Но именно они допускались и допускаются латышами в прессу, именно они вещают от имени всех русских, распространяя миф о том, что «русские плечом к плечу стояли вместе с латышами на баррикадах и поддержали независимость». Они представляют сегодня «политическую оппозицию» в сейме, они владеют русскоязычными СМИ, они были опорой Ельцина и сейчас еще продолжают быть опорой наполовину «козыревского» (до сих пор!) российского МИДа.

Как часто встречаются в нынешней российской политике имена, памятные еще по смутным годам перестройки! Эти люди быстро забыли, как они предавали, как они разрушали Россию и русский народ. Сегодня они снова на плаву, сегодня они «патриоты великой России». Почти державники. И непременно «сторонники» президента Путина и члены партии «Единая Россия». Нонсенс? Отнюдь, увы. Так было, есть и будет. И не только в России. Тех, кто не меняет своих убеждений как перчатки, тех, кто держит слово, помнит о единожды данной присяге, — тех выбивают первыми. И потом, как правило, некому рассказать людям о прошлом сегодняшних прокуроров и судей. Да и нужно ли это людям-то? Россия, едва отъевшись немного после очередного революционного «кровопускания», тут же забыла обо всем. А многого, к счастью, так и не узнала.

Переехав в Россию окончательно в 2005 году, Ивановы порой

хохотали горько над своими российскими друзьями и знакомыми, по полчаса сливающими горячую воду, «чтобы прочистить трубы» перед тем, как принять ванну, но мечтающими о счетчиках. Болтающими по нескольку часов по телефону ни о чем и отказывающимися от безлимитного тарифа. Ругающими «буржуинскую» Россию и не верящими, что в той же «демократической и европейской» Прибалтике, начиная уже с 93-го года, тысячи семей были выброшены на улицу вместе с детьми на мороз, без предоставления жилья — в никуда, в бомжи, на смерть.

Очень скоро и Валерий Алексеевич, и Катя поняли, что бессмысленно объяснять россиянам что-либо про реальный капитализм и реальный Запад. Они оба пожили не только в Латвии. Приходилось работать в различных европейских странах, путешествовать и просто жить — не туристом, а платящим за все и выполняющим все законы, да еще чужим для всех человеком. Но тем, кто знает эту жизнь, тем объяснять не надо — ни про плюсы, ни про минусы. А тем, кто не пробовал, — объяснять бесполезно. Ивановы рады были, что вырвались в Россию, и этого было им достаточно. Они быстро усвоили — никому не хочется знать, что вожделенная мечта о рае земном не воплощена нигде — ни во Франции, ни в Германии, ни в Австралии с Америкой. Зато хорошо знали от таких же, как они, русских из Туркмении и Казахстана, не говоря уже о всеми забытых русских Чечни, что «может быть гораздо хуже, чем в Латвии». Предупреждать? Кого? Объяснять? Кому? Кого и что могло научить? Умные и так умные. Дураки — останутся дураками. А прочих так много, что хоть всю жизнь посвяти просвещению и яростной публицистике — только лоб расшибешь. А своя жизнь пройдет мимо, и так почти прошла. И потому так много слышно недовольных Россией переселенцев и так мало видно довольных. Потому что недовольные единицы орут во все горло в Интернете и плачутся в газетах. А довольные, которых миллионы, — счастливы и молчат, суеверно пытаясь не сглазить долгожданный покой.

К концу 89-го года двадцатидевятилетний Иванов стал самым молодым членом Президиума Республиканского совета Интерфронта и председателем Комиссии по пропаганде и агитации. Он не любил излишней публичности, тихо работал в кабинете, готовил выступления, писал листовки и воззвания, сочинял лозунги и готовил методическую литературу. В его обязанности также входило курировать интерфронтовские СМИ, проводить пресс-конференции, ежедневно принимать на себя многочисленных журналистов, желающих взять интервью у лидеров движения.

Особой статьей было поддержание связей с интердвижениями соседних республик и совместное проведение пропагандистской работы в союзных СМИ. Он часто выезжал в командировки по крупнейшим городам России, встречался с трудовыми коллективами, рассказывал о политической ситуации в Прибалтике, о тех неутешительных выводах, которые можно было сделать по итогам «демократизации в передовых республиках». Ленинградское телевидение стало для Интерфронта крупнейшим информационным каналом, по которому еще можно было высказать точку зрения русских в национальных республиках, и поддержание работоспособности этого канала и постоянное обеспечение его свежими материалами были тоже заботой Иванова.

Еще одним, и важнейшим, делом было поддержание связей, обмен информацией и координация действий с Рижским ОМОНом, который необходимо было подтолкнуть к принятию нужного решения — на чью сторону встать и олицетворением *чьей* вооруженной силы *быть* отряду. Понятно, что тут и без Иванова хватало желающих, да еще и с куда более весомыми полномочиями. Но упускать возможность *подправить* со своей стороны вектор деятельности ОМОНа, направляемый куда более могущественными силами, и потерять так давно и удачно сложившиеся контакты — нельзя. Эта сторона деятельности была щекотливой, никто из руководства на нее никаких распоряжений не давал, ни устных, ни письменных, но и не мешал. В то же время офицеры отряда, с которыми постоянно поддерживал формальные и неформальные связи Иванов, нуждались в информации о деятельности Интерфронта, как одного из ключевых игроков в дальнейшем развитии политической ситуации в республике. Никто никому не сдавал лишней информации, но сотрудничество было обоюдовыгодным. Тем более что очень скоро ситуация обострилась, все пошло вразнос, и неформальные связи и влияние стали иметь куда больший вес, чем рушащаяся административно-командная система.

Иногда, например, тому же ОМОНу выгоднее было попросить о чем-то армию не напрямую, а через Иванова, который, в свою очередь, решая свои вопросы в отделе спецпропаганды Политуправления округа, безлично обговаривал желательность решения тех или иных вопросов в помощь «общим товарищам». И наоборот. В Старой Риге, напротив знаменитых «Трех братьев», в маленьком средневековом особнячке, проходили встречи с политотделом специальных частей округа, там тоже можно было связать кое-какие концы с концами. Все играли в свои игры, никто никому не доверял до конца, а потому сама возможность

контакта между различными ведомствами и общественными организациями, в том числе, приобретала особое значение.

Горизонтальные связи были зачастую единственным способом хоть как-то координировать действия, способные притормозить окончательную дезинтеграцию страны, и выиграть время на местах в надежде на то, что ситуация в Центре все-таки созреет и кардинально изменится.

В 89-м году понимание этого еще только назревало, но такие вещи и такие контакты не выстраиваются за недели и даже месяцы, и те, кто не собирался сидеть сложа руки, глядя, как разваливается страна, заранее старались приобрести союзников на ключевых позициях.

Одним словом, синекурой работа освобожденного члена Президиума Интерфронта вовсе не была. Каждый из штатных сотрудников движения, насчитывавшего по самым скромным оценкам не менее полумиллиона сторонников и активных членов, занимался своим участком работы, каждый делал все, что мог и на что был способен. В конце концов — все они были простыми людьми, никто из них курсов по кризисному менеджменту не кончал и учиться приходилось на ходу, в том числе у противника, на стороне которого было все — и административный ресурс, и опытные советники по экспорту управляемых революций. И Москва, и Вашингтон, и руководство КПСС, и вся мощь США и Западной Европы — весь мир без преувеличения был против полутора десятков штатных сотрудников Интерфронта и таких же, как они, миллионов обычных рабочих и учителей, военнослужащих младшего и среднего звена, директоров заводов и простых инженеров во всех национальных республиках. Русский народ — и против него советская элита: партийное руководство и СМИ, армейский и милицейский генералитет, правительство и покрываемые им же теневики, поднявшиеся на сухом законе и искусственно созданном дефиците, на «кооперативном» движении и «новом мышлении», покрывающем все грехи. Русский народ и против него, вместе с собственной, точнее, *вненациональной* советской элитой — весь западный мир.

А главное, главное, главное… Против двадцати пяти миллионов русских, отправленных в служебные командировки на свои окраины и без того обескровленной после Отечественной войны Россией, встали москвичи и ярославцы, питерцы и горьковчане — такие же русские, только живущие *в пределах* РФ. Кто сказал, что не было гражданской войны в перестройку?!! Гражданская война — *была!* Потому что русские России в перестройку самым прямым и непосредственным образом были задействованы на стороне эстонцев и грузин, азербайджанцев и

латышей, бан-деровской Украины и мусульманского Северного Кавказа *против* русских, пытавшихся отстоять свою жизнь, человеческое достоинство и свободу в национальных республиках СССР. Разве это противостояние, в результате которого русские России, пусть и под чужим руководством, *сдали* на прямое физическое уничтожение, на открытый геноцид 25 миллионов русских, оказавшихся за пределами Российской Федерации, — это разве не гражданская война?!..

Я, Тимофей Круглов, автор этих записей, но не этой жизни, просто передаю, как можно суше и политкорректней, все те слова, что обрушивал на меня сосед мой новый — Валерий Алексеевич, рассказывая о том, что до сих пор гложет его и миллионы таких же, как он, даже после возвращения в Россию. Когда, казалось бы, надо молчать и радоваться. Радоваться тому, что «дарагие рассияне» не испытали того, что испытали русские, брошенные братьями своими буквально за «чупа-чупс» и возможность смотреть порно по видику. Я отводил глаза и смотрел в потолок кабинета в доме Ивановых, отделанного, как и все стены, деревом. Там было что рассматривать — узоры вокруг сучков, причудливые извивы линий живого дерева захватывают так же, как и огонь в камине, как вода в лесном ручье, стремительно обегающая поросший мохом камень на ее пути. Я молчал. Чем я-то виноват? Тем, что всю свою жизнь прожил в Ленинграде? Тем, что спокойно дослужился до пенсии? Тем, что не голодал и никто не присылал мне повесток на выселение из кооперативной квартиры на улице Кораблестроителей? Тем, что у меня многочисленная родня и мы все помогали друг другу выжить? Тем, что не воевал, не сдавал экзамены по государственному языку? Так таких, слава богу, большинство в России. Да и пострадали у нас тоже многие, в том числе и те, кто отчаянно поддерживал Ельцина вчера, напрочь забыв об этом сегодня. Чем я виноват и какое мне дело до всех этих русских в Прибалтике или Средней Азии? Да у нас, в России, две чеченских войны были!..

Я молчал, курил себе сигарету. Но почему-то запомнил все, что буквально выкричал из себя обычно сдержанный Валерий Алексеевич. Теперь вот записываю, не спеша, опуская «брызги и слюни».

Он так сказал, рассказывая мне о своей жизни, и я врать не буду. Пусть говорит.

Глава 12

Январь 1991. После эфира вся команда привычно перешла в соседнее с телецентром здание гостиницы «Дружба». Бармен Саша, не спрашивая, наливал всем по дежурной порции, подрезал бутерброды, чтоб водочка не задерживалась, проходила мягче.

Иванов вместе со всеми поднял стакан с водкой, взял в руку треугольный бутербродик с красной икрой — единственной закуской в этом баре на первом этаже интуристовской «Дружбы». На самом телецентре не наливали нигде. Кофе на студии был отменный, особенно после Риги. Можно было курить, сидеть часами, при желании и наличии времени. Съесть горячего, влить в себя тонну «двойных» — больших и маленьких, курить до головокружения. но ничего спиртного на телецентре не продавали. А пили здесь между тем много. Даже Валерий Алексеевич, по молодости еще не пропускавший возможности хорошо выпить и еще лучше закусить, долго отходил в Риге после очередной командировки в Питер. «Работаю печенью», — часто повторял он глупую шутку, когда вспоминал возлияния, начинавшиеся буквально с момента прибытия в город на Неве.

Варшавский вокзал тогда еще работал. И прямо с поезда Иванов нырял в такси или, если было настроение, шел на «Фрунзенскую», чтобы без пересадок доехать до «Петроградской». Там — пешочком по проспекту. Рига отступала, начинался любимый город — со своим запахом, своими приметами, своим небом. Город делают люди, в нем живущие. И потому душу грела встреча с коллегами, давно уже ставшими друзьями, причем такими, каких и дома-то не было. Ну, разве что за исключением омоновца Толяна и бывших сокурсников по универу.

В общем, друзей в Риге, настоящих, было мало. А здесь, в Питере, как-то очень быстро образовался тесный круг — костяк редакции информации, в которой Иванова приняли как своего. Хотя Валерий Алексеевич и был моложе большинства новых товарищей лет на десять, он все же занимал в Латвии вполне весомый, исходя из реалий перестройки, пост и был интересен телевизионщикам как источник редкой и важной политической информации. С другой стороны, человек он был однозначно «свой» — по взглядам на жизнь, мужской мир, профессию и ту же самую «перестройку». А потому его опекали, тем более что в Питере он был все же как бы «гостем». Да и интерес к нему проявляли разные организации, с которыми привычно контактировала редакция. А значит, поднимался ее (редакции) вес в этих немаловажных контактах. Ну и в конце концов, все они

с легким в общении Ивановым просто сдружились.

Рижанина быстро проверили на человеческую и профессиональную «вшивость», поняли, что Иванов хоть и новичок на телевидении, но схватывает все на лету, а в своей основной — идеологической — работе он уже и вовсе не мальчик и ждет его большое будущее. Знали бы прикуп, добавляли бы: если путч не остановит.

Благодаря новым друзьям Иванову удавалось решать вопросы практически невозможные — сидя в Риге, по телефону договариваться о гарантированном сюжете о Латвии в новостных выпусках ЛенТВ на завтра. Или вызывать в Ригу съемочную группу на свои мероприятия, а отснятые собственным видеоцентром Интерфронта документальные материалы монтировать непосредственно в Питере и тут же выдавать в эфир.

Конечно, и командировки ленинградцев в Ригу приходилось обеспечивать соответственно — с русским, а не с латышским гостеприимством. И водки выпить не одно ведро. Но уже само по себе регулярное появление в эфире второго в Союзе по популярности телеканала сюжетов, работающих на Интерфронт Латвии, было фактически чудом в условиях информационной блокады. Валерий Алексеевич знал (а чего не знал, о том догадывался), что пробивать его материалы в эфир мужикам не просто. Ведь в том же Останкино, например, давно уже засели «демократы» и рубили все, что не работало на перестройку, а значит, на развал Союза.

Кто-то из питерского начальства старательно страховался, поддерживал баланс информации на случай непредсказуемого будущего. И наверняка этим «кем-то» было вовсе не руководство канала, на котором хватало своей демшизы с «пятым колесом». Но куда не надо Иванов не лез, лишних вопросов не задавал, чем только укреплял доверие к себе на студии и теплые отношения с питерскими тяжеловесами эфира. Дурачка не строил, но, когда к общей, уже весьма «теплой» компании где-нибудь в Домжуре на Невском подсаживался некий знакомец из КГБ, очередной «просто Олег Иванович» и старался завязать неформальные отношения, Иванов резко пьянел, начинал нести бессвязную ерунду про девочек, снимавшихся за соседним столиком, и в результате от него отстали, поняв, что никаких внеслужебных контактов с органами Валерий Алексеевич поддерживать не хочет. Да это и можно было понять, ведь по всей стране нельзя уже было разобраться — кто свой, а кто чужой.

К тому же Иванов старался разделять свои многочисленные служебные ипостаси, и, когда приезжал в Питер с рижскими коллегами по Движению, например, для выступлений в рабочих

коллективах крупнейших ленинградских предприятий или на партактивах, куда тоже частенько приглашали выступить с докладом о ходе перестройки в Прибалтике, он вел себя как обычный функционер непартийной организации. Не развязывал галстука, говорил правильные слова, на многочисленных пресс-конференциях тщательно обдумывал каждое слово. Другое дело — телевидение. Сюда, к друзьям и коллегам, можно было привезти документальную бомбу, взорвать ее в эфире, спрятаться в титрах за псевдонимом или просто отдать всю информацию редакции с просьбой не указывать авторство. Дома, в Риге, зачастую никто, кроме шефа — Алексеева лично, и не догадывался, откуда берутся эти материалы про Интерфронт и его оппонентов в союзном информационном обороте. Идеологический отдел ЦК КПЛ замкнулся на себе, инструкторов ЦК нельзя было встретить нигде за пределами Латвии, и, пользуясь этим, беспартийный Иванов продвигал политику Интерфронта, весьма и весьма несовпадающую с мнением московского Центра, буквально по всей стране, часто путешествуя по ней в одиночку — от Петрозаводска до Владивостока. Лидер движения Алексеев ценил это, берег своего молодого протеже от пристального и ревностного внимания рижских партийных чиновников, и потому многие известные и в движении, и в ЦК люди не могли понять, почему этот, самый молодой член Президиума Интерфронта пользуется таким доверием своего руководства.

Нельзя сказать, что, сворачивая с Кировского проспекта на маленькую улочку имени писателя Чапыгина, Иванов не испытывал каждый раз радостного предвкушения. Рижский поезд приходил около девяти часов утра, на Чапыгина Валерий Алексеевич добирался обычно как раз к половине одиннадцатого, когда заканчивалась уже утренняя планерка и телевизионный народ собирался на первый завтрак в соседнем здании интуристовской гостиницы, где, в отличие от самой студии, в нескольких барах, кафе и ресторане *наливали* всегда.

Поэтому прямо с поезда, не заходя на студию, Иванов сразу шел в гостиницу, знаменитую огромным барельефом с разноцветными девушками, символизирующими дружбу разных рас и народов. У одной из этих девиц на босой ноге было шесть пальцев. Вот только не вспомнить уже, у какой девушки — белой или черной. Пройдя в конец узкого и довольно мрачного коридора первого этажа, Иванов утыкался в дверь со скромной вывеской «Бар» и еще более скромной и лаконичной табличкой «Закрыто». Но за дверью слышался громкий смех давно осевшего в Питере армянина Хачика Давидова в ответ на торопливый

говорок бульбаша Тышкевича, а табличка подтверждала именно то, что и надо было, — получасовой перерыв для избранных.

Иванов уже давно относился к таковым и сейчас смело толкнул невзрачную дверцу, встреченный одобрительным гулом собравшейся здесь тесной компании.

— Рота, смирно! Для встречи справа на кра-ул! — громко скомандовал Хачик, подавая пример, и, разливая водку, отсалютовал до краев почти полным стаканом. Высокий, худой, горбоносый, с иссиня-черной копной прямых волос, в неизменном щегольском костюме, Давидов был нервически весел, готовясь наконец опохмелиться, чего не рискнул, очевидно, сделать до планерки с руководством канала.

— С приездом! — Толя Тышкевич — чистый «песняр» по виду — только в свитере и джинсах, протянул Иванову свой стакан и потребовал у бармена Саши еще один, теперь уже для себя.

— Член нового правительства Советской Латвии Валерий Алексеевич Иванов прибыл сегодня с рабочим визитом в бар гостиницы «Дружба»… высокого гостя встречали трудящиеся идеологического фронта колыбели трех революций и заведующий баром номер два Александр Шабанов лично. — репортерской скороговоркой пробормотал «закадровый» текст Леша Украинцев — маленький, испитой, с горящими теплом огромными карими глазами — и чуть покачнулся.

— Здравствуйте, Валерий Алексеевич! — протянул из-за стойки руку и бутерброд Саша-бармен.

— Героическому Петрограду ура! — Валерий Алексеевич с ходу махнул стакан водки и накинулся на бутерброды.

Это был первый, рабочий, завтрак. Быстро обсудив новости — возможности и сроки размещения привезенного материала об очередных подрывах офицерских домов в Риге, все потянулись на выход. Перед входом в телецентр, на широкой «паперти», Иванов замялся, ища взглядом урну, чтобы выкинуть недокуренную сигарету. Как всегда, ничего не нашел и швырнул окурок перед дверью, что все остальные делали автоматически. В каждый приезд нужно было проходить своеобразную психологическую акклиматизацию. К вечеру окурки уже будут лететь прямо под ноги, потому что искать в Питере урну было тогда бессмысленно. Все просочились через вертушку, только Валерий Алексеевич остался в бюро пропусков, ждать, пока ему спустят сверху бумажку.

Дождавшись пропуска и сунув его охране, он резво побежал к лифту и поднялся на четвертый этаж. Длинные казенные коридоры студии вовсе не производили впечатление храма телевизионного творчества. Впрочем, побывавший на многих

телестудиях страны, включая Останкино, Иванов давно уже знал, что все «чудеса» скрываются за скучными дверями с надписью «АСБ», «АМВ», «ПАВИЛЬОН» или им подобными. Но главное здесь — это обычные кабинеты с такими же обычными людьми, волей случая или собственной в воплощении мечты настойчивостью получившими возможность делать самый престижный тогда в стране продукт — телевидение. Успев поздороваться в коридоре с десятком знакомых и полузнакомых людей, Валерий Алексеевич без стука вломился в кабинет с надписью «Главный режиссер ГРИиП». Хачик уже разговаривал по двум телефонам сразу и потому просто кивнул на стул и подвинул пепельницу, полную белых хвостиков «Беломора».

— Да, Сева, он как раз у меня сидит, сейчас спрошу. — Прижав трубку к груди, Хачик быстро спросил: Гостиницей в Риге обеспечишь?

— Сколько человек? На сколько суток?

— Четверо. На неделю. И машину. Твою заявку приняли — я сам поеду, Лешку с Толиком возьмем и оператора… Короче, как с «Рижской весной» — тот же состав.

— Все будет, о чем ты спрашиваешь? — возликовал Иванов, вытягивая «беломорину» из открытой пачки, лежащей на девственно-чистом — одни телефоны — столе Давидова.

— Да, все будет обеспечено, он сам будет курировать съемки… Да, интервью с руководством Интерфронта, НФЛ, Гражданскими комитетами, лично с Рубиксом. Ивансом, Горбуновым, с эсэсовцами бывшими, в Рижском ОМОНе, конечно. — Хачик вопросительно глянул на Иванова — тот кивнул подтверждающе. — «Ложные маяки перестройки» — рабочее название. Да ничего, не слишком! Три части пустим подряд, циклом. Хорошо!

Хачик бросил трубку, недоуменно поднял вторую, лежащую на столе.

— Светочка, прости засранца, в командировку собираюсь, в Ригу, надо было детали обсудить… Ну, сегодня и с тобой все обсудим. В Домжуре… Не, сначала поужинаем в ВТО, потом пить в Домжур пойдем. Заодно проводы в командировку отметим, все ж почти горячая точка. Задумайся, Светик, я ж могу и не вернуться. А у нас еще ничего с тобой толком и не было!.. Да я не хамлю, я люблю, понимаешь? Да не кипи ты, солнце мое, раньше, чем через неделю не выедем! — Хачик засмеялся и разъединился. — Ну что, все понял уже? Тогда пойдем за мужиками и обедать, ты с дороги все-таки. Там все детали и обсудим.

— Погоди, Хачик, поставь сувениры куда-нибудь — тебе

конфеты, жене бальзам, все как обычно. — Иванов ловко поймал на лету коробок спичек, брошенный в него Хачиком, и пошел к выходу. Режиссер нагнал его в коридоре, обнял за плечи и загудел что-то в ухо, подшмыгивая длинным армянским носом.

Утром Иванов долго искал стакан с водой, припасенный с ночи, но, когда нашел, только вяло чертыхнулся — стакан оказался пустым. Пришлось вставать, идти в ванную, полоскать рот противной водопроводной жидкостью с хлоркой. Ни пива, ни минералки, конечно, не осталось. Соседа по номеру, слава богу, уже не было, съехал, наверное.

Валерий Алексеевич вспомнил, как вчера ворвался в номер за полночь, не подумав даже о том, что к нему могли подселить кого-то; обычно в «Дружбе» такого не практиковали с постоянными гостями, с теми, кто по «телевизионной» квоте, тем более. Как назло, в ванной перегорела лампочка, пришлось на ощупь открывать краны, чтобы умыться и хоть немного прийти в себя. Идея принять душ показалась на нетрезвую голову вполне здравой, и, несмотря на кромешную тьму в ванной и на то, что соседнюю койку двухместного номера занимал какой-то мирно спящий мужик, Иванов разделся и полез в ванну на ощупь. Раздавшийся вслед за этим дикий мат-перемат перебудил не только соседа, но, наверное, и весь этаж. В ванне оказались замочены десятки огромных роскошных роз. Он понял это уже позже, после того как выскочил из ванны с исколотыми ногами и начал шарить в ней осторожно рукой. Прибежавший на крик сосед сначала просто недоуменно моргал восточными черными глазами, потом долго хохотал, потом стали знакомиться и пить коньяк за удачный концерт, данный вчера в Большом зале Ленинградской филармонии армянским пианистом. Розы, подаренные многочисленными поклонниками, маэстро положил с вечера в ванну, наполнив ее холодной водой, чтобы не пропали цветы до того, как он передарит их какой-нибудь своей пассии. К счастью, ни Иванов, ни розы не пострадали критически, и инцидент был, как сказал поэт, «исперчен». И запит бутылкой армянского коньяка, приятно улегшегося поверх литра водки, выпитой в гостиничном ресторане с группой товарищей после вечернего прямого эфира.

Теперь приятно проведенная ночь отозвалась диким сушняком и дрожью во всем натруженном теле. Делать нечего, надо было начинать день. Иванов, как мог тщательно, попытался привести себя в порядок и спустился на первый этаж. Там, в баре у Шабанова, уже сидел и скучал Вадик Медведев — пухлый, огромный, интеллигентный даже с дикого бодуна.

— О, Латвия пожаловала! — потянулся он приветственно

стаканом пива в сторону Валерия Алексеевича.

— Здравствуй, Вадим. — Иванов сунул горячую сухую ладонь в мягкую лапу Медведева и уселся рядом. — Где же эскадрон коней педальных? — Он отпил выдохшегося кислого пива и посмотрел на стакан с отвращением.

— Леха наверняка в ауте на пару дней после вчерашнего, Хачик с Толей на съемке, я умираю, — лаконично подвел баланс прошедших суток Вадим. — Вот что, коллега, при всем моем уважении к Саше пить это пойло я больше не в состоянии.

— Я тебя предупреждал, Вадик, — откликнулся невозмутимо из-за стойки бармен. — Это пиво я из загашника вытащил — для пьяных «фиников» оставлял, не для людей. Вчера же все вылакали! Ты забыл, какие танцы вчера показательные устраивал со своей блондинкой?

— Какой блондинкой, Саша? — недоверчиво протянул Медведев. — Не помню никакой блондинки.

Иванов хмыкнул, припомнив, как огромный, по-медвежьи грациозный Вадим кружил вокруг себя яркую девочку в мини-юбке — девочку с огромным бюстом и не менее огромным желанием прикоснуться к живому ведущему «600 секунд». О рейтингах тогда никто толком не слыхивал, но популярность «Секунд» в Питере, да и по всей стране была просто фантастической. Девочка была из провинциальной тургруппы, и ее можно было понять, но чем кончилось дело — не помнили ни Иванов, ни сам Медведев, а бармен предпочитал никогда не напоминать своим постоянным клиентам о возникавших периодически в его заведении щекотливых ситуациях.

С Медведевым было легко и просто, несмотря на некоторые невинные капризы, которые не шли просто ни в какое сравнение с сумасбродностью главной звезды их программы — Невзорова. (Режиссер-создатель «Секунд» Кирилл Шишкин, как-то заехавший с Толей Тышкевичем поглядеть на вырицкое жилье Иванова, спустя прошедшие шестнадцать лет даже комментировать не захотел свою самую звездную программу, поскольку одно лишь перечисление списка напарников по эфиру, не сошедшихся характером с Александром Глебычем, вызывало у него идиосинкразию.) А вот Медведев как-то умел сохранять приятельские отношения со всеми. И потому через полчаса они с Ивановым выходили из пойманной мгновенно на Кировском проспекте «тачки» уже у знаменитого пивбара на Владимирском. Директор питейного заведения был одним из поклонников программы и неудивительно, что через пять минут Вадим со своим рижским гостем перекочевали из общего зала в кабинет директора, и тот самолично отослал одного из своих людей

прямо на пивзавод — за свежим «Адмиралтейским».

В кабинете было темно и уютно, пиво — холодное и крепкое, в углу светился синеньким «новостным» фоном маленький телевизор. Увлеченные обсуждением сравнительных достоинств вверенного хозяину пивбара и недавно открытого «Русского клуба», в котором пару дней назад приходили в чувство в такой же ситуации телевизионные гости, они не замечали того, что на экране репортаж о неминуемой войне в Ираке сменился вдруг совсем другим сюжетом — советскими танками на фоне толпы, окружившей Вильнюсскую телебашню.

— Ледяное шампанское, конечно, нельзя назвать классическим запи-воном для огнедышащей солянки из русской печи, но мы с Валерой только после этого коктейля почувствовали себя живыми, — благодушно посмеивался Вадик, откинувшись на спинку потертого кресла, выпятив круглое приятное брюшко из объятий разошедшейся джинсовой курточки.

— Ну-ка потише, мужики, — перебил вдруг хозяин. — Тут про Прибалтику говорят, вроде танки на улицах у вас, в Литве, — повернулся он к хотевшему что-то ответить Вадику, но осекшемуся враз Иванову.

— Латвия у нас, а не Литва, — пробурчал Валерий Алексеевич, трезвея и внимательно глядя на экран.

— Сделай-ка погромче, Васильич, — посерьезнел и Медведев. Баррикады в Вильнюсе, захват войсками телебашни, взятие под охрану армии ряда других важных объектов государственного значения. Выстрелы, крики, первые трупы, (как потом доподлинно узнал Иванов) вытащенные из моргов и уже мертвыми подсунутые под гусеницы танков, тяжело ворочавшихся в заведенной провокаторами толпе. Первые «застреленные солдатами» «патриоты» Литвы, на которых, как показала потом судмедэкспертиза, не было ни одного пулевого ранения. И первый погибший русский офицер — лейтенант спецназа КГБ Шацких, убитый выстрелами в спину из «безоружной» толпы у телецентра.

Миткова делала страшное лицо на крупном плане, кривила ярко накрашенные губы. Все играли свою игру. И «саюдисты», выполняющие в точности и любой ценой планы своих западных хозяев, и московские марионетки, и агенты влияния, подогревающие неистовство по всей стране, и сумасшедший, потерявший остатки здравого смысла народ, подзуживаемый саморазрушительным садомазохизмом космополитической российской интеллигенции. Не играли только последние солдаты империи, по правде, а не понарошку идущие на штурм, по правде не стреляющие в озверевшую толпу, готовую растерзать и терзавшую беззащитных перед приказом «не стрелять!» солдат.

Это уже было в Алма-Ате, Сумгаите, Фергане, Тбилиси, Баку. К Валерию Алексеевичу часто приходили беженцы с Юга, приехавшие к русским родственникам в Ригу, рассказывали леденящую душу правду о погромах, убийствах, зверствах, изнасилованиях, о всеобщем предательстве высшим руководством страны своего народа. Что-то он печатал в «Единстве», что-то удавалось показать по телевидению в том же Питере. Саша Васильев, директор интерфронтовской студии, сам ездил в Сумгаит и привез оттуда фильм, который нельзя было показать нигде… При всех своих недостатках и ангажированности партийной демократической верхушкой, Васильев все равно оставался профессиональным журналистом и режиссером. Вот только служил он совсем в другой команде, хотя и работал формально в Интерфронте, и Иванов, как его непосредственный руководитель, не мог этого не учитывать, как не мог и доверять полностью. Но все же тогда еще оставались какие-то общие понятия, ценности, которые позволяли совместно делать дело хотя бы там, где общие оппоненты становились просто подонками и врагами не идеи даже, а всего человеческого. Потом, скоро уже, все смешалось. И вычислить своих, не зараженных всеобщим безумием, не потерявших осознание стратегического пути и высших ценностей, становилось неимоверно трудно.

Против человеческого в народе, тогда еще советском народе, играли все. И московский Центр, и ведущий его твердою рукою Запад, и местные националистические князьки, плевавшие на самом деле на взрастившие их нации, но рвущиеся к власти, чтобы поскорее занять места у дележа богато одетого, но смертельно больного государства. И если еще оставался кто-то, изредка заставлявший умирающего хотя бы приоткрыть глаза, хотя бы двинуть рукой, чтобы туча стервятников встревоженно взмыла над Союзом, то этой последней стражи оставалось все меньше. И выбивали своих солдат свои же военачальники. Чем выше рангом — тем больше предательства.

А те, кто посильнее, мудрее, настойчивее, те заранее готовились к выживанию для грядущего спасения истерзанной и уже обреченной на ограбление мародерами страны. Но и они вынуждены были таиться, не могли открыться друг другу. Все, что они делали, делали тайно, с дальним прицелом, не доверяя теперь никому. Ни потерявшему здравый смысл народу, ни растерявшимся или продавшимся сослуживцам, ни собственному начальству, в сладостном упоении пилившему сук, на котором оно сидит.

Присяга, которую дают единожды только, для большинства стала пустым звуком. Рыба начала гнить с головы — это

понимали все. И тут же, махнув в отчаянии рукой, сами пускались во все тяжкие, в погоне за последним, может быть, в этой земной жизни удовольствием — удовольствием любой ценой. А про Царство Небесное напомнить было просто некому. Почти некому.

Но солдаты, в отличие от большинства генералов, еще оставались солдатами. И выполняли приказ. Если кто-то еще отдавал приказы.

— Я могу позвонить от вас по межгороду? — коротко осведомился у директора пивбара Иванов, резко поднявшись с места.

— Звоните, — растерянно отозвался тот.

— Я уточню обстановку в Риге. — Уже набирая номер, Валерий Алексеевич повернулся к Медведеву. — Подумай пока, готов ли ты ехать в командировку, нужен ли вам материал и в каком ключе?

Дежурный в штаб-квартире Интерфронта на Смилшу отозвался немедленно:

— Старая Рига блокирована баррикадами, Валерий Алексеевич! Грузовики поперек улиц, а при них колхозники, латышские студенты, уголовники… Все организовано согласно приказу Совмина Латвии. Все крупные пронароднофронтовские организации обязаны выделять автотранспорт, людей, оплачивать им суточные, снабжать горячим питанием и спиртным. В первую очередь, конечно, исполнительная власть в латышских районах, Министерство сельского хозяйства и прочие национальные конторы. На улицах горят костры, поют песни. Появились уже плакаты со списками наших активистов и их домашними адресами, призывы к борьбе с «оккупантами» и «колонизаторами». На баррикадах есть оружие, сам видел, своими глазами, у штатских. У нас дежурят ребята из группы охраны, ожидаем попытки захвата здания. Милиция никак не реагирует, армия молчит. Верховный Совет и Совмин на стороне баррикадников, да они их, по сути, и организовали. ЦК КПЛ не мычит, ни телится… — Дежурный говорил как по бумажке, конечно, он уже не первый раз обрисовывал ситуацию, язык стер, бедняга, наверное.

— Собираются, правда, создавать Комитет общественного спасения из коммунистов, Интерфронта, забасткома… Но там много непонятного. Анатолий Георгиевич с Лопатиным сейчас на совещании, велел вам передать, что нужно срочно организовывать информацию из наших рук.

— Понял… в общих чертах. Одну минуту подождите у телефона. — Иванов прижал трубку к груди и спросил Вадима: — Ну что, надумал? Или тебе нужна команда Невзорова?

Вадик, уже стоявший рядом и ловивший каждое слово разговора с Ригой, задумчиво протянул:

— Я-то, конечно, не прочь, но с кем ехать? Оператора искать надо, командировки выписывать на технику.

— Говно вопрос! Детали решим по ходу, — отмахнулся Иванов и поднес трубку к уху.

— Дежурный? Передайте Анатолию Георгиевичу, что я выезжаю из Питера вечерним поездом со съемочной группой «600 секунд». Пусть в отделе приготовят оперативную справку о главных событиях для меня и оставят у секретаря. Машину, лучше Вареника. Денег пусть оставят — мне людей надо будет размещать. И сами срочно найдите Васильева — к прибытию поезда он должен быть на Смилшу, готовым к съемке. Все, удачи вам, Владислав Григорьевич! До связи!

Медведев сокрушенно откупорил еще одну бутылку «Адмирала», вылил ее в большую пивную кружку и побрел к телефону — звонить Шурику, потом жене, потом искать редактора — Лешу Украинцева.

Через полчаса все нашлись, все обсудили, осталось только попрощаться с гостеприимным «пивным» директором.

Такси подъехало прямо к бару. Таксист, узнав Медведева, радостно засуетился, стараясь по дороге высказать телевизионщикам все, что он думал о происходящем в стране в целом и в Питере в частности. Вадик, со свойственной ему добродушной барственностью, отсек все разговоры, но, чтобы не обидеть человека, протянул ему визитку НТК «600». Счастливый таксист примолк и вихрем помчал сначала на Чапыгина, забрать вещи Иванова из «Дружбы», потом к Медведеву на Дибуновскую. Вадик пропадал дома минут двадцать, зато вышел из дома с объемистым портфелем, полным вкусной закуси и парой бутылок хорошей водки. Украинцев должен был объявиться уже на Варшавском вокзале, перед поездом. Оператора решили не искать, положиться на Васильева в Риге — он снимет, а материал смонтируют уже в Питере.

Как всегда, проблема обнаружилась там, где ее никак не ждали. В кассе не было билетов, и даже звонок домой начальнику вокзала на этот раз не подействовал — вся его бронь была уже выбрана. Кассир посоветовала Медведеву найти местную милицию, последняя оставшаяся бронь была в их распоряжении. В отделении милиции на вокзале пришлось, конечно, сперва поговорить, рассказать о Невзорове и о творческих планах. Потом в ход пошли бутылка «Посольской» из объемистого портфеля Вадика и сало из милицейского сейфа. Едва успели к отходу поезда, правда, милицейский капитан сам сходил в кассу и

принес билеты на всех троих телевизионщиков. Лешу нашли дремлющим в зале ожидания. Погрузились. Поезд тронулся, мягко застучали колеса, снег сразу залепил вагонное окно.

Иванову снился высокий белый маяк с черными кольцами обводов посередине, чайки, качающиеся на прозрачных волнах с правой стороны мыса Сяэре, и лодка с пограничниками, забрасывающими невод неподалеку от старого пирса. Потом к нему подбежала Оля Черкесова — дочь капитан-лейтенанта с ПТН и потянула за руку — обедать. «Я картошки нажарила, мама будет ругаться, если я тебя не покормлю!» — смеялась она и тянула, тянула упирающегося Валерку к дому. Полная грудь девушки напряглась от усилия, и мальчишка все поглядывал на нее краем глаза, делая вид, что просто соревнуется — кто сильнее. Потом они оказались уже в Кингисеппе, в замке, в двухметровой глубине ниши стрельчатого окна, и сквозь разноцветные стеклышки витража, внизу, за деревьями на крепостном валу, за бастионами, поросшими камышами, распластался в море Журавлиный остров. Ольга почему-то уже была не Ольгой, а Иркой, и они целовались, а между ними стоял, мешаясь острыми углами ерзавшим коленкам, открытый сундучок с сокровищами.

От вокзала до Старой Риги — рукой подать. Прямо с высокого перрона открывался вид на острые шпили готических немецких соборов. Оглянешься в другую сторону — еще больше куполов православных храмов поднимаются над городом. Крутила под ногами мелкий снег поземка.

Январь выдался почти бесснежным в тот год, а тут вдруг прорвало на небе старый мешок с колючей крупою. Перешли Привокзальную площадь подземным переходом, вынырнули на свет божий у Городского канала, пробежали, ежась от ветра, мимо желтого здания городского УВД, отметив краем глаза автоматчиков у входа, пропустили 11-й трамвай, проскрежетавший в Межапарк («Домой!» — подумал про себя Иванов), перешли дорогу у гостиницы «Рига» и тут же, не останавливаясь, просквозили неторопливо сквозь узкий проход у первой же «баррикады». Вспомнилась детская книжка про Парижскую коммуну с репродукцией знаменитой картины Делакруа «Свобода, ведущая народ» на обложке. Та картинка была цветной и красочной. Здесь же все было в привычных грязновато-серых латышских тонах. Только болтался над бетонными блоками и парочкой замызганных КамАЗов, перекрывавших проход в Старушку, новенький огромный флаг — венозно-красный, с белой полосой посередине.

Несколько корявых плакатов, исполненных на ватмане, от

руки: «Трепещите, убийцы!», «Оккупанты всех стран, вас родина-мать зовет домой!», «Go home, soviet imperialists!)), «Имперские придурки! Латвия больше не будет ядерным, экономическим и экологическим заложником и придатком империи — вон из Латвии!». «Латвийское радио и телевидение — голос нашего сердца!» — этот текст был написан по-латышски, но Иванов тормознул товарищей и перевел им содержание лозунга. Так-то, товарищи советские пропагандисты!

За баррикадой, прямо на брусчатке валялись несколько бревен и дымился костерок. На бревнах сидели небритые мужики, еще не старая экзальтированная тантиня (тетушка) заботливо поила «героев сопротивления» горячим кофе из термоса.

Из ближайшего подъезда весело выбежала поддатая парочка, парень на ходу застегивал молнию джинсов и кричал, что надо искать другое место — этот подъезд уже весь засрали. Это Валерий Алексеевич и переводить не стал, песня понятна была без слов. Однако все магазины и учреждения исправно работали, никто баррикадников не шугал и даже не обращал на них внимания. Понятно, что растащить эти баррикады можно было за пять минут одним бэтээром, и танков не надо. Так же понятно было, что все прекрасно знали — никто не накажет. Все дозволено. История эта началась не сегодня, и продолжение еще следует.

Еще одна баррикада на Вальню. А на Смилшу целых две, так, что вход в штаб-квартиру Интерфронта оказался посередине, между ними. Плакаты и лозунги везде были примерно одного содержания. Разве что на некоторых можно было увидеть увеличенные фотографии Алесеева и Рубикса, вместе с домашними адресами. Около одного такого плаката как раз и стоял Анатолий Георгиевич — председатель Президиума Интерфронта — и внимательно разглядывал свое лицо в траурной рамке. Иванов подошел к нему и поздоровался.

— Ну, как портрет, Анатолий Георгиевич? Кстати, из «Единства» перепечатано, фоторепортаж о последнем митинге, Майданов, кажется, снимал. Надо бы наказать за нарушение авторских прав!

— С приездом, Валерий Алексеевич! — Алексеев застенчиво улыбнулся. — Какой-то я тут суровый, в самом деле. Ну что, знакомьте с гостями! Ага, Алексей Рэдич, я вас помню, очень рад, что вы здесь, — поздоровался он с Украинцевым.

— А это Вадим Медведев — «600 секунд». Самая популярная программа в Союзе, можно сказать!

— Рад, очень рад, вы все вовремя приехали! Валерий Алексеевич, я в ЦК, на заседание Комитета спасения. Вы уточните

тут свежую обстановку, разместите гостей, покормите. А потом мы встретимся и обсудим план действий. Кстати, будет возможность снять город с вертолета. Игорь Валентинович уже договорился с военными, полетите, Вадим?

— Конечно полетим, да и машину бы нам не помешало, надо уложиться за сегодня, чтобы завтра, по крайней мере, дать в эфир. Сегодня-то нам здесь латыши на телецентре ничего перегнать в Питер не дадут, я думаю.

— Это точно, — кивнул Иванов.

— Ну, разберемся по ходу, я буду к двенадцати часам, не исключено, что сегодня будет митинг. Там Саша уже ждет вас, кстати. Все, я пошел. — Алексеев неловко повернулся и двинулся к Бастионной горке, не обращая внимания на пристальные взгляды давно узнавших его «баррикадников».

— Он что, всегда так ходит — один, без сопровождения? — удивился Вадим.

— Всегда. Как и все мы, — усмехнулся Иванов. — Мы только на съемки берем кого-нибудь из дружинников — камера у нас одна и потерять ее жалко. Лопатин, тот, говорят, сразу два пистолета с собой таскает. Ну, полковнику простительно. А шеф наш человек тихий, интеллигентный. Его хрен чем испугаешь. Видел, как латыши на него смотрели? Но даже не тявкнули. Удивительный человек. Мог бы иметь все. Его род уже двести лет в Латвии живет. Латышским владеет прекрасно. До перестройки работал замначальника республиканского торга по капитальному строительству. А как началась эта бодяга, все бросил и ушел в Интерфронт. Никому спуску не дает. Ни Рубиксу, ни народнофронтовцам. Если бы он сам меня не попросил перейти к нему на работу, я бы еще подумал, стоит ли ввязываться в эту драчку. Ладно, видишь эту красоту с флагом Латвийской ССР наверху? Вот, окно за флагом — это мой кабинет. Леша-то здесь не в первый раз уже.

— Да, нехилый у вас домик! — присвистнул Медведев, разглядывая кариатид на фронтоне.

— Наши только верхние два этажа. Сперва вообще тут неподалеку в двух комнатах ютились. Рубикс подсуетился, еще когда был председателем горисполкома. А как стал первым секретарем, так отношения сразу испортились. Альфред вообще человек мутный. Как хозяина города его все хвалили. А вот сейчас. Короче, это только народ думает, что Интерфронт и партия едины. На самом деле Рубикс нам только мешает. А мы — ему. — Иванов перевел дух, поднимаясь по крутой лестнице на четверый этаж. Здесь лестницу перегородила железная решетка, у которой сидел крепкий молодой парень.

— Здравствуйте, Валерий Алексеевич! Это с вами?

— Привет, Эдик! Со мной, со мной. А что это ты огнетушителями обставился?

— Так ночью сюда целая толпа пьяных баррикадников полезла — требовали флаг наш снять!

— Вот обнаглели! А вы что же?

— А мы с Аверьяновым их из огнетушителей через решетку полили, так они и успокоились.

— Ну, молодцы мужики! Крикни там Васильева, пожалуйста, попроси подняться ко мне в кабинет, скажи — гости приехали.

Из окна кабинета на пятом этаже, который Иванов делил с отставным милицейским полковником Михаилом Свораком, ведавшим в Движении оргвопросами и координационным советом, открывался роскошный вид на Кошкин дом. На островерхих башенках этого вычурного здания сидели уже сотню с лишним лет два черных кота, повернувшись хвостами друг к другу. В узком ущелье улицы поблескивала мокрая брусчатка — недавно выпавший снег уже почти стаял. Снизу потянуло дымом от костров на устроенных неподалеку баррикадах, и Валерий Алексеевич, расправив заботливо полотнище красного с голубой волной флага, тут же с раздражением захлопнул окно.

— Ну что, камера у нас одна. Значит, кто-то полетит на вертолете с Васильевым снимать панораму театра баррикадных действий. А кто-то останется со мной, давайте определяйтесь!

— Леша, давай, наверное, ты лети, — умоляюще посмотрел Вадим на Украинцева. — Что снимать — ты знаешь, да потом в город сходите, поза-даешь вопросы в кадре. А я в Питере смонтирую все и эфир проведу. Так башка трещит после вчерашнего, просто сил нет!

— Да хрен с вами, идите пейте пиво, — пробурчал Леша хмуро. — Я все равно в завязке сейчас.

— Здорово, мужики! — в кабинет протиснулся неуклюже, держа в одной руке сумку с камерой, а в другой штатив Саша Васильев. — Машина на Райниса стоит, ближе не проехать из-за баррикад. Взлет через сорок минут, надо поторапливаться!

— Саша, с тобой Украинцев полетит, а я Вадиму пока город покажу и введу в обстановку. Вы с Варе́ником?

— Да, а что?

— Ну, он мужик здоровый, если что — отобьетесь. Или Палыча возьмешь еще на всякий случай?

— Надо будет, возьму и Палыча, если в городе снимать будем. А на вертолете-то он к чему?

— Ну ладно, ни пуха ни пера! Съемка для «Секунд», так что — сам понимаешь.

— Валера, не учи отца. пожалуйста. — зло зыркнул Саша глазами, но сдержался.

— Не буду, не буду, — покладисто согласился Иванов. — Привет, тебе, кстати, от Хачика!

И перекусите чего по дороге, если успеете, Леша не завтракал!

Когда кабинет опустел, Валерий Алексеевич кивнул гостю на диван, сам тяжело опустился на стул и погладил стоящего у него на столе подаренного горьковчанами «волговского» оленя в оправе из горного хрусталя.

— Ты помнишь, как все начиналось. Эх, Вадик, полный песец стране катится. Ну да ладно. Митинг сегодня обещали и принятие резолюции Комитета общественного спасения. Да только народу там будет с гулькин хер. В центре Рубикс проводить боится, объявить заранее не успели толком никому. Так что сами делают все для провала. Альфред — послушный горбачевец. И нам не дает, и сам не может и не хочет. Собака на сене, короче, такой вот Лопе де Вега получается.

— Слушай, Валера, плюнь. Леха все снимет, а ты меня лучше отведи куда-нибудь поправиться и проспаться.

— Завтрашний эфир обещаешь?

— На все 600 секунд!

— Тогда погнали!

Валерий Алексеевич тщательно запер кабинет и прошел длинным коридором в приемную Алексеева.

— Татьяна Митрофановна, я с ленинградским гостем по баррикадам пошел, передайте, пожалуйста, Анатолию Георгиевичу, что встретимся уже на митинге! Я попозже позвоню, когда они определятся наконец с местом и временем!

Побродив по центру города, поговорив с людьми, отметив для себя некоторые важные подробности, например российский триколор на баррикаде у Совмина, коллеги решили сделать передышку. Поймали такси и поехали в Чиекуркалнс — домой к Иванову. Жена с дочкой были еще в школе, поэтому, едва ввалившись в квартиру, они разделись, рухнули на диван и тут же захрапели. Так их и застала Алла, вернувшись после обеда с работы.

— Ох, мать твою. митинг! — толкнул в бок Медведева проснувшийся при звуке открывающейся двери Валерий Алексеевич. Он представил Вадима супруге, та заставила их поесть и выпроводила на улицу с кратким напутствием — побольше работать и поменьше пить пива, хотя знакомство с очередной питерской телезвездой, появившейся в их доме, ей явно польстило.

На следующий день вышел первый сюжет «600 секунд» о событиях в Риге. Программу делал Медведев, поэтому она была правдива, сбалансиро-ванна, но, хотя передача работала стопроцентно на Интерфронт и его сторонников, Невзоров был в ярости. Ему не хватало крови, действия, провокации, и тогда он в очередной раз разругался с Вадимом чуть не до драки. Впереди еще была эпопея «Наши» с рижским ОМОНом, сюжет которой подставил НТК «600» Иванов через Украинцева, но уже появился на студии Леша Завгороднюк, готовый заменить взбрыкивающего Медведева, и пути Валерия Алексеевича и Вадима стали расходиться. Но дело было сделано.

Вскоре баррикады стали рутиной. Иванов сидел в кабинете на Смилшу, писал тексты для листовок и лозунги для плакатов и транспарантов. Каждый день он принимал до десятка журналистов и съемочных групп со всех концов света. «Асахи симбун», «Ля Ви», «Гардиан», «Си-Эн-Эн», «Ди Вельт», «Лабвакар», «Советская Россия» и снова поляки, итальянцы, шведы… Всем надо было что-то объяснять, что-то говорить и показывать; слава богу, хоть убеждать не надо было никого, поскольку все приходили с готовым, своим взглядом на происходящее и переубедить никого все равно было нельзя.

Куда проще было разговаривать с дэнэнэловцами, частенько заходившими на Смилшу вести политические дискуссии со своими самыми непримиримыми противниками.

Эти хоть не скрывали своих взглядов и целей, не маскировались, рубили правду-матку и им можно было тоже, не обинуясь, отвечать как считаешь нужным, а не так, как надо, исходя из целесообразности текущего момента.

Движение за национальную независимость Латвии (ДННЛ) и представляемые ими же Гражданские комитеты не скрывали того, что будет в Латвии, если она добьется независимости. И потому Иванов из бесед с их активистами давно понял, что ждет русских в случае победы перестройки в каждой национальной республике. Хуже того, он начинал понимать, что и в России будет не просто бардак, а самая настоящая революция, в ходе которой от страны, в которой он родился и живет сейчас, не останется практически ничего. И в первую очередь везде пострадают именно русские. Но говорить об этом прямо нельзя почти нигде. Интерфронт, на девяноста с лишним процентов состоящий из русских людей, попал в тиски невозможности выговорить открыто лозунги, которые были единственно верны и спасительны для народа. Карта национализма была разыграна Западом, эти козыри были сданы народным фронтам, тщательно разжеваны и распечатаны, оформлены цветными графиками и поддержаны оргтехникой,

типографиями, телекамерами и диктофонами, просто деньгами и, наконец, специалистами в области психологической войны. Интерфронт был один против всех. Точнее, русские были одни против всех. И все и вся были против них. Против русских, проживающих в нац-республиках, были даже русские метрополии, наивно полагающие, что если сбросить проклятый режим, то будет наконец построено русское национальное государство, хотя бы в России. Верящие наивно, что все будет так, как было при социализме (потому что разве ЭТО может измениться?) и притом к бесплатному «всему и для всех» добавятся все прелести витрины капиталистического западного общества.

Родину и себя продавали за колготки и кока-колу, за порнографический журнал и турпоездку в Париж. Веря при этом, искренняя веря, что не может же быть капитализм таким диким, как писали в газете «Правда» все советские годы. Русские, разбросанные миллионами по окраинам бывшей империи, щедро высыпанные в котел имперского строительства лучшие специалисты — ученые, инженеры, врачи, военные, учителя, строители, конструкторы, рабочие высшей квалификации — все они стали заложниками яростной жажды перестройщиков к власти и обогащению.

Иванов открыл сейф и достал магнитофонную кассету, переданную ему одним из омоновцев, охранявших встречу тогда еще опального Ельцина с Горбуновым — бывшим секретарем ЦК КПЛ по идеологии, а теперь Председателем Верховного Совета Латвии.

Закрыл дверь кабинета на ключ изнутри и вставил кассету в магнитофон. Пьяный голос Ельцина выделялся на фоне голосов его собеседников какой-то животной и безрассудной силой. Бархатный, хорошо поставленный голос Горбунова, уже ставшего из русского латышом и «Горбунов-сом», с нарочитым акцентом спрашивал подпитого бывшего секретаря МГК КПСС о главном.

— Борис Николаевич, а что же мы с русскими будем делать? Ведь у нас русских — полреспублики живет! Как в таких условиях строить национальное государство?

— А гоните вы прочь это быдло! — взревел Ельцин в ответ.

Иванов снова и снова прокручивал это место, забыв о недокуренной сигарете. Потом выщелкнул кассету из магнитофона и снова запер в сейф. Записи уже больше года. Уже второй год он живет с этим знанием. За это время Ельцин вышел из опалы, стремительно набрал вес, понятно, что на него было поставлено все. И понятно было, что будет с русскими в Латвии, что будет с ними везде, где победит перестройка. Даже не перестройка уже, нет, потому что Горбатого скинут при первом

удобном случае. Просто дворцовый переворот. Который не остановит никто. Потому что некому. Потому что даже назвать своими словами ничего нельзя. Наши же не поймут и разорвут на кусочки.

Девяносто процентов русских в Интерфронте. Полмиллиона сторонников. В душе они понимают, что борются за свое будущее, за свои семьи, за будущее русского народа и Российского государства. Но попробуй скажи им честно — за что они на самом деле борются? Попробуй скажи им, что Интерфронт должен быть русским фронтом! Нас сожрут все — и Москва, и латыши, и Запад, и ЦК КПЛ. И сами несчастные, запутавшиеся люди. Наши же сторонники. Алексеев прав. Нужно все понимать самому. Нужно делать все, что возможно. Но запись эту бесполезно даже пробовать отдавать в эфир. Только подставим людей и сами спалимся. Как тот полковник республиканского КГБ, который раскопал в архиве свидетельства о том, что отец Горбунова — бывшего секретаря по идеологии ЦК КПЛ и нынешнего Председателя Верховного Совета — немецкий пособник, полицай, у которого руки по локоть в крови. Где тот полковник? Несчастный случай с полковником.

В запертую дверь постучали. Валерий Алексеевич быстро убрал магнитофон в стол и повернул ключ. Вошел сосед по кабинету — Михаил Петрович, вместе с Чизгинцевым — кадровиком и по совместительству замполитом ОМОНа.

— Юрий Евгеньевич, какими судьбами? — Иванов шутливо взял под козырек, прикрыв голову ладошкой вместо фуражки.

— Интервью на «Содружестве» записывал, — улыбнулся Чизгинцев, протягивая руку. — Там меня Михаил Петрович и поймал, сказал, что вы хотели пообщаться.

Капитан был в штатском — меховая курточка, джинсы. Простой латгальский парень. Худощавый, подтянутый — на первый взгляд интеллигентный рабочий.

— Я, Валерий Алексеевич, по поводу того нашего разговора. Командир в принципе не против моего участия в «Секундах». Но немного темнит, видно, что у него какие-то свои планы появились. Так что, думаю, нам неплохо было бы поторопиться.

— Я готов хоть завтра выехать вместе с вами. Ребята подготовлены, сюжет обговорен, эфир будет. Вы возьмете кого-нибудь еще с собой?

— А надо?

— Неплохо было бы для массовки кого-нибудь из рядовых, так сказать, офицеров. Командира взвода хотя бы…

— Ну, если ваш друг Мурашов не откажется — возьмем его. Думаю, Чеслав не будет против.

— Отлично! Тем более Толик тогда у нас будет резервным каналом связи со студией. Время такое, сами понимаете.

— Понимаю… И вот еще что. Сегодня ночью наш патруль задержал пятерых латышских боевиков. У них был микроавтобус «Латвия». У всех холодное оружие, дубинки, цепи. В машине ящик с бутылками с зажигательной смесью. Там же, в автобусе, обнаружены и боеприпасы, так что не исключено, что оружие у них тоже было в наличии, только скинуть успели.

— Допрашивали уже?

— Да. И кстати, вашего оператора нам не подкинете? Надо бы снять еще раз допрос, только не технически, а с возможностью дальнейшего использования в эфире, если возникнет необходимость.

— Сделаем. Что говорят?

— В здании Совета министров накоплен большой арсенал оружия, им обещали выдать ко времени «Ч». В члены незаконного вооруженного формирования записались, потому что платят деньги, кормят и дают выпить. Жаловались, что если в первые дни на баррикадах давали коньяк и настоящую водку, а кормили в кафе, то сейчас кормят сухим пайком и вместо водки дают разведенный спирт. В общем, каются и сдают всех подряд.

— Это хорошо, только наши аргументы, боюсь, некому скоро будет выслушивать.

— Точно! Ну ладно, товарищи, мне пора. Обстановка не нравится — сильно давят по поводу задержанных, в том числе из Москвы. Могут спровоцировать конфликт с третьими лицами. Так что вы тоже тут поосторожнее, я на ночь пришлю пару бойцов, пусть потусуются в окнах, как будто мы постоянно вас охраняем.

— Хорошо, Юрий Евгеньевич, все понятно.

Чизгинцев аккуратно повернулся и вышел. Михаил Петрович подошел к окну и распахнул его.

— Все дымишь! В кабинет скоро не войти будет!

— Копченое мясо дольше держится, Петрович! Ну, что там замполит еще нашептал по дороге?

— Пойдем обедать — расскажу. Есть проблемки с командиром. Надо бы Юру поддержать, а то…

— Понятно. Я вечерком съезжу на базу с лейтенантом водки попить, узнаю, что там и как в подробностях.

— Давай, только поаккуратнее. Без залетов. Я уже устал Георгиевичу объяснять про производственную необходимость. А! Я тебе нашел тот номер «Атмоды», что ты просил для папки пропагандиста и агитатора. Вот, держи… Только ведь это еще 89-й год…

— Тем лучше, Петрович! Еще тогда все было понятно, они

тогда уже не скрывались, что идет прямое американское вмешательство в выборы! Фактор времени как раз и важен. Все то двоевластие, что мы имеем сегодня, — параллельные структуры, две прокуратуры, латышскую милицию и русский ОМОН, две компартии, два фронта. все это нам подбросили, а. — махнул рукой Иванов, — кому я рассказываю?! Ты же не японский корреспондент, в самом-то деле. Заработался, пошли обедать.

«О выборах — с практической точки зрения

Беседа КАРЛИСА СТРЕЙПА с РОНАЛЬДОМ ДАУТЗАУЭРОМ

С 26 по 30 сентября в Латвии гостил видный специалист, по вопросам проведения политических кампаний Рональд Даутзауэр из США. Он прибыл по приглашению Избирательного координационного центра НФЛ для консультаций по стратегическим, вопросам, предстоящей избирательной кампании в Латвии.

— Вы. в течение нескольких дней имели встречи с сотрудниками Избирательного центра НФЛ, присутствовали и на конференциях, отвечали на вопросы. Каковы, ваши впечатления?

— Если учесть ограниченные возможности получения информации, то следует признать, что вы хорошо разбираетесь в вопросах политики.

Умеете организовывать участие народа в процессе выборов, освоили механизм, политической борьбы. В ходе конференции, на которой я присутствовал, задавались очень четкие вопросы. Кстати, подобные вопросы, нередко задаются в ходе выборных кампаний в США. Например — какую роль в избирательной кампании играет, семья кандидата? Каковы основные задачи руководителя избирательной кампании? Это серьезные вопросы.

— Означает, ли это, что выборы, остаются выборами, а кампании — кампаниями, независимо от того, где это происходит?

— Именно так. В США я неоднократно говорил о том, что все выборные кампании имеют, много сходного и отнюдь не важно, добиваетесь ли вы. избрания на пост, окружного значения или в сенат. США.

— На Западе много внимания уделяется первым, демократическим выборам, скажем, в Польше или Никарагуа. Есть ли схожие черты, между тем, что происходит, в Латвии, и опытом, накопленным, в других странах?

— Я не был в Никарагуа, поэтому не берусь судить о происходящих там процессах Однако должен признаться, что перед приездом в Латвию я с тревогой думал о том, есть ли здесь гарантии честного проведения выборов. Судя по тому, что мне стало известно в последние дни, это вполне возможно, но при

условии присутствия на избирательных участках представителей общественности. Важно, что вы. четко знаете, о чем. говорить с избирателями (в США порой бывает, так, что кандидаты, попадают в затруднительное положение именно потому, что не могут наладить контакт с аудиторией). Но вы должны отработать методы пропаганды идей; в течение следующих недель я тоже подключусь к этой работе, чтобы ее совершенствовать, насколько это возможно в местных условиях.

— Вас, кажется, увлекло это дело. Как вы в него «втянулись»?

— В ходе одной кампании в США я познакомился с Миервалдисом Янше-вицем, который привел группу латышей-добровольцев. Они оказались очень толковыми помощниками, сделали все, что обещали. К тому же мне понравилась их интеллигентность. Позднее Яншевиц позвонил мне и сказал: «Я только что вернулся из Латвии, там скоро будут выборы… Не хочешь ли поехать со мной туда помочь по части организации выборной борьбы?» Вначале я принял это предложение за шутку, но оказалось, что все серьезно, и вот я здесь.

— В США политические деятели, с которыми вы сотрудничаете, — это преимущественно прагматики. Существует ли подобие между той политикой и политикой в Латвии?

— Да, существует. На мой взгляд, устремления НФЛ весьма умеренны. С такой политикой я знаком, я сам ею занимался. Я сотрудничал преимущественно с кандидатами от Демократической партии, однако помогал также и республиканцам. Конечно, если это были хорошие люди, — для меня это основной критерий.

Работа в Латвии лишь начата. Вчера меня попросили дать оценку увиденному, указать на недостатки. Я считаю, что вам. следует, развивать технику и методологию распространения идей в условиях ограниченных ресурсов. Я высказал также свои соображения по вопросам руководства выборной кампании. Кроме того, в ближайшие дни вместе со знакомыми художниками я намерен изготовить плакаты для кампании. В местных условиях, безусловно, они будут весьма эффективны. Надо поразмыслить и над методологией работы в будущем. Буду думать над этим уже на обратном пути, во время полета в Америку.

— Спасибо за беседу».

(«Атмода». 1989. 30 октября. № 49)».

Это была та самая газета Народного фронта Латвии «Атмода», русский ее вариант, в которой начинали свою карьеру нынешние «пропутинские патриоты» Максим Соколов и Михаил Леонтьев, Александр Казаков и многие другие небезызвестные сегодня журналисты и политологи. Удивился бы Валерий

Алексеевич в январе 91-го, когда перечитывал пожелтевшую *уже тогда* газетку, если бы ему сказали о будущей судьбе ее авторов? Пожалуй, нет Вот в 1989-м, когда только начинал свою политическую карьеру, наверное, да.

А потому он просто сунул газету в папку с материалами для готовящейся к печати брошюры и пошел обедать. Спустился по крутой лестнице на первый этаж, вышел на улицу, протиснулся в узкий проход между бетонными блоками очередной баррикады и, повернув у Пороховой башни на Вальню, через несколько шагов оказался уже под аркой любимого кафе «Драудзиба» — по-русски — «Дружба». Буфетчица привычно смешала ему «Черного Петериса» — водка с бальзамом — пятьдесят на пятьдесят плюс маринованный огурчик — и налила кофе.

Валерий Алексеевич поблагодарил и предусмотрительно отсел подальше от стойки — вступать в долгие разговоры и выяснения обстоятельств того, кто кого «наградил» французским насморком — буфетчица питерского журналиста, когда-то приведенного в кафе Ивановым, или он ее, — уже надоело.

Когда-то именно здесь, в «Дружбе», засели, отстав от веселого шествия в Старую Ригу, свежеиспеченные студенты университета, утомившись от торжественной церемонии вручения студенческих билетов в Большой Ауле ЛГУ. Пили тот же «Черный Петерис», мужчины, конечно, а было их на всю группу четверо. Девочки, вчерашние школьницы, предпочитали «Черный бархат» — тот же рижский бальзам, только не с водкой, а с шампанским. Потом, уже на старших курсах, получив «стипу», стали отмечать ее тут же, на Вальню, но уже в «Максле» — столовой театрального общества, больше похожей на ресторан, но с вполне демократичными ценами. На четверых хватало десятки, чтобы заказать всем фирменную соляночку, рулетики «Пулверторнис» («Пороховая башня») и селедочку под сметаной. И, конечно же, бутылку водки и кофе. А потом, взрослея, перемещались по той же самой улице то в знаменитый «Шкаф» — буфет гостиницы

«Рига», уникальный по тем временам тем, что открывался в семь часов утра, — то в ресторан «Рига», то в «Асторию» на последнем этаже Центрального универмага. А когда все перевернулось и Валерий Алексеевич стал работать на Смилшу, 12, уже в Интерфронте, он приохотил коллег к началу, так сказать, своего пути — в «Дружбе» работали русские буфетчицы и по старому знакомству могли налить бальзаму в кофейную чашку до положенных горбачевских одиннадцати часов утра.

Иванов выпил одного «Петериса», заказал сразу еще два и горку бутербродов, решив, не дергаясь больше в сторону, дожидаться Петровича на обещанный совместный обед. Рижский

ОМОН Валерий Алексеевич курировал по своей линии с самого начала его перехода на сторону. На чью сторону, задумался он? Советской власти? Так она сама методично и сдавала свою. не власть, нет, свой народ. На сторону присяги, так будет точнее, нашел он более ясную формулировку. А новости, которые обещал Михаил Петрович касательно командира отряда — Млынника и его взаимоотношений с партийным, не интерфронтовским, руководством, были наверняка неприятными.

— Жалко, что Лымарь уволился, — с сожалением подумал Иванов, потягивая жидкий кофе, пахнущий пережженным сахаром. Дочку Лыма-ря — первого командира Рижского ОМОНа он учил в школе. Но суть не в дочке, конечно, а в том, что Лымарь был человеком проверенным и предсказуемым. А вот внезапное появление в качестве командира отряда майора Млынника вызывало очень много вопросов у всех заинтересованных сторон. А не заинтересованных в состоянии дел в Рижском ОМОНе политических сил в Прибалтике не было, так уж карта выпала.

Десять лет спустя, сидя в щегольском летнем кафе на открытом воздухе напротив Пороховой башни, Валерий Алексеевич поджидал Катю — свою старую — новую любовь на первом курсе. Солнечный ветер трепал маркизы над витринами магазинов на улице Вальню. Голуби ссорились из-за крошек пирожного на блестящей брусчатке мостовой. Над Бастионной горкой, укрытой свежей парковой листвой, парили чайки. Иванов пил свой кофе без сахара, курил сигарету за сигаретой и быстро писал на бумажной салфетке:

Война ли, не война,
А нас осталось мало.
Нахлынула волна
И всех поразбросала.
Сменили паспорта,
Фамилии, и где-то
Тельняшка заперта
И спрятаны береты.
В альбомах пустота
Через одну страницу.
Подведена черта,
Но память сохранится.
Как выстрел холостой
Идут впустую годы
Нейтральной полосой.
Мы терпим. Ждем погоды.
Мы больше никогда

Ничьей не будем пешкой,
Пусть выпала звезда
Нам не орлом, а решкой.
За эти десять лет
Державного позора
Пора держать ответ.
В две тысячи… котором?

Но это будет потом.

А январь 91-го все продолжался, все тянулся, все не кончался и становился потихоньку самым длинным январем в жизни Иванова. После обеда у него вдруг, ко всем прочим хлопотам и неприятностям, отчаянно разболелся зуб. Ныл и ныл, с каждым часом все сильнее. Анальгин уже не помогал. А послезавтра ведь день рождения. Еле дождавшись Васильева и наскоро отсмотрев по диагонали материал съемок допроса боевиков, Иванов сел на свой 11-й трамвай, вышел на одну остановку раньше и, не заходя домой, пошел к Палычу.

Николай Павлович работал когда-то инженером в КБ у Ильюшина. Потом судьба занесла его в Ригу. Но «ручки помнили», и после начала антиалкогольной кампании, после введения талонов на водку, а главное, после того, как водка эта магазинная начала становиться все более дрянной, Палыч сам собрал уникальный самогонный аппарат. Сейчас Трегубо-ву было далеко за пятьдесят, но Палыч оставался крепок и кряжист. Он носил пышные седые усы, его обожала вторая уже, молодая жена, побаивались подчиненные и любили друзья.

Валерий Алексеевич познакомился с Трегубовым еще в 89-м, когда только начинал работать в Интерфронте. Палыч был любимым ассистентом Васильева. Конечно, помогал на съемках он бесплатно и в свободное от работы время. Но на самые опасные и ответственные задания сопровождать съемочную группу обычно брали не молодых дружинников из рабочей гвардии, а «старика» Владимира Павловича.

Маленький частный домик Трегубовых всегда был открыт для молодого друга хозяина. Палыч еще не пришел с работы, но супруга, во всем разделявшая убеждения мужа и потому тоже привечавшая Иванова, открыла ему калитку в высоком заборе, привязала огромную южнорусскую овчарку и пригласила в дом — подождать. Зуб не проходил, и когда наконец-то пришел Палыч, то, поняв, в чем дело, он тут же полез в шкаф за собственного приготовления продуктом.

Приняв по стакану душистого, гревшего душу самогона, они

сели в комнате у огромного импортного телевизора — все техническое было страстью хозяина. За окном быстро темнело. Валерий Алексеевич вкратце пересказал Палычу последние новости на «фронтах», особо оговорив недавнее задержание ОМОНом боевиков НФЛ.

— Саша сегодня снимал их допрос, документировал на всякий случай. На отряд сильно давят со всех сторон, требуют отпустить засыпавшихся латышских засранцев. Возможны провокации, так что имей в виду, придется снимать, если что, интервью с Чесом для Москвы. Васильев уже обговорил возможный материал с Останкино. Но там тоже все очень непросто, сам знаешь. Анциферов еще готов помочь, а остальные новост-ники все в демократию вдарились. Надо бы упредить события на всякий случай. Если успеем… Но это пусть Саша сам толкает в Москве, у него там завязки. А я, если надо будет, поддержу на Ленинградской студии, чтобы была огласка соответствующая. А то ведь левая рука у Центра, похоже, не знает, что творит правая. Все надо документировать для подстраховки и выдавать по возможности в эфир или хотя бы в прессу.

— Ну, надо, сделаем, ты же меня знаешь! — Палыч медленно, с усилием, поднялся с кресла — у него временами болела спина, и принес из кухни трехлитровую банку с «продуктом» и стаканчики.

— Таня! Порежь нам чего, пожалуйста, под разговор, а то старые кости никак не прогреются! — громко, перебивая телевизор, по которому начиналась информационная программа, сказал он жене, сидевшей в соседней комнате за вязанием. И уже тише, чтобы Татьяна не услышала ненароком, обратился к гостю укоризненным тоном: — Ты, Валерий Алексеевич, меня извини, что я в ваши дела вмешиваюсь, но мне кажется, что ты зря Сашку, как бы это сказать-то… недолюбливаешь слегка, что ли. Ну, понятно, он не девушка, чтоб тебе его любить, но контры какие-то между вами появились, особенно как тебя Алексеев вперед выдвинул.

Иванов молчал, насупившись, крутя в руке стаканчик с самогонкой, так и не унявшей пронзительную зубную боль, одолевавшую весь день.

— Саша человек опытный, профессиональный, я его лет пять уже знаю. Да и постарше тебя он все-таки будет, конечно, не любит, чтобы командовали, молодежь особенно. — Палыч ухмыльнулся в седые усы. — Но в деле я его видел, ему доверять можно. А нам всем вместе работать, и события еще только начинаются, чую. Вы бы как-то обсудили, что ли, свои

разногласия, да и что за разногласия — не пойму я толком?

— Видишь ли, Палыч, — медленно, сдерживаясь, начал Иванов. — Саша работает у нас в штате. И на нашей технике, кстати. И работать он должен на нас. Понимаешь? На нас. А он, с моей точки зрения, все больше задания ЦК выполняет. Что, Николай Павлович, разве не ты с ним ездил по заданиям Рубикса? Так почему на стороне работаете и не докладываете?

Теперь уже Палыч нахмурился и замотал головой.

— Да просто у них всегда в гараже машины под рукой. Вот и ездим, когда съемки оперативные.

— Ага, и материалы им скидываете. И монтажная наша уже в здание ЦК перекочевала почему-то, как будто на Смилшу охраны недостаточно… Не надо меня лечить, Николай Павлович. Я хоть тебе и в сыновья гожусь, но у меня тоже работа. За которую, между прочим, я отвечаю! И прикрывать Васильева от Алексеева я уже устал. Тем более что сам уверен, что Сашу не прикрывать надо, а строго с него спрашивать! Нам ЦК не указ! Там сидят и выполняют указания Горбатого, который все это и затеял, как тебе известно, с Яковлевым вкупе. А Рубикс так вообще только спит и видит, как бы в Интерфронт снова Жданок посадить и взять все под свой контроль, а это значит, на самом деле, под контроль Москвы. А чего там на самом деле в Москве добиваются, ты можешь мне сказать? Не можешь. И никто не может. Поэтому мы должны быть самостоятельны и все свои силы держать в одном кулаке, потому что случись что, и мы все — народ, Палыч, простой народ, просто русские люди, чинами не обремененные и должностями — все мы, с тобой вместе, окажемся в глубокой жопе. Сдадут нас лабусам и не чихнут даже. А Саша к Жданок бегает регулярно и все докладывает, хотя ее с Белайчуком давно уже из Президиума поперли, сам знаешь за что. И из ЦК не вылезает… У нас вся надежда только на себя. То есть на движение и наших сторонников. На ЦК и на Москву надежды нет Потому и ОМОН мы к себе подтягиваем, как можем. Армия вообще не при делах может оказаться, они без приказа и не пукнут даже. А будет ли приказ, ты знаешь? — Валерий Алексеевич, не спрашиваясь хозяина, сам разлил по стаканам и стал полоскать самогоном во рту, пытаясь хоть как-то утихомирить зубную боль и нарастающее раздражение.

— Не знаю, Валерий Алексеевич, у вас там в руководстве свои соображения, а мы люди простые, без чинов, — заерничал Трегубов. — Хотя, конечно, Рубиксу я тоже не сильно доверяю. Но про Сашку ты так зря. Мать твою, ты посмотри, что творится! — Палыч кивнул в сторону телевизора и прибавил звук — короткие автоматные очереди и латышская скороговорка испуганного

диктора ворвались резко в тихий домик на окраине Риги.

— Ну, думаю, началось. — процитировал кого-то любимого Иванов, глядя на экран, по которому в темноте позднего январского вечера проносились огненные трассеры на фоне ярко освещенной «Милды».

— Ну, «Милда» тут не при делах, — отозвался Палыч, придвинувший кресло поближе к телевизору. — Это явно в стороне МВД перестрелка.

— Трассеры — не омоновские. через два патрона один трассирующий заряжают обычно. В АКМ. Но у ребят автоматы АКСУ — укороченные, а с ними такая практика не годится — поршень клинит у «окурка» от трассеров. А вот кто там из пулемета по ним херачит? Нет, ты посмотри на картинку, ее как будто на режиссерском пульте с разных точек сводят! Это сколько же камер надо для такого эфира?! И чтобы прямо на месте событий все оказались. Так, это все же запись, конечно, но свежая. такое впечатление, что им на студию как горячие пирожки кассеты подвозят.

— «ОМОН штурмует здание Министерства внутренних дел», — проявился наконец взволнованный голос диктора. Картинка дрогнула на небрежном стыке и тут же пошла явно с другой кассеты, с другого типа камеры, показав на белом фоне стен министерства настороженные силуэты в черных беретах, горбатые в «бронниках» спины омоновцев и характерные короткие «окурки» — АКСУ в руках.

— Да они же только пугают, сбивают прицельный огонь противника, отстреливаясь куда-то вверх! — Иванов, не отрываясь от экрана, прыгал по комнате, торопливо накидывая куртку, одновременно залезая в ботинки ногами. — Во, Толян пробежал!.. С Бастионной горки-то кто стреляет?! Они ж по толпе бьют! По штатским. — Иванов наспех оделся и протянул Палычу руку. — Ладно, Коля, я поехал на базу, а ты позвони мне туда, через дежурного, через часик, может, понадобишься.

— Постой, паровоз. — Трегубов удержал руку Иванова, не давая ему сдвинуться с места. — Поехали в центр вместе!

— Какой центр, Палыч? Там все уже закончилось или закончится скоро. Да и что мы там делать будем? Я на базу ОМОНа, оттуда позвоню Алексееву, а сам буду разбираться на месте в ситуации. Иначе потом правды все равно не добьешься, а официальные источники. да, заскочи, пожалуйста, к моим, скажи, что я на базе, когда вернусь — неизвестно… — Валерий Алексеевич вырвал руку и вышел на улицу. Поймать сейчас машину на 1-й Длинной было нереально, и он быстро пошел в сторону Брасы, к стоянке такси.

На черном небе ярко сверкали звезды, мороз усиливался. Липовая аллея тянулась вдоль трамвайных путей к Брасовскому мосту, простирая черные огромные ветви над редкими качающимися фонарями. Слева, в длинном здании, где квартировали вместе полк милиции, комендантская рота пограничников и батальон внутренних войск, светились огни; на небольшом плацу перед казармами шло построение. А ближе к путепроводу, рядом с остановкой 11-го трамвая и стоянкой такси, замерли несколько обгоревших, осевших на обода грузовиков с пробитыми автоматными очередями колесами. Это омоновцы разблокировали баррикаду на Брасов-ском мосту недавно, с тех пор тяжелый КамАЗ и пара «уралов» так и стояли, брошенные водителями.

На счастье, к пустой стоянке такси подрулил какой-то сумасшедший. Таксист, пожилой мужик в кожанке, внимательно осмотрел Иванова, вглядываясь в него из темноты салона, и, только услышав русскую речь, открыл ему дверцу.

— Садитесь! Слышали, что делается? — начал прощупывать он Валерия Алексеевича на предмет «свой-чужой».

— Слышал, слышал, — пробурчал неприветливо Иванов. — Мне в Вец-милгравис, на Атлантияс, к котельной — и быстро, пожалуйста.

— На Атлантияс?! — таксист с уважением окинул Иванова цепким взглядом и, не задавая больше вопросов, сорвал старенькую «Волгу» с места, резко повернув направо, к Межапарку.

Валерий Алексеевич отметил про себя, что таксист в машине курит и, не спрашивая разрешения, потянулся сам за сигаретами, откинулся на скрипнувшее сиденье, глубоко затягиваясь пресным дымком с привкусом одеколона — сигареты, хоть и по талонам, стали такими же дрянными, как и водка из магазина. В Мангали, перед въездом на мост, белел на придорожном газоне наспех поставленный высокий деревянный крест — там попал под случайную пулю во время разблокирования моста некий Мурниекс… Хотя… не подчинился приказу и пытался скрыться, вот и попал под раздачу. чудак, думая, что с ним шутки шутят. Нечего было в такое время оружие ящиками в багажнике возить!

«Однако смешно получается, — думал про себя Иванов, вспоминая последние дни. — Вроде не последний человек в деле, а о важнейших событиях узнаю по телевизору! Да что я?! Первые лица в стране, что в Союзе, что в Латвии, новости частенько узнают уже из газет или по «ящику». Как будто куклы все, марионетки из песенки Макаревича! А каша варится сама по себе, и никто, никто ничего не планирует сам, все только огрызаются

постфактум, реагируют на последствия. Мозаика никак не складывается в голове в цельную картинку! *Не состыковываются* друг с другом события! Ни у нас, ни у латышей, ни в Москве! Хаос! Управляемый хаос. Мы — хаос, а вот кто управляет? Зарубежные планировщики революций и перестроек? — Конспирология для домашних хозяек! Психоложество масс. Стратегически, наверное, да, общие тенденции были заложены давно. миллиарды и миллиарды угроханы на то, чтобы попытаться направить процесс, который уже *пошел*… Но те самые *личности,* роль которых не выбросишь из истории, все равно все карты смешали, да так, что уже и сам черт не разберет, у кого на самом деле козыри в руках! Может быть, плюнуть на все? Лавина понеслась, а кто я в этой лавине? Песчинка! Ладно! Наше дело солдатское. *Делай что должно, и будь что будет!* Лишь бы потом не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Лягушка барахталась, барахталась в кринке с молоком, да и сбила ее в сметану. Или не лягушка, а мышка? Да какая, на фиг, разница?!..»

На конечной 2-го автобуса, на маленьком перекрестке около громады районной котельной, где отходила от шоссе узкая ветка грунтовой дороги, Иванов попросил водителя остановиться. Кинул взгляд на так и не включенный счетчик и спросил лаконично:

— Сколько?

— Нисколько, — решительно ответил таксист.

Валерий Алексеевич посмотрел ему в лицо и не стал настаивать. Просто пожал руку и попрощался.

— Удачи! — пожелал мужик, быстро развернулся и уехал.

Иванов неторопливо, показывая себя пулеметчику на крыше котельной, пошел по смерзшейся щебенке в сторону КПП, за которым, отгороженные проволочной сеткой от камышовых зарослей старого русла Даугавы, стояли длинные бараки базы ОМОНа и металлический ангар гаража. На высокой стальной ферме — мачте развевался флаг Латвийской ССР.

Сержант у ворот, узнав Иванова, перекинул автомат за спину, кивнул на дежурку, чтобы тот отметился для порядка. Валерий Алексеевич кивнул в ответ и зашел в тесную выгородку штабного барака. В дежурке было тепло, накурено, шумно. Рядом с привычной грузной фигурой Чука сидел Кузьмин и рассказывал что-то веселое. В предбаннике курили трое сержантов по полной форме, в бронежилетах, с оружием. Форма тогда была еще омоновской — черные комбезы, и потому длинные армейские брони-ки казались какими-то лишними на ладных фигурах бойцов.

Не задерживась, Иванов поздоровался и, узнав, что Толян еще не подъехал, пошел к нему в кубрик — ждать. Через полчаса, когда курить уже надоело, он вернулся в дежурку. Мурашов уже был там.

Толян прервал разговор, кивнул Чуку и, не здороваясь, ухватил Иванова за плечи, повлек на улицу.

— Пойдем к нам в кубрик, поговорить надо.

— Я только оттуда… Ну ты как, живой? — задал глупый вопрос Иванов и тут же получил сакраментальный ответ про Рабиновича, который надеялся.

Они прошли к 4-му бараку, у входа в который, пулеметами в сторону камышей, застыли два БТРа, протопали по длинному коридору и, не доходя до двери в маленький спортзал, которым заканчивался барак, свернули направо, в 12-й кубрик.

В комнате никого не было. Лейтенант Мурашов, старый друг еще по доперестроечной жизни, втолкнул Иванова в темноту пропахшего жильем и оружейкой одновременно помещения, задернул занавески на окне, выходившем на пустырь присоседившейся сразу за колючей проволокой латышской автобазы, и только потом включил свет.

— Ну, Поручик, раздевайся, падай, рассказывай.

— Чего мне-то рассказывать? Ты рассказывай. Я перед выездом сюда в Дом «печали» (печати) Рощину отзвонил, из «Советской Латвии», чтобы был готов приехать. Он у нас еще редактором «Единства» попутно служит, так что напишет все как надо, пусть Евгеньич не волнуется. И съемочная группа готова материал делать для Москвы. Так что давай-ка, для начала, изложи все подробно. Я еще ничего не знаю, увидел «сюр» по ящику в прямом эфире и сразу двинул на базу. Потери есть?

— Да живы все. чудом. наши, в смысле. — помедлив, добавил Толян, суетясь с кружками и кипятильником. Тянул время, собираясь с мыслями, шарил по заледеневшему внутри маленькому холодильнику «Морозко», стоящему на тумбочке, открывал тушенку. — Давай пожрем чего, а то все не до сук было, — пошутил он, с сожалением вытянув на свет припрятанную подальше от чужих глаз бутылку водки и со вздохом засунув ее обратно. — Обстановка даже выпить не позволяет с товарищем, о чем тут еще рассказывать.

— Я тебя видел по ТВ, ты у нас звезда теперь, лейтенант! — Иванов придвинул к себе кружку с чаем и впервые за последние два часа вспомнил, что еще недавно у него зверски болел зуб. С удивлением потрогал зуб языком — ничего не почувствовал и с наслаждением принялся за кипяток.

— Да все мы «звезды» теперь, хорошо, что ты сообразил не

кидаться к МВД попусту. А то там кого только не набежало после того, как мы латышей из министерства вышибли. И из нашей прокуратуры, советской, и армейцы, и комитет… Чес к Рубиксу, в ЦК сразу подался. Говорят, разбираться, а там вроде тоже провокацию планировали. Ты в курсе, что у Лак-тиона жену беременную боевики захватили?

— Это командир 2-го взвода, что ли? И??? — Вопрос повис в воздухе. Матюгальник громкой связи в коридоре потребовал командиров взводов и всех офицеров отряда в кабинет начальника штаба.

— Сиди, пей чай, — заторопился Толян, кинув на стол ключ от кубрика. — Никого, кроме наших, не пускай, никого ни о чем не спрашивай. — Подхватил автомат, подумал мгновение и, вытащив из плечевой кобуры, вшитой в камуфляж, ПМ, протянул его Иванову. — Вокруг базы латышская милиция сельская шарится, у нас посты усилены, но положи в карман на всякий случай. Если что вдруг начнется, прибейся к кому-нибудь, кто про тебя в курсе, а то свои еще зацепят тебя, в штатском-то, сейчас не до длинных разборок. Патроны в бушлате на стене, в кармане, еще пара пачек. Все, я побежал.

Дверь с треском захлопнулась. Иванов посидел еще минуту, отпил чаю, закурил. Потом встал, закрыл дверь на ключ, взял со стола ПМ, сунул под подушку свободной койки, придвинул поближе жестянку-пепельницу и с наслаждением вытянулся на жестком матрасе, небрежно заправленном солдатским одеялом. Под матрас пустующей койки Толян, тот еще ебарь-перехватчик, подсунул доски, чтобы при случае, если какая тетка окажется под рукой, сетка не прогибалась.

В этом кубрике базы, служившей омоновцам не только местом службы, но и приютом в случае пребывания на казарменном положении, кроме командира 4-го взвода проживали еще прапор по прозвищу Рыжий и лучший водитель отряда и снайпер по совместительству — Мишка Ленин. По стенам развешан был только что полученный спецназовский камуфляж и бронежилеты, под кроватями всегда можно было найти ящик с гранатами или патронами — обстановка была такая, что всем было не до соблюдения строгих правил, командиру взвода в том числе. На стене висела гитара, ее Толян одалживал периодически у отрядного барда Димки Кожевина, уже на следующий день после штурма МВД написавшего немудреные, но знаменитые строчки песни, которую пели потом всем отрядом.

Трассера из автомата прошивают окна дома,

Это бой ведут ребята, да из рижского ОМОНа,
А когда-то были будни, хоть не легкие, но все же,
Но подняли свои рожи меньшинства, господ вельможи.
Наши черные береты, цвета ночи и ненастья,
Наши черные береты, нет, не траур — это счастье,
Жизни нам своей не жалко. На, бери, но за победу!
Это черные береты! Это «Наши!» — крикнут где-то!
Развалить Союз мечтая, строят планы, как фашисты.
Могут лишь ударом в спину, на душе у них нечисто.
Эх, долой бы всех министров, экстремистов и властистов,
Нужно жить, как раньше жили — дружно и душою чисто!
А пока ублюдки дышат, мы уходим на заданье.
Мы уходим, чтоб вернуться к вам, родные, к папе, к маме!
Мама, посмотри на сына, сын твой стал серьезным мужем!
Люди, вы глаза раскройте, ведь отряд наш вам так нужен!

Э-э-х, Морозова! — протянул надрывно, с булькающим тяжелым смехом, Иванов и полез в нишу за занавеской. Там висел его комплект формы, вот только погоны без знаков различия, на всякий случай. — Веселенький, чую, будет у меня день рождения!

Глава 13

Август 1991 г. Еще вчера, 20 августа, в подъезде старого доходного дома напротив церкви Старой Гертруды, Сворак вытаскивал из авоськи, почти такой же, как у Семен Семеныча в «Бриллиантовой руке», потертые пистолеты и новенькие гранаты. Разобрали оружие, разошлись по домам в ожидании звонка. С утра была запланирована поддержка рабочей гвардией армейской десантуры при захвате радиостанции боевиков, укрытой в одном из сельских латышских районов. Понятно, что основная работа будет при захвате у армейцев; дело группы штатских активистов — чисто представительские функции. Да и воевать-то там особо не с кем — боевики храбрые только до 19-го числа были — потом все разбежались. Но можно было нарваться и на пьяных от страха статистов, и на профессиональных резидентов. Правда, среди рабочей гвардии не умевших обращаться с оружием не было. Но каждый должен заниматься своим делом. Армия — своим. Интерфронтовцы — своим. То, что русские в Латвии — это тоже народ, — никто еще тогда не отменил. Хоть и пытались. А народ и армия — едины.

После встречи у Гертруды Иванов со Свораком долго еще сидели на Бастионной горке, обсуждали детали. Зашли в «Дружбу» на Вальню, дернули по соточке «за победу». Над городом барражировали боевые вертолеты, на пятачке у «Милды» и на мостах стояли БТРы с десантурой. Рижский ОМОН взял под контроль все основные объекты, растащил потешные баррикады в Старушке. Латыши притихли, заулыбались робко и снова заговорили по-русски.

— Петрович, помнишь, как мы тут с тобой урожая ждали?

— Когда листовки посыпятся? — хохотнул Сворак, откинувшись на спинку зеленой скамейки у Лебединого домика.

— Да, разогнали бы Верховный Совет, если бы Бугай не пригнал омоновцев. — Валерий Алексеевич ослабил галстук, затянулся покрепче и лениво следил, как закатное солнце подсвечивает сиреневый дымок. — .Да, если бы пораньше мы отряд на свою сторону повернули. Думаешь, все? Уже история?

— Хотелось бы верить, Валера, что отмашки «взад» не будет.

Весь следующий день, с утра 21 августа, Валерий Алексеевич ждал звонка. Поглядывал на включенный телевизор, курил на лоджии, пил кофе. Жена с дочкой — на каникулах, у тещи на даче. На днях приедут — пора обеим готовиться к школе. От нечего делать он разобрал, почистил, снова собрал пистолет. Приготовил джинсы и легкую курточку на случай, если придется

задержаться до ночи. Написал жене записку — неизвестно, обойдется ли все одним днем.

А на голубом экране сквозь классическую музыку вдруг начали прорываться какие-то сообщения. Неожиданно началась трансляция заседания Верховного Совета. Теперь уже курить пришлось в комнате, не отходя от телевизора. Звонка все не было. Когда, уже ближе к вечеру, на трибуну вышел Ельцин, Иванов окончательно понял — все плохо.

Нехорошие мысли стали закрадываться в душу еще вчера вечером, когда так и не поступило сообщения об аресте или хотя бы изоляции ЕБНа.

Иванов вышел в коридор своей малосемейки, торцом обращенной к огромному тепличному полю совхоза «Рига», раскинувшемуся между Чие-куркалнсом и Межапарком.

У проходной, рядом с маленьким павильончиком, в котором летом торговали по дешевке некондиционными огурцами и помидорами, вместо привычной очереди пенсионеров столпилось не меньше десятка серых правительственных «волжанок». Это было что-то новое.

Торчать у окна в длинном коридоре, в который выходили двери нескольких десятков квартир, было не очень разумно. Валерий Алексеевич вернулся к телевизору. Там уже вовсю клеймили ГКЧП. Самому звонить из дома было нельзя. Ближайший работающий телефон-автомат далеко, за Брасовским мостом. Пришлось ждать, пока и без того уже ясная ситуация не станет окончательным и бесповоротным концом трехдневных надежд.

(В мае на закрытом заседании актива республиканского ЦК выступал Олег Шенин — член Политбюро ЦК КПСС. Руководство Интерфронта тоже пригласили на это собрание. Тогда еще Шенин намекнул, что надо немного подождать — и все образуется. Меры будут приняты, разрушительные тенденции остановлены. Мало кто поверил, но надеялись и ждали. Коротко стриженный, почти бритый, крепкий, уверенный в себе мужик, Шенин вызывал доверие самой своей психофизической непохожестью на демократов яковлевского типа. Но тут же, в президиуме собрания, сидел первый секретарь ЦК КПЛ Альфред Рубикс со своей свитой, и это сдерживало первоначальное воодушевление гостей ЦК — интерфронтовцев. Рубиксу никто из знающих его лично не доверял, видя его открытую преданность Горбачеву и плохо скрываемую ненависть к русскому Интерфронту. Альфред Петрович исподволь давил оставшимися у него силами все, что не укладывалось в политику Центра. А сформировавшийся «снизу» Интерфронт так и не удалось сделать карманным и заменить его

лидеров на «русскоязычное», но не русское лобби ЦК. К тому же ведь еще в декабре 90-го года все латышские газеты опубликовали открытое обращение НФЛ к латышскому народу, в котором подробно, по пунктам, давались прямые инструкции о том, как следует действовать в случае событий, которые могут последовать (и последовали!) в январе 91-го года! Вот и думай теперь, не приготовились ли латыши заранее и к обещанному Москвой *новому* «наведению порядка»?..)

19 августа, еще ночью, Валерию Алексеевичу позвонили друзья с Ленинградского телевидения и предупредили — включай «ящик», как только начнется вещание. Тогда, вспомнив встречу с Шениным, он только порадовался тому, что все случилось пусть не молниеносно, но достаточно быстро. Но застывший взгляд Рубикса, сидевшего за спиной выступавшего с трибуны московского гостя, тоже вспомнился и засел в памяти.

И вот теперь, когда уже со своей лоджии Иванов наблюдал, как сразу после окончания речи Ельцина, «панимаешь», резко захлопали дверцы серых правительственных «Волг» у проходной тепличного хозяйства, как резко сорвались они с места и одна за другой скрылись на густо поросшей липами улице Гауяс, ведущей в сторону центра Риги, — теперь становилось уже понятно, *что* именно застыло во взгляде Альфреда в тот миг, когда Шенин предупреждал о грядущих событиях. Но что же сам-то Альфред? Не просчитал до конца ситуацию? Или понадеялся на то, что латыши все-таки *оценят реальный* результат его деятельности на посту первого секретаря в решающий *все* период?

«Сдадут его «таутиетиши», зря надеется, — зло подумал про себя Валерий Алексеевич. — Или уберут, или первым в кутузку потащат, и закроют надолго, чтобы молчал и не мешал!»

На территории совхоза «Рига», раскинувшейся на несколько гектаров на окраине латвийской столицы — территории охраняемой, редко посещаемой и никому не интересной, дожидались команды «фас» из Москвы порядком перетрухнувшие представители высшей республиканской власти, давно уже заявившие о своей «независимости» от союзного Центра. Это была важная информация, только вот реализовать ее уже не представлялось возможным.

Валерий Алексеевич вздохнул, прикусил ус и стал переодеваться. Засунул в старую плечевую кобуру выданный вчера пистолет с одной, символической, обоймой. В ванной, в пустой коробке из-под стирального порошка у него давно лежал свой ПМ. Был еще ПСМ когда-то, но от него пришлось избавиться. Иванов, вспомнив про это, резко сжал и разжал кулак и успокоился. Движения стали быстрыми и расчетливыми. Второй

пистолет он брать не стал, забрал только еще две обоймы и запасную коробку с патронами. РГДшку тоже брать не стал, сунул гранату в коробку и поставил обратно на полку. Черный — только полоска белая на морде, как застывшая кривая ухмылка, — кот по кличке Бегемот потерся о ноги, мявкнул, требуя еды. Иванов чертыхнулся, пошел к холодильнику, кинул коту несколько потрошеных тушек свежей салаки. Надевая удобные летние туфли, пробормотал привычную хохму про «трусы, каску, пистолет и партбилет», окинул тоскливым взглядом квартиру, в которую неизвестно, вернешься ли еще, и вышел, тщательно закрыв двери на все замки.

Я так часто прощался, уходя навсегда,
И не чаял взаправду вернуться…
Но щадила меня и седая вода,
И земля меня с неба встречала всегда,
Да и с пулями смог разминуться.
Я картины и книги руками ласкал,
На диване не мог насидеться,
Я так бережно пыль напоследок стирал,
Я цветы поливал, взгляд прощальный бросал,
И стучало так медленно сердце.
Но судьба возвращала с усмешкой меня,
Видно, с прошлым никак не проститься!
Вынимала живым из воды и огня,
Из морозных снегов поднимала, щадя,
Одного не давала — влюбиться.
И я снова приехал в свой маленький дом,
Словно ждут меня там не дождутся.
Поздоровался молча с любимым котом,
Перебросился словом с женой ни о чем.
И ушел. Чтобы снова вернуться…

В подъезде он еще раз подошел к окну. Ни одной «Волги» у теплиц не осталось. Теперь, как обычно, там был просто выжженный солнцем гравийный пятачок. И ни одного человека. На улице вообще никого. Летний вечер все проводили у телевизоров.

И только на полюсах внешне спокойного города кипела суета. Одни подчищали концы и сворачивались, другие лихорадочно спешили вернуться в брошенные в панике властные кабинеты.

Валерий Алексеевич быстро спустился с пятого этажа и вышел в жаркую вечернюю тишину. На соседней Гауяс его укрыла тень густой липовой аллеи. Не оборачиваясь, он пешком пошел

на Брасу, к телефону, сдерживая себя и пытаясь не ускорять шаг. Казалось, ничего еще не изменилось в городе. Но если вчера он возвращался домой как хозяин, то сегодня сам уже был в напряжении от возможного в любую минуту ареста. Армия уходила в казармы, и без приказа из Москвы никто и ни во что уже не вмешается. А в Москве теперь однозначно утвердились подельники латышей. ОМОН наверняка закрылся на базе в Вецмилгрависе и готовится к бою. У него другого выхода нет Но туда пока рано. Да и соваться на базу сейчас — просто самоубийство. Сначала — выяснить ситуацию. Выяснять, собственно, ничего уже и не надо было, но так не хотелось верить, что все кончено. Притом так внезапно, разом, на взлете. «И чьим-то паденьем кончается взлет, и взлетом кончается чье-то паденье», — машинально промурлыкал он про себя знакомые со студенчества строки. Машина времени, не поющая, а самая что ни на есть всамделишная, притопила на газ, и время внезапно полетело вскачь — не догонишь.

Брусчатка на Брасовском путепроводе нагрелась так, что чувствовалась ногами в легких мокасинах. И по-прежнему на улицах никого. Хотя время самое «пиковое» — 18 часов. Натужно провыл поднимавшийся навстречу по мосту 11-й трамвай, в нем тоже почти никого не было. Пара ГАЗ-66 с погранцами в кузовах пронеслась следом за трамваем в комендатуру на Брасе. Срочники сидели плотно, молчали, у офицера — старшего первой машины — было растерянно-злое лицо под зеленой фуражкой. И снова тишина.

Из нагретой за день желтой телефонной будки вырвалась влажная жара, как из парной. Валерий Алексеевич оглянулся и оставил дверь открытой. Набрал номер и долго слушал гудки вызова. Наконец трубку сняли.

— Петрович, обстановка? — как мог спокойно, сдерживая дыхание, спросил Иванов.

— Какая, на хрен, обстановка, Алексеич?! Все, отбой, сворачиваемся. Все «подарки» убери подальше и больше не звони. Встретимся через недельку на даче, обсудим.

— Ну ладно, Миша, пока, я все понял.

На том конце провода трубку тут же повесили. Валерий Алексеевич еще несколько секунд послушал короткие гудки, оглядывая пустынную улицу. Аккуратно нажал на рычаг и вышел из будки, вытирая вспотевший от духоты лоб. Посмотрел на угловой магазин напротив, вздохнул, водка была по талонам, а талонов не было. Да и не время… И не спеша побрел обратно, домой.

Мимо Гарнизонного кладбища, мимо Братского, мимо 2-го

Лесного. Свернул на 1-ю Длинную, потом скосил дворами на 2-ю. У Палыча, жившего там, дома никого не оказалось. А жаль!

Иванов круто развернулся и снова пошел к телефонному автомату на Брасу. Набрал по памяти 342–073 — номер дежурного по базе ОМОНа. Отозвался толстый Чук.

— Лейтенант Мурашов в расположении?

— Сейчас посмотрим, — буркнул одышливо страдающий диабетом и потому последнее время не вылезающий из дежурки Чук. В трубке слышно было, как он переключается на громкую связь с кубриками и вызывает Толяна. Тот откликнулся на удивление быстро и весело:

— Валерка, ты? Молоток, я знал, что ты позвонишь!

— Ну, как вы там? — спросил Иванов осторожно.

— Как, как. Зашибись! Приезжай, помрем вместе!

— Когда? — после короткой заминки обыденно спросил Валерий Алексеевич.

— Да прямо сейчас, пока не поздно, а то перекроют дороги. Возьми «тачку» и проедь до железки старой, ну, знаешь где. А там леском пять минут. Только аккуратно. Переоденем на месте. А дальше как карта ляжет! Если кто есть под рукой, бери с собой, оружие на всех найдется!

— Нас же слушают наверняка. Ну, понял, теперь все по фигу. Да уж, теперь вряд ли кого к вам затащишь. Разве что старика да еще пару человек.

— Бери всех, пригодятся! Весело будет! Наконец-то полная ясность подкралась незаметно!

— Хорошо, через пару часов буду.

— Аллу с Ксюхой отправь из города или к родителям отвези, а лучше к теще, отец у тебя сам под прицелом может оказаться. И привет передавай!

— Передам, если увижу. Они и так на даче сидят. Ладно, до встречи!

— Береги себя, Поручик! Я в тебе всегда был уверен, как в себе!

— Ладно, хорош звиздеть, время пошло. — Валерий Алексеевич повесил трубку.

Глава 14

Октябрь, 1991 г. Самое трудное — это поднять чердачный люк и высунуть в него голову, чтобы осмотреться. Делали это по очереди. Потому что как ты ни исхитряйся, а ничего другого не придумаешь — голову придется в люк высовывать. И оттого, что ты вперед головы сунешь в жаркую, парную чердачную темноту руку с пистолетом, ничего не изменится. Рука все равно сама, без головы, ничего не увидит. Значит, сначала надо аккуратно, но быстро откинуть люк, а потом сразу нырять в открывшуюся черную дыру головой и вертеть во все стороны глазами, еще не проморгавшимися до конца от слепящего уличного полуденного солнца Тирасполя. А будет там кто на чердаке или не будет, прислушавшись к осторожным шагам на лестнице, выцеливать твою голову — без разницы. Первый всегда первый. Потом затаившийся на крыше снайпер или радист уже не уйдет от группы захвата, но. к очередному люку все поднимались по очереди, будь то майор-аналитик или повоевавший еще в Афгане орденоносец-сержант, или Иванов, человек в принципе штатский, но как политик — назвавшийся груздем еще в 89-м — вынужденный теперь лезть в «кузов», то есть в чердачный люк, вместе с остальными рижскими омоновцами, всего неделю назад прибывшими в Приднестровье из оказавшейся опасно негостеприимной российской Тюмени.

Тех, кто не стал ждать, пока его выдадут латышской прокуратуре, но и не мог просто прятаться без дела, еще не отойдя от шока августовского крушения империи, а потому поехал дальше, по горячим точкам, где еще продолжалось хоть какое-то сопротивление, было совсем не так много. А потому никто не соблюдал привычное по штатному расписанию распределение обязанностей. Здесь уже не было ни назначенных командиров (оставался только авторитет), ни уставных приказов (оставалась круговая порука), ни отговорок, типа я «штабной». Да и «светить» перед до конца непонятными приднестровскими властями свою реальную структуру и реальное прошлое никто из омоновцев не собирался. «Рижане», и все. В тираспольской гостинице «Дружба» прибывшую группу вообще поселили как «делегацию пекарей», прибывших по обмену опытом из России. Добро хоть поселили за счет администрации. Вот и ходили по гостинице, изнывая от непривычной для октября молдавской жары, «пекари» в трениках и летних десантных тельняшках. Мужики были все как на подбор, в самом соку — от двадцати пяти до сорок лет. Попробовавшие уже самых разных хлебов. И

немало хлебов испекшие.

Задачи им толком поставить никто не мог, но и проигнорировать такое подкрепление не решался. Потому и в этот день приказ у старшего группы был вполне абстрактный. Прочесать чердаки на центральных улицах с целью выявления наблюдателей и диверсантов, заброшенных Кишиневом. Правда, еще вчера аккуратно вытащенного из машины с оружием и документами офицера молдавского ОПОНа, доставленного в Дом Советов рижанами… почему-то отпустили после непродолжительной беседы.

А мужикам посоветовали не лезть на рожон и брать только тех, «кого скажут». Но начальник милицейского подполковника, который отпустил молдаванина, вечером уже сам пришел в номер к Питону с Поручиком и, в свою очередь, посоветовал «не доверять тираспольской милиции» (им же возглавляемой), потому что «люди у нас служат разные»…

Так и шел день за днем, между молдавским марочным коньяком по смешным после Тюмени ценам, между сытными, жирными мясными обедами в бесплатной столовой для приднестровских гвардейцев, между осторожными прогулками по тираспольским улицам и обозрением самых красивых в мире приднестровских девушек, смешавших в себе русскую, украинскую, греческую, молдаванскую кровь, замешанную на солнце, персиках и винограде… «И что они там пря-чу-уть?!» — задавался риторическим вопросом горячий рижский узбек Сашка Архаров, провожая взглядом очередную тонкую тростинку, гордо несущую впереди себя упругий бюст пятого размера. А потом надо было снова получать оружие в Доме Советов (свое придерживали, не светили), ехать охранять неизвестно кого, искать непонятно кого, вести переговоры о дальнейшей службе непонятно с кем. Непонятно от кого получали подъемные и первую зарплату, непонятно кто фотографировал на новые, с российской пропиской, паспорта и помогал придумывать новые фамилии и биографии.

А вечером собирались обычно в номере у Питона, как старшего по званию, возрасту, опыту и авторитету. Не задавали вопросов, почему с ним в номере живет не один из офицеров, а Поручик, давно знакомый им еще по Латвии интеллигентного вида мужик, который то переодевался на базе в камуфляж и с оружием выезжал на акции, а то появлялся в штатском с заезжими центральными журналистами, весь из себя не имеющий никакого отношения к отряду, но ни разу не обошедшийся без инструктажа личного состава, допущенного к общению с москвичами или даже вовсе — иностранцами.

Поручик был с ними в Риге, вместе улетал в Тюмень, теперь, после недолгого отсутствия, оказался вместе с ними и в Приднестровье. Кто повнимательнее, те нашли его в официальных списках Рижского ОМОНа, поданных латвийскому правительству перед передислокацией отряда в Тюмень. Но кто будет задавать глупые вопросы, когда командиром батальона «Днестр» внезапно оказался заместитель начальника Рижского УВД, да еще не под своей фамилией. Когда случалось встретить в Тирасполе рижских оперов из угрозыска, да и начальником госбезопасности непризнанной республики вскоре тоже окажется подполковник милиции из Риги.

На обороте листовки, написанной им по просьбе аналитика Питона, листовки уже для Приднестровья; листовки, послужившей причиной столкновения рижских омоновцев с местными политиками и частью уже пристроившихся здесь ранее рижан, Поручик писал ночью, отхлебывая из большой пузатой бутыли розовое домашнее молдавское вино, короткие строки:

Нам пригнали двенадцать «бортов»,
Аж просела под ними бетонка.
Сто навек перекошенных ртов,
Сто беретов…
Не плачь, девчонка!
Твой отец не обижен судьбой,
Просто больше сюда не вернется.
Этот дом уже — дом не родной.
Ты не плачь, а то сердце взорвется!
Круто вверх закрутив карусель,
С интервалом в одну сигарету,
Словно листьев опавших метель
Нас «борта» разбросают по свету.
В чемодане лежит красный флаг
С голубою балтийской волною.
Он завернут в тельняшку.
Вот так
Со страной разочлись мы родною.
Автомат ухватив за цевьё,
Вместо горсти земли латышской,
Каждый думает про своё,
Освещая затяжкой лица.
Нам плевать на потоки слов
Вслед негнущимся спинам ОМОНа.
Нам пригнали двенадцать «бортов»
И поставили нас вне закона.

Вне закона. Расстрельную статью из УК Латвийской ССР об «измене родине» Верховный Совет (!) Латвии уже на второй день после 21 августа наскоро переделал, заменив в тексте СССР на Латвийскую Республику. По ней и судили потом всех, по «родной» советской «пятьдесят девятой» (64-й в УК РСФСР). За «вооруженный переворот», которому на самом деле противостояли обвиняемые. За верность присяге. За то, что защищали Родину, защищали ее Конституцию и ту самую 59-ю статью УК. Закон что дышло… Система координат рухнула. Плюс в одночасье стал минусом, а минус плюсом. А мы кто? *Всего лишь точки на графике закономерностей.*

Разбитый, допотопный какой-то, почти как в «Рабе любви», трамвай деловито тащился над обрывом, над «туманом моря голубым», мимо станций Большого Фонтана. Вот и Двенадцатая… Кривые улочки, высокие заборы, густые сады. Улица Ахматовой… Ах, Анна Андревна! Дом четыре. Хозяйка — добрая, тут же подсказала взмыленному Иванову, как пройти к санаторию, в котором уборщицей служит ее жиличка. Там, за рубль всего, можно принять душ. Но надо сказать уборщице в душевой, что он «свой», с «ихнего» дома новый жилец, тогда она пустит бесплатно. Постирать рубашки и бельишко взялась хозяйка безропотно, за три рубля всего. Валерий Алексеевич просить и не решился бы, не привык вчерашний рижанин к одесской простоте нравов, так та сама предложила.

Кинув вещи в сарайчик, послуживший за свою долгую жизнь приютом не одной сотне отдыхающих, Иванов спустился к морю, лежащему далеко внизу, под обрывистым берегом. Море действительно было голубым, как у Лермонтова. Не серым и не серо-зеленым, как Балтика, а именно голубым. «Что ищешь ты в стране далекой? Что кинул ты в краю родном?»… Прибой высокими волнами равномерно накатывал на бетонный причал, пушистым облаком разбивался, опадал и снова взрывался, обдавая Иванова холодными, неласковыми брызгами. Мечта искупаться как-то сразу пропала. Чертыхнувшись, Иванов снова поднялся наверх и отыскал санаторий. Молоденькая женщина с огромными глазами, мывшая полы в павильончике душевых, действительно опознала его как своего и денег не взяла. Но, правда, и воды горячей не было. И даже света в темных, без окон, кабинках душа. Валерий Алексеевич впотьмах кое-как смыл верхний слой грязи и пота, накопившихся за двое суток приключений, предшествующих возвращению из Тирасполя в Одессу, и уже в полной и внезапной темноте отправился искать,

почти на ощупь, свое очередное временное пристанище.

Крысы одна за другой пробегали по тонкой крыше сарайчика, срывались с противным писком с высохших виноградных лоз, обвивших стены, и грузно шлепались наземь. Мерно, как будто это оно спало, а не Валерий Алексеевич, дышало море далеко внизу.

Звезды ослепительно ярко сияли в совершенно черном небе, но никто, даже со звезд, не мог бы увидеть, что снилось Иванову под толстым ватным одеялом, заботливо постеленным ему хозяйкой — все-таки уже ноябрь.

— Нет, вы не понимаете, какое счастье бывает у человека на войне! — не выпуская цевье автомата, брякнувшего сердито, он обнял, раскинув руки, ребристую морду БМП, пахнущую солярой, маслом, сапогами, порохом — скользко-шершавую под саднящими, разбитыми в кровь руками.

— Ты че, П-поручик?! Ширма хлопнула? — высунулся из командирского люка на сладострастный стон восторга Архаров, светя фиолетовыми фонарями глаз под черной папахой густых волос, седых от песка и пыли. — Боек-комплект в п-порядке, г-горючка в норме, м-можно заводить! Не п-плачь, военный! Ща мы им засадим по самые п-п-помидоры… — Сержант пристально вгляделся в страшное лицо Иванова и понимающе протянул, прицокнув языком: — Эк за-ацепило парня! Это он от счастья п-п-положить еще десяток-д-другой румынских това-арищей ч-чуть не пла-а-чет! А такой был ин-ин-теллигентный еще в-в-вчера… Од-дно слово — п-политработник.

Дизель, запущенный Рыжим, отозвался на эти слова густым резким выхлопом, прочихался и заревел ровно, уверенно, как-то по-свойски.

— Да и то в-верно, *своих* в-встретила, — ласково пробормотал Архаров, похлопав хозяйски по нагретому, облупившемуся боку машины и подал цепкую руку Поручику, неловко, шипя от боли во всем теле, карабкавшемуся на броню.

— Я мстю, и мстя моя ужасна! — проорал Рыжий снизу и захлопнул свой люк.

Бээмпэшка дрогнула и рванулась по выжженной солнцем белой песочной дороге. «Но пыль — пыль — пыль — пыль — от шагающих сапог… — вертелось в голове Поручика, — филолог долбаный, нашел, когда Киплинга читать. и отпуска нет на войне.»

Глава 15

1995.

— Пойми, Робчик, твоя и твоих ребят главная задача на сегодня — просто выжить.

Сохранить себя и быть готовым действовать в любой момент. Когда придет время. Не просто затаиться и плюнуть на все. Не просто выжить, но учиться. Развиваться, накапливать экономическую мощь, создавать по человеку буквально твердый костяк, на который в случае необходимости всегда нарастет мясо.

— Сколько и чего ждать-то, Валерий Алексеевич? — несогласно мотал головой упрямый Робчик — здоровенный парень двадцати пяти лет, не успевший повоевать в перестройку и тщетно пытающийся догнать упущенное время.

— Сколько надо, столько и ждать, Роберт! Сейчас — потерянные для политической деятельности годы. Твоя задача — не потерять их для нас, для будущего. Та шушера, которая делает вид, что занимается политической борьбой, — все эти жданки, цилевичы, РОЛы и прочие бывшие народнофронтовцы — это все ельцинская когорта. Связываться с ними — запачкаться — потерять себя для дальнейшей борьбы. В России, пока не уйдет Ельцин, будет хуже, чем здесь. Но и без России здесь ничего мы сами по себе не сделаем полезного. Всякая «самоорганизация» масс без внешнего вмешательства — это миф. Так что бросай свои «игрушки» и людей с толку не сбивай. Тоже мне «белорусский партизан» — поезда под откос пускать!

— Ну и сколько так сидеть сложа руки? — Робчик разлил по стаканам и надавил клавишу потасканного кассетника, стоявшего поверх ящика с инструментами. По мастерской поплыли аккорды его любимой песни: «Мы русские — с нами Бог!»

— А ты не сиди сложа руки! Разве я тебе об этом говорю? — Иванов раздраженно прикурил новую сигарету, встал, прохаживаясь по захламленной приборами комнате. — Мы должны дождаться, пока пройдет шок у людей. Когда народ поймет наконец, что стоит за всеми переменами, пока на собственной шкуре большинство не испытает все прелести дикого капитализма. Пока чувство русского национального самосознания не проснется у людей, привычно считающих себя бывшими советскими. Пока это же самое не произойдет в России, наконец! Но дожидаться — не значит сидеть сложа руки! Только каракозовых из себя изображать сегодня — во вред делу, пойми ты один раз!

Успеете еще навоеваться. Воевать надо не пешками в чужой

игре. Я это уже проходил, не хочу больше и не буду. И тебе не советую. Вставай на ноги как человек, как личность, собирай друзей, не отпускай их от себя, воспитывай, учи терпеть и ждать — вот лучшее, что ты можешь сделать сегодня. Иначе тебя, как барана, используют те, против кого ты на самом деле собираешься бороться. И используют в своих целях! А устанешь ждать, сломаешься, захочешь личного подвига во имя себя — кончишь провокатором.

— Ну ты, Алексеич, полегче! — вскинулся парень.

— Чего полегче? Я тебе говорю о том, что тебя может ждать, если побежишь очертя голову, не зная куда. Тебе еще надо найти ориентиры — «-куды бечь». Прошлого не вернешь, так, как было, никогда уже не будет. И это ни плохо, ни хорошо — это факт. А за какое будущее бороться — ты это знаешь, ты это понял? Кто в этом будущем друг, а кто враг? Кто свой, а кто чужой? Кто?

— Ну, в этом-то уж я разберусь, не маленький!

— Конечно, не маленький, на голову меня выше! — Валерий Алексеевич уселся верхом на стул, махнул водки из стаканчика и успокоился, умерил пыл. — Я свою точку зрения тебе высказал. Ты просил, я сказал. Самой страшной вашей ошибкой будет попытка перепутать нынешнюю российскую власть — с Россией. Ельцинскую свору — с русским народом. Никаких *отдельных* от России и всего русского народа *латвийских русских* — нет! Мне не веришь, узбека Архарыча спроси, он — то уж всяко навоевался, но выбрал все равно Россию. И запомни, друг, воевать надо с умом, воевать надо только тогда, когда никакого больше выхода нет, а не потому, что хочется. А пока твоя задача — жить. Просто жить и оставаться человеком. Чтобы остаться им и тогда, когда будет нужно. Ты в себе разберись сперва, чего тебе охота — конституции или севрюжины с хреном. А потом уже создавай свои организации, вступай в чужие. Тогда уже делай что хочешь. Ответственность за людей начинается с себя, Робчик! Не надо никого спасать против воли. Не надо в рай тащить за яйца, насильно. Переубеждать взрослых людей, выбравших сытое рабство — ассимиляцию, — бесполезно. Только сам с ними вместе, переубеждая, незаметно скурвишься, как вшей наберешься. А русских настоящих, несмотря ни на что не потерявших веры в Россию, запутаешь.

В таких разговорах они часто коротали время и разбавляли водкой накопившуюся душевную боль. Со временем прошлое отступало куда-то в глубину, в бездонную пучину памяти и, к счастью, молчало. Вернувшись в 92-м году в Латвию, Иванов отдал себе приказ: Забыть!»

И действительно — забыл. Растравлять память было опасно

по многим причинам. Можно было сойти с ума, превратиться в обычного психопата из числа душевнобольных почитателей Проханова и газеты «День», она же «Завтра». Могла по пьяной лавочке «хлопнуть ширма», что тоже было чревато серьезными последствиями, и жизнь неоднократно это доказала на опыте многих товарищей. Память была засорена многими подробностями, именами, деталями событий, знать о которых не нужно было никому, тем более что число тех, кому «знать не надо», росло с каждым годом угрожающими темпами — прищучили одного, скурвился другой, попал в переплет третий… «Своих» фактически не осталось. Кроме тех, кто был когда-то рядом, кто знал гораздо больше Иванова. Но тех, кто знал все, — таких тоже не было и не будет уже никогда. Кто теперь свой? Российские, ельцинские власти? Латвийская прокуратура? Бывшие коллеги — журналисты, ныне исправно сотрудничающие с властями и той же прокуратурой одновременно? Политики? Порядочные давно списаны со счетов победившей временно кликой, поставлены в положение изгоев, оболганы и посажены на короткий поводок, окружены стукачами и провокаторами. Те, кто остался на плаву, те и раньше были «нерукоподатны». Да и к тому же, даже избавившись от остатков совести, мало было просто прийти на поклон к бывшим противникам, надо было еще хотя бы выйти замуж за еврейку, если уж не сделать обрезание, как мрачно шутили, глядя на списки русскоязычной «оппозиции», многие русские.

Своих, тех, кто активно участвовал в прошедших бурных событиях, в Латвии осталось не так мало. Многие были вынуждены вернуться в Ригу, сделав круг по горячим точкам, выпустив неукротимую, казалось, ненависть и упорное нежелание смириться с обстоятельствами, которые, как известно, всегда выше нас. Ельцинская Россия, сдававшая все и вся, нынешний «россиянский» режим, ставший откровенным организатором неисчислимых трагедий последних лет, — режим этот был ненавистен куда более латышского и куда более опасен своей абсолютной психопатической непредсказуемостью.

В отличие от некоторых бывших сослуживцев Валерий Алексеевич не стал дергаться в октябре 93-го. Ломанулся было на московский поезд, вышиб закрытую на ключ отчаявшейся женой дверь, но по дороге все же одумался. Надоело играть в чужие игры, а то, что герой еще первой «защиты Белого дома» Руцкой и чеченец Хасбулатов играли свои игры, — это уж было понятно и тогда. Чем руководствовались Чеслав и аналитик отряда Питон, принявшие, по слухам, деятельное участие в событиях октября, — понятно. Они, как всегда, намеревались повернуть чужую игру в

свою сторону, переломить даже эту, очередную безвыходную ситуацию и направить процесс в нужное русло. Еще в 91-м объявленный в розыск и латвийскими, и российскими властями, Питон опять выжил, ушел в числе последних защитников Белого дома подземными ходами, когда увидел, что генерал Руцкой даже не готов застрелиться от позора, а просто сдается на милость победителя, как шулер после неудавшейся подставы.

Когда-то Иванов пытался сыграть в такую же игру в Приднестровье. В удачное развитие операции вмешался тупой случай, и им пришлось в очередной раз уносить ноги, отсиживаться в Одессе, ожидая, пока снимут наблюдение с вокзалов и аэропорта. И снова искали их все — и снова «своих» почти не было. Опять же, кроме тех, кто принимал непосредственное участие в деле, и только этим, своим непосредственным участием в общей операции был застрахован от подозрений. И то не на все сто процентов. Такое уж время было. И до сих пор это проклятое время предательств все не кончалось.

А потому память просто замолчала. Чтобы никого не выдать, пусть случайно, в застольной беседе. Чтобы самому не сдвинуться по фазе, чтобы продолжать жить, потому что, пока ты живой, всегда остается шанс на победу. А на то, как быстро меняется ситуация в современном мире, Иванов уже насмотрелся.

Советоваться было не с кем. Лидер Интерфронта Алексеев, затравленный со всех сторон, но так и не отрекшийся ни от одного своего слова и дела, вынужденно отошел в сторону. Как человек воцерковленный, он все больше думал о спасении души. Никому не доверял. Ни в кого, кроме Бога, не верил. Несколько раз они с Ивановым встречались. Но говорить было особо не о чем. Каждый из них знал, что наступило безвременье. Безвременье это надо было просто пережить по возможности честно, чтобы не запачкаться и не зачеркнуть все сделанное когда-то ими.

И советчиков с собеседниками у Иванова в 95-м году тоже не было. Были несколько бывших офицеров и сержантов ОМОНа, с которыми вместе делали что-то когда-то. Но выходить за рамки этих «что-то» Иванов не хотел и не мог. Да и они не спрашивали. У каждого хватало своего, о чем не знал никто. Поэтому дружили семьями, пили вместе водку, поддерживали друг друга. Но не говорили о прошлом, по умолчанию, так сказать.

А вот Аналитика и еще одного старого друга — лейтенанта Мурашова, ставшего уже в Тирасполе майором, — Иванову очень не хватало. Но офицеры остались за границами Латвии, в которую всем им путь уж точно заказан. А поддерживать

контакты с людьми, находящимися в розыске, было опасно прежде всего для них самих. Изредка приходили стороной, обойдя не одну границу, короткие весточки. Знали друг про друга, что живы. И этого пока было достаточно.

Встав на ноги после возвращения в Ригу, Валерий Алексеевич все забыл. По счастью, все его тоже успели забыть за прошедшее до возвращения в Латвию время. Легально предъявить ему, по статусу — журналисту, было нечего. А про нелегальное никто и не знал, а кто знал, тот сам был участником и потому молчал. Была только одна зацепочка — перед отправкой ОМОНа в Тюмень власти неожиданно ставшей независимой Латвии потребовали представить *полный* список сотрудников, улетавших в Тюмень. Была там и фамилия Иванов. Но, наверное, никто из бестолковых еще совершенно латышских спецслужб не сложил два плюс два и не понял, что тот Иванов, Иванов — интерфронтовец и независимый журналист Иванов — это одно и то же лицо. Все, кто мог что-то рассказать, оказались за пределами Латвии. Или сами не были заинтересованы в болтовне, как участники событий. А потом все стихло — не до сведения счетов было на тот момент — надо было срочно «распиливать» оставленное СССР богатое наследство. Да и рыльце у многих представителей новой власти было в пуху — так отчаянно метались они из стороны в сторону все годы перестройки в попытках угадать — на какую лошадь все же поставить окончательно. А может, и Бог помог, говорят, первый год после крещения всегда человека хранит незримая сила. Так или иначе, повезло Иванову. Разве что пропечатали пару раз в отмороженных напрочь националистических газетенках в списке тех, «под чьими ногами стонет латышская земля». С указанием интерфронтовского прошлого, с точным домашним адресом и телефоном. Этим все и кончилось.

Инстинктивно, по наитию, или Бог ведает как еще, но Иванов демонстративно сменил имидж, с головой окунувшись в так кстати подвернувшееся коммерческое телевидение. Он не участвовал в журналистских тусовках, за исключением сугубо внутристудийных. Зато пропадал сутками на съемках, носился с камерой по всей, невеликой впрочем, стране. Он часто ездил в командировки за рубеж — не туристом, а членом экипажа танкера, грузового авиалайнера, рыболовецкой бригады. Оттаивал душою с новыми людьми, которым некогда было думать о политике и вспоминать прошлое — они много и трудно работали, делали свое дело и были настоящими, нормальными мужиками, с которыми не надо было кривить душой, отвечать на глупые вопросы и корчить из себя телезвезду.

Рядом крутились девочки, всегда мечтавшие о телеэкране,

пара-тройка приятелей, с которыми не было противно выпить водки, и лихорадочный калейдоскоп смены мест, ощущений и впечатлений помогал памяти исправно выполнять приказ — все забыть.

Впереди еще было возвращение на политическую сцену. Впереди еще ждала Родина.

Копаясь при мне в перевезенных в Питер архивах, морщась досадливо, вспоминая те или иные документы, которые были утеряны или самим уничтожены на всякий случай когда-то, Иванов вдруг резко, как рыбку подсек, вытащил из картонного ящика несколько тонких листков бумаги, зажатых скрепкой и почти сросшихся в одно целое от долгого пребывания в тесной папке.

— Смотри, Тимофей, что я нашел! Это интервью никогда не было опубликовано. Это последнее, что хотел сказать людям Алексеев. Я с большим трудом уговорил его на этот разговор, хотел попробовать опубликовать материал в «СМ — сегодня». Но в редакции повычеркивали почти половину текста — шел уже второй год «независимости». Анатолий Георгиевич визировать интервью в таком виде отказался. А я потом и сам про эту встречу забыл. Столько всего навалилось тогда, я ведь едва вернулся в Латвию из России. Может, оно и к лучшему, что не напечатали, мне ведь тогда высовываться было совсем не с руки, но я не мог оказаться в числе тех, кто бросил лидера запрещенного новой властью Интерфронта, вот и попытался сделать хоть что-то. Вот, читай, здесь полный текст, без редакторской правки.

«Вокруг слишком мало тех, с кем можно пойти в разведку»

Несколько вопросов Анатолию Алексееву

— Анатолий Георгиевич, прошел без малого год с тех пор, как вас «ушли» из Верховного Совета Латвии. Означает, ли это для вас уход с политической сцены, вообще?

— Я бы. сказал, что для меня было важнее не столько изгнание из парламента, сколько мои размышления над этим, фактом, а точнее, отсутствие сколько-нибудь значимой реакции общественности на эти события, да и участие в них тех, кого можно было называть своими соратниками. Все это навело меня на мысль о том, что важны не столько политические принципы, сколько то, какие конкретно люди стоят за ними, каковы их человеческие качества: доброта, честность, способность к взаимопониманию, наконец.

Опыт, который я вынес из своей политической жизни, показывает, что людей, с которыми можно было бы «пойти в разведку», вокруг меня слишком мало. Во всяком случае, для того,

чтобы создать какое-то новое движение. Поэтому я сейчас действительно ушел от активной деятельности. Сейчас я больше наблюдаю, причем наблюдаю в основном за событиями в России, потому что мне кажется, именно там делается история. Все остальное — производное.

— Означает ли это, что здесь, в Латвии или в других, более или менее благополучных регионах бывшего СССР можно и нужно ничего не делать, а только ждать, как развернутся события в России?

— Нет, я бы. так не сказал. Конечно, в Латвии тоже нужно как-то действовать в связи с создавшейся обстановкой. Но для этого нужны, люди, которые могли бы именно действовать, а не заниматься только разговорами. На сегодняшний день в оппозиции, в тех организациях, которые ее представляют, я не вижу людей по-настоящему деятельных. Вот говоруны там есть. Кстати, среди тех, кто сегодня претендует на роль активных деятелей, очень много лиц, внесших в свое время немалую лепту в раскол Интерфронта. Потом, они попали в Верховный Совет, где в лучшем случае участвовали в редактировании принимаемых НФЛ законов в части запятых и прочих знаков препинания.

— Вы. находились в оппозиции не только правящему большинству парламента, но и фракции «Равноправие». Почему?

— Ну, во-первых, потому, что я был избран от Интерфронта, без всяких оговорок, и я действительно был представителем ИФ. В своей деятельности я всегда выступал за то, чтобы Интерфронт был самостоятельной организацией, имеющей свою позицию. Это не значит, не иметь союзников — это значит, иметь свое лицо! И моя позиция независимого депутата позволяла мне выражать точку зрения независимого Интерфронта.

С другой стороны, я не вошел в «Равноправие» еще и потому, что там было много людей, с которыми у меня психологическая несовместимость. Я недолюбливал их, они — меня. Последние события, как мне кажется, подтвердили правоту моих ощущений. «Равноправие» называло себя фракцией компартии Латвии, они очень тесно сотрудничали, закончилось же это впоследствии тем, что не так давно большая часть этих депутатов почтила вставанием память латышских эсэсовцев. Я уже не говорю о том, как быстро они отмежевались от КПЛ после августовских событий. Некоторые даже стали утверждать, что они сотрудничали с партией «из тактических соображений». Ну а поскольку у меня не было тесных объятий с компартией, у меня не было необходимости от нее отмежевываться, что позволяло занимать взвешенную позицию, как тогда, когда партия была правящей, так и тогда, когда она стала преследуемой.

— Многие из депутатов, отрекшись от КПЛ, ранее отреклись и от Интерфронта, с именем, которого они получали голоса на выборах.

— Отбор кандидатов, если вспомнить историю, в Риге например, осуществлялся горкомом, партии. Там. был «мозговой центр», в который входили Ромашов, Белайчук и Жданок. А вот на своих встречах с избирателями практически все кандидаты от партии заявляли, что они поддерживают Интерфронт, потому что тогда сказать «Я против ИФ» значило заранее потерпеть поражение.

Нельзя не отметить некоторую аналогию тем методам, которые применяются сегодня, когда этот опыт хотят перенести на выборы в сейм. Я имею в виду включение кандидатов в «Русский список», когда они могут быть неизвестны избирателям, но за них проголосуют только потому, что список называется «Русским».

— Вы известны как лидер Интерфронта. Сегодня время расставляет все по своим местам, и уже очевидна справедливость давнишних, хоть и мрачных, но трезвых прогнозов ИФ на будущее нашего независимого государства. Мы накануне событий, которым предстоит определить дальнейшую судьбу Латвии. Как бы. вы. оценили расстановку сил перед выборами, какими вам видятся их результаты?

— Я хотел бы напомнить один забывшийся факт. В свое время, когда Верховный Совет утверждал праздники, депутат Костанда сказал по поводу Дня Победы, что 9 мая не может, быть для нас праздничным, днем, потому что в этот, день наши отцы, сложили оружие в Курляндском котле. И действительно, 9 мая не было признано праздником, и никто из депутатского большинства не отмежевался от заявления Костанды… Это дает основания предполагать, что большинство депутатов оказались детьми тех, кто сложил оружие в упомянутом, котле. Последние события, к сожалению, только подтверждают, эту мысль. И я боюсь, что в Сейме будут, достаточно широко представлены, люди, готовые поднять оружие, сложенное их духовными отцами.

Дело даже не в том, что я питаю неприязнь к наследникам, гитлеровских подручных, а в том, что они приведут Латвию к катастрофе. Готовящееся к принятию постановление Верховного Совета, согласно которому из Латвии намереваются выселить вместе с военными и всех их потомков, показывает, что государственные мужи прост теряют разум. Я даже не говорю о человеческой стороне вопроса. Дело в том, что если бы в России было не «оккупационное», как часто принято его называть, правительство, то на это постановление последовала бы очень простая реакция России — если мы эвакуируем, всех, так или иначе

связанных с армией гражданских лиц, то мы оставляем Российскую армию в Латвии еще лет на десять—пятнадцать. Военные привыкли к каким-то лишениям, а двести пятьдесят тысяч гражданских лиц не поселишь в палаточных городках в степи. Значит, сначала надо обустроить этих людей, лишенных, кроме всего, и работы, и средств к существованию, а затем, уж выводить армию! Так в интересах ли Латвии и латышского народа подобное постановление?

— Выборам, в сейм, предшествует, важное событие в России — референдум. Как исход референдума может повлиять на политическую жизнь Латвии?

— Моя позиция однозначна. Я считаю, что Ельцин — это позор России и ему не место в президентском кресле. Но результаты референдума вызывают, у меня опасение. Опыт, опросов населения, проведенных в Латвии, говорит о том, что настоящие демократы люди наивные и они даже не представляют, какие махинации возможны во время проведения подобных мероприятий. А все те, кто себя называет «демократами», — люди в подобных вопросах весьма искушенные… Победа же Ельцина может нанести патриотам сильнейший ущерб, сродни шоку, вызванному исходом августовских событий 91-го года. Так что настраивать себя на блицкриг не приходится. Но будем надеяться, что судьба будет все же благосклонна к нашему Отечеству.

Что же касается Латвии, я хотел бы. заметить в преддверии выборов, что русские здесь — это не только «мигранты» и военные. Уже сейчас двадцать пять процентов граждан — это представители коренного русского населения. С приемом закона о гражданстве, каким бы он ни был, это число увеличится еще более. Так может, ли вообще идти речь о мононациональном «латышском» государстве в Латвии?

— Самое важное, о чем вы хотели бы еще сказать?

— Когда говорят о «русских списках», об объединении русских, у меня вызывает удивление, что те, кто больше всего поднимает русский вопрос, зачастую с ненавистью воспринимают мою симпатию к людям верующим, в первую очередь к православным. Я считаю, что как раз православие — это та сила, которая способна дать нам второе дыхание, спасти и нас, и наше Отечество.

Вообще же, нам, конечно, не хватает русских в Верховном Совете. Ведь как приятно читать, например, в «Гардиан», когда речь в ней идет о проблемах Латвии: «еврейский парламентарий Жданок». Я думаю, что это правильно. Я себя тоже в Верховном Совете считал русским парламентарием. Не надо забывать ни о своей национальности, ни о своих национальных интересах.

Вопросы задавал Валерий Иванов март 1993 года

Надо было жить дальше. Сделанное — не может стать несделанным. Придет время, и память вернется. И потребует.

Часть вторая. Память возвращается

Краткий конспект своей жизни Иванов выложил довольно быстро. Уже через пару-тройку месяцев после нашего знакомства он перестал отмалчиваться в ответ на мои докучливые стариковские расспросы — уважил мое искреннее любопытство. Но видно было, что Валерий Алексеевич не оттаял еще душою как следует, не до конца еще верил тому, что он в России, что он здесь навсегда. А главное, что Россия уже снова *другая.*

К счастью, Россия сегодня действительно не та, что встретила рижских омоновцев 1 сентября 1991 года в Тюмени. Та, по иронии судьбы, называющая себя *сегодня* «другой Россией», осталась в 90-х годах ушедшего века. Но Иванов-то запомнил Россию именно такой — сошедшей с ума, вопящей, проклинающей саму себя, кающейся в грехах действительных и мнимых, плюющей в себя и ходящей под себя — больной, казалось, неизлечимо. Та Россия отторгла от себя большинство выведенных в Тюмень рижан, содрала их с себя, как расчесывает коросту с сукровицей человек в беспамятном безумии, не давая затянуться кровоточащим ранам.

Память о той, другой, России никак не уходила. И вместе с тем еще долго к Валерию Алексеевичу никак не хотела возвращаться память о событиях, которые он сам вычеркнул из своей жизни когда-то. Сначала думал — на время. Потом показалось, что уже навсегда. А когда почти двадцать лет прошло и навредить уже никому не мог — ни себе, ни друзьям-товарищам, — вспоминать оказалось неожиданно трудно. Словно и не было ничего с 89-го по 92-й год. Просто пустота и фантомные боли, как бывает после ампутации конечностей. А тут не конечности, тут Родину ампутировали у десятков миллионов русских людей. Не раз, начиная было рассказывать о январских событиях в Риге и Вильнюсе, или об августе 91-го года, или о Приднестровье, Валерий Алексеевич вдруг замолкал на полуслове, на самом интересном месте и, пробормотав: «.это не интересно, впрочем», уходил в себя, словно опасаясь слишком долго смотреть назад с высоты прожитых после перестройки лет. Так, резко отпрянув, отворачиваются от начинающей притягивать к себе земли, глядя на нее с крыши или с балкона двадцатого этажа.

В юности, только приехав в Ригу и поселившись в девятиэтажном доме, Валера частенько вылезал на крышу и прогуливался с товарищами по узенькому парапету, по самому краю, совершенно не чувствуя опасности и не боясь упасть. Но

прошли годы, и высота стала притягивать, поэтому он стал ее не то чтобы бояться, но избегал лишних, не оправданных необходимостью контактов с чарующей бездной. Приходилось, правда, часто летать, забираться на съемках на самые высокие точки разных объектов, даже прыгать с парашютом… Но это другое — это *работа.* А вот просто так — поглазеть с высоты на людей-муравьев, постоять на краю, балансируя между твердью и пустотой — уже не хотелось нисколько. Видимо, слишком трудно далось ему снова обрести почву под ногами.

Так и в прошлое забираться не хотелось, слишком зыбким было это прошлое, рассыпавшееся однажды на части, ушедшее из-под ног, опрокинувшееся вверх ногами, сместившее все точки координат. И потому все рассказы вдруг обрывались инстинктивным, *наработанным* за десятилетия усилием. Как автоматом электропитание выбивает при сбое, так и у Валерия Алексеевича что-то щелкало в голове при приближении к некоторым темам и отрубало память.

Но то же самое *время* — категория и философски неосязаемая, и грубо материальная *одновременно* — залечивало раны у всех. Вылечило время Россию, вылечило, видимо, и душевную боль Иванова, начиная возвращать ему память. На второй год жизни в Питере, а потом и в Вырице Валерий Алексеевич стал оттаивать. Все чаще во время наших совместных чаепитий или неспешных прогулок на скованный льдом, закрывшийся заснеженными елями Оредеж Иванов вдруг начинал откровенничать, вспоминая неожиданно тот или иной случай из *прошлой* жизни. Обычно начиналось все с каких-то мелочей, деталей — неожиданных, противоречивых ассоциаций, уцепившись за которые вытягивал мой обычно молчаливый сосед целый клубок размышлений; связывал ниточки друг с другом, прояснял не *мне — сам себе* те или иные поворотные моменты своей жизни.

Я терпеливо слушал, стараясь не задавать уточняющих вопросов, чтобы не порвать тонкую, путающуюся ткань воспоминаний. Многое оставалось поэтому не совсем понятным. Потом мне приходилось все это самому додумывать, самому выстраивать мостики от события к событию, от мысли к поступку. А поскольку спугнуть Иванова своим намерением написать книжку о тех временах мне не хотелось, то, может, и напутал я чего, не понял, приврал, в чем и признаюсь, и каюсь одновременно. Но как лес состоит из множества деревьев, так и жизнь человеческая из многих дней. За деревьями леса не видать, а за днями скоротекущими, бывает, и собственную судьбу пропустишь. Так что успокаиваю себя тем, что мне, как и

читателю, все одно — со стороны *виднее.* Оттого и упреков соседа не боюсь, что, мол, выдал его сокровенные тайны. Осталось ли что от настоящего Иванова в моем романе, даже ему, наверное, будет трудно сказать. А значит, ему не стыдно и мне не страшно. А читателю — развлечение. Чтение ведь давно уже стало *медитацией* — дома ли перед сном или в метро перед работой — про Евлампию ли читать или про Иванова — какая, собственно, разница? Что про донцовских мопсов, что про Родину — россиянину один хрен. Медитация. Шуршание страничками, мятый глянец мягкой обложки да покачивание вагона на ходу: «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция «Площадь Восстания», переход.»

За восстанием всегда следует переход. Даже если восстания не было. Как не было ни песенной латышской «революции», ни московского «путча». «Кто как обзывается, тот сам так называется!» — кричали мы в детстве в ответ на дразнилки. Эту бы детскую простоту да в ответ на геополитические вызовы современности. Впрочем, подполковник Путин, начиная с Мюнхена, так и поступает. Совершенно по-детски. И очень правильно.

А в 89-м… Тогда подполковник Путин, говорят, вышел к толпе возбужденных объединением нации немцев, собиравшихся захватить архивы нашей разведки, и *тихо* сказал: «Я солдат до смерти». И, сделав что мог, уволился из конторы, в которой давал присягу на верность государству, которого не стало. Дай Бог, чтобы это было действительно так. Дай Бог, чтобы Россия снова стала Россией. Тогда мы еще долго будем дружить с Ивановым и гонять чаи по-соседски. Много ли нам надо? *Жила бы. страна родная, и нету других забот… То снег, то ветер… Черный вечер. Белый снег… Нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной…*

Трассера из автомата прошивают окна дома.
Это бой ведут ребята, да из Рижского ОМОНа.
А до смерти четыре шага.

Глава 1

Пока ты спишь, ты облако, ты небо.
Проснешься, проливаешься дождем.
Я двадцать лет почти с тобою не был,
Теперь целую бережно в плечо.
Сползла рубашка, открывая свету
Округлость плеч, молочность бытия.
Ведь нас поодному на свете нету,
Мы — это ты, когда с тобою я.
На Гауяс живем, как на реке:
Струятся люди, корабли машины,
И в тумбочке — квартирном рюкзаке —
Хранятся книги, розы, апельсины.
Когда трамвай огнями промелькнет,
Спеша гулять вечерним Межапарком,
Нас Гауяс встречает, кошкой льнет
И зажигает в кухне свет неярко.
Мы доживем, однажды, до весны,
Деревья зацветут по берегам потока,
Но всех нежнее расцветешь здесь ты,
Следя за мной из отворенных окон.
И я приду! Какая благодать —
Замков не открывать и не стучаться,
В твои глаза торжественно вступать,
К твоей груди улыбкой прикасаться.
Река течет. Она не иссякает,
Живой водой наш омывает дом.
И пусть никто другой о том не знает —
На Гауяс, как на реке, живем.

Апрель 1990 г.

— Конечно, вы там, в Интерфронте, пайки получаете, на машинах разъезжаете… —

Теща упрямо бурчала на кухне, гремя кастрюльками. Черт ее дернул заявиться в гости с самого утра в воскресенье! — Посмотрели бы лучше, как простой народ живет, который работает, а не статейки в газетах сочиняет. — Теща все не унималась, раздраженная категорическим отказом Валерия Алексеевича ехать на дачу и таскать там тачки с землей, поднимая уровень садового участка на полметра, чтобы не заливало грядки весной.

— Ну какие пайки?! Что вы несете, право слово?! У дочери своей спросите, какие такие пайки я получаю… — Иванов прихватил сигареты и ушел на лоджию. Однако и там не скрылся от тещи, тут же продолжившей свой монолог уже не в сторону кухонной двери, а в открытое окно, на лоджию же и выходившее.

— Сели нам на шею на наши же трудовые денежки! Мало было коммунистов, так еще Интерфронт какой-то придумали! Вот сковырнут вас всех скоро, и правильно сделают!

— А вы, конечно, в Народный фронт уже вступили, вам вместе с латышами независимость подавай!

— А что мы хорошего от вашей советской власти видели? Всю жизнь вкалывала как проклятая на фабрике.

— Ну, посмотрим, что вы запоете, когда ваши мечты сбудутся! — Валерий Алексеевич даже задохнулся дымом от злости. Спорить с орденоносной тещей — ударницей, выстрадавшей на своей «Ригас адитайс» и квартиру, и, совсем недавно, новую «Ладу» вне очереди, — не было сил. И зла уже тоже не хватало. Алла, обычно поддерживавшая мужа, в спор не вступала, не хотела снова ссориться с матерью, по жизни сердитой на зятя, который был «не как все». «Все нормальные люди» работают на фабрике, как она, или на стройке, как тесть. Или в общепите, как ее любимая сестра. Но уж во всяком случае не занимаются бесполезной говорильней, писанием в газеты или верчением на телевидении.

Вышедшая из старинной семьи старообрядцев, теща всю жизнь прожила в Латвии, почти никуда из нее не выезжая, огромной страны вокруг не видела и видеть не хотела, весь ее мир, казалось, как замкнулся с детства на хуторе под Резекне, так и теперь дальше пределов Риги не выходил. А наглый зять не хотел, опять же, «как нормальные люди» все выходные проводить на садовом участке. Он не любил высиживать шумные и долгие застолья на юбилеях многочисленной тещиной родни и вообще был белой вороной в их кругу. Дочь перечить матери не осмеливалась, но чем дальше, тем больше отбивалась от своей семьи, переключалась на интересы мужа и его круг общения. Врожденная крестьянская практичность, наверное, подсказывала теще, что зять неминуемо «влипнет» со своим Интерфронтом в какую-нибудь историю, а значит, ей придется принимать к сердцу интересы дочери и внучки, переживать, а к чему ей эта головная боль, когда надо младшенького — любимого сына женить, а он все никак путную невесту себе не найдет — все какие-то разведенки с детьми попадаются. Да и вообще, все эти «государственные» дела и проблемы не их дело — власть сама по себе, какая бы она ни была, а теща — сама по себе.

Гулко хлопнула дверь, не попрощавшись и даже Алле ничего не сказав, зятек испарился — в выходной-то день! — на службу, по своим непонятным делам.

Иванов торопился на вокзал — встречать съемочную группу Ленинградского телевидения.

Что бы там ни было, он любил жену, обожал дочь, но постоянные споры с тещей доводили его до остервенения. Все так хорошо устраивалось в последнее время! Ксения росла — не нарадоваться — тихой, умненькой, послушной девочкой. Жена наконец-то ушла из ненавистной латышской школы и заняла место Валерия Алексеевича в хорошо ей знакомой русской школе. Недавно сделали ремонт в своей однокомнатной квартире со всеми удобствами. Квартирка теперь просто сияла чистотой и свежестью. Уютный зеленый район, на углу Русова и Гауяс, в двух шагах от Межапар-ка, и вместе с тем удобно добираться до центра.

В Интерфронте Иванов занимается любимым делом — работа творческая, интересная, напрямую связанная со средствами массовой информации. Много командировок, встреч с новыми людьми, быстрое, но заслуженное продвижение наверх. А значит, новые возможности, новые горизонты. Конечно, бывает и нервно, и даже опасно иногда. Но дело наше правое, и совесть тоже чиста — все близкие, друзья и знакомые, за исключением тещи, на его стороне. Конечно, все может еще измениться, но живем один раз, и упустить возможность проявить себя, да еще защищая законные интересы своей страны, своих, русских людей, — разве можно от этого отказаться?

Да, было время, подростком был — любил перечитывать «Хождение по мукам» и «Белую гвардию» — ныло сердце — так хотелось, в пятнадцать-то лет, испытаний. Но вырос, женился, перебесился и к тридцати годам стал консерватором. Иначе, может быть, и кинулся сдуру туда, где сейчас легко, где все «в струе», где начали вертеться шальные деньги и новые возможности. В кооператив хотя бы — книжки с анекдотами про чукчу и Чапая составлять! Ну и?.. Чужое это все. И меленькое какое-то. Главное, люди *там* все чужие. А как с чужими-то людьми всю жизнь прожить? Как и ради чего от своих отказаться? Эх! Сквозило временами предчувствие, что именно эти — свои — возьмут вдруг и кинут по-воровски. Но от этого чужие уже сегодня — и всегда — не перестанут тоже быть чужими. «Делай что дулжно — и будь что будет!».

Иванов быстро шагал по любимой, густо обсаженной могучими липами улице Гауяс к трамваю. Специально выбрал этот путь, чтобы успокоиться, но продолжал мысленно кипеть и

отвечать задевшей за живое теще. Думал ли он когда о том, что Народный фронт может победить, а страна рассыпаться как карточный домик, и тогда судьба его, да и всей семьи круто переменится к худшему или даже страшному? Умом, наверное, понимал, предполагал такую возможность, ведь игра шла всерьез и потихоньку начинала становиться уже не игрой, но войною. Но сердце отказывалось верить в возможность проигрыша, да и *позволить* себе думать о поражении было просто невозможно. Конечно, хотелось каких-то перемен, но вместе с тем хотелось и стабильности, спокойной семейной жизни, любви. Вырастить дочь, *получить* новую квартиру, построить собственную дачу, на которой можно было бы трудиться с радостью, для себя, а не для тещи. Верхом мечтаний, конечно, было бы закрепиться всерьез на Ленинградском телевидении, да и вообще переехать в Ленинград. Работать рядом с питерскими друзьями, забыть про латышей, про хуторское мышление, в конце концов. Вырваться на оперативный простор, создать свою «нетлен-ку». Рига душила — Иванову не хватало свободы полета, жизни для чего-то более высокого, чем короткие перебежки к посту директора школы.

Ну, на самом деле и в школе было совсем неплохо. Детей он любил, профессию учителя искренне уважал и никогда ее не стыдился, наоборот, даже гордился подчас тем, что выстраивал будущее учеников, вкладывая в них *свое* понимание русской литературы, а значит, свои нравственные, духовные и вообще *жизненные* ориентиры. Но если жизнь сама сделала ему предложение, от которого он не смог отказаться, разве можно теперь давать задний ход? Да и смог бы он когда попасть на радио, телевидение, сам распоряжаться, что и как писать и снимать, сам определять каждое свое публичное слово, да и вообще это публичное слово и эту трибуну получить, если бы не Интерфронт? Но и корысти, что бы там теща ни несла, никакой у него нет и быть не может. Зарплата та же, что в школе, а работы больше в разы. Но зато работа интересная, ответственная, важная даже для судеб страны! Люди уважают не за должность, а за дело. Все, все его понимают, кроме семьи. Почему так происходит — чужие люди полагаются на него в важнейших делах и ценят, а самые близкие просто априори, автоматом, с ходу, ничего, кроме насмешек и издевок над его жизнью и местом в этой жизни, выдавить из себя не могут?! А ведь в этом, 1990 году ему исполнилось тридцать лет.

Ну хорошо, Алла и родители не имеют ничего против Интерфронта, это понятно. Но зато удивляться тому, что ему вообще доверили эту работу, скептически качать головой по поводу любых планов — это сколько угодно. Все вокруг *хорошие,*

все вокруг как люди — один Валерий Алексеевич неудалой, бестолковый, малахольный, безвольный — в общем, просто «тьфу!», а не человек. И только в этом сходятся вместе и теща с тестем, и родители, и сама Алла. А скоро, наслушавшись их, и дочка-кроха начнет петь то же самое! Как будто на работе, на службе и дома он — разный человек совершенно.

Понятно, теща с тестем не могут простить то, что зять из другой среды. Алла. жене всегда хочется больше и лучше! Родители пробирают в воспитательных целях и будут воспитывать до конца жизни. Но легче от этого понимания не становилось.

Выпустив пар быстрой ходьбой, Иванов, запыхавшись, вскочил в подошедший трамвай. На Брасе в вагон вошли, сдерживая в себе возбуждение предстоящим днем в увольнении несколько пограничников-срочников. Аккуратные, в наглаженных парадках, чистенькие, пахнущие мылом и одеколоном, молодостью и здоровьем ребята сгрудились на задней площадке, вполголоса обсуждали свои планы. Этим солнечным утром казалось, что так будет всегда — этот трамвай за три копейки, эти солдаты, каким и сам был не так уж давно, это веселое гудение набирающих ход вагонов, долгое скольжение по рельсам между липовыми аллеями, эта размашистая надпись фломастером на стекле: «Я люблю Лешу!». Но ближе к центру, на улице Ленина, в вагон ввалились несколько толстых теток с красно-бело-красными флажками и свернутыми в рулон плакатами. Одна в национальном латышском костюме — взятом напрокат в хоровом коллективе — не иначе.

Тетки сразу же демонстративно загалдели по-латышски, как хозяева. И люди — кто напрягся с естественным желанием тут же ответить разрядом на разряд, кто подчеркнуто громко заговорил по-русски, а кто, наоборот, съежился, отвернулся к окну, как будто внезапно стал гостем в этом трамвае, туристом в чужой стране.

Радостное чувство безмятежного воскресного утра рассыпалось в душе Иванова и больше уже к нему не возвращалось. Трамвай наконец-то пробрался по узкой, запруженной транспортом улице Барона и застыл на перекрестке у Кировского парка. Пограничники ловко выскочили на тротуар, вслед за ними, отбросив эмоции и настраиваясь на деловой лад, вышел и Валерий Алексеевич. Ребята свернули в парк, а Иванов закурил на ходу и пошел к вокзалу, поглядывая на часы — до прибытия ленинградского поезда оставалось минут пять, не больше.

Первым из вагона появился режиссер — Хачик Давидов. Он задержался на секунду в тамбуре, окинул промытое ночным

дождем балтийское небо, шпили Старого города, проткнувшие облака, чаек, парящих над «биг-беном» вокзальных часов, и довольно усмехнулся. Высокая худая фигура легко соскочила на низкий перрон, галстук взметнулся и обвил острый кадык, легкий элегантный костюм запарусил на свежем ветру, горбатый, армянский нос хищно втянул в себя воздух.

— Здравствуй, дорогой! — Хачик порывисто обнял Иванова, отмахнулся от попытки забрать у него дорожную сумку и тут же полез в карман за «беломориной». А тут уже подтянулся и заспанный редактор — Леша Украинцев — нервно-подвижный и чуть хмельной со вчерашнего. Толик Тышкевич, наоборот, выглядел эдаким белорусским плейбоем — подчеркнуто повел сильными плечами под легким свитером; пушистые усы явно пахли французским одеколоном, белая сорочка сияла накрахмаленным воротничком. Незнакомый долговязый оператор, чертыхаясь, тащил кейс с камерой и штатив.

— Все в сборе? — Валерий Алексеевич пообнимался, попожимал руки и теперь курил не спеша, с удовольствием наблюдая за радостным возбуждением гостей.

На Привокзальной площади погрузились в новенький зеленый «рафик», недавно купленный Интерфронтом у Боссерта — последний широкий жест сибиряка русским Латвии; вскоре после этого доведенный до белого каления националистами и заигрывающим перед ними латвийским правительством первый в СССР избранный рабочими директор завода свалил от греха подальше в США — стажироваться в качестве менеджера. Деньги на покупку машины наскребли по сусекам, куда тяжелее было добиться возможности купить микроавтобус вне очереди, тут-то Бос-серт и помог напоследок.

— И что теперь с заводом? — Украинцев уже потягивал прямо из бутылки «Рижское особое», приходя в себя после вчерашних проводов в командировку.

— Да ничего хорошего! — Иванов ослабил надоевший галстук, уселся поудобнее и попросил водителя. — Вадим, давай в гостиницу! Боссерта латыши выжили, теперь директором Самодуров, это не прозвище — это фамилия, между прочим… Завод прессуют по полной программе и в прессе, и в правительстве. «Мигранты, колонисты», русские то есть, оккупировали Елгаву, вытесняют местное население, портят экологию, ну и прочая перестроечная дребедень. Короче, завод хотят закрыть под любым предлогом. Логики в этом не вижу совершенно — это градообразующее предприятие, эти самые русские заводчане кормят всю Елгаву, весь соцкульт-быт, а Латвия получает хорошую прибыль. Но этими категориями никто

уже в правительстве, про прессу я вообще молчу, не мыслит. Госплан собираются разогнать, связи внутрисоюзные и вообще промышленную кооперацию — разорвать, русских оставить без работы в надежде, что те сами уедут и все, включая свои квартиры, оставят бедным обездоленным латышам, настрадавшимся от старшего брата. Как жить будут — никто не думает. «Запад нам поможет!» — вот и вся песня. Ну и прочий бред, например, о том, что Латвия кормит весь Союз и когда добьется полной независимости, то за год-два догонит Финляндию со Швецией.

Народ накушался демшизовской прессы, как союзной, так и местной, мозги отключил и рвется вперед к счастливому капиталистическому будущему! Конечно, русские более образованны и критичны, особенно техническая интеллигенция, понимают, что будет *задница.* Вообще, директора предприятий и ИТР — массовая опора Интерфронта. Хозяйственники, рабочие, кто поумней, начиная с бригадиров и мастеров. Конечно, тот, кто никогда в жизни головой сам не работал и только гайки крутил на конвейере, тот часто думает, что ИТР и на хрен не нужны, что инженеры — бездельники, а слесарям за их руки «золотые» капиталисты будут платить огромные деньги валютой. Совсем офуели, короче!

— А так все чистенько у вас, красиво… — протянул оператор, прилипший к окну и внимательно разглядывавший сначала Старую Ригу, потом набережную, мосты и парки по дороге к ведомственной гостинице военного предприятия в Задвинье, где Интерфронту за символические копейки предоставили пару, так сказать, «люксов» для Ленинградского телевидения.

— Внешне все красиво. Все пока функционирует. Талоны, конечно, визитные карточки для рижан, чтобы такие, как вы, не объели. — Иванов коротко и зло хохотнул. — Но все это на самом деле просто саботаж, с одной стороны, а с другой — резерв мощности отлаженной государственной машины. Но машинка сбоит, лучше меня знаете, а ей все больше палок в колеса вставляют. Причем по указанию из Москвы. Ну, повстречаетесь со всеми главными персоналиями, сами у них спросите. Но у меня лично такое впечатление, что рулят перестройкой не только непосредственно из Москвы, но и из-за бугра. Причем согласованно. А то, что на местах происходит, — это все игры послушных марионеток. В любой момент, при желании, власть может все поставить на свое место. Вернуть взад, так сказать. А почему она этого не хочет, это у вас лучше спросить, вы к Центру поближе!

— Брось ты, Валера! — Хачик раскинулся один на заднем

сиденье, раскинув руки, только черные глаза метались по сторонам, как у стрелка на стенде, выискивая очередную «тарелочку» — многое говорящую внимательному человеку деталь пейзажа незнакомого города. — В Питере точно так же все делают по указке Москвы. Скоро и нас всех турнут с телевидения на фиг и поставят Бэллу с «Пятого колеса» рулить каналом. И попробуй только скажи в эфире что-то против перестройки — сожрут немедля. Сам не знаю, как нам еще удается что-то с тобой показывать… Страхуется начальство — и нашим и вашим. Но при первой команде сдаст нас со всеми потрохами. Хотя оппозиция Горбатому есть, и не клоунская, которая «не может поступиться принципами», а серьезная. Да только переиграют их, это я тебе говорю. У меня мама была в Спитаке, ты же знаешь… Рыжкова видела, как он приезжал, плакал там от общего горя. Как уехал, тут же все растащили, «помощь» перепродают спекулянты, на Россию бочку при этом катят. Азербайджанцы уже снова режут наших, а они о независимости мечтают. — Армянское ругательство вырвалось гортанно у потерявшего внешнее спокойствие Хачика так эмоционально, что все невольно улыбнулись. — Э, ара, вам смешно, да? — спародировал сам себя Хачик — ленинградец уже в третьем поколении, и сокрушенно махнул рукой.

— Приехали! Располагайтесь, а потом поедем в Сигулду — отдохнем, поедим, заодно снимете пару красивых весенних планов в нашей «Швейцарии». Первый день — акклиматизация! А уж завтра начнется гонка, в один день будут и Рубикс, и Кезберс, и Иванс с Алексеевым. А пока — расслабьтесь!

— Валера, а тетки-то у вас есть? — Молчаливый Тышкевич — главный сердцеед команды — внезапно оживился, кося краем глаза на симпатичную администраторшу у стойки гостиницы.

— Тетки у нас есть! Но договариваться с ними ты будешь сам, «Воло-дыевский»! А то твоя жена меня потом к вам и на порог не пустит! — Иванов вздохнул сокрушенно — ребята на свободе, а он на работе — и пошел оплачивать счет за гостиницу на неделю. Да, надо бы еще не забыть от администратора позвонить домой, Алле, может, захочет с ними в Сигулду съездить, если теща дочку заберет на дачу.

Скептически оглядев пещеру Гутмана и тоненький ручеек, вырывающийся из песчаной толщи под испещренными надписями сводами, группа начала не спеша, с остановками на каждой площадке, подниматься по деревянной лестнице на гору.

Свежая, нежная зелень легким облачком окутывала холмы, оттеняла черную воду извилистой Гауи, расступалась почтительно вокруг сказочного (не знать бы, что новодел!) замка

на самой высокой вершине над рекой.

— Тишину с птицами запиши, тишину! — настойчиво бубнил в ухо оператору Хачик. Остальные притихли, чтобы не мешать, только Леша Украинцев отвел в сторону Иванова и что-то черкал коряво в блокноте, согласовывая тезисы подводки к сюжету, снимать которую решили прямо здесь, в Сигулде, — уж больно подходили эта поющая тишина, этот зеленый, прозрачный покой к рабочему названию цикла передач о перестройке в Латвии: «Рижская весна».

Председатель Рижского Октябрьского районного совета Интерфронта со смешной фамилией Вареник устраивался «в кадре» вместе с Тышкевичем, готовясь к записи интервью.

Служебный «рафик» был в разгоне, а Вареник отложил все дела и на заводской семиместной «Волге» возил теперь гостей на съемки, кормил домашним борщом и, конечно, варениками собственного приготовления. В награду за проявленное гостеприимство его и усаживали теперь в кадр — все равно кто-нибудь из интерфронтовцев «с земли» должен был что-то сказать в передаче.

Огромный, неуклюжий, выбившийся в начальника цеха крупного предприятия из простых слесарей, Вареник мял в тяжелых ладонях микрофон, вздыхал и кряхтел до тех пор, пока Толик не отобрал у него хрупкую «игрушку» и не задал первый вопрос.

Тут неповоротливый и скупой на слова Виталий Сергеевич выдал неожиданно совершенно лирический зачин:

— Когда в такие цветущие майские дни гуляешь по Сигулде, хочется думать о любви, о счастье, о будущем. И горько сознавать, что именно все это сейчас находится под угрозой. Обстановка в республике очень напряженная. И это чувствует каждый человек, живущий в Латвии. К нам, в районный городской совет Интерфронта, каждый день приходят десятки людей и не просят, а требуют, буквально требуют остановить развал страны. Рабочие видят, что дело не во временных бытовых трудностях — в плохом снабжении, в карточках, в конце концов. Они на своих рабочих местах видят, как перестают поступать детали от смежников, как сокращается выпуск продукции, как дорожает жизнь. А главное жизнь становится просто другой. Люди перестали понимать, что такое хорошо, а что такое плохо. Люди запутались, люди не понимают, откуда вдруг взялась ненависть ко всему, чем мы жили раньше, ко всему советскому и, не побоюсь сказать этого — ко всему русскому!

— Но ведь идет обновление, демократизация, гласно поднимаются застаревшие проблемы — наверное, это и есть

перестройка?!

— На наш взгляд, перестраивается совсем не то, что давно нужно было перестроить или исправить. Не перестраивается, а ломается то, на чем основана жизнь государства! К власти рвутся те, кто проиграл в 17-м году, кто затаился в 40-м, кто был в лагерях за пособничество фашистам! И Москва помогает в этом, я не знаю, вольно или невольно.

Дело идет к тому, что в национальных республиках просто-напросто пытаются освободиться от русских. И я не верю в громкие слова о национальной независимости — просто хотят прибрать к рукам все, что мы тут построили, — от электростанций и заводов до квартир. Ведь только что избранные депутаты от НФЛ договорились уже до того, что в будущем нужно будет вернуть в частную собственность бывшим владельцам все их имущество! А кто эти так называемые «владельцы»? Я не удивлюсь, что вместе с особняками в Старой Риге в частную собственность отдадут наши заводы, порты, железные дороги — все то, к чему никакие довоенные собственники не имеют никакого отношения!

— Неужели дело зашло так далеко? Может быть, все эти опасения просто-напросто эмоции, выплеснувшиеся у отдельных горячих депутатов? — Тышкевич играл наивного столичного журналиста, позволял Варенику высказаться «от противного», чтобы то, что нужно было сказать было сказано, но сказано не ведущим программы, иначе снимут передачу с эфира, даже не глядя.

— В Народном фронте Латвии состоит сегодня практически все руководство республики! У депутатов от НФЛ большинство во вновь избранном парламенте. Даже Верховный Совет СССР признал, что выборы в Латвии прошли с грубейшими нарушениями, но тем не менее оставил все как есть. Литва уже заявила о выходе из состава Советского Союза — может быть, это и есть цель перестройки? Когда к нам приезжает то один, то другой главный партийный идеолог, то Медведев, то Яковлев и заявляют, что все идет хорошо, только надо бы придать ускорение перестройке, когда из Москвы фактически поддерживают сепаратистские настроения, — о чем должны думать люди?

— Но ведь генеральный секретарь резко осудил действия литовских товарищей!

— Осудил, дал два дня сроку на размышление — и что? Прошло уже сколько времени, а все остается как было. Это генеральный секретарь или что? Да у нас все смеются над такими заявлениями!

— Что же делать?

— Бороться и отстаивать будущее своими силами! Интерфронт создавался не по приказу из Москвы, а по воле сотен тысяч людей, не желающих распада родной страны и превращения русских в жителей национальных республик второго сорта. Нам больше не на кого надеяться, кроме как на себя. Уже сейчас мы видим, что силы неравны, что нам приходится отстаивать интересы государства и народа вопреки нынешней государственной же власти. Но просто так мы все равно не сдадимся!

— Но разве компартия Латвии не ваш союзник?

— У компартии фактически не осталось рычагов влияния. У нас, как вы знаете, уже две компартии. К тому же сейчас все больше власти переходит ко вновь избранным Советам народных депутатов. Но из-за многочисленных фальсификаций во время выборов «народными» эти советы можно назвать только в кавычках. На самом деле сегодня депутаты советов всех уровней — это инструмент разрушения советской же власти! Кроме того, Интерфронт является самостоятельным массовым движением трудящихся, объединившим всех, кто готов противостоять выходу Латвии из состава Союза и превращению нелатышей в изгоев на собственной земле. У нас более полумиллиона сторонников. Только в нашем районе в Интерфронт входят представители всех предприятий и многих других коллективов, не считая чисто национальных — латышских. В каждом городе Латвии, в каждом городском районе есть территориальные организации Интерфронта. За нами сила общественного мнения!

— Но ведь и на митинги сторонников НФЛ собираются сотни тысяч людей!

— Да, население разделилось на две половины, и, к сожалению, по национальному признаку. Но это сознательная деструктивная деятельность нынешнего руководства республики, поддерживаемая Центром. Мы оказались брошенными и союзным руководством и республиканским. Нас, половины населения Латвии, как будто не существует для них. И так не только у нас, но и во всей Прибалтике, на Кавказе, даже на Украине. Страна рушится, и мы не имеем права просто сидеть и смотреть, как вместе со страной рушится наше будущее! Я простой начальник цеха, я не политик. Меня выбрали председателем районного совета Интерфронта такие же, как я, трудящиеся! В той Латвии, которую рисуют средства массовой информации, подчиненные НФЛ, ни у нас, ни у наших детей нет будущего! Точнее, не такого будущего хотим мы для себя и наших детей!

— Достаточно! — Украинцев, внимательно следящий за ходом беседы, остановил оператора.

— Снято! Молодец Виталий Сергеевич, крепко ты приложил! Осталось только придумать, как все это без купюр потом в эфир выпустить. —

Леша вздохнул и потер лицо руками, как бы смывая неприятные предчувствия разборок с начальством.

— Вы только рабочий материал этот никому не показывайте из наших тоже, — задумчиво посоветовал ленинградцам Валерий Алексеевич. — Алексеев-то поймет, а вот Лопатин с ЦК дружит, может и зарубить Вареника.

— Ладно, не в первый раз, мы еще их самих раскрутим на горяченькое!

— уверенно пообещал Хачик.

— Поедемте ко мне ужинать, мужики! — просто сказал, придя в себя после пережитого напряжения, Виталий Сергеевич. — Только за водкой заедем по дороге, запарился я, как будто у станка три смены отстоял. Как ты, Валера, можешь каждый день интервью раздавать, не понимаю, я бы лучше повесился!

— Работа у меня такая, Виталий! — усмехнулся Иванов и весело засуетился, поторапливая гостей к спуску в долину, где стояла машина. — Не плачь, девчонка, пройдут дожди!

— Вся жизнь впереди — надейся и жди! — в унисон подпел Тышкевич, соединив две песни в одну, и все бодро застучали каблуками по бесчисленным деревянным ступенькам, ведущим вниз, к машине, к дороге, к концу напряженного, хлопотного дня.

Потом, уже в гостинице, Леша Украинцев придержал спешащего оставить ленинградцев и ехать домой Иванова.

— Валера, не торопись, а?

— Что такое, Леша?

— Мужики уже все равно «никакие», а нам бы поговорить с тобой накоротке, спокойно, про все ваши расклады. — Леша помолчал, держась рукой за дверцу расхлябанной желтой «Волги», на которой Валерий Алексеевич уже собирался вернуться домой и закончить наконец затянувшееся воскресенье.

— Ну, я не знаю, Алла там, наверное, уже рвет и мечет.

— Надо, Валера! Времени мало у нас, а дел много. Надо все выстроить как-то так, чтобы и выстрелить в цель, и самим уцелеть.

— Эх, ты и мертвого уговоришь! Садись в машину — заедем сперва на «точку», хотя. — Иванов повернулся к водителю, ждущему, когда клиент решит наконец, ехать им или не ехать дальше. — Слушай, шеф, а водочки у тебя, случайно, не найдется в багажнике?

— Может, и найдется. — Водитель внимательно осмотрел

Иванова, прикидывая, нет ли подвоха — уж очень жестко в последнее время боролись с таксистами, продающими алкоголь, омоновцы. Совсем недавно нескольких таких дельцов хорошенько искупали в море на пляже в Вецаки, заставляя окунаться в холодные волны под пулями, свистящими над головой. Да и когда бутылки с водкой разбивают о твою собственную «тачку» — тоже не очень приятно.

— Четвертной за две! — закинул приманку Валерий Алексеевич.

— Тридцать!

— Идет!

От администратора Иванов, в который уже раз за сегодняшний нескончаемый день, позвонил домой и передал трубку Леше, которого Алла хорошо знала и любила, — пусть сам отмазывает как хочет. Уладив вопрос, пошли в номер, заглянули в комнату, где храпел Хачик, прикрыли аккуратно дверь и устроились в гостиной двухкомнатного номера.

Выпили, закусили бутербродами из пакета, приготовленного гостям с собой заботливым Вареником. Леша достал было маленький импортный диктофон на микрокассету, но Иванов скривил лицо, и Украинцев послушно убрал редкую по тем временам и красивую игрушку в дорожную сумку, достав взамен потрепанный блокнот.

— Ну что, помнишь, как Штирлиц в кино картинки рисовал? Рисуй для начала Алексеева! — Валерий Алексеевич распечатал резервную пачку черной «Элиты», закурил, выпустил струю сиреневого дыма в желтый луч старенькой настольной лампы, направленной на пустые стаканы.

Леша перелистал блокнот, нашел чистую страницу, передвинул стаканы, взял ручку и довольно похоже, в профиль, изобразил лидера Интерфронта.

— Был я у шефа доверенным лицом и вел его избирательную кампанию — Иванов пощипал задумчиво ус, обдумывая, с чего бы начать. — Вот на прошедших недавно выборах в Верховный Совет вся интрига и сплелась. А точнее даже — не интрига, а будущий песец. Пушной сибирский зверь. Как у нас в армии говорили когда-то, в ГСВГ: «Аллес песец, геноссе золь-датен!»

Украинцев понимающе кивнул острым небритым подбородком и, тоже теребя ус, только левой рукой, правой начал рисовать у ног шаржированного Алексеева сугроб, из которого торчит длинный пушистый хвост. Отодвинул рисунок, посмотрел критически и написал прямо на хвосте: «Выборы».

Глава 2

— Выборы мы в целом проиграли, а в частности выиграли. На нашем отдельно взятом 48-м избирательном округе в Риге. Точнее, выиграл Алексеев, конечно. Но сил было потрачено немало. Район нам достался препаршивый, надо сказать. Это Красная Двина, Мангали — впрочем, тебе это мало о чем говорит. Короче, заводская, предпортовая окраина. С одной стороны — Межапарк, с другой — доки судоремонтного завода, разные мелкие предприятия, а между ними маленькие домишки, населенные преимущественно латышами. Ну, правда, «Коммутатор» и «Латвбытхим» — крупные производственные объединения тоже были на нашем участке. Но хотя люди-то там работают наши в основном, живут-то они совсем в других районах. Короче, мотались мы с шефом по всем домам и домишкам каждый божий день. В каждую квартиру старались зайти, буквально с каждым поговорить. А ведь в квартиру надо еще просто *войти.* Это ведь не как раньше — агитатором ходить… Латыши удивлялись часто. Но слушали. Тем более что Алексеев по-латышски говорит очень хорошо, они и этому удивлялись тоже. На скромных белых «Жигулях», шеф сам за рулем, и я. Так вот, вдвоем, почти все и объездили. Ну, конечно, митинги устраивали во дворах, на предприятиях шеф выступал. Активисты наши помогали — листовки разбрасывали по ящикам. Почему вдвоем? Так ведь у нас не один кандидат в депутаты был. А шеф не хотел одеяло на себя перетягивать, заставлять на себя работать все движение. Хотя мог бы, конечно.

Должен тебе сказать, Леша, что депутаты фракции «Равноправие», ныне объявившей себя фракцией компартии, прошли в Верховный Совет исключительно потому, что позиционировали себя перед избирателями как интерфронтовцы! А вот когда выборы прошли, они оказались депутатами от компартии почему-то… Ну, это ладно. К двурушничеству партийных товарищей мы давно привыкли. Случись что, эти люди и партию кинут точно так же, как и нас. Так что, может, оно и к лучшему, что мы от балласта освободились, — меньше говна в Интерфронте останется….

Так вот! Листовки самодельные — на машинке отпечатаны, кое-как размножены, вручную криво порезаны… на газетной бумаге дешевой все. Не до жиру, откуда деньги взять, типографии? Опять щепетильность алексеевская — я уж мог бы обратиться в отдел спецпропаганды округа — помогли бы с мощностями, но нет — все должно быть чисто! Нет хозяев дома,

кинешь листовку в почтовый ящик, а там уже целый ворох буклетов лежит от наших конкурентов! Цветных! На глянцевой бумаге журнальной! Фото, дизайн, качество печати. Сделано в Германии, между прочим.

А главным противником нашим была та еще сволочь — некий Вилен Толпежников — депутат Верховного Совета СССР, между прочим! И по совместительству — кандидат в депутаты Верховного Совета Латвии от ДННЛ — Движения за национальную независимость Латвии.

Дэнэнээловцы — это, я тебе скажу, покруче народнофронтовцев — самые упертые и неприкрытые националисты, да еще и с эсэсовской кровью перемешанные, безо всяких шуток! Их «народники» боятся; они у латышей стоят на острие идеологической борьбы и самых жестких решений русского вопроса. Но сам-то он, Толпежников, не латыш вовсе. Родился в Мариуполе в 28-м году, в Латвии только с 52-го года. Врач-реаниматолог, понимаешь. Вот, кстати, посмотри его программу! — Иванов полез в портфель, достал папку, надписанную красным фломастером: «Выборы».

В. Толпежников: *Моя платформа предельно ясна и коротка. В ней три основных направления: забота о человеке, борьба с любым, насилием, и борьба за сохранение малочисленных народов, в первую очередь латышского!*

Программа, с которой я выступал на выборах народных депутатов СССР, была несколько обширнее. В ней говорилось, что каждый народ на своей территории должен быть единственным, хозяином. В Латвии им должен быть латышский народ. Были там. и протесты, против всех захватнических войн и насилий по отношению к другим, народам, которые совершала советская власть. Для меня, как врача, одинакова боль любого человека. Но особенно меня беспокоит, судьба малых народов, потому что в присутствии больших они постепенно вымирают.

В Латвии гибнет, латышская нация. Это научно обоснованный тезис. Поэтому представители большого русского народа должны, делать уступки коренному населению, как говорил В. И. Ленин. Надо сохранить латышей как этнос. И к этому я призываю. Я переживаю за судьбу всех народов, которые хотят стать самостоятельными, где бы на земном шаре они ни жили. За это меня в 1968 году исключили из КПСС. И когда каждый народ у нас в стране будет устроен так, как он считает нужным, тогда можно будет заняться остальными, более мелкими вопросами.

Сейчас, в этот критический для старой Российской империи период, когда ее развал грозит гибелью малым народам, я считаю борьбу за их сохранение самым главным.

В национальной республике должен быть один хозяин. Латвия была захвачена русскими царями. Латышей здесь действительно было мало. И сейчас мы должны сохранить их и отдать свой моральный долг.

Каждый человек может осуществлять права человека, но если он не мешает при этом другим. Все права человека — выдумка буржуазных социологов. Им выгодно иметь маленькие народы, у которых не могло быть отдельно выраженных национальных черт. Эти народы, которые одинаково питаются, одинаково одеваются, говорят на одном языке, как в США, очень удобны для эксплуатации. Права индивидуума — это их тезис. В нашем государстве должен быть другой. В первую очередь — сохранение народа.

- Почему вы ненавидите советскую власть? Почему из НФЛ перешли в ДННЛ?

— Нельзя сказать, что я ее так уж ненавижу. Но особенно любить не пытаюсь, так как считаю ее продолжением Российской империи. А в ДННЛ перешел потому, что НФЛ еще недостаточно радикален.

- Как вы относитесь к Положению о знании латышского языка по категориям ЛВС?

— Если люди сами не понимают, что они должны знать язык своих хозяев, то мне ответить нечего.

- Зачем вы баллотируетесь кандидатом в Верховный Совет республики?

— Я не хочу быть кандидатом, в депутаты, но мне говорят, что так надо, пока Латвия не получит, свободу от Российской империи. Я думаю, что латышский народ меня поддержит, а мнение остальных меня не интересует.

— Что будет со всеми нами, русскими, при таком будущем, которое вы обрисовали, если Латвия выйдет из состава СССР? И как вы относитесь к «лесным братьям»?

— Вы. же все хотите поехать за границу. Вот вы. и будете жить за границей, и никуда ездить будет, не нужно. А «лесные братья» — партизаны, которые отстаивали свое мнение о порядках в мире.

— Так все-таки почему вы, ненавидя свою Родину, являетесь народным депутатом этой страны и еще хотите быть избранным в Верховный Советреспублики?

— Политика — грязная работа. Я не хочу ею заниматься, но мне сказали, что я там. должен быть, а сам. я не хочу быть депутатом…

Под возмущенные крики зала В. Толпежников вынужден был уйти с трибуны, а его место занял кандидат в депутаты А.

Алексеев, платформа которого базируется на программе Интерфронта.

— Это статья о предвыборных встречах на ПО «Коммутатор», Леша. Там, кстати, и тезисы нашей программы есть, вместе с шефом составляли. Посмотри, чтобы мне не пересказывать своими словами.

Леша пыхтел сигареткой, шелестел бумажной полосой газеты, хмыкал задумчиво, потом резюмировал:

— Жалко, что никто так и не спросил этого типа, а *кто* именно его так просил, кто ему *сказал,* что он непременно должен быть депутатом и защищать латышский народ? Кто сделал ему предложение, от которого нельзя отказаться?

— Вот, Лешенька! Тут-то собака и порылась. — Валерий Алексеевич легко поднялся с кресла и, сделав упреждающий жест, выскочил в коридор к дежурной — попросить кофе.

Водки было за вечер выпито столько, что и не забирала уже, и в глотку не лезла.

— Когда у нас выборы состоялись? 18 марта, да! Месяц едва прошел. Но впереди самое главное — первое заседание Верховного Совета в новом составе! И я могу с тобой поспорить на миллион, что уже на первом заседании ВС Латвия в одностороннем порядке примет декларацию — о независимости. Государственной независимости, Леша!

— Ну, принять декларацию, это еще не значит стать независимым.

— А кто помешает? Москва? Так она же все это провернула! Без команды сверху не было бы ни НФЛ, ни ДННЛ, ничего бы не было! Мне же латыши сами говорили, удивляясь, что они только и ждали, когда на них цыкнут! А тут все наоборот — приезжает Яковлев и дает звиздюлей за то, что медленно перестраиваются! Ну, тут уж самые тупые и законопослушные поняли, чего от них в Москве хотят! Хотят, Леша! Они хотят, чтобы республики разбежались кто куда, но только *сами!* Дескать, извините, так уж получилось! И никто не виноват, «не удержали»… А нас тут всех — на помойку!

— Так ведь половина населения с вами!

— Ну и кто когда слушал население? Мы одни, Леша, одни против всех! Против Горбатого, Москвы, против НФЛ, против США, Англии, Германии. Кого тебе еще перечислить? Да даже русские в России окончательно рехнулись и скулят жалобно об угнетенных народах Прибалтики! Сам этого не знаешь, что ли? Армия без приказа никуда, МВД расколят, как в Литве, административный ресурс весь уже у них в руках! Это песец, Леша!

— Ну, ты уж тоже, слишком мрачно, жить не хочется!

— Жи-и-ть-то как раз хочется! Еще как хочется. Только не той жизнью, которую нам обещают толпежниковы всякие.

Иванов плюхнулся в кресло, разлил по стаканам водки, выпил, не чокаясь.

— КГБ и тот в руках «народников», можно сказать… Среднее звено и младшее пытаются что-то делать, но что они могут, когда команда — не препятствовать? Есть прогноз, что председателем нового Верховного Совета выберут Горбунова. Правда, теперь он уже не Горбунов, а Горбу-новС! И по-русски начал говорить с акцентом, сука! А ведь еще недавно был секретарем по идеологии компартии Латвии!

Ладно, давай дальше разбираться. Для тебя не секрет, что выборы в целом мы проиграли. И не могли не проиграть. Пресса, телевидение, радио — все в руках НФЛ. Деньги, типографии, транспорт — все у них в руках. Плюс американские советники числом не менее двух десятков — специалисты по проведению выборов и по психологической войне. Они еще в прошлом году в Ригу прибыли совершенно легально и руководили всей кампанией НФЛ! Плюс миллионы долларов наликом, ввезенные сюда по дипломатическим каналам. Плюс целые контейнеры оргтехники, присланные Западом. Плюс западные типографии к их услугам. Плюс регулярные выезды энфээловцев на Запад для консультаций, оплаченные принимающей стороной, ебстественно!

И самое главное — нарезка избирательных округов. Проще говоря, округа нарезаны были так, чтобы у русского, преимущественно городского населения количество депутатов заранее было гораздо меньше, чем у сельского, преимущественно латышского населения. Вот и вся игра. Раз — и в дамки! Ты уже слышал сегодня, Вареник говорил на съемке, что Алк-снис обнародовал схему распределения округов в Латвии на Верховном Совете СССР. Признали, что это грубейшее нарушение, но результаты выборов оставили без изменений! И теперь мы ждем первого заседания нового ВС и заявления о выходе Латвии из состава Союза. Все! Никого мнение народа не интересует, Леша. Дело техники, и только. Как захотят, так наше мнение и сфальсифицируют. И даже если не получится, то просто наплюют, так и будет, вот увидишь!

— Иванов прикурил сигарету от своего же окурка и продолжил, чуть успокоившись.

— Итак, Алексеев Анатолий Георгиевич. Председатель Президиума Республиканского совета Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР. Мой прямой и

непосредственный, так сказать, начальник. Русский. Строго между нами говоря, в Бога верит, православный. По-моему, даже в церковь ходит, но, как ты понимаешь, у нас это не афишируется из-за вынужденного блока с КПЛ на платформе Москвы. Да и коммунист он, формально, иначе бы директором не стал никогда.

— Валер, а ты знаешь, что Хачик со Светкой повенчался в церкви? Ну, это отдельная тема, давай дальше.

— Родился в 1935 году в Риге. Алексеевы живут в Латвии уже около двухсот лет, кстати.

Окончил наш университет. Инженер. Работал мастером на цементном заводе, начальником цеха, главным инженером, директором завода, управляющий трестом крупнопанельного домостроения. С 82-го года заместитель начальника Управления торговли Рижского горисполкома по капитальному строительству. С 1989 года на штатной работе в Интерфронте. Женат, две дочери — старшая работает на заводе инженером, младшая — студентка. Хорошенькие девушки, Леша! Но шеф их бережет и воспитывает высоконравственно. По-латышски говорит как на родном. В Эстонии, кстати, тоже поработать успел — Кохтла-Ярвеский комбинат из прорыва вытаскивал. Мой земляк, можно сказать, мы с ним даже по-эстонски парой слов иногда перебрасываемся.

Вредные привычки. Сам вредный! Требовательный, жесткий руководитель. Мягко стелет, со всеми по имени-отчеству, вежлив, но тихо что-то скажет — все из задних рядов слышат. Курит редко, балуется больше. Никогда не видел его выпившим, хотя время сейчас сам знаешь какое, жрут все водку как проклятые, что у нас, что у латышей.

Но, говорят, иногда отъезжает на дачу, запирается там и оттягивается, чтоб никто не увидел. Ну, значит, нормальный человек, просто в рамках себя держит — не дай бог кто-то зацепится. Он постоянно под прицелом!

— А Лопатин? — Леша перелистнул страницу и начал набрасывать силуэт в мундире с лицом Шварценеггера.

— Лопатин Игорь Валентинович… Русский. Полковник запаса ВВС. Коммунист и к тому же не формальный. Член ЦК КПЛ. Отсюда проблемы: Лопатин тянет к сотрудничеству с Рубиксом — первым секретарем компартии на московской платформе, а Алексеев — сторонник полной самостоятельности Интерфронта как народного независимого движения сопротивления.

Но сейчас это уже не так актуально — из сопредседателей Лопатин уходит постепенно на второй план, скорее всего он перейдет на должность председателя Объединенного фронта трудящихся СССР. В любом случае главный у нас — Алексеев.

Обрати внимание, Леша, с какой хлебной должности, с республиканского торга, ушел в ИФ Анатолий Георгиевич! Нет бы кооперативчик возглавить… Не-е-е-ет, шеф у нас человек убежденный! Уважаю и даже люблю. Он ведь чего добился! У нас уникальный прецедент — массовое движение, в руководстве которого нет «русскоязычных»! Русские все, представляешь? Народ, слава богу, раскусил, что к чему, и на первом же съезде не выбрал никого из этих. в руководство! А потом их зачистили потихоньку, не без моей помощи, между прочим! А Лопатин вообще-то мужик нормальный. Крепкий, волевой, связи с армией поддерживает. Только очень уж коммунистический, хоть и в хорошем смысле этого слова.

Трудно все, Леша, и сложно. Русским национальным движением Интерфронт и назвать нельзя было, и сказать громко нельзя об этом до сих пор, хотя, конечно, девяносто процентов движения — это русские. Люди не созрели, да и пока объяснишь, что к чему — все распадется, народ и так запутан донельзя. Так что официально, по программе, принятой очередным съездом, наши главные цели, — это сохранение Советского Союза и основных достижений социализма плюс противодействие националистической, буржуазной политике НФЛ, стремящегося выжить русских из Латвии. Я иностранным журналистам вообще говорю всегда на пресс-конференциях, что мы — правозащитники! Мы защищаем права человека, в данном конкретном случае всех нелатышей! Хотя, конечно, тот же Толпежников прав хотя бы в том, что защищать надо права народа в первую очередь. Но для нас важно сохранение прав *русского* народа, а об этом нигде в мире сейчас сказать нельзя! Сожрут! И самыми первыми — наши же сотни тысяч сторонников, русские в Латвии! Права которых мы, как можем, стараемся защищать!

Так вот! Беда в том, что латыши железно объединены Народным фронтом. И если у них есть еще и Гражданские комитеты ДННЛ, так это не разные движения, а просто, просто. как эсэсовцы при вермахте, понимаешь? Впрочем, сами латыши, конечно, до всего этого не додумались бы, они просто старательные исполнители чужой воли. Той самой, что объединила и Горбачева, и Запад. Прибалтику наш генсек хренов уже давно сдал, так же как сдал ГДР и вообще соцстраны! Только ведь на Прибалтике не остановится процесс, который «пошел»… Ну вот, латыши объединены железно. Они боятся пукнуть против НФЛ, соседи и коллеги заложат. Там все на страхе и тупой исполнительности. А у нас.

У нас компартия старается внедрить среди нелатышей кучу самых разных организаций, лишь бы мы, Интерфронт, не

оставались самым крупным и сплоченным движением оппозиции! Да еще не зависящим напрямую ни от КПЛ, ни от КПСС! Всякие создаются БСО, ЦДИ, Букашкины всякие — это фамилия такая — пытаются создать новый Интерфронт, только такой, чтобы как НФЛ. Короче, еще есть забастовочный комитет, ОСТК — трудовые коллективы и профсоюзы, Союз ветеранов, Русское общество Латвии, Латвийское общество русской культуры. Рвут русских по частям, чтобы раздробить. Вот и на выборах в результате — провал. Пусть и спланированный и объективно понятный, но провал! Вся эта свора «русскоязычных» — демократические коммунисты и примкнувшие к ним — создает фракцию «Равноправие» в Верховном Совете нового созыва. Но Алексеев будет независимым кандидатом, кандидатом от Интерфронта. Все равно большинство у фракции НФЛ, а значит, скоро будет очередная заварушка, как только старый ВС, советский, сложит свои полномочия. Ну уж я им подарочек приготовлю к открытию, приезжай, будет что снимать!

— Ну-ка, ну-ка! — Украинцев отодвинул блокнот и оживился. — Ты, Валера, держи меня в курсе. Я у нас посоветуюсь кое с кем, может, чем поможем, а в чем и предупредим. Зря ты тогда с Виноградовым не захотел поговорить, не убыло бы от тебя!

— Рано пока, все узнаешь! А Олег твой. Виноградов. Ты можешь положиться, что контора питерская не в курсе, чем наша занимается? А если и нет, так все равно у них руки уже коротки. Ты не отвлекайся, слушай, завтра тебе с Алексеевым встречаться, а вы едва знакомы. Так вот, о программе Толпежникова, нашего основного соперника на выборах, ты в курсе. Это вообще латышская программа — у них все едино — независимость от России, братание с Западом, а у русских все отобрать и гнать взашей!

Посмотри, пригодится, и на аргументы нашей стороны. Вот тебе один из предвыборных материалов Алексеева.

«*— Анатолий Георгиевич, что все-таки заставило вас, человека солидного, устроенного, броситься в рискованное плавание по бурному политическому морю?*

— Идеалы юности, так и не нашедшие в свое время выхода. Мое поколение вступило в пору возмужания в годы хрущевской «оттепели». Но оно, как теперь говорят, осталось «невостребованным», не смогло в полной мере отдать обществу свою энергию, реализовать замыслы. Перестройка встряхнула нас, и мы посчитали необходимым принять участие в преобразовании нашей жизни на принципах демократии, создании экономически мощного государства, способного обеспечить гражданам

достойное существование.

В Народном фронте Латвии мы, однако, по многим причинам оказались лишними. Поэтому возникла идея создать свою организацию. Причем она не предполагалась мононациональной или противостоящей кому-то. Она намечалась как широкое демократическое движение с привлечением всех слоев населения, всех национальностей. Мы ведь и сейчас, когда принимаем к себе, не спрашиваем человека, какой он национальности. Но коль мы избрали одним из пунктов программы построение правового государства, то мы в своей деятельности уделяем этому первостепенное значение. В такой правовой защите больше всего нуждается русское население. Одно к одному — так и получилось, что Интерфронт стал преимущественно правозащитной организацией.

Для меня оскорбительно слышать упреки в адрес нелатышей, что они здесь пришлые, мигранты. У русских в Латвии глубокие корни. Над облагораживанием здешней земли трудились и белорусы, украинцы, евреи, немцы — все те, кто испокон веков ее населял. Мои предки жили тут почти два века и не на дармовщинку! Мой дядя, например, был архитектором, по его проекту построено несколько известных зданий в Риге — как видите, след оставлен вполне зримый! А вот что говорят статистические данные за 1897 год: из двух миллионов шестисот тысяч человек, живших тогда в Латвии, латыши составляли всего миллион триста четырнадцать тысяч. Так что для другой половины населения эта земля тоже не чужая. Часто можно услышать от наших оппонентов, что в годы первой буржуазной республики доля латышского населения достигала почти восемьдесят процентов. Но наши оппоненты весьма лукаво «забывают» объяснить, каким образом так получилось. Ведь в годы Первой мировой войны с территории нынешней Латвии были эвакуированы более полумиллиона русских, которые уже не смогли вернуться сюда после 1920 года. В начале 20-х годов в Латвии проживало всего-навсего миллион шестьсот тысяч человек! На миллион меньше, чем раньше! Таковы последствия мировой войны и революций, но история говорит нам, что такой мононациональный состав населения, который сложился при буржуазной республике, для Латвии не правило, а, наоборот, исключение, вызванное чрезвычайными обстоятельствами! Насильственная латышизация при диктатуре Ульманиса тоже принесла свои горькие плоды. Можно сказать, что сейчас только-только восстановилась численность населения этой территории на уровне конца XIX века! И восстановился традиционный многонациональный состав населения в процентном отношении.

— Нередко приходится слышать досаду русскоязычных жителей, дескать, Интерфронт, «спит». Подобные упреки, по-видимому, результат недостаточной осведомленности населения республики о деятельности вашей организации. Что можно записать ей в актив?

— В силу обстоятельств, как я уже сказал, мы вынуждены сконцентрировать внимание на правозащитной деятельности. И, считаю, тут кое-чего добились. Немалая заслуга Интерфронта в том, например, что законы, касающиеся миграции, языка, участия в выборах. у нас пока значительно мягче, чем в соседних республиках. Во многом благодаря Интерфронту нам пока удается избежать событий. подобных тем, что произошли в Закавказье. Думаю даже, что программа НФЛ, принятая на его втором съезде, в большей степени, чем предыдущая, учитывающая интересы нелатышской части населения, была составлена с учетом того, что существует Интерфронт.

Взрывоопасность ситуации в значительной мере обусловлена тем, что республиканские органы сами показывают пример неуважительного отношения к законности, принимая законы, противоречащие союзным. И результат не замедлил сказаться в росте преступности. Глядя на Президиум Верховного Совета республики или Совмин, каждый чиновник или хозяйственный руководитель начинает сам определять, какая норма закона ему «подходит», а какая «устарела» или, наоборот, «принята поспешно». Так, ступенька за ступенькой, этот правовой нигилизм спускается до рядового гражданина, которому, как говорится, уже и сам черт не брат.

В свою очередь, центральная власть находится в состоянии паралича, не может определиться. А раз так, то люди начинают принимать меры собственной защиты вне рамок закона, что привело уже к вооруженной конфронтации в Закавказье и других регионах страны. Я убежден, что тем, кто породил такой правовой нигилизм, придется в конце концов понести ответственность.

— Об этом, шла речь и на недавнем, круглом, столе «Литературной России», в котором, вы. участвовали?

— Его участники ставили тот же вопрос, но в историческом ракурсе. Так, если договоры 1940 года о вступлении прибалтийских республик в СССР не действительны, то почему правомочны в таком случае договоры революционных лет, оторвавшие от России миллионы квадратных километров? Ведь они были подкреплены штыками интервентов, пушками английской эскадры в Балтийском море. Участники встречи припомнили без труда, что Борисоглебск стал Даугавпилсом без каких бы то ни было этнических или экономических оснований.

Поставив под сомнение результаты выборов в Народный сейм наши недальновидные политики «выпустили джинна из бутылки», дав веские основания другим усомниться в правомочности правительства Советской России признать в 1920 году независимость буржуазной Латвии, поскольку вряд ли советское правительство тех лет можно считать, по нашим сегодняшним представлениям, законно избранным!

— Вернемся, однако, из исторических дебрей в экономические. джунгли. Каких взглядов вы. придерживаетесь в этой области?

Меня тревожит, что республиканское правительство чересчур увлечено идеями частной собственности, акционерных обществ. Не вдаваясь в теоретический спор выделю лишь один практический аспект проблемы. По нашим данным, тридцать девять процентов вкладов в сберкассы — до трехсот рублей, и только около десять процентов — крупные, на которых сегодня сорок семь процентов всех хранящихся в сберкассах сбережений населения. Из этого можно сделать вывод, что только десятая часть вкладчиков сможет приобретать акции, стать хозяевами предприятий. Увы, много денег имеет не тот, кто «пашет» на заводе или на стройке, а дельцы теневой экономики. И мне, например, очень не хотелось бы идти в услужение к какому-то спекулянту или мафиози. Так что нам следует поискать другие пути расгосударствления собственности. Аренда, как мне представляется, более подходящий в наших условиях способ сделать так, чтобы средства производства принадлежали самим производителям.

— На недавней пресс-конференции в Министерстве экономики как раз шла речь о том, чтобы акции распределять бесплатно или за символическую сумму работающим на данном предприятии, может, в этом выход?

— Сомневаюсь. Если блага распределяются бесплатно, то в привилегированном положении оказываются те, кто эти блага распределяет. То есть опять внакладе будет рядовой труженик, а выиграют бюрократ и делец. Не говоря уже о том, что, как только акции перестанут быть именными, их скупят толстосумы.

К сожалению, ни в республике, ни в стране нет механизма учета общественного мнения.

Примеры можно приводить бесконечно.»

Украинцев оторвался от газетной вырезки и начал корябать в блокноте кривые строчки с жирными «нота бене». Валерий Алексеевич поглядывал на часы и прикидывал, когда же наконец сможет добраться до постели. Леша захлопнул блокнот и шмыгнул носом.

— Ладно, Валера, хватит на сегодня. Понятно, что то, что

вынужден говорить осторожно прессе Алексеев, вы давно уже обсудили «в уме» и сделали выводы. И приняли решения, вероятно. Ладно, это ваша кухня. Но только у вас, в Прибалтике, готовят рецепты для всей страны. Кулинары плаща и кинжала, акулы империализма, мать их ети! Ну что, на посошок?

— Нет, Леша, я уже пас. А то будет как с той девочкой на выборах.

— И что случилось с девочкой?

— Да так, смешной эпизод… Расскажу на прощание. День выборов. Мы с товарищами, конечно, на одном из избирательных участков в Саркан-даугаве, в школе сидим. Наблюдаем, волнуемся, если честно. Доверенные лица Толпежникова — латыши все, настроены добродушно, так как в победе уверены на сто процентов. Шутят с нами, предлагают коньячку с кофе накатить. Ну, мы ничего, тоже анекдоты травим, хотя на душе кошки скребут. И тут, к вечеру уже, поступает звонок: женский голос требует урну на дом принести, дескать, болеет человек, подняться на ноги не может, а голосовать хочет! Берем урну переносную и идем пешочком, благо адрес в соседней двенадцатиэтажке, у магазина «Нептун». Нас двое — от Интерфронта, и двое дэнэнээловцев, конечно. Звоним в квартиру, нам кричат: «Открыто, заходите!» — по-русски кричат, заметь! Мы и заходим, раз приглашают. А там картина маслом. Ну, квартирка ухоженная, чистенькая, все как у людей. В коридоре никого, проходим дружно в гостиную. На диване лежит, закутавшись в одеялко, девушка лет девятнадцати от силы, симпатичная такая. У дивана тазик стоит, однако. Шампанское открытое на полу. И сама она с такого бодунища, что еле языком ворочает. Понятно, что до участка не дойти! А красавица приподнимается, собрав последние силы, на локоток и стонет: «Я голосую за Анатолия Алексеева!»

Переглянулись мы с латышами — те ржут тихонько. Вывел я старшего их в коридор и говорю:

«Ну что, пойдем обратно, куда ж ей, пьяной, голосовать-то?»

«Да ладно, что там, пусть проголосует, раз мы пришли, бывает всякое в жизни», — отвечает латыш со смехом и по плечику меня похлопывает, типа, помни нашу доброту, а мы все равно выиграем! — «Да как-то неудобно!» — «Пусть только паспорт покажет, да своей рукой черкнет — и все будет по закону!» — «Ну, если вы не против.» — «Такое ответственное отношение к выборам можно только уважать», — уже внаглую чуть не хохочет дэнэнээловец.

Возвращаемся в комнату, все вместе ищем паспорт, оказавшийся спрятанным у девицы под подушкой, а та, как

нарочно, из последних сил гун-дит монотонно: «Мой депутат Алексеев от Интерфронта, я голосую только за Алексеева, только за русских.»

Сознательная, короче, девчонка попалась. Ну что же, проголосовала она кое-как, мы акт составили, все подписали. Идем на участок, латыши ржут как кони, я матерюсь про себя. А тут уже и время «Ч», закрываем участок, начинаем бюллетени считать. И тут лица наших оппонентов начинают краснеть и бледнеть одновременно. Красно-бело-красные, как цвета их флага! Чем дальше, тем больше. Когда подсчет закончили, я уже сам стал латышам предлагать коньячку тяпнуть — за победу нашего кандидата. Но они почему-то отказались. Тут с других участков данные подоспели, короче, победил Алексеев Толпежникова! Не зря мы целый месяц свой округ обходили, ой не зря! Перевес, правда, был небольшой, но победа наша, да еще в одном из самых проблемных районов Риги!

Так что та девочка, дай ей Бог здоровья и мужа красавца, такую волю к победе проявила, что я на всю жизнь ее запомнил!.. Но если я еще сейчас стакан накачу — усну в машине. Так что, давай, Леша, прощаться, спать осталось четыре часа. А мне еще домой через весь город. И остаток ночи с Аллой ругаться. И дочку с утра в садик вести, у жены вторая смена в школе… И понедельник — день тяжелый. Будни начинаются, Алексей Рэдич, будни!

Заспанная администраторша вызвала такси, потом разбудила прикорнувшего в холле на диванчике, в ожидании машины, Иванова. Тот улыбнулся мечтательно спросонья, увидев внезапно перед собой улыбку красивой молодой женщины, потом сообразил, кто она и где он, неловко попрощался и рухнул на заднее сиденье потрепанной «Волги». Такси понеслось по пустым улицам, уже окрашенным ранним весенним солнышком, но ни волшебной зари над острыми шпилями Вецриги, ни легкого тумана над притихшей Двиной Валерий Алексеевич не заметил. Он спал.

Глава 3

Заспанный ребенок, теплый, родной, как всегда, путался в узких колготках, искал резинки для хвостиков, но не куксился, не капризничал — делал свое дело — собирался в садик сам. Сама то есть собиралась, доченька. Алла явно проснулась тоже, но упорно делала вид, что спит. Вчера допоздна проверяла тетради, конечно, а Иванов обещал ведь накануне «тряхнуть учительской стариной» — помочь разобраться с диктантами, но какое тут «помочь», когда заявился в пятом часу утра и сразу рухнул на диван, хорошо хоть разделся сперва. Ладно, ей во вторую смену, пусть отсыпается.

Алюминиевая турка, кофемолка «Страуме», хорошо, что ребята из Питера кофе в зернах привезли — можно взбодриться. А то еще недавно приходилось терпеть, пока не доберешься до центра, не заскочишь в кафе, не попросишь двойного и покрепче. А все равно гадость сварят, сволочи! Иванов вспомнил, с какой радостью жарила Алла финского мороженого гуся, привезенного им из очередной командировки, и как плакала, когда пропал огромный кусок парной говядины, который устроил ей в подарок Хачик, договорившись с земляком-поваром из столовой телецентра.

Заморозить парное мясо не успели, да еще Иванов сдуру запаковал вырезку в два полиэтиленовых мешка сразу — боялся, что протечет свежа-тинка по дороге. А в вагоне жара, за ночь мясо не то чтобы протухло, но когда развернул дома — явственно стало попахивать. Алла обнюхивала кусок, слезы стояли в глазах — в это время семнадцать килограммов вырезки были просто сокровищем. Иванов в сердцах выбросил мясо на помойку. Конечно, можно было пережарить, перекрутить; наверняка то, что доставала Алла в магазинах — было гораздо хуже, но уже не побороть было разочарования и отвращения, и обиды на самого себя. И жену было жалко до слез.

Денег пока еще хватало — Иванов получал прилично, зарплату отдавал Алле, гонорары, правда, периодически зажимал — ведь представительских никто не платил, а связи с людьми, с теми же питерцами, надо было «крепить» — они-то принимали у себя от души. Правда, возможности у них тоже были другие — и не в халявных ресторанных посиделках дело — работали все из убеждения. Но так принято в мире, и никуда от этого не деться.

Алла тоже получала хорошо, но деньги уже начали обесцениваться, все тяжелее стало доставать продукты, даже по талонам. Помогали бабушки, подкидывали то одно, то другое.

Иванов старался привозить продукты из частых командировок в Питер, там пока со снабжением было получше, чем в Риге. Да и друзья на телевидении имели по тем временам возможности и связи почти необъятные.

— Па-па!!! — требовательно подала из прихожей голос Ксения, уже одетая.

Валерий Алексеевич залпом проглотил остатки кофе, поправил шапочку ребенку, затянул повыше молнию на курточке и стал рассовывать по карманам «джентльменский набор», бормоча про себя привычное: «Пистолет, партбилет…». Партбилета никакого у него, слава Богу, не было, зато разные удостоверения, ежедневник, записная книжка, сигареты, спички, кошелек, ручка, ключи от сейфа, газовый баллончик на всякий случай еле вмещались в карманах, а папок и сумок, которые легко было где-нибудь забыть, он не любил.

Алла так и не подала голос, лежала отвернувшись к стене. Ну ладно, к вечеру отойдет.

Пробежали, топоча, по лестнице — Ксюша все старалась обогнать отца, выскочили на двор. Солнце не обмануло — светило ярко уже. «Весна, я с улицы, где тополь удивлен, где даль пугается, где дом упасть боится, где воздух синь, как узелок с бельем у выписавшегося из больницы…» — вспомнился с усмешкой Пастернак… Вот и трамвай спешит от Межапарка! «Гауяс», «Бралю капи», «Браса», «Казармью» — нам выходить! Быстро сдать Ксению в садике румяной Катерине — перебросится словом, поцеловать ребенка и снова бегом на трамвай!

Парки, уже начинающие зеленеть, кончились, трамвай втянулся в узкие улицы центра. Теперь быстренько, быстренько, быстренько пробежимся вдоль Городского канала — снова по зелени, мимо уток и голубей; вот и ненавистный памятник Свободы, перед ним цветы, венки, флажки. А под ним — постамент памятника Петру Первому, на месте которого при Ульманисе воздвигли *этот,* монумент. А Вера Мухина отстояла после войны латышскую святыню, не дала снести. Гранитная тетка на высокой стеле держит в руках три золотые звезды: «Три прибалтийские республики» — как врали экскурсоводы, а на самом деле — Видземе, Земгале и Курземе — три области Латвии. Латгале, как слишком русское, даже не посчитали нужным принять во внимание! Так, чего я завелся-то? Ага! Разумовский просил помочь спрятать Петра Первого до времени. Историк-любитель, энтузиаст русской старины, откопавший останки бронзовой скульптуры Петра на складе бывшей веревочной фабрики, недавно обратился в Интерфронт — больше

некуда. Музей истории отказался взять на хранение, да, того и гляди, латыши вообще Петра истребят, потом скажут — потерялся окончательно. Ладно, позвоню в Политуправление округа — пусть выручают, дадут машину и положат до поры на территории какой-нибудь в/ч…

Так, а это у нас что такое происходит? На Смилшу, прямо перед домом, в котором квартировал Республиканский совет Интерфронта, толкались люди, стояла на штативе кинокамера, нацеленная вверх, на окно пятого этажа. Там, как раз из кабинета Иванова, выставляли утром на длинном древке флаг Латвийской ССР. Вот и сейчас шелковое полотнище гордо полоскалось на свежем весеннем ветерке. Тут же, у входа в дом, стоял желтый автобус Рижской студии документальных фильмов. Оператор в коричневом, домашней вязки свитере приник к камере. А напротив него стоял оператор ленинградцев и снимал оператора рижской хроники, снимавшего флаг на здании Интерфронта. Иванов подоспел как раз в тот момент, когда латыш-оператор заметил, что его самого снимают, и оторвался, разогнувшись, от камеры на штативе:

— Оп-па!!! — удивленно воскликнул он. К нему тут же подлетел Толик Тышкевич с микрофоном:

— А что это вы тут снимаете?

— Мы с Рижской киностудии… — растерянно ответил латыш.

К нему на выручку тут же подбежал напарник, очевидно, режиссер:

— А вы кто?

— Мы с Ленинградского телевидения! Так что вы снимаете, коллеги?

— Флаг, которого уже нет!

— Как нет? Вот же он!

— Флаг, который уже не существует! Нет, он, конечно, где-то еще есть, но вообще-то его уже нет!

— Значит — это последний красный флаг в Латвии? — не отставал Тышкевич.

— Да, наверное, последний, — неуверенно протянул режиссер, после чего латыши быстренько подхватили камеру и штатив и втянулись в свой автобус.

Хачик с Лешей, наблюдавшие эту выразительную сцену, стоя рядом с Тышкевичем, удовлетворенно кивнули своему оператору — снято!

— Ну, вы тут на ходу подметки рвете! — Иванов пожал всем руки, всмотрелся в лица — помятые слегка, но ничего, работоспособные. — Что так рано? У вас же Иванс в одиннадцать часов только!

— Да как-то не спалось, — засмеялся Хачик, переглянувшись с Лешей Украинцевым. Тышкевич с оператором только выразительно и укоризненно вздохнули.

— Да они с семи утра ищут, чем бы опохмелиться, и найти не могут, — выдал общую тайну Толик.

— Ага, а вы думаете, Латвия уже настолько отделилась от Союза, что у нас горбачевский указ не действует? — засмеялся Валерий Алексеевич. — Что, что, а вот это, увы, действует! До одиннадцати часов вам нигде и никто не нальет! Кроме меня, конечно. Вы завтракали?

— Да так, чайку попили, — зевнув, отозвался Украинцев.

— Ну, пойдем тогда завтракать, здесь рядом, заодно и проблему решим. Прошли пару десятков метров по булыжной мостовой, свернули направо, на Вальню, и вот она — «Драудзиба».

— Кафе «Дружба»! — торжественно объявил Иванов. — Рекомендую запомнить местонахождение на весь период пребывания с целью периодического оздоровления!

Маленькое кафе почти не изменилось за прошедшие годы. Перейдя на работу в Интерфронт, Валерий Алексеевич вспомнил любимое заведение, теперь находящееся в двух шагах от места дислокации, и снова назначал там встречи, а то и просто зависал с коллегами по вечерам. Анита, пышная моложавая блондинка-буфетчица, встретила Иванова как своего. Тот усадил друзей за столик у окна, пошептался с Анитой о чем-то и вскоре стал передавать одну за другой чашки с кофе, накрытые почему-то блюдцами. Потом уже чашки с кофе горячим. Чтоб не перепутать. Конечно же, половина чашек вместо кофе была доверху налита рижским черным бальзамом. На вид и не отличишь, особенно издалека. Хотя народу больше в кафе не было, бальзам все равно отхлебывали как кофе, с искренним удовольствием отдаваясь процессу.

Тышкевич, правда, от своей порции отказался в пользу Хачика, а сам, шевеля пышными усами, уже вовсю охмурял красавицу Аниту — не то польку, не то литовку, а в общем-то, по сути, русскую, но уж не латышку — точно. Иначе интерфронтовцы не зависали бы тут так часто.

Придя немного в себя, Украинцев достал свой помятый блокнот и начал пытать Иванова про Иванса, интервью с которым в штаб квартире НФЛ было назначено на одиннадцать часов. Это было неподалеку, тоже в Старой Риге, только с другой ее стороны, на Вецпилсетас.

Иванов вздохнул и привычно стал «раскладывать карты».

— Иванс Дайнис, журналист, председатель Думы Народного

фронта Латвии. Кстати, Дайнис — это имя, Иванс — фамилия, а то коллеги из России часто путают.

Леша уже черкал в блокноте новый шарж — глобус с надписью «Latvi-ja», а верхом на нем долговязая худая фигурка с дирижерской палочкой в руке.

— Ну, насчет дирижера это ты, Леша, перегнул. Дайнис скорее просто играет на трубе в оркестре. Первоначально на эту роль — лидера НФЛ — планировали Яниса Петерса. Петерс — поэт, публицист, возглавлял Союз писателей Латвийской ССР, лауреат всяких советских премий. Он же — один из *публичных* основателей Народного фронта. Но Янис — человек немолодой, опытный, предпочитает на всякий случай слишком сильно не отсвечивать. Да и компромата на него за советское прошлое многовато, видимо. Хотя, сам понимашь, почти все народнофронтовцы вышли из национальной партийной, управленческой и творческой элиты, тщательно взращиваемой самой советской властью.

Все, как ты помнишь, вообще начиналось с пленума творческих союзов Латвии. Это хорошо подготовленное событие произошло еще в июне 88-го года. Что потом произошло в Москве?

— 19-я партийная конференция, — не моргнув глазом и не прекращая рисовать в своем блокноте, кивнул Леша. — 19-я конференция и лично академик Александр Яковлев выработали знаменитую резолюцию о гласности. Именно эта конференция открыла дорогу альтернативным выборам в Советском Союзе. А без альтернативных, в кавычках, выборов и без «гласности» националисты в республиках никогда не смогли бы победить как бы законно и открыто. А также не могли бы опрокинуть всю систему власти в Союзе, включая и Россию. Выборы, Валера, это вообще — фикция. Любые выборы, кроме сельского схода.

— Да, Алексей Рэдич, да-да. — Иванов помрачнел, закурил, помахал рукой перед лицом, отгоняя едкий дым, защипавший глаза. — Короче, и Петерс, и Иванс были делегатами 19-й партконференции. Но еще 1 июня 88-го года в Латвии состоялся расширенный пленум творческих союзов республики. Из ста восьмидесяти пяти участников с правом голоса присутствовали двенадцать докторов наук, четыре академика, шестнадцать профессоров, четыре члена-корреспондента академий, три лаурета Госпремии СССР, двадцать пять лауреатов Госпремий Латвийской ССР, два лауреата Ленинской премии, депутаты Верховных Советов Союза и Латвии, члены ЦК КПЛ… Я наизусть этот список «диссидентов» — «угнетенных и порабощенных латышей» помню. В качестве почетного гостя был приглашен на

пленум и выступил с речью главный редактор журнала ЦК КПСС «Коммунист» Отто Лацис. Все себя проявили, все себя показали с лучшей стороны! Джемма Скулме, Вия Артмане, Раймонд Паулс — первый советский легальный миллионер. «Обделенные и ограбленные советской властью»! Но главным событием пленума стало, пожалуй, выступление бывшего офицера контрразведки Красной армии, профессора Академии художеств Латвии Маврика Вульфсона. Именно он, подлец, еще недавно писавший в своих мемуарах о том, как в 1940 году «со слезами на глазах целовал броню советского танка», именно этот мерзавец поднял вопрос о пакте Молотова—Риббентропа и назвал вхождение Латвии в Советский Союз «оккупацией». В чем тут же с ним согласились, и на весь мир заявили об этом, конгрессмены США.

— Вульфсон — латыш, да? — Хачик, до этого лениво наставлявший оператора перед съемкой, оживился и хищно шмыгнул огромным носом.

— Да, Хачатур Амбарцумович, конечно, Маврик — латыш. Такой же, как и ты, — усмехнулся Иванов.

— Мужики, я вам еще раз повторю: на самом деле латыши здесь ни при чем. Латыши есть просто объект воздействия. Да, объект — легко поддающийся, напуганный. Просто сейчас они *больше* боятся своих западных хозяев, чем московского Центра. Они инстинктивно уже поняли, что хозяева снова поменялись. Или что они объединились с прежними, западными хозяевами. Латыши всегда делали и будут делать то, что от них хочет хозяин. Если тебя шарахнут кирпичом по голове, ара, ты же не будешь на кирпич обижаться? Ты будешь обижаться на того, кто этот кирпич в руке держал, правильно? Вот латыши, эстонцы и прочие хохлы (прости, Леша)

— такой же точно кирпич. Не более и не менее. Никогда они не были *субъектом* истории, а всегда — управляемым *объектом* воздействия.

— Ладно, Валера, ты не извиняйся. — Хачик подтолкнул острым плечом щуплого Украинцева и горько улыбнулся. — Я вам сам рассказывал, что в Армении сегодня творится. И я знаю, чем это для армян, как всегда, кончится.

— Ну, короче, Маврик сделал свое дело… Дальше вы знаете. Уже в августе Яковлев приехал в Ригу и подстегнул замершую в ожидании дальнейших указаний из Москвы и готовую тут же отыграть назад интеллигенцию

— все правильно делаете, но медленно! Соответственно, осенью того же, 1988 года мы уже имели в наличии Народный фронт Латвии. Сегодня в нем состоит практически вся «советская» и исполнительная власть. У нас ведь как всегда было — русские

заняты в промышленности, транспорте, строительстве. Латыши — управление, культура, СМИ, сфера обслуживания и сельское хозяйство. Так что русские зарабатывают на жизнь, русские, плюс огромные вливания союзного (читай — российского) бюджета, дотируют сельское хозяйство, праздники песни и прочую дребедень. А латыши распределяют ресурсы. Как и куда они теперь эти ресурсы направляют, думаю, уже понятно. Короче, те самые «альтернативные» выборы, которые были прописаны стране 19-й партийной конференцией, и та самая «гласность» привели к закономерному результату — новый состав Верховного Совета оказался под контролем НФЛ. Значит, скоро Союз рассыплется по команде сверху, как карточный домик. А сделать ничего нельзя.

Можно только побарахтаться, чтобы потом не было стыдно за бесцельно прожитые годы.

— А чрезвычайное положение?

— А чудес, Леша не бывает. Верить хочется, но верится с трудом. Поживем — увидим. Если поживем.

— Иванс. Это Иван с буквой «с» на конце? — Оператор Саша, до того совершенно индифферентный, все-таки подал голос.

— Ага. Тут у нас вообще все интересно. Гомункулусы сплошные. Янычары Запада. Онемеченные — в Латвии или ополяченные — на Украине — славяне. Это все, ребята, наследие большой советской проблемы. Даже не советской, а царской еще.

Создание народов, понимаете ли. Латышей, украинцев, да много еще кого, по английской ли наводке или по собственной глупости создавали из ничего за собственный счет. А поскольку мало их было, то вовсю шли процессы насильственной украинизации и латышизации населения. Причем, что интересно, параллельно шли процессы, что в довоенном СССР, что в буржуазной довоенной Латвии… Отсюда у нас столько «латышей» с русскими фамилиями. Да и «украинцев» понаделали из малороссов миллионы. Долгий это разговор…

Вернемся к Ивансу. Краткий курс, так сказать.

Первым импульсом к волнениям интеллигенции стала серия статей молодого журналиста Дайниса Иванса против строительства Даугавпилс-ской ГЭС. Потом началась кампания против строительства в Риге метро. На этой волне Дайниса и подставили вместо осторожного Петерса символом «Атмоды» — «пробуждения» по-латышски. 1955 года рождения, популярный журналист, четверо маленьких детей — джинсы, свитер, копна пышных пшеничных волос… Все как доктор прописал. Он не дирижер, нет! Он просто восторженный конъюнктурщик. И хороший исполнитель роли. Да только роль уже прописана заранее, и сценарий давно составлен.

Импровизации мало! Слишком мало спонтанности для таких событий, мужики. Слишком спланировано все! Вот это меня тревожит больше всего. Ну, я человек маленький, что от меня зависит? Разве что еще баль-замчику у Аниты заказать. Да только вам пора уже выдвигаться!

О! Два слова напоследок. Знаете, нам еще в универе преподаватель латышского, профессор Михайловский (!), рассказал о том, что слово «bri-viba» — «свобода» — на самом деле когда-то означало «разрешение», «позволение». А понятия «свобода» в латышском языке просто не было изначально! То есть они исторически этими категориями никогда не мыслили, латыши! А потом им «разрешили» стать латышами. Потом им разрешили стать как бы «независимыми». Вот и сейчас им снова «позволили»!!! Так что с тенями мы боремся. С куклами! А кукловоды… Ну ладно, удачи вам! Вас проводят везде, чтобы не заплутали, а я до вечера еще покручусь по своим делам — накопилось тут разного.

Ленинградцы выходили из «Дружбы» в приподнятом настроении, перешучивались, возбужденные новым для них городом, привычной интересной работой, предвкушением конца дня с неизменным гостеприимством встречающей стороны. А Валерий Алексеевич проводил их завистливым взглядом, вернулся на Смилшу и тяжело пошагал по крутой извилистой лестнице на свой пятый этаж.

Кабинет был пуст, соседа, ведавшего, скажем так, оргвопросами, уже не было — он с утра любил объезжать районные советы ИФ. На столе Иванова лежала аккуратно сложенная стопка свежих газет и почты. Не успел он усесться за стол, как зазвонил телефон.

— Валера! Это я…

— Алла, что случилось? Ты в школе?

— Из учительской звоню! Слушай, котик, у меня сегодня педсовет, а в семнадцать часов к нам сантехник придет — опять утром заливать стало! Ты уж отпросись там. А то я никак сегодня не могу!

— Алла, ты же знаешь, что у меня съемочная группа, работы полно.

— Знаю я твою работу, аж под утро заявился, перегаром твоим до сих пор вся квартира разит!

— Господи, что ты, не понимаешь, что ли, как у нас все дела с ленинградцами делаются? Что ты опять начинаешь на пустом месте?!

— Как хочешь, а чтобы сантехника встретил, я не могу весь дом одна тянуть! И Ксению из садика забери по дороге!

— Да у нас съемка в Интерфронте как раз в пять часов, что я Алексееву скажу, в конце концов, что у меня кран течет и больше сантехника встретить некому? Я же тут не в бирюльки играю, Алла!

В трубке раздались гудки. Валерий Алексеевич глубоко вздохнул, медленно, сдерживаясь, положил аккуратно трубку на место. Развернул было газету, посмотрел невидяще на первую полосу, потом раздраженно кинул «Советскую молодежь» назад в стопку и подошел к окну, машинально закуривая по дороге. В окне перед ним упруго развевался красный с бело-голубой волною флаг. За ним открывалось узкое ущелье средневековой улочки, в конце которой был виден кусочек голубого неба над круглой башенкой Кошкиного дома. Черный котяра выгнул спину, изо всех сил цепляясь за острый шпиль башенки. «Прям как я!» — невесело ухмыльнулся Иванов.

За спиной раздался деликатный стук в дверь. Секретарша из приемной Алексеева — полная хохотушка Таня, не дожидаясь ответа — все-таки все на работе, не дома, вошла в кабинет и весело поздоровалась:

— Валерий Алексеевич, доброе утро!

— День уже, Татьяна Митрофановна, — нарочито сокрушенно вздохнул Иванов.

— Вас Анатолий Георгиевич просит зайти. Просил прихватить с собой тексты листовок к митингу. И еще на двенадцать часов у вас Би-би-си, а на тринадцать часов — японцы.

— Хорошо, иду. Да, помню.

Дверь аккуратно закрылась. Валерий Алексеевич помял лицо руками, причесал взъерошенные волосы и кинул в рот крошечную таблетку «Антиполицая», подаренного недавно омоновцами на всякий случай. Шеф был справедлив, Иванова любил, но был еще и строг.

Длинный казенный коридор, изломанный острыми углами, вел в приемную, общую для двух сопредседателей ИФ — Алексеева и Лопатина. Таня заваривала чай, чужих в приемной не было, и потому Валерий Алексеевич, нечинясь, пошел прямо в кабинет шефа. Стукнул по косяку для проформы и сразу открыл дверь. Анатолий Георгиевич, против ожидания, был не один и недовольно нахмурился. Но, разглядев Иванова, неожиданно улыбнулся, как-то рассеянно и по-домашнему.

— Заходите, Валерий Алексеевич, мы уже прощаемся.

Спиной к Иванову за приставным столом для заседаний сидела изящная — по повороту головы, изгибу спины — это видно было сразу — молодая женщина с модной короткой стрижкой. Алексеев вышел из-за стола и галантно поцеловал руку

легко поднявшейся с места даме.

— Рад был снова видеть вас, Татьяна Федоровна. Надеюсь, мы еще скоро встретимся.

— Спасибо, Анатолий Георгиевич, я не думала, что все так быстро и хорошо устроится, в наше-то смутное время! Я буду звонить вам в пятницу утром, как только все подтвердится окончательно.

Посетительница решительно повернулась к выходу и неожиданно чуть не столкнулась со стоящим в проходе Ивановым. Легкое замешательство, извиняющаяся полуулыбка, быстрое, вежливое «Здравствуйте, извините!»; и Таня! Таня! — легко разминувшись с Валерием Алексеевичем, выскользнула в дверь, оставив за собой только легкий шлейф знакомых до остановки дыхания редких французских духов.

Иванов только и смог, что замереть, глядя в медленно прикрывшуюся за Татьяной тяжелую дверь, обитую казенным черным дерматином.

— Симпатичная дама, не правда ли, Валерий Алексеевич? — Чуть насмешливый голос шефа вернул Иванова к жизни.

— Простите, Анатолий Георгиевич, мне просто показалось, что мы раньше с нею встречались! — Иванов тяжело плюхнулся на привычное место напротив лидера Интерфронта, открыл папку с текстами листовок, придвинул поближе Алексееву.

Сердце стучало с перебоями, как копыта лошади по мерзлой земле перед прыжком. — А кто это?

— Наш товарищ из Литвы, она координатор Интердвижения «Единство». Ее Смоткин привез, вы с ним чуть-чуть разминулись.

— Смоткин? У него там какие-то проблемы, я слышал.

— Ну, это немудрено, он человек горячий, настоящий активист, нам бы таких побольше.

— Мы с ним в Питере вместе на предприятиях выступали. Интересный мужик. И все-таки мы встречались, встречались…

— Давайте к делу, Валерий Алексеевич! Как там наши гости?

— Да все в порядке, Анатолий Георгиевич! Пошли Иванса снимать. Потом Рубикс, Кезберс, в семнадцать часов они у нас работать будут.

— Я как раз хотел поговорить об этом. Как вы думаете, сколько человек с нашей стороны нужно представить и кого?

— Мне кажется, неплохо было бы, чтобы вы лично были, еще Игорь Валентинович, ну и пара человек из Президиума. Этого более чем достаточно. Нельзя слишком пережимать и обнаруживать, что они по нашему приглашению и на нас работают. Надо бы как-то потоньше все сделать.

— Хорошо, но вы должны быть обязательно!

— Анатолий Георгиевич, у меня трубу дома прорвало, жена во вторую смену, сантехник как раз придет.

— Валерий Алексеевич, это как-то несерьезно даже.

— Но я ведь монтировать с ними материал поеду в Питер, засвечусь в титрах, а уж в кадр лезть мне совсем ни к чему! Ну что я такого могу сказать, чего бы вы не сказали?

— Пили вчера с ребятами?

— Анатолий Георгиевич, а как я, по-вашему, могу их заставить относиться к нам неформально? Цикл передач, каждая по часу эфирного времени, все с нашей подачи, вы представляете, сколько это реально бы стоило? Мы ведь им денег не подкидываем, условий никаких особых не обеспечиваем, все на личных контактах! И я же теперь крайний.

— Ладно, идите отсыпайтесь, но чтобы в семнадцать часов были здесь.

— У меня сейчас журналисты до обеда расписаны. И потом, ну дома же тоже как-то надо урегулировать мое постоянное отсутствие по выходным!

— Просто детский сад какой-то! Хорошо, разберетесь с прессой, потом решайте свои сантехнические проблемы, а вечером прошу вас быть здесь.

— Понял. Спасибо. Тексты оставляю, правку можете делать, если понадобится, прямо на этих экземплярах.

— Зайдите к Наталье Владимировне, пусть она выпишет вам с Варяником деньги на покрытие расходов. На бензин, на. питание, в конце концов. Я ей позвоню.

— Анатолий Георгиевич, извините, там к Валерию Алексеевичу англичане на интервью. — просунула голову в дверь секретарь.

Алексеев махнул рукой Иванову и углубился в принесенные им бумаги.

Из кабинета Валерий Алексеевич выскочил пулей, чтобы успеть еще перекурить в коридоре перед съемкой и собраться с мыслями. «Неужели и правда Таня?! Не может быть! Не узнала? Или это я с ума сошел?! Семь или восемь лет прошло? Нет. Так не бывает. Хотя из Литвы же, шеф сказал, приехала. Надо Смоткина найти немедленно! Нет, сначала Би-би-си, а то Алексеев потом неделю дуться на меня будет.»

Эх, Таня, Таня.

На Рождество, по первому снежку,
Укрывшему и грязь, и душу белым,
Гуляли мы с тобой по бережку.
Но просто так гулять нам надоело.

Меж сосен плыло небо, не спеша,
Промокли ноги, тишина глушила,
Но ты была внезапно хороша.
Ты рядом шла. И про себя решила.
Что ж, если так, поехали в отель,
В пустыню опустевшего курорта,
В холодную казенную постель,
В гостиницу, где все второго сорта.
Где пьян портье и номера пусты,
Где ржавая вода едва согрета,
Где исключение из правил — только ты,
В тень ночника несмелого одета.
Но на оправу бриллианту наплевать —
Ему нужна хотя бы капля света —
И вспыхнет ослепительно, едва
На грани чувства ляжет взгляд поэта…
Ты говорила, стоя на крыльце,
Затягиваясь быстро кислым дымом,
С улыбкой нервной, с болью на лице
О том, как страшно быть твоим любимым.
Искала вдруг созвездие Плеяд
На черном, как тоска, вечернем небе.
И я искал. И был с тобою я,
А для тебя — как будто рядом не был.
Уж третий день болеешь ты душой.
Так хочется сбежать назад — к печали,
Слезам, покою… Плохо ль, хорошо ль —
К тому, во что не верила вначале.

Глава 4

— Толку от этих интервью — с гулькин хрен! — Валерий Алексеевич проводил до выхода на лестницу улыбающегося японца и его московскую переводчицу и теперь отводил душу соседу по кабинету.

— Ну как же! Все-таки и наша позиция озвучена в мировых СМИ. — Подтянутый, энергичный, всегда улыбающийся сосед по кабинету участливо повернулся к Иванову всем корпусом.

— Михаил Петрович, будет вам издеваться! Нам-то что с того? Во-первых, все переврут. Во-вторых, все равно сначала оближут НФЛ с головы до задницы и представят в лучшем свете. А нас уж так, для контраста. К тому же о нас знают в России, о нашем существовании прекрасно известно на Западе. Но в Латвии возможностей для пропаганды — наше «Единство» да партийная «Советская Латвия» — и то с оговорками, поскольку у них свои установки — рубиксовские. Радио наше, выходящее с полевого армейского передатчика, хрипит, пердит, и ловить его надо как вражеские «голоса» в брежневскую эпоху!

— Ну, Валера, хорошо, что хоть это пока не прикрыли. Дальше будет хуже, так что ты молодец, что последние возможности используешь на всю катушку. И Алексеев это понимает. И я. понимаю. А вот некоторые сотрудники твои больше саботажем занимаются!

— Вы снова о Васильеве?

— Снова о нем, Валерий Алексеевич! Ты, извини, с ног сбиваешься, а его — кассету переписать не допросишься! То он в ЦК пропадает, то спит до обеда. Он на кого вообще работает?! Вот поставлю за ним людей один раз, и посмотрим, чем он на самом деле под нашей крышей занимается!

— Петрович. Он меня самого достал. Но у меня нет других людей. Нету! Нет журналистов, нет операторов, нет режиссеров! Ты посмотри, кто у нас в газете сидит? Хорошо хоть Рощин человек профессиональный, но ведь он у нас редактором, а в «Советской Латвии» завотделом. Опять на двух стульях, как и Васильев. Но писать некому! Письма активистов и рабкоров элементарно надо хотя бы обрабатывать! Статьи, которые присылают, приносят, которыми заваливают на самом деле редакцию, — это ценный, но сырой материал! Из всего этого делать газету хороший профессиональный штат нужен! Корреспонденты на местах должны быть — профессиональные! Ни репортажа толкового, ни аналитики, ни очерка, ни фельетона. Два с половиной человека способны у нас писать хорошо, но им

не разорваться! Технической интеллигенции полно, а творческая вся, по определению, — или латыши, или окололитературные «русскоязычни-ки» — «досиденты» из старого анекдота.

— Да у нас людей — сотни тысяч — только позови!

— На митинг, на демонстрацию, забастовку, в рабочую гвардию — да! А пропагандистов и агитаторов, не говоря уже о талантливых профессиональных журналистах, что вовсе не одно и то же, — нет! Старые партийные кадры в сегодняшней обстановке просто растерялись и толку от них — ноль. Новых — надо растить. Из кого? Растить — это время. Это деньги, между прочим. И время, кстати, на то, чтобы их растить, надо отнимать у себя, а его и так нет Мы вовсю используем ленинградцев хотя бы потому, что своих творческих кадров у нас просто нет!

— Кстати, о ленинградцах! Ты сегодня на съемке будешь вечером?

— Не буду и уже отпросился у Алексеева — у меня трубу прорвало, жена еле заткнула тряпкой, уходя на работу, сантехников встречать некому. Так что я сейчас домой, а на Смилшу буду не раньше девятнадцати часов.

— Ладно, вечером тогда соберемся с гостями да куда-нибудь сходим — развеемся. Заодно и помощь мне нужна от них… через них, сам знаешь с кем.

— Ага! Если кто-то кое-где у нас порой. Шеф раздобрился, велел Наталье денег выписать на пропой. Так что вы, как старший товарищ, подготовьте нам отдельный кабинет.

— В «Таллине»? В «Латвии» все отдельные кабинеты на прослушке, сам знаешь.

— Ну, вам решать! Кстати, Михаил Петрович, вы Смоткина не встречали сегодня, говорят, он заезжал?

— «Литовца»? Так он у меня через час будет.

— Просьба! Личная! Совершенно секретная! Раздобудьте у него телефон дамы, которая его сопровождает, и уточните фамилию, имя, отчество. Ну и все остальное, если получится. Ненавязчиво так, между прочим.

— Ну, Валера, ты даешь! Когда успел девушку срисовать?

— Потом объясню, тут старые дела. Я побежал, Петрович, сейф прикройте сами, пожалуйста!

— Беги, сантехник-сан, а то всех соседей небось затопил уже! Михаил Сворак подождал, пока не затихнут на лестнице торопливые шаги Иванова, стер с лица масляную улыбочку и пружинисто подошел к открытому сейфу, стоящему в углу кабинета. Сейф был у них на двоих — старинный, шесть человек тащили на лямках по крутой лестнице, а когда уронили — из Минфина, стоящего напротив по узкой улочке, охрана прибежала

— решили, что в Интерфронте что-то взорвалось! Внутри огромного сейфа у отставного полковника было свое, личное отделение, закрывавшееся отдельной дверкой, ключ от которой был только у него. Покопавшись в папках, Петрович вытащил одну, перелистал и аккуратно добавил несколько строчек разборчивым, красивым почерком старого кадровика. Побаранил пальцами по столу, смотря задумчиво в окно, и решительно убрал документы обратно в железное логово.

Немало было за год совместной работы сделано, пройдено, выпито соседями по кабинету. Доверяли друг другу и из взаимного расположения, и по служебной необходимости. И просто потому, что выбора не было — верить — не верить. Дело общее, а ответственность на каждом своя. Часто совмещали командировки. Вместе ездили в Горький — лекции читать на предприятиях, в партийных органах и школе милиции. Присмотрелись друг к другу на воле, пообтерлись. Потом Иванов поделился своими связями в Питере, вывел Петровича на его бывших коллег по «цеху» в Большом доме на Литейном, а сам ушел в сторону, чтобы не пересекаться. Вместе ездили в Карелию, к Мессершмидту — смешная фамилия у директора Кондопожского ЦБК. Выделенную Интерфронту бумагу делили — часть на выпуск «Единства», а часть на продажу кооператорам втридорога. За счет этих денег движение могло позволить себе содержать необходимый штат. Много было разных насущных практических дел, которые желательно было для подстраховки делать вместе. И доверяли, и проверяли, не обижаясь друг на друга.

Конечно, среди штатных сотрудников движения было много разных людей. Каждый занимался своим — кто лучше, кто хуже. Рвачам и жуликам места в аппарате ИФ обычно не находилось — выгод мало, а страху и ответственности куда больше. Ясно, что и на старуху бывает проруха — иногда приходилось с людьми срочно расставаться; не обходилось и без скандалов, порой тщательно организованных противной стороной. И тем не менее после того, как вычистили провокаторов, расчетливо подставленных движению еще в период его становления, коллектив работал слаженно и довольно эффективно. Лидеры Интерфронта — Алексеев и Лопатин — оба были опытными руководителями старой школы и умели организовать работу. Умели и людей подобрать. Беда в другом была — не так-то просто людей подходящих найти. В активистах и сочувствующих нехватки не было. Но задачи перед движением стояли совершенно новые. Действовать приходилось в обстановке совершенно нетипичной, бороться буквально против всех. Русские

в Латвии, шаг за шагом, потихоньку превращались в партизан, не имеющих связи с большой землей. Более того, выходить из окружения было *некуда.* Ведь «карательные отряды» посылались не столько латышами, сколько Москвой. Это понимали, это просчитывали. Надеяться оставалось на чудо. Но жить было надо, надо было сопротивляться, надо было делать хотя бы то, что еще возможно. И все привыкли со временем к этому и не находили в своем положении ни особого трагизма, ни героизма, ни жертвенности. Просто работали в меру своих сил и способностей.

Иногда казалось, что противостояние это будет вечным и никогда не кончится. Тогда ощущали себя чиновниками, функционерами новой политической машины. *Привыкли…*

Если бы рвануло вдруг, сразу, если бы далекоидущие планы не маскировались потоком демагогии, если бы людей не усыпляли ежедневной прекраснодушной болтовней — все было бы по-другому. Поначалу на каждый митинг НФЛ тут же отвечали собственной многотысячной манифестацией. Дрались, отстаивая свою точку зрения, искренне надеялись на то, что в Центре просто не видят, не понимают того, что *уже* происходит на местах. Вера в доброго царя, в сакральную природу любой власти сыграла плохую шутку.

После целого года митингового противостояния и публичных политических дебатов все просто устали. Противостояние стало таким же непреложным фактом жизни, как рассвет, закат и смена времен года. *Привыкли.* Утратили иммунитет. Теряют остроту чувства; под натиском ирреальной, алогичной, растянутой по времени «перестройки» начинает отказывать людям банальный здравый смысл и пропадает способность к сопротивлению. Ничего не менялось. НФЛ и Интерфронт делили Латвию пополам начиная с 1988 года. Уже шел 90-й… А конца противостоянию не было.

Казалось, что ни одна, ни другая сторона не одерживают решающей победы. Но именно фактор времени, притупления бдительности, остроты восприятия фактов сыграл решающую роль в «величайшей геополитической катастрофе XX века». Количество незаметно перешло в качество. И вода замерзла. Или закипела — как кому больше нравится. И даже ставшие к тому времени профессиональными политиками лидеры ИФ и НФЛ, уже знавшие, казалось бы, все возможные расклады и варианты, в равной степени ощущали себя просто игрушками стихии.

Интерфронтовцы до последнего надеялись на Чрезвычайное Положение, на то, что кто-то все же сорвет стоп-кран и поезд, на всех парах несущийся в бездну, заскрежещет тормозами и остановится на краю пропасти. И тогда имеющаяся у ИФ

структура снова нарастет мясом и поможет восстановить государство. Энфээловцы до последнего не верили в то, что они выиграют, и потому постоянно были готовы или вытащить зарытый партбилет и сдать органам своих товарищей по ячейке НФЛ, или срочно эмигрировать привычным с войны путем в Швецию.

Никто при этом не хотел умирать. Никто или почти никто не был готов идти до конца в «последний и решительный бой». Это позволило избежать большой крови. Это же обернулось в результате выигрышем более подлой и трусливой стороны. Которая, конечно же, не была достойна никакой свободы, потому что, вопреки воплям СМИ, никто из латышей реально не шел за нее на бой. Briviba, то есть «свобода», на самом деле снова, как и в 19-м году, обернулась для них «разрешением».

Латышам позволили снова поиграть в независимость. Русским в Латвии не позволили даже сопротивляться, отобрав у них главное — Россию.

Из двух бед выбирают меньшую — эта историческая российская парадигма в очередной раз в мгновение ока превратила миллионы русских в эмигрантов поневоле. «Наши» никогда уже не придут», — думал Иванов, исправно выполняя свою работу — свято веря лишь в древнюю китайскую пословицу о том, что сделанное не может стать несделанным. А значит, и сегодняшнее сопротивление не бессмысленно.

Отец Иванова сразу после увольнения в запас хотел перебраться в родную Пермь, да мать отказывалась ехать вдвоем — не хотела оставлять без присмотра молодую семью младшего сына, боялась потерять горячо любимую внучку. Тогда, пару лет назад, Алексею Ивановичу предложили неожиданно выгодный вариант квартирного обмена — трехкомнатную в центре Владивостока на его двухкомнатную в Риге. Валерий Алексеевич долго уговаривал Аллу переехать в Россию вместе с родителями. Тем более что во Владивостоке служил старший брат — в штабе Тихоокеанского флота, тем более что однокомнатную самого Иванова тоже меняли на двухкомнатную во Владике! Но если для Ивановых даже Владивосток был возвращением на Родину и воссоединением семьи, Алла, вся родня которой веками жила в Латвии, ехать на Дальний Восток отказалась наотрез. Теперь, конечно, никто уже не хотел из России ехать в Прибалтику, да и

Рижский горисполком внезапно запретил обмен квартир в Риге на квартиры за пределами Латвии.

Несколько лет назад, еще в 35-й школе, Иванов подружился было с Ильей Коноваловым, внезапно появившимся коллегой — новым учителем русского языка и литературы. Филолог по

образованию, Илья приехал в Ригу с Северного Кавказа. Из Махачкалы, кажется. На Кавказе русскому жить становилось все труднее, несмотря на то что перестройка еще только начиналась тогда. К тому же по специальности Коновалов никогда не работал, сразу после института, неведомо какими путями (а логики на Кавказе не ищи!) он оказался на освобожденной работе в профсоюзном комитете крупного производственного объединения. Быстро выбился в профсоюзные лидеры и несколько лет работал буквально «печенью» — принимая и провожая различные делегации по обмену опытом, ревизии, проверки, инспекции. Обеспечивал отдых руководству предприятия, списывая огромные суммы, уходящие наличными в особый «директорский» фонд. Сам устал, и жена взмолилась: «Уедем куда-нибудь, пока тебя не убили или не посадили! Ты уже на человека не похож стал — дерганый, вечно полупьяный, запутавшийся в паутине проклятых обязательств «ты мне — я тебе!»

Подвернулся обмен на квартиру в Риге. И молодая семья тайком поднялась с места, с большим трудом разорвала отношения с комбинатом, а значит, со всем городом — и оказалась в Латвии. Было это в 86-м году. А уже через год в Прибалтике начали поговаривать о независимости. Дальше — больше. В 89-м году, когда Иванов перешел из школы на работу в Интерфронт, Коновалов опять снялся с места, в очередной раз попробовал убежать, найти спокойное место в сходящем с ума мире. Но выбора особого уже не было, еле успел перебраться к брату — на Ставрополье… Формально — в Россию. А что там будет, на Юге, рядом с Чечней, через год-два — лучше и не думать. Коновалов уехал, Иванов остался. Теперь поезд ушел окончательно, надо было жить дальше. А значит, сопротивляться.

— Конечно, не думали мы тогда в таких категориях. — Валерий Алексеевич нагнулся, пошарил в траве и аккуратно срезал крепенький боровичок — грибы в вырицких лесах этой осенью высыпали на славу. — Все было куда прозаичнее, человек не скотина — ко всему привыкает. Я вот теперь вспоминаю те дни и сам не верю, что не было сегодняшней запоздалой истерики, криков. Каждый занял свою сторону и просто жил дальше. Ситуация подвисла надолго, и это, оглядываясь назад можно твердо сказать, позволило разрушить, казалось, нерушимый Союз. Капля камень точит.

Перечитывал Розанова — так он когда еще писал, что в России лучших людей всегда отсылали на окраины. Самых деятельных, инициативных, энергичных, умных, порядочных. Из центра России — в Прибалтику, Среднюю Азию, на Кавказ, в

Польшу, Финляндию. А в какой-нибудь Костроме да Туле, Орле и Курске оставался кто?

И ведь это повторилось в советское время. Сбросили в революцию миллионы лучших русских людей в эмиграцию, положили на полях Гражданской войны.

Потом, уже в СССР, подгребли остатки лучших — и снова их на окраины… Строить, учить, поднимать народное хозяйство. И все это отрывая от самой России! От России, и без того обескровленной революцией, двумя мировыми войнами! Главным ресурсом делились — русскими людьми! И теперь грузины какие-нибудь с эстонцами называют это «русификацией»! И теперь сами же стонут латыши с литовцами, что некому работать, что специалистов нет, людей нет! А нас называли «оккупантами» и «колонизаторами»! И что же? Снова в 91-м году «сбросили» лучших русских людей, отправленных в командировки на окраины империи. Десятки миллионов лучших людей! Кого оставили в России? А кем стали там, в национальных республиках, лучшие русские люди, превратившиеся в эмигрантов поневоле, в людей второго сорта? Как можно было не просто пожертвовать русскими людьми, но и сделать все, чтобы они ассимилировались на окраинах или даже превратились в ненавистников предавшей их Родины?!

Не сформировалась еще единая русская нация! Иначе не было бы ни 17-го года, ни 91-го в XX веке! Не было бы *двух* гражданских войн. Двух, потому что русские в России в 91-м году фактически, без всяких преувеличений, пошли войной против тридцати миллионов русских, отправленных из России в национальные республики! — Валерий Алексеевич махнул рукой и свернул в ельник, побрел дальше, внимательно вглядываясь в седой мох под ногами. А я не стал спорить и даже отвечать на. на оскорбление, брошенное в лицо, по сути, всем россиянам. И мне в том числе. Тоже мне — «лучшие русские люди»…

Нервничает человек. Тяжело перенес переезд. Формальности, покупка квартиры, дома; ремонты, обустройства, больная жена. Перевез же еще и родителей, и тещу, и тетку жены — инвалида, остававшуюся одну. Всем надо было квартиры в Латвии продать, здесь купить, вещи перевезти, ремонт всем сделать, помочь бумаги оформить. Да тут любой нервное истощение заработает. А сосед еще ничего. Так, побурчит и снова оттаивает. Интересно, он что, в самом деле считает, что в России нашей одни олухи остались? Представляю, что будет, если опубликовать все это, да еще перед выборами… Да ничего не будет. Нам всем действительно дела нет, кто и что о нас скажет. У нас вон Зурабов есть да Греф с Чубайсом — всегда можно душу отвести. Этих

снимут, так снять, при необходимости, всегда есть кого. А Иванов мой — кто он такой? Да *никто*. Пусть радуется, что вообще пустили в Россию из милости. А то слишком много стал разговаривать!

Как там он писал?.. Где-то у меня была его тетрадь со стихами — выпросил на денек, а потом себе оставил. Уже год лежит, а он даже не вспомнил!

Растаять в уюте обманчивых стен капитальных, В тепле раствориться и ласке заботливых глаз, И тихо вздыхать о проблемах, увы, матерьяльных. И настучать на «Ромашке» короткий рассказ.

А в этом рассказе, всего на пяти лишь листочках, История жизни, случайно родившейся здесь. Случайность — на графике судеб рассчитанных точка. И грусти осадок, и Завтра неясная взвесь.

«Неясная взвесь»… Вот так вот взять и плюнуть в лицо всей сегодняшней России! И мне вместе с ней! «Лучшие русские люди». Скромнее надо быть!

Обида долго во мне не проходила, мы даже с грибов вернулись по домам разными путями. Но вечером постучалась в окошко Катя, позвала чаевничать. Пришлось идти.

Глава 5

Рощин — редактор интерфронтовской газеты «Единство» перехватил Валерия Алексеевича на лестничной площадке, перегороженной металлической решеткой, у которой сидел ночной дежурный. Редакция и видеоцентр Интерфронта, которые курировал Иванов, располагались на четвертом этаже старого дома на Смилшу. Освобожденные члены Президиума Республиканского совета — немногочисленные штатные сотрудники ИФ — размещались этажом выше. Решетку, отделяющую верхние, интер-фронтовские этажи от остального здания, поставили совсем недавно по настоянию Сворака, председателя Координационного совета ИФ, по совместительству курировавшего вопросы безопасности.

— Валера, погоди! Малаховский свежий номер привез, там твой фельетон, я гонорары расписал, можешь получить у Натальи.

— Уф-ф! Ты псевдоним хоть поставил?

— Да я уже запутался в твоих псевдонимах! Подписал Ржевским. Или надо было другой?

— Нет, тот для серьезных статей, а для фельетонов — Ржевский, все правильно. Ты хоть вычитал сам? Я же успеваю писать только на коленке, в трамвае. На службе некогда — в кабинете днем не протолкнуться.

— Да чего там вычитывать, все равно материалов не хватает! Особенно жанровых. Засушим газету политическим официозом от старперов, а сейчас это — смерти подобно.

— Ну, в желтизну нам тоже скатываться нельзя, пусть «Молодежка» пишет про изнасилование пионерки индийским слоном.

— Да при чем тут желтизна, Валера? Просто должно же быть живое слово, чтоб за душу хватало, а не только вести с фронтов и «подвалы» от профессоров, преподающих марксизм-ленинизм и историю партии!

— Должно! Ты редактор, вот и трудись! Я тебе еще две ставки выбил, что ты от меня еще хочешь? Ладно, я сейчас к Алексееву, а потом Петрович нас с ленинградцами в кабак поведет, давай присоединяйся, тебе будет полезно познакомиться!

— Так они еще в студии, на нашем этаже! Интервью снимают!

— Что, все еще снимают? Вот засада! Я думал, уже закончили. Ладно, Володь, пока Наталья еще не ушла, получи у нее мой гонорар, а? И жди меня с ленинградцами в кабинете.

— Я-то получу, только завтра подойди расписаться, ты же

знаешь, у Наташи строго все!

Отмахнувшись, Валерий Алексеевич прошел на четвертый этаж, заглянул налево — в открытую дверь редакции, за которой скрылся Рощин, отметил, что сотрудники еще на местах, повернул направо по коридору, стянул по пути свежий номер «Единства» из груды пачек, сваленных прямо у дверей экспедиции, и, развертывая на ходу газету, остановился у железной перегородки, отрезавшей от мира интерфронтовскую видеостудию «Альтернатива». За дверью чуть слышно бубнили — ребята еще записывали интервью. Иванов не стал врываться посреди съемки. Уселся в коридоре на казенный деревянный стул, закурил и пробежал глазами свой фельетон на последней полосе свежего номера. Пару раз досадливо поморщился, найдя опечатки, удовлетворенно улыбнулся карикатуре, сопровождавшей материал, потом бегло окинул взглядом первую полосу — просто так, для порядка, содержание каждого еженедельника все равно обсуждалось на редколлегии. Вытянул горевшие огнем ноги и попытался расслабиться. Но, как обычно после прочтения своих материалов, расслабиться не давало чувство неудовлетворенности сделанным. Ничему не удавалось последнее время отдаться целиком.

Иванова, как и других немногочисленных штатных сотрудников, буквально разрывали на части. Движение республиканское, сотни тысяч людей, тысячи активистов, требующих решить вопрос, помочь тем или этим, одобрить инициативу, пресечь крамолу. Конечно, главный удар принимали на себя лидеры — Алексеев и Лопатин. Валерий Алексеевич, как и все председатели различных комиссий Республиканского совета, старался заниматься только своими вопросами, их и так было «выше крыши». Он старался не отсвечивать лишний раз, не лез туда, куда не просили, но все равно постоянно появлялись проблемы, вроде бы не относившиеся к вопросам его служебной компетенции, но решать которые приходилось именно Иванову. Впрочем, в таком положении были все.

Вот и этот фельетончик. Вроде бы несерьезно, не члену Президиума такой мелочовкой заниматься, но и гонорары были нелишними, а главное, хотелось обкатать кое-какие мысли, которые пока обсуждать всерьез на президиуме было еще рановато.

Валерий Алексеевич привычно утер лицо ладонями, смывая усталость, и снова развернул газету.

В одном номере было несколько его материалов. Интервью с Лопатиным на первой полосе, подписанное своей фамилией. Там же, под псевдонимом, короткий аналитический обзор. На третьей

полосе пара обработанных им и тщательно отредактированных официальных заявлений Алексеева. А вот фельетон на восьмой полосе, уже под третьим псевдонимом, писался наспех, мысли до конца не высказаны, все скомкано. Времени на себя никогда не хватало. хорошо хоть Володька заставил художника нарисовать к фельетону картинку, позволяющую обнажить главный тезис.

..СПИД — болезнь нашего времени, СПИД — политический — в особенности. И самое страшное — это привыкание к вирусу и последующая потеря как политического иммунитета, так и банального здравого смысла. Еще вчера мы негодовали при одной мысли о дискриминационном, законе о языках. Сегодня это уже реальность, и о недавнем, негодовании мы забыли. Еще вчера мы возмущались разговорами о республиканском гражданстве, делящем людей на разные сорта в зависимости от национальности — сегодня мы, как стадо баранов, покорно ждем, когда же новый состав Верховного Совета от НФЛ примет, это, как закон. Еще вчера даже Дума НФЛ боялась вслух сказать о выходе из СССР, сегодня для большинства руководителей республики и сотен тысяч, обманутых ими «народников» односторонняя декларация о независимости — вопрос решенный.

Стало ясно видно, что латышский национализм крайне избирателен — он дружит, с национализмом, грузинским, эстонским, украинским; он даже щедро делится с ними недавно приобретенным, западным, опытом, деньгами, инструкциями и советниками.

Зато все «советские националисты» (какое интересное словосочетание!) дружно борются общим, фронтом, против русских в своих республиках. Мы привыкли ко многому, но что ждет нас завтра, если мы не очнемся от спячки, вызванной притуплением иммунитета, что на деле означает элементарную потерю способности к выживанию?

Мулодцы из «Лабвакара», закончившие, кстати, по особой квоте московские и ленинградские творческие вузы, поют нам колыбельную. Их сотоварищи из охранных отрядов НФЛ примеряют, форму штурмовиков. А мы все верим, успокаивающим, речам, любимца Запада и генсека по совместительству. Единственное спасение наше сегодня — открыть глаза! Тому, кто думает, о завтрашнем, дне, не страшен никакой вирус! Тому, кто не променяет, будущее своих детей и своей великой страны, на сегодняшнее временное спокойствие ради подачки, брошенной до поры до времени «мигрантам» «носителями приоритета», — тому место с нами. Если мы делаем, что-то не так, приходите, будем, делать вместе, может, получится лучше! Только не отсиживайтесь в кустах, их вырубят вместе с вами, освобождая

место для «независимости».

Валерий Ржевский»

Иванов еще долго сидел, курил, ожидая, пока закончится съемка за плотно закрытыми дверями интерфронтовской видеостудии. Участвовать в записи ему не хотелось совершенно — и так каждый день интервью, съемки, пресс-конференции. Все это уходило на Запад, в лучшем случае — в Россию. А здесь — здесь только «Единство» с тиражом в пятьдесят тысяч да пара передач в неделю в эфире полуподпольной радиостанции КПЛ «Содружество». Собственные документальные фильмы и телевизионные сюжеты тоже транслировались в основном только Ленинградским телевидением, крайне редко удавалось что-то протолкнуть в Останкино. А поле битвы Интерфронта — здесь, в Латвии. Да еще и слова не скажи прямо, республиканские власти, оседлав умело поднятую с помощью западных спецов волну национализма, поставили русских в заведомо проигрышную позицию. Начнешь говорить о русском, тут же получишь от латышей в ответ — катись в Россию. А из Москвы — окрик: подрываете советскую политику дружбы народов! Короче, национализм сегодня в Союзе разрешен всем, кроме русских. Но главное, наши люди сами, искренне, не приемлют национализма, не понимая, что война в очередной раз идет не с политическим строем, а с русским народом. Про бытовую русофобию знают и понимают. Про русофобию НФЛ знают и понимают. Но поверить всерьез в то, что именно русские являются главным врагом, не могут. Будут ждать все новых доказательств, что латыши и грузины с бандеровца-ми нам не братья… Ждать до последнего. А когда поймут и разъярятся — будет поздно. В том и расчет — step by step, медленно и печально. Пусть *привыкают*….

Господи, когда же они закончат, наконец? Интересно, что скажет Петрович, видел ли он Смоткина, разузнал ли что о той женщине? Неужели и в самом деле — это Татьяна?

«Ужель та самая Татьяна?!» — даже смешно, право. Столько лет прошло, забыл давно и про госпиталь, и про нее. Или не забыл? Испугался тогда принимать решение или жизнь закрутила? Эх, молодой был, глупый! А если бы? Что тогда?

Ответить сам себе Валерий Алексеевич не успел. Дверь студии отворилась, народ повалил в коридор — перекурить после неожиданно затянувшейся съемки.

Маленький — человек на десять — уютный, приятно округлый банкетный зал ресторана «Таллин» дышал теплом. Овальный стол уже был накрыт холодными закусками и горячительными напитками. Михаил Петрович окинул взглядом проголодавшихся, замотанных длинным днем товарищей и

решительно распорядился «наливать».

Улучив минутку, Иванов поймал Петровича, вышедшего в туалет, за локоток отбуксировал его к стойке бара и стал пытать с пристрастием:

— Петрович, так ты Смоткина видел?

— Видел-видел. — пробормотал уже немного «уставший» старший товарищ. — Он, кстати, сегодня же уехал в Вильнюс.

— А как же его спутница?

— Звягинцева Татьяна Федоровна. 54-го года рождения. Переводчица по образованию. Интердвижение консультирует по вопросам контактов с зарубежными СМИ, штатно там не работает.

— Звягинцева. — Валерий Алексеевич растерянно морщил лоб, — хотя, если замужем, вполне могла сменить фамилию.

— Разведена. Муж был военным, но не простой армеец, точно. Подробностей никто не знает.

Очень компетентна, общительна, имеет широкие связи среди иностранных журналистов. Ведет себя вместе с тем довольно строго — мужики к ней яйца подкатывали, но безуспешно. Что еще? Детей нет Живет в Вильнюсе. В средствах, судя по всему, не нуждается. Официально числилась в местном отделении «Интуриста», сейчас уволена, но подрабатывает частным образом. В Интердвижении с самого начала по рекомендации кого-то из лидеров. Вот, собственно, и все, что можно было выдоить, не привлекая особого интереса к объекту.

— Спасибо, Петрович! С меня коньяк и прямо сейчас! — Иванов поманил бармена.

— А что ты так запал на дамочку, а, Лексеич? — Сворак пьяно хихикнул. — Ты же вроде налево не ходок?

— Все правильно, Михаил Петрович, я не бабник, я — пьяница! — Валерий Алексеевич приподнял пузатый бокал с соткой коньяка, чокнулся с коллегой, провел фужером под носом, картинно вдыхая аромат. Аромата не оказалось, и тогда он, скривившись, опрокинул бокал залпом. Отхлебнул кофе, закурил не спеша. Длинный день и ночной недосып начали сказываться. — Сам знаешь, мне кадры нужны. А тут женщина наверняка не только переводит, но и сама пишет профессионально. Да и связи у нее в журналистской среде. А то, что она в Вильнюсе. Так мы сейчас ленинградцев поим — от них одних пользы больше, чем от всей местной прессы, Петрович!

— Ну да, ну да. — покивал с готовностью Сворак. Потом демонстративно отмахнулся рукой от дыма, облаком плававшего по бару, и чуть отодвинулся от смолившего как паровоз Иванова. Вытащил из кофе ломтик лимона, пожевал с безразличным

выражением лица и медленно, участливо даже проговорил: — Смоткин-то один уехал сегодня, между прочим! Но тоже просил меня помочь. Татьяна эта его достала — свяжи, говорит, меня с интерфронтовским идеологом, мне с ним взаимодействие обсудить надо… Ну, я ему для нее и дал твой телефончик, рабочий, конечно… — Цепкие карие глазки Петровича прицелились в заметно напрягшегося Иванова.

— Ну давай, давай, не томи!

— А вот и тебе телефончик! Татьяна твоя еще пару дней здесь пробудет, погостит у подруги. — Петрович медленно вытащил из кармана пиджака блеснувшую глянцем визитку.

— И ты молчал? — Валерий Алексеевич выхватил визитку и пробежал глазами лицевую сторону, потом написанный от руки номер рижского телефона на обороте.

Сворак внимательно смотрел на него, по-отечески сопереживая молодому товарищу. Только в уголке плотоядных губ чуть-чуть угадывалась снисходительная усмешка.

Зеленая девчонка с зелеными глазами,
Обычная девчонка с обычною судьбой.
Ты так идти боялась по морю над волнами,
Зачем же целовалась на море том со мной?
Зачем ты обнимала доверчиво за плечи,
Зачем ты прижималась, когда теряла дно?
Ах, как ты целовалась той ночью бесконечной!
Ты думаешь, поверю я, что все прошло давно?
Эх, где вы, ночи звездные, когда ложились поздно мы,
Где те часы бессонные до самого утра?
Фантазии, фантазии, но только думал разве я,
Что будет вспоминаться мне обычная игра?
Пишу стихи с усмешкою, еще чуть-чуть помешкаю
И заряжу в последний раз свой черный пистолет.
Когда мне вспоминается, тебе небось икается?
Да ладно, что там, мне пора, я ухожу — привет!

Глава 6

Домой Иванова привез Толян на омоновском «уазике». Бдительная дворничиха, живущая на первом этаже, высунулась было на шум в подъезде, но, увидев пару дюжих парней в черной форме и с автоматами за спиной, бережно поддерживавших под руки жильца из шестьдесят седьмой квартиры, тут же прикрыла дверь. О Рижском ОМОНе уже тогда ходили легенды — от страшных — до героических.

Отправив ленинградцев после банкета в «Таллине» в гостиницу Валерий Алексеевич вместе со Свораком тут же, на Горького, стал ловить такси. Однако мимо как раз проезжал экипаж закадычного друга Мурашова. Толик сразу приметил двоих припозднившихся мужчин у ресторана и притормозил водилу на всякий случай. Узнав Иванова, ребята тут же усадили его к себе в «бобик», а Петровичу остановили первую же проходящую машину и велели отвезти его в Пурчик. С Ивановым омоновцам было по дороге — они уже возвращались на базу в Вецмилгравис после очередного рейда.

Преступность в Риге с началом перестройки стала зашкаливать. А тут еще намечающееся двоевластие! От криминального взрыва ситуацию удерживал только ОМОН, чрезвычайно жестко работавший по лидерам преступного мира и не менее жестоко проводивший показательные рейды по городу, сурово напоминая уголовникам, кто здесь пока еще хозяин.

Иванов дружил с Толяном уже давно, еще до того, как два года назад в Риге сформировали один из первых в стране отрядов милиции особого назначения. Друзья и теперь частенько собирались вместе, и женам в такие вечера оставалось только вздыхать и перезваниваться друг с другом. Но в этот раз Иванову было не до продолжения банкета. Толян позвонил в дверь, сгрузил чуть живого товарища Алле, успокоил ее и умчался на базу.

Утром Валерий Алексеевич принял контрастный душ, втайне порадовался тому, что у Ксюши опять сопли и не надо ее по этому случаю вести сегодня в садик, заварил кофе и в очередной раз дал зарок не пить. По крайней мере, столько. Он успел поймать ленинградцев в гостинице по телефону, сообщил им, что сегодня он весь день «с ними, на всех съемках». Потом перезвонил на работу и то же самое передал секретарю, чтобы никто его не разыскивал — он на съемках, а еще у него переговоры с литовскими коллегами. Выпив третью чашку кофе, Иванов и вовсе повеселел и перезвонил еще себе в кабинет. Трубку взял Петрович

и разговаривал очень скучно — видно, ему тоже было нелегко. Прикрыв себя со всех сторон, Валерий Алексеевич тихонько выскочил из квартиры и побежал в универсам на 2-й Длинной. Купил дочке фруктов, жене — мороженого, себе — пару бутылок портера. На счастье, рядом с магазином какая-то бабуля торговала нарциссами со своего палисадника… Иванов прикупил нежный, чудесно пахнущий букетик на прямых тонких стеблях и понесся домой.

Алла как раз уже встала, хлопотала на кухне. Валерий Алексеевич долго мирился, шутил, ставил цветы в вазу, заваривал Алле кофе и наконец получил прощение, клятвенно пообещав в следующее воскресенье помочь теще с тестем копать на даче грядки.

Пока Алла готовила Ксюше завтрак и заваривала ей всякие чаи от простуды, Иванов вышел на лоджию, уже ярко освещенную солнцем, ласково продуваемую весенним порывистым ветром. Выпил портеру, покурил, выпил еще бутылочку и стал собираться в город. Визитка с телефоном Татьяны так и жгла карман пиджака. Но он не стал звонить из дома, прогулялся пешочком под липами до Брасы и только там зашел в телефонную будку. Сомнений в том, что это именно *его* Таня, у Иванова уже не было.

— Добрый день! Извините, Татьяну Федоровну можно попросить?

— Здравствуйте! Я слушаю вас…

— Татьяна Федоровна, это вас Иванов Валерий Алексеевич беспокоит, из Интерфронта. Мне ваш телефончик Смоткин дал, сказал, что вы хотели бы со мной встретиться по поводу наших совместных мероприятий.

— Да, да, конечно! Я очень рада, что вы позвонили. — Голос, конечно, был ее. Или не ее? Столько лет прошло, но так трудно забыть это чуть небрежное французское «р», это тщательное интонирование, этот глубокий, обработанный до каждой ноты голос. А вдруг — не она? Голос такой уверенный в себе, почти властный. — Валерий Алексеевич, я не хочу, чтобы вы терялись в догадках, я вас тоже узнала.

— Таня!

— Да-да, Таня! Мне просто не хотелось, чтобы твой шеф знал, что мы так давно знакомы.

— А я уж настроился, судя по «Валерию Алексеевичу», на чисто деловой разговор!

— Разговор в любом случае пойдет о делах, Валерий Алексеевич. — Голос в трубке чуть насмешливо дрогнул. — Но мы ведь уже давно взрослые люди, ты. ты давно не тот мальчик, что был подарен мне судьбою когда-то, Валера. Зачем же делать

вид, что я все забыла?

— Таня, Таня! Я опять чувствую себя двоечником перед классным руководителем, — слегка слукавил Иванов.

— Не верю, Станиславский! Не верю!

— Как же можно мне не верить. — хотел было продолжить игру словами Валерий Алексеевич, но вовремя вспомнил, что восемь лет назад именно он перестал звонить своей «почти невесте», и предусмотрительно осекся.

— Вот-вот! — Таня тут же прочитала его мысли. — Ладно, корнет, впрочем. какой ты уже корнет. поручик! Надеюсь, ты уже замотивировал свое отсутствие на службе нашей исключительно деловой встречей?

— Так точно, мадам!

— Я все-таки в тебе не ошиблась тогда. — Голос все больше теплел, и все больше в нем было и света, и радости. — В общем, я в Юрмале, в санатории ДКБФ.

— В Майори, значит.

— Да-да, в Майори. Центральный корпус старый, там, где администрация. «Адмиральский» номер спросишь, тебе покажут. Меня подруга устроила на недельку, у нее тут муж главврачом трудится.

— «Адмиральша», значит… Ваше высокопревосходительство госпожа адмиральша.

— Поручик, молчать!

— Молчу, мадам… И выезжаю первой лошадью, электричкой в смысле. Что-нибудь привезти?

— Пору-у-у-у-чи-и-к! — укоризненно пропел голос в трубке. — Раз уж я «адмиральша». Что может мне привезти поручик, кроме своей любви?

— Я, я люблю тебя, Таня, все еще люблю, оказывается, — медленно проговорил Иванов. — Я еду.

Трубку положили. Валерий Алексеевич еще немного послушал гудки и вышел из будки автомата. Как раз напротив, у углового дома — утеса, блестевшего свежей жестью башни в форме византийского шлема, кооператоры недавно поставили цветочный киоск. «Хорошо, что не успел вчера просадить гонорар!» — ликующе подумал Иванов и придирчиво выбрал огромную чайную розу. Рысью спустился под горку на станцию «Браса» — как раз подходила сквозная электричка в Юрмалу, опустился на деревянную скамейку у окна и погрузился в воспоминания, перемежаемые угрызениями совести, — Алле он еще ни разу не изменял, а чем закончится сегодняшняя встреча — предсказать было трудно.

Электричка надолго, минут на десять, притормозила на

Центральном вокзале. Пассажиров и тут подсело в вагон немного — сезон еще не начался, и в Юрмале пока еще царила любимая Ивановым сырая, обволакивающая туманом с моря тишина. Снова тронувшись и набирая ход, электричка по высокой насыпи пролетела мимо Вецриги, застучала по мосту через Даугаву, показывая в окошки панораму старого города, но, миновав мост, тут же втянулась в унылые промышленные районы Торнякалнса и Засу-лаукса. Смотреть тут было не на что, и Иванов прикрыл глаза, снова задумался.

Два года назад, когда все вокруг, казалось, были очарованы перестройкой и новым, говорливым без бумажки генсеком, Валерий Алексеевич тоже, на общей волне, возжелал перемен. Жизнь была такой устойчивой, стабильной, что никакие потрясения не могли угрожать ее *основам.* А легкий свежий ветерок только сдувал пыль с незыблемых оснований, с вечного фундамента, и мальчишеская радость ожидания романтического, гри-новского *несбывшегося* охватила всех вокруг. И юных студентов, и пожилых рабочих, и седых генералов. Только опытные интриганы партаппаратчики и закаленная в битвах за государственные премии и дачи творческая интеллигенция, шустрые теневики и быстро смекнувшие, что к чему, кооператоры не пускали восторженных соплей и слюней, не пускались в воспоминания о детских мечтах, пресеченных взрослой жизнью в суровой стране. Все они пошли в перестройку, как в «последний и решительный бой», не теряли ни дня, ни минуты. Ловили ветер — тот самый — ветер перемен и тщательно готовили рыболовные снасти: вода становилась с каждым днем все мутней и мутней.

А Валерий Алексеевич налегал на книги — издательства печатали все больше новых имен да еще старых и забытых вытаскивали из прошлого. Все больше становилось яростных публицистов — все манили чем-то, звали куда-то. Но когда в одном из публицистических сборников Иванов прочитал призыв заложить или продать часть российской территории японцам или кому-то там еще и за вырученные деньги срочно удовлетворить потребности советского народа в видеомагнитофонах и модной одежде, колготках и посудомоечных машинах. Что-то в Иванове хрустнуло и застопорилось, как будто предохранитель сработал. А там и расширенный пленум творческих союзов Латвийской ССР подоспел, на котором маститые, облеченные властью и привилегиями творцы, все как один латыши или евреи, призвали обратить внимание центральной власти на проблемы «страждущих и жаждущих» национальных республик. Как они страждут и чего жаждут — это Иванов знал уже прекрасно — и по детству, проведенному на эстонских островах, и по сегодняшней

Латвии.

Совсем недавно, еще учась на дневном отделении в университете, он летом ездил подрабатывать в колхоз. Тесть был бригадиром строителей-шабашников. Трудились в Цесисском районе — одном из самых «латышских» в республике. Даже Валерий Алексеевич, давно живущий в Прибалтике, просто обалдел от чистоты, красоты, обеспеченности — в которых жили латышские крестьяне при советской власти. Асфальтированные дороги, колхозные усадьбы из красного кирпича по спецпроектам, огромное количество техники, развитая инфраструктура — электричество, газ, центральное отопление, водопровод, канализация. Клубы, спортивные залы, библиотеки, школы и детские сады — все поражало богатством. Равно как и сами колхозники. Такого количества частных автомобилей в городе тогда было не встретить. Но главное — это жилье. В центре колхозного поселка стояло несколько роскошных пятиэтажек. Разнообразная, очень удобная планировка, высокое качество во всем — от кирпича до отделки — просто восхищало по тем временам. Но дома эти стояли наполовину, а то и на две трети пустыми. Колхозники хотели жить в особняках. «Ливанские домики» — сборные пятикомнатные коттеджи производства Ливанского домостроительного комбината — их тоже уже не устраивали. И вот бригада шабашников строила в Таурене кирпичные двухуровневые усадьбы, рядом с которыми возводили кирпичные же хозпостройки для скота и кормов. Конечно же, здесь присутствовали все городские удобства — ванная на каждом этаже, туалеты, отдельные комнатушки для стиральной машины и прочей бытовой техники.

Все это строилось за счет колхоза, распределялось среди колхозников путем выдачи беспроцентных кредитов, которые со временем сам колхоз за них и погашал. Про качество развитого соцкультбыта и копеечные цены на все — включая роскошные обеды в местной столовке — и говорить не приходится. Все это так понравилось молодому студенту, что он стал уговаривать Аллу плюнуть на все и переехать в Таурене. Работу в местной школе предлагали сразу, сразу предоставляли на выбор любую квартиру в роскошных пятиэтажках, все равно пустующих. Колхоз доплачивал учителям премии, выделял продукты и всякие льготы — путевки на отдых и все такое прочее.

Конечно, пришлось бы подучить латышский язык — русских здесь практически не было. Но зато какая жизнь на природе! Рядом цепь красивейших озер, в которых берет начало Гауя, чистейший воздух! Полчаса на автобусе или своей (!) машине до Цесиса, а там на поезде всего два часа до Риги!

Вспоминая все это сейчас, Иванов мрачно улыбался: надо же было быть таким идиотом! Латышская национальная среда приняла бы русских к себе только пережевав и превратив их в латышей. Да и держалось колхозное благополучие на щедрых дотациях Союза на все: стройматериалы, горючее, корма, удобрения. На повышенных закупочных ценах для местной сельхозпродукции, в том числе. Латышей просто подкупали, чтобы сидели и молчали до поры до времени. А они пользовались этим, естественно, требовали все больше и больше. В свободное время выращивали на приусадебных участках цветочки — торговали ими по всему Союзу, вплоть до самых далеких северных районов, получали баснословные прибыли. Все это держалось на устойчивой системе подкупа нацменьшинств за счет России и русского народа. О том, какая нищета царила здесь же при немцах-баронах или при первой буржуазной республике, ему рассказывали старые латыши, прекрасно помнящие, как это было на самом деле, и со страхом глядевшие на своих же соплеменников, поднявших руку на власть, которая вытащила их из многовекового рабства.

Еще одна щедро дотируемая Москвой национальная кормушка — это творческие работники. Академия наук со всеми ее институтами, театры, консерватория, Академия художеств, народные хоры, народные промыслы, многочисленные издательства, журналы, газеты, телевидение и радио, киностудия, в конце концов, — все это было закрыто для русских. Латыши старательно теперь рубили сук, на котором так удобно сидели все послевоенные годы. Ну и пусть — это их выбор! Не жалко. Они не пожалели даже своих — ведь в заднице окажутся не только русские, преимущественно занятые на производстве, но и те же самые латышские крестьяне, и та же самая латышская интеллигенция, которая и появилась-то только благодаря усилиям сначала царской, а потом и советской власти.

Валерий Алексеевич, признаться, долго не мог изжить из себя пресловутый «советский интернационализм». С одной стороны, иллюзий в отношении «братьев наших меньших» он не питал уже с детства, когда кулаками пробивал себе дорогу в школу, проходя как сквозь строй через соседей — эстонских подростков. Да и волнения 72-го года, памятные островитянам и никому более в Союзе не известные, наложили свой отпечаток — все-таки *власть* в лице пограничников, с которыми конфликтовали тогда эстонцы, была *его* властью.

Но в Риге, совершенно русской Риге 70-х, воспоминания ослабли. Появились даже приятели латыши и латышки, пусть их было и немного. Потом. Потом многое стало снова наводить на

грустные мысли. В том числе учеба в местном университете и преподавание русского языка в латышской школе. И все равно думать о русских интересах как об интересах *особенных,* не говоря уже о том, чтобы говорить о каких-то приоритетах своего народа перед другими ему и в голову не приходило, и в голове такая мысль не укладывалась. *Справедливости* — вот и все, что хотел он для себя, как для русского человека, и для русских вообще, и вообще для всего человечества. Впрочем, впереди у Иванова была еще очень долгая дорога, одолевая которую он потихоньку все больше начинал понимать — кто *он* такой, и кто такие *русские,* и что такое *Россия.*

Короче говоря, симпатии к перестройке испарились у Иванова очень быстро. А потом в Латвии пошел вал нападок на русских в целом и на Россию. В августе 88-го года, перед последним своим учительским учебным годом в школе, Иванов присутствовал на собрании учителей Кировского района Риги. И там впервые своими ушами услышал, как прямо с трибуны один из делегатов собрания — латыш-учитель истории полчаса, не меньше, обличал преступления советского режима во время Второй мировой войны, оправдывал латышских легионеров СС и «лесных братьев». А ему миролюбиво и уважительно оппонировали, слегка журя, первый секретарь райкома КПСС и главный районный комсомолец.

Учителя 35-й дружно встали и демонстративно ушли с собрания, когда им не дали слова, чтобы ответить на все это безобразие. Дальше — больше. Уже в октябре прошел учредительный съезд Народного фронта Латвии, всячески поддерживаемый руководством республики и тщательно опекаемый московскими идеологами. В ответ инициативная группа Рижского краснознаменного института инженеров гражданской авиации (знаменитого РКИиГА) собрала в клубе швейного объединения «Латвия» первое собрание трудовых коллективов Риги с повесткой дня о необходимости создания Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР. Вскоре прошел и первый съезд Интерфронта. А уже в 1989 году Иванов из сторонника и активиста Интерфронта стал его штатным работником.

Сам он сначала, правду сказать, излишне не рвался в бой. Ходил на митинги и демонстрации, собирал деньги, писал в «Единство» статьи, помогал по просьбе более активных интерфронтовцев, Регины, например, телегруппе ИФ, даже ездил в командировки по делам движения. Но вместе с тем работа в школе его вполне устраивала. В 89-м году, отгуляв по обыкновению отпуск на отцовской даче в Кегумсе и даже съездив

вместе с интерфронтовцами в командировку в Ленинград, Валерий Алексеевич спокойно готовился к новому учебному году. Тут-то его и настигло предложение Алексеева, от которого он так и не смог отказаться.

Когда электричка, преодолев мост над Лиелупе, уже подходила к Дзин-тари, Иванов внезапно, не доехав одной остановки, решил выйти и пройтись оставшийся до Майори кусок пути пешком. Вот именно *это* ему и надо было обдумать хорошенько, прежде чем встретиться с Татьяной. Предложение Алексеева, своя быстрая, головокружительная карьера в Интерфронте и. Таня, давно позабытая Таня, с которой он столкнулся нос к носу вчера в кабинете шефа.

В парке перед боулингом было тепло и сыро. Ветер с моря не долетал сюда сегодня, поэтому пахло свежей листвой, немного прелой хвоей редких сосен и еще — угольным дымком маленькой котельной ближайшего санатория. Было искушение забрести по дороге в любимый «Бальзам-бар», в котором столько часов было просижено в студенческие годы под Челентано, но внезапно подул все же ветерок, принес крики чаек и запах водорослей с близкого пляжа. Иванов напрямую, по деревянной дорожке через дюны, вышел к морю. Ленивая прохладная волна, еще чистая — весенняя, отфыркиваясь и слегка шипя, накатывалась медленно на слежавшийся мокрый песок и снова втягивалась назад в залив. Валерий Алексеевич шел по кромке прибоя, иногда проваливаясь в разъезжавшуюся под его тяжестью влажную массу песка, чертыхался, но, несмотря на промокшие туфли, не сдавался, шел и шел по самому краешку.

«Таня, Таня… Уж не приложила ли ты свою тоненькую ручку к моей судьбе? Первый раз не получилось, так вот теперь. Но зачем? Зачем? Отомстить за разрыв отношений? За молодое небрежение к тебе? Так ведь и сама ты вряд ли принимала всерьез нашу случайную встречу. Или по делу? По служебному, так сказать, рвению? Но кто я такой и какой с меня толк в твоих делах, моя литовская Мата Хари из Донецка? Да и сама ты, наверное, давно уволилась со службы и живешь своей жизнью. Хотя… уволишься из конторы, как же! Погоны снять еще можно, а вот уволиться. Но муж — особист, или кто там еще? Но — бывший муж! Да и на Алексеева не надавишь — не тот человек. Но зачем на него давить? Тут как раз другое — сам мог попросить себе человечка. Но не у Тани же, в самом-то деле, не в Вильнюсе же ему для себя людей искать?! Хотя у Тани ведь тоже начальство есть, наверное. Хотя. брэд сив кэйбл! Чушь собачья! Совсем уже с этой работой мозги перевернулись! Везде происки какие-то ищу — на ровном месте боюсь споткнуться. Все это Сворак со своими

тайнами Мадридского двора, не стоящими выеденного яйца! Настропалил своими нравоучениями и инструкциями! Лучше бы за своим окружением следил получше — той же машинисткой новенькой — уж больно любопытная! Да и в Совете полно случайных людей! Хотя в Совете — это не страшно. Главное, чтобы в аппарате чужих не было. Тьфу ты, черт! О чем я вообще думаю? Вот же, Майори уже!»

Валерий Алексеевич поправил сбившийся целлофан на огромной шипастой розе, пригладил пятерней взъерошенные от ветра мягкие волосы и всмотрелся в один из корпусов огромного комплекса санатория Балт-флота — двухэтажный старинный особнячок, выходивший окнами прямо на пляж и на море. Как в волшебной детской сказке — тут же открылось окно на втором этаже, белым флагом выпорхнула наружу тюлевая занавеска, а за ней, в попытке удержать, длинная худая рука в модных браслетах, съехавших почти к локтю.

— Таня!!! — на всякий случай крикнул Иванов, старясь перекричать все усиливавшиеся ветер и гул прибоя. Рука, поймавшая было занавеску, снова выпустила ее, потом, вслед за белым тюлем, вскинувшимся вверх по желтой штукатурке старого домика, в окне показалась аккуратная русая головка, тут же превращенная ветром в одуванчик.

— Поручик!!! Идите сюда, ближе!

— Валерий Алексеевич размашисто побежал, стараясь не потерять туфли, увязающие в песке, пряча на груди от ветра длинную розу:

— Чуть свет, и я у ваших ног!

— Скоро солнце зайдет, поручик, а вы. «чуть свет!» — засмеялась счастливо Татьяна. — Думала уже — не явится мой герой, пропадет опять — ищи потом по белу свету!

— Я трех драконов победил на пути к вам, принцесса!.. Простите, ваше величество! Королева! Моя королева!

— Ну, так-то лучше, поручик!

Иванов стоял уже перед самым окном, задрав голову, улыбался, забыв про все недавние переживания, любовался Прекрасной Дамой, внезапно явившейся с упругих мелованных страниц любимой книги: «Потемнели, поблекли залы, почернела решетка окна. королева. больна???»

Господи, почему именно *это* вспомнилось? Вот же она — ухоженная, цветущая, глаза сверкают, как роса на солнце, жизнь так и льется из нее сияющим потоком!

Почему это?

«Потемнели, поблекли залы. Почернела решетка окна. У дверей шептались вассалы: «Королева, королева больна».

И король, нахмуривший брови, Проходил без пажей и слуг. И в каждом брошенном слове Ловили смертный недуг…

Обойдя почти весь санаторий, обнесенный высокой решеткой, Иванов пробежал через арку центрального входа, потом, по начинающим зеленеть аллеям, вернулся обратно к старинному особнячку, на ходу спросил у дежурной, как подняться в «адмиральский» номер, поднялся по лестнице на второй этаж, толкнул створчатые двери, растерянно огляделся, оказавшись в большом, роскошно обставленном зале с огромными окнами, в которых плескались море и солнце, клонившееся уже к горизонту, и тогда только увидел справа еще одну дверь, поменьше — открытую. В дверном проеме, не касаясь его, очень прямо, как на приеме, в маленьком черном платье, уже снова причесанная — волосок к волоску, стояла Таня и смотрела на него не отрываясь, прижав руки к груди, как на молитве, шепча вслух и про себя — только себе:

У дверей затихнувшей спальни Я плакал, сжимая кольцо. Там — в конце галереи дальней Кто-то вторил, закрыв лицо.

Валерий Алексеевич так и замер, не успев до конца обернуться. Застыл в полуобороте, вслушиваясь в стихи. И, сдирая с розы целлофан, цепляющийся за длинные шипы, медленно и внезапно громко — такая оказалась акустика у старинного зала — продолжил:

У дверей Несравненной Дамы Я рыдал в плаще голубом. И, шатаясь, вторил тот самый — Незнакомец с бледным лицом.

— Тот второй — это тоже ты, милый, ты, только тогда, восемь лет назад.

— Но как же это, Таня?! Я ведь стоя перед тобой, внизу, вспомнил эти стихи… Еще подумал, почему именно Блок? Почему королева — больна? С тобой что-то случилось?

— Случилось, Валерик, случилось. — Татьяна вздохнула, обмякла и придержалась рукой за ручку двери. — Заходи же, — тихо и грустно сказала она.

— Это тебе, такая же как ты, колючая. — Иванов прошел через зал и торжественно вручил даме розу.

Их пальцы встретились на стебле, одновременно укололись до крови, оба вздрогнули и засмеялись неловко, глядя на капельки крови, выступившие у обоих на руках.

— Мелодрама. — прошептал Валерий Алексеевич, не отводя глаз от алых капелек.

— Контрапункт. — вздохнула Таня, потянув цветок к себе другой рукой, а пораненными пальцами прикоснулась нежно к пальцам Иванова, смешав капельки вместе, поднесла пальцы к губам, поцеловала, глядя Валерию Алексеевичу прямо в его

настороженные, карие, чуть прищуренные глаза.

— Так почему королева больна? Таня?

— Я снова тебя встретила — вот моя болезнь.

Татьяна, отступила наконец в глубь своего номера, дала Иванову войти в гостиную, обставленную с тяжеловесным советским шиком темной полированной мебелью. Прикрыла небрежно дверь, ведущую в спальню, положила розу на столик у открытого окна, в котором так и металась на ветру занавеска, то открывая, то закрывая собой вид на море. Вытерла платочком свои пораненные пальцы, взяла руку стоявшего столбом Иванова, вытерла и ее.

— Садись, только. сначала сними плащ, пожалуйста. — Губы дрогнули в привычной легкой усмешке.

Пока Валерий Алексеевич раздевался, усаживался в кресло, искал свои сигареты — на столике стояла хрустальная пепельница и лежала открытая пачка дамских More — Татьяна налила воды в высокую вазу, аккуратно поставила туда розу, стараясь не касаться шипов.

Шум прибоя гулко врывался даже в закрытое окно, стекла чуть слышно дребезжали, ветер все усиливался, грозя перейти в шторм. Солнце начало падать в море, оно побагровело, полуприкрылось тучами, начиная феерическое действо заката. Все было так красиво и пушло, что стало казаться взаправдашней жизнью.

Они снова лежали рядом, снова касались друг друга, только не играли уже в «последнюю черту», как в молодости, они давно уже перешли все границы за этот вечер, и даже не один раз. Они так обрадовались, что оба почти не изменились друг к другу. Только стали смелее и страстнее. И еще — они теперь многих могли сравнивать про себя друг с другом и поняли, что когда-то, когда-то, в заснеженном литовском Линксмакальнисе, в казенной квартирке, в окруженном «колючкой» и часовыми военном городке, судьба подарила им шанс стать *единым* — без изъяна, без малейшей неподходящей шероховатости — *целым*… А они не поверили в это. А они не придали этому значения. А они думали, что окружающий мир с его будничными делами — важнее. Калейдоскоп дней манил и завораживал, жизнь дробилась, дробилась душа — не сложишь вместе теперь, даже если очень захочешь.

Разницу между «я хочу» и мне «нужно» Иванов еще только-только начинал постигать, и немало пройдет лет, прежде чем он поймет эту разницу по-настоящему. А будет ли когда поступать в соответствии с этим пониманием — я и вовсе предсказать не берусь.

— Мне нужно позвонить… Я спущусь к дежурной? — Фраза снова прозвучала невыносимо пошло, как в «Осеннем марафоне» каком-нибудь или «Зимней вишне». Таня, не поднимая головы, так и лежала ничком, уткнувшись в подушку, закинув руку лежащему рядом Иванову на грудь.

Рука, видно, затекла в неудобном положении, но снимать ее не хотелось, пальчики шевельнулись, кисть поднялась и снова бессильно упала.

Валерий Алексеевич тогда сам осторожно вывернулся, неловко оттолкнулся от норовившей вновь утопить его в себе постели и с внезапно закружившейся головой сел на краешек двуспального ложа, пытаясь встряхнуться.

— Мне действительно нужно позвонить, на службе меня потеряли, наверное, хоть я и наврал там с три короба. Одеваться лень.

— А зачем? Телефон в гостиной, на диванчике — под подушкой. Я его всегда подушкой накрываю — не люблю громких звонков. — Таня неохотно перевернулась на спину, столкнула ногами на пол сбившееся в комок одеяло и стала, поморщившись, растирать занемевшую руку. Иванов пересилил неловкость и не стал отводить глаз. — Ты как в Русском музее, — засмеялась Татьяна, но не засмущалась, а, наоборот, с неожиданной наивной гордостью стала поворачиваться, изгибаться так и этак. — Ля мюжик! У меня теперь ссадины на локтях останутся! И па-а-амять в се-е-е-рдце, — пропела задумчиво, покачивая растрепанной русой головкой, показывая пальчиками, как должны при этих словах течь слезки у потерявшей остатки чести дамы. — А ты заматерел, поручик! — Таня двумя руками ухватила его за плечи, стала мять, потом попыталась потянуть к себе, опрокинуть обратно на кровать, но безуспешно, только сама себя притянула к отяжелевшему уже к тридцати годам Иванову, — Где тот тонкий мальчик, студент-первокурсник, вчерашний солдат? Мужчина. Алек-сеевский любимчик… серый гвардеец… серого кардинала…

— Что?! — Валерий Алексеевич резко встал, повернулся к Татьяне лицом, жестко посмотрел с высоты своего роста на маленькую нагую женщину, беззащитно прижавшую руки ко все еще взволнованной, высокой груди. Тут же разглядел нежную и лукавую полуулыбку, проследил, куда падает ее совсем не испуганный взгляд и сам расхохотался инстинктивному желанию прикрыть свое взбунтовавшееся «второе я». Так, посмеиваясь над собой, и улизнул в ванную.

Стоя под жестким напором воды, Иванов приходил в себя, старался думать о деле, но волнующие картины любовной игры постоянно врывались в попытки логически выстроить события

последних дней. Или даже не дней, а лет. Всеобщая паранойя перестроечного времени, привычка искать скрытые пружины во всех событиях и тайный смысл в каждом публичном слове, не говоря уже о сокровенном шепоте на кухне, не позволяли расслабиться и просто отдаться счастью внезапной встречи с первой

— не первой, но все-таки *юной* любовью студенческих лет. Конечно, не будь Татьяна офицером КГБ в прошлом (прошлом ли?) — Валерий Алексеевич и задумываться не стал бы о гипотетической связи его нынешней службы с ее протекцией ему в Интерфронте — наверняка мнимой и, уж тем более, не укладывающейся ни в какие логические рамки. Да и потом, простая переводчица (наверное, личного дела ее он не видел и не увидит никогда) — какое ей дело до бывшего случайного любовника, пусть даже почти жениха?

То, что офицеры спецслужб на самом деле обыкновенные люди, Иванов понял еще в детстве. Потому что вырос среди них, видел их дома и на службе, дружил с их детьми — такими же, как он, обыкновенными мальчишками и девчонками. И никакой сверхъестественной силы не стояло и не стоит ни за КГБ, ни за ГРУ. Простые офицеры, иногда даже больше чиновники, чем офицеры. Живут как все. Грешат, как все. Просто спрашивают с них строже и прав дают немного больше. Но это на службе. А в остальной жизни — они такие же люди и точно так же у них бывают понос и насморк.

Ну а в последние годы Иванову часто приходилось сталкиваться с этими людьми уже по своим непосредственным служебным обязанностям. И он только укрепился в своем внезапном детском открытии о том, что *все* люди. В том числе: маршалы, большие начальники и политики, министры и известные на всю страну журналисты, партийные боссы и директора огромных предприятий. Японцы, французы, финны, немцы, американцы — все мы просто люди со своими слабостями и страхами. Вроде бы *ерунда,* а на самом деле такое простое знание, перешедшее в уверенность, — вовсе не ерунда. Одно дело представлять себе все это теоретически, а другое — быть уверенным в этом так же, как и в том, что даже мама с папой иногда ошибаются и вовсе не всемогущи.

«Наверное, мне просто хочется удержать Таню в своей жизни, найти повод быть с ней и при этом не испытывать угрызений совести перед Аллой, перед семьей — ведь это такие разные вещи — одно дело просто измена — романчик на стороне, а вот сложные конспиративные запутки — совсем другое — почти служебная необходимость.» — думал Валерий Алексеевич,

растираясь огромным мохнатым полотенцем, оттягивая момент, когда нужно будет выйти из ванной и снова встретиться с Таней взглядом.

Татьяна сама тихо постучалась и вошла в ванную. Нежно поцеловала Иванова в мокрую спину и вытолкнула в коридор:

— Иди звони! И попробуй отпроситься по крайней мере до утра. Нам нужно очень многое рассказать друг другу. Пожалуйста, сделай это для меня! — Дверь захлопнулась было за ней, но тут же приоткрылась, — Поверь, я не собираюсь рушить твою семью и вообще входить в твою жизнь, по крайней мере так, чтобы ты потом винил меня за это.

Но хотя бы еще одну ночь и еще один день подари мне, милый. Просто подари.

Дверь закрылась, зашелестела вода, из негромкого мурлыканья за тонкой стенкой прорезалась вдруг старая хохляцкая песня: «Несе Галя воду.» Защемило сердце, нежность, тщательно скрываемая, невостребованная столько лет, растрачиваемая только на дочку да на стихи в стол украдкой, снова потребовала выхода.

Ах, Таня, Таня! Никто и никогда больше так не совпадал с каждой клеточкой его тела.

Все: каждый волосок, каждое движение, запах, привычки — все в ней совпадало с Ивановым настолько, что ее тело можно было считать своим и чувствовалось оно как свое. Были, конечно, у Валерия Алексеевича женщины до свадьбы… И красивые, и горячие, и просто распутно-заводные. Но только в каждой что-нибудь да разражало, что-то да приходилось терпеть, на что-то закрывать глаза. А вот Таня — как будто из собственной крови была сотворена. Ничего, ни одна мелочь в ней не отталкивала, и все притягивало к себе. В любви совпадали они идеально, теперь, получив некоторый жизненный опыт, Иванов уже понимал это вполне отчетливо. Но почему сбежал он от нее тогда, в Каунасе, несмотря на весь юношеский восторг? Почему даже не вспоминал все эти восемь лет?

Потому что, кроме родного тела, была в ней еще тайна, тела не касающаяся. Тайна жизни, тайна убеждений и характера, планов и воли… своей и, наверняка, по долгу службы — чужой. Неравенство в возрасте со временем бы истончилось, пропало. А вот направленность цели была Иванову непонятной и потому — чужой. Казалось ему, что поддайся он очарованию Тани, и она с радостью возьмет его в свою жизнь. Но жизнь его с того момента перестанет быть своей, будет переиначена, подчинена, переделана… А этого он позволить себе почему-то не мог, как бы ни притягивала его эта славная, единственная в своем роде и

такая почему-то родная женщина. «Черт! Приятно с ней быть, лучше ни с кем и никогда не было и не будет. Но как будто с собственной сестрой спишь! — внезапно подумалось Иванову. — Или даже с самим собой!»

Женщины постарше уже давно не привлекали взрослого мужчину. Скорее наоборот, чем дальше, тем больше его тянули невинная свежесть и не успевшие нажить морщинки опыта лица, не тронутые работой и родами гибкие фигурки. Но это так, скорее отрада глазам художника. Иванов успел понять за свои тридцать лет, что приключения тела никогда не заменят совпадения духа. Душевная привязанность, дружба, крепкий тыл — куда прочнее и *нужнее* для жизни. Да и не встречалось еще ему женщины, для которой всего важнее в нем были бы его мечты, его тщательно скрываемые творческие поиски, его видение мира, в конце концов. Алла была хорошей женой, но чем дальше, тем больше они отдалялись друг от друга. Ей нужны были маленькие домашние радости, уют, прочное материальное благополучие, а как и чем оно создается — это было не так важно. Будь Иванов таксистом или, наоборот, художником — ей было почти все равно — лишь бы у нее был муж, у ребенка отец, у дома — хозяин. Это было нормально, это было хорошо. Но только Валерий Алексеевич по глупости своей все рвался куда-то, все никак не успокаивался в маленьком семейном мирке, никак не хотел признавать приоритет домашнего над внешним, интересы семьи все никак не становились для него главнее проблем окружающего, такого большого и интересного мира.

Иванов вздохнул протяжно, скинул полотенце на кресло в маленькой гостиной и, как был голым, соорудил себе коньяку, подцепил ломтик лимона в сахаре и подошел к окну, прикрывшись на всякий случай тюлевой занавеской. За стеклом отгорал краешек багрово-золотого неба на горизонте. Волны разыгрались не на шутку и теперь уже грозно накатывались на опустевший берег. В полутьме, под внезапно почерневшим везде, кроме закатной полоски, небом, по пляжу прогуливались редкие приезжие чудаки-отдыхающие.

Вот пожилая дама в развевающемся пончо, а вот юная парочка, обнявшись, согнувшись почти пополам, упорно преодолевает порывы ветра. Юрмала! Как ты не похожа на серые пляжи эстонского острова, затаившегося в темноте за горизонтом, за сто миль от тебя в Балтийском море. Пляжи на Сааремаа пустынные и дикие — без скамеек и мусорных контейнеров, без сотен тысяч отдыхающих, без ресторанов и проката водных велосипедов. Только пройдет пограничный наряд. Только сверкнет над морем ночью луч прожектора. Только лежат в

прозрачной (не то что здесь!) волне русские мальчики нагишом, радуясь свободе и началу каникул. И мечтают о женщинах, которые когда-нибудь, вот так же, нагие, будут обнимать их и, главное, любить.

Глава 7

Ночь приходит неслышно
На лапах кошачьих,
Ветром теплым чуть дышит
И дождиком плачет.
Стрелка прыгает резво
По кругу, по кругу.
Я лежу один.
Трезвый.
А по правую руку…
Только белая простынь,
Только стенка шершава,
Только времени поступь
Да свет лампы усталый.

Куда крестьянину податься? Иванов в очередной раз посмотрел на часы, равнодушно тикающие на стене, на солнечные зайчики, прыгающие по книжным полкам, играющие на застекленных дверцах и сверкающей полировке секции. Пора вставать. Он не выспался, несмотря на непривычную тишину в маленькой квартирке. Алла еще вчера увезла Ксюшу к теще на дачу. Сегодня воскресенье. Обещал же поехать — помочь с весенне-полевыми работами, но опять не получилось. Сначала затянувшиеся проводы ленинградцев, потом поиски опоздавшего на поезд Тышкевича, забывшего про время в объятиях пышной блондинки-буфетчицы из «Драудзибы». Хорошо хоть что кассеты с отснятым материалом были у Леши, а не то вся работа пошла бы коту под хвост — ведь сумку свою Толик забыл, набравшись при расставании с Анитой и умудрившись потеряться по дороге на вокзал. Очнулся он ночью — в Вагонном парке, в пустой электричке. Кое-как добрался до Смилшу, 12, хорошо хоть Иванов предупредил ночного дежурного, что пропавший Тышкевич может там объявиться.

Так и случилось. Дежурный впустил под утро чуть живого ленинградца в контору, отпоил чаем и позвонил домой Иванову, дескать, нашлась пропажа. Поэтому с утра пришлось вместо дачи ехать на службу. Надо было купить Толе билет, накормить и напоить аккуратно пивом, проследить, чтобы снова не ушел в загул на «свежие дрожжи». А вечером усадить в поезд и отправить домой, наконец.

Алексеев, озабоченный судьбой отснятых материалов, крайне

важных для Интерфронта, выслушав отчет Иванова о проделанной совместно с ленинградцами работе, настоял на его срочной командировке в Питер и участии в монтаже цикла передач о перестройке в Латвии. Тянуть было нельзя, эфир первой части «Рижской весны» был анонсирован в программе на конец следующей недели, поэтому Валерий Алексеевич и остался дома один, намереваясь выехать в Ленинград в воскресенье вечером. Короче говоря, теща опять пролетела и теперь наверняка читает Алле нотации по поводу в конец отбившегося от семьи мужа.

Всю ночь Иванов, обычно засыпавший почти мгновенно, ворочался на диване, вставал курить, пытался даже читать, вытягивая наугад книги с тесно забитых полок, но все тщетно. «Мысли всякие» его посещали, крутились в голове, не давали отключиться и выспаться, пользуясь случаем, сразу за всю утомительную неделю. Опять все наслоилось, перемешалось, столкнулось друг с другом. Тут и съемки, и Таня, и ссора с Аллой по поводу очередного «ночного дежурства» на службе. Мать звонила и накручивала сыну хвост после того, как Алла ей нажаловалась, что муженек опять не ночевал дома. Дел накопилось за время пребывания здесь ленинградцев, и за все шеф спросит.

«Надо позвонить Петровичу и попросить проконтролировать типографию, пока меня не будет… И Васильева заставить размножить кассеты с документальным фильмом для агитаторов… И…» — Звонок телефона в прихожей заставил размякшего и уже снова засыпающего Иванова подняться.

— Слушаю.

— Валера, привет! Сейчас машина за тобой подъедет из гаража ЦК, потом заберете меня на Смилшу, я сейчас камеру собираю, и поедем по взрывам опять.

— Ну вот, воскресенье началось… Что там и где?

— Памятник Ленину напротив Совмина, офицерское общежитие семейное около парка «Аркадия» и комендатура гарнизонная.

— Жертвы? Кто-нибудь пострадал?

— Легкораненые только. В общежитии чудом ребенка не убило, дверь взрывной волной на детскую кроватку опрокинуло, а потом уже потолок сверху посыпался. Ладно, подробности на месте уточним. Памятник чуть попортили сзади, взрывная волна ушла вверх — выстоял Ильич. Зато стекла вынесло и в Совмине, и в угловом доме напротив. Микрофон, кстати, у тебя оставался?

— Да, Саша, я возьму. Я сегодня еду в Питер, на студию, так что материал надо будет срочно скопировать, а исходники я

заберу с собой.

— Отлично. В ЦК обещали, кстати, что прокомментируют это дело…

— Мне, Саша, на комментарии ЦК насрать, ты уж извини. Мне нужны будут пострадавшие в офицерской общаге и комендант Рижского гарнизона. А насчет Ленина я сам прокомментирую, в кадре. Почему машина, кстати, не наша?

— Потому что мне о взрывах дежурный из ЦК позвонил. И я попросил у него машину, чтобы быстрее.

— А почему дежурный тебе звонит? Ты у них в кадрах, что ли?

— Слушай, Валера, давай потом будем с тобой собачиться. Ты что не знаешь, что у них снимать некому?

— Вот именно, знаю. Ладно, давай дело делать. Не копайся только, пожалуйста, как обычно. Мне еще собираться на поезд сегодня, между прочим!

— Иди ты, Иванов, знаешь куда?!

— Знаю, Александр Васильевич, знаю. Потом об этом поговорим! Валерий Алексеевич швырнул трубку и выматерился в сердцах.

Васильеву в ЦК как медом намазано! Знает, что ни Алексеев, ни сам Иванов терпеть не могут его стремления лишний раз посотрудничать с Рубик-сом и закрепиться там. Но Лопатин Сашку прикрывает, и тот этим пользуется. Только не в интересах Интерфронта, а в чьих интересах?… Не зря Сворак под Васильева яму роет, ой не зря! Вот ведь земляк вроде, из Туркмении приехал, и мужик душевный, и поучиться у него есть чему. Но запутки эти его с дерьмократами, да с партией — уже вот где сидят! И людей нет! Было бы кем — давно бы уже заменил. А некем! Эх! Опять пропал день!

Осколки битого стекла, растерянные, наспех одетые женщины, плачущие дети, вывороченные взрывом двери на лестничной площадке, перевернутая мебель, трещины в стенах, осыпавшаяся штукатурка. Офицеры, злые как собаки — на перестройку, на собственное начальство, на сукиного сына генсека, на латышей, в конце концов; готовые стрелять за свои семьи во все, что движется и знающие, что не будет такого приказа. И твердо знающие про себя, что не смогут стрелять *без приказа.*

Иванов вспомнил недавний пикет офицеров перед Домом политического просвещения, где проходила встреча республиканского руководства с очередным партийным визитером из Москвы. Офицеры выстроились в ровные шеренги перед ДПП с плакатами: «Нам оставили только одно право —

умереть за Родину!» Подполковники, майоры, капитаны. Суровые, злые лица. «Оккупанты», стоящие в пикете с требованием соблюдения прав человека!!! Аллес песец!

— Саша, поехали теперь в комендатуру!

— Нет, сначала к памятнику, а то свет уйдет.

— Ладно, давай.

Собираться пришлось наспех. Оригиналы отснятого материала, все на VHS, хорошо хоть «горяченькое» не только на «Бете» принимают… Бутылка бальзама для Болгарчука, конфеты для Леньковой — жены Украинце-ва и для Светки Хачиковой, блок черной «Элиты» Тышкевичу, блок «Мальборо» от Алексеева для всех — пачку тому, пачку этому. Свежие номера «Единства» и «Атмоды»… «Все, пора выкатываться! Перекушу в поезде! Э-э-э-э-э! Записку Алле написать, что ли?»

«Аля, я уехал! Со студии позвоню, скажешь, что привезти! Деньги оставил, где всегда.

Передай Киске, что я ее очень люблю! Целую! Папа».

В тамбуре накурено, хоть топор вешай! Валерий Алексеевич поморщился, открыл дверь в лязгающий железом переход между вагонами, чтобы хоть чуть-чуть протянуло сквознячком, и сам закурил с наслаждением. Поезд набирал ход, за мутными окнами, покрытыми выпуклыми струйками весеннего ливня, сгущалась темнота. Денег на вагон-ресторан было жалко, а перекусить на вокзале так и не успел. От курева уже тошнило, но и без сигареты тоже никак. Откинутая крышка переполненной железной пепельницы на стенке тамбура противно дребезжала. Жизнь продолжалась, но жрать все-таки хотелось просто нечеловечески.

У проводницы нашлось печенье — вот и ужин! Выпив три стакана горячего сладкого чая, Иванов умылся, покурил еще раз на ночь и завалился спать, не обращая внимания на соседей по купе, долго еще употреблявших коньяк и травивших анекдоты. Пить с ними он сразу отказался, а они обиделись. Зато и не приставали больше.

И снова громада заброшенного собора рядом с Варшавским вокзалом выплыла надстройкой линкора из предутреннего тумана. «Ехать на такси? Глупо, кто же берет такси на вокзале? Тормознуть на Обводном канале частника? Или пойти сначала позавтракать на Московский проспект, а там на «Фрунзенскую» и до «Петроградской» в метро — напрямую?

Отдышусь и поем сначала, а то на студии с утра начнется водкопитие по случаю моего приезда, а закусить, как всегда, будет нечем или некогда. Вот и кулинария родная. Бочковое какао, пирожки, котлетка. Теперь доживу до вечера. Пятачок на метро припасен заранее. Народ уже схлынул, отправился на

службу давно, и слава богу! Можно усесться и просто смотреть в черноту, ритмично моргающую за окнами ярко освещенного вагона. Не забыть бы сразу позвонить Алле от Хачика! И первым делом забить в сегодняшнем «Факте» пару минут хотя бы о вчерашних взрывах. Да хорошо бы, чтобы Сорокина (или кто там ведет сегодня новости?) еще прицепила анонс «Рижской весны» к этому репортажу. Надо Леше сказать, пусть потрясет Болгарчука с Обленовым по этому делу — они хоть и начальники, но мужики вроде понимающие — должны согласиться.

Как они там вообще умудряются уживаться вместе с «Пятым колесом» и прочей дерьмократической дрянью на одном канале? Система сдержек и противовесов? Или яйца по разным эфирам раскладывают на всякий случай? Хрен поймешь. Колоярова молодец — тетка вроде не молодая уже, а за правду бьется, как Матросов, грудью хороший материал закрывает. А Невзорова никак не пойму — кровища, эпатаж — то вашим, то нашим, лишь бы показать, что он не такой, как все. Но зато вся страна от экрана по 600 секунд в день не отлипает… Куда он качнется дальше? Куда вообще все качнется? Особенно если учесть, что оно все не качается, а уже просто падает и вот-вот грохнется на пол с треском и звоном, разлетаясь на мелкие кусочки! Когда статуя только наклонилась, ее можно одним пальчиком обратно на пьедестал подпереть. А когда она уже в сантиметрах от земли, тут усилий надо в тысячу раз больше, чтобы на место водрузить. Вот и страна наша, Родина-мать, летит с Мамаева кургана какого-нибудь и кувыркается — поди поймай. Все только разбегаются в разные стороны, чтобы не придавила, матушка! Да только россиянам-то что? Они дома. А мы вот не успеем оглянуться, как окажемся в окружении, во вражеском тылу. И никакого Штаба партизанского движения в Москве не будет. А будет только руководство карательными операциями по зачистке бывших «своих». Чтобы никому не смогли рассказать, как все это предавалось, сдавалось и воровалось.

Надо видеоархивы и документы тщательно скопировать да спрятать подальше до лучших времен. А то потом ищи-свищи, доказывай на пальцах, кто был кто, — все равно никто не поверит! Вот и Таня что-то такое говорила, я еще удивился про себя, зачем она об этом в такую ночь. Что ей нужно от меня? Переспать больше не с кем? Не поверю никогда. Влюбилась? Да я, честно говоря, не герой-любовник, чтобы женщины от меня с первого взгляда сознание теряли! Просто хорошо ей со мной? Допускаю — ведь мне же с ней хорошо! Но ничего не просит, ничего не требует, ничего не обещает, кроме одного: будет плохо — найди меня! И что тогда?

Самое смешное, что я никакой вины перед Аллой за первую сознательную супружескую измену не чувствую. Никаких угрызений совести, никакого страха, что все раскроется. Как будто все это не со мной было и не на Земле вовсе. А так — в параллельном мире, значит, с меня и взятки гладки. Короче, война все спишет…

Большой любви у нас с Аллой не вышло, конечно. Но она мне дорога, она — жена, мать моего ребенка, я за нее горло перегрызу. Только во всем остальном — равнодушие какое-то между нами. Она сама по себе, я сам по себе. Ксения посередине — единственное связующее звено. И что делать? Ничего не делать. Любви, о которой мечталось в детстве, — страстной, всепоглощающей, единственной, наверное, просто нет на свете. Или проходит она слишком быстро, как в юности бывало. Или безответна. Кого я люблю — меня не любит, кто любит меня — к тому я равнодушен. Или просто я не способен любить? Я ведь на самом деле человек холодный, рассудочный. Только дураки думают, что я вспыльчивый, неуправляемый, все делаю сгоряча, на эмоциях. А я все эмоции просчитываю и изображаю, чтобы на нормального человека походить. Быстро очень просчитываю, потому и обманываются все. Кроме Татьяны опять же — она-то сразу мне сказала, еще тогда, в Линксмакальнисе: «Ты даже в постели задней пяткой контролировать окружающее не перестаешь, и глаза у тебя на затылке открываются, когда я тебя целую. Поверил бы ты в себя всерьез — далеко пошел бы!» Я отшутился, не понял как бы. А ведь именно тогда я и решил, что никакого продолжения, никакой свадьбы у нас с Таней не будет! Решил тогда, а вспомнил об этом только сейчас! Вот, значит, где собака-то порылась. Зацепила меня Танюша за живое, за то, что сам себе старался не открывать, всю жизнь делая вид перед самим собой, что я этого про себя не знаю! «Хороша была Танюша, краше не было в селе… красной рюшкою по белу сарафан на подоле.» Как там дальше-то? «У оврага за плетнями ходит Таня в вечеру. Месяц в облачном тумане водит с тучами игру». Но ведь какая ювелирная работа! Такие разрушения, столько шуму-грому — и ни одной жертвы, притом что люди мирно спали в собственных постелях! Это ж кто на себя такую ответственность взял страшную — Господь Бог или же сапер высочайшего класса, мастер-подрывник с огромным боевым опытом?

Или просто случай? Счастливый случай? «Случай есть точка на графике закономерностей!» Но думать про это не надо. Надо этим случаем пользоваться и выжать из него пропагандистский материал на все сто. Что бы это ни было. Поговорить с Толяном? Нет, они еще пока не определились, они пока еще в нейтралитет

играют — честные полицейские ловят плохих воров. Ну да все равно определятся скоро. И надо бы их посильнее в нашу сторону тянуть, а то ведь могут и уйти не туда, сдуру. Нет, это *пока* не ОМОН. Точно. Либо счастливый случай, что жертв нет, либо классные спецы уровня.

Ну, не будем об этом. Как обычно делается? Сливается по ЦТ инфа, что «похищен террористами ядерный заряд». Где-нибудь в Горьком. Объявляется чрезвычайное положение в Горьковской области. Потом терроисты выскальзывают и обнаруживаются, по косвенным данным, в Питере. Значит, в интересах населения, ЧП вводится уже там. А тут террористы уже в Москву пробрались. И тогда под одобрительные и встревоженные вопли международной общественности ЧП вводится на территории всей страны. И перестройке — песец. Белый и пушистый. Но для этого с самого верха приказ отдать надо.

А наверху у нас — одни агенты влияния, мягко говоря. Потому на ключевых местах перестроечного фронта, на острие атаки, так сказать, гремят взрывы, дестабилизирующие обстановку в отдельных регионах. Инициатива среднего звена, не иначе. Отчаянная и последняя. Или проверка… Как Центр отреагирует — воспользуется ситуацией или тихо сольет все эти взрывы за ненадобностью, не заметит как бы. Вот мы сейчас все это в союзный эфир выложим и *тоже* посмотрим. Все друг друга проверяют, никто никому в стране не верит! Управляемости никакой! Да если бы это латыши, пусть даже по наводке с Запада, такие взрывы устраивали, они бы разнесли сдуру и по неумению весь дом в клочья — только части тел летали бы по всей Марупес! Да и невыгодно им сегодня это. Ну, практической пользы от всего только одно — проверка реакции Центра! Иголочкой укололи Политбюро — типа, какая будет реакция? А реакции, заранее скажу, не будет никакой! Когда мозг удалили, вегетативная нервная система тоже не работает. Никто наверху не дернется и импульс в конечности не пошлет, чтобы дать «с ноги» хорошенько по тому, кто уколоть осмелился.

Вот и весь практический результат! А для того, чтобы народ лишний раз возбудить, — этого не надо. Народ и так готов порвать перестройщиков, как Тузик грелку, лишь бы *команда* была дана! А команды не будет. А без команды у нас усядутся на рельсах перед идущим поездом и с места не сдвинутся — не велено было! Ну, все это только начало, подождем продолжения Марлезонского балета и помолчим в тряпочку.

Так что там было с Таней-то дальше? «Не кукушки загрустили, плачет Танина родня.

На виске у Тани рана от лихого кистеня. Алым венчиком

кровинки запеклися на челе, — хороша была Танюша, краше не было в селе!» Грустно, девушки!..»

Эскалатор терпеливо и ровно тащил Валерия Алексеевича наверх, к свету, к девушкам, ожидающим свидания на выходе из метро, к меланхоличной ленинградской толпе, деловито, но без московской суеты, текущей по широким тротуарам Кировского проспекта. Теперь быстренько пробежимся до Карповки, еще один рывок — и направо, на Чапыгина. Вот и Хачик стоит, колышется на свежем весеннем ветру, рукой машет!

Выпили по стакану в «Дружбе», теперь уже ленинградской. «Смешно! — подумал Валерий Алексеевич. — И в Риге, у нас, в «Драудзибе» пьем, и в Питере тоже… «Дружба». Прямо — не разлей вода, как в Союзе народы дружат-то!»

Длинные коридоры, огромные пепельницы из круглых жестянок от кинопленки на подоконниках. Всем на ходу «Привет!», торопливое рукопожатие, банальные ответы на банальные вопросы о погоде в Риге. Пробежка по кабинетам, звонок Алле, кофе-вырвиглаз в подвальной курилке, долгое ожидание Украинцева, явившегося наконец со своей «монтажной» дозой коньяка в маленькой бутылке из-под пепси. И снова коридоры. Забрать кассеты с перегона. Еще одна перебежка в монтажную. И наконец-то время пошло, завизжала «мурка» — так, по-кошачьи, звучит синхрон при перемотке в «светлую».

Вот Вареник сидит, насупившись, на камне, обозревает зеленую дымку Сигулдских лесов, вот к нему подписали щебечущих радостно птах, вот Тышкевич врывается в весеннюю идиллию с резким вопросом, а Виталий мнет огромные рабочие руки и кроет по матушке всех, кто сломал тишину на бескрайних просторах Отечества.

Проезд на машине — набегают на камеру огромные, белые, из покра-шеного бетона буквы, стоящие при дороге: RIGA. И тут же врывается песня уличного музыканта, такая латышская, на фоне медленной панорамы Риги через Даугаву, и идиллия Старого города взрывается — коротко, встык обрезанными фразами опроса на улице. Смена ритма. Голуби клюют крошки батона на булыжной мостовой. Ухоженная стареющая немецкая овчарка, пригревшаяся на солнышке, грустно вздыхает на крупном плане в камеру, часто и как-то виновато дыша, вывалив язык; оборачивается на хозяйку, как бы спрашивая: что от меня хотят эти люди? И вместе с ней уходит влево и вверх взгляд камеры, останавливаясь на седых волосах пожилой аккуратной еврейки, которой тоже, видно, осталось немного. Женщина мягким голосом успокаивает подругу, сидящую с ней рядом на скамейке, — возмущенную русскую тетку, которая требует

прекратить съемку.

— Нет, вы подождите, Зоя Сергеевна! Ну, не хотите разговаривать, не надо, зачем же кричать на людей? Спрашивайте, молодой человек.

— Что волнует сегодня рижан? О чем вы думаете, что тревожит сердце?

— Самоопределение волнует всех людей. Я еврейка, живу здесь уже сорок лет. Если все это произойдет, я имею в виду независимость Латвии, то нас всех волнует будущее, конечно, — как будут тогда к нам относиться? Ко всем русскоговорящим. Что еще волнует? Со снабжением очень плохо стало, перебои со всеми продуктами. Борьба за власть идет яростная, а проблемы народа отступили на второй план. Для них, тех, кто появился недавно на политической сцене, главное — захватить власть. А что они обещают — посмотрим в будущем. Сохранится ли русский язык?

Какие сохранятся права? Слухи ходят самые невероятные. Хотелось бы жить более счастливо, чем сейчас мы живем.

Уезжать? Да, многие евреи собираются уезжать из Латвии. Но есть и те, кто включился в политику, активно работают в Народном фронте. Я пожилой человек, я вам прямо скажу — они плохо знают историю.

Пикет ДННЛ на бульваре Райниса — у здания университета, где проходит съезд «независимой» компартии, отколовшейся недавно от КПСС. Жесткие, злые плакаты. Корова с раздутым выменем — символ Латвии, которую доит Россия, — крупным планом. Колючие глаза старика, потрясающего плакатом; на лацкане пиджака у латыша значок со свастикой.

— Что это за значок?

— Это значок латышских ВВС Первой республики. Я летчик, сейчас уже на пенсии, правда.

— А почему на значке свастика?

— Да потому, что свастика — это хорошо! Это лучше, чем жидовские звезды на башнях Кремля!

Полусумасшедшая подпившая дамочка в пронзительно-зеленом пальто до пят и соломенной шляпке держит большой лист ватмана, на котором броско начерчен тушью унитаз, стилизованный внизу под солдатский сапог; в унитазе торчит, зацепившись краями за седалище, красная звезда, оплывающая кровавыми каплями.

— А что у вас написано здесь?

— Я не говорю по-русски!

Наплывом, навстречу друг другу и «сквозь» друг друга идут интер-фронтовцы и народнофронтовцы, наплыв переходит в длинный план шествия НФЛ к Братскому кладбищу — латыши

идут почтить легионеров СС. Обилие красно-бело-красных флагов, впереди несколько рядов седых, согбенных возрастом «лесных братьев», следом за ними — молодежь из дружин «охраны порядка» с яркими повязками: надписи в белом круге на красном фоне — стилизация под знакомые нацистские символы. И тоже — сотни тысяч людей, только, в отличие от манифестации Интерфронта — очень много маленьких детей и женщин. Кто-то несет над толпой грубо сколоченную виселицу, на которой болтается, как «повешенный», кусок картона с угрожающим: «Трепещите, советские убийцы!», кто-то, вопреки всякой логике, тащит огромный транспарант с надписью «КПЯЯ» или свастику, образованную перекрещивающимися словами «Интерфронт» по-русски и по-латышски. Ветераны СС запевают дрожащими голосами старые немецкие песни, которые тут же громко подхватывает их окружение — сразу видно, все знают и помнят эти слова, не путаются в «сакральных» текстах.

И вдруг звук плавно уходит до полной тишины, и через затемнение сначала слышатся осторожные шаги по битому стеклу, потом проступает картинка с искореженной детской кроваткой, на которой повисла сорванная с петель взрывом дверь — куски штукатурки грудой валяются на пестром ковре. Медленный отъезд на общий план показывает все новые детали: разбитая посуда, вывалившаяся из накренившейся секции, офицерский китель вперемежку с женской легкомысленной блузкой под перевернутым кверху ножками стулом. Встык въезжает, проезжая на камеру — как бы через разрушенный домашний уют — «Скорая помощь», удаляясь от подъезда, в проеме которого виден кусок обрушившейся стены. Звук сирены снова сменяется мертвой тишиной и мерными шагами по осколкам стекла часового, запоздало выставленного под окнами офицерского семейного общежития — худая детская шея торчит из жесткого воротника шинели, на поясе штык-нож — и только.

— Сюда бы еще сытую харю Горбатого на Мальте, на банкете, как он с Бушем шампанским чокается, воткнуть, — горячится Хачик, первым нарушая молчание после просмотра вчерне собранного куска.

— Не надо. Перебор будет. И концентрация на событии уйдет у зрителя, если его вдруг резко «выкинуть» из Латвии на Мальту, — ворчит, прихлебывая из бутылочки, Леша.

— Теперь неплохо бы интервью с коммунистами всех мастей на тему «В Багдаде все спокойно». А потом сразу Иванса… — листает Иванов неторопливо свои листочки.

— Отбить чем-то надо этот кусок, думайте! — Хачик откинулся на стуле назад, вытянул длинные ноги и уставился в

потолок.

— Чего тут думать, — ваше время на сегодня кончилось, мальчики! — устало подытожила молчаливая, сосредоточенная дама за пультом — режиссер видеомонтажа. — Идите гуляйте, ко мне сейчас новостники придут. И поищите в фонотеке музыку более подходящую…

Дурацкие мысли лениво текли и причудливо меняли направление, подобно клубам сиреневого сигаретного дыма, которым была наполнена курилка при кафе-баре в подвальном этаже телецентра. Кожаные пуфики, прожженные тут и там низкие полированные столики да обычный, сантехнический кафель под ногами. Блестящие плевательницы на высоких ножках вместо пепельниц, устало-озабоченный вид торопливо заряжающихся кофе и сигареткой и тут же убегающих доделывать свой кусок эфира сотрудников студии — все это навевало на грустные мысли. К вечеру рабочий день здесь не заканчивался, а наоборот, у многих только начиналась самая пахота. Но при всем при том все были свои, все были при деле, всех ждали где-то свои квартиры или комнаты в коммуналках, семьи, любовницы и любовники, друзья и просто собутыльники, дети или, наоборот, родители. И большинство этих людей жили в Питере очень долго и не собирались никуда уезжать, во всем их образе жизни присутствовал некий запас прочности, выражающийся в многочисленной родне, разветвленных связях, одноклассниках, сокурсниках, бывших коллегах. Случись что, обрушься мир, даже, не дай Бог, начнись вдруг снова война и блокада — они все равно будут знать свое место в своем городе.

По крайней мере, никому не придет в голову принимать декларацию о независимости Ленинграда и выходе из состава России. Иванов криво улыбнулся и снова закурил, сминая опустевшую пачку, тут же доставая из сумки и открывая новую «Элиту».

Тот же Украинцев Лешка — в свои тридцать восемь — успел стать легендой местного телевидения. Ему прощают то, что никогда не простили бы никому другому. А он не работает, а живет на телецентре. Даже когда он дома. Утром, с бодунища, трясется со своей улицы Восстания сначала в трамвае, потом на 46-м автобусе… Но в это время думает не об опохмелке, как ни странно, а просматривает пачку утренних газет или новую книгу листает. И ночью свет в его комнате не гаснет почти до утра. Зайдешь к нему, а он курит и читает, курит и читает. А потом весь день мотается по съемкам, встречается с людьми, ругается с коллегами. А в перерывах — пьет. И даже когда пьет — тоже работает. Такой насыщенный и жесткий ритм жизни, как на

телевидении, редко где встретишь.

Ну а Тышкевич? Приехал поступать в вуз из белорусской деревни, закончил истфак ЛГУ, пробился тоже на ТВ; без специального образования, по конкурсу стал режиссером. И давно уже питерец. И вся большая семья его собралась здесь — младший брат с женой и детьми, старшая сестра с мужем и дочкой. И тоже — сокурсники, коллеги, друзья, любовницы — полгорода у него в своих ходит. Хачик — армянин. Но в Питере уже в третьем поколении. Хотя мать почему-то уехала обратно в Армению, и уже давно. Но у Давидова своя армянская мафия в Ленинграде. Только на телевидении — Гамлет с братом, еще несколько армян — режиссеров и операторов — это только кого я знаю. Все прочно сидят — не выдернешь. А у меня родня в Перми. Я и не знаю ее толком, если честно, хотя родни у меня столько, что и Хачика переплюнул бы.

Одноклассники — на Сааремаа. Точнее, были на Сааремаа, теперь уж разъехались кто куда — ни одного не найдешь. Сослуживцы по Германии? Кто где — по всему Союзу. Несколько сокурсников и сокурсниц да бывшие коллеги по газете и школе — вот и все. И все такие же, как я, все дети военных или сами военные — у всех родня, одноклассники — где-то в России. Все почти одиноки на самом деле. И теперь, когда Союз рушится на глазах, когда даже те близкие, что есть у каждого русского в Латвии, начинают делиться по принципу «свой-чужой»… Что же останется у нас в будущем? Может, плюнуть на все и уехать в Питер, пока не поздно? Ребята приглашают — работу на ТВ обеспечат. Пока. Пока их самих не выгонят, если новая власть придет! Жилья нет Корней нет Ладно! Побарахтаемся, сколько сил хватит, а там видно будет. Но тетки здесь действительно неживые какие-то. Про прибалтов ленинградки говорят, что они отмороженные. А сами?

Вот и Леша плывет, как всегда — не один. Доругивается с кем-то по поводу очередного материала. Надо заканчивать монтаж и проводить плановые встречи по городу. На радио завтра — опять на Ракова в прямой эфир ни свет ни заря тащиться. Послезавтра приезжают Лысенко из Таллина и Смоткин из Вильнюса. Будем встречаться с рабочими на Металлическом заводе, а ребята подгонят со студии ПТС — снимать встречу для «Горячей линии». Еще в плане Кировский завод, «Светлана», Адмиралтейские верфи, встреча с партактивом в Куйбышевском райкоме — на Невском, у Аничкова моста. Леша говорил, что это бывший дворец Белосель-ских-Белозерских. Что там обязательно надо посмотреть отреставрированные интерьеры. Да тут куда ни ткнись — дворцы. Были недавно в клубе какого-то предприятия —

так там тоже дворец бывший — зал в форме подводного грота, а в нем дискотека! Убиться можно… А у нас на всю Ригу два собора и Сигулда — больше смотреть нечего. Ага, еще Рундале и Елгава с Сельхозакадемией во дворце Растрелли. Надо бы гуся купить финского замороженного — Алла порадуется. А то опять дома жрать нечего будет, как приеду. Ну вот, Лешка отругался, тащит кофе!

— Ну как? Закончили?

— Да какой там! Но я все равно свалю, Хачик обещал попозже в свою стекляшку нас свозить. Там кухня замечательная — зелень свежая, только что с гор Кавказа, шашлык, долма, хинкали, лобио — все только для своих. Надо водки купить — там не наливают и даже пить не разрешают. Посторонним, конечно! А ты как, не заскучал?

— Не особенно. Прошелся по городу, голову разгрузил. Конфет дочке купил шоколадных….

Слушай, Леша, может, документальное видео из нашего архива про легион СС пустить отдельной передачей? Так же, как в нашем пропагандистском ролике, — все черно-белое, архивное, не размазывая на современность. Но жестко, с закадровым текстом типа «Обыкновенный фашизм»? Я понимаю, что для эфира сократить надо будет, но это не проблема в общем-то. А то у вас отснято материала полно, плюс мои архивы — в «Рижскую весну» все не влезет. А так — дополнительный удар. В продолжение темы, так сказать. Может, поговоришь с начальством? Как раз на 9 мая бы и выстрелило?

— Надо подумать, идея вроде неплохая. Да только нас с Хачиком сегодня уже вздрючили за первую часть «Весны». Слишком жестко, никакой симпатии к перестройке… Ну, посмотрим, может, все и обойдется. Послезавтра эфир вечером, так что готовься, будешь на выпуске со мной сидеть. С титровальной машинкой справишься, надеюсь? А то и титры, и часть музыки придется прямо в эфире выдавать — собрать все до конца и вылизать в записи не успеваем — все монтажные забиты — времени не дают.

— Ну, как-нибудь справлюсь.

Звонки на «горячий телефон» студии начались сразу же после показа интервью с интерфронтовскими лидерами. Толик, сидевший на телефонах вместе с парочкой практиканток, что-то беззвучно говорил в трубку и несколько раз, не переставая слушать и переспрашивать, оборачивался к прозрачной перегородке, за которой на выпуске сидели Хачик с Лешей и Иванов. Тышкевич мгновенно менял лицо с участливо-озабоченного — так он (хоть и не в кадре был!) общался с

телезрителями — на весело-восторженное и показывал друзьям большой палец, при этом еще кивая на монитор, в котором заканчивал говорить Алексеев:

«…Я хочу напомнить о том, как развивались события в буржуазной республике, пользуясь свидетельством главы Православной церкви в Латвии архиепископа Иоанна Поммера. Вот что он говорил, обращаясь к сейму: «Во имя чести и достоинства Латвийского государства и народа, во имя мира и в настоящем, и в будущем я считаю своим священным долгом обратить внимание на те гонения и притеснения, в каких я нашел Православную церковь в Латвии! Гонениям и утеснениям подвергаются сотни тысяч полноправных и ничем не запятнанных граждан, исполнявших и исполняющих все свои обязанности по отношению к Латвии.

Русские находятся на положении пасынков родины, права их ежечасно нарушаются самым грубым образом в пользу привилегированных граждан, якобы высшего сорта. Нельзя забывать и того, что гонимые православные населяют преимущественно пограничную черту между небольшой Латвией и большой Россией и что вопли гонимых людей могут перелететь через границу и найти отклик в сердцах братьев по ту сторону границы, что может приспеть время, когда братья по нации встанут на защиту своих братьев по вере, что вражда, которую породили в русских сердцах некоторые неудачные выступления латышских политиков, может еще возрасти!»

Алексеев внимательно всмотрелся в камеру, представляя за ней зрителей, снял очки и неторопливо продолжил:

«Мы надеемся, что мир в нашей республике можно обеспечить, если мир будет во всем Отечестве! Мы надеемся на наших братьев в Ленинграде и во всех республиках нашей огромной страны! Судьба Латвии решается сегодня не в Риге, не в Вашингтоне, а в Москве…»

При этих словах даже равнодушные ко всему техники, сидящие в студии, невольно переглянулись друг с другом. А Тышкевич уже не мог оторваться от нескольких разрывающихся от звонков многоканальных телефонов.

Эфир передачи тем временем продолжался. Под звуки органа торжественно прошли по собору притихшие юноши в черном и плачущие от восторга девушки в белом — в Новой Гертруде ленинградцы сняли волнующий момент конфирмации. Довольно хорошо говорящий по-русски пастор, совсем недавно приехавший в Ригу из Америки, прижав руки к груди мягко обнадежил: «Я надеюсь, во всем Советском Союзе люди пребудут со Христом и все устроится.» И слезы счастья на глазах взволнованной,

ангельской красоты девушки-латышки, только что вышедшей из величественного собора, ее улыбка тоже, казалось, пообещали телезрителям: «Все будет хорошо!»

А русский реставратор, еще молодой крепыш с мастерком в руках, спрыгнул со строительных лесов на булыжную мостовую в Старой Риге и, переспросив:

— Ленинградское телевидение? — тут же насмешливо ответил на вопрос о будущем Латвии: — Разваливается большая кормушка, и каждый ищет теперь себе экологическую нишу! Гласность хороша тем, что проявляются все черты человеческие. Латыши вот, по-моему, сами себя испугались!

Яркий весенний день на экранах сменил черный ноябрьский вечер — в день Лачплесиса в латвийской столице прошло первое за послевоенное время факельное шествие. На трибуну перед ярко освещенным прожекторами памятником Свободы; трибуну, окруженную десятками — даже по одежде видно — западных журналистов, приникших к визирам камер, внимательно записывающих каждое выступление; на трибуну вышел, склонившись перед красно-бело-красными флагами, очередной оратор, заикаясь и поблеивая он неожиданно начал свое выступление по-русски:

«Граждане Латвии! Я прощу прощения за то, что не могу обратиться к вам на латышском языке! Как вы уже поняли, я приехал к вам из Москвы. («Наши русские тоже не знают латышского языка!» — раздался громкий голос из толпы.)

…и я не знаю латышского языка. Поэтому я буду говорить по-русски. Мне больно осознавать, когда я приезжаю в Прибалтику, что Прибалтика и в большей степени по вине моего народа, по вине русских — до сих пор оккупирована. Да! Я являюсь представителем оккупантов… к сожалению. Но я надеюсь, что в скором времени я смогу приехать в независимую Латвию! Я преклоняюсь перед памятью тех, кто сражался против советских оккупантов в годы Второй мировой войны, кто погиб в советских лагерях. Я преклоняюсь перед их памятью! У нас один враг — и с этим врагом мы будем бороться вместе — за вашу и нашу свободу!».

— Ага! Судьба Риги будет решаться в Москве! — сказал Алексеев.

— Вот она — столица нашей Родины, мать ее ети! — ткнул Иванова острым локтем в бок скривившийся страдальчески Украинцев.

— Ты что, не видел этого куска, что ли? — искренне удивился невозмутимый, только немного грустный Валерий Алексеевич.

— Видел! Но все равно блевать хочется.

Толпа вяло, но поощрительно поаплодировала москвичу и тут же взорвалась ревом, когда на трибуну вышел знаменитый оратор от ДННЛ Эдвинс Янсонс.

«Говорят, что мыла в Латвии нет, оно ведь все по талонам… (смех в толпе), но для коммунистов, для коммунистов мы мыло и веревки найдем!!!» Толпа взрывается овацией, западные журналисты переглядываются и удовлетворенно кивают друг другу.

«… Еще в 39-м году двухстам тысячам красных оборванцев финны пускают лишнюю кровь. Латвия, Литва и Эстония трусливо капитулируют перед превосходством сил, вместо того, чтобы сражаться до последней пули, до последнего обломанного кончика ножа, как это делали в послевоенные годы наши героические «лесные братья»! (овация). Почему им до сих пор не поставлен памятник? Пусть они будут образцом для молодежи Латвии, которая не должна слушать того, о чем говорит ей это сумасбродное государство. Все, что они говорят, — это ложь! Все, что принадлежит этому государству, — украдено и награблено! Это же твое государство, где все пьют смертельную отраву, где медленное самоубийство человека называют жизнью! И только если мы разгромим это бредовое государство начнется счастливая песня свободного человека! (овация)… И теперь они философствуют о том, как мы проживем в свободной независимой Латвии — будем мы жить в благополучии или в нищете? Это же не имеет никакого значения! Независимая Латвия не будет же, как сегодня, картофельным полем, в котором кто больше свинья, тот глубже копает! Это будет большое духовное государство! Это же не средство для достижения благосостояния! Свободная Латвия — это идея, это принцип! Единственное средство, чтобы освободиться от духовного и морального рабства! Теперь все или ничего!» (овация).

Желтые монеты бьются на ветру,
Тускло-золотые на деревьях денежных.
Я схожу и этих денег наберу,
И куплю билет туда, где все по-прежнему…
Где анекдоты про Брежнева.
Где смеется соседка по парте.
Где зимы морозные, снежные.
И женский день в марте.
Самые красивые звезды в октябре,
Самые прозрачные дождинки — на лету,
Самые глубокие лужи — на дворе,

И огни, дрожащие на Каменном мосту…
Я весь мир отдал бы за полет во сне
В Новый год, что «новым» был 30 лет назад,
Кроме нашей комнаты с липами в окне,
Кроме нашей комнаты с видом на закат…

Глава 8

Май 90-го года выдался хлопотным. Валерий Алексеевич едва успел вернуться в Ригу 1-го числа и прямо с поезда, не заезжая домой, отправился на первомайскую демонстрацию. Десятки тысяч людей, радостных, веселых несмотря ни на что, осознающих в толпе *своих,* что они не одни, что их много, — не спешили расходиться по домам. Гуляли по Комсомольской набережной, выпивали, пели песни, договаривались о встречах, чтобы продолжить праздник дома, за обеденным столом. Иванов, расстегнув пиджак и ослабив галстук, стоял с неизменной сигаретой в руке, щурился на яркое солнышко, приветственно подняв руку знакомому фотографу — Майданову, взобравшемуся с фотоаппаратом на грузовик, в который собирали после демонстрации флаги, лозунги и транспаранты.

Так и лежит эта фотография у Иванова под стеклом на письменном столе. Там еще есть и возложение цветов к Вечному огню на Братском кладбище в Риге. Вместе, одним движением, протянули руки с красными тюльпанами и гвоздиками Алексеев и Лопатин, Иванов и Сворак. За ними еще несколько интерфронтовцев, а вдоль аллеи, в конце которой находится Вечный огонь, застыла с карабинами в руках рота почетного караула с аксельбантами, в белых перчатках, салютуя всем, кто пришел вспомнить героев. А еще там, на фото под стеклом, стоят в Ленкомнате Рижского ОМОНА три мужика в штатском, три ровесника, только что переваливших за тридцать. Иванов и два взводных — Мурашов и Кузьмин. Улыбаются по просьбе фотографа, того же Майданова. А глаза у всех троих настороженные, уже все *знающие* глаза. А на столе перед ними потертый ивановский блокнот, да еще автомат затесался некстати. И еще одно фото — тоже на базе: Млынник, Невзоров и Мурашов — Иванов сам снимал их, после ночного рейда по латышским самочинным таможенным постам на границе. Вот почти и вся память о прошлом. Сами они не любили сниматься. И фотографий своих никому не дарили на память.

Мы с Валерием Алексеевичем недавно вместе посмотрели свежую передачку Аркадия Мамонтова из цикла «Специальный корреспондент». Про «бархатные» революции.

Тут и президент, как раз перед думскими выборами, решил возглавить список «Единой России». Все это вместе, видно было, сильно раздражало Иванова.

— Какая связь? — спросил я его, намекая на передачу Мамонтова и партийные списки.

— Самая прямая, ешкин кот, — недобро зыркнул на меня исподлобья сосед.

— И все же?

— Вопрос легитимации власти. Именно легитимации, а не законности.

— Какая разница-то?

— Да та разница, что легитимация — это признание законным. А законная власть, она законная и есть! Ей признания не требуется. И пиара не надо. И обоснований лишних.

Вот мы Мамонтова смотрели с тобой только что! Так ведь он, нехороший человек, историю «бархатных» революций с Сербии начинает! И ни слова, ни намека о том, что сама нынешняя власть в России — это плод первой самой «бархатной» революции — перестройки в Союзе! И когда Ельцина с почестями хоронят в Новодевичьем монастыре, да в храме Христа Спасителя отпевают, когда Путин прилюдно скорбит по Ельцину, он признает публично свою преемственность именно той власти, что заняла Кремль в результате совместного труда советских партийных предателей и западных их наставников! Что это, как не «бархатная» революция? А вся цепь «песенных» революций в Прибалтике, на которых обкатывались схемы для «бархатной» замены власти во всем Союзе? Ведь методы те же, абсолютно, что потом применялись в Сербии, Грузии, на Украине! Те же, что применялись в Восточной Европе, когда Горбачев ее на волю распускал. С Румынией только ошибка вышла поначалу, как и с Молдавией. Уж больно народ дикий — цыгане, одно слово. Но об этом секрете полишинеля — молчок. Все уткнулись в тряпочку… Значит, нехорошие американцы и иже с ними — только тогда нехорошие, когда они мешают российской власти, которую сами же, сами же на престол посадили?!

— Так что же ему — Путину — сплясать на гробе надо было, что ли?

— Нет, конечно. Правила игры, то да се.

Валерий Алексеевич затянулся было уже догоревшей до фильтра сигаретой, посмотрел недоуменно на окурок, ткнул его в блестящую, вертящуюся пепельницу, утопил в ее недрах и тут же потянулся за новой сигаретой.

— Ты бы, Алексеич, курить бросил, а то сам ведь на сердце жалуешься… — некстати намекнул я соседу на перешедшую в болезненную страсть привычку.

— Да при чем тут!.. Ты больше Катерину слушай, она меня лечить любит, только я все равно не поддаюсь, — уже более спокойно произнес сбитый с горячности тона Иванов и попытался продолжить мысль. — «Единая Россия» сегодня — та же КПСС,

только не при Сталине, а при Горбачеве. Там большинство — чиновники. А большинство чиновников нынешних — те самые люди, что пришли вместе с Ельциным. В результате той самой — *первой* «бархатной» перестройки — перекройки по американским лекалам.

— Но Путин же не вступил в партию!

— Пока не вступил, еще не вечер. Но первое место в списке занял! Там, глядишь, и председателем станет. Может быть, с точки зрения полит-технологий это все и правильно. Но по-человечески — противно. Ты пойми, я ведь не о политике сейчас говорю, а о правде. Они всегда почти не совпадают — понятия эти. Я это давно знаю. Я понимаю, почему так боится сегодня власть прямо сказать, что Ельцин — ставленник американцев, пришедший к власти в результате «бархатного» переворота. Так же точно, как Саакашвили, как Ющенко… Но другого выбора у Путина, кроме как рано или поздно признать все это и проклясть публично, отмежеваться, — нет! Не может это продолжаться дальше, если Путин действительно хочет, чтобы в России была законная власть! Пусть будет *его* власть! Но право на законную власть президент приобретет только тогда, когда назовет все своими именами — без эвфемизмов о «величайшей геополитической катастрофе»!

— Ну нельзя же вот так прямо.

— Нельзя. Я знаю. Но и по-другому тоже нельзя. Вот где собака порылась, соседушко.

Что ты думаешь, я не понимаю, что Париж стоит мессы, а Пасха стоила нам Советского Союза??! Или я не знаю, что никакого эволюционного перехода СССР к русскому православному государству все равно бы не произошло никогда? Для меня лично обретение, пусть только возможное — поскольку грешен зело, — веры в «воскрешение мертвых и жизни будущего века» стоит всего, что я лично пережил. Да и вообще, не было другого пути, сколь бы ни был он кровав, каких бы бед и несчастий он ни стоил. Но не Ельцина, не Яковлева с Горбачевым это заслуга — возвращение и возрождение Церкви! Для них, и для их англосаксонских кураторов Церковь наша — это досадное, но *необходимое* и вынужденное условие — *цена,* можно и так сказать, развала СССР, читай — остатков Российской империи. *Они* только потому и *проиграли* холодную войну, что не поняли, что возрождение Православия — это наша победа, а не их! Россия в результате выиграла души! А они лишь тело. А тело — оно обманчиво! Сегодня оно одно захотело, завтра — другое. И душа телу хозяин, а не наоборот, как они всегда считали. На том и песец им придет. Но это их проблемы. А у нас вопрос веры и

справедливости — главный. Но если Путин стал демонстративно скрывать свои отношения с Церковью, чтобы не раздражать толерастов, если он уже слово «русский» перестал вдруг произносить, а все больше у него «россияне» на устах, — это вопрос доверия к нему русской души, а не российского тела.

— Что-то ты, Иваныч, завернул в такие эмпиреи, что без бутылки и не разберешься!

— Ну так ты бальзамчику хлопни, мне недавно из Риги опять привезли.

— Валерий Алексеевич улыбнулся и деловито полез в шкапчик, продолжая мысль на ходу. — На песке, на вранье, на публично сказанном по телевизору, что «Ельцин дал России свободу» — законной власти не построишь! Ни при чем здесь Ельцин. И все это знают, в том числе и те «дарагие рас-сияне», что миллионами записывались в участники первой защиты Белого дома, а теперь клянут «царя Бориса» почем зря… Я знаю одно: Путин должен сказать правду. Тогда его власть — и так почти царская — станет законной и фактически монаршей властью. Без этого — сам себя переиграет, какой бы гениальный политик он ни был. Без этого — потеряет ту Божью помощь, каковая только и позволила ему совершить *чудо* — чудо возрождения уже, казалось, погибшей России. Но пока он играет в полит-технологии, пока он старается переиграть всех административным гением, пока он, пусть даже по понятным причинам, не находит сил или, как ему кажется, *возможности* порвать с проклятием рождения нынешней Российской Федерации и нынешней Российской Конституции — все им сделанное — под угрозой. Пока он твердит о «многонациональности и многоконфессиональности» — Россия под угрозой. И русский народ, все еще не ставший нацией, может ею так и не стать.

Какая постсоветская республика с титульным населением более восьмидесяти процентов считает себя «многонациональной»? Да хоть бы их и половина всего была — как в той же Латвии — «государстве латышей»! А какое государство в мире с таким национальным составом считает себя многонациональным? Россия. Где даже нет уже термина «национальное меньшинство», где каждый якут или табасаранец меньшинством не является! Где татары, которых не более четырех процентов от всего населения страны, и все же *вторые* по численности после русских в России, требуют себе особых прав и половины власти и добычи! У нас мусульман пять процентов всего верующих — против семидесяти процентов православных. Какая, прости господи, «многоконфессиональность»? Какого черта

раввинов везде суют, когда иудеев вообще доли процента по России?!

— Судить легко! Да и как же начинать новую традицию — демократической смены власти? Одно это не позволяет Путину сказать правду о Ельцине! Да и упреков в национализме от Запада хотелось бы избежать!

— Да. Ты прав. Судить легко. Я не сужу Путина. Я им иногда восхищаюсь. Ему Господь урок дал трудный, но Бог не по силам испытаний не дает. Я вот человек слабый, так меня Господь миловал — провел по краешку испытаний, тех, в которых многие и силы, и саму жизнь положили. А Путин — сильный. Но ему и урок дан по силам. Я-то, кстати, помню, что еще несколько лет назад Березовский в Москве сидел! А в Грозном — Масхадов! А страна была в полной жопе. А я с Катей в фашистской Латвии чувствовал себя лучше, чем у себя на Родине, на которую, пока Ельцин был у власти, даже и вернуться не мечтал. Но ты пойми, соседушко, пожалуйста, нас — миллионы!

Нас, русских, которые не продавали свою Родину, которые, как могли, как понимали тогда, пытались ее спасти, нас — десятки миллионов. Нас *списали* со счета! О нас стараются забыть! И «педерачка» Мамонтова, числящая историю «бархатных» революций семью годами, — это то же самое! Он как бы говорит: не было вас! Не было ни интерфронтов, ни интердвижений, ни сопротивления перестройке горбачевской, ни пьяному Ельцину. И Рижского ОМОНа не было и Приднестровской гвардии. Все дружно приняли «свободу», которую, по словам Путина, подарил российскому народу, а значит, всему русскому народу — Ельцин!

В Латвии в «защитниках» русских ходят всякие Жданки с Кабановыми, Митрофановыми, Плинерами, Цилевичами — те, кто *против нас* пошел по своей, шкурной, воле в НФЛ! А нас — не было! В России в патриотах подвизаются Леонтьев, Соколов, Казаков — бывшие сотрудники «Атмоды» — идеологические работники НФЛ. И несть числа предателям, вчера еще лизавшим задницу ельциноидам, а сегодня вовсю выступающим в роли учителей русского народа, в том числе и среди почетных членов той самой «Единой России»! Тысячи убитых, расстрелянных, забитых в московских дворах людей, парламент, расстрелянный из танков. Путин сказал про это хоть раз? Понимаю сам, что Хасбулатов с Руцким — Ельцина не лучше. Но люди, которых расстреливали пачками, — они — *лучше!*

Иванов подошел к окну, уставился на мокрый снег с дождем, на пожухшие, мокрые листья под яблонями, на поникшие ветви могучих елей, окружающих наши с ним дома, на последнее

золото берез, трепещущих на пронизывающем ветру, и замолчал.

Прошла минута-другая, пока он не обернулся и не сказал устало, даже улыбнувшись мне благодарно за терпение, за то, что не стал ни спорить, ни поддакивать.

— Я вижу, что в мире хватает проблем и без нас… Он все еще, видимо, числил себя в тридцати миллионах русских, оставшихся за пределами России, хотя и давно уже жил здесь, с нами. Но не мог, видно, не быть представителем, агентом, что ли (?), отброшенного в 91-м году Российской Федерацией русского окраинного мира.

— Я молюсь, чтобы грядущие войны не затронули хоть один раз, в кои-то веки, Россию. Я понимаю, что тот же Путин делает все, чтобы избежать втягивания России в очередную мировую войну. Правда, мировая война без России — не мировая, конечно! Но пусть, пусть хоть бы раз *они* обойдутся в своих разборках без нас! Он все делает *по уму*. Еще бы, хоть немного, *по правде*. Ведь русский же он человек, в конце-то концов! Ведь православный!

Почему он нас всех считает за идиотов, не могущих понять. Впрочем. Я ведь сам сейчас «дарагих рассиян» поминал тихим добрым словом. Иногда посмотрю не то что на либералов потасканных — на «патриотов» России, которым несть числа, даже на тех, кто не ходит в синагогу и не притворяется, на тех, кто искренен. Как подумаю, как представлю *их,* «патриотов» этих, у власти — страшно делается! Ну а Путину, наверное, еще страшнее, как человеку несравненно более информированному. Но только за людей он нас все равно не считает. Может, и есть за что. Да только «врачу, исцелися сам!». Порви с родовым проклятием своей власти и тогда — делай с нами что хочешь!

Знаешь. — Иванов, как всегда, немного запнулся на этом «ты» — я ведь намного старше его, но сам настоял недавно на этом ко мне обращении. — Знаешь, я вот вчера забор новый красил. Ну, не красил, пропитывал цветным антисептиком. Тот забор, что со стороны цыган построил с Мишей вместе — глухой, двухметровый, — лишь бы не видеть эту грязь и не слышать этот постоянный ор, прости господи! А еще — смотреть не могу на русских рабов, которых они себе заводят, суки! Подбирают пьяниц, полубомжей — кормят впроголодь, селят в сараях — морду им бьют, чтобы не забывались… А те и рады — пашут на цыган с утра до вечера — и уходить не хотят. Знаешь, Миша их регулярно от цыган выцарапывает и пристраивает к родне на ферму в Псковской области. Там и платят, и жилье приличное, и кормят от пуза. Так ведь многие еще не идут из рабов в фермеры! Или там, на Псковщине, отожрутся, отоспятся, отмоются и. ни хера не делают, только водку жрут! Да еще порой обратно к

цыганам сбегают — снова в рабы! В грязь, нищету, голод, побои! Я кавказцев, политкорректно скажу — *некоторых* и цыган — *некоторых*… за то больше всего не люблю, что они себе русских рабов постоянно ищут. Наркота, воровство, бандитизм. Но особенно это рабовладельчество — ненавижу!

Так ведь и русские теперь эту моду стали перенимать! Держат таджиков не в работниках, а в рабах многие. У кого научились? Зачем нам это? Своих рук полно, если только бутылку из них вынуть! Если шприц не дать! Одних охранников по стране миллионы балду гоняют, а власти говорят: у нас работать некому! А милиция тогда за что деньги получает, если на каждый метр российской земли нужно еще по охраннику ставить?! Зачем нам МВД, ФСБ, внутренние войска? Частных охранников поставь, а этих дармоедов и коррупционеров — выгони! Что-то одно! А то у нас ни те, ни те ни хрена не делают.

А ведь совсем о другом хотел рассказать… Так вот, крашу я забор! Вытащил сидишник небольшой, поставил «Любэ» и вожу себе кистью под музычку. Марта рядом крутится, хвостом вертит, морду свою волкодавью страшную мне в коленки тычет. Солнышко выглянуло — так-то хорошо! А тут еще с Сиверского, с авиабазы, «Миги» над головой прямо высоту набирают — жуть как хорошо — после Латвии-то. «Наши» летят! Ажно перекрестить их хочется от умиления, ей Богу! — Иванов усмехнулся смущенно. — А «Любэ» вдруг как заведет: «Русские рубят русских, русские рубят русских.» Да еще про коня, в которого все попасть-подстрелить не мог офицер, оставляя его в Крыму, уходя в Константинополь на последнем пароходе. А там вдруг и про «батьку Махно — алая заря». Я эту песенку первый раз в омоновском «бобике» услышал. Весело было! А потом, в том же году, кажется, лечу во Владивосток в командировку — про фашистов наших кино документальное показывать… На Ил-86, кстати, понравился мне тогда самолет, помню. Просторно! Плееры раздали! А я как раз перед вылетом первую кассету «Любэ» купил. Вот лечу через всю страну и музыку слушаю! А погода была чудесная! Солнце, облаков нет почти. И вся-то страна под крылом все десять часов полета тянется — то городами, то реками, то тайгой, то горами! Необъятная, в общем, страна! И так хотелось ее сохранить тогда! Так хотелось. Вот такие дела — свернул неожиданно свою речь Валерий Алексеевич, ушел в себя и весь остаток вечера только подливал мне черного бальзаму из глиняного кувшина — сам-то не пил уже. Да слушал мои байки об охоте в Карелии, о егере Данилыче на турбазе в Вещеве — таком егере, что Кузьмич рогожкинский перед ним мальчишка просто.

Хоть и предупреждал меня не раз Валерий Алексеевич, что рижский бальзам — штука тонкая, может с непривычки и «мотор» подсадить, да не внял я в очередной раз советам. А зря! Тем более что наливал Иванов не по ложечке в чай или кофе и не с водкой смешивал даже, а лил бальзам, как сам привык — чистенький, да не в рюмочку, а в стаканчик. Вот и проворочался я потом всю ночь без сна — сердце колотилось.

Наговорил мне сосед в тот вечер много чего разного. Мы уж давно с ним условились, чтобы я к сердцу все его монологи близко не принимал, дескать, Иванов таким образом просто думает, обкатывает мысли для последующего публичного употребления. Однако порою меня задевала некоторая безапелляционность его тона и склонность к обобщениям. Ну, честно сказать, обобщения, конечно, не на пустом месте строились и не из пустячных наблюдений, наверное. Просто мне до встречи с соседом дела никакого до российской государственности не было. Да не было, не было — себе-то я не совру! Это кому другому, конечно, сказал бы, что не раз одолевали меня горестные думы о судьбах Отечества. А себе могу признаться — жил себе и жил, не затрудняясь высокими материями. Все происходило само собой вокруг! Перестройка поначалу меня тоже не коснулась — интересы мои, в моем толстом журнале, политики не касались — я все больше занимался внутренним миром человеческим — любовь и ненависть друг к другу — вот что казалось мне определяющим в частной жизни. Именно *частной,* поскольку всегда я был убежден в том, что только частная жизнь индивидуума достойна писательского внимания. А об общественном и без меня в советские времена писать было кому — в очередь выстраивались! Я же гордился выторгованной с немалыми, признаться, усилиями *нишей,* дорожил своим правом не касаться низменных тем *социума.* Пока этот самый социум вдруг не взбрыкнул и не стал выкидывать такие коленца, что и не уследить стало за полетом «птицы-тройки»: «Русь, куда несешься ты? Не дает ответа.» Даже я тогда понял, что социум пресловутый не сам по себе взбрыкнул и понес, что кто-то фитиля под хвост воткнул народу! Но и что с того? Надо было жить, а потом уже и просто выживать — до обобщений ли философских было? Журнал мой потихоньку захирел и заглох. Переизданий написанного мной ранее и даже вошедшего в школьный список для летнего необязательного чтения — не стало. Да и тиражи пошли не те…

Принял я внезапно изменившееся положение вещей с положенной апологету частной жизни стойкостью. Замкнулся в семье, внукам стал больше уделять внимания. Да и дети,

внезапно нашедшие себя в новой России, не забывали родителя материальным участием.

Короче, в отличие от многих моих коллег, я не стал взбрыкивать — и ушел на творческий покой. Коллег, однако, понять можно было — не у каждого, как у меня, появилась возможность опереться на детей и не думать о хлебе насущном, особенно в 90-е годы. Они шустрили, обижались на тот самый социум, который быстренько скинул в канаву былых властителей дум и непререкаемых авторитетов. Но мне приработков особых не требовалось, жить было на что, а редких литзаказов и всяких рецензий вполне хватало на то, чтобы просто ощущать себя не вполне умершим.

Я поселился на даче в Вырице, в Питер наезжал редко, потом еще реже. А там и приглашений в жюри разных литературных премий не стало — забыли. «Зато какая у меня капуста!» — утешал я себя, обихаживая немалый — в двадцать соток — участок. Потом дети разъехались по заграницам, внуки тоже потянулись образовывать себя на английский манер. И остался я один, если не считать помощницы по хозяйству — вдовой дальней родственницы из провинции.

Приятельство с новыми соседями слегка встряхнуло меня, да и повод появился поразмышлять над тем, как влияют на частную жизнь человека внезапно приключившиеся внешние обстоятельства. Впервые меня всерьез заинтересовала тема взаимодействия, а точнее, конфликта между интересами личности и государства. Сказать по правде, ничего особо примечательного в судьбе моего дачного знакомца и не было. Программа «Максимум» и не такие повороты судьбы показывает. Но Прибалтика, известно, всегда привлекала слегка завистливое внимание русской интеллигенции. Я тоже не был исключением, и Дом творчества в Дубулты навещал не раз в былые, более хлебные годы. Иной взгляд на наши привычные и милые сердцу окраины империи — вот что удивило меня. Сама возможность *иного* взгляда — на Прибалтику, на Кавказ гостеприимный. Конечно, я так же, как и все, возмущался порою, сидя у телевизора, всякими неустройствами в Грузии или Эстонии. Но меж тем, в глубине души, мое отношение к прибалтам или кавказцам, коих немало было среди прошлых литературных коллег и приятелей, оставалось по-прежнему добрым. Не мог я поверить, что все то, что иногда с наигранной страстностью обличали телевизионные комментаторы, вспоминая по случаю о Риге или Тбилиси, — серьезно. *Это* меня не касалось. А вот старые воспоминания о «-Юрас перле» грели до сих пор.

Не то что ненавидеть — просто не любить *их* или относиться

с недоверием к грузинам, латышам, эстонцам — образованному русскому человеку всерьез невозможно. И тут такой поворот — Иванов ведь мне не просто неприязнь свою к национальным республикам постсоветским выказывал. Он ведь стройную систему отношений выстраивал — систему, в которой были отнюдь не одни эмоции оскорбленного «предательством младших братьев» русского человека. Нет! В этой системе непривычного для меня мировоззрения главное место занимали Россия и русский народ, а вовсе не Латвия или там Украина. Весь окружающий Отечество наше мир служил Иванову лишь доказательством необходимости России и русским *меняться!* Меняться *самим,* а не пытаться изменить латышей или англичан и всяких прочих шведов! Валерий Алексеевич не латышей порицал за национализм или несправедливость к русским, вовсе нет! Он русских и себя самого порицал за *неадекватность* отношения к себе и к окружающему Россию миру! «Любовь нельзя купить! — восклицал сосед страстно. — Не купили ведь ни латышей, ни казахов, но теперь снова пытаются подкупить, только уже татар, ингушей да якутов. А любовь за деньги все равно не купишь!»

Это было немного непривычно. Это вызывало любопытство и желание разобраться во взглядах «марсианина», живущего в деревянной избушке по соседству. Тем более что сам-то Иванов в марсианах числил не себя с Катей, а скорее меня.

В тетрадке, забытой у меня соседом и так и не востребованной, вычитал этой ночью.

За твои зеленые глаза,
За твою улыбку надо мною,
За слова, что не успел сказать
Прошлым летом, но скажу зимою…
За венчанье наше, за детей,
Имена которых уже знаем,
За простую свадьбу без затей,
За шалаш, который был нам раем,
За медовый месяц без забот,
За десятки лет такого счастья,
Чтобы клинило всегда улыбкой рот,
В этот первый в новом веке год
Выпью за тебя в последний раз я.
Если это будет не с тобой,
Если ты останешься навеки
В прошлой тыще лет и в прошлом веке,
Я переживу и эту боль…
Ты роса на полевых цветах,

Ветра вздох в предчувствии рассвета.
Я держу письмо твое в руках.
Я приду.
Скажи мне только, где ты?

Откуда вот это в нем — такие сентиментальные стихи и такая политическая жестокость?

Глава 9

«Восстановим органы власти Латвийской Советской Социалистической Республики!» — под такой шапкой вышел очередной, майский номер «Единства». Там же, на первой полосе, фото с очередного многолюдного митинга — крупным планом плакат:

«Поддержим любого руководителя, который наведет порядок в стране и защитит идеалы социализма!»

— Вот так, значит, — хмыкнул Иванов. — Любого, значит…

«Эх, Володя, Володя. — помянул он про себя недобрым словом приятеля — редактора «Единства» Рощина. — Что ж ты идешь по самому легкому пути-то, а? «Любой» у нас уже есть — с отметиной на лысине. Тебе, Володя, мало?!»

Декларация о независимости Латвии, как и ожидалось, была принята на первом же заседании нового состава недавно избранного Верховного Совета республики. И хотя выборы прошли с грубейшими нарушениями, что не смог не признать даже Верховный Совет СССР, результаты выборов были оставлены без изменений. Так, наплевав на всяческое соблюдение Закона о выборах, строящий «правовое государство» НФЛ стал *властью* явочным порядком. С одобрения Москвы, конечно. С разрешения Москвы, если быть абсолютно точным в формулировках. И теперь в Латвии повторение Литвы в полном объеме и даже больше…

4 мая 1990 года, в день провозглашения Декларации о независимости, сразу после митинга, состоявшегося утром на Домской площади, колонна демонстрантов-интерфронтовцев попыталась пройти к расположенному неподалеку зданию парламента, чтобы вручить депутатам принятую участниками митинга резолюцию. Возле церкви Екаба дорогу колонне преградила милиция. Милицию можно было понять, она пыталась предупредить столкновение интерфронтовцев с боевиками НФЛ, сразу после выборов «застолбившими» пятачок у здания Верховного Совета и не подпускавшими туда пикетчиков ИФ и вообще никого, кто не симпатизировал бы новой, только что «избранной» власти. Русским теперь силой пытались воспретить появляться у здания Верховного Совета и высказывать свое мнение о происходящем в республике.

Милицейская цепь была смята (потом этот момент неоднократно показывали по Латвийскому телевидению), и интерфронтовцы быстро продвинулись к той площадке между собором Екаба и парламентом, где находится главный вход. Там русских снова встретила милиция. Две шеренги милиционеров

тоненькой, изогнутой прокладкой колебались вместе с толпой, зажатые между боевиками НФЛ и интерфронтовцами.

Валерий Алексеевич вместе с корреспондентом «Единства» Островским оказались в одном из первых рядов. Плотно зажатые людьми, они пытались отыскать рядом хоть кого-нибудь еще из активистов Движения, но все, очевидно, оказались блокированы где-то посередине узкой улочки, ведущей от Домской площади к парламенту. Иванов остался без одной туфли, на задник которой наступил кто-то из шедших следом; потом был очередной рывок напирающих с площади демонстрантов, и тех, кто оказался в узком горлышке улицы, буквально стало выпирать на стены, на полкорпуса приподнимая над толпой, растирая о шершавые бока средневековых зданий. Туфля осталась где-то там, на булыжнике мостовой, а сам Валерий Алексеевич чудом прорвался вперед, чтобы хоть как-то попытаться управлять массой разъяренных давкой людей. Тут-то и прибило к нему Островского.

Хуже всего приходилось милиционерам. Сзади их подпирали энфээ-ловцы — специально отобранные спортивные парни с короткой стрижкой. Видно было, как топорщились у них под одеждой самодельные «бронежилеты», выпирали из рукавов, или со спины, или из-за воротников (кто где прятал) концы арматурин. Спереди на милицию в обычной повседневной форме, через одного потерявшую фуражки, напирали здоровые мужики — докеры, рабочие рижских заводов, даже офицеры, присоединившиеся утром к митингу Интерфронта и Объединенного совета трудовых коллективов. Кое-где через головы милиционеров вспыхивали порой короткие стычки. Со стороны, как потом увидел это Иванов на пленке, отснятой Васильевым, казалось, что сражаются не люди, а их знамена.

Красно-бело-красные флаги в руках латышей, кучкой сгрудившихся со стороны Верховного Совета, пытались порой предпринять контратаку, клонились вперед, давили на милицию с удвоенной силой. Это давление передавалось зажатой между стенами узкой улочки интерфронтовцам, доходило до конца горлышка импровизированной «бутылки», и тогда основная масса русских, не поместившихся в «горлышке» и подпиравших своих со стороны Домской площади, вдруг улавливала это мгновение и с криком напирала вперед. Тогда уже красные с бело-голубой волной флаги Латвийской ССР приходили в движение и продвигались на несколько шагов, тесня энфээловцев, сжимая в лепешку и тоненькие шеренги милиционеров, и свои же первые ряды. Боевикам уже некуда было деться на маленьком пятачке у входа в парламент, но к ним тоже подбегали дворами, с другой стороны Вецриги, свежие силы и опять напирали на русских.

Около часа продолжалось это давление друг на друга. Интерфронтовцев было больше, но латыши были зажаты на своем пятачке, как пробка в горлышке, и никак не могли отступить, иначе бы они просто упали и были растоптаны.

Наконец, поняв, что давить бессмысленно, противоборствующие стороны немного успокоились и некоторое время просто стояли друг против друга, тесно забив все узкое пространство между Домской площадью и Верховным Советом. Наши то скандировали «Фашизм не пройдет!», то пели русские и советские песни. Латыши заунывно тянули «Dievs, sveti Latviju!» или пытались переорать интерфронтовцев криками: «Вон из Латвии!» Иванов с Островским переглянулись. Ситуация становилась нелепой — стоять так можно было до вечера — пора было принимать решение. Никого из организаторов митинга, того же Сворака хотя бы, рядом не оказалось, а Иванов здесь был совсем с другой целью. Но видно было, что люди уже подостыли и растерялись от бессмысленного теперь стояния. Необходимое давление на Верховный Совет было оказано; что можно было сделать сегодня, то было сделано. Дальше — только взрыв, штурм, дальше уже можно было только идти напролом. Но стихийный, неподготовленный штурм повредит делу, значит, пора командовать «отбой». В любом случае отходить надо было организованно, чтобы не возникло паники или чувства проигрыша поля боя.

Перекинувшись парой слов, Иванов с Островским начали готовить людей к развороту. Валерий Алексеевич с трудом вытащил из кармана удостоверение члена Президиума ИФ и, развернув, показал его стоящему неподалеку с мегафоном в руках майору-ракетчику, хриплым сорванным голосом выкрикивавшему какие приходили на ум лозунги. Майор недоуменно и недоверчиво посмотрел на Иванова. Стоящий ближе к военному Островский прокричал надсадно, кивая на Валерия Алексеевича: «Президиум Интерфронта! Передайте всем — мы добились своей цели на сегодня.» — посмотрел растерянно на Иванова, тот подхватил: — «Через пять минут мы организованно разворачиваемся и уходим! Организованно разворачиваемся и начинаем движение! Уходим организованно! Сегодняшний митинг окончен!» Майор расслышал наконец, еще раз оценивающе посмотрел на Иванова с Островским, поверил полномочиям и сам с трудом развернулся в тесной толпе. Поднял мегафон и начал кричать, обращаясь к русским: «Товарищи! Наш сегодняшний митинг закончен! Мы показали свое несогласие с решениями нового Верховного Совета, и депутаты не могли не услышать нас! Мы еще придем сюда завтра! А сейчас все

организованно разворачиваются и спокойно расходятся с митинга! Главное, спокойно и организованно!» Толпа задышала и со вздохом облегчения начала неторопливо двигаться.

Майор вопросительно глянул на Иванова, тот поднял вверх большой палец. Отхлынули назад, расцепились с интерфронтовцами и помятые милиционеры, и боевики НФЛ. Сразу стало появляться место, чтобы развернуться и начать движение. «Латвия — наш общий дом!» — крикнул Иванов, пытаясь заглушить радостное улюлюканье изнемогших энфээловцев, понявших, что русские наконец уходят. Его тут же поддержали Островский, потом майор с мегафоном, потом все стоявшие рядом, и наконец вся масса интерфронтовцев развернулась и под оглушительный этот лозунг организованно двинулась в сторону Домской площади, откуда и стала расходиться по рабочим местам — поскольку день-то ведь был не выходной.

Сворак с Прокопенко и Мильчем встретили Иванова и Островского у начала улицы Смилшу, вытекавшей с Домской площади.

— Живы? Здоровы?

— А что нам сделается? — пробурчал Валерий Алексеевич, тщетно пытаясь найти пояс на своем коротком плаще. Он попрыгал на одной ноге в уцелевшей туфле: — Босиком вот только домой идти придется!

Игорь Островский при этих словах внимательно осмотрел свои щегольские черные полуботинки с оттоптанными, смятыми носами, задумчиво похлопал по нагрудным карманам модной кожаной курточки, с которых исчезли куда-то фирменные пуговицы и бляшки.

Петрович засмеялся возбужденно:

— Ну, это не самая страшная потеря! Это не вы народ развернули?

— А что, не надо было? — забеспокоился Островский.

— Все правильно, самое время уходить. Да нас вот заперло в середине, не докричаться было вперед, хорошо хоть вы сообразили.

— Пойдем, тезка, поищем твою обувку, — предложил, потирая раннюю лысину, Валера Прокопенко — председатель Пролетарского районного совета ИФ.

— Фиг там что найдешь, — отмахнулся Иванов. — Да и позориться не хочется — ходить обувку собирать. Ты меня, Григорьич, лучше на своей машине докинь до дому, а то не ехать же в одном ботинке на трамвае через весь город. — Все дружно засмеялись.

— Так что, приняли декларацию?

— Приняли, сволочи! Уже празднуют по всем каналам радио и телевидения, — мрачно пробасил рыжий, кудрявый Мильч.

— Ничего, Валера, мы им еще устроим Кузькину мать и кое-что еще! — утешил Сворак, выразительно разминая короткие сильные пальцы, сжимая их в крепкие кулаки.

Покурили, посмотрели, как расходится народ с площади, послушали, о чем говорят люди, и двинулись на Смилшу, 12…

Пошла первая неделя пока еще «декларативной» «независимости».

Иванов попросил у секретаря чаю, пил стакан за стаканом, курил и просматривал свежие газеты — центральные, республиканские, западные, какие смогли ему достать.

Петрович не мешал — занимался своим делом — как упругий каучуковый мячик катался из кабинета в кабинет, беспрестанно осаждал телефон, вызывал к себе руководителей районных советов Интерфронта. Нужно было достать машины, наладить звуковое оформление предстоящей череды митингов протеста, проинструктировать рабочую гвардию и интербригады, охранявшие мероприятия ИФ, нарисовать плакаты, заказать новые флаги Латвийской ССР и транспаранты, скоординировать действия с ОСТК, Советом ветеранов, коммунистами и военными, подать своевременно заявки в горсовет, пошептаться со своими людьми в управлении милиции — дел было невпроворот.

Такая же кутерьма царила во всех кабинетах на Смилшу и в помещениях районных советов. Алексеев с Лопатиным пропадали на совещаниях в Совете трудовых коллективов, в здании ЦК, во фракции «Равноправие» Верховного Совета. Впрочем, Алексеев не стал вступать во фракцию партийных и прочих депутатов, провозгласивших себя оппозицией энфээлов-ской фракции большинства. Алексеев объявил себя независимым депутатом от Интерфронта и не собирался, как он выразился, «пачкаться» во фракции соглашателей, хотя многих депутатов от созданного на днях «Равноправия» Интерфронт и поддерживал вынужденно в период выборов. Разногласий с республиканским ЦК после разделения компартии на «независимцев» и сторонников платформы КПСС, возглавляемых бывшим председателем Рижского горисполкома Рубиксом, у Интерфронта не убавилось. Скорее наоборот. Разделение на «горбачевцев» и противников «умеренной демократизации страны» стало особенно жестким. Уже всем становилось понятно, что те, кто не с Интерфронтом и не с националистами, те, кто посередине — в «болоте» (пользуясь ленинской терминологией), все равно рано или поздно «определятся» в сторону НФЛ и новой власти. Но за это время

принесут еще много вреда, запутывая людей и пудря им мозги имеющейся еще якобы возможностью какого-то *согласия.*

Валерий Алексеевич не вмешивался в кипучую деятельность других членов Президиума, у него и своей работы хватало, всегда почти тихой, кабинетной. Вот и сейчас он не торопясь, с карандашом в руке, просмотрел газеты, выпил еще чайку, перекурил и придвинул к себе маленькую немецкую пишущую машинку — оранжевую «Эрику», резко выделяющуюся на фоне казенного кабинетного интерьера. Машинку эту подарил ему один из активистов движения — пожилой немец, трудившийся в соседнем с Интерфронтом здании — он заведовал отделом в «Запрыбе». Рыбаки были конторой богатой, часто помогали движению, чем могли. Даже заседания Республиканского совета обычно проводились в их конференц-зале. Ну а добрый старик Либерт «подогнал» Валерию Алексеевичу новенькую портативную пишущую машинку. Иванов заправил в нее под копирку несколько листов и сразу начисто начал очередное заявление для прессы.

Обращение к народу Латвии

Сограждане! Мы живем в непростое время, время, требующее от каждого из нас ответственности и политического разума. В наших руках судьба Родины — нашей Советской Латвии. От нас, и только от нас зависит сейчас, как мы будем жить завтра.

Давайте забудем о сиюминутных выгодах и обратимся к здравому смыслу, которым всегда сильна была Латвия.

Все мы граждане одной страны, одной республики. Все мы любим Латвию и желаем ей только одного — процветания на благо народа. И эта любовь одинаково присуща и коренному латышу, и коренному латвийцу любой другой национальности, и не так давно приехавшему сюда по приглашению руководства республики рабочему. Главное условие этой любви и ответственности за Латвию заключается не в национальности, а в том, что человек, который трудится на этой земле — выращивает хлеб, строит дома, учит и лечит, — не может относиться к ней по-другому.

И настолько же Латвия может быть безразлична человеку, прожившему здесь всю свою жизнь, если он стремится использовать ее народ или даже пожертвовать им для того, чтобы прорваться к политической власти или удержаться у нее. Таких людей никогда по-настоящему не заботило будущее Родины… Они предавали ее и в годы фашистской оккупации, и в годы сталинизма, и в годы застоя, предают ее и сейчас.

Ведь не вопросы экономики и экологии волнуют сейчас большинство Верховного Совета республики. Нет! Громогласные

политические заверения в лучшей жизни «когда-нибудь потом» и не менее щедрые обещания — и только.

Но можем ли мы поверить нашему Председателю Верховного Совета, если за два года он так круто изменил свои политические взгляды — от секретаря по идеологии компартии Латвии до борца с «коммунистическим режимом»? Много ли мы можем требовать от его первого заместителя, при всем уважении к молодым журналистам? Способен ли реально поднять экономику наш новый премьер-министр, тоже вполне уважаемый преподаватель физики, не имеющий, однако, абсолютно никакого опыта хозяйственной работы?

А жить становится все труднее. Уже первые акты, принятые новым парламентом без совета с народом, без референдума, обернулись паникой и пустыми прилавками магазинов. Неужели не отрезвит нас пример Литвы, первой взявшей курс на выход из состава СССР и уже сейчас имеющей тысячи безработных? Неужели лучше отказаться от возможности обновления нашей жизни при сохранении крепких и постоянных экономических связей с Федерацией, ради того, чтобы, старая верхушка удержалась у власти любой ценой? И нужна ли нам. всем, свобода от Советского Союза ради кабальной зависимости от Запада?

Может, быть, кому-то кажется, что можно решить все проблемы, отдав приоритет коренной нации? Но в обществе, где царит неравенство, никогда не будет, мира. Ну что ж, давайте выгоним, «мигрантов» — строителей и учителей, рабочих и инженеров. Пусть вместо них приедут вчерашние эмигранты, из Латвии для того, чтобы, стать хозяевами наших заводов, фабрик и ферм. Это независимость?

У всех у нас один выход. Национальное согласие. Равноправие. Не болтовня, а общий труд на благо республики. Надежный партнер в экономике и в политике — Советский Союз. Решать же все важнейшие вопросы, касающиеся будущего латвийского народа, можно только одним путем — вынося их на референдум.

Республиканский совет Интерфронта

Не успел Валерий Алексеевич пробежать глазами только что отпечатанный текст, как громко и жизнерадостно зазвонил телефон. Иванов чертыхнулся и снял трубку.

— Валерий Алексеевич, здравствуйте! Рысин беспокоит!

— Добрый день, Юрий Владимирович! На ловца и зверь бежит! Как раз хотел с вами пообщаться.

— Отлично! Наши желания совпадают, а это залог успеха любой совместной деятельности.

У меня тоже есть пара вопросов, которые хотелось бы обсудить и незамедлительно.

Вы сможете к нам подойти? А то я в форме, не хотелось бы лишний раз мелькать в… общественной организации. — Рысин коротко хохотнул, споткнувшись на слове «общественной».

— Только во второй половине дня, Юрий Владимирович, раньше никак.

— В шестнадцать часов вас устроит?

— Договорились!

— Тогда — до встречи!

Иванов медленно положил трубку и озадаченно покрутил головой. То, что полковник сам просит встречи, — это хорошо. Можно будет не смущаться, нагружая его своими просьбами. Да и чего смущаться, одно дело делаем, тут не до ведомственных заморочек. Тем более что отдел спецпропаганды политуправления округа был одной из немногих служб, с которыми можно было не стесняться, обсуждая ситуацию, и не ожидать подставы. Им, наоборот, было труднее — за некоторые совместно проведенные мероприятия Рысина вполне могли упечь в Мары в лучшем случае, а в худшем — просто уволить в запас, не дав выслужить недостающих пары лет до приличной пенсии.

Ну, это все лирика. А вот то, что теперь надо было успеть подготовить и согласовать горячие материалы до шестнадцать часов, — это плохо. Опять пообедать некогда будет. Ну что, садиться опять писать? Или забежать в Минфин, напротив и перекусить у них в столовой? Нет, лучше в «Запрыбу», в буфет, по-быстрому. Да и кормят там лучше — все-таки русская контора, а то в Минфине вечно кислыми щами воняет, как будто не Министерство финансов, а латышский этнографический музей под открытым небом.

— Петрович, — обратился на ходу Иванов к присевшему наконец за свой стол, первый раз за день, соседу по кабинету, — ты никуда не уйдешь?

— А что такое?

— Меня Рысин приглашает посплетничать. Я попробую заодно решить вопрос о тираже листовок к 15-му числу и вертолетах. Заодно он и с курсантами может поспособствовать. В общем, надо готовить обещанную латышам «Кузькину мать»!

— Ты обедать? Беги, мне некогда сейчас. Но я тебя дождусь, раз так. Все в принципе решено, можешь договариваться. А насчет курсантов. сам не вылезай, обрисуй ситуацию, а уж они там не такие дураки, поймут сами, что от них требуется. А у нас одной просьбой меньше будет — меньше будем должны!

— Ну, Михаил. административный гений прямо!

— Опыт — сын ошибок трудных. Учись, студент! А я у тебя поучусь — ты мне бумажку одну составишь потом, ладно?

— Пусти тетка в дом — воды напиться, а то так есть хочется, аж переночевать негде, да и не с кем! Сунь палец в рот бывшему оперативнику.

— Бывших, Валера.

— Знаю, знаю! Через двадцать минут буду.

Спускаясь по крутой лестнице Иванов, глотая слюну, вспомнил вдруг почему-то недавнюю встречу с председателями Совмина — Бресисом и Госплана — Раманом.

Встреча была пустая, стороны изображали видимость диалога, не более того. Но зато в Совмине, за овальным столом заседаний с роскошным розарием в дырке посередине, халдеи министерские подавали такой кофе и только что испеченные маленькие булочки, что, если бы не этикет с протоколом, так бы и сожрал все, что было. А на самом деле даже не прикоснулись ни он, ни Алексеев (встреча была два на два) ни к чему, кроме кофе. «Какая только фигня не лезет в голову, когда жрать охота» — подумал Валерий Алексеевич, вышел на улицу и тут же повернул направо, к стоящему рядышком, на Смилшу, роскошному особняку «Запрыбы», куда еще не всякого и пускали обедать, хорошо, что Либерт обеспечил временновечным пропуском. Была, правда, еще пирожковая на углу, между Интерфронтом и «Запрыбой», но эти беляши с котятами пусть туристы едят. А в «Шоколаднице» или «Русской чайной», да даже и в «Дружбе», каждый день не насидишься — зарплаты не хватит. И долго опять же.

Вкусно поесть, достать хорошей водки или приличных сигарет, не говоря уже о хорошем кофе, — все это с началом перестройки стало проблемой. Но если серьезно, то *тогда* это не особо замечалось Ивановым — времени думать об этом не было. Ставки в жизни были такие, что, когда решалась судьба целого мира, талоны и дефицит превращались лишь в образы для очередной дежурной статьи. Но многие люди запомнили то время именно скучным и грустно-полуголодным. И, может быть, они были правы куда больше Иванова, летящего вместе со страной в тартарары, отчаянно машущего руками, чтобы удержать громадину, по сравнению с которой не то что он один — весь Интерфронт был муравейником на окраине горящего леса.

«Утро стрелецкой казни» Сурикова — картина для русской истории типичная. Судьба всех консерваторов — стать дровами для топки революционных перемен.

Товарищи!

Встанем, на защиту Советской власти в Латвии! Время ораторов кончилось, от слов пора переходить к делу.

Сегодня решается наша судьба. Честь и достоинство

советского человека не дают нам права спокойно отсиживаться за спинами ведущих борьбу за наше будущее. Презрением, и позором, покроют, потомки тех, кто в этот, решающий час не выступит, против контрреволюции. Мужчины, всмотритесь в глаза своих детей, матерей, жен. Можете ли вы. оставить их беззащитными?

15 мая 1990 года в 10 часов утра останавливайте фабрики и заводы, выходите на улицы города! Вместе мы пойдем к зданию Верховного Совета с требованием, восстановления Советской власти в республике. Пусть горстка предателей и политических авантюристов, решающих за нас нашу судьбу, услышит голос трудового народа!

Да здравствует. Латвийская Советская Социалистическая Республика!

Республиканский совет Интерфронта

Юрий Владимирович внимательно перечитал еще раз текст листовки и посмотрел на Иванова с укоризной. Хотел было что-то сказать сразу, но удержался. Позвал дежурного прапорщика, попросил чайку принести. Снял китель, тускло блеснувший полковничьими звездами на погонах, и аккуратно повесил на спинку стула. Подполковник, тихо сидевший в углу большого, длинного кабинета с единственным окном, выходившим аккурат на памятник Свободы, поймал взгляд Рысина и подсел поближе. Юрий Владимирович снова взял в руки листок и громко, с выражением, прочитал весь короткий текст.

— По-моему, то, что надо сейчас! — первым нарушил затянувшееся молчание подполковник. Валерий Алексеевич сидел, курил и скептически поглядывал в зарешеченное окно на очередную пару латышских старушек, торжественно несущих в трясущихся руках небольшие веночки — возлагать к подножию «Милды». До монумента от окна было метров сорок — не больше.

— Надо — это хорошее слово, с ним можно многое сделать, — усмехнулся Рысин. — Да только и нам могут за это «надо» кое-что такое сделать, что одним «звездопадом» не отделаемся!

— Юра, докладывать ведь не обязательно! Генерал сам дал понять, чтобы мы лучше поменьше ему докладывали — тогда все целее будем. — Подполковник сделал невинные глаза и сложил руки примерным учеником за партой.

— Видите, Валерий Алексеевич, у нас тут все шутки шутят, больше уже, кажется, и делать нечего, — спокойно, без раздражения отозвался на реплику сослуживца Рысин.

— Юрий Владимирович, нам еще пара вертолетов нужна будет! — так же спокойно сказал Иванов. — Разбросать листовки над городом надо к вечеру 14-го. Так, чтобы успеть до конца

рабочего дня «окучить» центр. А в спальных микрорайонах чуть позже, когда люди с работы приедут. А раньше нельзя — нужно попытаться сделать так, чтобы вечером уже времени у новых властей не оставалось рабочего на реагирование. Перед фактом ставить надо, пусть не поспят ночку — им полезно.

— Ну вот что! Вертолеты пусть Лопатин выбивает — он у вас полковник ВВС — пусть бывших сослуживцев из воздушной армии трясет — не откажут. В крайнем случае пусть в контрразведку к ним идет, там будут в курсе. Сами понимаете, у нас сейчас все по принципу — если что и делается, так это инициатива снизу, а высшее начальство ни сном, ни духом ничего не знает, не ведает. В создавшейся ситуации это в принципе разумно, лишь бы и дальше товарищи генералы не мешали, если помогать боятся.

Подполковник удивленно вскинул глаза на Рысина, дескать, не слишком ли откровенно?

— Ты, Саша, не бойся, Валерий Алексеевич у нас свой человек, лишнего никому не расскажет — себе дороже будет, — обреченно как-то выдохнул Рысин.

Иванов лишь кивнул понимающе в ответ, случись что, самому тоже мало не покажется, не только полковнику.

— Тираж привезут нам сюда к 12.00 14-го числа. Насчет бумаги не беспокойтесь, я сам найду на этот раз. Проблема только порезать. у нас два солдата всего в отделе осталось. Ну, дневального от соседей подключим, в конце концов. Но в Скулте, на аэродром, повезете сами — нашу машину светить нельзя.

— Сворак договорился с Гончаренко из горуправы милиции на его «Волгу». Она с гражданскими номерами, водитель в штатском будет. Думаю, что если полный багажник и салон сзади забить — тираж поместится.

— Хорошо, значит, это ваши проблемы. Кто поедет с листовками, вы?

— Ну а кто еще? Кроме меня и Сворака, с вами никто из наших не работает. Вместе, наверное, и подъедем.

— Я предупрежу часового в арке у входа, заедете во двор, чтобы не грузить листовки на виду у «Милды». Ворота закроете, естественно, чтобы никто не любопытствовал.

Все?

— Почти. ну, вы понимаете, что хоть мы и не оставляем латышам много времени, но за ночь тоже можно успеть что-то сделать. Наверняка они успеют какое-то количество активистов НФЛ и уж точно все рижские отряды «стражей порядка» подогнать на Екаба, к Верховному Совету. Оповещение у них хорошо работает, к сожалению. Ну а уж с самого утра

подключится радио, будут народ сгонять на защиту независимости, наверняка студентов снимут с занятий на латышских факультетах универа, хотя бы.

— Хорошо, мы с Сашей съездим в «Бирюзовку» и «Алксниса», поговорим там. вы этого хотите?

— Я этого не просил, Юрий Владимирович! — Иванов просиял довольной улыбкой.

— Ага! Я так и понял, что вы не просили, — невесело пошутил полковник. — Офицеры тоже будут, так что не переживайте зря. Вы, главное, сделайте так, чтобы фуражек было не больше, чем собранных вами рабочих!

— А вы курсантов по форме не гоните, — совсем уж обнаглел Валерий Алексеевич и тут же прикусил язык.

— Их гнать не надо, сами рвутся, — неожиданно встрял в разговор молчаливый подполковник.

— Ну и ладненько! — поставил точку на этой теме Рысин. — Теперь у меня к вам просьба. Мне нужна копия фильма «Балтийский узел, или Ложные маяки перестройки» — это ведь ваша видеостудия снимала? Причем хорошего качества кассета, чтобы сделать с нее тираж. Не возражаете насчет размножения?

— Нам потиражных не платят почему-то! — рассмеялся Иванов. — Сделаем! Только часть тиража нам подарите, договорились?

Рысин переглянулся с подполковником, тот развел руками, поскреб тщательно выбритую щеку и грустно сказал:

— Понял! Коньяк с меня. — и пояснил интерфронтовцу: — Мы тут пари заключили — потребуете вы часть кассет себе или нет Ну вот, я проиграл. — И вот еще что, — продолжил Рысин, — посмотрите, пожалуйста, вот этот документ и возможность его публикации в «Единстве».

Обращение к Президенту СССР, Генеральному секретарю ЦК КПСС, Верховному главнокомандующему Советскими Вооруженными Силами тов. М. С. Горбачеву

Мы, нижеподписавшиеся, офицеры, прапорщики и мичманы, проходящие службу на территории Прибалтийского военного округа, обращаемся к Вам. в связи со сложной, взрывоопасной социально-политической ситуацией в регионе.

Развитие обстановки ставит армию в затруднительное положение, когда она вынуждена безмолвно взирать на то, как к власти приходят антикоммунистические, сепаратистские элементы, стремящиеся разорвать страну на части, вернуть себе бывшую собственность.

Однако, прекрасно понимая, что на пути воплощения их планов реальной препятствующей силой являются Вооруженные Силы, они

развернули и наращивают яростную антиармейскую деятельность. Чувствуя свою безнаказанность, экстремисты от моральных оскорблений перешли к открытым провокационным действиям по отношению к армии и войскам КГБ.

Растет число преступных акций и хулиганских выпадов против армии. Местные власти конкретных мер по их пресечению не предпринимают. Лишение нас и наших семей ряда политических и социальных прав обостряет обстановку и создает неуверенность в завтрашнем дне.

После того как в числе беженцев оказались семьи военнослужащих из Закавказья и мы, пуская шапку по кругу, стали собирать для них нищенские подачки, у многих офицеров, прапорщиков и мичманов стало складываться впечатление, что армия не нужна государству. Увеличивается число желающих оставить ее ряды..

Существующий подход к решению наших проблем порождает кризис доверия к руководству страны, и он все шире охватывает армию.

Социальная незащищенность, ежедневный моральный террор отрицательно влияют на психику военнослужащих, снижают уровень боевой готовности.

Нас беспокоит опасное стремление возложить на армию ответственность за политические ошибки руководства прошлого и настоящего. Это стремление принимает маниакальный характер: за ошибки выдают единственно верные решения по предотвращению кровопролития на межнациональной основе. Если в дальнейшем оценка роли армии будет та же, мы сможем оказаться в неуправляемой ситуации.

Солдаты, матросы, прапорщики, мичманы и офицеры спрашивают: «Что это — недооценка ситуации, согласие с происходящим или бессилие высших эшелонов власти?»

Отсутствие твердости в действиях руководства ведет к нарастанию политической пассивности, безразличия, прежде всего среди русского населения, деморализует, армию, создает, ощущение, что Центр смирился с неизбежностью выхода республик Прибалтики из состава СССР и отдает их во власть националистически и экстремистски настроенных сил.

Настал тот момент истины, когда пора осознать, что «прибалтийская бомба» способна взорвать страну и погрузить ее в омут непредсказуемых межнациональных столкновений…

— Ну, это кажется, тоже, то, что надо, — задумчиво произнес Валерий Алексеевич, бегло дочитывая довольно пространное обращение. — Вот только. тут в конце сказано: «Более трех тысяч подписей». — Он выразительно глянул на полковника. Тот

недовольно покачал головой, встал и подошел к сейфу. Вытащил из его темного нутра толстую пачку листков с подписями и аккуратно положил на стол перед Ивановым:

— Считать будете?

Валерий Алексеевич смутился было, но быстро взял себя в руки.

— Считать не буду, конечно. Просто не мог не уточнить… для порядка.

— И совершенно правильно, между прочим, — с неожиданной улыбкой твердо произнес Рысин. — Так как, напечатаете? Я вам честно скажу

— прямо подавать наверх эти бумаги нам сейчас просто некуда. Не в ГлавПУр же, который все это отчасти и покрывает безобразие? А вашу газету кому надо и где надо все равно отслеживают тщательно. Глядишь, и наше Обращение пойдет куда надо и к кому надо.

— Это понятно, Юрий Владимирович. Конечно напечатаем, в следующем же номере.

Весело мы все живем.

— Веселей некуда, Валерий Алексеевич! Мне вот еще недавно перевод в ГСВГ предлагали, полгода уже замену жду. А теперь какая к черту ГСВГ?!! ГСВГ в ФРГ?

— Я сам там срочную служил, Юрий Владимирович. Еще недавно у меня для газеты Группы войск «Советская армия» интервью брали о нашей жизни скорбной. А теперь у них самих… Подполковник Зинченко, может, знаете?

— Знаю, встречался с ним. Хвалил вас с Алексеевым, кстати. Ладно, Валерий Алексеевич, мы вроде обо всем договорились. А дальше будет видно.

— До встречи, товарищи! — Иванов резко поднялся, пожал руки офицерам и, выйдя из здания в сумрак внутреннего двора под аркой, отечески подтолкнул зазевавшегося часового: — Открывай, воин!

Воин стрельнул сигаретку и отодвинул тяжелый засов на калитке в глухих воротах, закрывавших вход в ничем не примечательное здание рядом с кассами «Аэрофлота». Прямо перед Ивановым высилась гранитная стела с застывшей на ее вершине «коньячной женщиной», или, в просторечии

— «Милдой», держащей в вытянутых руках три золотых звезды — Курземе, Видземе и Земгале. Валерий Алексеевич матернулся вслух на «жену полковника», не обращая внимания на прохожих, и беспечно пошел себе мимо скульптурной группы у подножия памятника, заваленного цветами и венками, мимо озабоченных «Атмодой» пожилых теток и сопливых недоносков,

торгующих тут же нацистской символикой; обошел группу беспечных туристов, как китайские болванчики равномерно трясущих согласно головами в такт речи экскурсовода, впаривающего им что-то о трагической судьбе и особой боли латышской нации… оценил русских студенток в мини, звонко хохочущих над шутками своих парней, отметил усиленный наряд милиции, слоняющийся неподалеку от часов «Лаймы»; прошел сквозь сдвинувшиеся над ним ущелья Старого города и по выпуклым булыжникам, скользким после недавней грозы и теперь «мыто» — по Маяковскому блестящим на начинающем уже припекать солнышке, мимо стайки активистов Интерфронта, столпившихся у входа на Смилшу, 12, по крутой лестнице поднялся на свой пятый этаж, где его тут же остановил дежурный и отправил к Алексееву.

Глава 10

Суета, суета, суета. Встреча с рабочими на Судоремонтном заводе в Мангали оставила не то чтобы гнетущее, но какое-то удивленно-встревоженное впечатление. Все вроде бы прошло как обычно. Валерий Алексеевич проинструктировал представителей Интерфронта, участвовавших в мероприятии, потом все разошлись по цехам. Иванов поднялся на импровизированную трибуну — одну из площадок железной лестницы, ведущей под крышу огромного здания, в котором еще недавно все гремело, стучало, шипело, визжало. И вдруг, разом, затихло. Рабочие не спеша, с чувством собственного достоинства, стали собираться вокруг интерфронтовца. Рассматривали с любопытством, кидали, не скрываясь, оценивающие взгляды. Очевидная молодость оратора никого не удивляла, все старались почувствовать внутреннее настроение Иванова — с чем пришел? Боится или, наоборот, рабочие для него пустое место? Валерий Алексеевич спокойно рассматривал подходящих мужиков — разных по возрасту, по мастерству и авторитету среди товарищей, но одинаковых в своей непоколебимой самооценке: мы — соль земли, как *мы* скажем, так перестройка и пойдет.

Выждав, пока они откашляются и закончат переговариваться, Иванов кивнул стоящему неподалеку от него начальнику цеха. Тот скороговоркой представил Валерия Алексеевича.

Иванов не стал затягивать паузу. Кратко обрисовав политическую ситуацию в республике и в Союзе в целом с точки зрения Движения, он, почувствовав настроение аудитории, с ходу начал сам задавать вопросы рабочим, чтобы выговорились. Из задних рядов тут же выдвинулся вперед маленький, бойкий мужчинка в тщательно пригнанной по фигуре спецовке, аккуратный до щегольства, вплоть до начищенных рабочих ботинок и снежно-белых брезентовых рукавиц, которые он держал в правой руке, пользуясь ими, как флажком, для ритмической отмашки после каждой своей резкой фразы. «Демократ наш местный», — шепнул из-за спины Иванову начальник цеха.

— Не надо нас пугать независимостью, — выбежав вперед и обернувшись к рабочим, затараторил мужичок. — Мы, рабочие, нужны будем всегда, при любой власти! Мы сами, своими золотыми руками производим материальные ценности! Инженеры и прочие бездельники присылают к нам агитаторов за советскую власть! Не надо нам агитаторов, поскольку мы, рабочие, и есть та самая советская власть! И нам самим решать, какой быть этой власти!

Пусть итээровцы боятся потерять работу — и правильно боятся, потому что у нас над каждым работягой по инженеру сидит! А если мы возьмем власть в свои руки, то будем получать валютой за свой труд столько, сколько он стоит, и жить так, как живут квалифицированные рабочие во всей Европе! Какая нам разница, кто будет хозяином нашего завода — конкретный собственник или безликое государство якобы трудящихся? Мы — основа всего! Мы должны иметь право работать столько, сколько хотим, и зарабатывать столько, сколько можем! Нас давно достали дурацкие ограничения, при которых даже если ты хочешь, то тебе не дадут стать богатым!

Люди загудели, кто одобрительно, кто насмешливо — поднялся шум, все заговорили разом.

— Товарищи! — Учительская привычка форсировать голос, когда нужно, не подвела Иванова, и все на минуту угомонились. — Товарищи! Тут предыдущий оратор очень интересную тему поднял, насчет того, что ему, рабочему, не дают стать богатым! Руки у него золотые, но вот инженеры зажимают — не дают ему валюты за его высококлассную работу! — Среди рабочих пошли гулять смешки, видно, попал Валерий Алексеевич в какую-то болевую точку. — Мне вот что интересно, а хозяин, о котором так мечтает этот господин, товарищем его даже называть неудобно — обидится, наверное. А хозяин завода откуда возьмется? И кем он будет? И почему, собственно, хозяин должен быть заинтересован в том, чтобы его рабочий стал богатым? Хозяин этот что, делиться с ним будет, что ли? — Иванов обвел взглядом лица насторожившейся аудитории. — Ну, пусть даже так! Хозяин будет платить больше, чем сегодня государство платит рабочему, правда, почему, я так и не пойму. Но пусть так! Но будет ли этот хозяин гарантировать рабочим все то, что сегодня так привычно стали ругать: право на труд, на жилье, на бесплатное медицинское обслуживание и бесплатное образование, вплоть до высшего? Право на отдых, в конце концов. Право на получение зарплаты по коллективному договору вовремя и в срок? Мы все время говорим, подзуживаемые демократической прессой: нам не нужны *такие* социальные гарантии! Нам не нужно *такое* бесплатное жилье! Нам не нужно *такое* бесплатное образование! А какое нам нужно? Платное? Или все-таки бесплатное, но хорошее, на порядок лучше, чем сейчас?

ИТР нам не нужны. Директора будем выбирать! Но ведь все это уже было, товарищи! А потом, когда разогнали или даже расстреляли своих инженеров — иностранных специалистов стали приглашать! И заново, с огромным трудом, растить свою техническую интеллигенцию, тех же инженеров, конструкторов,

ученых! Зарплаты. Кто из рабочих на вожделенном для многих сегодня Западе получает в два, а то и в три раза больше инженера или конструктора, как вы сегодня? Кто там и кого *выбирает* на частном предприятии? Хозяин — наемного работника, а не наоборот. Да еще по принципу — получше, но подешевле! И водки там не попьешь, чтобы в понедельник на смену чуть живым прийти, и каждые пять минут перекуривать тоже не станешь! Да и отпуска оплачиваемые — две недели — максимум! Я это не к тому говорю, что пьянство беспробудное по выходным или бесконечные перекуры и чаепития на работе одобряю… Я это к тому, что выражение «потогонная система» осталось пока что в прошлом у нас. И это очень хорошо, что в прошлом! Потому что, поработав так, как большинство каких-нибудь японцев, вы бы по вечерам на диване, под телевизор, чтением газет и журналов не баловались бы и в политические дебаты тоже не вступали! А собирались бы на забастовку, если вам разрешат, только с одной целью, хоть на копейку, но отстоять свою зарплату, потому что иначе просто не выжить. Это все сейчас для вас пустые слова. Но хотите ли вы, чтобы завтра они и вас касались? Или вы думаете, что при капитализме у нас будет все так же, как при советской власти, только гораздо лучше? Так не бывает! Чем-то придется жертвовать! Отказавшись сегодня от всех социальных завоеваний трудящихся, завтра вы их так просто назад не вернете.

А те самые «никому не нужные» бесплатные образование и медицинское обслуживание, жилье и многие другие вещи стоят на том же самом Западе столько, что позволить их себе большинство населения может, только влезая в долги перед банками на всю оставшуюся жизнь, да еще и внукам остается — расплачиваться. А когда такие долги по кредитам у семьи, то потом на работе не то чтобы своих итээровцев «никчемными» назвать, косо посмотреть на начальника побоишься. Потому что, оставшись без работы — кредит выплатить не сможешь. А значит — ни медицинской страховки, ни домика, закладная по которому не оплачена, ни автомобиля и бытовой техники, набранных в кредит, — ничего не будет! Иди и вешайся! Или — молчи! Такой свободы и такого богатства вы хотите, товарищи?

— Ты нам передовицы «Правды» тут не зачитывай! — снова обрел голос потерявшийся было и отступивший обратно в толпу мужичок в белых рукавицах.

— Я вам не передовицы «Правды»… Я вам просто правду говорю, которую вы все и сами без меня знаете, только вот забывать начали почему-то, наслушались, видно, сказок о райской жизни в буржуазной Латвии!

С чего вы решили, что судостроительный завод, на котором

одни почти русские работают, новое правительство вообще не закроет? НФЛ прямо заявил: «Нам не нужно столько производства в Латвии! Мы будем закрывать все союзные предприятия, потому что на них слишком много мигрантов и колонизаторов, понаехавших в нашу маленькую республику!» Вы не слышали, наверное, что РАФ на полном серьезе планируют перевести на производство плугов для частных фермерских хозяйств? Что наш Совмин готов разорвать экономические связи с остальным Союзом и особенно с Россией? Или у вас смежников нет, все комплектующие сами у себя на заводе производите? А если даже так, то где сырье берете для литейного? А станки? На Западе покупать будете? Сами, рабочим коллективом? А на чьей земле ваше производство стоит? Кто сказал, что у завода ее не отберут и не возвратят довоенным владельцам? Вместе с квартирами вашими, кстати.

Вот вы, господин хороший, где работать собираетесь и на что жить, если завод закроют? А, на другом заводе? А если и его закроют? А как у вас, кстати, с латышским языком, который хотят сделать единственным языком общения в государстве и с государством? Ах, научитесь! Ах, переквалифицируетесь?! В кого же, если не секрет? В управляющего банком, наверное? Вы куда, господин?!

Мужичок юркнул за спины рабочих и растворился в полумраке огромного цеха.

Иванов поднялся на пару ступенек повыше и, уловив перемену в настроении собравшихся, стал заканчивать встречу — надо же рабочим время и на обед оставить.

— Товарищи! Многое вопросов сегодня жизнь перед нами поставила. И вопросы эти такие, что не на каждый так сразу и ответишь. Но нельзя же забывать об обыкновенном здравом смысле, которого вполне достаточно, чтобы не поддаваться на провокационные или просто глупые заявления тех людей, которые усиленно вдалбливают нам в голову необходимость срочного, немедленного и кардинального изменения всей нашей жизни. Нам обещают, что изменения эти обязательно будут только к лучшему! Но оглянитесь вокруг, товарищи! Ваш завод уже испытывает трудности с поставкой запасных частей и вообще материалов — раз. Но скоро они и не понадобятся, поскольку заказов становится все меньше — два. Впервые за всю историю завода начались задержки с выплатой заработной платы — три. Деньги обесцениваются, и купить на них даже по талонам уже нечего — четыре. На юге нашей огромной страны уже гремят выстрелы и льется кровь. У нас половину населения стравливают с другой половиной по национальному признаку! Выборы прошли

с вопиющими нарушениями, только обманом, и никак иначе НФЛ получил большинство в Верховном Совете Латвии! И тут же в одностороннем порядке была принята декларация о независимости Латвии — это значит, о выходе республики из состава Советского Союза! Чем это грозит всем нам, мы только что говорили об этом. Но на самом деле проблема гораздо шире и серьезней! Речь сегодня идет не только о ваших рабочих местах и достойной оплате труда. Речь сегодня идет о том, что вас, и меня, и сотни тысяч других людей, отдавших свой труд, силы, жизнь на благо Советской Латвии, хотят превратить в людей второго сорта или добиться того, чтобы мы были вынуждены уехать из Латвии. А куда? В чисто поле? Как нашу армию сейчас выводят из Германии?

Казалось бы, логично, если в стране наступили трудные времена, значит, надо все менять. Но посмотрите вокруг, вспомните, как мы жили еще три года назад — разве так мы жили? Почему вместо наведения порядка в стране, сплочения ее граждан для решения первостепенных, насущнейших, жизненно важных задач мы ищем выхода в очередном «разрушении до основанья»?! Кому захотелось новых революций и гражданских войн? Неужели все уже забыли, какую цену заплатили наши деды? Неужели забыли про десятилетия кровавых потрясений и разрухи? Хотим жить лучше, а для этого начинаем разрушать все, с таким трудом построенное и восстановленное! Разве это нормально?

Демократия, правовое государство, гласность, открытость — замечательные слова! Но сравните значения этих слов с тем, что скрывается сегодня за этими словами на деле!

Правовое государство оборачивается абсолютным правовым нигилизмом — беззаконием, проще говоря! Демократия — превращением русских в людей второго сорта с восторженного одобрения западных правозащитников! Открытость — неприкрытым вмешательством во внутренние дела нашей страны западных эмиссаров и советников, уже начинающих хозяйничать здесь, как в своей колонии! Гласность обернулась мутными потоками лжи, героизацией эсэсовцев, национальной нетерпимостью, пошлостью и порнографией! Независимость, даже только продекларированная, уже привела к повсеместным нарушениям основных прав граждан и резкому падениею уровня жизни всего населения! И это только начало! Сейчас в ходу разного рода анекдоты, которыми не брезгует и центральная пресса. Напомню старую шутку о том, что для того, чтобы выиграть битву за урожай, надо сначала героически создать себе трудности. И лишь потом их героически преодолеть! Не это ли

самое мы и делаем сегодня, товарищи? Разрушаем жизнь свою и своих детей, для того чтобы потом несколько поколений наших потомков заново отстраивали разрушенное предками в пылу перестроечного зуда?!

Сиюминутные и сомнительные выгоды против стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Что выберете вы, товарищи? Будьте готовы по первому призыву Интерфронта выйти на защиту собственной жизни и человеческого достоинства, на защиту нашей великой страны, которую уже начали разрывать в клочья! Решение нового, обманом и подтасовками протащенного Верховного Совета о выходе Латвии из состава Советского Союза — незаконно! И в нашей воле не дать ему воплотиться в жизнь! Я верю в ваш здравый смысл и солидарность с Интернациональным фронтом трудящихся! Спасибо, товарищи! — Валерий Алексеевич взмахнул рукой и стал спускаться с лестницы, послужившей ему трибуной.

Жидкие аплодисменты после короткой паузы окрепли, перешли в одобрительный гул, и рабочие, переговариваясь о наболевшем, отправились обедать. Несколько человек окружили Иванова, со смехом рассказывая ему о кладовщике инструменталки, который так рьяно изображал из себя «судостроителя с золотыми руками». Минут через пять Иванов вырвался из круга и, провожаемый довольным начальником цеха, вышел на улицу, прямо к причалу на берегу Даугавы, рядом с притулившимися к стенке на ремонт судами. Огромные сухие доки с левой стороны, где обычно всегда кипела работа, стояли полупустыми. С наслаждением закурив, Иванов вздохнул, недовольный собой, своей дежурной речью, невозможностью говорить откровенно нигде, даже в заводском цеху, среди таких же, как он, русских людей. Слишком сложные возникли проблемы у государства, и, главное, оно создало их само, так что приходилось одновременно и защищать страну, и обличать тех, кто страной руководил. Поди — попробуй!

Пожилой начальник цеха дружески похлопал его по плечу:

— Я вначале думал, порвут вас на куски, народ у нас — палец в рот не клади, особенно в последнее время. Воду мутят многие, и избавиться от них нельзя — сразу жалуются в латышскую прессу да на телевидение, тормозят, мол, на заводе перестройку! Ячейка НФЛ у нас тоже есть, но маленькая, погоды не делает… пока. Но зато у них поддержка министерства — хоть вся ячейка — три человека с хвостиком, из тех, кто на всякий случай подстраивается, не зная, чья возьмет.

— Люди есть люди, Антон Петрович! А обедом покормите? — не стал углубляться в общие для всех трудовых коллективов

проблемы Валерий Алексеевич.

— Пойдемте в «Грибок», там как раз все ваши собираются.

В заводском кафе-столовой, и вправду круглом, похожем на грибок, уже сидели Сворак, Мошев с Прокопенко и Мильч, успевшие закончить свои встречи в цехах немного раньше. Быстро перекусили, наскоро обменялись мнениями и на заводском микроавтобусе отправились на Смилшу, день еще только начинался, честно говоря.

Иванов со Свораком устроились на заднем сиденье — пошептаться.

— Ну что, Валера, пойдет народ завтра, как оцениваешь?

— Начальник цеха обещал намекнуть своим рабочим, что препятствовать выходу на митинг не будет и прогулов не засчитает. А рабочие при такой постановке вопроса пойдут обязательно, хоть и не все. Мужики здоровые, лишними не будут, однозначно.

А у тебя как?

— Да примерно так же. Пытались было местные энфээловцы воду мутить, так их сами же рабочие вытолкали. А в целом народ созрел.

— Ну хорошо. Сейчас уже первый час, нам бы отзвониться Рысину и Гончаренко по поводу листовок — время «Ч» подходит. Кстати, я Алексеева так и не видел со вчерашнего дня, ты успел его подготовить?

— Он с утра в Верховном Совете, я его не застал до завода. Ну да ничего, прорвемся, как-нибудь, либо грудь в крестах, либо.

— Либо как всегда… Умеешь ты, Петрович, обнадежить, — усмехнулся Иванов.

Черная «Волга» заместителя городского Управления внутренних дел с неприметным водителем в штатском ждала интерфронтовцев на бульваре Райниса. Быстро сев в машину, Иванов первым делом спросил про багажник.

— Освободил максимально, — лаконично ответил неразговорчивый водитель.

— Хорошо. Тогда едем к кассам Аэрофлота. Следующее, в сторону вокзала здание — под арку.

— Там знак стоит вообще-то. — пробурчал водитель, но вдаваться в подробности и спорить не стал. Во-первых, с его машиной ему на знаки вообще плевать, во-вторых, Николай Степанович велел лишних вопросов товарищам не задавать, отвезти куда скажут и привезти обратно. Вот и все. Да, еще любой ценой уйти от досмотра, даже если придется показывать служебное удостоверение. Надо так надо, наше дело маленькое.

Но все обошлось. Едва «Волга» свернула сразу после

перекрестка налево, на тротуар, как ворота в арке сразу распахнулись, пропуская машину внутрь. Как только часовой прикрыл створки, не закрывая их на засов, Иванов со Свораком вышли из машины. Рысин встретил интерфронтов-цев на ступеньках и тут же показал маленькую комнату слева от входа, в которой двое солдат заканчивали нарезать последнюю пачку листовок. Ручной резак напоминал гильотину, и так и хотелось подсунуть под него палец, посмотреть, что будет.

Без лишних слов перетаскали все в машину, а то, что не поместилось в багажнике, запихали в салон, прикрыв сверху заранее приготовленными плакатами филармонии. Простились с полковником и поехали в Скулте — военную часть Рижского аэропорта. Там их уже ждали, машину на КПП пропустили, просто глянув на номера. Долговязый прапорщик-авиатор подсел в «Волгу», кое-как уместившись среди расползающихся пачек, и показал дорогу к вертолетной стоянке. От приглашения «полетать за компанию», поступившего от разбитного капитана — командира одного из экипажей, интерфронтовцы отказались — в этом случае пришлось бы фиксировать фамилии в полетном задании, а это было ни к чему. Согласовали еще раз время и места сброса листовок, пожали крепко руки друг другу, и повеселевший водитель, уже решивший было, что «катать» «командированных», как отрекомендовал ему интерфронтовцев подполковник Гончаренко, придется до ночи, резво тронул машину с места и погнал в Ригу.

Широкое Юрмальское шоссе гладко стелилось под колесами. Сгустившийся внезапно туман мягко обволакивал автомобиль, влажно обтекал запотевшие стекла. С лету проскочили виадук, слегка притормозили на перекрестке на Слокас и снова набрали скорость перед выездом на Ванто-вый мост. Здесь, не доезжая высотки Дома печати, начиналось любимое место всех рижан — начинала открываться удивительная панорама Старой Риги. Она вырастала навстречу движению машин, приближалась, показывала себя с разных сторон, поворачиваясь горделиво боком, вытанцовывая над синей полосой Даугавы, поблескивая в хорошую погоду золотом петушков на шпилях соборов, зайчиками окон в Рижском замке, кокетливо поправляя над собой прическу из низких кудрявых облаков и, так же внезапно, как появлялась, пропадала, едва машина переезжала на правую сторону Двины и втягивалась в узкий створ у бывшего Русского театра.

Туман остался на Юрмальском шоссе, в Риге уже снова начало поблескивать в просветах неба майское солнышко. Мужчины переглянулись удовлетворенно, погода начинала уже

беспокоить — слишком низкая облачность могла сорвать все планы.

— У Пороховой башни нас высадите, — попросил Михаил водителя. Тот кивнул, притормозил плавно и, не оборачиваясь, буркнул:

— Удачи!

Иванов посмотрел на часы — до расчетного времени оставалось минут сорок.

На верхушке «бастионки» засела компания молодежи, пришлось спуститься вниз с другой стороны и обойти почти весь парк в поисках свободной скамейки. Весна оставалось весною — влюбленные парочки, молодые мамы с колясками заполнили все любимые места. Только на другой стороне улицы, в укромном закутке у цветущей сирени на берегу Городского канала, перед Оперой, никого не было. Там и присели в ожидании гула вертолетов в прояснившемся небе.

Иванов, как всегда, курил сигарету за сигаретой. Сворак разгонял рукой сиреневый дымок, но, против обыкновения, не раздражался. Молча разглядывал, как в первый раз, изгибы мостиков над каналом, ажурные решетки и фонари, бронзовую обнаженную девушку напротив, на том берегу канала, раскинувшую руки навстречу солнышку. У подножия статуи собралась стайка уток, дети кормили их белым хлебом, смеялись, бегали друг за дружкой по ярко-зеленому газону, не обращая внимания на пытавшуюся их утихомирить мамочку, стоящую на дорожке и не рискующую гнаться за малышами по свежей траве.

Как ни ждали этого момента, а все равно не уследили! Вертолет внезапно взревел на низком крутом вираже прямо над головами и пошел вверх, на второй круг, оставляя за собой, как стаю голубей, целое облако порхающих в воздухе, переворачивающихся, трепещущих листовок. Еще один заход, еще, теперь уже над самым Верховным Советом, потом над деловым центром, вдоль улицы Ленина и дальше, удаляясь к новым районам.

Первый вертолет уже улетел, а листовки еще только начали опускаться на землю, застревать в свежей листве, метаться на легком ветерке по асфальту и газонам, соскальзывать с островерхих крыш и причудливых балконов старых зданий.

Вот и на окружавшую интерфронтовцев сирень спланировала парочка белых «голубей», потрепетала там немного и замерла, в ожидании, пока Иванов не протянет руку к собственному творению. Так же неожиданно появился вдруг второй вертолет, сделал заход на центром и удалился в сторону Иманты.

Горожане наклонялись, собирали листовки с земли, ловили

их на лету, передавали друг другу. Одни воровато засовывали листовку в карман — прочитать потом дома, чтобы никто не увидел отношения к написанному. Другие тут же останавливались и впивались глазами в текст. Кто-то улыбался удовлетворенно и, тщательно разгладив, забирал с собой, а кто-то, едва вчитавшись, тут же демонстративно отбрасывал на землю.

Листовка та, призывающая рижан 15 мая 1990 года выйти к Верховному Совету и «поставить все с головы на ноги», сыграла немалую роль в жизни Валерия Алексеевича.

Он рассказывал мне об этом эпизоде сначала спокойно, без видимых эмоций. Покуривал не спеша, потягивал кофеек из пузатой кружки:

— В тот же вечер, на затянувшемся заседании Верховного Совета к Алексееву, как раз выступавшему с трибуны в зале заседаний, подлетел один из депутатов-энфээловцев. В руках у него была та самая листовка.

— Это ваша?!

Анатолий Георгиевич невозмутимо взял листовку в руки, неторопливо надел очки и внимательно ее прочитал.

— Поскольку здесь стоит подпись «Республиканский Совет Интерфронта», наверное, наша. Но я должен уточнить, поскольку последнее время, как вы знаете, я нахожусь здесь, в зале заседаний Верховного Совета.

Валерий Алексеевич оживился вдруг, повернулся в кресле ко мне, даже наклонился в мою сторону, что делал редко.

— Тут ведь в чем интрига, Тимофей Иванович! Мы со Свораком так и не успели предупредить шефа, что операция уже начата. Разминулись, банально, по времени. Мобильников тогда не было. Но и тянуть нельзя было — упустим момент, потом снова все и всех не соберешь. Но Алексеев нас не сдал. Понял. Конечно, еще тогда, на трибуне Верховного Совета стоя, все понял. Да и знал меня как облупленного, и тексты мои тоже всегда бы отличил от чужих. Но не стал ни отказываться, ни признаваться сразу.

Понял, что энфээловцы дело круто повернут — власть ведь уже у них была, по сути. Это он меня защищал, не признавая листовку сразу, чтобы конкретного автора не сдавать!

Поднялся шум, крик. Заседание срочно решили продолжить. Вызвали на десять утра следующего дня руководителей прокуратуры и КГБ, с тем чтобы те дали оценку «подстрекательским» листовкам. Так на меня, а точнее, на «неизвестного автора и распространителей» той листовки в первый раз завели дело по статье 59 УК Латвийской ССР —

«измена родине». За попытку свержения государственной власти, свергнутой, по сути, еще 4 мая, самим Верховным Советом, большинством голосов принявшим Декларацию о независимости Латвии. Чудны дела Твои, Господи! По этой же статье судили потом рижских омоновцев, и снова, второй уже раз тогда, попал под эту статью и ваш покорный слуга Иванов! А в России по 59-й (64-й в УК РСФСР) советской статье судили высшее руководство страны — участников пресловутого ГКЧП. «Правовое государство» и «легитимность» действующей власти, что в Латвийской Республике, что в Российской Федерации, начинались именно с этого абсурда.

Иванов мягким, кошачьим движением выкинул себя из кресла и снял с полки потрепанный томик Латвийского УК, заложенный судебной повесткой, за которую он так и не расписался тогда, слава богу, поскольку сначала был с отрядом в Тюмени, потом в Приднестровье. А потом никому уже ни до кого и дела не было, кроме избранных козлов отпущения, которым, конечно, оттого, что их избрали, легче не стало. Но это уже тема особая.

— В рамках права, в рамках единственно законной на тот момент Конституции — Конституции СССР держались исключительно строго как раз те, кого потом обвинили в «измене Родине». А вот те, кто организованно, «в группе», «по предварительному сговору» крушил государство в годы «перестройки», — они все в белом, и хоронят их под артиллерийский салют на Новодевичьем… Пусть и не всех. Пока.

Кто, уже в конце 80-х годов, впускал в союзные республики западных агентов? Как банальных шпионов, так и всяких «политконсультантов» и специалистов по выборным технологиям? Кто? Кто пропускал из-за рубежа вагоны оргтехники, использованной для прямой пропаганды против существующего строя? А кто ввозил из-за границы предвыборные агитационные материалы, напечатанные на западные деньги и послужившие свержению законной на тот момент власти в суверенном государстве? Кто сознательно выпускал за кордон для консультаций на Западе лидеров НФЛ и им подобных, прекрасно зная, что консультироваться они будут о том, как свергнуть советскую власть в стране? Кто провозил в СССР по дипломатическим и не только каналам миллионы долларов наличными с целью все той же — свержение действующей власти? Кто неоднократно, в течение нескольких лет устраивал Ельцину в Юрмале встречи с иностранными «консультантами»? От кого он получал указания и кто его отпускал на эти «случки» даже тогда, когда он якобы был в опале? Про

Яковлева и говорить не приходится — история хромого беса

перестройки всем хорошо известна.

Вопросы риторические, конечно. От самого верха и до самого низу судить по 59-й статье и приговаривать через одного к расстрелу с конфискацией нужно было многих. В том числе тех, кто и сегодня при власти, и власти высокой. Но все у нас на Родине делается, как известно, наоборот, через жопу. И потому по статье «измена родине» открытые предатели Родины судили тех, кто Родину защищал. Сегодня это называется: «Ельцин дал России истинное народовластие». Сегодня это — по всем ТВ-каналам транслируемое возложение цветов к могиле Собчака. Эх, как говорится, единожды совравши, кто ж тебе поверит?

И тут же, едва успев отмазаться от уголовных и прочих мерзких дел, всплывает на поверхность «другая Россия» и начинает изображать из себя защитников народа и радетелей чуть ли не за Советский Союз! Национал-большевики братаются с либералами, гроссмейстеры с бывшими премьерами. А тут уже рядом целая свора грантополучателей, включая загадочных «русских фашистов» преимущественно еврейского почему-то происхождения. А власть их ловит точно по рецепту из старого анекдота про Неуловимого Джо. А некоторые кавказцы, показательно расстреливая русские семьи на юге страны, в Москве, да и по всей России, ведут себя как белые плантаторы среди негров. Вот это — правовое государство! Вот это — гарант Конституции! Ура! — Валерий Алексеевич, видно было, пытался сдержаться. Закрыл глаза, утер лицо ладонью, как бы смывая вспышку гнева. Ткнул мне рукой в открытую на мониторе страницу новостного сайта: — Вот, поглядите! Президент в День народного единства собирает в Кремле на торжественный ужин так называемых «соотечественников»! Садится за один стол, вместе ест, пьет, поднимает тосты за Россию. вместе с теми, кто из России по своей воле убежал в дальнее зарубежье. И вместе с теми, кто в бывших союзных республиках русский народ предавал и продолжает предавать, устраивая себе из русских, не по своей воле оказавшихся за границей, политическую кормушку. Кто там у него в советниках по Прибалтике? По-прежнему Шабтай-фон-Колмано-вич, что ли?

Я, Тимофей Иванович, редко пишу в ЖЖ. Но недавно не выдержал:

Сегодня — День памяти жертв политических репрессий. Или что-то вроде того… Как снова в Латвии очутился, там что ни месяц, так очередной день скорби — то депортации, то репрессии, то оккупации…

Но я не о том. Я вот что хочу сказать и очень кратко. Длинно, может быть, отпишусь где-нибудь в прессе. А пока просто на

эмоциях…

Вот вы мне скажите, дорогие друзья и френды, — а будет ли когда в России День памяти жертв перестройки?

Будут ли когда вспоминать сотни тысяч убитых, растерзанных мужиков, изнасилованных женщин, беспризорных детей? Миллионы беженцев, бросивших все? Десятки миллионов разорванных, разлученных семей, родственников, любимых? Полтораста миллионов ограбленных русских людей? Да и не только русских, просто людей? В том. числе оболваненных либеральной «идеей» или свернувших на дорогу эстонского, латышского, грузинского и прочего нацизма? А к ответу за все это будут, ли привлечены, тысячи тысяч, убийц, предателей, воров и просто хладнокровных сукиных сынов, сделавших свой гешефт, на горе и крови? Как там, господа «еди-нороссы», не слабо внести законопроектик?!

Тем, кто меня плохо знает, напомню — я революции не только не люблю, ненавижу. Оранжевые, бархатные и песенные со всеми «несогласными» вместе — особенно. Но вот. День памяти жертв перестройки — просто необходим. Чтобы, наш. президент, сказавши «А» о «величайшей геополитической катастрофе», сказал бы. «Б», наконец.

Катерина вошла в кабинет на шум, встала в дверях. Посмотрела иронически-царственно на распалившегося Иванова, перевела взгляд на меня. Улыбнулась, пытаясь смягчить неловкую ситуацию — не любила, когда обычно невозмутимый Валерий Алексеевич вдруг начинал горячиться. Беспокоилась по-женски за сердце, которое у Иванова уже пошаливало. Но, однако, Екатерина Борисовна, даром что дама обаятельная, в вопросах мировоззренческих была жестка и даже порою жестока.

— Русеешь, Иванов? — Она насмешливо повела бровью. — Скоро потребуешь «погоны снимать вместе с кожей!». Забыл, как Путина хвалил, пока в Латвии жили?

— А я, любимая моя, его и сейчас похвалить не забываю. Когда есть за что! Но не может он вечно оставаться переходной фигурой и примирять непримиримое! Вот тут я и бешусь.

Знаю, что лучше его на данный момент нет никого! Что свою первостепенную задачу Путин выполнил на двести процентов! Но поскольку он такой храбрый и умелый — пусть и дальше совершенствуется! Пусть найдет в себе мужество государственное порвать окончательно с теми, кого расстреливать бы надо, ежели по совести!

— А ты думаешь, это так просто, да? Подписал приказ — и в ссылку или к стенке?

— Да знаю, что не просто. — Иванов сник, и от

первоначального запала не осталось уже ничего, только длиный грустный вздох, как воздух выпустили… — Я, может, куда больше других знаю, *как* не просто. Или, по крайней мере, догадываюсь. И не хочу я ни крови, ни расстрелов, ни репрессий. Не хочу. Пусть их — доживают свой век, пусть Бог их судит. Но и у власти им — вчерашним убийцам и предателям, сегодняшним ворам и коррупционерам — не место!

Я, Катя, по-русски чисто, Путина никому ругать не даю. А сам ругаю. Да! А что остается? И только не говори мне, что «политика — это искусство возможного». Политика — это искусство невозможного! Вот! И ежели ты Путин — так давай делай невозможное. Потому что жалко тебя! Жа-а-а-а-лко! По тонкой ниточке над бездной человек ходит. Вот и переживаю. Потому что мне не все равно. Потому что я никому еще из политиков не верил, кроме Алексеева. А Путину поверил. Ошибиться больно будет и стыдно — я ведь все же какой-никакой, а политический аналитик, по крайней мере по факту написания периодических колонок за не очень еще твердые рубли.

— Тимофей Иванович, бальзамчику? По соточке? Черного? Рижского, будь он неладен?

— Так ты ж не пьешь давно, сосед!

— А вот Катя тебе граммулькой компанию составит! Правда, Катя? Ну, кланяйся гостю!

Глава 11

С самого утра 15 мая Латвийское радио на всех программах передавало призыв Думы Народного фронта к латышам обязательно слушать прямую трансляцию заседания Верховного Совета и в случае необходимости срочно прибыть на улицу Екаба, чтобы защитить парламентариев от интер-фронтовцев. Несколько сот латышских студентов были сняты с утренних лекций и встали в оцепление вокруг здания ВС. В самом здании еще с ночи сконцентрировались, помимо милиции, несколько десятков специально подготовленных боевиков НФЛ.

Тем временем на Домской площади начался совместный митинг ОСТК (Объединенный совет трудовых коллективов) и Интерфронта, посвященный протесту против незаконного принятия новым составом Верховного Совета декларации о независимости Латвии. Резолюцию митинга, принятую единогласно, решили вручить непосредственно председателю ВС Анатолию Горбунову. Небольшая делегация, состоявшая из рабочих и одного военнослужащего, отправилась к парламенту по узкой улочке Комъяунатнес. Там дорогу ей преградила первая цепь боевиков НФЛ. Народ, еще не разошедшийся с митинга ИФ, естественно, подошел поддержать своих товарищей. Так, прорывая одну за другой три цепи обороны народнофронтовцев, все и подошли непосредственно к площадке у Верховного Совета.

Снова свалка, снова, как и 4 мая, толпа, раскачиваясь, прорывала кордоны боевиков, снова вперед выдвигались самые крепкие рабочие и, конечно же, офицеры и курсанты военных училищ, пришедшие поддержать мнение народа о необходимости отмены провокационной декларации о независимости. Только на этот раз все было гораздо жестче. Горбунов так и не посмел выйти навстречу делегации интерфронтовцев — оставалось только одно — войти самим в здание и передать резолюцию митинга депутатам непосредственно в зале заседаний. Рывок, еще один — летят на землю смятые ряды последней цепи обороны боевиков. Одного их них тут же, под прицелами десятков теле-и фотокамер, снимающих все происходящее из окон близлежащих зданий, раздевают, показывая объективам самодельную кольчугу из металлических листов, кусок арматуры, выпавший из руки, кастет и нож, выпотрошенные из карманов кожаной куртки.

Именно в этот момент в действие вступает взвод Рижского ОМОНА, дубинками и щитами отсекая первые ряды интерфронтовцев и офицеров от площадки парламента.

— Предатели! Подонки! — несется им в ответ. Тем временем

уже милиция из числа охраны Верховного Совета выстраивает новую цепь между митингующими и защитниками депутатов. Толпа успокаивается ненадолго, потом снова приходит в движение, но основный порыв — ворваться в здание уже притушен, тем более что делегацию митинга с резолюцией в руках все-таки пропускают в парламент.

В это же время в Таллине представители Интердвижения и местного ОСТК под руководством Михаила Лысенко врываются во внутренний дворик эстонского парламента и водружают на его крыше красный флаг, протестуя против эстонской декларации независимости.

Прибалты в панике, доносы и делегации срочно летят в Москву. Там их успокаивают — на вашей стороне «закон и порядок»! Перестройка необратима, а зачинщики «противоправных эксцессов» будут строго наказаны! И все возвращается на круги своя. Так борцы замирают в партере, боксеры в клинче. Время, время, время.

Уголовное дело о «подстрекательской листовке, послужившей сигналом к попытке захвата Верховного Совета» в тот раз спустили на тормозах. Как раз предстоял дележ республиканской прокуратуры на «латышскую» и «советскую», начиналось уже нешуточное двоевластие во всех республиканских органах, и на время стало не до этих разборок. Следователь КГБ походил по кабинетам на Смилшу, 12, поспрашивал об авторстве листовки Алексеева и Лопатина, Сворака и самого Иванова. Вразумительного ответа он не получил, да и не искал его, что самое главное. Никто еще не мог сказать окончательно — кто победит? На девяносто девять процентов, может быть, было и ясно. Но даже этого одного процента вероятности того, что все вдруг вернется на круги своя, вполне хватало тогда любому представителю новой власти, чтобы не слишком шустрить и постоянно оглядываться опасливо, а не слишком ли он наследил или перегнул палку?

Все это тянулось уже не один год. Медленно и печально. И именно в этом, в привыкании к противоестественной со всех точек зрения, совершенно алогичной, противоправной, против всякого здравого смысла вообще ситуации заключалась стратегия западных советников московских предателей. Тянуть, тянуть, тянуть. Сделать абсурдное существование привычным. А потом обострить все до предела по своему собственному сценарию и обрубить разом все концы, сделать ситуацию необратимой раз и навсегда. Да только, ни одна победа не бывает необратимой…

— Что могли, то сделали! — твердо сказал Сворак, блеснул карими глазками, обычно масляными, а теперь на мгновение

вдруг ставшими острыми и жесткими, и хлопнул свой стакан водки не чокаясь.

— Еще не вечер! — отозвался хмуро Иванов и тут же последовал примеру старшего товарища. Пили в своем кабинете, поздно вечером. Дождались, пока уйдут Алексеев и Лопатин, да и вообще все, кто мог бы стать свидетелем этого долгого разговора на троих в запертом на ключ, изолированном ото всех помещении.

Наталью — главбуха и Рощина — редактора «Единства» угостили, конечно, сославшись на настроение, как единственную причину неожиданного «банкета». Но быстро выпроводили, сказав, что и сами сейчас разбегутся. Сидели, тем не менее, уже затемно. И бутылка была не первой. Даже закусь уже кончилась, но и это не помеха трем мужикам, тем более что закурил сегодня даже Петрович.

Третий — оперуполномоченный уголовного розыска старший лейтенант Боготин, старый друг и однокашник Валерия Алексеевича по униве-ру, уже захмелел не в меру, но все еще был разговорчив.

— После майского собрания городской милиции большинство встало на сторону советской власти и Конституции. Конечно, ходили некоторые латышские полковники, да и депутаты с ними вместе, по райотделам. Коньяком поили, должности обещали. Е-мое! Квартиры обещали, Валерка, ты не поверишь, на полном серьезе!

— Ну а ты что?

— А что я? От старлея много не зависит, мне никто ничего и не обещал, — как-то даже обиженно протянул осоловевший Санек.

— Саня, а что народ в милиции думает теперь про омоновцев? После того как они помогли латышам наш митинг разогнать? — осторожно поинтересовался Валерий Алексеевич?

— Да суки они оказались, что тут еще думать! Вчера как раз вызывали их на задержание вооруженной группы, так мужики омоновцев такими матами покрыли за это все, чуть до драки не дошло!

— А Толяна ты давно видел?

— Д-да с месяц назад, наверное, не до отдыха сейчас. Да с тобой же вместе пили, ты что, совсем память потерял?!

— Потерял, Саня, потерял! Сам видишь, что в городе творится. Мне пока некогда, а ты бы Толику позвонил, да сказал бы, что народ теперь об ОМОНе думает. По свойски так, по-русски, без обиняков! И от меня привет передай, скажи, не думал, что они так ссучатся перед латышами!

— А фули? И педерам! — закивал Саня, уронив фуражку, которую снять так и не удосужился.

— На-ка вот тебе привет для него, по старой дружбе. — Иванов подмигнул Свораку, и тот бесцеремонно открыл потертый Сашкин дипломат, сунул туда пару бутылок водки. — Не потеряй только и сам не употреби, без Толика, а то не по-товарищески получится!

— Обижаешь ты меня, Валерка.

— Ну, в целом все ясно-понятно! — подвел черту Сворак. — Давай-ка, Шура, мы тебя посадим в машинку и поедешь ты домой — баиньки!

— И точно! — поддержал идею Иванов, нахлобучивая старому другу фуражку на встрепанную русую голову. — А то Ольга там тебе все волоски повыщипает, она у тебя баба крутая — греческий темперамент сказывается! Мифологическая, можно сказать, ж-женщина! Я ее сам боюсь.

— Аленка-то? Да я ее. — Боготин махнул вяло рукой и чуть не отрубился от такого усилия.

Парня подхватили и потащили вниз по лестнице. Заранее вызванный микроавтобус, свой, конечно, чтобы не светиться зря, уже поджидал у подъезда.

— Привет, Вадим! Прости, что сорвали так поздно, но тут нужный разговор был с хорошим человеком.

Молодой водитель посмотрел на засыпающего старлея в форме, понимающе кивнул и махнул рукой, дескать, пустое, надо, так надо.

— Куда его?

— На Кришьяна Барона, к Дому спорта «Даугава». А там он на автопилоте дорулит — не впервой. Притомился опер, и так служба не мед, а тут еще мы его весь вечер пытали, — коротко объяснил ситуацию Сворак.

— Пытали? — вытаращил глаза Вадим… Потом сообразил и улыбнулся. — Да уж, Михаил Петрович, с вас станется, однако! Ну, я поехал! Или вас тоже куда подвезти?

Сворак с Ивановым переглянулись.

— Нет, не надо, мы уж сами доберемся, давай, счастливо! — Валерий Алексеевич решительно захлопнул переднюю дверцу и подтолкнул зеленый «микрик» в полированный бок.

Кряхтя и пошатываясь, коллеги вернулись на свой пятый этаж и велели дежурному закрывать решетку на лестнице до утра, поскольку им еще поработать надо. Бессменный Эдик, накачанный как Шварценеггер, не позволил себе даже намека во взгляде на не совсем адекватное состояние старших товарищей и послушно загремел засовами.

— Ну что, Валера, на посошок?

— На посошок еще рано. Давай, Петрович, за удачу! Она нам скоро очень понадобится!

— Думаешь, клюнет твой «Ванька-взводный»?

— Да не в этом дело. Что он водки не видел, что ли? Да и не простой он взводный, Петрович, это я тебе однозначно говорю. В отряде давно уже все перемешалось — государство в государстве. Свои службы по всем направлениям завели. Силовые, физические, так сказать… Технические… Аналитическую группу, между прочим, целый майор у них возглавляет — старший инспектор. У них в штате и комитетчики, и грушники, как бы бывшие, есть. Основной состав из десантуры, бывших пограничников да спецназа армейского — кто они по подчинению были раньше? Какие остались связи, пристрастия и корпоративная солидарность? Кто у них кого курирует и всех их, вместе взятых?

— Да уж, от простой милиции там мало чего осталось, прямо скажем. Личные дела отдельно у них хранятся, мне бы по старой памяти в министерстве показали.

— Ну, будем работать. Охотников на ОМОН сейчас много будет, не мы одни, как ты понимаешь. Латыши их напрямую вербуют сейчас, золотые горы обещают.

— Вся латышская пресса ими восторгается — «защитники независимости» они теперь! ТВ, радио — все талдычат про доблестный подвиг Рижского ОМОНа, защитившего Верховный Совет от злых интерфронтовцев и офицеров. Ничего, есть и у нас аргументы, Валерка! — Сворак хитро улыбнулся, вылил остатки водки из очередной бутыли.

— Надавим, конечно, со своей стороны. Постыдим, в меру, чтобы не пережать, в «Единстве». Товарищей из милиции отрядим побеседовать на тему скорбную о предательстве и двурушничестве. Друзей, близких привлечем по мере необходимости.

Ну а я, пожалуй, за живца сойду!

— За живца! — поднял стакан Петрович.

Чокнулись, зажевали последней корочкой хлеба. Закурили синхронно.

— Рубикс, оно понятно, тоже сейчас рвет и мечет. Будет по партийной линии их вербовать да стращать союзным начальством. — задумчиво протянул Сворак.

— Ну, нам с Москвой не тягаться, конечно. Да и командовать отрядом у нас все равно не получится, ежу понятно. А вот влияние кое-какое иметь надо, связь наладить прямую и взаимодействие — необходимо. Так что будем торговаться! Пусть они думают, что это их аналитики идеолога Интерфронта

вербанули для влияния на движение. Так?

— Правильно мыслишь, Валерка, я б из тебя опера в два счета сделал!

— Да не надо из меня опера. Упаси Бог! Тут комбинация простая как валенки получается.

Я в отряде и так свой — водку пьянствую регулярно на правах старого товарища лейтенанта Мурашова. Да и капитан Чизгинцев меня знает хорошо, только уже по политической линии. Остальное приложится. Пусть Толян меня вербует, ему плюс будет, — хохотнул Иванов, только глаза остались грустными.

— А что мы с них потом стребуем, это уже по ситуации видно будет, — продолжил Сворак. — Так что готовься, Алексеич, выпить много водки. И держи ушки на макушке — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Будем с ОМОНом дружить и перетягивать его на свою сторону. Основное, конечно, люди в Москве сделают — не нам чета! Но и мы своего интереса не упустим! Но имей в виду, хоть я и полковник милиции в отставке, но меня они к себе всерьез не подпустят. Бояться будут. И правильно сделают!

— Пожалуй, что так. Ну а мне и играть не надо, все в общем-то логично, и само по себе выстраивается. Алексееву сам объясни с Лопатиным как и что — пусть примут к сведению и забудут для своего же спокойствия — им ввязываться сюда и вовсе ни к чему!

— Правильно! — отрезал Сворак, поднимаясь. — Утро уже! Пошли куда-нибудь кофейку покрепче дернем да поедим, что ли! Еще весь день работать надо.

— Сейчас, Алле только позвоню, — проснулась уже, наверное. Опять скандал в благородном семействе — и хоть бы кто премию дал — ведь горю на работе!

— Ничего, ничего — боевая подруга должна все понимать и службе не мешать. Иначе менять придется! Шу-тю!

Первые встречи, последние встречи — Жизнь, уходящая в бесконечность. Без расставаний было бы легче, Но как же разнообразить вечность?

За уходящим последним трамваем Утром приходит первый трамвай. Мы получаем то, что желаем, И в ад превращаем дарованный рай.

Близкое — рядом, родное — с тобою, А мы отправляемся вдаль. И счастье находим, но счастье чужое, А рядом свою печаль.

Ангел-хранитель живет по соседству, Не зная и сам о том.

Полмира пройдя, возвращаемся к детству И к тем, кто с пеленок знаком.

И только вернувшись, целуя родные, Заплаканные глаза, Ты в них замечаешь миры иные И сказочные чудеса…

— Алла, мы скоро поедем в отпуск, в Кегумс поедем, на природу, в наш домик!

— Опять кухаркой на вас работать? Да не хочу я никакого Кегумса! Ничего я не хочу, только бы не готовить бесконечно, мыть, убирать, проверять тетради! Я не могу больше! — Алла отвернулась к стене, тихо заплакала, уткнувшись лицом в подушку.

— Господи, ну невозможно больше это переносить! — Иванов соскочил с кровати, опрокинув по пути настольную лампу, поднял ее, отшвырнул на пол — только зазвенело стекло — сжал голову, только бы не начать биться ею об стену. медленно выдохнул и пошел за веником, собирать осколки. Хорошо еще, что Ксении дома не было, отправили на лето к теще на дачу.

Алла тихо и жалобно подвывала под одеялом.

— Зачем, зачем ты на мне женился? Я тебя не вижу, ты все время на работе, а если не на работе, то с друзьями, я все время должна сидеть и ждать — ждать — ждать! Ты сколько обещал заняться ребенком — пусть только повзрослеет, и что?

— Аля, ну не плачь, пожалуйста! Ну что случилось? Мы поедем в Ленинград с тобой, хочешь? На машине — Григорьевич вон с Людой собирался, нас приглашал за компанию!

Там Лешка Украинцев, Хачик, Толик — они нас поселят, все тебе покажут, в Репино на даче отдохнем!

— Да что мне та дача, опять будете водку жрать да о работе разговаривать, будь она проклята!

— Да какая работа?! В июле же отпуск, какая в июле может быть работа? Сходим в театр, мюзик-холл, в конце концов! По музеям походим, отвлечешься хоть чуть-чуть от школы!

— А точно? Ты уже правда договорился? — Красное заплаканное лицо Аллы начало выползать из-под краешка одеяла.

— Абсолютно точно! — Валерий Алексеевич кинулся к дивану, целовать заплаканные глаза, утешать, успокаивать, любить — лишь бы не плакала.

Потом долго лежали рядом обнявшись, молчали, наслаждаясь кратковременным перемирием, тишиной, солнцем, пробившимся из окна и бросившим свои лучи на чуть прикрытые простыней от летнего тепла тела мужчины и женщины. Мужа и жены.

Одна плоть.

Глава 12

Толик сам вскоре приехал к Ивановым. Нагрянул домой, как всегда, без предупреждения. Хорошо хоть не в форме и один. Валерий Алексеевич только проснулся — была суббота. Алла с Ксюшей еще спали, поэтому, не поздоровавшись даже, Иванов тут же сделал «страшные» глаза, ухватил Мурашова за рукав и потянул на кухню.

Толик привычно уселся на свое любимое место у окна, поерзал, снова встал, скинул легкую курточку, стянул плечевую сбрую с пистолетом и повесил на спинку стула. Оружие на постоянном ношении тогда было очень большой редкостью. Но омоновцы не расставались с ним никогда — ни дома, ни на службе, конечно.

— Кофе? — по-прежнему не поздоровавшись, спросил друга Валерий Алексеевич. — Может, перекусить чего на скорую руку?

— Ты бы хоть поздоровался, братишка, давно ведь не виделись, — с улыбкой попенял Мурашов хозяину.

— Гость — говно — не был давно! — отрубил Иванов, зевнул и стал заваривать кофе в видавшей виды алюминиевой турке.

— Ты чего это? — Толик по-прежнему улыбался как ни в чем не бывало. — Может, выговор мне сделать хочешь от имени русского народа?

— Не сейчас! Алла с Ксюхой спят еще, не хочу будить. — проворчал Иванов, не оглядываясь на гостя, делая вид, что пристально следит за туркой, чтобы кофе не убежал.

— Ну ты даешь! Сначала Сашку на меня натравил — он по пьяному делу чуть в репу мне не заехал за Верховный Совет, потом Людмила, представляешь, Людмила мне-мне! — не дала под тем же предлогом! Потом на базу «Единство» ваше со стихами Феликса подбросили — целую пачку — аж по кубрикам замполит разнес. Я даже запомнил кое-что, ну-ка, как там было у вашего народного витии:

«Чтоб завеса темных туч не висела Над народною судьбою-судьбиной — Половина всех людей захотела Равноправия с другой половиной.

За поддержкою другой половины Шла под флагами людская колонна — Ей ответом были бронепластины И разящие дубинки ОМОНа!»

Феликс Кац

Толик читал хоть и шепотом, помня о спящей за тонкой стенкой кухни семье Иванова, но все равно выразительно, четко, артистично, а в конце так даже руку со сжатым кулаком вознес

над головой, но по столу, однако, не брякнул, опустил кулак медленно и неслышно.

— Ты, лейтенант, у нас прямо не командир взвода, а Качалов! — иронически обернулся к Толяну Валерий Алексеевич. — Откуда только слов таких набрался бывший вертолетчик? «Народный вития!» А?!! — шепотом рявкнул Иванов Толику прямо в ухо, как на допросе в плохом детективе. — Отвечать, когда спрашиваю!

— Не бейте, дядько, — тоненько заверещал Мурашов, подыгрывая, — я все скажу! Я окончил пажеский корпус.

— Опять прокол! То Некрасов, то Ильф с Петровым прямо от зубов отлетают у офицера ОМОНа! Да ты, Толян, кроме «твою мать» да «мать твою», других слов и знать-то не имеешь права! На кого работаешь?! — Иванов увлекся и чуть было не дал другу увесистого подзатыльника, однако омоновец ловко перехватил его руку и легонько повернул — не больно, но чувствительно. И ответил наконец спокойно:

— Ладно, Валерка, не кипятись и не делай вид, что кипятишься. Давай-ка перекусим быстро, кофе попьем и свалим пиво пить, пока Алла не проснулась и тебя не на ключ не заперла.

Там и поговорим. А в целом ты молодец, парнище, все правильно делаешь, уважаю. И даже помогу. Но об этом на свежем воздухе! Слушай, а майонеза у тебя нет?

— Толян, ты бы хоть кофе без майонеза употреблял, что ли? Смотреть же тошно!

— Ну вот нехватка у меня майонезных веществ, понимаешь?!

— Меньше надо по бабам шляться, а то скоро вообще на солнце мерзнуть будешь! — Валерий Алексеевич полез в холодильник, пошарил там в поисках майонеза, выпрямился с банкой в руках и задумчиво произнес:

— Сам поможешь? Ну-ну, посмотрим…

Из народной разливухи «Вишневый сад» в Чиекуркалнсе друзья очень скоро перебазировались в Мангали — в знаменитую шашлычную Важо. Потихоньку повышали градус, пока разговор не стал совсем уж доверительным.

— Приказ отдал замминистра Екимов. Сашка Кузьмин, командир 2-го взвода, ну, ты его знаешь, был старшим над нашими у Верховного Совета. Полковник Бугай от горуправы там тоже подсуетился. Делать нечего, приказ надо выполнять. Пока мы еще подчиняемся. Но не думаю, что это надолго. Будет развиваться двоевластие — придется выбирать. Так что ты совершенно правильно нас травишь «народною травлей»! — Толян ухмыльнулся весело и откинулся на прогретый первым летним солнышком, скользкий от хвои бугорок под сосной, у

которой друзья уселись проветриться и поговорить начистоту.

— С чего, ты думаешь, начнется процесс? С открытого партсобрания? Рубикс, наверное, уже подсуетился.

— Может, и с партсобрания. Партийных у нас много. Но это только повод устроить общее собрание отряда — соблюсти демократические принципы перестройки, так сказать!

— А личный состав созрел определиться?

— Новый министр — Вазнис — мудак! Вместо того чтобы покупать, объявил о снятии нас с льготной очереди на квартиры. Кооператив охранный приказал прикрыть… А ведь «Викинг» — это основной доход для каждого омоновца. Вот и подумай, как ко всему этому люди относятся? Патриотизм, конечно, тоже присутствует. Но главное — круговая порука. Если все сделать как надо, то принцип «с Дона выдачи нет!» — распространится на весь отряд. Вот это будет уже серьезно! Против этого никто не попрет!

— Ну, текучесть поначалу все равно будет!

— Ничего, людей наберем! К нам и так в очередь становятся! А если пойдет заваруха и нужно будет всерьез выбирать между «красными» и «белыми», тогда отряд укрепится за счет идейных — это тоже важно.

— Так… С одной стороны — профи. Плюс к ним — убежденные идейные бойцы. Все вместе — в одной лодке, которую так раскачает бурное море, что бежать с нее уже никто не решится. Особенно если лодка окажется единственной.

— Примерно так, друже. Но до этого всего надо еще дорасти! Лымарь — командир, подал заявление об уходе. Жаль старичка, но он правильно делает, что уходит, не потянуть ему дальше. Вот как он уйдет, тут все и начнется. Если прикинуть сроки — медкомиссия, госпиталь, передача дел… Ну, опять же, если не будет форс-мажора. в августе—сентябре все решится.

— Дожить бы еще до осени.

— Доживем, куда денемся? Ты-то как, нормально у себя сидишь?

— Ну, у нас, знаешь ли, кооперативов не водится. Но люди убежденные. Алексеев — человек надежный. Дерьмо всякое поразогнали в общем и целом из Движения. Конечно, не все гладко. Но, что в наших силах, то делаем.

— Ну, это понятно, а ты, именно ты.

— А я соответствую своей должности и делаю свое дело. Так можешь и доложить грушнику своему. Или комитетчику, не знаю уж, кто он там у вас.

— Э, а ты с чего, собственно, решил, что он у нас появился?

— Сорока на хвосте принесла! Так ему и передай, больше

уважать будет.

— Ну что же, братишка, дружба — дружбой, а служба — службой. Я рад, что мы вместе!

— Я тоже.

Конечно, все определялось не этими тридцатилетними мужиками, блаженно раскинувшимися на теплой земле, лениво следящими за облаками, радующимися первому летнему дню и тому, что жизнь пока еще не кончается… Они просто делали свое дело на своих местах. Как понимали, как умели. В меру сил, способностей и веры в свою страну, свой народ, своих друзей и товарищей, родных и близких людей. Догадываясь, что кто-то станет врагом, кто-то предателем, а кто-то просто умрет, успев выполнить свой долг, но не успев закончить порученное ему дело. И виноватых искать тут нечего.

Лето прошло быстро. Иванов сходил в отпуск, как и привык, в июле. Вволю накупался, назагорался в Кегумсе, куда опять поехали всей семьей на отцовскую служебную дачу.

Несколько раз за лето выбирался на базу ОМОНа в Вецмилгравис — поговорить с людьми, попить водки, попариться в недавно построенной баньке. Обрастал знакомствами, друзьями, примелькался; тем более что терся он на базе еще с момента создания ОМОНа в 88-м году. Но тогда просто по дружбе с некоторыми омоновцами. Теперь уже все больше — по службе. Приезжали друзья и к нему на дачу. Ловили рыбу, жарили шашлыки, срывались иногда в Ригу — погудеть под видом какого-нибудь дела. А потом, как и обещал Валерий Алексеевич Алле, они с друзьями на машине съездили в Питер на недельку.

Леша с Хачиком устроили рижанам большую культурную программу. Пользуясь телевизионными связями и возможностями, водили в закрытые для простой публики музеи, проводили на редкие гастроли и концерты; в общем, Алла осталась довольна.

Лето сгорало стремительно. Патовая ситуация в политике продолжалась, жизнь во всей стране становилась все труднее. А тут и листья начали желтеть как-то рано, и дожди пошли осенние уже в августе. Иванов вышел на работу, привычная текучка затянула было, но вскоре *события* снова взяли за правило происходить ежедневно, и все пошло развиваться стремительно.

В один из таких сумрачных дней, в самом конце августа, Иванову на работу позвонила Таня. Встретиться решили на вокзале, чтобы потом отправиться на электричке куда-нибудь прогуляться, если погода позволит, конечно.

Свидание назначили не у знаменитых вокзальных часов, а в зале дальнего следования, на правой лестнице, если смотреть со

стороны площади. Иванов успел еще стрельнуть у Сворака немного деньжат и заскочил на рынок, благо, что рядом с вокзалом — за цветами. Пробежался быстро вдоль пахучих рядов, приценился было к огромным чайным розам, потом спохватился, что с таким букетом гулять будет проблематично. Заметался в растерянности, но, к счастью, с самого краю, у перехода, бабульки продавали самодельные маленькие букетики из простых полевых цветов. Ухватил приглянувшийся, отдал тетке рубль и, не дожидаясь сдачи, побежал по запутанным переходам, лавируя в толпе пассажиров.

Татьяна насмешливо смотрела с верхней площадки широкой лестницы на суетливую толпу внизу, вглядывалась через стеклянную стену вокзала в широкую площадь напротив, то и дело ловя себя на непреодолимом желании поправить волосы или чуть изящней изогнуть фигуру, одетую в модный плащ. Но воли себе не давала, наоборот, старалась показаться стороннему взгляду женщиной усталой и совершенно обычной. Иванов появился совсем с другой стороны, пройдя через примыкающий прямо к перрону зал ожидания транзитных пассажиров, и уже с минуту стоял у нее за спиной, не зная, обнять ли ее поскорее, зарыться в волосы, вдохнуть знакомый аромат духов и особенной чистоты, свойственный только Татьяне, или постоять еще — поразгадывать, пользуясь случаем, загадку, которую внесла в его жизнь эта. любовь?

Не удалось. Таня, не оборачиваясь, откинулась вдруг назад, так что Иванову пришлось тут же подхватить ее за талию, чтобы не упала. А она, полулежа на одной его руке, другую небрежно закинула ему на шею, притянула к себе его голову, прижалась щекою, и все это не глядя, в совершенной уверенности, что Валерий Алексеевич окажется именно там, на том самом месте, где она *придумала* ему быть.

— А если бы меня не было? — недовольно спросил он.

Она повернулась наконец к нему лицом, обняла крепко, приникла, как лиана, и тихонько засмеялась.

— Угрюм-Бурчеев! Посмотри на себя, на кого стал похож? Партийный функционер на трибуне Мавзолея! Шапки пирожком не хватает, а вот взгляд — вполне всамделишный!

Растрепала легкими ладонями Иванову волосы, взъерошила поцелуями аккуратные усы, ослабила одним движением галстук, расстегнула пуговицу на пиджаке — и все это как-то быстро, ловко, привычно — как будто каждый день встречала Валерия Алексеевича после работы и приводила в соответствие своему эстетическому и чувственному пространству.

А Иванов и в самом деле почувствовал вдруг облегчение.

Заулыбался, разрумянился, басок стал сочным и вкусным, шутки удачными.

— Таня, ты как вода ключевая — все смываешь одним прикосновением! Скучал же я по тебе, не вспоминал, а скучал. Знаешь, встретить не надеялся, думал, не получится больше никогда, не бывает такого в короткой нашей жизни! А просто скучал постоянно, каждое мгновение, как о детстве, что ли, нет, как трава в знойный полдень по утренней росе.

Как. как болван последний, короче! Не люблю говорить вслух о любви, да и слово это произносить не мне и не с тобою, наверное.

— Зачем же обижаешь ты меня, милый? Совсем-совсем нет любви? Так что же я делаю здесь? Так что же здесь делаешь ты?

— Ты опять улетишь, ты упорхнешь, ты ручейком сквозь пальцы прольешься — и нет тебя — какая же это любовь?

— Любовь удержать невозможно, Валера! Вспомни, ведь ты же поэт. Ты не смей забывать об этом! Я тебя за то полюбила, что ты поэт, пусть ты трижды похож сегодня на чиновника из ЦК комсомола, но ведь ты же поэт всей жизнью своей! Поэт может даже и строчки в жизни не написать, но быть поэтом! Поэт — это не образ жизни, поэт — это сама жизнь! Ты помни это, а то я уйду!

— Какой я теперь поэт, насмешливая ты женщина?! Контр-р-р-р-рево-люционеры разве бывают поэтами? Ах да, расстреляли Гумилева. Эмигрировал Бунин. Повесилась Цветаева. Кто еще? Незавидная судьба… А остальные все больше слушали музыку революции! Господи, чушь какая, на самом деле! Давай поедем в Калнгале! Не хочу в Юрмалу… Или в Веца-ки рванем, там один мой знакомый актер открыл первое в Латвии кооперативное кафе-пельменную прямо на станции. Какие там пельмени, Таню-ша! Поэма, а не пельмени! И водка! А потом пешком по пляжу до Калнга-ле! Я покажу тебе наши горы!

— В Латвии есть горы? — расхохоталась Таня, быстро влекомая Ивановым сначала вниз — в пригородные кассы, потом вверх, на перрон — к стоящей «под парами» электричке.

— Ну, Линксмакальнис ведь тоже был как бы «горой», или я перепутал что-то в литовском?

— Это не горы, это холмики, Валерик!

— Пусть! Зато там такие красивые сосны и сквозь сосны показывают, если повезет, закат солнца в море вручную!

— Обожаю!!! И никаких столов, скамеек, как в Юрмале?

— «Что сделали из берега морского гуляющие модницы и франты.

— Наставили столов, сидят, жуют.» — и ничего этого нет?

Обещаешь?

— Клянусь!

— Чем клянешься?

— Собранием сочинений в десяти томах!

— Своим?

— Своим, конечно. жаль только, что в нем будут преобладать листовки и заявления Республиканского совета Интерфронта. — Иванов погрустнел, оборвал шутку и уставился в грязноватое окно тронувшейся с места электрички.

Татьяна грустно улыбнулась в ответ, пальчиком смешно подперла точеный носик вверх, дескать, держи хвост пистолетом! Потом не удержалась и сама вздохнула. Нагнулась к сидящему напротив Иванову и прошептала:

— Ты, родной мой, молись, чтобы в твое собрание сочинений тексты приговоров не вошли.

— Каких приговоров, Танюша?

— Все равно каких. Ни тех, что тебе, ни тех, что ты подписал. Она откинулась на спинку сиденья, долго ехала молча, думая о чем-то общем для них, конечно, общем, потому что то и дело посматривала на Иванова. И Валерий Алексеевич тоже молчал.

Таня сказала вслух то, о чем сам он еще никому не говорил, разве что Толяну. Ну, тот офицер, к тому же уже обстрелянный — недаром в командировки на Кавказ постоянно ездит со своим взводом. Однако и Мурашов как-то раз ляпнул без обиняков, что расстреливать, если надо, будет он. А вот приговоры писать придется, может быть, Иванову. И что проще — он сказать не берется. «Ну, пьяный базар, оно понятно… Все ведь понимают, что, скорее всего, приговоры выносить будут нам. И стоять нам с Мурашовым у одной стенки вместе. Так что лучше уж в бою, если что. Ну, детский сад пошел — детство в жопе заиграло — подвиги нам не нужны!» — Иванов стряхнул глупые навязчивые мысли и пересел к Тане. Обнял ее покрепче, так и ехали до Вецаки, тесно прижавшись друг к другу. И не боялся ведь, что знакомые встретятся. Так было с Таней хорошо и спокойно. И не было ни страха, ни чувства вины.

Ночевать в эту ночь домой Иванов опять не явился. Отзвонился, отоврался. Но изменой столь редкие встречи с Татьяной он не считал. Будущего у них не было, так они сразу решили. Расставаясь утром после бессонной ночи, они долго целовались в маленькой прихожей хрущевки, в которой жила давняя подруга Тани, тактично не казавшая носу утром из своей спальни, как будто и нет ее вовсе в квартире.

— Возьми эту безделушку на память, — на узкой ладони лежал, свернувшись тугими толстыми кольцами, тускло

поблескивая старинной бронзой, маленький питон.

— Спасибо. Но почему змей?

— Это Питон. С большой буквы. Если вдруг все станет совсем плохо — покажи эту штучку.

— Кому показать?

— Скоро узнаешь. Тогда поймешь. Он все для меня сделает. Это друг моего бывшего мужа.

— Питон?

— Питон… — вздохнула Татьяна. — Пока ты учился, женился… мы с ним три года загорали на Кубе. Потом, уже в Союзе — расстались. По-хорошему, насколько это возможно. Впрочем, ты не ревнуй. Это же не муж, а друг мужа. Просто друг, правда… Вполне может так оказаться, что это ты понадобишься Питону куда больше, чем он тебе… Тебе пора. Потом разберешься во всем. А если не будет нужды, то просто останется память.

— Опять тайны Мадридского двора, хоть бы раз обошлось без загадок…

— Никаких загадок, милый. Я люблю тебя. Помни об этом. Впереди трудные годы. Но я все равно буду любить тебя. Чтобы помочь выжить. Любовь помогает даже издалека. Даже если мы никогда не встретимся больше, любовь все равно помогает.

— Я тоже люблю тебя! Ты тоже помни об этом! — Валерий Алексеевич отцепил с лацкана пиджака свой интерфронтовский значок — редкий по форме, такие не раздавали сторонникам тысячами. — Вот, возьми на память.

— Анатолий Мурашов… не простой лейтенант, ты, наверное, понял. Но он и в самом деле твой друг, это ты тоже запомни, Валера.

— Омоновец?

— А что, есть другой Мурашов?

— Кто же ты — радистка Кэт?

— Я… радистка Кэт. Поцелуй меня и иди. Ты ничего никому не должен! Ты все делаешь сам и по собственной воле. И этим ты отличаешься от меня в лучшую сторону. Поручик.

В тетрадках Иванова это было подписано так:

«Из моих переводов латышской поэзии.
Авторов не помню за давностью лет.
Нашел случайно в старом, блокноте…
В мое тело вселилась боль.
Я, кажется, скоро умру.
Но на вишню рядом со мной
Лезет девочка поутру.
Как чертовски болит…

Сердце галопом вскачь.
Но в море, пылая, горит
Солнце, как желтый мяч.
Все надо просто стерпеть,
Пусть факелом жжется боль.
А девочке хочется петь.
И взгляд у нее голубой.
Вон, небосклона вдоль,
Туча ползет. Над ней
Смеется девочка, как любовь
Моих оставшихся дней.
Болит. Но видишь, ветви полны
Вишен, нот, голосов.
И если даже дни сочтены,
В ком-то начнусь я вновь.
Дома ли я? Милые… Да.
Но сердце мое не дома.
По голубым мартовским льдам
Ушло к местам незнакомым.
И вовсе не с вами, милыми, мне
Беседовать вечерами —
С сорокой на мшистом лесном валуне.
Милые! Нет, не с вами.
Снегом последним растаю весной,
Соком живым сольюсь я с землей.
Слезы прощанья приникнут к корням —
Влагой и пищей зеленым росткам;
И сладко дыхание ты затаишь
От жажды ростков
И легко побежишь
Жизни навстречу и счастью навстречу
В мой вечер последний
И первый мой вечер».

Глава 13

— Библиотека Конгресса США просит высылать ей все номера «Единства». Обещают перевести на наш счет требуемую сумму… — Иванов скептически разглядывал узкий, длинный конверт, марку со статуей «ихней», американской, Свободы. — А вот еще одно письмо из Штатов, что-то янки нас завалили почтой сегодня: — «Будучи американским профессором, специалистом по истории русской политической мысли, я собираю материалы о современном русском патриотическом движении». — Смотри-ка, Петрович, американец, а чует правду, называет нас *русским патриотическим движением,* и никакой «Интер» его не обманывает… Так, а дальше что у нас?.

«.В связи с этим я нуждаюсь в материалах о деятельности Интерфронта. В Библиотеке Конгресса, крупнейшем книгохранилище США, нет ни одного экземпляра газеты «Единство». (Теперь будет!) Нет ее и в других библиотеках нашей страны. Летом 1989 года, находясь в научной командировке в Москве, я, в поисках материалов об Интерфронте, обратился в библиотеку имени Ленина, но мне сказали, что газеты из союзных республик находятся в хранилище, расположенном за пределами Москвы, в городе Химки, куда доступ иностранцам закрыт. Случайно мне в руки попали три номера вашей газеты за сентябрь, из которых я узнал Ваш адрес. Я хотел бы стать подписчиком вашей газеты с тем, чтобы получить все ее номера, начиная с первого. Готов платить за подписку как в долларах, так и в рублях. Если помимо «Единства» редакция располагает и другими материалами, освещающими деятельность Интерфронта (программа организации, листовки и т. д.), я также готов приобрести их для своей научной работы.

Заранее благодарю Вас за внимание, с уважением, профессор Даррелл П. Хаммер».

Ага-ага…. Университет Индианы, депатмент… то бишь отделение политических наук.

Это они, значит, ажно в Индиане без нас жить не могут, Петрович!

— Пошли их на хер, Валера! — Сворак на секунду обернулся в сторону коллеги, не прерываясь в любимом занятии — копании вслепую в темных недрах огромного сейфа.

— Ну зачем же так сразу на хер? — рассмеялся Валерий Алексеевич. — Отдам Наталье, пусть платят, да и лишний след в истории не помешает. Пусть даже за океаном.

— Чего это ты в историю уходить собрался?

— Это не я собрался. Это время наше в историю уходит, Петрович!

— Тю-ю-ю! — присвистнул неожиданно Сворак. — Нам бы в истории лучше не попадать, а в историю уж тем более. Если выиграем наше безнадежное дело — сам учебник напишешь, какую хочешь историю, такую и сочинишь. А вот если… Тогда уж лучше в историю не попадать, ты мне поверь, старому сотруднику.

— Верю, верю всякому зверю, а тебе, ежу. — Валерий Алексеевич собрал в папку бумаги и решительно поднялся из-за стола. — Я к Алексееву! Ты есть, если что?

— На месте, на месте. — Сворак тщательно проворачивал ключи в многочисленных замках сейфа.

Иванов сделал ручкой секретарше в приемной, спросил глазами — не занят ли шеф? — деликатно стукнул для проформы о косяк обитой черным дерматином двери и тут же вошел.

Анатолий Георгиевич приглашающе показал на ряд мягких стульев у приставного стола, снял очки, протянул теплую мягкую руку.

— Что новенького, Валерий Алексеевич?

— Текучка. Письма вот американцы шлют, называют нас *русским* патриотическим движением, между прочим.

— Ну, они-то поумнее Рубикса будут… Хотя Альфред Петрович нас именно за это и не любит, за русское.

— Копии я вам принес и переводы тоже.

— Спасибо, я посмотрю.

— А вот это перевести не успел, гляньте краем глаза, тут все просто, трудно не понять.

Но интересно.

«As you well know General Seaetary Mr. Gorbachev is working very hard to improve social justice and living conditions in Soviet Union. To accomplish this task he needs masive financial assistance from the Capitalist lands. Mr. Boris Yeltsin on his recent trip to the United States requested our organization to work with American Congress to help obtain the necessary money.

As you know the Congress is very sensitive in questions on democracy and personal freedom. The American leaders still consider the Baltic lands as occupied by the Red Army, and all Russian citizens in Baltic as imperialists. International Front in the United States is considered as Russian imperialist force. To make our work, to obtain funds to rebuild economy of Soviet Union, as easy as possible we respectfully request your organization to discontinue provocations that alarm the Americans. Of highest concern and for the cause of Soviet Union, most damaging is the wide publicity about alleged

attacks on Baltic natives by supporters of the INTERNATIONAL FRONT. Please be more careful. In the West too many people still think, that Russians are semi-civilized. For our common cause it would be best to keep the above matter strictly confidential as far as the Baltic natives are concerned. Please be assured that your full cooperation will be richly rewarded.»

— Давайте я с листа попробую перевести общий смысл, за тонкости перевода не ручаюсь… Э-э-э… «Как вам хорошо известно, Генеральный секретарь г-н Горбачев трудится очень усердно, чтобы улучшить. бр-р-р-р. социальное правосудие и условия жизни в Советском Союзе. Чтобы достичь этой задачи, ему нужна массированная финансовая помощь от капиталистических земель?!…стран. Г-н Борис Ельцин во время его недавней поездки в Соединенные Штаты просил нашу организацию работать с американским конгрессом, чтобы помочь получить необходимые деньги. Как вы знаете, конгресс очень. черт!… чувствителен в вопросах демократии и личных свобод. Американские лидеры все еще рассматривают Прибалтику как оккупированную Красной армией, а всех русских граждан в Прибалтике как империалистов. Интернациональный Фронт в Соединенных Штатах рассматривается как Русская (с большой буквы пишут! А! Это в смысле российская или даже советская…) империалистическая сила. Чтобы выполнить нашу работу, чтобы получить фонды, чтобы восстановить экономику Советского Союза, так легко, как только возможно, мы уважительно просим. та-та-та-та-а. вашу организацию прекратить провокации, что станет сигналом для американцев.

С точки зрения интересов репутации Советского Союза наибольший вред ей принесет широкая огласка возможности. э-э. нападения на коренное население Прибалтики сторонниками ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ФРОНТА. Будьте осторожны. На Западе слишком много людей все еще думают, что русские… ешкин кот!.. полуцивилизованны. Для нашего общего дела было бы лучше, чтобы содержание рассматриваемого вопроса было строго конфиденциально, о чем заботятся также и уроженцы Балтии. Можете быть уверены, что ваше сотрудничество будет щедро вознаграждено.»

— Да уж, чего тут не понять… — вздохнул Алексеев. — Однако и тут и там упор на слово «русский». Они позволяют себе называть вещи своими именами, в отличие от Горбачева с компанией. И от нас…

— Не стесняются просто. Для них то, что война идет с русскими, а не с советскими, — аксиома. Ну а «богатое вознаграждение» пусть оставят «Равноправию». Тем более что за

«организация» бумажку прислала, вы уже поняли, наверное. По языку видно — кто-то из эмигрантов писал, к тому же недавних. И явно не русскоязычный — латыш или эстонец.

«Капиталистических земель», па-а-нимаешь. Наши так не напишут, американцы тоже.

— Ладно, это все повод для будущих размышлений. Нам с вами еще многое надо обсудить с точки зрения главных мировоззренческих вопросов, Валерий Алексеевич. Доверительно обсудить, как вы понимаете… Так что я, честно говоря, не в восторге от перспективы вашего длительного отсутствия. Вы все-таки решили ехать в командировку?

— Решил, Анатолий Георгиевич! Северо-Запад мы, в меру сил, уже охватили. Горький, Воронеж, Ярославль… тоже. Надо продвигаться дальше по всей России. Надо творить свою мифологию, пока не поздно. Создание положительного мифа необходимо даже в том случае, если. Ну, в общем, если. Пусть что-то останется от нас — это тоже результат. Посеем семечко, когда-нибудь прорастет, хотя бы памятью о том, что мы были и мы сопротивлялись. Я не очень-то надеюсь, что «гласность» в случае развала Союза будет касаться и нашей деятельности. Перепишут историю в момент, и получится, что все народы Советского Союза дружно и единогласно решили выбрать «свободу и независимость», а говоря проще — сами виноваты будут в том, что выйдет в результате.

На этот раз все будет еще грубее, чем в Кратком курсе истории партии. Просто не останется никого, кто будет заинтересован в сохранении альтернативной информации.

— Возможно, вы правы, Валерий Алексеевич… Насчет «никого» — это вы перегнули в полемическом задоре, так сказать. Нуждаться в правде по-прежнему будут многие, очень многие. Но вот силы, альтернативной Западу, действительно может не остаться. Я не имею в виду мусульманский фактор или какие-либо внутренние противоречия между англосаксами. Ладно, езжайте! Только вот Игорь Валентинович тоже что-то не очень хочет вас отпускать.

— Я с ним сам поговорю сейчас, с вашего позволения. У меня для Лопатина другие аргументы найдутся. — Иванов хитро усмехнулся.

— Ну, с Богом! Зайдите еще ко мне перед отлетом. Я попрошу Татьяну Митрофановну помочь вам с билетом на самолет — для нее, как вы знаете, в аэропорту проблем не существует.

— Спасибо, Анатолий Георгиевич!

Алексеев проводил Иванова до двери и попросил сидевшую в приемной Татьяну зайти к нему.

Конечно, вопрос с давно задуманной Ивановым пропагандистской поездкой по крупнейшим центрам Сибири и Дальнего Востока можно было решить и с одним Алексеевым. Но Лопатин ревниво относился к своему положению сопредседателя Движения, и ни к чему было осложнять отношения с ним ни себе, ни шефу.

— Игорь Валентинович, добрый день!

— Добрый, коли не шутишь! — Лопатин — высокий, сильный, просто «настоящий полковник», каким и был в принципе, — решительно отодвинул в сторону документы и пригласил Иванова садиться.

— С чем пожаловали, Валерий Алексеевич? Как дела у пропагандистов и агитаторов?

— Надо прояснить планы на будущее, — уклончиво ответил Иванов. — А дела у нас как всегда. Людей нет И вряд ли будет! Надо оптимизировать как-то работу тех, кто еще остался, чтобы и их не потерять. ЦК ведь переманивает потихоньку — зарплатками, машинками, пайками. А ведь у них свой аппарат — вот бы и пользовались! Чего они к нам руки-то тянут? Хоть бы копейку вложили в тот же видеоцентр! Нет! Только пользоваться. А бюджеты у нас, вы лучше меня знаете, разные.

Иванов сознательно перешел в наступление, предполагая, что теперь уж не ему придется докладывать, а лидеру, слишком тесно повязавшему себя с Рубиксом, оправдываться. Опытный руководитель — Лопатин — игру, конечно, понял, но не принял.

— Ты, Валера, мне голову тут не забивай своими проблемами! Твои люди — ты с ними и работай, и ты с них и требуй. А то, что мы ЦК помогаем в информационной работе, так нам это только плюс. Нам не делиться надо, а взаимодействовать покрепче! Он мне еще выговаривать будет!

— Я вам не выговариваю, Игорь Валентинович, я у вас, как у старшего товарища, совета спрашиваю. — спокойно парировал Иванов.

Лопатин широко, по-киношному, улыбнулся и оглядел Иванова.

— Молодец, пропагандист! Ему слово, он мне два! Ну, это хорошо. Так что ты хочешь?

— Подпишите командировку по Сибири и Дальнему Востоку.

— Думаешь, это необходимо сейчас? Докладывай резоны!

— Я ведь не просто прокатиться собираюсь, Игорь Валентинович. Помимо чисто пропагандистской работы считаю возможным решение следующих задач. Первое — наладить четкую взаимосвязь и взаимопомощь, между прочим, с партийным руководством еще не охваченных нами регионов

России. Знаете, что союзников в Москве нам искать не приходится. В Питере и вообще европейской части Союза у нас связи крепкие и давно уже работают. Телевидение и пресса, ну, часть, по крайней мере, нас там любят и с нами взаимодействуют. Кое-какая материальная помощь — и аппаратурой и бумагой — из Кондопоги хотя бы — поступает. Урал — становой хребет державы, так его перетак, тесно обложен дерь-мократами, как и Москва….

— Так ты же вроде сам с Урала?

— Пермяк — солены уши… по родителям. Но это, увы, дела не меняет. Я предлагаю окучить Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Владивосток. Областные и краевые центры. Самим нам небезынтересно узнать реальную ситуацию и настроения на местах — раз. Наладить связи — два. Подписать там с местными отделениями Союзпечати договоры на распространение «Единства». Хотя бы тысяч по пять на каждую область или край. Прибавка к нашему тиражу может выйти весьма весомая. Это большие деньги, учитывая сегодняшнюю стоимость номера. Деньги — гарантированные, с предоплатой! Себестоимость тиража за счет его увеличения сократится — это тоже деньги. Плюс — выходные данные с тиражом, резко увеличенным на десятки тысяч, — это прямая политическая выгода. Ну и, конечно, пропагандистский эффект от распространения нашей газеты от Калининграда до Владивостока. Там, глядишь, и местных корреспондентов зацепим — будут нам писать с мест — тоже для газеты немаловажно! Да и я отпишусь подробно серией очерков по результатам поездки через всю страну! Будем хорошо выглядеть по сравнению с тем же ЦК КПЛ — они-то, при всех своих возможностях, за пределы Латвии ни шагу еще не сделали! Но тем лучше. Значит, когда я появлюсь у местных секретарей по идеологии — они будут заинтересованы мне помочь и вообще сотрудничать.

— Красиво поешь! Кстати, ты же у нас беспартийный?

— Так это еще лучше! У нас же самостоятельное движение? Вот и будет им смычка партии с народом!

— А ты уверен, что сможешь добиться подписания договоров с Союзпечатью?

— А там, я думаю, Союзпечать пока еще все делает по указке крайкома-обкома. Будет контакт — будет договор. А для нас — большие деньги и огромный пропагандистский эффект! И они себе галочку поставят куда надо… если не побоятся, конечно.

Мы с Васильевым подготовили ряд документальных фильмов — буду их активно использовать там — и на пресс-конференциях, и на региональном телевидении — большой охват получится, да

и эффект посильнее, чем от простого выступления с трибуны!

— Сколько тебе нужно?

— Месяц и тысяча рублей!

— Уложишься?

— Не первый раз.

— А договоренности есть предварительные на местах?

— Нету. Прилечу и сразу к секретарю по идеологии. Или как там у них? Заведующему идеологическим отделом. Удостоверение наше есть, командировку официальную вы подпишете, договоры подготовим, подборки «Единства» и видеоматериалы возьму с собой.

— Авантюризмом попахивает, Валерий Алексеевич!

— Трезвым расчетом, Игорь Валентинович. Надо знать истинное положение дел в стране. Если меня оттуда попрут сразу — тоже результат. Будем знать, чего нам ждать в ближайшем будущем.

— Анатолий Георгиевич в курсе?

— Не возражает.

Лопатин отодвинулся от стола, постучал огромными кулаками друг о друга и принял решение.

— Один не боишься?

— Конечно, одному не очень охота, только с кем? Штатных сотрудников у нас. Да и денег в два раза. Сам справлюсь.

— Ладно, готовь все бумаги, я подпишу. И как это Анатолий Георгиевич тебя отпускает?

Кто за тебя остается?

— По оргвопросам пусть Сворак решает все. Ну и контакты с политуправлением и спецчастями тоже без меня — только он. По газете — Рощин. По студии — Васильев. Радио — Паляницын. Справятся — люди опытные. И меня в два раза старше, между прочим, — позволил себе улыбнуться Валерий Алексеевич.

— Иди уж, тоже мне Гайдар нашелся — в шестнадцать лет на белом коне. Давно уже и сам не мальчик, не хвались. До отлета обязательно реши вопрос с ОМОНом. Там у них на днях будет решающее партсобрание. В общем, сам решишь как, но чтобы мы в стороне от процесса не остались. Раз уж там у тебя друзья — используй ресурс на все сто!

— Печень у меня не такая здоровая, Игорь Валентинович, чтоб на все сто, — засмеялся Иванов.

— А ты иногда головой работай, а не только печенью, — едко поддел молодого коллегу отставной полковник. — Но молодец! С газетой и поднятием тиража ты хорошо придумал, деньги нужны. очень нужны, короче. Да и все остальное — грамотно. Лети! Но сначала — Вецмилгравис, до отлета доложишь!

— Наше дело солдатское — сказал «есть» и сделал по-своему, — отшутился Валерий Алексеевич и пулей вылетел из кабинета, несказанно удивив сидевшую в приемной Татьяну Митрофановну.

— Валерий Алексеевич! Вам билет до Новосибирска на какое число бронировать? Они не каждый день летают, имейте в виду!

— Спасибо огромное! Я буду знать точно послезавтра, хорошо?

— Ладно! Я тогда сама выкуплю и вам принесу, а с бухгалтерией мы потом рассчитаемся.

— Вот за что вас люблю, Татьяна Митрофановна, так это за доброту и ласку! — уже вылетая из приемной, выдал на бегу Иванов и послал воздушный поцелуй зардевшейся молодой женщине, супруг которой, кстати, работал начальником Рижского аэропорта.

В своем кабинете Валерий Алексеевич с наслаждением закурил, несмотря на недовольный взгляд Сворака, и выразительным жестом показал коллеге, что с него, Иванова, пузырь сегодня.

— Летишь? — тут же оценил ситуацию Петрович.

— Лечу! Надо проветриться! А то закис тут с бумажками, в самом-то деле. Слушай, Петрович, тут Лопатин выдал информацию к сведению… скоро определяться наши друзья с дубинками будут. Просил подсуетиться. Так что ты имей в виду, если я в ближайший день-два куда пропаду, то я на базе. Ну а если труп мой хладный обнаружат, то тогда… Понял, где моих недоброжелателей тогда искать… Все там же, короче.

— Понял, Валера. — Сворак посерьезнел. — Да, обернуться может по-всякому… В общем, ясно, подстрахую издалека. Не беспокойся. Ну что, обещал — пошли!

— В «Дружбу»?

— В нее, родимую. Рабочий день, между прочим, уже полчаса как закончился! Кстати, смотри, какой подарок мне прислали наши латышские братья!

Сворак неторопливо вытащил из ящика стола и развернул коричневый пакет бандероли.

Там были картонные синие тапочки для покойников и тоненькая белая стеариновая свечка. Иванов повертел «презент» в руках и хмыкнул недоуменно:

— А я всегда думал, что они черные или белые…

— Ну, теперь будешь знать, — хохотнул весело Сворак.

— Ничего, Миша, нас, если что, с голыми пятками зароют, ты уж не надейся на излишний комфорт, — задумчиво протянул Иванов и отмахнулся (самому таких подарков уже прислали

немало и на службу, и по домашнему адресу). — Пойдем скорей, есть хочу, сил нет Сосны сели уж за ели…. Тьфу! Солнце село уж за ели — видишь, заговариваюсь от голода!

— Ничего, ничего, тебе полезно, а то уже животик появляться начал — в тридцать-то лет! — Подтянутый, энергичный — просто живчик в свои пятьдесят — Сворак похлопал товарища по плечу и подтолкнул в сторону выхода: — Не задерживай движение!

Мне долго не давала покоя одна мысль — почему так мало рассказывает сосед о латышах? Все о себе, о своем, о друзьях, о коллегах, о русских, разных таких вчера и сегодня — в России и за ее пределами. А латыши — фоном только лишь проступали в рассказах Валерия Алексеевича. Не выдержал, спросил однажды напрямую.

— А какие такие латыши?! — удивился Иванов. — Нет никаких таких латышей. Да и те, кого таковыми называют, как и хохлы, и эстонцы, и многие другие прочие народы, — гомункулусы — не при делах они, сосед, понимаешь? Как бы тебе объяснить… Я всегда простую метафору привожу. Вот дали тебе булыжником по голове, ты же не будешь его потом пинать в остервенении ногами? Наверное, сердиться будешь на того, у кого булыжник был в руках? Так вот и латыши — такой же булыжник. Нечего о них рассказывать. Как-нибудь, при случае, расскажу тебе о происхождении этой загадочной народности. И о тех мифах, которые выдумала о прибалтах наша демократическая, еврейская преимущественно, интеллигенция. Об их пресловутой «культуре», «цивилизованности», «трудолюбии»… Проще говоря — ерунда все это! Бред! Нет у них ни культуры, ни науки, ни искусств, ни материальных следов цивилизации. А есть русское, немецкое, шведское, польское наследство на прибрежном пятачке, заселенном вчерашними свинопасами, которые сегодня стали считать себя почему-то наследниками русского, немецкого, шведского, польского, советского и прочего добра, включая памятники культуры и выдающихся людей прошлого. Это они — латыши и эстонцы — на самом деле колонизаторы и оккупанты Прибалтики, присвоившие себе не по праву, а по воле политической конъюнктуры то, чего они не достойны. Впрочем, ты сам видишь, что они уже во второй раз все доставшееся им наследство просрали. Такая вот, с позволения сказать, нация. Нечего о них говорить! Говорить надо о нас! О русских! Которые позволили латышам, хохлам, грузинам и прочим нашим «братьям» растащить *не ими* построенную империю. Наши проблемы в нас! В русских! Какие еще латыши, в самом деле? Что они решали в Прибалтике когда-нибудь за последнюю тысячу лет? Не о чем говорить. Себя уважать надо! Свой народ, свою

страну, свою веру, свою культуру, свою историю! Пока они еще есть и пока их не прихвати-зировали вместе с нефтью и газом.

Пожал я плечами. Пошел домой. А спорить не стал. Ну что, Иванов сам не видит нашего повседневного свинства? Этой грязи кругом, этого воровства и взяточничества, этого предательства на каждом шагу, пьянства и наркомании, бедности и просто нищеты? Что он, не видит этого, что ли? Или он думает, что все вышеперечисленное — это не есть основное свойство нашей русской жизни и нашего народа? Окурок подпалил мне пальцы, я выронил его на чисто выметенную брусчатку перед обычной бревенчатой дачей Ивановых. Плюнул сгоряча, полез в карман — там смятая пустая пачка. Бросил и ее наземь, остервенясь непонятно почему. Потом понял почему. Поднял и пачку, и окурок — положил в мусорник у входа в дом Ивановых. Сам на себя рассердился за это и побрел домой, вспоминая великого пролетарского поэта: «Ригу не выругаешь — чистенький вид. Публика мыта. Мостовая блестит.»

Глава 14

Присягу даю один раз!

«За первое полугодие 1990 года ОМОН МВД Латвийской ССР раскрыто 123 преступления. Из них 3 убийства, 2 изнасилования, 7 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, 18 грабежей, 5 разбоев, задержано 10 вооруженных преступников, произведено 9 изъятий оружия, в том числе автоматы. Калашникова, карабины, кольт-автомат, наган, самодельные пистолеты, обрезы, большое количество боеприпасов…»

Сухие строки статистического отчета. За ними людские судьбы, за ними спасенные жизни. Изъятое оружие уже не выстрелит, в спину. Задержанные преступники, придя в себя только в наручниках, говорят: «Теперь мы понимаем, что такое ОМОН!» Преступники это понимают. Понимаем ли это мы?

— Ребята, если ваш отряд расформируют, как это отразится на жизни города?

— День, два будет, тихо. Пока не заметят, что нас уже нет…

Отряд собирали два года. По человеку. Тщательно, взвешенно, осторожно. И вот результат: за всю историю существования отряда, выполняя самые ответственные и опасные задания, омоновцы не потеряли ни одного человека. Организованная преступность пыталась их подкупить — счет шел на десятки и сотни тысяч. Купить никого не удалось. Прокалывали шины у личных автомашин, подстерегали на улицах, угрожали по телефону и в письмах расправой — никто не дрогнул. Есть сведения, что руками мафии пытаются расправиться с ОМОНом и различные политические силы — это уже серьезней. Ответственные работники МВД республики изымали личные карточки сотрудников подразделения. С какой целью, кому эти данные попали в руки? Время покажет. Но самый трудный экзамен омоновцы держат сейчас.

Идет большая политическая игра. Отзываются и назначаются министры внутренних дел. Издаются приказ за приказом, противоречащие друг другу. И растет преступность. И ждет решения своей судьбы отряд профессионалов — Отряд милиции особого назначения. Министры и парламентарии не возвращаются домой ночью на трамваях и электричках, не живут в криминогенных трущобах… Убийством больше — убийством меньше… ОМОН им нужен не для борьбы с преступностью, а как слепая, нерассуждающая сила, как инструмент политики, способный беспрекословно выполнять приказы новой власти. Но если ОМОН заявляет о приверженности Конституции СССР и

данной Советскому государству и советскому народу Присяге? У господина Вазниса — министра внутренних дел — один ответ: «Такой ОМОН мне не нужен!»

Прошло два месяца с тех пор, как господин Вазнис, заступив на свой пост, пообещал омоновцам, при личной встрече «поддержку и ласку». «Неблагодарный» отряд, несмотря на сладкие, правда, так и не выполненные обещания, твердо заявил: приказы, министра будут, выполняться постольку, поскольку они не противоречат. Конституциям СССР и Латвийской ССР, а также Указам Президента Советского Союза.

Впрочем, об этом, сообщалось и ранее — в ответ, на приказ о деполитизации органов внутренних дел. Тогда коммунисты, отряда на общем, собрании постановили — работу парторганизации не прекращать! Над базой ОМОНа в Вецмилгрависе взвился красный флаг.

Могло ли это понравиться сторонникам, нового правительства? Вопрос чисто риторический. Еще 15 августа сего года г. Вазнис направил письмо министру внутренних дел СССР тов. Бакатину с просьбой в порядке исключения реорганизовать (читай — расформировать!) Рижский ОМОН. Мотивировка? «Отряд неэффективен, в Латвии нет проблем, решать которые предназначено подобное специальное подразделение».

Итак, все очень просто: если ОМОН безоговорочно подчиняется лично министру — он нужен. Если руководствуется законом. — Конституцией СССР — отряд нужно расформировать — ведь он может, помешать действовать вне закона!

На непокорный отряд давят, со всех сторон. МВД предложило разделить его на три части и передать в ведение различных служб. Пошел в ход сбор компрометирующих материалов, тщательный разбор необоснованных, как правило, жалоб — на ОМОН ведь есть кому обижаться! Дальше — больше. Отряду, выполняющему поистине боевые, важнейшие задачи, перестали выдавать боеприпасы, прекратили снабжение бензином.

Это, естественно, тут же сказалось на несении службы, сорвало все учебные планы… Лишенные самого необходимого для несения службы, омоновцы вынуждены покупать бензин за свой счет, чтобы не оставить город без защиты.

Напряжение нарастает с каждым днем. В ход пошли нешуточные угрозы… Прибывший в Ригу с целью разобраться в конфликтной ситуации начальник Управления охраны общественного порядка МВД СССР генерал-майор Калачев заявил офицерам отряда: «Очень не хотелось бы направлять сюда (для разоружения?!) Московский ОМОН!».

И снова (московским, генералом!) ставится условие — или

расформирование — или публичное извинение ОМОНа в прессе перед министром Ваз-нисом и выполнение всех его приказов без оглядки на Конституции СССР и Латвийской ССР.

— Мы не хотим, чтобы нас сталкивали с народом и посылали «усмирять» рабочих, ветеранов войны и советских офицеров, как это было у Верховного Совета 15 мая.

— Почему, когда собираются недобитые эсэсовцы, нам говорят, что там мы для наведения порядка не нужны?

— Оружия не сдадим!

— Мы присягали, а присягают один раз!

— Что будет, с нами завтра? Кто нам. ответит?

Кто ответит? Когда кончатся аппаратные игры на высшем уровне? Когда, после суток, проведенных на боевом дежурстве, омоновцы смогут сдавать оружие, а не сидеть на казарменном положении, ожидая провокаций?

Сегодня решается не просто судьба ОМОНа. Решается судьба всей милиции. Быть ли ей репрессивным аппаратом нового правительства или служить советским гражданам и советскому закону? ОМОН не сломить, но где голос тех сотрудников Рижской милиции, что еще в мае заявили о своей готовности стоять на страже Конституции СССР? Где же теперь ваш голос?

Валерий Ржевский

Понятно, что подписывать такую статью своей фамилией члену Президиума Интерфронта Иванову было бы не совсем уместно. Пришлось поставить один из обычных своих журналистских псевдонимов. Так, для омоновцев, прекрасно знавших, чья это статья появилась одновременно в «Советской Латвии», «Советской России» и интерфронтовском «Единстве», Валерий Алексеевич окончательно стал Поручиком. Черт дернул подписаться Ржевским!

Шла осень 1990 года.

Капитан Чизгинцев встретил Иванова на проходной и сразу повел к себе в кабинет.

— Хорошее начало для сотрудничества, Валерий Алексеевич! Очень своевременно появилась ваша статья.

— Не моя — Ржевского. — усмехнулся Иванов, усаживаясь поудобней на казенном железном стульчике, для вида обтянутом дерматином. Барак, он и в Африке — барак. База ОМОНа на окраине Риги, в микрорайоне моряков и рыбаков — Вецмилгрависе, была раньше колонией — поселением. Понятно, что удобств особых с тех пор в четырех приземистых дощатых бараках не прибавилось. Разве что чистота армейская, да в кубриках сержантов и офицеров частенько проявлялся недюжинный и оригинальный оформительский вкус. Много было

советской символики, немного голых баб, зато все свободное пространство под завязку забито оружием самого разного калибра и назначения. Впрочем, так стало уже после января 91-го. Пока что на базе еще не пахло войной — просто казармы спецподразделения, в котором не было срочников, оттого и некоторые вольности. Да и личный состав пока еще числился милицией, хоть и набирался из бывших пограничников, десантников, морпехов и всяких «штурмовиков», в том числе имевших боевой опыт, приобретенный или в Афгане или уже в новых — «перестроечных» горячих точках.

ОМОНы были делом новым тогда, их хорошо вооружали, неплохо обучали — на всякий случай — всему подряд. Тактика действий и особенности применения этих подразделений еще только обкатывались, все дальше уходя от теоретических первоначальных схем. Тем более если дело касалось Прибалтики, где Рижский и Вильнюсский ОМОНы, едва успев сформироваться и получить хоть какой-то опыт, тут же попали в ситуацию двоевластия. Перестраиваться — горький каламбур — пришлось, как всегда, на ходу и не по учебникам. Помогал служебный, житейский и боевой опыт — мальчиков желторотых здесь не было. Теперь понадобился еще и опыт политический. И вот тут-то советчиков хватало. К отряду, как к уникальной слаженной боевой единице, да еще единице именно «отдельной», что позволяло решать многие интересные задачи, — к отряду ручонки потянулись со всех сторон.

Валерий Алексеевич прекрасно отдавал себе отчет в том, какой он имеет реальный политический вес и на что может рассчитывать. С Москвой не потягаешься, с новой латышской властью тоже — не особенно. Ну а Рубикс — это та же Москва, своей головы у него никогда не было. Но есть в физике такое явление, как резонанс. Вот на него-то и рассчитывал, не мудрствуя лукаво, Иванов, предполагая, что в известных ситуациях слаженные действия малых сил могут и лавину стряхнуть, и мост обрушить. К тому же за спиной — полмиллиона сторонников Движения. Не за ним лично, но за Интерфронтом — точно. А это хоть и не административный ресурс и не генеральские звезды на погонах, но все-таки сила. Были бы кости — мясо нарастет. ОМОНу предстояло стать костяком физической силы сопротивления, и, как бы парадоксально это ни звучало, это устраивало на тот момент всех. Если говорить откровенно, конечно. Революций без побед не бывает, даже революций «песенных». А побед не бывает без противников, желательно пострашнее, чтобы легендой стали те, в беспощадной борьбе с которыми прославились герои Атмоды, то бишь, по-латышски,

Пробуждения. Ну а то, что «будильничек» в Москве сначала заверещал, — это дело десятое.

Правда, побед никаких у энфээловцев не получилось, как потом показала история. Бегство безоглядное — было, был страх до потери памяти, позорная сдача в плен и брошенное без единого выстрела оружие — вот она героическая латышская «борьба за свободу и независимость». Не сильно, впрочем, отличающаяся от геройских подвигов Ельцина — то с моста в реку в мешке, то на танк с бодуна, при поддержке десятка потных ручонок, подпихивающих куклу в тряпичную задницу. В конце концов, латыши уже второй раз получили «свободу и независимость» на халяву. Сказать «в подарок» даже как-то язык не поворачивается. Именно «на халяву». Сначала от английской эскадры в 1918 году, потом — от Ленина, потом, в перестройку — от Горбачева с Ельциным да старшего Буша.

— Ладно, все это лирика, Тимофей, — говорил мне сосед, куря сигарету за сигаретой. — А тогда, осенью 90-го, я в Рижском ОМОНе потихоньку стал из частного лица — друга некоторых взводных офицеров — превращаться в лицо официальное, статусное. То есть в члена Президиума Интерфронта и заместителя лидера Движения по идеологическим вопросам. Пьянки-гулянки в доброй компании и веничек в омоновской сауне превратились в работу, а потом и службу, пожалуй. Интересы совпадали. Ничего я, конечно, сам решать не мог, но согласованные телодвижения мы все же порой производили — без этого было никак.

А пока, пока был сделан первый шаг: ОМОН через прессу — открыто и уже *публично* заявил о своей позиции. Билет продавали только в один конец. И выбирать — времени не было. Или прыгай на ходу с поезда, или езжай дальше, только под флагом Латвийской ССР. А поезд идет по рельсам, понимаешь? А, ничего ты не понимаешь, — грустно усмехнулся Иванов и махнул рукой. — Короче, Чизгинцев вызвал по рации Толика Мурашова — другана моего, и поскольку тот был на дежурстве и не мог к нам сразу присоединиться, то пока просто отправил его на «бобике» за водкой — для нас — статью отметить символически. Тут-то я и протрезвел вскоре.

Сидим мы с Юрием Евгеньевичем, аккуратно водку пьем, тушенкой закусываем, знакомимся поближе, так сказать. Я уже запутался в должностях его — то он кадровик, то замполит, то заместитель командира отряда… А командиром тогда уже Млынник стал.

Лымарь ушел на пенсию, а Чеслав — бац! — и командир! Ну что ж — человек боевой — афганец. В штатском да на белом

«ниссане» так просто пан Володыевский. «Лыцарь», в общем. Честно говоря, на такую рас-стрельную должность другой бы и не согласился. На каких таких верхах решалось его назначение — я не знаю, конечно. Оценивать Чеса — до сих пор не берусь, пусть его история оценивает. А судить уж тем более… «Кто? Зачем? Почему?» — это именно те вопросы, на которые никто из омоновцев не знает досконального ответа. Это именно те вопросы, на которые ответить не смог бы, наверное, и сам Чеслав сегодня, даже если бы очень сильно захотел.

С Млынником Иванов общался редко, в случае крайней необходимости. Да и то никогда не обсуждали они никаких серьезных вопросов. Чес знал, кто он такой, — этого ему было достаточно, вероятно. Валерий Алексеевич решал свои вопросы с другими офицерами, и надобности в близком знакомстве с новым командиром отряда у него тоже не возникало. Может, оно и к лучшему.

Когда ритуальные триста граммов на каждого были выпиты, капитан Чизгинцев отдал Иванову пластиковый пакет с водкой, привезенной Мурашовым в немереном количестве, подошел к шкафчику, сунул что-то себе за пазуху и сам проводил Валерия Алексеевича в дальний барак, в кубрик к командиру 4-го взвода.

— Устраивайся, Валера! Толик скоро сменится, отдохнете как следует. Я ведь знаю, что вы с ним вместе эту статью готовили. Он, между прочим, с экипажем, тебя в Дом «печали» провожал, когда ты статью туда отвозил. — Юра усмехнулся в ответ на недоумевающий взгляд Иванова. — Неужто ты их не заметил?

— В голову не пришло, — растерянно протянул Валерий Алексеевич.

— А вдруг бы не доехал? — Капитан легко улыбнулся, обозначив, что разговор пора переводить в шутку.

— Да уж, секретный документ, — так же легко отмахнулся от поданного знака Иванов.

— На-ка вот, примерь! — Капитан вытащил из-за пазухи новенький черный берет. — Нет, на эту сторону. Вот, теперь вижу омоновца! Носи и береги себя!

Дверь за Юрой не успела закрыться, как кто-то поймал его в коридоре. Капитан обменялся с невидимым Валерию Алексеевичу собеседником парой фраз, и дверь снова открылась.

— Валерий Алексеевич, познакомьтесь! Вы наверняка будете часто контактировать по. рабочим вопросам.

В кубрик, наклонив голову в низком проеме, вошел высокий худой офицер. Он выпрямился, острое лицо чуть разгладилось прохладной вежливой улыбкой.

— Старший инспектор аналитической группы майор Чехов

Александр Андреевич. Рад знакомству.

— Взаимно! — Мужчины пожали друг другу руки, встретившись на долгое мгновение глазами.

— Проходил мимо, Юрий Евгеньич мне шепнул, что вы здесь Мурашова дожидаетесь. Думаю, надо познакомиться с Интерфронтом лично. — Майор расслабился, сделал лицо проще, но все равно оно было слишком интеллигентным, мало подходящим к общевойсковой повседневной офицерской форме, непривычной на базе, где все ходили в черных комбинезонах.

Капитан вежливо оставил их вдвоем, но не успели Чехов с Ивановым начать разговор, как в кубрик весело ввалился лейтенант Мурашов. Увидев майора, Толян не напрягся, как почему-то ожидал Валерий Алексеевич, а, напротив, быстро и довольно кивнул, как будто они договорились тут встретиться заранее.

— Не буду вам мешать, господа, мы еще успеем наговориться, я в этом уверен! — Александр Андреевич улыбнулся, пожал еще раз руку Иванову, кивнул по-свойски Толяну и вышел.

— Чего это он вдруг «господ» завернул? — недовольно спросил у друга Валерий Алексеевич.

— Не обращай внимания, Питон — мужик ехидный, наверняка уже прознал, что тебя Поручиком в отряде окрестили. — Бубнов не спеша переодевался в штатское.

— Питон?! — не скрыл своего удивления Иванов.

— Питон! Кто же еще? Длинный, худой, да еще и особист к тому же. Конечно, Питон.

— Так. аналитическая группа.

— А. — Толян с выражением посмотрел на товарища, — какая тебе разница, как это у нас называется?

— Ну, тогда понятно! Тогда будем водку пьянствовать! — Валерий Алексеевич захлопотал по-хозяйски у стола, слава богу, не в первый раз здесь ночевать приходилось, знал, где и что находится.

Уже ложась спать после долгого вечера с обильным возлиянием, Иванов нашарил в потайном кармашке пиджака маленького бронзового питона и со всей силы сжал его, стараясь помять безделушку. Питон не подался своими упругими кольцами и был отправлен обратно в карман. Толян уже вовсю похрапывал на соседней койке. А Валерий Алексеевич еще долго курил да попивал воду из алюминиевой кружки, запасенной предусмотрительно на ночь, чтоб трубы не сгорели. «Хороша была Танюша, краше не было в селе.»

— Ах, Таня, Таня.

Когда запрокинешь голову,
Посмотреть на ночное небо.
Липы над твоим домом
Закрывают почти все звезды.
Голова начинает кружиться,
В шее что-то хрустит,
Из-под ног уходит земля.
Осень — прозрачное время,
Когда обнажаются чувства.
Ты думаешь — не вернусь я.
И радуешься где-то в душе
На донышке высохшем,
Выплакавшем давно все слезы.
А я… А я вернулся уже.
Не дождавшись морозов.
Просто командировка,
Чтобы найти себя.
Знаешь, мне так неловко,
Так хочется, чтобы ты понимала —
Нет никого дороже.
Так хочется сохранить любовь.
Сила земного притяжения
Не дает взлететь.
Верхи не могут.
Низы не хотят.
Ах, как жалко бедных котят,
Рыбка золотая моя.

Глава 15

«Первым делом мы испортим самолеты, ну а девочек, а девочек — потом!» — звучала в ушах привязавшаяся еще в Рижском аэропорту мелодия. Песенка всплыла из юности, с посиделок со студентами РКИиГА в знаменитой общаге на Цитаделес. Будущие инженеры гражданской авиации славились своим здоровым цинизмом, даже в КВН их команда играла когда-то с особым шиком.

До Новосибирска лететь пришлось чуть ли не половину суток. Из Риги вылетели поздно вечером, но промежуточный аэропорт не принимал, самолет посадили почему-то в Кирове, долго мурыжили пассажиров в холодном неуютном здании аэровокзала, потом, как водится, без объявления войны, спешно посадили обратно на борт; и только во второй половине следующего дня Иванов добрался наконец до первого на его пути сибирского города. В самолете Валерий Алексеевич познакомился с попутчиком — молодым шахтером из Новокузнецка. Тот принимал участие в волне забастовок — чуть ли не первых в Союзе. Он рассказал, тихо матерясь, что после забастовок ничего не изменилось — только зарплату немного подняли. А уголь по-прежнему горами лежит вокруг шахт и не вывозится. Шахтер приглашал в гости, а на прощание сказал: «О том, что у вас происходит, надо бить в колокол на весь мир, а вам не дают говорить, чтобы мы не помогли вам! Нас, русских, делят уже сейчас, одних покупают, других подставляют и всех вместе — стравливают друг с другом!» Так, уже в самолете, даря шахтеру подборку «Единства», обнимаясь на прощание, Иванов понял, что не зря придумал эту командировку через всю страну. Хотя, казалось бы, надо сидеть плотно в Риге и копаться в своей песочнице.

Первое, что запомнилось тогда, после утомительного и бестолкового перелета, — это пирожки с курагой. И снег, которого в Риге еще дожидаться и дожидаться. Сибирь и курага как-то не вязались у Валерия Алексеевича вместе. Помня о том, что никто его в Новосибирске не ждет, Иванов сначала снял комнату в новом жилом районе огромного, раскидистого города и только потом, наудачу и налегке, отправился в местный обком партии.

Пятница. Уже темнело. Милиционер у входа долго вертел в руках командировку Иванова и его интерфронтовское удостоверение, листал паспорт. Потом неохотно снял трубку и коротко переговорил с кем-то. На удивление, в этот поздний час в

обкоме оказался заведующий идеологическим отделом — его-то Иванову и было нужно. Какой-то вялый инструктор провел Валерия Алексеевича по длинным — бетон со стеклом — коридорам, затем, через пустую уже приемную, в кабинет высокого по тогдашним меркам начальства.

За столом сидел довольно молодой, энергичный человек, сразу протянувший Иванову крепкую руку.

— Сабанов Анатолий Петрович!

— Иванов Валерий Алексеевич!

В кабинете ярко горел свет, в большое, во всю стену, окно летели сквозь черноту наступающей ночи пушистые белые хлопья, и мерцающим заревом разливался за стеклом огромный незнакомый город. Но почему-то после первых же минут разговора с партийным начальником на душе у Иванова сразу потеплело и рассосался тревожный комок, терзавший душу. Ей Богу, где-нибудь в Лиепае, не говоря уже о Тукумсе, Валерий Алексеевич вряд ли почувствовал бы себя так спокойно и уверенно, как в тот свой первый вечер в Новосибирске.

В который уже раз оказалось, что Россия — не миф, не мечта замкнувшихся на себе русских Латвии. Снова огромная страна встретила Иванова как своего — родного, русского человека. Удивительно, но такая простая, ранее непреложная, азбучная истина о том, что Росия — это дом, как-то стала забываться в последние годы, прожитые в Прибалтике. Да и внимание в перестройку сконцентрировалось на Москве, на московских функционерах, частенько посещавших Ригу и всегда, всегда вставaвших на сторону латышей. А тут, в Сибири, никто не спрашивал Иванова: по какому праву он, беспартийный, тревожит главного идеолога обкома партии — обкома, пока еще контролирующего территорию, на которой не только вся Прибалтика поместится, а еще место останется для какой-нибудь Грузии с Арменией.

Сразу стало понятно, что этот вопрос — о контроле, о реальной власти в области, да и во всей стране в целом, волнует местных начальников очень серьезно. И неожиданное появление Иванова здесь расценивают не как досадную помеху, а как редкую удачу и неоценимую помощь.

— Нет, ты посмотри — молодой парень, беспартийный, а какое огромное дело поднимает в одиночку! — искренне восхищался маленький, жилистый, но басистый Сабанов, немедленно созвонившись с кем-то из секретарей обкома. — Это наш фронт! Не национальный, а наш! Там наши люди! — горячо объяснял он ситуацию невидимому собеседнику. И тут же начал хлопотать — размещение в гостинице, примерный график встреч

с рабочими коллективами, расписание пресс-конференций и записей на местном телевидении и радио.

С Анатолием Петровичем проговорили бы и час, и другой. Но, решив вчерне все формальные и деловые вопросы, Сабанов спохватился и вспомнил, что за плечами у Валерия Алексеевича многочасовой перелет из Риги. Сибирское гостеприимство не заставило себя ждать. Тут же нашелся инструктор отдела, которому предстояло сопровождать гостя во всех поездках, и черная обкомовская «Волга» уже везла Иванова на окраину города — забирать вещи со съемной квартиры, потом, естественно, в гостиницу «Октябрьская». Высотка гостиницы утопала в цветах и мраморе. В буфете официантка стояла за спиной смутившегося Валерия Алексеевича и ловила каждое желание, пока он, наконец, не наелся вволю. Предложили с собой чай и бутерброды в номер, оказавшийся не по-рижски роскошным люксом.

Такие перемены после первых часов в чужом городе — после нервных поисков частников, сдающих комнаты, после стольких, признаться, тревожных мыслей — взбудоражили Иванова, и он долго не мог заснуть, несмотря на усталость после бессонной ночи, проведенной в полете и холодном аэропорте Кирова во время вынужденной посадки. Впрочем, впереди были два выходных дня, можно было спокойно отдохнуть, осмотреть город, подготовиться к встречам. Не тут-то было.

В субботу утром, едва успел Валерий Алексеевич позавтракать, как в дверь номера вежливо постучали. «Горничная?» — подумал было Иванов. Но в дверях появился пожилой, профессорского вида мужчина в дубленке, слегка припорошенной снегом. Ранний гость оказался действительно ученым из новосибирского Академгородка, председателем какой-то местной общественной организации. Организации, впрочем, не простой, а русского национального направления, что для Иванова было тогда в новинку. Откуда неожиданный визитер узнал о появлении в городе интерфронтов-ца из Риги, Валерий Алексеевич не спрашивал.

Он рассказал откровенно, что на самом деле в Латвии происходит, описал национальный состав населения в республике и всю вытекающую отсюда абсурдность претензий латышей на национальное независимое латышское государство. Впрочем, абсурд этот явно поощрялся центральной союзной властью. Разговор получился интересным и долгим. Поражало то, насколько отсутствовала в стране информация о реальных политических процессах, происходящих в Прибалтике. В «эпоху гласности» даже серьезные ученые, социологи в том числе, кормились непроверенными слухами. Ничего нельзя было узнать

достоверно. СМИ полнились общими рассуждениями о необходимости дальнейшей перестройки и демократизации, но понять, как же эти процессы происходят на самом деле в разных республиках Советского Союза, было просто невозможно!

Огромная держава постепенно оказывалась не только неуправляемой, но еще и немой и глухой! Иллюзия информационного вала, захлестнувшего Союз с началом перестройки, сбивала с толку не только народ, но и органы власти на местах. Информации — самой острой, невероятной, горячей — казалось, было полно. Но при пристальном рассмотрении оказывалось, что за деревьями леса не видать, что первые полосы центральных газет посвящены вопросам давно уже неактуальным. Пресса взахлеб переваривала отрывочные факты и фактики давно ушедших дней, а достоверных сведений о сегодняшнем положении в стране было не найти.

Обменялись с профессором контактами и пропагандистскими материалами, пообещались сотрудничать; на том и расстались, договорившись о встрече с ученой общественностью Академгородка при первом окошке в плотном графике уже намеченных в обкоме мероприятий.

Проводив гостя до фойе, Иванов вернулся в номер и долго еще приводил в порядок мысли и чувства. А потом махнул рукой на все и отправился смотреть город. «Там где-нибудь и пообедаю», — решил он. И напрасно. 90-й год оставался 90-м. Недавняя сверхдержава оскудела просто до неприличия. В кафе — просторном и современном, как все в этом городе, — Валерию Алексеевичу не пришлось долго копаться в меню. Выбирать было не из чего. Жидкий супчик, подозрительного вида «котлета домашняя» из черствого хлеба, и на третье — компот, налитый за отсутствием обыкновенных стаканов в баночку из-под майонеза. Про «сто грамм», положенных для снятия стресса, и говорить не приходилось — не было их, ни в каком виде. «Перестроились!» — мрачно подумал, как выругался, Иванов.

Вспомнилось, как в июне, вместе со Свораком, ездили в Горький, только в тот раз — по неожиданному приглашению местного общества «Знание». Там все было хорошо и успешно — огромное количество встреч, телевидение и радио, преподавательский состав местных вузов, студенты — жадный интерес к редким гостям и еще более редкой правдивой информации из Прибалтики. Да еще и завод по производству лобовых стекол для автомобилей в Бору, где тоже удалось им побывать, перечислил немалую материальную помощь на счет Интерфронта Латвии. Но, несмотря на красоту Оки и Волги, Нижегородского Кремля и русской природы, в самом городе

выжить оказалось тоже непросто. Во всех продуктовых магазинах стояли огромные пирамиды с одним единственным товаром — баночками с морской капустой. И все. Да еще страшной крепости «Зубровка» производства местного ликеро-водочного комбината. Как пугали горьковчане — выпускалась эта «Зубровка» чуть ли не на минеральной воде, и потому с ног она валила как выстрел охотника… (И после всего этого прибалты жалуются на отсутствие товаров в Риге или Таллине?! Попробовали бы они пожить так, как *всегда* жили большинство русских людей в промышленных городах, зарабатывавших для прибалтов и кавказцев кусок хлеба с маслом, а себе оставлявших черствую горбушку!) Но самым ярким впечатлением от Горького оказался вовсе не гигантский автозавод и не местные красоты, а небольшая прогулка по пешеходной улице. Шли они со Свораком неторопливо, оглядываясь, где бы поесть в этом городе, а музыка духового оркестра, расположившегося в скверике неподалеку, все равно заставляла ноги подпрыгивать. Но не узнать, не понять никак, что же это, такое знакомое, играет духовой оркестр? Потом сообразили — это была «Ламбада»! Смех сквозь слезы; именно зажигательная ламбада сопровождала всю перестройку. Трагическая комедия улицы — «корчится, безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать…».

В невеселых раздумьях Иванов дошел до огромной реки, не успевшей покрыться льдом, свинцово блестевшей в заснеженных берегах. Еще спешили по Оби последние баржи, но большая часть их уже притулилась по берегам с обеих сторон. На горизонте высились ряды многоэтажек, все было каким-то новым, без привычного для Прибалтики привкуса истории, воплощенной в старинном камне. В Новосибирске властвовали бетон и дерево. А еще — очень все было ровное — ни горки, ни холмика, ни крутого извилистого спуска. В общем — не до романтики. В таком городе нужно было жить для того, чтобы строить что-то новое и грандиозное, решать какие-то сверхпрорывные общесоюзные задачи, что ли. Впрочем, для того, наверное, и отстраивался так Новосибирск в последние десятилетия советской власти.

Вся эта огромность еще дышала, функционировала по инерции, но каким быстрым может быть распад налаженного хозяйственного механизма, Иванов, к сожалению, уже успел увидеть в Латвии.

А потом закончились выходные и… понеслась душа в рай…

Через неделю, прямо в самолете, Валерий Алексеевич набрасывал в блокноте черновик статьи для «Единства»:

..Понедельник начался встречей на ПО «Электросигнал». И

опять вопросы, рабочих, на которые так трудно дать ответ.

— Почему вы не обращаетесь к президенту?

— Помогает, ли вам. ЦК КПСС?

— Как думает помогать русским в Латвии Верховный Совет России? Отвечать приходилось горькую правду. Об истинной роли Горбачева, Яковлева, Ельцина. О том, что скрывается на самом, деле за «демократией», «гласностью» и «перестройкой». Последний вопрос был таким: «Чувствуете ли вы. себя в Латвии как дома?». В этот, момент, я чувствовал себя дома в этом, заводском. Красном, уголке Новосибирска.

Следующая встреча — с аппаратом, обкома. Конечно же, уровень информированности здесь гораздо выше. И вопросы, профессиональные — какова судьба компартии Латвии? Как проходил процесс размежевания? Помогает ли КПЛ Интерфронту? Нет ли опасности отрыва лидеров партии от рядовых коммунистов?

Приятно удивило стремление работников аппарата обкома учитывать уроки «прибалтийской перестройки» и учиться на нашем, зачастую — горьком, опыте. И в тоже самое время даже в этой аудитории подчас высказывались мнения, что повторение прибалтийских процессов в области и вообще в России — невозможно.

Но на улицах города продается пресса прибалтийских «народных фронтов», активно действует, местный «Демократический союз». Время уплотняется, антисоциалистические силы и здесь, в Сибири, все настойчивее рвутся к власти.

Главный же вывод из состоявшейся встречи — необходимость поддержания тесных контактов между коммунистами Новосибирской области и Интерфронтом. Латвии. Взаимовыручка, обмен информацией. Совместная борьба за общие цели — сохранение нашей Родины.

Полуторамиллионный город огромен. Широкие проспекты, современная архитектура и тут же старенькие бревенчатые домики. Красивое метро, в котором после традиционного «Осторожно, двери закрываются!» тот. же голос диктора добавляет: «Всего вам. доброго, уважаемые пассажиры!» Манты по-сибирски рядом с пиццей продаются прямо на улице. Цветы, в подземком, переходе гораздо дешевле, чем. в Риге. Ба! Что-то знакомое! Рядом, с красными гвоздиками у девушки-продавщицы, лежит, стопка газет. — «Советская молодежь» из Латвии!

— Почем, у вас газетки? — спрашиваю.

— Я в них цветы, заворачиваю! — удивленно отвечает, девушка…

И снова встречи, встречи, встречи. Секретари сельских районов и народные депутаты, со всей области. ПО «Электроагрегат», другие предприятия. Новосибирское телевидение, встречи с журналистами местных газет. И напоследок — Новосибирский ОМОН.

Вопросы, вопросы, вопросы…. Особенно после показа наших документальных видеофильмов. Кстати, их переписали и теперь используют в своей работе лекторы обкома. Удалось показать часть документальных съемок и по телевидению.

Нас понимают. Нам готовы помочь и помогают. А ребята из местного ОМОНа заявили бесхитростно и прямо о поддержке своих рижских коллег и готовности поработать у нас пару месяцев бесплатно. «По защите советской власти!» — как заявил один из них.

Последняя встреча была в предприятии «Союзпечать». 10 тысяч экземпляров «Единства» будут распространяться в Новосибирске еженедельно с 1 декабря. Завтра улетаю в Красноярск.

«Мы живем, под собою не чуя страны.» Летя в самолете над огромной страной—странищей—державой—космосом русским — *миром,* в конце концов, Иванов лениво поглядывал на обманчиво неподвижный пейзаж под крылом самолета. «Не чуя страны…».

А кто и когда ее чуял, такую необъятную? Кто мог себе *зримо* представить песенную, всем знакомую строчку: «Широка страна моя родная»? Представить. А «чуять»? Разве что в детстве, стоя на самом краю нашей земли, на берегу, у контрольно-следовой полосы, переводя детские, неза-тертые еще глаза с моря — на густой, высокий можжевельник за спиной, за которым потихоньку начинался лес — березки, осина, орешник. А уже за ореховой рощей поднималась вышка родной погранзаставы. А там… на десяток тысяч километров и даже еще дальше — простиралась Родина. От заставы до маяка было ровно три километра, как-то сказал отец. И сколько же там было всего по дороге, сколько всего поместилось на этих трех километрах пути! И лес, и поле, и останки старых морских батарей, и ПТН с моряками-пограничниками; и потом сам маяк, доты на берегу, длинный извилистый язык мыса из гальки посреди вечно неспокойного моря. И… все. Дальше, на горизонте, стояли пограничные сторожевики. И родной земли больше в той стороне не было. И оттого еще огромней казалась та, *наша* земля, которая оставалась за спиной пограничных нарядов. За спиной солдат, за папиной, маминой и даже за его маленькой спинкой с тонкими обгорелыми плечиками. «Не чуя страны.» Конечно, Мандельштам писал совсем о другом, совсем о другом….

В Красноярске его уже ждали, Сабанов дозвонился из Новосибирска до коллег и отрекомендовал Иванова, чтобы не пришлось тому снова обивать пороги и мучиться неизвестностью — примут ли его и как примут?

Получив в крайкоме талончик на размещение в ведомственной гостинице «Уют», стоявшей на берегу Енисея, Валерий Алексеевич сперва устроился в очередном гостиничном номере. Потом вышел на улицу — здесь его тоже догнал первый снег, как и в Новосибирске. Постоял на набережной, посмотрел на сопки на том берегу и отправился искать ресторан. Оказалось — это рядом. Народ шумно гулял. Иванов не стал долго размышлять о том, что о нем подумают местные товарищи, а просто заказал шашлык и триста граммов «коньяка» непонятного происхождения. Быстро поужинав среди веселящихся, танцующих, флиртующих крас-ноярцев, в большинстве своем почему-то кавказского происхождения, он снова вернулся в гостиницу. На его третьем этаже, в коридоре, в уголке отдыха сидели по-домашнему — в халатиках — несколько симпатичных девушек, наверное, работницы того самого ведомства, к коему относилась гостиница. Они посмотрели на Иванова оценивающе, он, придержав шаг, тоже. Потом вздохнул и пошел себе дальше, в свой номер. Хотелось дорожного приключения, но не хотелось предпринимать никаких усилий. Тем более он в командировке — все доложат местному руководству — будет некрасиво.

Валерий Алексеевич достал из дорожной сумки плеер, закурил, улегся на кровать и, надев наушники, нажал на клавишу — на кассете, вытащенной наугад, оказался Градский:

Жил-был я. (Стоит ли об этом?)
Шторм бил в мол. (Молод был и мил…)
В порт плыл флот (с выигрышным билетом).
(Жил-был я.) Помнится, что жил.

Сосед поставил мне CD с этой песней — я с удивлением узнал в тексте стихи Семена Кирсанова. Высокий голос певца взлетел, дрожа, зазвенел в хрустальных подвесках старинной люстры, заполнил до отказа весь вырицкий дом Ивановых, а потом легким вздохом осыпался, как снег за окном.

..Встань. Сбрось сон. (Не смотри, не надо…)
Сон не жизнь. (Снилось и забыл.)
Сон как мох в древних колоннадах.
(Жил-был я…) Вспомнилось, что жил.

Валерий Алексеевич сидел в кресле, уйдя в себя, да и я его не тормошил. Понял наконец, для чего он мне все это рассказывает. «Вспомнилось, что жил.». Прощался с собой, оставшимся безвозвратно в тех годах, может быть? Понимаю.

Глава 16

Красноярск оказался городом очень уютным. Лесистые сопки по берегам могучего Енисея, новые жилые кварталы, ультрасовременный Театр оперы и балета. Все ухоженно, чисто, красиво. Музей Сурикова — недурная картинная галерея со своим Айвазовским, Маковским, Прянишниковым, Шишкиным etc. Короче говоря, если бы латышским хуторянам показать хотя бы несколько российских городов-миллионников, даже не из самых известных, — они впали бы в прострацию. Но поскольку большинство из них никуда дальше Риги, в лучшем случае — Питера и Москвы тогда не выезжало, то о России у них представление часто было совершенно дикое.

Впрочем, были и иные времена. Например, XIX век или начало XX, когда латыши добровольно принимали православие и на царские подъемные бежали из своих скудных краев, жизни в которых не было из-за немецкого засилья, — в ту же Сибирь или на Дальний Восток. Свидетельством тому служат и поныне сохранившиеся там латышские и эстонские села, обитатели которых вовсе не торопятся вернуться на историческую родину. Впрочем, другая половина прибалтов предпочитает далекие, заокеанские преимущественно, края — лишь бы только не родные поля и дюны на берегу Янтарного моря. Даже удивительно, что кто-то вообще на месте остался. Но неудивительно, что у местных латышей, включая «самых латышских», — фамилии через одного — русские. Так было, так есть, так будет, в чем Иванову еще предстояло убедиться через десяток постперестроечных лет.

Огромное, в имперском сталинском стиле, здание крайкома КПСС казалось нерушимым. Да оно наверняка и сейчас стоит себе на том же самом месте и еще сто лет стоять будет.

Иванова здесь встретили без особого интереса, скорее дежурно. По сравнению с Новосибирском местные партийные работники были живым символом карикатурного кондового застоя 70-х. «Край наш — советский, у нас ничего этого невозможно!» — важно изрек первый секретарь крайкома, подытожив лекцию Иванова о событиях в Прибалтике, прочтенную им местному партийному аппарату. Почти все присутствующие покорно закивали, дескать, да, «у нас этого не будет никогда!». Только редактор местного партийного журнала позволил себе скептически улыбнуться, да и то так, чтобы никто не заметил. Заметил Иванов. И после окончания мероприятия подошел в редакцию «Партийного вестника» — познакомиться и поговорить. Тут-то и полезла голая правда о реальной

политической ситуации в «советском крае».

— Вы, Валерий Алексеевич, карту края в кабинете у Первого видели? — Андрей, редактор, закурил, жестом пригласил Иванова сесть в продавленное кресло. По сравнению с тяжеловатой советской роскошью кабинетов красноярских партийных функционеров редакция «Вестника» выглядела так, как будто в ней с войны ничего не менялось — ни мебель, ни телефоны, ни выщербленный паркет. Хотя в главном коридоре (редакция находилась тут же, на втором этаже крайкома), все выглядело просто идеально.

— Карта поражает! Стены не хватает! Вся Европа в эту карту поместится, и еще место останется! Такие масштабы, просто диву даешься после нашей обжитой тесноты. И завидно, и страшно! — Иванов засмеялся, с удовольствием и сам закурил, расслабился после тяжелых бесед с «бронзовыми» секретарями.

— У нас красота! И все у нас есть в крае! Удержать его становится проблемой. — Андрей осторожно глянул на Валерия Алексеевича, как бы спрашивая — можно ли говорить откровенно?

— Да уж… — протянул Иванов. — Что-то плохо мне верится в то, что край здесь все еще советский. Точнее, край-то, конечно, советский. И люди советские! А вот власть потихоньку переходит, не знаю уж, как они у вас тут называются, эти люди. но власть к ним уходит!

— Заметили? — Андрей нахмурился, невольно посмотрел на массивную дверь — плотно ли прикрыта.

— Да о чем говорить? Под стенами крайкома «Атмода» продается — газетка народнофронтовская из Латвии. Про демсоюзовскую макулатуру даже и не вспоминаю.

Просил у Первого помочь с бумагой — достать для нас, не бесплатно (!) на Красноярском ЦБК…

— Смеетесь? Да у нас «Красноярский рабочий» уже второй месяц не выходит — крайкому на партийную газету бумаги не дают!

— Ага! «Власть у нас советская».

— Я вас что про карту-то спросил… На такую территорию нас остается сорок человек всего в крайкоме, включая уборщиц! Сокращение штатов, понимаете? Самое время, в общем, сокращаться! — Высокий, широкоплечий, черные как смоль волосы — прямо Прохор из Угрюм-реки, — красавец редактор ослабил галстук, потом и вовсе скинул пиджак на спинку стула. — Все у нас все понимают! И про Яковлева, и про Горбачева. И даже про нашего первого секретаря. Только попробуй скажи хоть что-нибудь, тут же напомнят о партийной

дисциплине или просто выкинут вон, да еще так, что никуда на работу не устроишься!

— Ну, это мы проходили, — невесело протянул Иванов. — У нас принадлежность к Интерфронту тоже многим работы стоила, особенно если коллектив вдруг латышский попадется. Правда, у нас все поделено — латыши поют, танцуют и управляют, а русские на заводах да стройках корячатся. Но вот то, что вы говорите, Андрей Матвеевич, это уже пострашнее будет. Потому что это.

— Да! Потому что это не Латвия, а Россия! Сидит такой вот — весь из себя «советский» — партийный начальник, не будем показывать пальцем, — понизил Андрей голос, — и докладывает наверх и вниз: «Край у нас советский!» А все нити управления уже отдаются потихоньку. И, конечно, не кому-то местному, снова наверх, снова в Москву. Только уже другим людям. Придет время, и все разом переменится, и никто ничего не поймет, и не вякнет даже. Опять же потому, что это — Россия! А потом делить начнут! А у нас есть что делить! Алюминий, нефть, газ, другие природные ресурсы, лежавшие до поры под спудом, — все уйдет из страны и от того самого «советского народа»!

— А что же народ? Безмолвствует?

— Народ… народ у нас хорошо помнит, что такое сопротивляться… Еще с Гражданской войны. Или терпеть будет, или начнет независимость от Москвы объявлять, тогда вспыхнет почище, чем в Прибалтике или даже на Кавказе! Кавказе. У нас, кстати, летом, на день ВДВ, погромы были. Азербайджанцев-торговцев гоняли по всему Красноярску. Пришлось даже специальный эшелон собирать и вывозить их централизованно из края — от греха подальше. Достали народ тараканы-перекупщики! Но это — максимум народной инициативы. А потом… страна у нас централизованная, иначе нельзя с такими просторами — еще Карамзин писал.

— Помню, помню. маленькая страна может быть республикой, средняя — конституционной монархией, а такая, как наша, только самодержавием управляться может. что-то в этом роде.

— Именно. Я не знаю, чего больше бояться? Меньше зла будет, может быть, если только власть наверху резко сменится, да страна не распадется. А вот если каждый край, каждая область на себя тянуть начнут? Да экономика гавкнется? И что тогда? Автаркия? Гражданская война? Нас китайцы мигом подберут тогда. А вас — американцы, или кто там еще? Англичане, что ли.

— Ну, мы-то, русские в Латвии, при любом раскладе тогда оказываемся в заднице, извините за грубое слово.

— И никто вам, дорогой вы мой человек, не поможет! — Андрей, впервые, наверное, за долгое время выговоривший то, что давно сокровенно лежало на душе, вздохнул вдруг с облегчением. — А! Гори оно все… Давайте лучше я вам город покажу! Город у нас просто замечательный, лучше — во всей России нет! А природа какая! Поехали, у меня своя машинка есть, покатаю! Да! Вот вам в подарок, на память о нас, чтобы не только Первого помнили.

Сборник Распутина, выпущенный местным издательством, до сих пор стоит у Иванова на книжной полке. Приятно вспомнить, с какими людьми иногда сводила судьба. «Живи и помни», значитца…

Буквально напротив крайкома Андрей показал гостю подвальчик — кафе «Рига». Посмеялись, выпили немного за встречу. Закусили красной рыбкой, запили соком из морошки, кофе так и не дождались. А назавтра Иванов все-таки начал отрабатывать программу поездки. Встречи на предприятиях, пресс-конференции, показ привезенного видео. Документальные фильмы сильно действовали на красноярцев. «Живых фашистов увидеть в наше время!» — никто из местных не ожидал *такого* от перестройки и демократизации, маяком которых была объявлена Прибалтика. А у Иванова не выходила из головы хитринка в маленьких, мутных, медвежьих глазах первого секретаря обкома, когда он с порога отринул возможность свержения советской власти. «Все, подлец, знает, да еще и участвует наверняка своим бездействием!» — горько думал про себя Валерий Алексеевич, но что делать с этим пониманием — не знал. Однако все *это* просто необходимо было видеть своими глазами, чтобы потом, в Риге, четко понимать, чего на самом деле можно ждать от огромной России.

Осенью купить билет на самолет в восточном направлении, на Хабаровск, к примеру, было практически невозможно. В обкомовской спецкассе перед окошечком покорно сидели и генералы, и директора крупнейших предприятий — ждали, авось повезет. Но Иванова проводили с почетом — и побыстрее; видать, Первый дал команду не слишком задерживать неудобного гостя. Слишком много позволял себе рижанин в своих выступлениях против политики Москвы, слишком неприглядной и страшной рисовал, да еще и наглядно показывал картину будущего страны на примере своей республики.

Открыто никто Иванова не одергивал и ему не мешал. Встречи с народом устроили, выступления на радио и телевидении обеспечили. Но если простой народ сопереживал и сочувствовал и, конечно же, был тот народ и русским, и

советским еще, конечно, то высокое партийное руководство осталось недовольно визитом интерфронтовца. Впрочем, мнение это тоже оставило при себе. Внешне все выглядело пристойно. И снова черная «Волга» отвезла Иванова в аэропорт. Огромный Ил-86 принял рижанина в свое чрево и потащил через низкие облака все выше и выше — к солнцу, к востоку, на другой конец страны, не только казавшейся большой, а на самом деле — необъятной.

Иванов много успел к своим тридцати годам поездить по свету. Был он в Туркмении и в Казахстане, в Эстонии, Латвии, Литве, Белоруссии, Молдавии и Украине, Польше и Германии, много где побывал и в России. Знал он и Урал, и Север, и Северо-Запад, не говоря уже о России Центральной. Теперь вот добрался до Сибири и Дальнего Востока. И чем больше узнавал страну свою, тем больше ему было ее жаль — прямо пропорционально гордости и счастью, которые он испытывал, когда на своем родном, русском языке мог говорить с такими же, как и он, русскими людьми на всем огромном пространстве шестой части суши. И вот, заново обретая в этой командировке свою необъятную Родину, Иванов все чаще думал о том, что может так случиться, что он ее скоро опять потеряет.

Неделя в Хабаровске пролетела быстро. Та же программа, те же утомительные встречи с тысячами людей, с десятками журналистов. И ведь не всегда прием был радушным и ласковым. Приходилось порой жестко спорить, отстаивать свою точку зрения, переламывать настроение аудитории. встречать лицом к лицу откровенные провокации.

Никто никогда не мог сказать, какие настроения царят в том или ином коллективе. Да и инструктор крайкома, по обыкновению сопровождавший гостя на такие встречи, тоже иногда становился лишним раздражителем для запутавшихся и обозлившихся людей. Одно оставалось неизменным. Нигде и никто не представлял себе хотя бы приблизительно реальную картину происходящего в Прибалтике. И никто почти не предполагал, что многое из того, о чем рассказывал, о чем предупреждал, от чего предостерегал Иванов своих новых единомышленников, — уже завтра обрушится не только на окраины Советского Союза, но и на саму Россию.

Из Хабаровска вылететь во Владивосток оказалось практически невозможно даже с помощью крайкома. Постояв пять минут у входа в огромную стекляшку Хабаровского аэровокзала, битком забитую агрессивными и усталыми одновременно людьми, составлявшими — всей своей массой — очередь за билетами. Иванов решил не ждать у моря погоды, а ехать на

вокзал.

На вокзале зато было тихо и пустынно. И, конечно же, все буфеты были закрыты. А поесть в крайкомовской столовой Валерий Алексеевич не успел. Но тут, на втором этаже вокзала, он увидел яркую вывеску с иероглифами. Это был, как нескромно гласила реклама, первый в России кооперативный китайский ресторан.

Делать нечего. До проходящего поезда Биробиджан — Владивосток, на который купил билет Иванов, оставалось еще часов пять. Надо было куда-то деть себя, да и голод не тетка, как известно. Зайдя в кооперативное заведение, Валерий Алексеевич недоверчиво осмотрелся. Деревянные столы, лавки. Пластмассовые циновки — салфеточки кругом, пластмассовые дре-безгучие ширмочки в дверных проемах да пара экранов из псевдошелка с подобием китайской вышивки дешевым машинным способом — вот и весь «китайский» антураж. Официантка — бурятка или кореянка из местных, кто их там разберет? — принесла меню, в котором все позиции были вычеркнуты, кроме одной: «лапша по-китайски в соевом соусе».

— А что, больше ничего нет?

— Нет, только лапша.

— И сколько стоит?

— Написано же — 5 рублей порция.

— Ну, давайте, что ли… — неуверенно протянул Иванов.

Рядом с ним, за соседним столиком, уже устраивался еще один посетитель. Майор-пограничник. Он тоже скептически проглядел меню и тоже заказал лапшу, поскольку деваться и ему, видно, было некуда. Закурили оба синхронно, переглянулись и устроились рядом. Майор протянул руку, не представляясь, просто по-товарищески.

— Вы тут раньше не бывали?

— Первый раз в жизни, — отозвался Иванов. — Буфет закрыт, жрать охота, а до поезда еще пять часов.

— А куда едете, не на Владик?

— Да.

— Ну и я в ту сторону, только до Спасска! Давайте тогда знакомиться!

— Валерий!

— Василий!

Тут подали лапшу. Мужики поболтали ложками мутную бурду в тарелках и крякнули оба, не сговариваясь.

— Н-да, похоже, тут, кроме макарон и соевого соуса, ничего больше и нет — протянул Иванов.

— Да уж, за пять рублев могли бы хоть кусок мяса положить,

для приличия хотя бы! — возмутился майор.

Съели, морщась, по две ложки, встали, матерясь дружно в сторону спрятавшейся официантки, деньги с обоих получившей вперед, — и пошли совещаться.

— Ресторан на вокзале открывается через час, там вроде прилично раньше было, — поделился знанием местных реалий Василий.

— А вы из Хабаровска?

— Нет, в командировке был, а вообще я на заставе, под Спасском. — Майор не особенно спешил раскрываться перед первым встречным.

— Я на заставе родился, — поделился с ним Иванов и рассказал вкратце свою эпопею, упомянув такие детали, которых не мог знать человек, на самом деле границы не нюхавший.

Майор повеселел:

— Так, наш человек, значит! Да еще с Запада! Рассказывай. Что за бардак там у вас творится?! Батя-то твой служит еще?

— В 86-м уволился из штаба округа. Теперь жалеет, что остался в Риге, но кто же знал.

— Никто не знал, не догадывался, — сочувственно покивал Василий. Майор был невысокий, ладный, веселый. Глаза только, зеленые — прозрачные и очень спокойные выдавали в нем офицера бывалого, не по паркетам шаркавшего на службе. Ну, начальник заставы — должность известная — там с паркетами туго обычно, если только застава не в Сочи или в Пирита, прямо на пляже. А уж на Дальнем Востоке

Сошлись быстро. Майора, бывшего по форме, прокачивать нечего было, а тот Валерия Алексеевича раскусил быстро и профессионально; в выражениях стесняться перестал, и скованность перед штатским — чужим — пропала.

Побродили от нечего делать по Хабаровску, который Иванов так и не успел рассмотреть как следует, с утра до вечера разъезжая по организованным крайкомом встречам с трудящимися и военными. Сопки вокруг обледенели уже, снег настиг Иванова и здесь. Зашли на рынок, ужаснулись убожеству, грязи и дороговизне мясных рядов, приценились к шапкам из хонорика — рижанин долго смеялся и не мог поверить, что такое слово и такой зверь (хорек плюс норка) — вообще существуют в природе.

Ну а там и ресторан вокзальный открылся. Не роскошный, но просто хороший оказался ресторан. И пообедали на славу, и водочки понятливая официантка нашла двоим приятным и нескупым мужчинам. Время пошло быстро. Пришел поезд, погрузились в вагон, быстренько поменялись местами с кем-то,

чтобы ехать дальше вместе.

Много пришлось в своей жизни путешествовать Иванову — и в фирменных поездах, и в Р-200, и в заграничных спальных вагонах. Но с тех пор он так и не видел больше такой советской, прямо киношной — из довоенных фильмов — красоты, как в этом Биробиджанском экспрессе. Старенькие вагоны блестели чистотой, белели накрахмаленными салфетками, занавесками и спальным бельем. Все латунное было натерто до блеска, все ковровое — ворсилось без единой пылинки. Чай в подстаканниках был густо-черным и лишь нехотя бледнел от свежайшего ломтика лимона. Проводница выглядела старорежимной горничной — настолько была аккуратна, вежлива и любезна к пассажирам. И, конечно, водки продала мужикам без малейшей попытки возмутиться или сорвать с подвыпивших уже пассажиров лишку.

Впервые за месяц путешествия и ежедневных утомительных встреч с чужими людьми, постоянных яростных споров, острой полемики с журналистами, которым палец в рот не клади — демократия и гласность на дворе, — впервые за месяц Иванов расслабился, оказавшись в компании со своим — понятным и привычным ему человеком — начальником дальневосточной заставы.

Много Валерий Алексеевич приобрел и друзей, и соратников в этой поездке, но все равно там он был скован своей ролью представителя Интерфронта — человека официального, расслабляться было нельзя. А майору хоть и интересно было послушать про латвийские дела, но он не был обязан это слушать, не был при деле, а просто пил водку с хорошим случайным попутчиком, рассказывал о себе, не напрягал и сам не напрягался.

Пили много и весело, но без безобразий. Попрощались перед Спасском, обнялись, и все оставшееся время пути до Владивостока Иванов проспал без задних ног, не раздеваясь, сладко и безмятежно. Но вот уже и знаменитый вокзал Владивостока — вычурный пряничный домик, стоящий на краю земли в буквальном смысле этого слова. Здесь кончались железнодорожные пути, здесь сливался с железной дорогой морской вокзал. Еще не рассвело — над Золотым Рогом и на его волнистой черноте плясали огни военных кораблей; гудели, рассекая темноту, десятки катеров, буксиров, пассажирских суденышек разного калибра, перевозивших вла-дивостокцев с одного берега бухты на другой — как обычные трамваи в сухопутном городе. Сопки, не видные еще в остатках осенней ночи, горели окнами вскарабкавшихся на них жилых кварталов; всюду пахло морем, близким океаном, Блоком.

«Случайно на ноже карманном найдешь пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным — закутанным в цветной туман». «Ты помнишь, в нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда… Четыре. Серых».

А здесь их было не четыре — много, и они были здесь всегда, с основания гавани — и это было волшебно. Неожиданно для себя Иванов вдруг ощутимо почувствовал, как ему не хватало в Новосибирске, Красноярске, Хабаровске — моря. Как давила его громада континентальной суши. А тут, во Владивостоке, он снова у моря. И дышать почему-то стало легче.

Самым приятным было то, что здесь не надо тащиться сразу в крайком партии — знакомиться, устраиваться, убеждать кого-то в своей нужности. Потому и позволил себе Иванов расслабиться в поезде с майором, что заранее решил — сначала отдохнет денек-другой у старшего брата, а потом уж явится отмечать командировку и снова работать, работать, работать — пока хватит сил.

Надо признаться, что и всю командировку по Сибири и Дальнему Востоку Валерий Алексеевич придумал с затаенной целью не только сделать дело, что само собой разумелось, как самое важное, но и повидаться со старшим братом, побывать наконец у него дома, своими глазами увидеть, как живет он тут и служит. Юра был уже капитаном второго ранга, успел жениться, завести двух сыновей. Конечно, брат со всей своей семьей приезжал в Ригу — и не раз, но вот у него еще никто из рижских Ивановых так и не был в гостях. Долог путь и дорог — не очень-то соберешься. А так все совпало и все срослось, слава богу! Братец, конечно, не очень верил, что младшенький — непутевый по семейному представлению о нем — и в самом деле доберется до Владивостока. Но тут уж придется Юрке в очередной раз удивиться.

Валерий Алексеевич подхватил потяжелевшую за время командировки объемистую дорожную сумку и побрел искать такси. Конечно, за этот месяц он раздал почти все подборки «Единства» и другой литературы, раздарил сотни интерфронтовских значков, наклеек, флажков и прочих маленьких пропагандистских радостей. Оставались только кассеты с видеофильмами да остаток материалов для Приморского крайкома. Но зато в каждом городе ему, в свою очередь, дарили свои партийные газеты, журналы, те издания, в которых выходили статьи после его пресс-конференций. И подарки были, и сувениры.

Ехать пришлось неожиданно долго, объезжая Золотой Рог,

поднимаясь на сопки и опускаясь, пока неожиданно не остановились у кирпичного двенадцатиэтажного дома на Чуркином мысе. Отсюда, с большой высоты, хорошо была видна бухта и корабли в ней, а на той стороне прекрасно просматривался центр Владивостока. Как потом оказалось, достаточно было спуститься вниз к пристани, и рейсовый пассажирский катер в пять минут доставит тебя прямо к Штабу флота, к вокзалу, короче, куда угодно.

— Валера! Наконец-то! А то телеграмму дал из Красноярска, а когда точно ждать, так и не сказал! Мы тут волнуемся — пропал мальчик! — Жена брата — Галя, женщина боевая, мигом затащила Иванова в маленькую квартирку, стала раздевать, кормить, звонить брату на службу, одергивать маленьких племянников, чтобы не лезли к дяде, — и все это одновременно. Галка была родом из маленького поселка на китайской границе.

В чертах лица у нее было что-то бурятское, восточное — непривычный для запада страны тип. Закончила в Чите пединститут, по распределению попала во Владивосток, там и познакомилась с молодым лейтенантом Ивановым. Юра после окончания института в Ленинграде немного поработал на военном предприятии в Риге, откуда его вскоре призвали, благодаря корабельной специальности, на флот. Потянув лямку лейтенанта-двухго-дичника, брат прижился на Дальнем Востоке, решил остаться на флоте и служить дальше уже кадровым офицером. А раз остался, надо и жениться. А там и детки пошли — один за другим — мальчишки крепкие и бойкие — Димка и Ванька.

Валерий Алексеевич всегда был для старшего брата объектом насмешек и заботы одновременно. С детства Юрка звал Валеру Рыжим — за веснушки, которые, правда, сошли сами собой годам к четырнадцати, но зато семейное прозвище осталось надолго. Брат был старше на четыре года, а это не так уж мало, особенно в подростковом возрасте. Да и жилось старшему всегда труднее. С первого по четвертый класс, пока семья жила на заставе, он привыкал к самостоятельности в школе-интернате. Потом, уже в Кингисеппе, отец с матерью — всегда занятые — по службе и на работе, оставляли старшего брата присматривать за младшим. Мальчишки и дрались бывало, и играли вместе. Компания у Юры, конечно, была своя. Но если надо было, то младшего он всегда защищал.

Короче, младший — есть младший. И сладкий кусочек, и прощение от мамы — все ему. А Юра учился на «отлично», занимался спортом, готовился к институту да еще отвечал за Рыжего перед родителями. Зато и доверие к старшему у

родителей было всегда стопроцентное, не то что к младшему, балованному, как часто ворчал отец. Хотя какое там особенное баловство может быть у ребенка на погранзаставе или в маленьком приграничном городишке, отрезанном морем от Большой земли? Но так уж сложились роли. Потом Юра с медалью закончил школу, с красным дипломом — институт. А вскоре и вовсе уехал служить на Тихоокеанский флот и появлялся только раз в два года, посмотреть на Запад, повидать родителей — и скорей домой — во Владивосток. Ясно, что не был старший брат таким паинькой, каким часто считали его родители, приводя в вечный пример младшему сыну. Но жизнь научила Юрия Алексеевича, что с родителями, как с тещей, надо дружить на расстоянии. И чем больше оно, тем лучше. Тогда есть шанс прожить собственную жизнь без постоянной оглядки на папу с мамой, которые вечно норовят устроить так, чтобы дети прожили не свою жизнь, а ту, которая не получилась у родителей.

Братья не виделись уже давно — года три, а то и четыре. Засиделись до ночи, и тут неожиданно возникла проблема — у Валерия Алексеевича закончились сигареты. Брат не курил, к соседям за полночь стучаться не будешь. А с табаком в стране было плохо, даже табачные бунты тогда случались в России. Где спекулянты торгуют сигаретами — некурящий брат тоже не знал. Спасла положение Галина. Она полезла в шкаф, вытащила пакет с меховыми шапками, проложенный моршанской армейской махоркой — от моли, — и торжественно презентовала шурину несколько горстей зверского зелья. Иванов возликовал, потребовал газетку, свернул огромную «козью ножку» и отправился на балкон.

Конечно, зашла речь и о причине приезда Иванова во Владивосток. Тот смеялся, отшучивался. Потом показал интерфронтовское удостоверение, командировку. Старший брат по-прежнему смотрел на Валерия Алексеевича с некоторым недоверием, как на обманщика, право. Но тот, привыкнув уже, что в семье его за серьезного человека не считают, махнул рукой, выпил еще рюмочку и завалился спать, благо в крайком партии завтра не обязательно было идти спозаранку.

Засыпая, Иванов успел еще подумать, что семья брата отнеслась к проблемам русских в Латвии как-то чересчур отстраненно, как будто не были там никогда и не жили там; у Юры, по крайней мере, родители, друзья, брат младший, в конце концов. Да и вообще, даже вспоминая о Москве и Ленинграде, владивостокцы говорили: «В России!»

— А здесь-то что, черт возьми? Вы-то где тогда живете?! — сквозь дрему успел еще удивиться Валерий Алексеевич и

мгновенно заснул.

Глава 17

Сияло солнце! В Сибири давно уже наступила зима. Зима еще только начинала подкрадываться к Латвии. Но здесь, на широте субтропиков, на самом краю огромной страны — во Владивостоке — зимою еще и не пахло. Ласковая вода на городском пляже была теплой, а еще — она была такой прозрачной, невесомой, какой никогда не встретишь на Балтике. Тут же, на берегу, среди мокрой гальки, валялись маленькие морские звезды. Далеко впереди никак не кончалось, уходя за горизонт, в блистающий туман, Японское море. А вокруг — на угрюмых, серых сопках — расцвел, раскинулся просторно на берегах красивейшей в мире бухты, заполненной военными кораблями, большой, энергичный, совершенно сказочный город. Так странно звучало после Латвии подчеркнутое в названиях: остров Русский, улица Русская. *Столбили* предки далекий край за собой, не то что теперь.

С утра Валерий Алексеевич вместе с братом спустился вниз, к Золотому Рогу. Вместе они сели на рейсовый катер, как на троллейбус, купили билетики с голубым якорьком и надписью «морской транспорт», и тут же буднично, деловито зашумела вокруг катера вода, открылась со всех сторон панорама Владивостока, перекрываемая, правда, периодически высокими бортами стоящих по берегам бухты эсминцев, ракетных крейсеров, противолодочных и десантных кораблей — Иванов не успевал следить за подсказками старшего брата — просто вертел головой туда-сюда, пока она не стала отваливаться от напряжения и восторга.

На кораблях шла своя, обычная жизнь — экипажи занимались повседневными делами — да и весь город наполнен был черными морскими кителями и бушлатами, белыми чехлами на фуражках и золотом на погонах и рукавах военных моряков. Но тут и там встречались девушки, все как одна — Ассоли. Штатские же мужчины просто терялись на фоне этой бурлящей военно-морской жизни, которой очень скоро придет конец. Владивосток, раньше закрытый город, откроют на все четыре стороны. Американские и японские корабли, явившиеся с «визитами дружбы», будут стоять напротив Штаба Тихоокеанского флота, китайцы заполонят рынки и магазины, а русские. русские сотнями тысяч потянутся с «нашенского» Дальнего Востока на Запад — в Россию. Мысли об этом не покидали Иванова все это ослепительное, сказочное утро встречи с городом мечты, с воплощенным в жизнь Зурбаганом или Гель-Гью.

С двадцатого этажа огромного белого административного

здания, царившего над Владивостоком, открывались еще более чарующие виды, чем снизу, от воды. Валерию Алексеевичу, как гостю, тут же настреляли по кабинетам целую пачку разнокалиберных сигарет, и теперь он с наслаждением курил и пил крепкий черный кофе вместе с заведующим идеологическим отделом крайкома. К счастью, в Приморском крае, особенно во Владивостоке — городе динамичном и разворотливом — не в пример Красноярску, партийные идеологи встретили интерфронтовца из Риги не просто с интересом, но и с воодушевлением. Завотделом — Михаил Юрьевич Шинковский был весел, энергичен, быстро мыслил, а внешне походил на героев старого советского кино — такие черты лица, такие характеры — выразительные, притягательные, цельные — сейчас редко где можно встретить. Не было в Шинковском и его коллегах — Бражникове, Лыкове, Давид-Хане — вязкой безликости, размытости, столь свойственной партийным чиновникам Москвы или Риги.

Первый день проговорили с утра до вечера — крайкомовцы подробно допытывались от Валерия Павловича всех, до мелочей, тонкостей политической ситуации в Прибалтике, Ленинграде, Москве и даже в Сибири, откуда он только что приехал. Рассказывали и о своем — наболевшем. Здесь не стеснялись ругать Яковлева и Горбачева, не боялись предпринимать свои, порой отчаянные, ходы по исправлению ситуации. И вместе с тем прекрасно понимали, что страна идет к хаосу и развалу, что пройдет еще год, от силы два — и все кончится катастрофой. Пытались затормозить наступающее безвластие, чтобы по крайней мере минимизировать потери и упасть как можно плавнее.

Крайком правдами и неправдами заработал валюту, чтобы закупить у японцев десятки современных вещательных радиостанций и разбросать их по Приморью. Партийное радио и свой телеканал необходимо было наладить, чтобы восполнить вакуум информации и предотвратить расползание самых нелепых, провокационных слухов, запускаемых «демократами», просто вцепившимися в богатейший край, мечтающими поскорее оторвать Дальний Восток от России и распродать. История Дальневосточной Республики грозила повториться истинной трагедией.

Тут же, не сходя с места, набросали обширную программу действий, взялись, не откладывая в долгий ящик, копировать привезенные Ивановым видеоматериалы, а вопрос договора о распространении «Единства» в крае вообще решили буквально по телефону — сами отвезли в «Союзпечать» бумаги и отдали прямо

Иванову в руки уже подписанный договор. Пообедали здесь же, в крайкоме, а к вечеру познакомили с начальником отдела городского управления КГБ и попросили о помощи. Нужно было вместе посетить митинг оппозиции, посвященный памятному дню жертв политических репрессий. Одновременно с Ивановым турне по Сибири и Дальнему Востоку совершала его знаменитая тезка — Валерия Ильинична. Но если раньше Валерий Алексеевич все время немного опережал ее, то сегодня они должны были пересечься на митинге, устраиваемом Демократическим союзом. Отказываться Иванов, конечно, не стал. Вместе вышли из крайкома, сели в машину, проехали немного и вышли уже порознь. У памятника Дзержинскому лежал венок из колючей проволоки, подтягивалась и хиленькая демократическая массовка из нескольких десятков дээс-овцев и журналистов. Тут же стоял и фургончик ТЖК местного телевидения.

Комитетчик, бывший, конечно, в штатском, оттянулся немного в сторону, а Валерий Алексеевич и сопровождавший его сотрудник крайкома Изъюров, отвечавший за прессу, взяли в руки по тоненькой свечке, зажгли их и встали поближе к импровизированной трибуне. Когда отбес-новалась визгливо Валерия Ильинична, картавый распорядитель мероприятия с надеждой обратился к невеликой толпе собравшихся с предложением выступить. Стоявшие впереди машинально сделали шаг назад. Тогда Валерий Алексеевич выступил вперед и громко выкрикнул:

— Дайте мне слово! Я рижанин и только что приехал из Латвии! Раздались бурные аплодисменты. Тучная Ильинична просто расцвела и за локоть легко вытащила Иванова прямо под ослепительную подсветку камер оживившихся телевизионщиков. Изъюров напрягся и внимательно следил за развитием ситуации.

— Товарищи! — Иванов откашлялся и набрал воздуху в легкие, привычно форсируя голос. — Я вместе с вами скорблю сегодня по невинным жертвам политических репрессий! Мы вместе сегодня чтим память тех, кто сидел в лагерях, кто был расстрелян и замучен в результате чудовищных политических преступлений против русского народа.

Восторгу присутствующих демократов и журналистов не было предела, таких аплодисментов после первой фразы давно уже не срывал Валерий Алексеевич и на митингах своих сторонников. Видно было, как изменилось и дрогнуло лицо Изъюрова. Иванов улыбнулся ему ободряюще, толпа же поняла эту улыбку как радость от аплодиментов. Операторы наверняка сейчас держали крупный план оратора. И оратор не подкачал.

— Вы все знаете, какая непростая ситуация сложилась

сегодня в республиках Прибалтики!

И я, пользуясь редкой для нас — русских в Латвии — возможностью обратиться к жителям Приморья, хочу сказать следующее.

Визг, приветственный свист, овация на время заглушили Иванова, он уверенно поднял руку и ладонью «притушил» восторг публики.

— Мы в Латвии сегодня стоим на грани великих потрясений. И именно в этот день, в день памяти о трагедии репрессированных наших братьев, я хотел бы предупредить в вашем лице всех россиян о новой опасности! В Прибалтике снова поднимает голову фашизм! Снова людей начинают делить по национальному признаку на людей высшей и низшей расы!

Прикрываясь лозунгами перестройки, демократизации и гласности, народные фронты Прибалтики открыто заявили о выходе своих республик из Советского Союза! Они не спросили половину населения — русскую половину, — хотим ли мы этого? Они грубо нарушили права граждан СССР, попрали все законы нашей страны — разве это путь к правовому государству? Латышские националисты сегодня уже обсуждают закон о гражданстве, по которому русские станут людьми второго сорта, по которому русских лишат по национальному признаку всех политических прав! Избранный недавно путем грубых манипуляций с законом Верховный Совет Латвии уже героизирует латышских эсэсовцев, руки которых по локоть в крови гражданского населения Белоруссии и Ленинградской области. Что ждет нас завтра? Повторение ГУЛАГа для русских в Прибалтике?

На центральной площади Риги, у памятника Свободы под одобрительный рев толпы националистов и западных журналистов ораторы выкрикивают призывы: «Коммунистов — вешать! Вешать! Вешать!» Это ли называется торжеством демократии? Реставрация нацистских идей, откровенное, на государственном уровне, попрание гражданских прав русского населения, призывы к кровавой расправе над политическими противниками — вот что происходит сегодня в Прибалтике! Мы не имеем права допустить повторения 37-го года под лозунгами перестройки! Сегодня, скорбя о безвинных жертвах, мы тем более должны помнить о завтрашнем дне и не допустить новых преступлений, кто бы их ни совершал — Ежов, Берия, латышские красные стрелки или сегодняшние националисты из народных фронтов Прибалтики! Помните об этом, товарищи! Не давайте сбить себя с толку новым фашистам, называющим себя народнофронтовцами или Демократическим союзом! Волки часто

прячутся в овечьи шкуры, помните об этом, товарищи! Спасибо!

Валерий Алексеевич, ослепленный подсветкой телеоператоров, неловко слез с трибунки и под оглушительное молчание ошалевшей толпы да редкие аплодисменты граждан, наверняка случайно присоединившихся к митингу Демсоюза, отошел в сторону.

Истерических воплей опомнившихся лидеров ДС он уже почти не слышал, улыбающиеся товарищи быстренько повлекли его подальше от толпы, усадили в машину и только там дали волю дружному хохоту, вышибавшему слезы.

— Нет! Вы видели?! Вы видели их лица? — Изъюров от восторга толкнул плечом полковника.

— Немая сцена в «Ревизоре». — Более сдержанный комитетчик все равно не удержался от широкой улыбки. — Главное, в эфир ведь все пойдет, по двум каналам! Вы уж там позаботьтесь, чтобы осветили все подробно! — обратился полковник к Изъюрову.

— Нет, ну это же надо, как вы удачно приехали, Валерий Алексеевич! Весь митинг демократов им же под дых вышел! Я так не смеялся уже лет десять, ей богу! — не мог успокоиться крайкомовец.

«Понедельник день тяжелый» и «Диапазон» — самые популярные передачи Приморского ТВ — из всего митинга Демсоюза показали целиком только выступление Иванова. Да еще потом записали с ним отдельное интервью, использовав в качестве дополнительного видеоряда документальные фильмы, привезенные им из Риги. В крайкоме все были в восторге, тем более что телепередачи эти были вполне «перестроившимися» и влияния на них крайком уже почти не имел.

Но снова началась обычная работа — день за днем Валерий Алексеевич встречался с трудовыми коллективами — в порту, на предприятиях города, в университете. Собирали аппарат крайкома, горком попросил отдельной встречи, военные. Дом политического просвещения целых три раза собирал под Иванова разные аудитории.

Не обошлось, конечно, и без пресс-конференции, на которую собрали чуть не всех журналистов края.

Семья брата была, признаться, несколько ошеломлена тем, как встретили во Владивостоке их непутевенького — младшенького Валерку. Сначала удивлялись черной крайкомовской «Волге», каждое утро забиравшей Иванова от подъезда и увозившей в город, а вечером привозившей обратно. Потом, в один из первых же дней, Галка открыла на первой полосе «Красное знамя» — главную приморскую газету и

прочитала там крупный заголовок: «Представитель Интерфронта во Владивостоке». И дальше: «Во Владивостоке в рабочей поездке находится член Президиума Республиканского совета Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР Валерий Алексеевич Иванов. Вчера он встретился с журналистами краевого центра. Валерий Алексеевич подробно рассказал о внутриполитической и экономической жизни республики…» Ну и так далее.

Короче, семья брата испытала шок от родственника, «находящегося в рабочей поездке». Тем более что скоро и телевидение, и радио, и другие газеты сделали подробный отчет о визите Иванова в Приморье.

Валерий Алексеевич только тихо посмеивался. Правда, предупредил старшего брата, что еще в первый же день, когда узнали в крайкоме, что гостиницы Иванову не надо и он остановился у родного брата, тут же навели о Юре справки в Штабе флота — есть ли такой кавторанг и как характеризуется? Но все оказалось, конечно, в порядке, и больше вопросов на этот счет не задавали.

Владивостоком рабочая поездка не ограничилась. Валерия Алексеевича возили в Уссурийск и в Артем — встречаться с местным активом и горожанами — объявления о предстоящей встрече печатались в газетах. Народу поэтому было битком. И народу, как водится разного.

В Уссурийске с самого начала на Иванова дружно напали несколько авиаторов.

— Мы учились в знаменитом Рижском институте инженеров гражданской авиации! Мы по шесть лет прожили в Латвии! Вы все тут врете! Латыши — отличные ребята, они никогда не допустили бы того, о чем вы тут рассказываете, провокатор! — кричали они, перебивая друг друга.

Зал загудел возмущенно — кто на Иванова, кто — на летунов.

— Спокойнее, товарищи! Я не стану томить вас собственными рассказами. Давайте не будем спорить — кто прав, а кто попросту врет. Давайте лучше посмотрим документальный фильм, снятый нами совсем недавно в той самой Риге, о которой у товарищей остались такие приятные воспоминания. Судите сами о том, что вы увидите. Это не художественный фильм, это — голая правда о том, в кого превратились благодаря перестройке, спущенной сверху, те самые «милые ребята-латыши». Да ведь и не только латыши! Давайте просто посмотрим на экран, давайте послушаем — о чем говорят ораторы, к чему призывает правительство Латвии, что происходит сегодня в нашей республике. Всего лишь полчаса терпения, а потом мы продолжим нашу беседу! —

Валерий Алексеевич включил видеомагнитофон и спокойно спустился в зал, сел с краешку, наблюдая за реакцией зала на знакомые до боли кадры.

Эти козыри — документальное видео с демонстраций и митингов НФЛ и Интерфронта, съемки провокаций и издевательских плакатов, прямого противостояния людей у Верховного Совета — и символов, даже просто символов противоборствующих сторон — били наповал любую аудиторию. Да сам факт открытого противостояния на грани гражданской войны, причем не только по политическому, по национальному принципу — неподдельный накал страстей, *образ* ненависти и борьбы, показанные в России, особенно в ее глубинке, шокировали общество. Одно дело — читать газетные статьи, а другое — своими глазами увидеть, *как* это происходит на самом деле и во *что* выливается.

А тут — глаза нациста крупным планом, пот у него под мышками, проступивший сквозь рубаху, смысл его слов, понятный даже без перевода, который, конечно же, был дан латышскому языку в фильме. Свастики, свастики, свастики. Рев толпы, жаждущей крови и превосходства. Наглость оборотней, уверенных в поддержке с двух сторон — из Москвы и Вашингтона одновременно… Разило насмерть.

Уже на пятой минуте фильма притихших враз летунов — выпускников РКИиГА и Рижского авиационного училища, готовившего диспетчеров, — взашей, чуть не пинками, вытолкали из зала. Конечно, для Иванова все эти стычки тоже не проходили даром. Он внешне был спокоен, аудитории не терял, но сердце-то — одно, и оно болело. Позади уже несколько тысяч километров пути, чуть не сотня тысяч людей, перед которыми он выступал вживую, пресс-конференции, стоившие немало крови, поскольку журналисты — народ по определению достаточно подлый и беспринципный. Одному такой марафон тянуть было уже не под силу. И хотя в крайкоме ему предложили еще один рывок — на Камчатку, да еще обещали командировочных и гонорары за выступления, — Валерий Алексеевич отказался. Пора было домой. Жизнь не стояла на месте — ситуация в Риге все больше накалялась, уже телеграмма пришла со Смилшу, 12 на адрес крайкома — срочно вернуться.

Благодарный Шинковский все понял. После лекции в городском клубе Уссурийска Валерию Алексеевичу показали паровоз, в топке которого сожгли легендарного Лазо, отвезли в деревню, в которой зарубили белые Виталия Бонивура. На обратном пути товарищи решили дать Иванову отдохнуть. Заехали на охотничью заимку, попарились в бане, поели

экзотической местной дичи. И путь во Владивосток выбрали покрасивее — через бухту Лазурную и Амурский залив; задарили сувенирами на прощание. Билет до Москвы достали по первому требованию.

Валерий Алексеевич тепло попрощался с людьми, ставшими за это время своими, близкими, надежными — работали вместе, и как работали! Посетовал в душе на то, что в компартии Латвии таких коммунистов в руководстве вряд ли сыщешь, помянул недобрым словом Рубикса и Клау-цена и ощутил, как не хочется на самом деле ему возвращаться в Ригу. Но пора, брат, пора!

Одних договоров с Союзпечатью на распространение «Единства» он вез с собой из разных городов на двадцать тысяч экземпляров. Это были большие деньги для Движения, к тому же деньги, гарантированные предоплатой. Ну и пропаганда — теперь о событиях в Прибалтике люди хоть что-то будут узнавать из первых рук, а не из программы «Время». Налаженные связи тоже дорогого стоят, а главное — сам, своими глазами, посмотрел Валерий Алексеевич в очередной раз на Россию, оценил — чего ждать. И спешил рассказать об этом товарищам в Интерфронте.

Надеяться было особенно не на что. Все решалось в Москве. Будет команда — и наши люди в Новосибирске, Горьком, Владивостоке, да где угодно — восстановят власть и порядок. А не будет команды — рухнет все к такой-то матери вместе с людьми!

Конечно, Иванов делал лишь свой маленький кусочек работы в большом народном Движении… Но зачем тогда, спрашивается, вообще нужен Интерфронт и все, что делал он сам? Ломая судьбу, рискуя будущим?

Средство последней надежды. Должна была быть массовая организация, вокруг которой могли бы сплотиться люди. Должен был быть костяк, на который нарастет новое государство в случае чего. Нужны были люди — и много людей! — чтобы в случае смены нынешнего предательского курса на решительное восстановление порядка в стране — было на кого опереться тем людям во власти, которые на это вдруг да решатся! И еще — самому себе нужно было знать, что ты сопротивлялся до последнего, — и тебе не стыдно уже ни дальше жить, что бы там ни случилось, ни умирать, если вдруг придется. Вот зачем нужен был Интерфронт. Сделанное — не может стать несделанным.

Глава 18

Когда я вошел во двор к Ивановым — у нас калиточка своя между дворами по-соседски сделана, чтобы кругом не обходить, — Марта тут же вымахнула из-за угла дома, рванулась ко мне, узнала, сдержала рык и с достоинством прошла мимо меня в другую сторону — патрулировать участок дальше. Марта — молодая кавказская овчарка. Огромная псина и злая. Во всяком случае, на всех посторонних. У нее чудной окрас — белый крест на груди, как у рыцаря. Цыгане, живущие рядом, за другим — глухим забором, очень Марту не любят и боятся. Но хозяевам всегда нахваливают: «Вот какая умная девочка, какой сторож хороший!» Очень неискренне говорят. Цыгане вообще собак не жалуют. А собаки — их.

Дверь в сени была распахнута настежь: когда Марта во дворе, Ивановы дверей не закрывают. Я зашел, постучался тихонько — нет ответа. Катерина в санатории, в Петродворце, а где сам-то? Я толкнул дверь, прошел по комнатам в кабинет. Валерий Алексеевич сидел в кресле и пил бальзам с кофе. Приподнялся мне навстречу, руку подал, сделал жест — садись, мол, коли пришел. Приподнял литровый глиняный кувшин и поискал глазами… Я понял его правильно, сам достал первый попавшийся хрустальный сто-парик и кофейную чашку — поставил на столик рядом. Иванов налил мне две трети чашки рижского бальзама, а сверху плеснул из турки немного кофе.

— Это рыбацкий кофе называется — латыши научили, когда в море с ними ходил. Не путать с ирландским кофе, пожалуйста, — это совсем другой… коленкор-р.

— Ты что, сосед, ты ведь вроде непьющий?

— Так я и сейчас непьющий. Так вот, кофейком балуюсь, — мрачно пробурчал Иванов. Был он чисто выбрит — вокруг шкиперской бородки, аккуратно причесан; одет по-домашнему, но не в трениках, конечно, — хоть в в гости иди, только что без галстука.

— Первый раз за все время вижу тебя выпившим, ты как немец какой-то, право, — поддел я его зачем-то.

— Думаешь, немцы не пьют? Ха-ха! «А пуще всего, сынок, опасайся непьющих! Либо больной, либо — сволочь!» — так писал отец сыну с фронта, Тимофей Иванович.

— Что случилось-то? Без Кати затосковал, что ли?

— Нет, думу думаю. — Валерий Алексеевич подпер подбородок ладонью, сделал умное лицо и посмотрел вдаль.

— И что за дума?

— Выбирать ли Думу… Лень в Питер ехать — голосовать. Да и голосовать не за кого! — Иванов повернулся ко мне и покачал сокрушенно головой. — Нет, Иваныч, ты только посмотри — семнадцать лет я был лишен права голоса! Последний раз участвовал своим голосом в фашистском так называемом «опросе общественного мнения» — по поводу независимости Латвии. Против, естественно. Ну, там уж голосуй — не голосуй — все равно получишь то, что они подсчитают. Ладно, это история отдельная. Потом, значит, вернулся я в Латвию, после всех своих приключений да получив отлуп от России-матушки. получил статус негражданина, негра то есть, как у нас говорят. Получил персональный код и хрен в рот — вместо политических и прочих прав. И, кстати, пожизненное запрещение натурализоваться в граждане ЛР, как бывший интерфронтовец, — это у них закон такой принят. Ну ладно. Я гражданином этой, с позволения сказать, страны никогда и быть не собирался и не принял бы латвийское гражданство даже из рук Вайры вместе с орденом Трех звезд. Но ведь имей я право голоса — все равно, — не за кого было бы мне в Латвии голосовать! Не за кого! За этих трутней, называющих себя «пчелами», что ли? Да они все из Народного фронта вышли — все эти. проститутки политические. За Партию народного согласия? С Юркансом во главе — первым министром иностранных дел независимой Латвии, добившимся ее международного признания, несмотря на то что треть населения республики осталась в новом государстве без гражданских прав. За Рубикса? Так он сперва сидел, а потом снова стал тем, кем был, — латышским социалистом с ярко выраженным националистическим уклоном. Он даже протеста так называемых «левых» против запрета русских школ не поддержал — пусть, говорит, учатся на латышском — они в латышском государстве живут — эти русские дети! Вот вам и рубикс-кубикс… Не зря мне по секрету дэнэн-ээловцы еще в 90-м году шептали, что Альфред всегда был национально мыслящим латышом и они сами понять не могут, как он на другой стороне оказался! Ну, тут вопрос темный, может быть, умные люди из наших Рубикса специально втравили в первые секретари, чтобы он не стал вместо Годманиса первым латышским премьером независимой Латвии… Это песня особая, с Альфредом.

Так что в Латвии, даже был бы я гражданином, голосовать — после 91-го года — было не за кого! А голосовать по принципу меньшего зла — извините! Не желаю! Для меня русский, продавшийся под видом «русскоязычного оппозиционера» и тем самым оправдывающий «демократичность» всего этого блядского сейма, — не лучше, а хуже самого распоследнего латыша из

нациков! Со своих всегда больше спрашивать должно! Впрочем, русских-то в депутатах теперь и нет в Латвии, собственно. Русскоязычные непонятного происхождения. Ассимилянты — они ведь большие латыши, чем Добелис со Скрастиньшем — одна фамилия русская.

Ну ладно. Теперь я — гражданин России! Все права мне дала Родина-мать. Правда, сначала сапогом пнула, как водится, но потом все равно приняла. И я покорно все это принимаю, потому как не я ей, матушке, нужен, а она — мне! Тем более что все равно — лучше, роднее, свободнее — нет в мире страны! Но голосовать-то в первый раз за последних семнадцать лет, получив паспорт гражданина России в сорок пять… опять… не… за… кого! За «Единую Россию»? Не буду. Там столько ельцинских бюрократов сидит в «партии власти», что даже из-за Путина — не буду! За самого Путина проголосовал бы. Да. Но за хвост из ельцинских прихвостней — не буду! И пускай наш горячо любимый ВВП всем прозрачно объяснил, что «лучше у нас все равно нет» и что да, «примазавшихся и коррупционеров» среди единороссов — не мало. А скорее много. Типа, ответил на вопросы трудящихся… Да я, может, и за Путина проголосовал бы только потому, что «лучших у нас, к сожалению» президентов пока тоже нет! За Миронова проголосовать? Лениво ехать за него голосовать. Пока в Совете Федерации сидит мадам Нарусова и еще бог знает сколько старых ельцинистов и долларовых миллиардеров — не могу.

Жириновского я еще с Третьего съезда Интерфронта знаю. Он у нас гостем был в Риге, выступал на съезде. Я еще чуть было его выступление не зарубил, дескать, что это еще за «либерал-демократы» на нашем мероприятии? Откуда, мол, и что это за либерастические новости? Фотка есть — можешь посмотреть, какой он молодой был тогда — кудрявенький. Только начинал карьеру свою. Он мужик умный, но ведь и я не дурак за него голосовать. КПРФ? Да я бы за Тюлькина с РКРП еще проголосовал бы, просто потому, что он мужик хороший и поддержал меня когда-то в трудную минуту. Но нет их в списке. Ну, про остальных я просто молчу! Не — за — кого! Я в политике — практик. Был, по крайней мере! Идеология где? Где идея, которую можно распространять — пропагандировать то есть?

«Суверенная демократия»? Бред. Тот же «ваучер» наоборот… Нет идеи — нет пропаганды; нет пропаганды — нет агитации. За что агитировать, за какие дела? Ради воплощения какой идеи? То есть идеологический аппарат не работает. За отсутствием внятной идеологии. А государственное строительство без идеологии — туфта. Весь народ должен *догадываться!*

Гениальное изобретение! Идеологический конструктор: «Придумай идеологию сам!» После каждого выступления президента и его доверенных лиц все садятся в круг, как шаманы, и начинают медитировать с целью *угадать,* что сей сон значит — о чем был глас с неба? Как в старом анекдоте про чукчей, метеорологов и прогноз погоды.

Я практик. И я знаю, что без идеи страна рассыплется! Хоть купайся в деньгах, а без идеи — не проживешь. Нельзя такие вещи пускать на самотек — преступно! Зюганов — православный коммунист? Либералы проводят марши пустых кастрюль? Чушь собачья.

1 мая, в День солидарности трудящихся, по Красной площади пройдет под красными флагами праздничная колонна олигархов из русского списка журнала «Форбс»?!

Прибалты призывают ООН и ПАСЕ признать коммунизм наравне с фашизмом преступной идеологией. Наш МИД протестует! Наши статусные политики с пеной у рта доказывают, что нельзя сравнивать коммунистические идеи с нацистскими! А кто первым поставил знак равенства? Уж не новая ли, «демократическая» Россия? Или в этой самой — новой России — не запрещали компартию?! Разве не в России первыми, да-да, первыми выплеснули в СМИ целый океан разоблачительных обвинений, смешанных с чисто геббельсовскими фальшивками о «преступлениях советской власти»? А теперь недовольны ющенковской теорией «голодо-мора», как русского геноцида против украинцев! Но никто об этом вспоминать не хочет — откуда все началось! «Ельцин дал нам свободу!» Теперь стало модно ругать прибалтийские нацистские режимы… А кто *первым,* их признал и поддержал? Россия!

Все немножко беременны. Уже девятый год скоро пойдет этой недобе-ременности. А почему? Страшно! Страшно обозначить идею. Но не будет никто строить и воевать — без идеи. И коррупцию никогда не изжить, если не будет идеи. А политика? Политика без идеи? Выборы без единой идеи внятной у партий? Зоопарк! В моей родной стране. Стабилизец не может быть идеей! Брежневский застой, как путинская идея стабилизации в стране? Идея вечного застоя? *Стабильность навсегда — это идея?!!* Ладно, теперь вот *инновационный* путь развития придумали… Русских слов для обозначения главной идеи страны на ближайшие двадцать лет — не нашлось! Это понятно. Этот фокус мы еще в перестройку проходили — побольше нерусских слов, чтобы никто ничего не понял. Но ведь другой идеи не озвучивает никто. Так за кого прикажете голосовать? Впрочем, это — с одной стороны. С другой стороны, я на все сто процентов согласен с тем,

что революций и перестроек с ускорением на наш век уже перебор — больше Россия просто не выдержит.

За Путина — да, хоть сейчас. Но без довесков! И не надо мне объяснять ничего про политическую целесообразность! Я семнадцать лет был лишен гражданских прав! Я правды хочу! Девственности своей — наросла уж, пожалуй, за столько-то лет — девственности своей политической мне жалко — за «довесков» голосовать! Стыдно мне, Тимофей Иванович! Стыдно! И не голосовать вовсе — тоже стыдно! Хоть и знаю я, что такое выборы и как они делаются в любой стране мира. И не верю я этой «демократической процедуре» ни на грош! Плавали — знаем! Собор собрать, да Путина на царствие, и все. Никаких больше выборов. Пусть головы рубит, пусть брильянтами осыпает — плевать! Самодержец — пусть делает что хочет! Это честнее всех и всяческих выборов. Ну, про международное признание и правила игры, ты мне тоже, Иваныч, не рассказывай!

Я ведь, как та собака, все понимаю! Но вот беда — я ж еще и раз-го-ва-ри-ва-ю! Вот в этом моя беда. Да! Давай еще чашечку! Смеешься? «Практик» предлагает самодержавие ввести? Да, практически это сложновато будет. Опять же, глядишь, завтра у нас на трон быстренько Чубайса усадят, для чего-то ж его берегут? У нас не Британское содружество, у нас «демократия» в стране.

Я сам всех осаживаю, когда начинают Путина ругать, Россию ругать. Говорю, вы посмотрите: что было вчера и что сегодня?! И вместе с тем я твердо знаю, что дальше так нельзя. Дальше — порог, за которым придется товарищу подполковнику отказываться от «легенды». И говорить начистоту, открываясь всем — подлинное имя. Подлинные убеждения. Подлинную историю своего пути к верховной власти в стране. Подлинную цель свою. Легенды больше не катят!

Или ты в ответе за преступления 90-х, или нет Или ты считаешь преступления 90-х преступлениями, или — нет Если не в ответе и считаешь преступления — преступлениями, то так и скажи — *внятно!* Я крови не жажду! Мне просто нужно, чтобы все было названо своими именами. Потому что только тогда в стране появится *почва,* на которой сможет вырасти внятная идеология.

Говорить о курсе на социальную справедливость, сидя перед телекамерами в окружении долларовых миллиардеров, к тому же еще и занимающих важнейшие государственные посты, — это шутка юмора такая? Для последних идиотов? Выступать о социальной справедливости по государственному телеканалу, вся сетка вещания которого наполнена презрением к слабым и бедным, совестливым и неуспешным? Это да, это не СотесЬ/ club

— это гораздо хуже! Я на RBC в одном из интервью с важным госчиновником впервые услышал про «российский язык»! А я-то думал, что хоть язык у нас останется русским, — наивный дурак!

Ладно. Съезжу. Проголосую — получу удовольствие. Потеряю гражданскую девственность, которую столько лет в Латвии берег! А теперь, в России, дома. податься честному человеку — некуда! Никому на фиг не нужен просто честный человек. Никому не нужен просто честный русский журналист. Да еще знающий политическую кухню оранжевых революций, начиная с самой первой — перестроечной. Не нужен! Партию соотечественников два раза публично объявляли в России! Ну, думаю — это потенциал, там такие же, как я, да нас миллионы, да мы!!! В «Аргументах и фактах» печатали, как сейчас помню, — вот-вот зарегистрируем РПС — Российскую партию соотечественников! Я даже с руководством предполагаемым списывался, мне отвечали, что все почти готово, что вышлют мне программу партии.

Академик РАЕН Тупало В. Г. — председатель исполкома РПС — лично обещал!.. Фиг там! Оба раза слили в кусты соотечественников! Или специально власти бренд застолбили, чтобы никто не смог воспользоваться. Или не дали им все же. Как же это можно партию из таких, как я, в России позволить?! Они ж все, мы ж все, на Ельцина злые да на всех, кто тридцать миллионов русских соотечественников продал, — мы не просто злые — мы яростные! «Русские своих не бросают!» Как же… Да таких соотечественников, как я, десять тысяч в партию собери, мы же не будем хреном груши околачивать! У нас опыт есть! И работать мы умеем! И все мы уже знаем и про капитализм, и про дружбу народов, и про Восток, и про Запад — знаем из первых рук!

Нас — не обманешь. И нас, как это в песне поется. нас — не догонишь! — Иванов зло расхохотался и прикурил новую сигарету. — Сколько сотен тысяч, сколько миллионов таких, как я, русских, вернулись на Родину, в Россию, как бы их ни уговаривали в Российском МИДе сидеть по местам и не сметь на Родину соваться?! Миллионы! А у нас ведь родня есть! И друзья у нас есть! И граждане РФ, что еще на местах пока в ближнем зарубежье сидят, но голосовать уже могут! Вот потому и нет такой партии, Тимофей Иванович! И не будет ее в России никогда! И потому программа переселения соотечественников никогда всерьез не заработает! Потому что мы не нужны России как сила! Потому что мы все знаем, как и за счет кого перестройка делалась!

Да! Среди соотечественников — вот лукавое стало слово! — тоже есть и ассимилянты, и коллаборационисты, и просто

предатели. Но их — единицы! Поскольку вранье это все, что русские с латышами на одних баррикадах стояли! Гнусное вранье! Но миф этот — про русских на баррикадах, и про то, что русские за независимость Латвии голосовали, — распространяют уже пятнадцать лет! Чтобы отмыться! Те самые *русскоязычные* единицы предателей, что сами в народных фронтах сидели, — они и распространяют! Потому что сегодня все они сидят в редакциях! А память у людей короткая, Тимофей! Если бы ты только знал, какая у людей короткая память! Вот они мне говорят — Интерфронта не было! Мне! Они говорят — мы голосовали за независимость, нас обманули! Мне говорят! Я не голосовал, я с «независимостью» боролся! И никто меня не обманул! И сотни тысяч русских Латвии — основа Интерфронта нашего, которые после 91-го года в Россию, в чисто поле, уехали, не дожидаясь двадцать лет «программы переселения», потому что не могли пережить предательство, — они тоже за независимость не голосовали!

Ты вот, Тимофей Иванович, смотришь на меня с укоризной. Думаешь, тоже мне нашелся герой Плевны! Да, я не герой. Я простой русский человек. И я знаю, что без России и без русского народа я — никто! Я знаю! И я больше вас — нас, россиян, знаю, какое это чудо, то, что Путин сделал за эти не восемь, нет, за четыре года последних! Вы сами уже не помните, что совсем недавно Березовский еще Кремлем командовал! Уже в XXI веке, между прочим, не в 90-е, а в нашем веке, в нынешнем! И Ходорковский совсем недавно сел! И все еще зыбко и качается! Да я лучше вас это понимаю, вы же не чувствуете опасности ни хрена, вы же живете как водоросли политические — вот Путин и изощряется из последних сил, как бы с таким народом, как мы, и рыбку съесть, и государство сохранить! Я все понимаю. И даже понимаю, почему президент возглавил список. Понимаю, но тошнит меня от этого понимания, Иваныч, тошнит! А еще от того, что я мог бы еще что-то сделать для России, да только не нужно это никому, а если кому и нужно — до того не достучаться все равно — все обсели те, кого в 90-е на места посадниками и столоначальниками посадили и определили. Но нельзя же меня за идиота держать, даже Путину! Он говорит: «Те, кто в 90-е годы занимал высокие посты, — ограбили народ!» А у кого Касьянов премьером столько лет был? А Чубайс? А Кириенко? А Черномырдин? Абрамович? Они что — на лесоповале, что ли, при Путине — лес валят?

Ладно. Я понимаю. бывшие премьеры, министры — носители особо важных государственных тайн — их просто так, без присмотра, не оставишь. Их надо или держать на должностях под

охраной, или… за решеткой. За решеткой пока нельзя, значит — на должностях. Все понимаю. Но все-равно — противно. Одна надежда — Россия страна особая, она даже правителей своих, подчас и самых никчемных, *переделывает под себя.*

Она их под себя, а не они ее, как им кажется!

Вот ты скажи, Тимофей Иванович, мы с тобой идиоты, да? Мы дважды два из путинской речи сложить не можем? А журналюги воют — ах, как страшно, Путин — Пиночет! Ага, с букетом у памятника Собчаку… Ладно, все я понимаю. Тошнит только. Вот и сижу сегодня с утра, кофе пью по-рыбацки. Знаешь, Тимофей Иваныч, ведь россияне многие сами не понимают — насколько замечательная у нас страна! Потому что им сравнивать — не с чем! Не понимают, не ценят, прибедняются вечно, себя жалеют — вот, мол, «у нас-то в России детей едят»! Не понимают, что в России до сих пор социализм не кончился! Катя плакала, когда путевку бесплатную в санаторий получала, и я вместе с ней. Эх! Долго объяснять — все равно никто не верит, кроме тех, кто при капитализме пожил, — какой он на самом-то деле — капитализм! Да фиг с ним, с капитализмом. В Швеции тоже капитализм. В России начала века тоже был капитализм.

Да, сильный человек, не такой, как я, пробился бы, наверное, а я не могу. Силенок не хватает уже. Поистаскался за эти годы. Да ты не кривись так презрительно, Тимофей Иванович! Горько мне и обидно просто, душа ноет и болит.

После нас в самой России столько горя было, столько войн объявленных и необъявленных, столько всего народ перенес! Мы-то ведь, в Прибалтике, просто первыми были! Первыми. И было все это в Риге и Вильнюсе детской игрой по сравнению с той подлостью и с той кровью, которая потом в России лилась ручьем. Но… *потом!* Понимаешь? Потом! Потом! Потом!

Рижский ОМОН — просто символ. И Интерфронт тоже. Символ сопротивления. Средство от совсем уж безоглядного русского позора. Кто-то был, кто-то сопротивлялся. Как мог, как умел! Никакого особого геройства. И вообще, честно говоря, никакого геройства. Ведь присягу исполнить — это не подвиг, за это орденов не выдают! Это просто долг.

В чеченскую войну ребятишки действительно подвиги совершали. И воевали по-настоящему, как нам не довелось. Мне, точнее, я за себя говорю. Это уже война другая была. Другие войны, точнее сказать! Федя Бондарчук вон даже афганскую войну испоганил своей «9-й ротой» паскудной. А настоящая, 6-я рота, в Чечне — вот где герои, а про них толерантно молчат! Чтобы тех, кого в сортире мочить надо теперь не обидеть! А Федя Бондарчук, которого президент за эту киношку по плечику

похлопал, Федя этот понимает, что было бы у нас, если бы в Афгане в 85-м году не 40-я армия наша была, а американцы? А? Какая бы тогда перестройка пошла из «мягкого подбрюшья Союза»? С Запада — прибалты-эсэсовцы, с Кавказа — ваххабиты, с Юга — талибы, науськанные американосами… Да если бы не упредили, не ввели бы войска в Афган еще в 79-м — так в перестройку вообще бы оттуда залили Россию кровью с наркотой пополам! Да только смотрю я на русских людей, и такое впечатление, что нам любой урок не впрок! С закрытыми глазами живут люди, не помнят ничего из того, что было вчера, не видят ничего, что происходит дальше их детской площадки. Ни войн, ни горя русского, ни жертв терактов в своем собственном доме, ни Кондопоги в каждом русском городе ежедневной — ничего не видят, не слышат, ничему сопротивляться не хотят и ничего сами делать не хотят тоже! Горько, Тимофей! Это же мы — это же наш с тобой народ!

Что там говорить, Иваныч! После перестройки такого говна и крови намешали, что все эти *наши* — прибалтийские события просто невинными играми кажутся! Да только вот все *последующее* и страшное дерьмо уже после нас вылезло! После того как нас продали! После того как мы, как могли, честь русских сберегли. Тем, что мы, как могли, сопротивлялись, зная, что ждет Россию! Не было бы нас — не было бы потом и псковских десантников, и всех остальных. Да и возрождения России не было бы тоже! Не потому, что мы такие хорошие и мы такие особенные! Нет! Может, мы хуже всех остальных в тысячу раз — считай как хочешь, многие так и считают! А потому не было бы возрождения державы, что *точка отсчета* была бы потеряна, — система координат бы нарушилась, система «свой-чужой» уже не работала бы! Не с кем было бы сравнивать и не с чем! Вот тогда все — тогда России конец! Не было бы отличия между добром и злом, Иваныч, понимаешь? Мы — маленькие люди, от нас мало что зависело, кроме одного — мы обязаны были *быть!* Если бы никто в стране не сопротивлялся, если бы не было Интерфронтов и Интердвижений, Рижского и Вильнюсского ОМОНов, не было бы Приднестровской гвардии — не было бы системы отсчета — повторяю еще раз! Не от чего было бы даже Путину оттолкнуться, чтобы про «величайшую геополитическую катастрофу» говорить!

Какая катастрофа, если все были «за» и все всем довольны?! Вот тогда был бы такой конец истории, что никакому Фукуяме не приснится. Память о первом сопротивлении — вот точка отсчета новой истории!

Все остальное, все подвиги и лишения, весь труд и

политическая воля Путина и его товарищей — все это было *потом*. Все это — гора по сравнению с нашей песчинкой. Но песчинка наша лежит в основании. Потому что были те, кто после 21 августа 91-го года не сдал оружие и не опустил свой флаг на мачте над базой Рижского ОМОНа. Из всей Советской армии и всяких прочих войск — пограничных, внутренних, флота, в конце концов, даже «Альфы» и «Вымпела» пресловутых — только сто пятьдесят человек, только одно воинское подразделение сохранило оружие, знамя, честь и не перешло на сторону Ельцина! Во всем Советском Союзе! Это и была точка отсчета, возможность возрождения России!

И не зря на осажденную базу батюшка пришел и нас крестить взялся, хоть и развевался над базой красный флаг советский. Может быть, в этом главный смысл сопротивления Рижского ОМОНа был — *двойное крещение* не сдавших оружие последних солдат империи. Все остальное — потом. Даже Пуго перед смертью священника к себе попросил — исповедовался накануне ночью. Такие дела. К Богу в такие минуты не сами приходят, Господь Сам выбирает, кого спасти, и за шкирку к Себе поднимает.

Ну а я-то тут при чем? Чего ору тут на тебя? Да я не ору. И не на тебя. Я просто свидетель. *Я подвигов не совершал, я… я* просто свидетель. И я должен сказать свое слово. Я просто обязан. Молчанием предается Бог. — Валерий Павлович аккуратно потушил сигарету, встал и начал убирать со стола. — Все, Тимофей, я больше опять не пью. А ты, если хочешь, давай! Остальное — завтра.

Расскажу, если хочешь, как все дальше было.

Я пришел от Иванова домой навеселе. Слово-то какое смешное — навеселе! Не весел, а — навеселе! Опять, как всегда после этого рижского зелья, не мог заснуть — сердце билось неровно, тяжело, с перебоями.

Принял таблеточку, потом другую. Книжку раскрыл, чтобы голова не кружилась в темноте, чтобы не уплыть внезапно вместе с кружащейся головой и бьющимся от бальзама сердцем в никуда, в темноту окончательную и последнюю. То был Юрий Герман «Дорогой мой человек». В Выри-це на базаре купил, на лотке с подержанными или ворованными по дачам — кто его знает? — книжками. Пятьдесят рублей недорого за Германа, я считаю. Открыл потрепанный томик не глядя — лишь бы сосредоточить уплывающее сознание на черных буковках — и читаю:

«Уже светало, новый день войны занимался над узловой станцией Васильково. С запада, из-за Унчи, глухо доносился рокот артиллерии — город еще, видимо, держался. А отсюда —

из хляби, из мглы и сплошных потоков дождя — старые, гремящие всеми своими частями, отслужившие жизнь и вновь воскресшие для войны паровозы угоняли эшелон за эшелоном — увозили всех тех, кто не мог и не хотел примириться с возможностью "жить под немцами"…»

«Увозили всех тех, кто не мог и не хотел примириться с возможностью "жить под немцами"…»

Я перечитывал эту строчку минут пять. Потом сигареты нащупал на тумбочке, закурил в спальне, что делаю редко.

В войну. а я помнил войну, хоть и не воевал, конечно. Я родился в эвакуации, на Урале. В войну, в ту самую войну, Победу в которой уже заездили — захватали политологи потными ручонками своими — до стыда перед фронтовиками… И когда еду из Питера в Вырицу, то, проезжая станцию «Паровозный музей», всегда вглядываюсь с тоской и страхом в те, памятные даже мне, совсем маленькому тогда, паровозы войны, долго еще не сходившие с рельсов и после Победы.

«Увозили всех тех, кто не мог и не хотел примириться с возможностью "жить под немцами"…»

«Программа переселения соотечественников»… Господи, и эти люди празднуют 9 Мая и гордятся собою и раздают георгиевские ленточки! Эх, сосед, сосед… Не хотел, видно, «жить под немцами». А пришлось! И ведь не он один. Как я не понимал этого тогда? Как мог сердиться на Иванова, с его бальзамом и сбивчивой, бестолковой речью сегодня? Вот он — ключ. И ведь в 1915 году из Риги шли эшелоны. Полмиллиона русских людей увезли и все заводы. И в 41-м шли эшелоны. Увозили любой ценой тех, «кто не хотел жить под немцами».

А в 91-м? Кто увозил тех, кто не хотел жить под латышами, эстонцами, литовцами, грузинами, туркменами, чеченцами? Какие такие паровозы?!

Ведь сам ты, Владимир Владимирович, говоришь, что ничего еще не кончилось и война продолжается. Так назови же ясно, с кем ты в этой войне, на чьей стороне? А то ведь получается, как если бы в Кремле сидели рядком на заседании Генерального штаба Жуков рядом с Кейтелем, Риббентроп рядом с Молотовым и слушали Сталина. Но ведь так почти и было перед началом той войны?! Господи, дал же ты мне соседа, в голове все перекрутилось, совсем с ума сошел, что во сне-то теперь приснится?!

Главное — не забыть потушить сигарету! Вот все, теперь — спать! И к Иванову больше ни ногой.

«Увозили всех тех, кто не мог и не хотел примириться с возможностью "жить под немцами"…»

И еще эти электрички всю ночь рядом с домом проносятся без остановок, на полном ходу — на конечную станцию — дожидаться утра.

Глава 19

Вернулся в Ригу Иванов, ну и ладно. Как не было ничего — ни Оби, ни Енисея, ни хабаровских сопок, ни Золотого Рога. Отчитался Алексееву о поездке, сдал Лопатину пачку договоров с Союзпечатью; Наталье-главбуху выложил на стол подклеенные аккуратно друг к другу разнокалиберные билеты на самолеты и поезда, прочие квитанции и счета. Выпил со Свораком бутылку сибирской водки и поехал себе домой, в маленькую, родную квартирку. Дочку приласкал, жену поцеловал, сувениры-подарки выложил. А на душе было пусто. Шел уже ноябрь 90-го года. Свежие новости не радовали. Верховный Совет только что принял следующие постановления:

1. Национализировать партийное имущество.

2. Разоружить ОМОН.

3. Отключить от коммуникаций и прекратить продовольственное снабжение всех воинских частей на территории Латвии.

Верховный Совет СССР в тот же день отклонил намеченную повестку дня и постановил срочно заслушать Горбачева о положении в стране.

Ветер веселый И зол и рад. Крутит подолы, Прохожих косит, Рвет, мнет и носит Большой плакат:

«Вся власть Учредительному Собранию»… И слова доносит:

…И у нас было собрание…..Вот в этом здании…..Обсудили — Постановили:

На время — десять, на ночь — двадцать пять…..Именьше — ни с кого не брать…..Пойдем спать…

Завораживающая и — казалось в детстве — запутанная, нелогичная, при всей своей красоте, поэма Блока наконец-то становилась просто пугающе понятна и ужасающе проста. «Слушайте музыку революции!» Только осторожней, чтобы из ушей кровь не пошла.

Рижский ОМОН переподчинили Вильнюсской дивизии внутренних войск МВД СССР.

Довооружили, поставили на довольствие по всем позициям. А кто командовал отрядом — ни тогда, ни сейчас, ни завтра — уже не разберешь. Командовал Чес — майор Млынник. Командовал Питон — майор Чехов. А кто командовал ими, никто и разобраться не пытался — себе дороже.

Кроме Чеса с Питоном, Лашкета, Чизгинцева, Парфенова, потом еще Бровкина, да командиров взводов — офицеров в отряде было не так уж много. Личный состав — до 150 человек,

постоянно менялся. Оставался костяк, но кто-то увольнялся, от греха подальше, кого-то увольняли — причин хватало. Приходили новые люди. В основном, из гарнизона Рижской милиции. Просто приезжали на базу целыми патрульными экипажами — на своих машинах, со своим оружием. И переходили в ОМОН. К тому времени двоевластие в республике уже полностью оформилось. Законодательная и исполнительная власть практически вся была в руках латышей. Армия сидела на месте и ни во что не вмешивалась. МВД стало латышским, но часть Рижского гарнизона милиции и ОМОН латышскому МВД не подчинялись. Прокуратур тоже стало две: латышская независимая и прокуратура Латвийской ССР. Это означало, на самом деле, что в руках у народно-фронтовцев остались практически все ресурсы: финансовые, материально-технические, продовольственные, транспортные и так далее.

Конечно, с другой стороны, Москва могла в любой момент перекрыть снабжение и вообще кислород. Но она этого не делала. Горбачев ограничивался очередным строгим китайским предупреждением. А если посмотреть пристальнее, то и наоборот — с латышами пытались договариваться и потихоньку сдавали им все.

Поскольку состоящая из латышей сельская милиция в подавляющем большинстве перешла на сторону латвийского МВД и новой прокуратуры, то можно было смело говорить о том, что у новой латышской власти появились свои вооруженные структуры. Милиция в сельских райотделах и десятках маленьких провинциальных городков была вооружена, хватало вооружения и в республиканском МВД; в Риге спешно создавались незаконные вооруженные формирования, такие как «добровольцы» Бесхлебникова и Первый полицейский батальон «белых» беретов Вектиранса. Впрочем, а разве законными были вооруженные милицейские подразделения, подчиненные латышскому МВД незаконно провозгласившей себя «независимой» республики? Все они действовали в нарушение Конституции СССР и Латвийской ССР. И вообще-то, являлись ни чем иным, как бандформированиями. Но Москва с этой латышской бандой договаривалась. Так и жили. Республиканское Управление КГБ сидело тихо на своем месте и ничего не делало. Ни вашим, ни нашим.

Подчинялись, кто кому хотел. И никому не подчинялись. Как все это вообще не рассыпалось в одно мгновение — понять было просто невозможно. Видимо, государственные структуры были настолько крепки и имели такой запас инерции, что даже годами продолжающееся двоевластие не могло обрушить все и сразу.

Степ бай степ — шаг за шагом — капля камень точит. Тем более, если процесс распада согласован на самом высшем уровне — в Рейкъявике, например, или на Мальте. А потом управлялся плавно из Москвы. Как это сейчас называется? Управляемый хаос? Управляемый конфликт? Кризисный менеджмент? А людям надо было с этим жить.

По ночам в Риге все чаще гремели взрывы — Иванов с Васильевым уже устали снимать их последствия, к счастью, обходившиеся без жертв. То военное училище, то железнодорожная больница, то русская школа, то райком партии. В районах тоже частенько погромыхивало, но там в основном взлетали на воздух спешно устанавливаемые активистами новой власти памятники латышскому легиону СС.

Талоны отоварить становилось все большей проблемой. Пропало все, на чем зиждилась нормальная, человеческая жизнь. К концу 90-го года стали все чаще пропадать работа и, соответственно, зарплата. Любимый латышский лозунг: «Хоть в лаптях, но на свободу!» начал себя оправдывать. «Свободной Латвии — свободные цистерны!» — писали в ответ русские остряки на пустых составах, стоящих на запасных путях. А однажды, прямо на Центральном вокзале Иванов увидел электричку, на боку которой было крупно намалевано: «Хрен сосать в твой рот голодный даст тебе твой фронт Народный!».

Интерфронт поднимал людей на митинги и забастовки! Все чаще к русским, протестующим против экономической политики нового правительства у здания Совета Министров, присоединялись латыши. Для них это был почти подвиг. Ситуация складывалась так, что генетическая память о фашистском режиме Ульманиса не позволяла латышам забывать о том, что любой сосед, коллега, даже родственник — может донести в ячейку Народного фронта о «кангаре» — предателе латышского народа. Особенно, если ты работаешь в латышской организации. Молчи и поступай как все. Да и 700 лет немецкого владычества не прошли даром. Точно так же, изменись завтра ситуация на противоположную, и те же латыши доносили бы друг на друга, как делали они это в годы сталинских депортаций. Короче говоря, надеяться на латышский народ было так же наивно, как в годы Отечественной войны на солидарность немецкого рабочего класса.

Большинство русских, а их, вместе с украинцами и белорусами всегда было более 90 процентов нелатышского населения — не верили никому, кроме себя и Интерфронта.

Но КПЛ мешалась под ногами и старательно запутывала людей, внушая им беспочвенные надежды на Союзные органы и

на Горбачева. Забастовочное движение, которое могло потрясти и даже сломать новый режим, ограничивали как только могли. Москве и ЦК КПЛ нужно было лишь придержать новые латышские власти, лишь попугать их, чтобы не сломали с дуру тщательно выстроенные планы по развалу всей страны. Поэтому едва начатые забастовки останавливались уже на второй день не забасткомами и не Интерфронтом, а настоятельными требованиями Москвы и ЦК КПЛ.

Еще летом Иванов ездил с Алексеевым в Вентспилс на совещание руководства прибалтийских портов. Там были первые лица портов Таллина и Лиепаи, Риги, Вентспилса и Клайпеды. Иванов лично писал от их имени «Обращение представителей морских портов и предприятий Балтийского бассейна в Президиум Верховного Совета СССР». Все было всерьез — в случае очередного непринятия мер из Центра, портовики грозили немедленно остановить работу. Это значило, что все железные дороги от Москвы до прибалтийских портов встанут через пару дней, забитые на всем своем протяжении цистернами с нефтью, вагонами с калием, металлом, лесом. Этот ударило бы по перестройщикам гораздо сильнее, чем проельцинские шахтерские забастовки. И в портах, и на железной дороге по всем трем республикам были сильнейшие организации Интерфронта и Интердвижений.

Когда с Нового — 1991 года началось многократное повышение цен на все товары и услуги первой необходимости, договоренность о всеобщей забастовке была достигнута. Сигналом для всех должны были стать электрички, которые остановили бы свое движение ровно в 00.00 часов по всей Латвии. Этого сигнала народ не смог бы не заметить, и тогда встал бы весь транспорт, все порты, все крупные предприятия Латвии, а потом и всей Прибалтики. Железнодорожников, которые должны были начать первыми и первыми понести ответственность, вплоть до уголовной, уговаривали долго. Первым — всегда труднее всех. Но кто-то должен был подать сигнал ко всеобщей забастовке. И когда обо всем уже договорились, когда до нуля часов оставались считанные минуты, Клауцен — первый секретарь Рижского горкома партии — по приказу Рубикса, находившегося в тот момент в Москве, у Горбачева, *отменил* всеобщую забастовку. Это было не просто предательством. Этот шаг был необратимым. После него никого уже нельзя было поднять всерьез на крупное мероприятие против новой власти. Последние надежды на Москву и на ее представителей в Риге — рубиксов-скую компартию — рухнули окончательно.

С этого момента отношения между Интерфронтом и

Компартией, и без того натянутые, обострились как никогда.

На Третьем съезде ИФ Лопатин, поддерживавший ЦК КПЛ и ЦК КПСС, был переведен по его просьбе на другую работу — в Москву, председателем Объединенного Фронта трудящихся. Анатолий Алексеев, всегда выступавший за полную самостоятельность Интерфронта, стал единоличным лидером Движения. Но времени на то, чтобы заново выстраивать всю работу уже практически не оставалось. Наступил одна тысяча девятьсот девяносто первый год. И количество готово было перейти в качество.

— Игорь Валентинович Лопатин, царствие ему небесное, был замечательный человек и очень много сделал в Интерфронте важного и полезного. Но вместе с тем, Лопатин был и до конца жизни оставался убежденным коммунистом. Он и в независимой Латвии, при запрете на Компартию, создал СКЛ — Союз коммунистов Латвии. Потом все равно вынужден был переехать в Москву, там тоже занимался активно партийной работой, там недавно и умер.

Валерий Алексеевич вздохнул.

— Не понять было по-настоящему убежденому в коммунистической идее человеку, какими предателями могут быть «товарищи по партии». Тот же Рубикс, например. И это сильно повредило тогда Интерфронту. Потому что курс на самостоятельность движения, его полную независимость от Компартии, который всегда поддерживал Алексеев, он не мог провести до конца — слишком много было в Интерфронте коммунистов, которые сами фактически в работе КПЛ не участвовали, предпочитая ей Интерфронт, но и порвать с партией полностью Интерфронту не давали. Страшно всем им было оторваться от Москвы, проводником идей которой был Рубикс. Страшно пускаться в полностью самостоятельное плавание.

— Так кто же тогда руководил сопротивлением в Латвии? — я недоумевал, пытаясь разобраться в хитросплетениях латвийской политики тех лет.

— Фактически, сопротивлялся Интерфронт. Потому и стал самым ругательным понятием у латышей и до сих пор таковым остается. Партию никто так не ругал ни тогда, ни сегодня.

Да большая часть латышей сама была в партии, многие занимали там высокие посты, в том числе и нынешние министры, депутаты, лидеры националистических фракций в парламенте. Не с руки им партию ругать! Партия — это был мостик к независимости, вот так-то! Ну как вам не понять, Тимофей Иванович? Ведь в России — то же самое! Ельцин кто был? Остальные? Яковлев? Горбачев? Шеварднадзе?

Для меня вообще странно, почему Рубикса посадили. Кому надо, тот ведь знал, что по сути — Рубикс «свой» — латышский националист с социалистическим уклоном. Кто-то его подставил хорошо в начале перестройки и не оставил ему выхода примкнуть к латышам, выступившим за независимость. Вот это была грамотная операция! А потом его же и посадили. Единственного, кстати. И тут тоже секретов много… В Литве, например, как и следовало ожидать, пересажали десятки людей на срок до 8-10 лет! И не только Бурокявичюса с командой, но и всех руководителей и даже просто активистов Интердвижения! И это логично! Я бы на их месте тоже обезглавил возможное сопротивление новому режиму. А в Латвии в конце концов засадили только Рубикса — потенциально «своего» для латышей человека! Ой, не просто это все, Тимофей Иванович! Я вроде изнутри был, да и не в самом низу, так сказать. А до сих пор многих вещей не пойму.

Да это и всей перестройки касается. Много тут чудес произошло, в том числе и на земле русской.

Ну, это я сейчас такой умный стал, и то ничего не понимаю. — засмеялся немного грустно Валерий Алексеевич. А тогда…. На Третьем съезде Интерфронта мы приняли решение призвать к введению прямого президентского правления в Латвии. Кого призывали? Горбачева? Но что было делать?! Ведь не знали мы, что уже через месяц ситуация окончательно сорвется с катушек. А латыши — *знали* и готовились. Все было согласовано. Все было разыграно, как по нотам…

Уже в середине декабря 1990 года НФЛ опубликовал во всех своих газетах следующее заявление:

ОБРАЩЕНИЕ

Народного Фронта Латвии всем, кто поддерживает, независимость

С разных концов Латвии приходят, вызывающие возмущение сообщения об активизации имперских сил. В Москве группа депутатов «Союз» открыто планирует, восстановление диктаторского режима с М.Горбачевым, или без него.

Нам. не нужна атмосфера страхов и истерии, но уже сейчас каждый должен четко обдумать свои действия в возможный час х, когда для подавления стремления народов к свободе будет, введено правление президента СССР или иное чрезвычайное правление. Возможности наших дальнейших организованных действий будут, зависеть от степени президентского правления, которое возможно:

— в относительно мягкой форме, когда будет, прекращена «только» деятельность всех государственных институтов

Латвийской Республики на всех уровнях и будет, перекрыт, наш. доступ к средствам, массовой информации, без запрета на деятельность общественно-политических организаций;

— в брутальной форме, когда прекращение деятельности институтов государственной власти Латвийской Республики будет объединено с запретом на деятельность политических организаций, за исключением всесоюзных организаций — КПСС, ДОСААФ и т. п.

В первом случае дальнейший план наших действий определит конкретная ситуация, и у нас будет возможность довести его до сведения наших сторонников через структуры нашей организации. Но уже сейчас мы должны в достаточной мере осознавать наши дальнейший действия в вероятном худшем случае — при введении брутального президентского правления.

Главные задачи до часа х:

1. Быть готовыми к манифестации жителей Латвии в Риге.

2. Созвать чрезвычайные сессии советов всех уровней, на которых выразить поддержу Верховному совету Латвийской Республики, решимость выполнять законы Латвийской Республики и отношение к союзному договору.

3. Выступить против разбазаривания имущества Латвийской Республики и создания акционерных обществ СССР на базе так называемых всесоюзных предприятий.

4. Вступить в подразделения специальных добровольных стражей порядка Латвийской Республики.

5. Активизировать пропаганду идеи независимости Латвии в нелатышской среде. Обращаясь к офицерам военных частей и к членам их семей, разъяснять общее направление идей русских демократов и НФЛ.

6. Обо всех изменениях дислокации оккупационных вооруженных сил незамедлительно информировать координаторов НФЛ.

7. Публиковать в прессе международные правовые нормы, регламентирующие деятельность оккупационных вооруженных сил на оккупированных территориях.

8. Создавать фонды, помощи на промышленных предприятиях.

9. В критический период ввести круглосуточную работу Латвийского Радио.

10. Подготовить структуры. НФЛ к возможной работе на нелегальном положении, подготовив систему обеспечения связи. Назначить дублеров руководителей. Развивать работу территориальных групп по месту жительства. Децентрализовать денежные средства отделений. Подготовить бланки с символикой НФЛ для объявлений. Децентрализовать хранение копировальной

аппаратуры, и бумаги.

11. Информировать обо всех событиях мировое демократическое сообщество. Составить список активистов общественно-политических организаций и передать его в международные организации, чтобы, иметь возможность проследить за их дальнейшей судьбой.

После введения президентского правления развернуть широкую кампанию гражданского неповиновения, которая уже фактически начата, и в данный момент защищает молодых людей Латвии от насильственного призыва в вооруженные силы. СССР. Реализация кампании:

1. Несмотря на издаваемые президентом, указы, последовательно выполнять только законы Латвийской Республики и решения самоуправлений.

2. Не являться по вызовам, военных комиссариатов СССР и направить военному комиссару ЛССР свидетельства о воинской обязанности и заявление об отказе служить в вооруженных силах СССР.

3. Не сотрудничать с учреждениями оккупационных властей и не давать им никакой информации.

4. С презрением, и бойкотом, обращаться со ставленниками президентского правления и их пособниками.

5. Использовать различные варианты, забастовок для разрушения экономической системы. СССР. Особенно — использовать строго регламентирующие работу абсурдные инструкции, выполнение которых парализует производство.

6. Обеспечивать возможности для деятельности демократических организаций и их руководителей на нелегальном, положении.

7. Документировать и фиксировать все преступления оккупационной власти в условиях президентского правления.

8. С целью предотвращения возможности сделать власть диктатора законной, категорически не участвовать в организованных этой властью выборах или референдумах.

9. Для информирования населения использовать в избирательной кампании проверенных людей — агитаторов, подключать местные комитеты граждан.

10. Вовлекать в организационную работу лояльных к Латвийской Республике депутатов СССР, если в случае президентского правления будет сохранен их статус неприкосновенности.

11. Максимально использовать возможности деятельности в не запрещенных оккупационными учреждениями общественных организациях — религиозных и культурных организациях,

профсоюзах, с целью популяризации воззрений НФЛ.

Сторонники независимости Латвийской Республики! Коммунистические преступления против нашей Родины продолжаются, так осознаем, что первое условие нашего выживания — жить ради народа, быть едиными ради Латвии!

Правление НФЛ 13 декабря 1990 года.

Стиль и орфография сохранены, перевод на русский тоже их, так что, извините за «брутальность» сего документа. Он — подлинный. Латыши все знали и ко всему были готовы. Литовцы, думаю, тоже.

Отпраздновав Новый 1991 год у себя дома в компании интерфронтов-ских первых друзей — Людмилы, Регины и Саши Васильева, Иванов с ходу включился в работу. Алексеев дал команду перестраивать содержание пропаганды, заменить некоторых людей, максимально дистанцироваться от партии. Но тут понеслась такая свистопляска, что полностью осуществить задуманное уже так и не удалось. Оставалось только реагировать на события и держаться, держаться, держаться, чтобы не потерять движение — в расчете на чудо. На то, что потребуются все-таки люди, организованные и не запачканные предательством. На то, что все же нужно будет по какому-то принципу отделять овец от козлищ. И что тогда делать? Выискивать по-одному правильных человечков? Постепенно становилось ясно — главная задача — сохранить Движение массовым и самостоятельным — до последнего. До конца. Или, во что так хотелось все-таки верить, до *начала.*

Шла затяжная позиционная война с Народным фронтом и Москвой одновременно. Сдерживали, как могли, противопоставляли каждой акции противника — свою акцию.

Его пропаганде — свою пропаганду. Его силе — свою силу. Но инициатива все равно оставалась на поле «демократов», ведомых скоординированными действиями Запада и Союзного центра.

Ладно. Держали оборону и будем держать — до последнего.

Каждый занимался своим делом. Низовые организации «на земле», по всей республике, во всех крупных, а значит — «русских» городах вели свои бои на местном уровне. Отстаивали свои безымянные высотки. Президиум Республиканского Совета в Риге был штабом, координировавшим действия Движения, центром снабжения, иногда донором, когда нужно было сконцентрировать максимум людских и материальных ресурсов на важном направлении. Президиум обеспечивал идеологическую работу, поддерживал связь с союзниками, принимал на себя первые удары нового, независимого правительства. Движение не

теряло сотни тысяч своих сторонников, но и не приобретало новых. Ситуация зависла в дурной бесконечности — это не могли не замечать и рядовые сторонники. Но предложить выхода не мог никто. Крови никто не хотел. Но, может быть, и не побоялись бы, защищая себя и главным образом своих детей и женщин. Да только уже не было уверенности в том, что армия, своя родная армия не станет подавлять по приказу из Москвы своих же. Да и кто теперь кому был свой?

Но надо было жить дальше. Народный фронт начал сходить на нет, в нем уже не было необходимости — власть была практически полностью перехвачена теми людьми из НФЛ, что попали в Верховный Совет нового созыва и назначенное им правительство. Теперь вольница НФЛ уже начинала мешать — латыши «строили» своих, и между собою жестоко боролись за власть. Сначала, еще перед выборами, НФЛ схлестнулся с ДННЛ, потом верхушка, попавшая к кормушке, стала оттеснять народные латышские массы, выполнившие свою дурацкую роль, роль, о которой многие из латышей и до сих пор не догадываются, хотя сами уже сидят в трудовой эмиграции в Ирландии.

В Интерфронте каждый по-прежнему занимался своим делом. Иванов, соответственно, своим. Он старался не лезть в дела руководства и генеральную линию. Обеспечивал пропагандистскую работу. Когда надо было, выполнял роль советника по собым поручениям у Алексеева, потом снова брался за свой рутинный участок. Финны, американцы, шведы, французы, поляки… Интервью, съемки, брифинги… «Единство», радио «Содружество», видеоцентр. Почти ежедневные встречи со сторонниками ИФ — на заводах, в воинских частях, в территориальных организациях — районных советах, местных ячейках. Митинги, шествия, пикеты. И самое трудное — конкретные русские люди, пришедшие за помощью.

Мнется в коридоре у дверей кабинета юноша лет семнадцати. Худой, прилично одетый, хорошее — светлое такое лицо, глаза только подергиваются все время. Он видно знает, что у него тик, старается отвернуться, скрыть это, но не может, получается только хуже, проступают от напряжения слезы. Но он не плачет — это Иванов понимает. Это просто болезнь.

— Я эвакуирован из Баку. Русский, член семьи военнослужащего. Мы у родственников здесь живем — больше негде. С февраля прошлого года уже. Вот, решил придти, рассказать… Здесь то же самое все начинается, хочу посоветоваться заодно, как дальше быть? Может работа у вас есть — я не знаю, как дальше жить? Что раньше не пришел, сразу? Думал в спокойное место попал. Теперь дошло, наконец, что

здесь то же самое будет, только по-европейски. Цивилизованнее, но страшнее. Немцы вон, они ведь тоже аккуратисты были.

— Да ты кури, Олег, если куришь, я сам курю. Я включу диктофон, ладно?

— 15 января 90 года, почти ровно год назад, начались погромы армянских квартир в Баку. Три дня это беззаконие продолжалось. Они уже не выбрасывали мебель из квартир, потому что знали — это все пригодится — ведь армянам придется уезжать. Там разные есть течения, так что всех очернить не могу, но достоверно то, что создавались отряды боевиков для совершения переворота. Когда НФ захватил власть в Ленкорани, там были смещены все, кто отвечал за порядок — милиция, органы безопасности…. То же самое хотели сделать в Баку.

Войска были вынуждены войти. Но Верховный Совет Азербайджана не просил у армии помощи. Перед войсками ставились заслоны из техники, автотранспорта и прочего. Во время ввода войск были пострадавшие среди мирного населения как азербайджанского, так и русского. Но уже озлобились на русских, хотя солдаты разных национальностей, но все говорят — это Москва, русские. Погромы были и в военных городках, например, Сальянских казармах, высшем военно-морском училище. Убивали жен офицеров, такое тоже было. Грабили. Гражданских почти не трогали, но все могло произойти, потому что ситуация была неконтролируемая.

22 января был день похорон. Никто не мог сказать, что будет дальше. Аэропорт и железная дорога не работали, в городе совершенно не было бензина. Военные на бронетранспортерах старались вывозить беженцев. Говорят, что это паника. Но там заварено такое, что разгрести это будет совершенно невозможно.

Поймите. Вот азербайджанка. У нее сын погиб. Да и любая мать, у нее же внутри будет сидеть: солдаты, русские, Москва. Это уже все. За два года в Баку почти не осталось армян. Да и русские… Я коренной бакинец, но для меня это был последний толчок. Я сказал: «Все! Там жить нельзя!» Представьте — вы лежите ночью и прислушиваетесь к каждому шороху и ждете.

Нам позвонили и сказали, что через два часа надо уезжать. Под эскортом солдат и БТР нас увезли на аэродром. Ветер, дождь. Во время посадки в первую очередь посадили женщин и детей. Я был с сестрой, у нее шестимесячный ребенок. Мы попали в разные самолеты, адреса знакомых в Москве, куда нас отправили, остались у нее. Наш самолет посадили в Воронеже. Через день мы встретились в Москве и потом приехали сюда, в Ригу, к тете.

Я не хочу создавать панику, но то, что там творилось — это. Весь город пустой, траурные флаги, гвоздики, рассыпанные на

тротуарах. Идешь, глаза не поднимаешь — боишься с кем-нибудь встретиться взглядом. Стрельба продолжалась и 24-го, когда мы улетали из Баку.

— Что тут скажешь, Олег. ты уже взрослый, пережил такое. Давай думать, что дальше делать? Рассказывай, кто у тебя здесь, на что живете, какие планы? Главное, где отец? Если его переведут к новому месту службы в Россию, то, как бы ни было там трудно — это может быть чисто поле — надо стараться уехать туда, там собрать семью. Здесь у тебя нет прописки, нет стажа проживания — будет очень много проблем, если и здесь все рванет.

Латышам русские беженцы не нужны. Им и мы то, кто здесь всю жизнь живет — не нужны. Давай думать серьезно.

Этот юноша из Баку, посмотрев своими глазами, как убивают людей ни за что, за то, что они — *другие,* интуитивно понял главное, повзрослев слишком рано и став мудрым не по годам. В Прибалтике будет тоже, что в Баку, только, может быть, убивать русских будут другими — более «цивилизованными» методами. Отбирая родной язык, гражданские права, работу, потом жилье — за которое нечем заплатить. потом — сами умрут или уедут. Так и получилось. На то и был расчет у западных советников — затягивать ситуацию, заставить людей привыкнуть к неизбежному, подготавливать шаг за шагом к тому, чтобы самая страшная ситуация им стала казаться *нормальной.* Главное, не позволить рвануть *массовому прозрению русских,* что это все, это — конец, так жить нельзя, надо сопротивляться любыми средствами, убивать, когда тебя убивают! Молдаване не удержались в рамках рекомендованной Западом методики и получили Приднестровье.

Прибалты во всем слушались новых хозяев. Управляемый конфликт закончился в пользу Запада. Когда русские окончательно очнулись, в Москве сидел Ельцин, а в Латвии уже был создан свой репрессивный аппарат. То, что латыши сами стали жертвами, они поняли гораздо позже русских. Но им и сказать-то было нечего, ведь все делалось их, латышскими, руками.

Понимал ли это тогда Валерий Алексеевич? Предполагал, по крайней мере. Перечитывая потом, спустя десятилетие и позже, свои многочисленные статьи и интервью тех лет, пересматривая созданные им по горячим следам событий телепередачи и документальные видеофильмы — Иванов с болью в сердце ужасался искренне тому, что вот же — все предвидели, вот же — все знали! Все предсказали — и не смогли ничему помешать.

Таня поджидала Валерия Алексеевича в кабинете,

устроившись за его же собственным столом, и звонко смеялась в ответ на не совсем скромные комплименты раздухарившегося — аж лысинка покраснела — Сворака.

— Вот так! А еще боевой товарищ по Движению! Коллега ко мне по делам служебным, конфиденциально, может быть, а вы, Михаил Петрович, с нескромными предположениями и даже, наверняка — предложениями! — с порога завелся Иванов.

— Ну что ты, Валера, мы с Татьяной Федоровной как раз политическую ситуацию обсуждаем, связи с вильнюсскими товарищами укрепляем! Я вот даже Танечку пообедать пригласил по этому случаю, можем и тебя взять, — Сворак похихикивал, изо всех сил старался не рассмеяться.

Таня вторила ему, даже не стараясь сдержаться, только ее смех был таким чистым и непринужденно детским, что Иванов даже обидеться не успел, просто стал столбом посреди кабинета и переводил округлившиеся глаза со Сворака на Татьяну и обратно.

— Вы что тут рж. заливаетесь? Что тут происходит? Какие обеды, какая политическая ситуация? Петрович, прекрати, в конце концов! Татьяна Федоровна, да что это?

Таня отсмеялась было, прыснула снова, не удержавшись, и наконец-то прояснила, в чем дело.

— Юбилей сегодня у товарища вашего. Вот он и поспорил со мной, что вы об этом непременно забудете, как меня увидите, и даже его не поздравите!

Валерий Алексеевич закрыл от стыда глаза и с силой хлопнул себя по лбу, да так звонко, что все опять начали безудержно хохотать, включая и Иванова, конечно. Немного успокоившись, Иванов все же сообразил первым делом поцеловать ручку даме, а потом уж подойти к дурашливо ставшему по стойке «смирно» Свораку. Крепко пожал старшему товарищу руку, обнял даже, расчувствовавшись и вручил, наконец, заранее припасенный подарок — «Командирские» часы с гравировкой на крышке.

Тут открылась дверь и вошла уже целая делегация во главе с Алексеевым. Женщины несли цветы, шеф вручил ценный подарок в коробке, начался шум, разговоры, толчея, и тогда Иванов с Татьяной тихонько выскользнули из кабинета. Спустились на этаж ниже, в редакцию, забились в курилку в конце извилистого коридора, в полумрак, оглянулись воровато и начали жадно целоваться.

— Ничего, что я прямо к тебе пришла?

— Да что тут такого? От Сворака все равно не спрячешься, у него служба такая, а остальным и дела нет

— Петрович не сдаст, я ему такую легенду про нас выложила, что он теперь будет хранить тайну до скончания века.

— Ну-ка, ну-ка.

— Ты меня отпусти сперва, дуралей, увидят же!

— Да уже, уже отпустил, уже все, уже чужой человек. Сижу, курю, о делах беседую, — надулся сразу Валерий Алексеевич, отпустил из объятий теплую и нежную женщину, сделал вид, что не взволнован и вообще — при исполнении. Получилось, правда, не очень натурально, но вовремя, потому что дверь в торце коридора неожиданно открылась и оттуда выкатился, одышливо пыхтя, Владимир Ильич — бывший дипломат и чуть ли не штатский генерал одновременно.

— Здравствуйте, здравствуйте, — деловито пропыхтел Ильич, не особо вглядываясь, кто там притаился в курилке, и прокатился дальше по коридору, тяжело дыша и постанывая на ходу — он давно был серьезно болен, но работы не бросал, мотивируя это тем, что иначе уж точно помрет.

— Ба! Да это же Паляницын? — Таня подняла глаза, посмотрела невидяще куда-то вверх, что-то припоминая.

— Он самый… А что?

— В Швеции он работал?

— Было дело, кажется, во всяком случае он владеет и шведским и датским, я слышал, как он общался со скандинавскими журналистами без переводчика. А что?

— Да так… Хорошие кадры у вас собрались. Жалко только, что…

— Что жалко? Что толку от нас мало?

— Ну я тебя хорошим кадром еще не назвала, — хитро прищурилась Татьяна.

— Ах так!

— Так — так. Ты самый лучший кадр в моей жизни! — мягкая ладошка погладила Иванова по щеке. — Ну прости, прости за пошлость. Просто действительно горько, что такие зубры и остаются не у дел в наше время.

— Ну почему же не у дел?

— Да потому, что бодливой корове Бог рог не дает — вот почему, — рассердилась неожиданно Татьяна. — Вот и весь ваш Интерфронт, и Интердвижение наше, «Единство», то есть, «Виенибе», в общем… Не дает нам Бог рог! Не дает!

— Да это уже серьезная тема, Татьяна Федоровна! — переменил тон Иванов. — Тут шуточками мы не отделаемся.

— А я и не шучу, Поручик!

— Опять?!

— Так ведь тебя теперь не только я так называю, правда?

— Что, виделась со своим бывшим, с Питоном? — вспыхнул Валерий Алексеевич ревниво.

— Нет. А если бы и виделась, так у него жена, и он мне тоже просто старый друг и сослуживец.

— Сослуживец?

— Бывший! Проехали эту тему, давай не здесь, ладно? Есть хочу! Вина хочу! Тебя хочу!

Глава 20

Ночью в узких улочках Риги
Слышу поступь гулких столетий.
Слышу века… Но ты от меня далека,
Так далека, тебя я не слышу.
Ночью умолкают все птицы.
Ночью фонари лишь искрятся…
Как же мне быть?
Зарей фонари погасить?
Будут светить далекие звезды.
Та-та-та-та…
Жду я в узких улочках Риги
Ночью, ночью, ночью.

Григорий Горский

— Таня обеими руками обняла Иванова, голову в русых завитках пушистых волос спрятала у него на груди и тихо напевала старую песню. Они стояли на высоком крыльце здания на углу Смилшу и Домской площади. Чуть-чуть выглядывала луна из-за собора, мягко падали на них редкие пушистые снежинки. Свет в стрельчатом окне за причудливым балконом Дома радио был таким желтым и уютным, и все-все окна, что еще светились в этот ночной час, были сказочно-гостеприимны. И казалось, что живут за этими окнами удивительно добрые волшебники, которые вот-вот оторвутся от своих таинственных забот и мигом сделают что-то такое, от чего все злые заклинания развеются, как дым, и мир воцарится на всей земле, и вместо флагов красно-бело-красных, густо обвивших, как кровавые наросты, любимую старую площадь, вырастут цветы.

— Хоть поверьте, хоть проверьте, но приснилось ночью мне… будто принц к тебе явился на серебряном коне. — запел вдруг Иванов невпопад, — и это был я! — Он нагнулся и снова стал целовать Таню, так же нежно, как снежинки, невесомо падающие сверху — от самых звезд.

— Валера! — выдохнула Таня, — Валерочка.

Naktos paures Vecrogas ieles
Dzirdu senu gadsimtu sonus,
Soni te klaudz, Ir staigejis nauwu tik daudz.
Sonu tik daudz, Bet nedzirdu tavus…

— отчаянно фальшивя, продублировал Валерий Алексеевич песню Пьехи в латышском оригинале Брежгиса.

— «Испортил песню, дурак!» — шутливо забарабанила его в грудь кулачками в узких перчатках Татьяна.

— Это ты на что намекаешь? — грозно взревел Иванов? Мы еще не «На дне»! Я вешаться не собираюсь! Мы с тобой еще поживем, мы еще поборемся!

Маленькие женские кулачки разжались, упали бессильно. Таня повернулась в сторону площади, долго, запоминая, смотрела сквозь свет старинного фонаря, как летят на огонь снежинки, как белеют заснеженные острые крыши, уступами уходящие в темноту, в непроглядную ночь. Звезды совсем скрылись, а снег все усиливался, откуда-то из-за угла вдруг взметнулся резкий порыв ветра.

— Холодно уже. — устало проговорила Таня, безразличным, безжизненным голосом. — Прости, милый, это я сдуру, ради красного словца. Такие как ты — не вешаются. Они обычно до этого не доживают.

— Таню-у-ша. — встревоженно протянул Иванов. — Ты что это? Озябла? Пойдем скорей домой. А то ты вся в миноре. Я, маленькая моя, человек тихий и мирный, я всего боюсь, я больше всего на свете люблю лежать на диване и читать книжки. Что со мной сделается, Таня?

— Домой. — грустно протянула Таня, взяла Иванова под руку и повела вниз, с высоких ступенек на скользкую, покрытую свежим снегом брусчатку площади. — Нет у нас с тобой дома, куда бы мы могли возвращаться вместе. Есть только временный приют. Пойдем еще погуляем, когда еще придется вот так встретиться?

— Ну, пойдем, пойдем! Разреши, я закурю?

— И мне дай прикурить! Ужасно вульгарно — курить на ходу…

— В движении. Это ты в уставе вычитала? Там тоже примерно так сказано, — усмехнулся Валерий Алексеевич, чиркая спичкой.

Они свернули было направо, к костелу Екаба, но за ним был сейм, туда уж точно идти не хотелось… Тогда пошли к набережной. На улицах никого не было в этот ночной, почти предутренний час. Тем неожиданней послышался вдруг резкий рык двигателя, метнулся по стенам свет фар. Милицейский УАЗик вывернул из-за угла прямо на прижавшуюся друг к другу пару и резко затормозил. Иванов поправил намеренно неловким движением выбившийся шарф на груди, сдвинув одновременно

молнию куртки пониже, чтобы удобнее залезть во внутренний карман, если понадобится.

В машине мог оказаться кто угодно — и латышский патруль из сельской милиции, прибывшей в Ригу на усиление новой власти, и. неизвестно кто вообще.

УАЗик вдруг снова взревел и резко развернулся, к лесу передом, к Иванову задом. В проеме открытой задней дверцы, выставив перед собой ручной пулемет, сидел Кабан и делал Иванову ручкой приветственные жесты.

— Тьфу ты, черт, — выругался Валерий Алексеевич и снова застегнул молнию на куртке потуже — не май-месяц.

Хлопнула передняя дверца, наружу ловко выскочил Толик Мурашов с автоматом на груди, в руке — фонарик, которым он нагло осветил стоявшую перед ним парочку.

— Хватит выделываться, не в карауле! — прикрикнул на него Иванов сердито. Таня только поближе придвинулась к нему, но страха не выказывала, скорее — пристальное любопытство к ситуации.

— О! Валерий Алексеевич изволит гулять по Старой Риге! — весело прокричал, чтобы весь экипаж слышал, Толян. Из темного недра УАЗика послышался нестройный приветственный гул. Вслед за Кабаном, выпрыгнувшим размять ноги, показались Джефф и Спейс, а с водительского места — Птица — высокий, худой, с приветливой улыбкой, в которой не хватало пары передних зубов.

— Господину поручику. — Водила первый подошел к Иванову и размашисто протянул ладонь — здоровкаться.

— Привет, Птица, чего так поздно летаете? Собрались на середину Даугавы? — пробурчал Поручик.

Птица не понял сложноватой для него аллюзии и нахмурился, зато Мурашов с удовольствием расхохотался и обнял Иванова, крепко похлопав по спине. Таня недовольно отстранилась в сторону, а Толян незаметно для окружающих умудрился похлопать друга и под мышкой и, конечно, рука его ненавязчиво прощупала там пистолет.

— У тебя же официального разрешения нету, чудо, — тихо прошептал он Валерию Алексеевичу.

— У меня записка в кармане о том, что я его только что нашел и несу сдавать, — ответил тихо Иванов и улыбнулся.

— Ну, это ты латышам рассказывать будешь. Только лучше сразу им говори, что сейчас за тобой взвод ОМОНА приедет, отпустят тут же. — так же тихо сказал Бубнов и уступил место Кабану, который просто крепко хлопнул старого знакомца по ладони:

— Здорово, Поручик! Не боишься с девушкой гулять в такую погоду в таком месте?

— Так ОМОН на страже, честным людям бояться нечего, — отшутился Иванов и обернулся к Татьяне, — познакомься, это и есть доблестные рижские омоновцы!

— Доброй ночи, девушка! Ничего не бойтесь, мы всегда рядом! — почти хором выкрикнули Джефф со Спейсом, и все засмеялись. Птица с Кабаном, махнув рукой на прощанье, опять полезли в машину, а Толян остался поговорить, да и с красивой женщиной поближе познакомиться.

— Лейтенант Мурашов! — Татьяна Федоровна, коллега наша из Вильнюса, — представил их Иванов друг другу.

— Рад познакомиться! — Толян вежливо приложил ладонь к берету и попросил, — Ничего, если мы пару минут пошепчемся с Валерой?

— Разрешаю. Шепчитесь! — с иронической улыбкой ответила Таня и сама отошла в сторонку, делая вид, что любуется снова выглянувшим из-за туч месяцем.

— Хороша девочка! Кого-то мне смутно напоминает. Кто такая? — Толян дал Иванову прикурить и сам закурил.

— Не про твою честь, Толя. Дела у нас с ней, не более того.

— Ага, это вы в пятом часу ночи служебные проблемы в Старушке обсуждаете! — хмыкнул недоверчиво Мурашов.

— А хоть бы и так? Что на базе, как обстановка в городе?

— Базу в ноль часов обстреляли из автоматов. Все целы, прочесывание ничего не дало.

С этой ночи на крыше котельной дополнительный пост стоит, с пулеметом.

Позывной «Шифер», если что. У тебя же «Виола» есть? Нашу волну знаешь?

— Знаю. Я на днях в Ленинград еду. Окончательно решу вопрос об эфире с офицерами отряда. Только я предполагал тебя и замполита, но сдается мне, Чес сам хочет это дело под контроль взять и перевести стрелки на себя с Невзоровым.

— Хорошо. Посмотрим, тут я не решаю ничего, сам понимаешь. Но если будет Чес, то все равно я с ним буду, так что ты будешь в курсе. Молоток, спасибо, нам сейчас телевидение большое крайне важно для подстраховки. Ситуация вообще хреновая, ты в курсе?

— В курсе. Но от меня ничего не зависит. Это к Горбатому обращайся!

— Ясно. Поосторожней с оружием шляйся. Но и без него ночью один не ходи. Если что, звони на базу под любым предлогом — они зассут и отпустят. А нет, так отобьем — с

улицы Атлантияс, как с Дона, выдачи нет Да, Питон привет передавал. Говорит, что ЦК на тебя компру роет, хочет через тебя к Алексееву подобраться. Имей в виду, и сам соображай, что делать. Шефу только ничего не говори, он у вас мужик жесткий, пойдет разбираться, нам это ни к чему.

— Весело живем. То-то у меня задница второй день свербит…

— Прими пургену, хорошо помогает от предчувствий, если задница чувствительная, — заржал Толик.

— Ладно, ты передо мной-то из себя ваньку-взводного не строй. Отвези нас лучше с Таней домой.

— К тебе что ли?

— С ума сошел? У тебя от твоей квартиры ключи с собой? Ольга же со Светочкой к маме опять ушла?

— А ты откуда знаешь? Ну ничего в этом городе скрыть нельзя! — озлился вдруг Мурашов и полез в карман — за ключами. — Только я вас высажу не прямо у дома, а чуть дальше, на Илукстес, а то мужики допрут сразу.

— Хорошо, спасибо! Ты же на «казарме» сидишь? Если до отъезда не увидимся, я ключи Свораку оставлю.

— Я недавно там был… Белье в шкафу, в холодильнике консервов полно, в «стенке» бальзам есть и шампанское — цени!

— Ценю! Сочтемся! Ну что, поехали?

Против ожидания, Таня без малейшего смущения и даже ловко забралась в УАЗик, потеснив мужиков достаточно бесцеремонно. Иванов пристроился рядом кое-как, посадив на колени маленького Спейса, даже здесь не вынимавшего из ушей наушники плейера.

— На Илукстес, мухой! — скомандовал водителю Толян.

— Он мухой не умеет, он как птица полетит, — засмеялся Иванов, вспомнив прозвище водилы, но тот не среагировал, просто притопил по газам, и машина понеслась по заснеженным улицам, как «Летучий голландец», от которого старались шарахнуться в сторону все редкие по ночному времени встречные машины. Толян врубил магнитофон в бардачке; и в тесном, пахнущем кожей, оружием и сигаретами салоне внезапно грянула группа «Любэ»:

«Батька Махно смотрит в окно, На дворе темным-темно. Звезды светят и луна, А в округе тишина… Спит монастырь, дремлет село, Мошки бьются о стекло… На посту стоит монах, Еле-еле на ногах…»

Татьяна нашла в подрагивающей, дергающейся темноте теплую руку Иванова и мягко сжала ее, показывая, как же хорошо им сейчас в этой машине, несущейся сквозь снег по покорно стелющейся под омоновские колеса Риге; как хорошо, что вокруг

свои, сильные и смелые русские мужики, как здорово, что у мужиков этих есть оружие, которым они умеют пользоваться, и какое чудо, что есть еще немного времени для того, чтобы успеть полюбить.

Мертвые с косами вдоль дорог стоят —
Дело рук красных дьяволят!
Мертвые с косами сбросили царя,
Занималась алая,
Занималась алая,
Занималась алая, эх
Заря, заря, заря,
Алая заря…

Окно все ярче проступало светлым прямоугольником из темноты уютной комнаты Мурашовых, потом стали проступать предметы вокруг — потом — детали, потом алая-алая январская заря, как в песне почти, занялась в полнеба и разбудила мгновенно отключившегося незадолго до рассвета Иванова.

Он открыл глаза и увидел, как смотрит на него еще молодая, но уже постоянно грустная от пережитого женщина, как дрожат слезинки на ее синих глазах, как невинно дышит все еще высокая обнаженная грудь. Не чувственной любовницей — сестрой или матерью смотрела на него Татьяна, баюкала осторожно его голову, положив себе на голые теплые колени, нагнувшись над ним, как будто удержать пыталась изо всех сил.

— Танюша, славная моя, любимая моя женщина, — сухими со сна, пересохшими губами прошептал Иванов… — Ты не спала? Прости, я, кажется, только закрыл глаза — все, как умер.

— Не говори никогда так, ладно? Ты еще всех нас переживешь, будешь нянчить внуков, напишешь много книжек, да? Ты счастливый, я знаю точно!

— Откуда?

— У меня бабка ворожейка была, — тихонько рассмеялась Таня. — Оттуда!

— А ты что же, бросишь меня? — встревожился очень глупо и искренне Валерий Алексеевич.

— Ну что ты? Разве таких бросают? Это ты меня оставишь. Ты ведь молоденьких уже любишь, хоть и сам молодой еще. Тебе сейчас десятиклассниц подавай — подлиннее ножки, покруглее попка, посвежее личико, головенка поглупее.

— Что ты говоришь, сама ты «круглая попка»! — Иванов внезапно почувствовал, что если он сейчас не выпустит пробудившуюся в нем, накопившуюся за пару часов сна мужскую

силу, то умрет от разрыва сердца. — У нас есть попить? — Он потянулся к фужеру с недопитым шампанским, жадно проглотил все еще шипучее, не успевшее как следует выдохнуться вино, и зверем неожиданно накинулся на покорную, доступную, сразу открывшуюся ему женщину.

Это неистовое счастье продолжалось так долго, что оба изнемогли уже под конец, и вздох наслаждения слился со вздохом облегчения. Сил не осталось ни на то, чтобы встать, ни на то, чтобы что-то сказать еще друг другу, и они тут же снова уснули, не думая ни о чем. Призвала бы их труба Страшного суда, так бы и полетели на суд, грешные, не успев проснуться.

Все та же алая заря, только уже отражением из горящих пламенем окон дома напротив, ослепила им глаза, когда они одновременно, в одно мгновение проснулись в конце уходящего, короткого зимнего дня. И, странно, не было никакого страха — где мы? Который час? Кто нас ищет? Что за дела пропустили? Только покой, безмятежный покой и общее тепло друг от друга.

— Ничего. — начал Иванов.

— …не бойся… — продолжила тут же Таня.

И в самом деле. Не звонил телефон. Никто не искал. Никто не стучался в дверь.

Чтобы прогнать остатки привычного за годы беспокойства, Валерий Алексеевич сам, едва закурив первую сигарету, подвинул к себе телефон и начал звонить: домой, на службу, Толику на базу. Как оказалось, никто его не разыскивал. Сворак, посмеиваясь, сказал, что после вчерашнего банкета, на котором было все руководство, в конторе весь день была тишь и благодать, и Иванова никто не искал и не спрашивал, так что он только что успел сказать внезапно заглянувшему в конце дня в их кабинет Алексееву, что Валерий Алексеевич ушел домой чуть пораньше — к дочке-первокласснице на родительское собрание.

Дома никто не отвечал. Тогда Иванов позвонил к теще, и та сказала, что Алла с Ксюшей со вчерашнего дня у нее, сейчас гулять с дочкой пошла, поскольку «вы изволили отпроситься на банкет, так что сами дома и хозяйничайте!». «Я уборку делаю, встал поздно, вчера допоздна засиделись в «Таллине» с начальством — юбилей, никуда не денешься. Сейчас закончу и к родителям своим поеду, там, наверное, и заночую», — тут же соврал Иванов радостно, вспомнив, что сегодня суббота, и значит, Алла пробудет у тещи до вечера завтрашнего дня. Сама Алла разыскивать мужа нипочем не станет — выдержит характер. А своих родителей можно предупредить, что он ночует на базе ОМОНа, но поскольку об этом лучше никому не знать, то пусть они Алле и теще не звонят и ничего не говорят. Толян, вызванный

дежурным по базе к громкой связи у себя в бараке, жизнерадостно прокричал, что собирается с Мишкой Лениным в баню, и чтобы Иванов не трогал его по крайней мере до завтра.

— А квартира тебе не нужна будет ночью, после бани-то? — на всякий случай спросил его Валерий Алексеевич.

— Я за город еду, там свои номера есть, отдыхай, друг, и береги себя! — торопливо проорал в трубку Толян и повесил трубку.

— Чудеса, — не веря своему счастью бормотал Иванов и моргал глазами, пытаясь проснуться.

Татьяна, приняв душ, накинула его рубашку вместо халата, нежась, расхаживала неторопливо по квартире, готовила кофе и немудреный завтрак из припасов, найденных у Толи в холодильнике. Краем уха она прислушивалась к интенсивным переговорам, устроенным Валерой и прощающе улыбалась его торопливому вранью в трубку.

— Завтрак подан, ваше благородие, — пропела Татьяна и подвинула журнальный столик на колесиках поближе к раскрытому, все еще незаправленному дивану.

— Танюша! — спохватился вдруг Иванов, — а тебе, тебе никуда не надо спешить? — он с ужасом представил, как Таня вдруг собирается и опять исчезает в неизвестность и чуть не застонал, как от острой зубной боли.

— Нет, не выгонишь! — женщина одним плавным движением плеча скинула на пол рубашку и улеглась гибко на диван, на спину, положив голову на колени Иванову, уже пристроившемуся на краешке с чашкой кофе в руках. — Корми меня теперь! И пои! Я — заслужила!

Иванов послушно начал подавать чашку, отламывал кусочки от бутербродов и клал ей прямо в рот, а она ловила его пальцы губами, прикусывала белыми зубками вместе с едой, прыскала ему, наклонившемуся над ней с фужером в руках, шампанским прямо в лицо.

Очень скоро Таня почувствовала, как что-то стало мешать ей лежать на коленях у Валеры, оба засмеялись, и снова повторилось невозможное счастье юных лет, как будто вернулись безмятежные дни первого знакомства в заснеженном литовском Линксмакальнисе… И ведь прошло ровно 9 лет, чуть ли не день в день, разве так бывает?

Они не выходили из квартиры Мурашова до середины следующего дня. Потом, уже одевшись, прибрав за собой, готовые к выходу на улицу, сели перекурить на дорожку.

Тут-то Таня и попросила очень серьезно отнестись к тому, что она сейчас скажет.

— Что такое? — встревожился Иванов, уже с обеда почувствовавший, что праздник заканчивается, и снова начинается безжалостная проза будней.

— Знаешь, Валера, я ведь могу только советовать тебе. Но я, я действительно не могу относиться к тебе как к постороннему человеку, я, я ведь. я люблю тебя, глупый ты ля мюжик! — она прервалась вдруг и заплакала.

— Что ты, малыш мой? Что же ты плачешь? Я же, я же. я тоже люблю тебя, — обоим было невыносимо тяжело признаваться в этом друг другу, оба понимали, насколько проще и правильнее было бы сдержаться и не говорить этих роковых слов.

И еще полчаса они не отрывались друг от друга, только шептали, сидя одетыми на диванчике в коридоре, перед дверью — шептали нежные глупости, целовались и утешали друг друга. Бедные дети, дети. Тридцать лет уже стукнуло Иванову, а Татьяна была старше его на целых четыре года, а может, даже и на шесть, он не хотел помнить об этой разнице в возрасте. «Дети, бедные грешные дети», — смотрел на них сверху Господь и все-то знал про них, и знал, что с ними будет, и оттого жалел еще больше, как жалеют самых непутевых детей.

— В общем, мой тебе совет, любимый. Постарайся в ближайшее время дистанцироваться от Интерфронта и перейди в ОМОН. Только не сразу. Не вдруг. Еще есть время, до лета, примерно… Не перебивай, послушай, а то я никогда не смогу тебе этого сказать… Так будет лучше для всех. Начинается страшное время. В Интерфронте никому до тебя не будет дела, когда настанет конец всем иллюзиям. Да и сейчас уже там нельзя сделать ничего, что могло бы переломить ситуацию. Ты сам это знаешь. Другое дело, что Интерфронт все равно должен быть до самого конца — это единственное, что поддержит людей когда-нибудь потом — память о сделанном, память о своем достоинстве, память о том, что они сопротивлялись. Нет, слушай!

Но ты можешь сделать больше, чем просто поддерживать дыхание Движения вместе со всеми. Там найдется кому это сделать без тебя. Ты должен пройти свой путь до конца вместе с последними защитниками нашей страны. И я постараюсь быть там же. Не в Вильнюсе, так в Риге… Не спрашивай… Не надо. Слушай меня, любимый!

Ты сам понял, что последним и крайним во всем, чтобы ни случилось, будет ОМОН. Там ты свой человек. Там будет труднее, но там никого не бросят, там все свои до конца. И ты должен пройти весь путь, чтобы… чтобы обязательно остаться в живых! Ты должен быть свидетелем всего, что еще будет. Единственным свидетелем, который находится внутри и, вместе с тем, способен

посмотреть снаружи — непредвзятым и точным взглядом. Ты же поэт, Валерочка! Ты — журналист. Ты — последний свидетель. Больше некому. Только ты. Если не будет памяти — все будет зря. Мы живем только памятью, Валерочка! Ты должен сохранить эту память. Память обо всем — о нас, об Интерфронте, о Рижском ОМОНе. О друзьях и врагах, о предателях и героях. Ты — должен стать свидетелем. Иначе — к чему все? Я помогу, я буду рядом. Тебе помогут, твою роль будут знать и вытащат тебя живым из любого пекла. Ты — свидетель. Я люблю тебя…

Часть третья. Свидетель

Глава 1

Шестого января 1991 года, в канун наступающего светлого праздника Рождества Христова, Валерий Алексеевич с самого утра отправился с женой в Вецаки — гулять, заглаживать вину, да и просто проветриться после бурных событий едва наступившего Нового года. Алла не понимала или просто не хотела понимать, что не всегда отлучки мужа связаны с работой. Проверять не хотела — самолюбие не позволяло. Тем более, что муж всегда мог с невинным взором заявить в ответ на предъявленные претензии: «Ну да, я просто пил водку с друзьями всю ночь. И на второй день тоже. Ты же знаешь, я не люблю появляться дома выпившим. Потому, если позволяют обстоятельства, ночую на Смилшу или на базе, или… или там, где упал. Так или иначе — это все равно связано с работой, с необходимостью поддерживать отношения с нужными людьми. А вот женщин в наших компаниях не бывает. Я не бабник, Алла, я — пьяница!».

Алла устала спорить, ругаться, жаловаться свекрови. Тем более, что действительно, работа требовала от Иванова частых командировок и различных внеслужебных контактов. А ревнивой Алла никогда не была, по крайней мере, не выказывала этого Валерию Алексеевичу. Семейная жизнь Ивановых катилась себе, не спеша, без всплесков, без бурных скандалов и примирений — ровно, обыденно, привычно. Дочь росла тихоней и умницей, училась отлично, присмотра особого не требовала. Да и бабушки-дедушки с обеих сторон при первом удобном случае забирали внучку к себе — баловали, но и воспитывали тоже.

Так бы и дожили, наверное, супруги до золотой свадьбы, кабы не наступившие неожиданно времена перемен. Но уже сейчас, на девятом году семейной жизни, интересы Ивановых стали потихоньку расходиться все дальше и дальше. Дочка подросла и не требовала уже такого пристального внимания, как в младенчестве. Валерий Алексеевич ушел из школы в Интерфронт, образ жизни его резко переменился, равно как и круг знакомств, в том числе и общих с женою. Алла наоборот, все больше связывала себя со школой, беспрестанно ходила на курсы повышения квалификации, окончила между делом школу флористики, активно занималась общественной работой, но не политической, а педагогической.

Старые друзья, которых было не так уж много, потихоньку покидали круг Ивановых. Кто-то уехал, кто-то женился или вышел замуж и замкнулся в новом своем — семейном кругу. Кто-то был нежелателен Алле, например, бывшие их общие сокурсники —

Арик да Сашка. Причина была проста — встречи старых друзей всегда заканчивались одинаково — хорошей и продолжительной пьянкой. Но то, что можно было простить студентам, то уже не прощалось, естественно, «почтенному отцу семейства», которым теперь числился Иванов.

Алла привечала Толика Мурашова и других омоновцев, частенько появлявшихся в их доме. Легко сошлась она и с интерфронтовцами, ставшими новым и ближним кругом мужа. Все, казалось бы, шло хорошо или, по крайней мере, «как у людей». Но изредка трещины все же начинали ползти по фундаменту семейного уюта. И трещины эти, с годами все углублявшиеся, были следствием тех самых стартовых установок, с которых началась их совместная жизнь. Валерию Алексеевичу мало было просто уюта тещиной или родительской дачи. Он все куда-то стремился, о чем-то мечтал, строил какие-то планы… Это не выходило за рамки приличий, но все же эти. статейки, стишки, порывы. Теперь вот — работа в Интерфронте, командировки, телевидение, вошедшие в его жизнь так некстати — именно тогда, когда надо было бы, казалось, сосредоточиться на семье, на ее благосостоянии и крепости перед лицом грядущих перемен. Ворчала теща — на многочисленных семейных праздниках и юбилеях Аллиной родни на Иванова все чаще посматривали как на человека «неблагонадежного» с точки зрения верности «клану».

Алла, впрочем, сама с радостью встречала дома и привечала ленинградских журналистов, ездила к ним в гости вместе с Валерием Алексеевичем, ей льстило знакомство со всесоюзными телезвездами, но. Алла четко понимала, где этот мир заканчивается и начинается ее, незыблемый мир, интересами которого она никогда не могла поступиться.

Ничего удивительного в этом не было — каждой женщине свойственно беречь свою семью и заботиться в первую очередь о своем ребенке. Все остальное — потом. А Иванов… Он по-своему заботился о семье: приносил вполне приличную зарплату, доставал, когда была возможность, дефицитные продукты, делал уборку, готовил иногда в огромных количествах (по-другому просто не умел) домашние пельмени, плов, мясо по разным французским рецептам. Что еще надо — то?! Жизнь, как жизнь. Но у женщин сердце вещее. Не было у Иванова главного, что ценилось Аллой и ее родителями, и многочисленной родней. Не было в нем готовности бросить ради семьи все. Бросить начатое важное дело, наплевать на карьеру или учебу, поменять ради семьи политические взгляды, поступиться принципами в конце концов!

А принципы у Иванова были. Не так много, как хотелось бы, поскольку человек он был обыкновенный. Но все-таки были. И уж эти принципы он не нарушал ни при каких обстоятельствах.

Эта упертость в некоторых вещах у Валерия Алексеевича — человека, в общем-то, легкого и уживчивого, легко прощающего всем простые человеческие слабости — входила в кажущееся противоречие с его видимым наружно характером, и на этом многие ломались, не поняв до конца Иванова. Мягкий, даже застенчивый иногда, вежливый, корректный, уступчивый. Валерий Алексеевич совершенно неожиданно вставал на дыбы там, где совсем от него этого не ждали и стоял на своем до конца. Как правило (что непонятнее всего было некоторым знакомым и сослуживцам), это касалось его политических взглядов и убеждений, в любом случае — сферы общественной, а не личной. И это-то как раз вызывало неприязнь и даже враждебность у многих сталкивавшихся с ним людей, особенно рижан, для которых личная целесообразность была обычно важнее каких-то общественных или — бери выше — государственных заморочек. «Ну не партийный же ты чиновник, не государственный деятель, не писатель, не признанный научный авторитет — чего ты на рожон — то лезешь?!» — недоумевали многие. Да и был бы еще аскетом, чуждым обычных человеческих радостей — ладно, хоть как-то объяснимо. А тут!

Может быть, именно эти черты Иванова разглядел в свое время опытный руководитель Алексеев, приглашая его к себе на работу. Но те же черты были свойственны, по большому счету, всем простым, обыкновенным людям, которые вдруг, ни с того ни с сего, наперекор всем расчетам — *воспротивились* перестройке и неожиданно встали на пути ее тщательно рассчитанной и выверенной траектории. Сотни тысяч интерфронтовцев, омоновцев, младших и старших офицеров, курсантов военных училищ — пошли против генеральных секретарей и академиков, генералов, маршалов и адмиралов — против железной машины по сносу Родины. Они посмели взять и не поступиться принципами! Они посмели заявить о своем человеческом и национальном — русском — достоинстве!

Их было немного по сравнению с молчаливым народным большинством, легко исполнившим преступный и предательский приказ из Москвы о продаже Родины. И сейчас уже забывших напрочь об этом! Забывших о том, как в январе 1991 года сотнями тысяч собирались москвичи и питерцы, свердловцы и горьковчане на главных городских площадях, демонстрируя поддержку независимости Литвы, Латвии и Эстонии. Забывших, как искренне миллионы и миллионы поддержали Ельцина. А сегодня

эти же люди повязывают георгиевские ленточки на антенны своих машин и протестуют против фашизма в Прибалтике. *Те же самые люди!*

Прошло 17 лет, а россияне в большинстве своем так и не поняли, что они-то — в отличие от своих русских собратьев, брошенных за пределами РФ — до сих пор еще живут при Советской власти, почти что при социализме. Их не лишали гражданства, они не становились людьми второго сорта, их не прессовала языковая инспекция, их, по крайней мере, не преследовали за одно то, что они — русские! Не было такого, чтобы в одночасье закрывалась по всей России вся работа именно для русских!

А вот когда все твои знакомые и родственники, вместе с тобой, одновременно лишаются работы, а настоящий капитализм не ждет и не милует — просто присылает судебные повестки о выселении из квартиры — в никуда, за неуплату многократно выросших за год счетов за жилье, коммунальные и прочие услуги. В России тоже было трудно, да. Но *так* в России никогда не было. Никто не становился в России иностранцем против своей воли, не сходя с собственного дивана. И это еще «мягкий» вариант — стать «негром». Сколько тысяч людей были убиты за то, что они русские? Никто не считает. Считать убитых националистами всех бывших союзных республик, не говоря уже о российских автономиях. считать убитых ими русских — не принято в России.

Страна моя любимая — родина моя и еще полутораста миллионов непуганых идиотов! Тех самых, которые так хотели перемен. И ведь не тому радовались, что на смену безверию, политическому цинизму, подлости и несправедливости придут Православие, духовность, справедливость, закон и порядок, богатство и процветание… А чему?! Спросишь сегодня — все говорят, недоуменно пожимая плечами: «Не знаю, не помню…».

Мифы, мифы, мифы… Иванов был невосприимчив к мифам. Потому и пошел в Интерфронт. И таких ивановых было много, но куда больше было тех, кто мифам поверил. Тех, кто и сегодня не помнит того, что делал и думал вчера. А уж говорить про то, во что они вчера и сегодня *верили и верят.* — просто не приходится.

Вспоминался иногда Иванову роман «Обитаемый остров» братьев Стругацких. Линия «выродков», которые одни только остались свободными людьми в обществе, постоянно облучаемом волнами, подавляющими разум и волю к сопротивлению. Эти люди — «выродки» — были невосприимчивы физически к облучению, которым держали под контролем все население власти этой — фантастической — страны. А «выродков» власти отлавливали и убивали.

Стругацкие, конечно, держали свою — еврейскую фигу в кармане, когда писали «Обитаемый остров». Но очень похоже, что в «перестраиваемом» Советском Союзе тоже были нормальные люди, которых яковлевы и горбачевы с ельцинами считали выродками. Люди, которые не поддавались облучению демократических СМИ. Внешне «нормальные» — они лезли на рожон и сопротивлялись там, где сопротивляться было заведомо бесполезно и надо было, по мнению большинства, просто «расслабиться и получить удовольствие», да еще, может быть, получить за это какие-никакие деньги, как стартовый капитал в новом обществе.

Иванов тоже был, с точки зрения перестройщиков — «выродок», не поддающийся облучению и не потерявший здравого смысла и человеческого достоинства. И этого в нем не могла не почувствовать Алла. Жена Иванова поддерживала Интерфронт, помогала мужу, как могла и в чем могла, но знала — есть грань — за которую она не перейдет вместе с ним. Это судьба дочери, судьба семьи. Алла понимала (кому, как не жене, это понимать?) — муж у нее для нового, назревающего общества независимой Латвии — выродок. И друзья его тоже — выродки. И будущего у них все равно не будет в новой действительности. А дочку надо спасать. Так что, трещины поползли по фундаменту семьи Ивановых, и вовсе не редкие, короткие встречи с Татьяной стали причиной этой эрозии.

Нет, нет, Ивановы не расстались сразу после перестройки, они прожили вместе еще много лет — да только линии жизни у каждого члена семьи — жены, мужа, дочери — расходились все дальше в разные стороны. Сначала по чуть-чуть, потом все больше, пока не перестали быть совместимы совсем.

Но в тот январский день, в Вецаки, на правой — тихой стороне Рижского взморья, Валерий Алексеевич и Алла, гуляли, обнявшись, по пустынному берегу моря, смотрели как облизывает тихая волна песок под ногами, как тает на лету редкий снежок, все еще не прикрывший как следует землю даже после Нового года. А потом сели в электричку и поехали на другой конец города — в Золитуде, в гости к Людмиле с Региной — первым интерфронтовским товарищам Иванова — отпраздновать, как умели, наступающее Православное Рождество.

Обеим женщинам было чуть за тридцать, обе они работали в одном из проектных институтов, уже, впрочем, дышавших на ладан перед неминуемым закрытием.

Обе — не замужем. Родители у Людмилы с Региной были военнослужащими, которые так и осели в Латвии, уволившись в запас. И таких — образованных, недурных собой, разной степени

устроенности мужчин и женщин некоренной национальности были тогда сотни тысяч в одной только Риге. Хороших специалистов, просто хороших людей. Не понаехавших в Латвию по собственной воле за призрачным «кусочком Запада», а наоборот, часто *против своей воли* остававшихся тут из-за того, что родителей когда-то Москва направила сюда поднимать народное хозяйство — строить, учить, лечить, защищать. А потом — поди попробуй вернись обратно в Россию — даже в советское время! Проклятый квартирный вопрос и в самом деле многое испортил. Да и потом, кто тут все построил, в той самой Риге? Кусочек Старого города — немцы. А все остальное — русские. В царское время, в советское — все равно. Порты, заводы, аэродромы, дороги, мосты, жилые кварталы — все это строили русские, русскими руками на русские деньги — деньги «союзного» бюджета, выдираемые из России. И главный ресурс — люди! Люди! Лучшие специалисты во всех отраслях науки и производства, *отданные безвозмездно в рабовладение* латышам, эстонцам, грузинам, туркменам, казахам — русские люди. А ведь как в них нуждалась после войны сама обескровленная Россия!

Первое время после наступления независимости, свалившейся на голову национальным элитам постсоветских республик буквально с неба, русских поголовно называли «колонизаторами» и «оккупантами», и всеми силами старались выжить их из республик, чтобы самим, без помех разграбить все заработанное и построенное этими «колонизаторами» на окраинах великой империи. Потом спохватились и схватились за голову! Оказалось — эти русские люди, эти специалисты — ценнейший ресурс, без которого не выжить национальным республичкам. Особенно после того, как все было разграблено и больше грабить и распродавать стало нечего. А заново строить и зарабатывать стало вдруг — *некому* — русские и в самом деле стали уезжать. *А кто работать будет?!* — возопили в отчаянии даже самые отчаянные националисты. А некому. Самим придется. И «профессия» — латыш — тут уже не поможет. Впрочем, Россия, раздарившая не то 30, не то 25 миллионов русских людей национальным республикам, теперь тоже плачет, что работать некому. Но русских назад забирать не хочет. Боится! Даже сосчитать никто толком не может — сколько миллионов русских были на самом деле брошены на произвол судьбы в национальных постсоветских республиках. Это ведь русские! Пять миллионов туда, пять миллионов сюда.

Сегодня азбучных истин о том, что существуют разные народы, и у каждого своя судьба и предназначение, свои интересы — многие снова боятся… Но тогда, в начале января 91 года,

Валерий Алексеевич и Алла, Регина и Людмила, завернувший к ним на огонек Толя Мурашов, да и все их товарищи — прекрасно понимали — будущее русских в Прибалтике и вообще на свете будет гораздо *хуже,* чем в Советском Союзе. Они понимали и то, что в СССР русским тоже не было сладко, что русские были «старшим братом», *подчиненным,* алчности младших национальных и вненациональных элит — тех, кого Дмитрий Галковский метко назовет «советскими метисами». Понимали они все. Хотя были простыми людьми — молодыми инженерами, учителями, офицерами. Просто, в 1990-м году, оставшемся совсем недавно за их плечами — *все уже было сделано для того, чтобы изменения стали необратимы.*

Были «выбраны», *как* — это теперь все знают — националистические верховные советы союзных республик, принявшие декларации о независимости. В МВД, органах юстиции и прокуратуры царило, в лучшем случае, двоевластие. Были парализованы союзные органы госбезопасности и армия. СССР был наводнен тысячами иностранных специалистов, советников, просто банальных шпионов и кризисных управляющих. Множество тщательно отобранных предателей из числа советских граждан уже прошли свое обучение и проверку на лояльность Западу непосредственно в США, Великобритании, Германии, Франции, Канаде… Средства массовой информации огромной страны были практически полностью переданы в распоряжение антигосударственных сил. Все уже было сделано! Все уже было предрешено. И сопротивляться в этих условиях было самоубийством.

И это тоже понимали молодые люди, собравшиеся в уютной квартирке нового рижского микрорайона Золитуде впервые в своей жизни отпраздновать наступление Рождества Христова по православному календарю. Они, к сожалению, тогда понятия не имели ни о сущности праздника, ни, скажем, о Символе веры. Они просто душою чувствовали, что этот праздник — один из последних, которые теперь останутся у них — русских людей — на этом свете.

В «Единстве» — в «красном», «просоветском» интерфронтовском «Единстве» в 91-м году впервые появилось на первой полосе поздравление лидера Интерфронта Анатолия Алексеева со светлым Христовым Рождеством, обращенное ко всем сторонникам Движения. Это было неожиданно, особенно для многих коммунистов, массово входивших в Интерфронт. Да и вообще для многих, но не для Иванова и Регины, знавших о вере своего старшего товарища. И усевшись за стол после появления на небе «первой звезды» Ивановы, Мурашов и Людмила с Региной

— все они впервые в жизни поздравили друг друга с Рождеством Христовым и, видит Бог, была на то Его воля.

«Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй. Был он обилен летом солнцем, а а зимою снегом, и особенно высоко в небе стояли две звезды: звезда пастушеская — вечерняя Венера и красный, дрожащий Марс.

Но дни и в мирные и в кровавые годы летят как стрела, и молодые Турбины не заметили, как в крепком морозе наступил белый, мохнатый декабрь. О, елочный дед наш, сверкающий снегом и счастьем!..» — Толя Мурашов захлопнул томик Булгакова, попавшийся ему на книжной полке Людмилы и подошел к накрытому столу. Разлил в тишине шампанского.

— Ну! Были мы красной гвардией, станем, чувствую — белой!

— И бить нас будут и слева, и справа! — поднялся с фужером в руке Иванов. — Белые, пока не покраснеем, красные — пока не побелеем! Демократия — мать порядка!

— Так что, какая, собственно, разница? — поддержал Толян.

— Наше дело правое, наша вера — православная! — неожиданно соединила столь разные истоки Регина.

Зазвенел тонко хрусталь, как сталь шашек о сталь.

«Переправа — переправа, берег левый, берег правый.». В кипящей от взрывов воде посередине черной стремнины — коней менять — это верная гибель. Фразы, образы, символы, строчки сливались в сознании в неразрывное целое, которому противостояло все вокруг. И правому, и левому, и белому, и красному. И Российской империи, и Советскому Союзу. Всей истории нашей. И вере Православной, и власти Советской — всему нашлись враги, а прежде всего — народу русскому.

Вот собрались друзья за столом, под елочкой, мигающей огнями, усыпанной «снежком» из ваты. Привычная еда: «оливье» да селедка «под шубой», картошечка отварная, да холодец. Огурчики соленые со своего огорода. «Советское шампанское», водка «Посольская».

Фамилия у Людмилы — татарская, с первого раза и не выговоришь. У Регины — польская.

Алла — из старообрядцев, осевших в Латгалии, в Режице — Резекне со времен незапамятных — Петровских еще. А Иванов — пермяк — солены уши по родителям, да родиться только угодило под белым солнцем пустыни. Толя из Тулы. Но собрались вокруг Рождества Христова Православного все они вместе. И попробуй скажи кому из них, дескать, ты — татарка, ты — полька, а ты вот русский — от них *в отличие.* Ты православный, ты мусульманка, а ты католичка. Попробуйте, посмотрим, что будет! Но не

россиянами безличными согласны зваться все они, а *русскими.* Там уж, внутри, между собой — *русскими,* разберемся — где татары ночевали, где поляки прошлись, где коми-пермяки затесались, а где старообрядцы латгальские, перемешавшись с латышами, в корнях у кого побывали. *Внутри* русских и между собой. Но никак иначе. Интерфронт таких вот людей собирал и сплачивал. Русских, готовых к себе, к русским, принять всех, кто готов сопротивляться уничтожению Родины. *Раз сопротивляешься, значит, русский.* Латыши с эстонцами прекрасно понимали эту логику. И хохлы, и молдаване, и американцы, и англичане, и немцы, и всякие прочие шведы. И за это всегда ненавидели.

А вот с россиянами как же быть? С теми, кто Ельцин да Собчак? С десятками миллионов «россиян» (было ж и это) — сделавших новых отрепьевых своими кумирами?! С теми, кто старый псевдореволюционный лозунг польских националистов «за нашу и вашу свободу!» сделал своим лозунгом и подпевал из России грузинам и украинцам, латышам и литовцам в их желании разрушить все русское на окраинах СССР, а вместе с этим русским и саму, ненавистную многим веками, Россию? Что с этими людьми делать? Как их теперь называть? В 2008 году от Рождества Христова? Сколько из них сидят в сенаторских и депутатских, министерских, губернаторских и мэрских креслах? Не говоря уже о телестудиях и редакциях. Кто они? Русские? Боящиеся слово это вслух сказать?! В Конституции России это слово упомянуть и то забывшие. Кто они? А, гори оно все синим пламенем! Автомат в руки — это было уже. Прощать? Анафематствовали же Отрепьева. Ельцина отпевать не стал Патриарх. Путаются годы и даже века. 1991 и 2008. Смутное время — с третьим тысячелетием от Рождества Христова.

Логично было бы, если бы речь шла о реставрации Российской империи. Логично для тех, кто разрушал Советский Союз, кто боролся с Компартией, кто мечтал реставрировать капитализм. Но нет Всем им мешали и Союз, и Империя. И коммунизм, и Православие. И русские ненавидимы были и есть *за имя свое…* Причем, самими же русскими в России! Плевали в себя прилюдно! Мы — говно! Придите и володейте! «Наряду» у нас нет! Нам президент, нам мэр, префект и супрефект нужен! Демократия, рынок и приватизация! Суверенная демократия и инновационное развитие! Мы — либералы! Мэры, пэры и херы. Вот они и пришли — допросились люди русские! Сколько можно шагать по граблям? Шаг — и в лоб черенком! Шаг — и снова в лоб! *Беспамятство* — нету Господней кары страшней. Какая разница, в самом деле — россиянское МРЭО или ЗамКом по МорДе революционных лет? *Немцы* опять пришли… Безъязыкие…

По-русски объясняться с народом не желающие…

Седьмого января вся Латвия работала. Выходной объявили по случаю праздника только в Интерфронте. Но стало дома скучно Валерию Алексеевичу — приехал к обеду на Смилшу, 12. А там все в сборе. Кто знал и умел, тот в храм уже сходил, как Анатолий Георгиевич, например. Остальные просто собрались вместе — побыть с друзьями, поговорить по душам, на что никогда в суете буден не было времени.

10 января у Совета Министров Латвии Интерфронт собрал 50 тысяч человек на митинг против экономической политики нового правительства. Латыши были в панике. Стоило Алексееву дать команду, и митингующие тут же заняли бы здание Совмина. Годманис запросил переговоров. Анатолий Георгиевич предъявил ультиматум — или правительство уходит немедленно в отставку — или всеобщая, вселатвийская забастовка!

Но Рубикс с Клауценом — коммунисты латышские забастовки испугались. А Иванов в тот же день уехал в Ленинград — готовить свежие материалы о Латвии для очередного выпуска «Горячей линии».

Тут и рвануло. 1991 год начался. В Литве саюдисты стреляли по своим, выдавая убитых литовцев за жертв попытки ввести президентское правление. Из моргов Вильнюса вытаскивали давно остывшие тела, сами расстреливали трупы и подкидывали их на площадь, как доказательство «зверств Советской Армии». Распаленную молодежь сами умело толкали в спину под гусеницы танков и потом выдавали растерзанных юношей за героев сопротивления. А кто выстрелил в спину лейтенанту спецназа КГБ Шацких? «Беззубые», «безоружные» волки «Охраны края», конечно же, были «ни при чем».

На Дворцовой площади состоялся многолюдный митинг в защиту перестройки и в поддержку литовцев. Собирали на митинг по Ленинградскому телевидению. Те самые журналисты, с которыми еще недавно здоровался Иванов в курилке, призывали в эфире к формированию отрядов добровольцев для защиты независимости Литвы! Двоевластие вовсю началось и на Ленинградском ТВ. Медведев из НТК 600 и Леша Украинцев вместе с Валерием Алексеевичем выехали в Ригу — снимать баррикады. Со *своей* точки зрения. В это время другие журналисты ЛенТВ готовили репортажи о «зверствах» Советской Армии в Прибалтике. Покатилось — завертелось, полилась всамделишная кровь. Полилась она не в первый раз — давно уже были Ош, Сумгаит и Фергана, Баку и Карабах, да еще с Алма-Аты — давным давно началось! Но если там было зверство нешуточное восточное, распаленное и яростное.

В Прибалтике кровь была сакральной. Ее было меньше, гораздо меньше… Но это *жертвенной* кровью снова начала сочиться Европа. Это уже полыхал новый «рейхстаг» в преддверии нового века и нового тысячелетия. Это набухли кровью едва затянувшиеся раны порубежья между Востоком и Западом, вековые кровавые раны мировых, всегда с Европы начинавшихся, войн.

«Легенды и мифы Древней Греции», — грустно повторял чуть не через слово Иванов вынырнувшее из детства название книжки Куна.

— К чему ты это? — в который раз спрашивал его осоловевший от жары в вагоне и от «Сибирской», взятой в дорогу, Вадим Медведев. Лешка не пил — был в завязке, к счастью, и давно уже мирно спал, справедливо решив, что работать придется завтра в основном ему, а не изрядно подвыпившим коллегам.

— Да к тому, Вадик, что «сытая и счастливая, безмятежная и уютная» Европа — это очередной русский миф! А Прибалтика? Нейтральная полоса, через которую только и катились навстречу друг другу, веками, Вадик! Веками катились и схлестывались в Прибалтике волны армий Востока и Запада! Начиная с первого крестового похода на славян! Уже тысячу лет, Вадик! Да места живого нету в этой «тихой, уютной Прибалтике»! А Европа в целом? Ну что же, никто не помнит, чему его учили в школе на уроках истории? Да что ж у всех мозги-то поотшибло?! Да в руинах постоянно лежала Европа! В чуме, в войнах, концлагерях, голоде! Сколько в ней было мирных лет? Да по пальцам сосчитать можно!

Хорошо, кончилась вторая мировая… А что, не было 56-го года в Венгрии? 69-го в Чехословакии? Во Франции, что ли, в 68-м, не лилась на на улицах Парижа кровь студентов, науськанных американосами, в наше, вполне просвещенное время? Греция с «черными полковниками», Португалия с Салазаром. Италия с мафией и террором, Германия с «Роте армее фрак-цион»… А сколько французов погибло в Алжире? А Югославия? А Румыния? И это только Европа, про весь мир не говорю — не было еще дня за историю человечества, чтобы война на земле не шла. Но особенно страшна история Европы! Куда страшнее российской истории! Страшне-е-е-е-е-е-е! Что Средние века, что Возрождение, что бесконечные войны, голод, мор, революции, концлагеря — после… Подлее и беспощаднее стократ. Да в России за всю ее историю мира и покоя, достатка и здоровья было куда больше, чем в перенаселенной и от того по-звериному беспощадной Европе. Забыли! — Иванов сокрушенно махнул рукой, чуть не опрокинув высокий подстаканник с чаем, зацепив в нем ложку

рукавом. Спохватился вовремя и успокоился так же внезапно.

— Наверное, Валера, наверное. — Медведев, как всегда, был уклончив и не любил спорить. — Надеюсь только, что на этот раз минует нас чаша сия.

— Вас-то, даст Бог, минует, — проворчал Валерий Алексеевич. — А вот нас — вряд ли!

Ельцин в Таллине был вчера, ты в курсе? Договор уже подписал «Об основе межгосударственных отношений»… Межгосударственных!!! С Латвией, Литвой и Эстонией сразу! То есть, Россия в его лице признала независимость! А сегодня наш ВС латышский уже ратифицировал дого-ворчик, ты понял?!

Стучали на стыках колеса, беззвучно летел в вагонное окно, прямо в лицо Иванову белый мохнатый снег. «Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом…».

1918, 1919… 1991. Вот она, новая «Белая гвардия»! Как толкнул Толяна под локоть кто-то — вылез же с этим романом под звон бокалов.

Глава 2

Отправив Медведева с Украинцевым обратно в Питер — готовить первый выпуск «600 секунд» по Прибалтике, Иванов плотно засел в штаб-квартире Интерфронта в Старой Риге. Было о чем подумать в свете последних событий, да и новости могли последовать неожиданно, каждую минуту. Алексеев пропадал то в парламенте, то в срочно организованном Комитете общественного спасения, в который вошли все, так называемые «просоветские» организации республики: Компартия, Интерфронт, Объединенный совет трудовых коллективов, различные ветеранские организации. Командовал там Рубикс — первый секретарь КПЛ, а потому в Интерфронте, особенно после недавнего сознательного срыва Компартией тщательно подготовленной общелатвийской забастовки, больших надежд на Комитет спасения не возлагали. Понятно было и ежу, что Комитет будет управляться из Москвы, а значит, снова будут тянуть кота за хвост до последнего.

То, как нелепо и неудачно была организована попытка ввести прямое президентское правление в Литве, ясно показало — *всерьез* порядок в стране никто в Центре наводить не хочет и не будет. Некоторые говорили, что Москва просто уже не способна на жесткие меры, Иванов в это не верил. Способности были, они не потеряны. Армия и спецслужбы при наличии жестких и последовательных — главное — последовательных команд могли бы быстро нормализовать ситуацию. Конечно, вернуть все «назад», уже бы ни у кого не получилось. По-старому уже никогда бы не было. Было бы по-другому! Но именно того, чтобы все было «по-старому», никто не хотел уже и в Интерфронте.

Жестко пресечь развал Союза и строить новое государство, в котором не было бы места иждивенческим и националистическим иллюзиям союзных республик — вот единственный выход из положения сегодня — считал Валерий Алексеевич. С ним соглашались большинство друзей и коллег в Интерфронте и Рижском ОМОНе, в армии, и. во многих других структурах, знакомства в которых Иванов приобрел за годы политической работы.

Немногие тогда понимали, что «китайский» вариант перестройки ознаменован был не только жестоким подавлением «митинга безоружных студентов» на площади Тяньаньмынь. Но Иванов знал, что силам правопорядка и армии КНР противостояли десятки тысяч хорошо вооруженных автоматическим оружием и противотанковыми гранатами

оппозиционеров, что настоящие бои не прекращались более суток не только на главной площади китайской столицы, но и по всему Пекину. Тысячи солдат были убиты, растерзаны, сожжены заживо, а тела их привязывали для устрашения к фонарным столбам на перекрестках. Такая вот «мирная» перестройка грозила *всему* Китаю в случае малейших уступок, сделанных оппозиции. Какое количество жертв было бы в огромном государстве с самым большим в мире (и вовсе не однородным!) населением, если бы гражданская война не была пресечена в зародыше, а перекинулась бы на весь Китай — просто представить себе было невозможно.

Но все события последних дней в Прибалтике в очередной раз ясно показали — Москва не только не готова идти на единственно возможное решение по жесткому подавлению почти уже состоявшегося распада СССР; Москва противодействует всем попыткам оставшихся еще во власти здравомыслящих людей *продавить* подобный китайскому силовой вариант. А все остальное — все неожиданные, нелепые всплески применения силы — лишь грубая имитация решительных действий, да еще в интересах самих, провозгласивших по указке Кремля независимость, республик. Недаром о «неожиданных» январских событиях в Прибалтике так хорошо были осведомлены *заранее* и НФЛ, и «Саюдис», уже в декабре выпустившие публичные обращения к латышам и литовцам с подробными инструкциями на этот счет.

Но что было делать? Выходить из игры, в которой, как ни крути, ты оказывался всего-лишь марионеткой? В которой любые твои действия, даже самые самоотверженные и отчаянные играли на руку противнику?

Оставалось надеяться на чудо. Оставалось бороться до конца. Даже просто не сдаться — это уже было победой — единственно возможным выигрышем в абсолютно проигрышной ситуации.

Мысли не слишком утешительные — это правда. Но кто-то приходил к этому выводу логически, кто-то интуитивно, кто-то по велению не остывшего сердца, а кто-то, повинуясь зову внезапно проснувшейся души. «Душа по своей природе христианка», — так, кажется, сказал Тертуллиан. Так не отказывать же в душе тем, в ком она проснулась именно тогда, когда *они сражались за Родину* под ее еще красным — атеистическим знаменем?

В Старой Риге, наполненной республиканскими министерствами, другими важными ведомствами (да и парламент тоже находится в центре Вецриги) — на улице Смилшу было сразу несколько баррикад. Две из них расположились аккурат по обе стороны от входа в штаб-квартиру Интерфронта. Несколько бетонных блоков, тяжелые грузовики, развернутые поперек узкой

средневековой улочки — вот и вся «баррикада». Зато рядом с нею костерок, армейские или общепитовские огромные фляги с чаем и супом. Несколько небрежно, по-дизайнерски, брошенных бревен — для общего антуража, ну и просто — посидеть. Попить чайку с бутербродами или пирожками, запить водочкой — все на халяву — независимая Латвия гуляет! Независимая Латвия еще может себе позволить, за союзный пока что счет, кормить «баррикадников» в кафе и ресторанах, поставлять им горячительные напитки и оплачивать вдвойне и втройне командировочные водителям тяжелого автотранспорта, согнанного со всех колхозов республики по приказу нового правительства.

— Засрали и зассали всю Вецригу, конечно, но это ли горе? Коль идет такая пьянка — режь последний огурец! На кону — независимость! Впрочем, Верховный Совет Латвии и новое правительство прекрасно знали уже на тот момент, что независимость у них в кармане. Теперь надо было просто играть свою игру. И они ее играли. А кто поверил и теперь горько плачет — я не виноват, — так думал Иванов, протискиваясь в очередной раз в узкий проход для пешеходов, оставленный с краю баррикады, и входя в родное здание, над которым, прямо из окна его — Иванова — кабинета по-прежнему гордо развевался флаг Латвийской ССР, ставший теперь, в баррикадную пору, бельмом на глазу напивавшихся к вечеру в стельку латышских «добровольцев». К ночи у части «баррикадников» появлялось оружие. Мелькали порой даже автоматы.

И в Интерфронте, и в Рижском ОМОНе прекрасно понимали одну простую вещь — сельская милиция, состоявшая в основном из латышей, давно перешла на сторону нового правительства. Перешла, естественно, вместе с табельным оружием и его запасами в оружейных комнатах. Да и в здании Совмина, например, в подвале хранились тысячи автоматов и пистолетов, сотни пулеметов, гранатометов и боеприпасов к ним. Все это расходилось по рукам — доверенным и случайным, относительно чистым, а порою и просто грязным — уголовным. Часть этого оружия появилась и на баррикадах. Так же, как и латышская милиция в касках, бронежилетах и с автоматами, охранявшая наиболее значимые «баррикадные» объекты.

Валерий Алексеевич и Сворак, в компании с ребятами из рабочих дружин или «интербригад», как их еще называли, несколько ночей подряд ночевали на Смилшу, 12.

Потом их меняли другие интерфронтовцы. Так продолжалось довольно долго. Три раза по ночам в штаб-квартиру Интерфронта пытались вломиться пьяные баррикадники, чтобы сорвать

красный флаг, висящий над их головами.

Иванов привел на Смилшу «переночевать» наряд омоновцев, после чего нападения сразу прекратились. Тем не менее, самое ценное — видеостудию и архивы — пришлось перевезти в здание ЦК, постоянно находившееся под охраной ОМОНа.

Ситуация не только не разряжалась, а наоборот — становилась все более напряженной. Еще до Вильнюсских событий Рижский ОМОН принял под охрану Дом печати, но уже 19-го января пост омоновцев в вестибюле высотки был обстрелян из пистолета. Начиналось с малого. И все же, когда «баррикадники» вышли за пределы Старой Риги, омоновцам вынужденно пришлось принять меры по деблокированию важнейших транспортных артерий латвийской столицы.

Первым делом освобождали мосты и путепроводы, соединявшие рижский микрорайон Вецмилгравис, на окраине которого находилась база ОМОНа — с центром города. Латыши не случайно начали блокаду основных городских трасс с моста в Вецмилгрависе и путепровода Браса. Дороги, перекрытые в этих местах тяжелой автотранспортной техникой, лишали ОМОН возможности маневрировать силами.

Десятки МАЗов, КамАЗов и тракторов, стянутые к мостам, в любой момент, по команде из штаба баррикадников, могли остановить движение. Пришлось принимать меры. Водителей, постоянно дежуривших в машинах, выводили на обочину, а двигатели и колеса грузовиков омоновцы дырявили автоматными очередями, чтобы техника не могла больше сдвинуться с места.

Так повторялось не один раз — уроки долго не шли латышам впрок. Не обходилось и без более серьезных провокаций — экипажи омоновцев пытались блокировать прямо на мостах, иногда обстреливали украдкой. Приходилось отвечать огнем на огонь.

Начали гибнуть люди, первым из них некто Мурниекс, водитель министерской «Волги», отказавшийся подчиниться требованиям ОМОНа — попытавшийся скрыться на своей машине, несмотря на предупредительные выстрелы. Рано или поздно — это должно было произойти — пуля поразила водителя. Этого, собственно, и добивались лидеры баррикадни-ков, намеренно подставлявшие своих людей под вынужденные ответные меры ОМОНа. Им нужна была кровь любой ценой! Кровь якобы беззащитных и невинных жертв. А в машине Мурниекса, между тем, латыши пытались перевезти из Риги в Цесис большое количество оружия.

Смысл попыток заблокировать мосты между центром Риги и базой ОМОНа состоял не только в демонстрации сопротивления

союзным властям. Небольшие группы омоновцев, выполнявшие задания в городе, латыши пытались лишить возможности вернуться на базу или получить с базы подкрепление в случае серьезного боестолкновения. Это окончательно стало ясно уже 20 января.

Поздним вечером того дня Валерий Алексеевич спокойно сидел в маленьком уютном домике Трегубовых в Чиекуркалнсе, в двух шагах от собственной квартиры. Вместе с Палычем они лечили разболевшийся у Иванова зуб самогоном хозяйского изготовления, обсуждали неторопливо дела служебные — Палыч был одним из главных добровольных помощников интерфронтовской видеогруппы. Смотрели между делом новости по телевизору, даже поругались немного по поводу Саши Васильева — режиссера, перекочевавшего в последние дни вместе с видеостудией со Смилшу в здание ЦК КПЛ и не собиравшегося, похоже, возвращаться в родную контору, которая ему деньги платит.

Перед тем как уйти с работы, Иванов успел уже, «на перемотке» почти, наскоро ознакомиться с видеосъемкой допроса боевиков, задержанных омоновцами после нападения на Дом печати. Но Палычу много говорить об этом не стал: еще неизвестно было — пойдет ли материал в эфир или так и останется в распоряжении прокуратуры Латвийской ССР. День был долгим и тревожным, но наконец-то заканчивался. И тут январь вновь показал, что месяц он тяжелый.

Даже первые лица страны, включая членов Политбюро ЦК КПСС, многие новости в тот богатый на события год узнавали не по звонку телефона правительственной связи, а вот так вот — просто включив телевизор. Что уж говорить о рядовых гражданах.

Увидев на экране черно-белую по случаю ночных съемок картинку центра Риги, подернутую похожими на обычные телевизионнные помехи трассерами автоматных очередей, Иванов поспешил не туда, где проходил и, скорее всего, даже заканчивался бой. Он чудом поймал на Брасе такси и поехал на улицу Атлантияс в Вецмилгрависе — на базу ОМОНа. Слава богу, из Чекура до базы было не так уж далеко, да и движения никакого на дорогах не наблюдалось, наверняка все сидели прилипнув к экранам телевизоров. А кто не сидел, тот действовал и на дороге тоже не мешался.

Миновав КПП, Иванов заскочил в дежурку — грузный старлей Чук одышливо и нервно пытался разговаривать по городскому телефону и рации одновременно. Тут же, в коридоре, сидела пара сержантов с оружием — наверняка усилили охрану базы — успел подумать Иванов про себя, но Чук, увидев его, оторвался на

секунду от трубки, крикнув: «Скоро все будут здесь!» — и махнул рукой с зажатой в ней рацией в сторону кубриков — жди, мол, там, не отсвечивай на проходе!

Иванов вышел снова на мороз, быстро прошагал к последнему справа бараку, у которого притулились два бронетранспортера, развернув пулеметы в сторону камышей за «колючкой», окружавшей базу. Слева, со стороны маленькой бани, заметив штатского, его окрикнули: «Покажись на свет!» Валерий Алексеевич послушно вышел под фонарь на дорожку между бараками и, сняв шапку, помахал омоновцам, устроившим еще один внутренний пост на крыше бани. В ответ, приглядевшись, ему махнули рукой — проходи!

Иванов поднялся на крылечко и толкнул раздолбанную дверь на пружине. Перед ним в дверном проеме тускло высветился длинный узкий коридор — там, слева и справа, располагались кубрики. Пустой сейчас коридор заканчивался дверью в небольшой борцовский спортзал. Остановившись на пороге, Валерий Алексеевич подождал, пока старая пружина не хлопнет дверью за его спиной, и свернул сначала налево — отлить. В туалете, повернувшись к нему спиной, с автоматом на плече, маячил знакомый силуэт Архарова. Маленький, пружинистый, с черной кудрявой шапкой волос, сливавшихся с черным беретом, рижский узбек Саня плавно и быстро повернул голову, оценил обстановку и, невозмутимо пробурчав что-то вроде: «Привет!», — продолжил свое занятие.

— Что нового слышно? — пристроился у соседнего писсуара намерзшийся по дороге Иванов.

— Зависит от того, что ты уже знаешь. уклончиво ответил сержант и, застегиваясь на ходу, пошел мыть руки. Матернулся дежурно по поводу холодной воды и, уже выходя из туалета, посоветовал: — Посиди у Толяна пока, подожди, он там был, скоро явится, сам тебе все расскажет, а то вечно я крайний в ваших разборках.

Сержант поправил ремень автомата, съехавшего с плеча, и, неожиданно обернувшись в дверях, весело ухмыльнулся, подмигнув черным, и без того постоянно прищуренным, глазом: «Началось, Валера! Погнали наши городских!» Дверь хлопнула — Саня выскочил на улицу, и оттуда раздался дробный быстрый топот ботинок по промерзшему асфальту, так и не успевшему покрыться снегом в эту зиму.

Иванов пожал плечами и медленно побрел по коридору. Дошел до двери с металлическими циферками 12, толкнул ее — заперто. «Ведь давал же Толик ключ, а я отказался, мудак!» — подумал лениво про себя, закурил и, вернувшись ко входу,

устроился на облезлом школьном стульчике у порога. В бараке было тепло, тихо, и уставшего за день Валерия Алексеевича потянуло в сон.

Потом к базе подтянулась целая колонна автомашин, явился наконец Мурашов, позвонил «по громкой» в барак. Иванов стряхнул дрему и поспешил в дежурку. Толя, даже не поздоровавшись, обнял его за плечи и повлек обратно к себе в кубрик. Не успели они перекинуться и парой слов, как офицерам приказали явиться к начштаба. Мурашов опять убежал, а Валерий Алексеевич согрел себе чаю в кружке кипятильником и улегся на свободную койку, засунув под матрас оставленный ему Толиком зачем-то пистолет. «А, усиление у них на базе…» — снова пришла ленивая мысль. Свой маленький ПСМ, лежавший под мышкой, он пристроил поуютнее, застегнул на всякий случай ремешок, чтобы пистолет не вывалился ненароком, и мгновенно захрапел.

Толян вернулся через полчаса, вошел тихо, посмотрел с сожалением на громко храпящего друга, тихонько скинул бушлат и всю лишнюю сбрую, не выключая свет улегся, пристроив гудящие в ботинках ноги на край кровати, и приказал себе проснуться через час. «Нет, через два», — уже засыпая, поправил он сам себя. Иванов как раз повернулся во сне, перестал храпеть, и теперь только ветер шелестел в январской ночи камышами за тонкой стенкой деревянного барака.

Не прошло и полутора часов, как в кубрик тихонько постучались. Подергали запертую изнутри дверь и снова заскреблись. Иванов заставил себя проснуться, встал, прошелся в носках по холодному полу и тронул за руку Мурашова, спавшего на спине так тихо, как-будто и не дышит вовсе.

Тот, против ожидания, откликнулся мгновенно, и голос был живой, незаспанный совершенно.

— Это Мишка, наверное, спроси. — Валерий Алексеевич встал сбоку от двери и буркнул:

— Кто?

— Дед Пихто с золотыми яйцами! — зло отозвался простуженный голос.

— Открывай! — уже громко сказал Толян, койка под ним заскрипела, он сел и громко притопнул ботинками, ноги так и не отошли, только покрылись мурашками и занемели. Иванов повернул ключ и одновременно включил свет в кубрике.

— Что, дрыхнете, бойцы? — Мишка Ленин пытался развернуться в узком дверном проеме. Руки у него были заняты бумажными свертками, ремень автомата сполз с плеча на локоть, на другом плече висела снайперская винтовка, и потому Мишка втискивался в кубрик боком, чтобы не зацепить прицелом за

косяк. От Ленина пахло свежим морозцем, крепким табаком и почему-то рыбой. Он брякнул многочисленные свертки на стол, Иванов с Мурашовым в разные стороны потянули с него оружие, а Мишка только крякал да охал, потягиваясь и растирая поясницу.

— Всю жопу отсидел за рулем сегодня! — пожаловался он товарищам.

— Я всегда говорил, что ты жопой водишь! — засмеялся Толян.

— Да я задницей вожу машину лучше, чем ты руками, вертолетчик херов! — отшутился Мишка, расстегиваясь, разоблачаясь, выкладывая на койку пистолет, гранаты, сигареты, спички и еще пачку специальных «отвешенных» патронов для своей ненаглядной эсвэдэшки.

— Поручик, будь добр, воткни чаю! — Ленин блаженно закурил сигарету без фильтра, кинул небрежно на стол мятую пачку. — Угощайтесь! Американские!

— Американская «Прима»?! — Иванов с интересом повертел бесцветную картонку с красной броской надписью по диагонали: «At last!» Внутри, однако, болтались ничем не отличимые от «Примы» или давно забытых, с армии еще, «Охотничьих» да «Северных», овальные сигареты без фильтра. Они с Толиком закурили одновременно и одновременно сморщились, выдохнув терпкий, вонючий дым.

— Что за ерунда такая? — поинтересовался Толик, уже снова бодрый и веселый, как будто не лежал только что «трупом» на своей койке.

— Народ подарок подогнал для нас, несколько ящиков в штабе стоит, я прихватил несколько пачек — делите.

— «At last!» — задумчиво прочитал надпись на пачке любопытный Бубнов. — Это что ж такое за подарок? Как переводится? «Напоследок!», что ли? Или «В последний раз?!» Да за такие подарки ОМОНу…

— Успокойся! Это вообще-то, по идее, должно звучать как «Наконец-то!». То есть вроде как «долгожданные сигареты», — просветил Иванов. — А сигареты и в самом деле не помешают. Ты бы, Миша, побольше прихватил, что ли… А то талоны и то не отоварить стало. А так, как мы курим, и эта гадость сойдет, лишь бы дым шел.

— Толян пойдет в дежурку и захватит, там много. — Ленин бережно разворачивал огромный пакет с копченой салакой, тут же перебившей все запахи в кубрике, даже табачный.

— Это откуда такая радость?

— Заезжали на «Кайю» по дороге, так благодарные массы ночной смены решили, что мы тут с голоду помираем. Тут еще

тушенка, сгущенка, конфеты какие-то..

— Вали в холодильник! — по-хозяйски распорядился Бубнов. — А салаку мы сейчас рубанем, пока теплая… Пахне-е-е-ет!

Все как-то оживились, крепкий чай помог проснуться, омоновцы дружно накинулись на рыбу. За едой молчали, каждый обдумывал про себя прошедшие день и ночь. Наконец, отвалились от стола, погасили большой свет, включили самодельный ночничок. Ленин, подумав немного, расшнуровал ботинки, снял их с наслаждением и тут же откинулся на койку, не раздеваясь, накрывшись бушлатом, автомат прислонив в изголовье. Только что был человек — и нет его, посапывает тихонько, по-детски, с деликатным присвистом в одну ноздрю.

Все было буднично так, обычно. Словно не полыхали совсем недавно в центре Риги подожженные трассерами автомобили, не вздрагивали всполохи автоматного и пулеметного огня на улицах, не кричали раненые, не умирали люди на глазах у толпы ошалевших зевак, не понимающих, что они так же могут умереть в любую минуту.

Толик не помнил как будто, как все ближе к нему перемещались трассирующие очереди, как под огнем, в противогазе, чтобы уберечься от собственной «Черемухи», вброшенной в разбитое окно дежурки, первым ворвался на лестницу, как поскользнулся на мраморной ступеньке, и пули как раз тогда прошли над его головой; как в последний момент передумал стрелять в дернувшегося из-за фикуса на площадке придурка в каске. Придурка, ошалевшего от порохового дыма и «Черемухи», не бросившего на окрик свой автомат, длинной очередью высаживавшего весь магазин себе же под ноги, приплясывавшего от страшного визга рикошетом летящих пуль и еще больше дуревшего. Лейтенант прыжком обошел латыша справа и ногой отправил его, кричащего, лететь вниз по лестнице — живым. А может, вспоминал как раз об этом Толик, как раз об этом. О том, о чем никто не рассказывает, о чем никто не спрашивает, если, конечно, мозги есть у человека.

Мурашов долго еще курил, смотрел в темноту, пока не родил, наконец, первого слова:

— Ну, Валерка, дело было так.

Глава 3

— 19-го, ночью, обстреляли наш пост в Доме печати. Понятно, что мы стали прочесывать город. В результате задержали микроавтобус с пятью боевиками. Допросили на базе, дали немного звиздюлей, а потом доставили в Советскую прокуратуру на Райня. Ты у Рейниекса бывал?

— Смешно у нас — прокуратура Латвийской ССР аккурат на углу у латышского памятника Свободы, — хмыкнул Иванов. — Про боевиков я в курсе немного, Чизгинцев днем успел поделиться.

— А, ну тогда хорошо, я вкратце. — Мурашову явно не хотелось ничего обсуждать, а хотелось ему спать, но скоро уже новый день, на базу непременно начнутся визиты со всех заинтересованных сторон, и Поручик должен быть в курсе деталей происходящего — это уже будет *его* работа. Толик свое дело сделал, автомат долго остывать не хотел после перегрева. Все же АКСУ не для боя сделан. Так, пару очередей выпустить при задержании. А для серьезного боя нужен АКМ.

— Вкратце, значит. — Совершенно некстати Толяна снова разморило. Не было захватывающего приключения, был бестолковый, как обычно, только затянутый бой. Да еще — никто не хотел никого убивать, потому что непонятно совершенно было, кто и где, зачем, за что и сколько? Хуже нет, когда задача неясна, когда ты вынужден думать не об уничтожении противника, а о том, где он, настоящий, прячется, и чья это на самом деле провокация, и что выгодно было ее авторам, а значит, в первую очередь, надо просто разгадать — на что не поддаться, кого не подстрелить по чужой наводке, к его же, гада, выгоде. А еще людей сохранить, и себя бы тоже, любимого. Но это потом. Час почти прошел, пока перестреливались, потом два часа в захваченном министерстве, а время куда-то запропастилось, да и думать было не так уж просто под пулями. Самому бы сперва уяснить, кто и что, а тут еще Валерку ориентировать… А всего бы лучше — сто граммов — и спать, спать, спать.

— Короче, у боевиков документы шифрованные — передвижения они отслеживали.

— Ваши или всех?

— Да всех подряд, похоже. Наши экипажи, командующего округом, даже ваш рафик, похоже, отмечен. Ну, оперативного интереса это особого не представляет. Шифр примитивный, поэтому просто прикинули характер записей, и все.

— Принадлежность? Оружие? Конкретная задача?

— Я только на первичном допросе присутствовал, так что извини, чем богаты, тем и рады.

— Ничего, ты говори, что слышал. Я видео уже отсмотрел, Васильев снимал повторный допрос в прокуратуре.

— Наш пострел везде поспел. — Присвистнул тихонько Толик, оглянулся на безмятежно спящего водителя и продолжил, собравшись с мыслями, царапая незаметно для себя ладонь острием пули завалявшегося в кармане патрона: — Ребята Бесхлебникова — из «стражей порядка». Как сейчас говорится, незаконное вооруженное формирование. Только оно со стороны нашей прокуратуры незаконное, а со стороны латышской прокуратуры и латышского МВД — очень даже законное. Они сразу давить начали: выпускайте, мол, произвол и прочая муйня.

— Бесхлебников, сука, себя уже по-латышски — Майзниексом величает, странно, что не Безмайзниексом, — сварливо проворчал Иванов. Мурашов понял почему — Бесхлебников был в прошлом кадровым офицером милиции, а милицию Валерий Алексеевич по старой привычке не жаловал, не говоря уже о предателях. Впрочем, предателей этих было на каждом шагу теперь, и не только в милиции, но и в КГБ, и даже в армии уже появились. Так что Толик ворчание пропустил мимо ушей и стал рассказывать дальше — уж очень хотелось выиграть время для сна.

— Бесхлебникова, значит, ребята… Ну, ребята — это сильно сказано. Мужики молодые — от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Правда, ты сам понял, раз видео смотрел, — подготовки у них ноль — так, не очень идейные добровольцы — пожрать и выпить да денег сверху получить.

Пистолет они сбросили один — это точно. Патроны не успели, причем патроны оказались у всех почти, значит, и оружие было. Три ящика бутылок с горючей смесью. Холодное оружие, цепи велосипедные, баллончики с паралитическим газом — джентльменский набор борца за независимость, короче, можешь так и написать.

— Так и напишем. Рощин подъедет утром, сделает материал и для нас, и для «Советской Латвии».

— Хорошо. Так, что у нас еще… привязать их к нападению на Дом «печали» пока не удалось. Но там много другого еще оказалось. Хотя ничего, в сущности, нового. Потому-то я и не пойму, чего ради за них так рьяно все заступаться стали — от правительства до московских генералов.

— Даже так?

— Даже так. Давят, суки, как будто у боевиков штаб в Кремле, а не в Старой Риге. У Чеса уже уши от телефонной трубки опухли — натер, говорит.

— Кстати, на видео эти орлы обкакавшиеся признались, что работают за деньги. Жаловались, что если в первое время на баррикадах давали талоны в дорогие кафе за счет Совмина и хорошую водку или даже коньяк доставляли, то теперь только бутербродами кормят и вместо водки спирт разведенный, а то и вовсе паленый привозят. Но про серьезные вещи молчат, скорее всего и не в курсе просто. Радиопозывные и коды сдали. Конкретная задача — следить за передвижениями советского военного начальства, лидеров партии и Интерфронта, кто попадется, короче. И быть на связи и подхвате — вот и все. У них таких рафиков по Риге десяток примерно постоянно циркулирует, между прочим.

— Так если ты все знаешь, да еще лучше меня, что я тут время трачу?! — возмутился Толян.

— Я знаю только до этого момента. А про «потом» я ничего не знаю — как все с МВД реально закрутилось, и со стрельбой… Я как раз домой поехал.

— Ну ладно. В общем, вчера весь день наезжали на нашу прокуратуру и на нас, грозились санкциями, какими на хер санкциями?! А потом сменили тактику. Пошли анонимные звонки на базу с угрозами — вырежем семьи омоновцев. Адреса наши называли домашние, имена жен и детей… У Чука все записано с Феликсом, можешь потом послушать. Только через Чехова, пусть он команду даст. они без него все равно никого в техническую группу не подпустят. — Иванов только кивнул, подпер лицо руками и так и слушал дальше с закрытыми глазами, запоминая, делая по ходу какие-то заметки «на подкорке» и так же точно, как Толян, сопротивлялся навалившейся снова дремоте — тепло и уютно стало в кубрике, так уютно горел ночничок, таким спокойным был голос Мурашова, словно о рыбалке рассказывает старому другу. В коридоре тем временем началась опять какая-то жизнь — кто-то топал туда-сюда, открывались и закрывались двери кубриков, потом зарычал вдруг двигатель БТРа и слышно было, как он переехал на другое место. Но, пока их самих не трогали, можно было договорить.

— Потом вдруг к телефону попросили исполняющего обязанности командира 3-го взвода… «Послушай, как твоя жена балдеет!..» А у него жена беременная… И что он там слышал, я не знаю. Знаю только, что его сразу к начштаба посадили, чтобы вместе со взводом куда не сорвался. А минут через сорок жена ему уже сама позвонила, сказала, что ее изнасиловали и не отпускают. Потом опять звонки — с угрозами другим семьям.

— Эмоциональный фон создавали, суки, — тяжело проговорил Иванов, растирая лицо руками. «Как же вы

удержались?» — хотел он спросить, но не стал, раз удержались, не важно уже как.

— Ну, это у них получилось. «фон» был такой, что пол-Риги могло на уши встать вместе с боевиками. — Толян вспомнил наконец, что есть же на свете сигареты, закурил, дал прикурить Иванову. — Меня Питон вызвал, сказал, что пришла информация о возможном нападении на прокуратуру, куда к вечеру перевезли боевиков. А, это ты знаешь… Чес был в курсе уже, конечно. Сформировали наряд для усиления охраны прокуратуры, да и ребят сменять пора было.

Выехали на нескольких машинах. Чес на «Волге» поехал в прокуратуру сразу, он и Лактиона взял с собой, чтобы тот заявление написал прокурору про изнасилование и похищение жены. Ну ясно, что не одни они поехали. Я и Кузя с нарядом отправились обычным путем — по бульвару Райниса. Архаров со мной был в «уазике», Кабан, ну еще несколько человек в грузовике. Двенадцать человек, если всех посчитать, вместе с Чесом. Специально же не готовились, поехали как обычно — берет, автомат, по два, хорошо, если по четыре магазина с собой, брони, понятно, надели. Два РПК, одна СВД, по паре гранат, штатная «Черемуха» — и все.

И вот перед этим самым долбаным ущельем между МВД и гостиницей «Ридзине» попадаем в клещи. Одновременно по нам открывают огонь со всех сторон — из дверей «Ридзене», из окон МВД, из парка Коммунаров и со стороны Бастионной горки. А темно уже, двадцать один час примерно. Они трассерами все перечеркнули, куда деваться — непонятно. Покинули машины, «бобик» загорелся сразу. Прижались по стеночкам министерства в мертвую зону, часть людей перебежала за деревья — к началу парка у Бастионки. Тогда еще со здания Госкомитета по строительству из пулемета стали поливать нас. Но неудобно им — сверху, да и улочка узкая. Со стороны памятника Свободы трассеры тоже в нас летят, в тех, кто с краю парка, у горки, за деревьями притулился. потом по толпе зевак-идиотов, которые там собрались; так ведь из МВД же по ним, по гражданским, тоже палят, представляешь?

Несколько машин на бульваре Райня подожгли, те полыхают, все громыхает со всех сторон, ориентации никакой. Мы рассредоточились по «мертвым» относительно зонам, огрызаемся по окнам МВД, чтобы только не дать им прицельный огонь вести. Но они же бьют не столько по нас, сколько по парку, по улицам — такое впечатление, что сразу в нескольких кварталах война началась, а это же не мы с ними перестреливаемся, а они в белый свет и город со всех сторон лупят. Стекло сверху битое сыплется,

штукатурка от стен летит, рикошеты воют, мат-перемат, конечно. Мы почти не стреляем, патроны бережем, а они.

— Кто они-то?

— Да если б я знал! Ну, из МВД — понятно, там латышская сельская милиция на усилении сидела, как потом оказалось — народу много — несколько десятков стволов. А остальные. На Бастионной горке видели людей в касках и бронниках, которые обстреливали и нас, и МВД, и штатских на улицах.

Чес был в прокуратуре, когда выстрелы услышал, сунулся на улицу, там какой-то мудак — в каске и бронежилете армейских — на штатской одежке — перед собой девчонку щитом поставил и очередями из-за нее фига-чит. Командир по рации нам кричит: «Только не убивайте никого! Только не убивайте!» А мы, можно подумать, видим, кого убивать, — стреляют изо всех окон, да из парка, из темноты. Прижмешься к стеночке или к дереву, автомат к сердцу прижмешь и только башкой ворочаешь — кто рядом из наших, да куда трассеры ложатся? А время все идет, а они все херачат и херачат. Короче, бой в городе неизвестно с кем — неприятный аттракцион. Народу с оружием оказалось вокруг — чуть не сотня. Кто-то под нас работал — в черных комбезах, кто-то под солдат, кто-то в штатском. И все по-русски матерятся, ебстественно! А кто это был? Откуда я знаю, если нас было двенадцать человек всего сначала!

Чес подкрепление организовал из прокуратуры, благо рядом — двести метров. Кузя с парой бойцов и с пулеметом вышибли двери в Госкомитете по строительству, заняли второй этаж, откуда по нас стреляли сначала, — там уже никого, одни гильзы стреляные. Ну, мужики пулемет поставили прямо напротив министерства — окна в окна — стали нас прикрывать огнем.

Республиканский военкомат тоже обстреляли, так те просто закрылись и сидели тихо. Потом сообщили, что кто-то у них по крышам ползает. А это же один, считай, внутренний двор с МВД. Раненые среди зевак появились, подъехала пара «Скорых», мы еще эвакуацию раненых прикрыли, как могли.

А вокруг столько мудаков с телекамерами нарисовалось сразу, явно *ждали* они представления. Ну, нам деваться некуда, пришлось, чтобы укрыться от огня, брать штурмом МВД. Забросали разбитые окна на первом этаже «Черемухой», вломились в главную дверь, вошли внутрь с двух сторон. бойцы машиной хозворота еще ломанули, с черного хода.

Кто-то отстреливался, кто-то сразу оружие сдал, кто-то ноги сделал, вероятно, по крышам.

Там на пятом этаже Индриковс оказался — замминистра, так он, гад, в советской парадной форме сидел, в фуражке

генеральской, запершись в своем кабинете. Не, не стрелял он, что ты. Он пацифист оказался — у него даже пистолета не было. Больше часа сидел запершись, пока бой шел, и даже автомата не потребовал себе принести, генерал! Фуражку с него сбили да башкой в персональный унитаз макнули пару раз, больше не трогали.

С Индриковсом вообще непонятно. Целый замминистра спрятался вместе со своим водителем на пятом этаже в своем кабинете, забаррикадировал дверь столом и. все. Сидел, ждал — отобьются его подчиненные или постреляют их? Просто песец! Наскоро здание министерства прочесали, заняли оборону — тут еще наши подъехали. Гончаренко в качестве парламентера приперся; замкомандующего округом, на которого стали давить Москва и латыши одновременно, подключился. А еще Рубикс истерику устроил, что ЦК собираются штурмовать какие-то неизвестные люди.

Там по ходу много чего занятного было, все не сообразишь сразу, да и со всех сторон боя тоже не увидишь. Это надо неделю еще все вместе складывать. Улицы кто перекрывал на подступах к МВД во время столкновения и чьи это были машины? Кто с Бастионки стрелял? Кто из «Ридзене»? Кто трупов наделал среди населения? Мы-то кого порешили? Один милиционер в министерстве, и трое-четверо раненых там же, в дежурке. Да и то еще разобраться надо. А штатских на улице и в парке кто положил?

Короче говоря, начальство договорилось, генерала латышского мы отпустили, командир дал команду покинуть здание и в колонне, под прикрытием армии, следовать на базу. По пути еще в ЦК заскочили, колонна стояла долго. там Чеслав за шиворот Рубикса тряс, я сам видел, а по какой причине, не знаю. Это ты лучше Питона спроси, но это уже не для эфира будет, сам понимаешь. Я вас познакомлю поближе потом. Женщину нашу отпустили сразу, говорят.

У меня ни царапины, осколками камня только чуть посекло, когда очередь слишком близко в стену стебанула. Остальные тоже в целом живы-здоровы. Лашкета броник спас — ему прямо в грудь из пистолета шмальнули. Как нас там всех не положили, не знаю. Тут не только наша заслуга, но еще и цели у них такой не было, очевидно, нас всех пострелять. У них, похоже, главная цель была — цивильных валить, чтобы крови невинной было побольше. А мы уж так, если на мушку попадемся. Да только мы попадаться не пожелали. У меня вон патронов осталось полтора магазина из четырех. Захотели бы мы — положили бы милиции латышской горку. Так командир только и орет — никого не убивайте! Ну, мы

и не убивали никого. Почти. Наоборот, били по огневым точкам, тем, что по городу вели беспорядочный огонь, чтобы они с перепугу гражданских поменьше положили. Но всех собак теперь на нас повесят — это точно! Уже приказ был сдать все оружие, которое участвовало в бою, на «отстрел» — на экспертизу.

Только теперь Иванов заметил, что и у Мишки, и у Толика уже не АКСУ, а потертые, старенькие десантные «калаши».

— А это откуда?

— Из резерва… — бойко соврал Толик.

— Из школы милиции конфискованы? Когда латышей разоружали?

— Ну, может быть. ты у начальства спроси, оно тебе доложит, — засмеялся Мурашов впервые за всю ночь, оттаял наверное. — Что еще нового? Со всей Латвии милиция латышская едет в Ригу — приказано прибыть в полном вооружении. О приказе Вазниса стрелять по омоновцам без предупреждения ты знаешь. Рижский гарнизон эти приказы, конечно, на три буквы послал, а вот «крестьяне» с оружием — из Бауски да Тукумса — они же мудаки полные, они же не знают, на кого их натравливают.

— Ладно, Толян, вроде ясно, что ничего не ясно. — задумчиво протянул Валерий Алексеевич. — Ну, поговорим с Чесом, Чизгинцевым, с Кузей, с Питоном, в конце концов — выстроим общую позицию и будем кино делать для Центрального телевидения. Чем скорее, тем лучше. Странно, что Вазнис, министр-то, в Москву как раз вчера укатил. И командующего ПрибВО на месте не оказалось… Ладно. Утром позвоню Васильеву, будем снимать Чеслава, если договоримся. Пусть в кадре сделает разбор полетов от первого лица. Это вам, в конце концов, нужно…

— Вам-нам… — вздохнул Толик.

— Ну, нам, но и вам, то есть всем нам, тьфу, едрить твою за ногу, что ты меня путаешь? — выругался Валерий Алексеевич. — Я и так уже не понимаю, кто я и где я, ты еще тут.

— А ты не путайся, господин Поручик, — ядовито заметил Толян, — ты лучше переоденься, да пойдем оружие получать. А потом — спать!

— Да на кой хрен мне оружие? Мне твоего пистолета хватит, чтобы застрелиться! — вскипел вдруг Иванов. — Личное оружие для личных дел! Что мне с ним, ворон пугать? На, забери! — Он сунул руку под матрас и положил на стол Толиков ПМ рукояткой вперед. — Патроны я не брал.

— Не шуми, 7,62 получишь, по моей личной протекции, заметь! А гранаты я тебе сам выдам. — Толик быстро нагнулся и с

шумом вытащил из под своей койки ящик с РГД-5.

Тебе сколько?

— Нисколько! Я тут что, по-твоему, месяц с вами сидеть буду, охранять вас?

— Ну, недельку-то уж побудь. Договорись там, как-нибудь, на Смилшу!

— Да на фига?

— Да все равно все журналюги к нам теперь поедут, и все новости у нас будут в первую очередь, а не на Смилшу, для тебя ж стараюсь!

— Да у меня дел по горло, мне теперь вас информационно из дерьма вытаскивать!

— Вот отсюда и будешь вытаскивать!

— Да фули ты командуешь тут, лейтенант? Ты мне кто вообще?

— Друг я тебе вообще-то, — тихо ответил Толян и прижав длинный, все еще черный палец к губам, выразительно показал глазами на завозившегося во сне Мишку.

— Таких друзей — за. нос и в музей! — ворчал Валерий Алексеевич, прикидывая про себя, что ему на самом деле полезней для дела — остаться на базе или вернуться на Смилшу.

— Ты что, меня поближе к отряду подтащить хочешь, так и скажи.

— Да я-то тут при чем? — сделал невинное лицо Мурашов. — Тут и другие есть желающие, не мне чета. Да и потом, тебя давно уже не подтаскивать, оттащить вряд ли получится.

— А Чехову я на кой ляд сдался?! — резко поднялся с койки Иванов, накидывая куртку.

— Догадливый у меня друган, — медленно, с ударением на слове «догадливый» протянул Толик.

— Ага, трудно догадаться! «Старший инспектор аналитической группы», — издевательски процитировал Питона Валерий Алексеевич. — Лучше б он был инспектором ГАИ, все вы целее были бы! У вас, вообще, кто командует? Чес или Питон?

— Мы тут, как *ты,* кстати, рекомендовал отвечать на такие вопросы, — мы тут все подчиняемся Конституции Советского Союза! Вот тот, кто именем советского закона назначен командовать, тот и командует! — весело и веско произнес Мурашов, тоже накидывая бушлат, засовывая в комбез пистолет, перехватывая поудобней за цевье автомат и забрасывая его небрежно на ремень — все это как-то ловко и одновременно. — А вообще-то я не знаю, Валера. Я только догадываюсь. Так что догадывайся и ты, только самостоятельно.

Оказывается, уже было утро. И даже стоял у входа в барак

зеленый армейский «уазик», и два солдата из БОУП втаскивали в коридор бачки с горячим питанием — перешедшему еще с сентября на казарменное положение ОМОНу обед привозили из училищной столовой. Обычно только обед, но тут, видно по случаю ночных событий, подсуетились еще и с завтраком.

— Отдохнули, называется, — протяжно зевнул Толян, и они не спеша, приглядываясь к происходящему вокруг, отправились в соседний барак. Особенной суеты не наблюдалось, но база еще не успокоилась после ночного происшествия. Усилены были посты охраны, топтались, куря на легком морозце у штабного барака, какие-то офицеры в армейской форме. Колобком прокатился в сторону железного ангара — к автопарку — комвзвода Кузьмин, за ним, не отставая ни на шаг, несмотря на ленивую расслабленную походку, передвигал свои ходули длинный сержант с неласковым прозвищем Конь. Ручной пулемет в его ручище казался легким, как муляж.

— Кузя куда-то понесся с утра. — просто так, лишь бы что-то сказать, заметил Иванов, уже решивший про себя, что, пожалуй, стоит остаться на время на базе. Алексеев поймет…

— Сейчас все понесутся. Начнутся проверки, московские комиссии, журналюги всякие, — хохотнул Толян, с маху подтолкнув друга в плотную спину.

— Уже, — лаконично ответил ему Иванов, всмотревшись в группу штатских, вышедших в сопровождении Млынника из дежурки.

— Подниекс?! — удивился Толян, придержав шаг. — Говорят, там пару его ребят у Бастионной горки подстрелили. Подожди-ка, секунду! — Толян вприпрыжку, дурачась, поскакал к Чеславу, уже проводившему латышских документалистов за шлагбаум.

Вернулся он быстро и сразу сказал:

— Подниекс говорит, что стреляли в его людей со спины. Со стороны Бастионной горки, так что это не могли быть наши. Один оператор убит, другой тяжело ранен, вряд ли выживет. Юрис привез копию снятого ночью материала, говорит, там видно, что трассеры летят из-за спины оператора, снимавшего в это время нас у МВД. Нас, не стрелявших в них!

— Молодец мужик! Хоть и. Но это ему может дорого обойтись, латыши правдолюбцев не любят, — сухо отметил Иванов.

— А кто их любит? Мы, что ли?

— Ну, не важно это, важны его показания. Разговор этот они для себя снимали? Копию Чесу дадут?

— Вроде бы да.

— Вот это самое главное. Теперь поглядим, кто из Москвы

давить будет и каким образом. — Иванов в задумчивости споткнулся о высокий порог маленького, тесного кабинета, заменившего на время опечатанную по приказу из Москвы ружкомнату.

Обрюзгший от недосыпа, плотно сбитый капитан сидел у ящика с автоматами — ненового ящика с неновыми автоматами — и хмуро глядел на подходящих к нему омоновцев. Те сдавали АКСУ для проверки приезжающей московской комиссией и получали взамен АК-74 или АКМС — кому что попадется — в зависимости от расположения начальника штаба.

Настала очередь Иванова, так и не переодевшегося еще и нелепо выглядевшего в своей светлой пижонской куртке на кнопочках и костюме-тройке с модным галстуком.

Капитан поднял голову, посмотрел на Валерия Алексеевича; так и не узнав, перевел взгляд на Мурашова. Тот просто кивнул.

— Фамилия, инициалы? — сухо спросил начальник штаба и, получив такой же сухой ответ, занес в список. Записал номер автомата, заставил Иванова расписаться за получение оружия и выдал ему АКМС.

— А пистолет?! — возмутился Мурашов. — Человеку в штатском работать, в город мотаться.

— Надо будет, свой отдашь или во взводе возьмешь — невозмутимо ответил капитан. — Скоро начнет народ прибывать, что я им выдавать буду? Если привезут из дивизии обещанное, тогда хоть танк пусть выписывает. А пока все. Патроны возьмите! — Капитан ткнул пальцем в открытые цинки, лежавшие на столе.

Валерий Алексеевич и Толян от души загрузили карманы слегка маслянистыми картонными пачками — больше — не меньше. Начштаба грустно усмехнулся, но на этот раз ничего не сказал, просто кивнул следующему — подходи, мол.

Я Франсуа, я Франсуа!
О чем весьма жалею.
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея!

— громко продекламировал на улице Иванов, удлиняя под себя ремень автомата и привычно закидывая оружие на плечо.

— Ты чего это? — Голубые глаза Мурашова посмотрели на друга в упор — не дрогнул ли? Что за ахинею несет?

— Это не я, Толя, — это Франсуа Вийон. Ваганты, знаешь ли…

— Это такая рок-группа, что ли? — хохотнул Толян, опять

включая дурака.

— Ну да, группа, только немножко ретро — XV века. Но тоже, однако, те еще разбойнички.

— Наверное, плохо кончили? Сдается мне, что в одной средневековой сводке по городу проходило, что Франсуа твоего повесили.

— Неплохо для командира взвода ОМОНа! — Иванов остановился и посмотрел Толику прямо в глаза. Тот не смутился и даже подмигнул залихватски — знай наших!

— Я в дежурку зайду на всякий случай, а ты иди переоденься все же, ходишь тут как брянский волк — тамбовский партизан! Да! Имей в виду! Приказ по базе — без оружия и срать не ходить! — Лейтенант Мурашов развернулся и легко пошагал в сторону штабного барака.

Никто из встретившихся омоновцев, однако, не удивлялся штатскому человеку с автоматом, бредущему потихоньку по дорожке. Знакомые — здоровались на ходу, незнакомые видели здесь и не такое. Шел январь 1991 года.

— Здравствуйте, дядя! — Тоненький, доверчивый детский голосок, показалось, прозвучал в сознании. Некому было здесь, на базе ОМОНа, разговаривать детским голосом! Иванов опустил голову. Прямо перед ним стояла маленькая девочка — лет семи — почти ровесница дочки.

Чистые голубые глаза, мытые, румяные щечки, кокетливый белый бантик на косичке.

— Здравствуй, красавица! Тебя как зовут?

— Клистина.

— Кристина?

— Я же говорю, Клистина!

— А тебе не холодно, малышка? Давай-ка застегнем курточку, рукавички наденем.

Откуда-то сзади набежал, топоча ботинками, огромный, зверского вида лейтенант из спецподразделения ОМОНа — «Дельта». Подхватил на руки девочку, прижал к себе и понес в свой барак, на ходу оглядываясь и объясняя Иванову: «Все в порядке, братишка! Мама у нас в больнице, вот мы и воюем тут вместе! Бывай, береги себя!».

Как мир мечты необычайно светел,
Как падает на эти строки пепел!
Как голуби в Сан-Марко на рассвете
Наследство дожей беззаботно метят!
И слышен быстрый говор латинян —
Как по брусчатке катится стакан.

То дождь, то снег нам выпали зимою.
И небо серое висит над головою,
И жизнь как слякоть на разъезженном бульваре,
Но в сумочке — потрепанный словарик,
И «дольче вита» и «арслонга эст» —
Как наших мечт на кухне манифест.
Любимая! Ты бредишь над романом
И видишь сны цветные наяву.
Каким я заманил тебя обманом,
Каким же чудом я еще живу —
С тобою ем и сплю и, даже взглядом
Тебя не видя, чувствую — ты рядом.
Поодиночке путешествуя в Европу,
Мы накопили целый капитал
Слов нерастраченных, но наш язык эзопов
Настолько доверительным не стал,
Соединив отели, страны, лица,
Чтоб в «Мулен Руж» хоть раз вдвоем напиться.
А здесь, в Христорождественском соборе,
Мерцают свечи, шепчутся молитвы,
И в них сгорает, очищаясь, горе,
А в двух шагах, как поле вечной битвы,
Шумит столица маленькой страны,
Которой мы и на фиг не нужны.
Одиннадцатым медленным трамваем
Мы в Чиекуркалнс устало отплываем.
Дверь на цепочку, словно пса, посадим
И поедим уже однажды за день.
Туман в окне. Туман от сигарет.
Сто книг раскрытых, главной только нет

Глава 4

Сосед сидел со мной рядышком у окна. Мы курили и смотрели, как падает снег на огромные ели, обступившие дом со всех сторон.

ВОПРОС: Простите, пожалуйста, не является ли для вас период 1990-х годов в какой-то степени парадоксальным? С одной стороны, Вы говорите о том, что это период, который дал свободу, с другой стороны — в своих выступлениях Вы часто говорите о том, что был период полного провала и большой трагедии, имея в виду распад СССР. Как Вы сами для себя объясняете этот, парадокс?

В. ПУТИН: Я не вижу никакого парадокса, потому что административно-плановая система в экономике и полное доминирование компартии в политической сфере привели страну к состоянию, когда люди в основной своей массе перестали дорожить государством: такое государство оказалось им ненужным. И поэтому нет ничего удивительного в том, что люди так относились к этому государству, им было его не жалко, потому что казалось, что хуже уже не будет. Но выяснилось, что стало еще хуже. Эта трагедия заключается в том, что наступило разочарование, потому что за демократию начали выдавать вседозволенность, за рынок и за рыночные отношения начали выдавать обкрадывание миллионов и обогащение единиц, допустили расхищение и разворовывание огромных, принадлежащих всему народу ресурсов.

Что такое распад Советского Союза? 25 миллионов граждан Советского Союза, этнически русских, оказались за рубежами новой России — о них же никто не подумал. 25 миллионов — это крупная европейская страна. В каком положении они оказались — в положении иностранцев? А их кто-нибудь об этом спросил?

А как вообще произошел распад Советского Союза? Ведь в любой демократической стране — например, сейчас в Бельгии тяжелые процессы происходят, в других странах немало процессов — перед тем как принять какое-то решение, у населения спрашивают: «Вы хотите быть отделенными от такого государства, где вы сейчас живете совместно, или нет?» Я уверен, если бы мы провели референдумы, во многих бывших союзных республиках, вряд ли там подавляющее большинство граждан сказало бы: «Да, мы хотим, отделиться от Советского Союза». Но их же никто не спросил. Это что, разве демократический способ решения проблем, подобного рода? Мы не выпячиваем, это сегодня, не говорим, об этом. Но ведь это так.

Поэтому и 25 миллионов оказались за границей без средств к существованию, в условиях растущего национализма, в условиях, когда они не могли приехать в новую Россию, на свою историческую родину, не могли общаться со своими родственниками, потому что у них даже не было денег на то, чтобы купить билет на поезд или самолет. У них нет квартир в России. Им негде жить, негде работать. Это разве не трагедия? Вот что я имел в виду. Я имел в виду не политическую составляющую распада Советского Союза, а гуманитарную. Это разве не трагедия? Конечно, трагедия, еще какая!

Интервью журналу TIME. Официальный сайт. Президента РФ. 19 декабря 2007 г.

— Вот скажи мне, Тимофей Иванович, почему *эти* слова Путин никогда не сказал русскому народу? Почему такое предельно конкретное, глубокое понимание сущности трагедии, постигшей двадцать пять миллионов русских, к которым, кстати, я и себя отношу, и всю свою семью, и друзей, соратников, коллег, сослуживцев, товарищей по оружию, в конце-то концов. — почему это *понимание* трагедии никогда не прозвучало из уст первого лица страны — в России? Почему эти слова, которые так необходимы всем нам, почему эти слова отданы читателям американского журнала? Почему они не сказаны нам?! Нам и всему русскому народу? Например, в Послании Федеральному собранию или хотя бы в одной из многочасовых встреч с народом во время ответов на «вопросы трудящихся»? Почему *главные* слова доходят до нас через океан, кругалем, адресованные сперва американцам, а уж потом, если повезет, и *своему* народу? И ведь заметь, Иваныч, ни одна сука в России не процитировала нигде *отдельно* эти слова Путина! Никто не обратил публично внимания на этот важнейший тезис, перекрывающий все, что было сказано вокруг в этом длинном интервью! Удивительно, что хотя бы в полной версии, мало кому доступной, этот кусок текста был сохранен и попался нам на глаза! Почему?!

Я думал, что недопонимает чего-то президент, чего-то не видит. Но оказалось, что все он понимает и все обдумал не раз и выстрадал, наверное! Я тебе прямо скажу, Тимофей Иванович, так полно и точно обрисовать именно эту трагедию русского народа больше никто не смог! Даже те, кто оказался за пределами не то что Садового кольца, но и вообще России в ее нынешних границах! Я бы лучше не сказал, хоть и на собственной шкуре все прочувствовал, выносил, обдумал — писал об этом во многочисленных статьях, и не один раз! А Путин взял и в двух абзацах вдруг выдал то, что я мучительно сводил половину своей жизни! То, что не в состоянии понять, казалось бы, ни один

россиянин, не испытавший судьбу этих двадцати пяти миллионов! И про национализм, и про отсутствие работы именно для русских, и про невозможность поддержки от российской родни, и про то, что не то чтобы квартиру и работу в России — билет на поезд купить — денег не было долгие годы! Но ведь если он *так* глубоко все это понимает, тогда почему, почему, почему появляются ублюдочные программы «репатриации соотечественников», совершенно не учитывающие *главное,* именно то, о чем сказал наконец президент в интервью американскому журналу «Тайм»? Почему в российском МИДе нет ни одного человека, поверь, Иваныч, ни одного, который бы на самом деле понимал, в чем *сущность* трагедии *разделенного* русского народа и как и чем ее надо лечить?! Почему?! Не знает и молчит — это одно. Знает, понимает, и молчит — это совершенно другое! — Валерий Алексеевич сам удивился своей неожиданной горячности. Удивился, устыдился отчего-то и отвернулся к окну, за которым все так же неторопливо сыпался с бездонного неба пушистый снег, покрывший уже и землю, и ели за забором, и корявые ветви яблонь, уткнувшиеся прямо в стекло перед нами.

Я не стал говорить о том, что Иванов знал и сам. О том, что спичрайтер президента с экзотическим именем Джахан наверняка готовила ответы на заранее присланные вопросы американских корреспондентов. И не она одна. О том, что все это интервью — плод работы целого коллектива президентских помощников. О том, что если Путин и произнес вслух все эти, так поразившие Валерия Алексеевича слова, то это вовсе не значит, что президент сам все это выстрадал, осознал и — проникся судьбою русских соотечественников. Все это сосед мой понимал и сам… Но то, что эти слова все же были сказаны публично, — это на самом деле удивительно. Выражена была *концепция,* стоившая гораздо больше, чем всякая сурковская «суверенная демократия», родившаяся исключительно из политкорректного страха перед привычным русскому сознанию словом «державность» и другими однокоренными «державе» словами. И кто такой Сурков, откуда родом, откуда взялся, из какого кармана потертой шинели? Или из-за полы смокинга, взятого напрокат? Кто его знает. Меня никогда раньше не интересовали подобные вопросы, да и задавать их, даже мысленно, даже себе — это казалось невозможным для интеллигентного человека, каковым я себя все же считаю.

Наверное, если бы с телеэкранов и газетных полос вот эти самые слова Путина: «25 миллионов граждан Советского Союза, этнически русских, оказались за рубежами новой России.», — если бы эти слова повторялись так же часто, как «Неуловимый

Джо» современности — то есть «план Путина», — наверное, многое действительно показалось бы россиянам другим. Или предстало бы другим. Или напомнило бы о чем-то?.. Но слова эти были сказаны президентом впервые совсем недавно и тут же утонули в Интернете. А стольких «соседей», вернувшихся в Россию из-за рубежа и заставляющих нас — россиян — вспомнить о том, что мы один народ — русский… Таких… э-э-э-э-э… репатриантов… на всех не хватит. Да и нужно ли?

Неприятно! Неудобно. Не нужно. Ни к чему это! Незачем знать. Вот первая *моя* реакция на беседы с Ивановым о том, откуда они с женой взялись тут, в Вырицкой веси. Да ведь сами Ивановы вовсе и не стремились надоедать мне рассказами о своей жизни. Я сам пристал, сам любопытствовал. А они отмалчивались дружно, переводили разговор на другое — на современную, *уже общую* для нас Россию.

Не хотели ни вспоминать, ни пережевывать! Отрезали все за собой и настроились жить дальше на Родине, никому не докучая, не требуя ни справедливости, ни расплаты, ни привилегий. Так и жили, не повторяя беспрестанно: «А вот у нас, в Риге…» Подчеркнуто настаивали на: «У нас, в России». Так чего ж я? Почему сам выспрашиваю, лезу в душу и сам же и слышать и знать не хочу?! И вместе с тем записываю, придя домой, чуть не каждое слово, пытаюсь выстроить сюжет, понять *чужую* мне жизнь, чужую вдвойне от того, что это жизнь русского из-за границы. Ну а то, что он не сам за границу поехал, сбегая от Родины, а это Родина, как шагреневая кожа, съежилась и убежала от миллионов ивановых. Это уже такие тонкости, в каковые мы — россияне «въезжать» абсолютно не намерены.

Долгие годы *соотечественниками* для нас были Костя Цзю, или там граф Шереметев, или российские евреи из Америки. Ну, французские потомки именитых фамилий первой волны эмиграции — это да, это наше все! Но ведь не Иванов из Риги или Петров из Ашхабада, в самом-то деле! Это не соотечественники — это абстракция, безликая масса. Это какой-то прикол из «Комсомолки» про «купил латышские шпроты — помог ветеранам СС»! Сычева жа-а-а-а-а-лко! А Диму Ганина, тоже ведь российского гражданина, которого убили в центре Таллина жестоко и преднамеренно, — не жалко. Во всяком случае, не настолько жалко, чтобы всерьез. И что там заявляет наш доблестный МИД по этому поводу — всем насрать, и самому МИДу — в первую очередь. А президенту, который так проникновенно вещал о русских журналу Time?.. Как говорится: «Поручик, молчать!»

— Валера, а ты куда вчера пропал вдруг? — спросил я

Иванова, отвлекшись от дурацких и несвоевременных мыслей.

— В город ездили с Катей. По книжным магазинам пройтись. Притащил суму, чуть не надорвался. Зашли в бывший любимый магазин на Литейном и больше не пойдем. Кончился магазин — книг новых нет, старое распродают и закроются скоро, наверное.

Правда, я там одну свежую поделку купил, называется: «Прибалтика. Почему они не любят Бронзового солдата». Сляпали быстренько почти шестьсот страниц компилятивного материала без понятия и толку — лишь бы поскорее отреагировать да книжку продать или грантик съесть. Цитатник — грубо и глупо соединенный кое-как «автором» в одно целое под одной броской обложкой, на которой карта Прибалтики в свастиках. Вот они — «специалисты» быстрого политического реагирования. Профанация, профанация и еще раз профанация.

… А в МИДе по-прежнему сидят, с ельцинских времен еще прикормленные прибалтами, дерьмократы без роду, племени и убеждений. Озвучивают шестьсот пятьдесят седьмое китайское предупреждение. Да деньги распределяют среди тех, кто сам с нациками сотрудничает! — Иванов махнул рукой, наклонился, не вставая с кресла, и стал чесать брюхо лежащей у его ног Марте. Овчарка блаженно вытянула мощные лапы и прищурила глаза, обнажив белоснежные клыки под черной оборкой губ. — Потом зашли в «Слово» на Большой Конюшенной. Там Катерина кое-что интересное нашла. Потом в Дом книги на Невском. И вот именно «у Зингера» я обалдел окончательно. На втором этаже, где кафе, ну, ты знаешь… Брожу между стеллажами с книгами и вдруг обращаю внимание на таблички над стеллажами — названия разделов, так сказать! Читаю одну табличку: «Российская поэзия»! Другую — «Российская фантастика». Третью — «Российский детектив»! Нет, ты понял, Иваныч? «Российская поэзия»! Ну ладно, думаю, может, там книжки на языках народов РФ? На якутском там, татарском, что ли. Нет!

Все на русском языке. Но русской поэзии нет уже в новом тысячелетии! «Российская», ешкин кот, поэзия! Короче, все самое худшее от Советов берем, все лучшее — ликвидируем. И опять слово «русский» под запретом, даже в русской литературе. И еще бы это где-нибудь в Казани было или в Нальчике! В санкт-петербургском главном книжном магазине! Да я тут на РБК недавно вычитал: «российский язык»! А ты говоришь… Была у нас новая общность — «советский народ». Теперь вот «россиян» из нас как нацию строят! А я русский, между прочим! Восемьдесят с лишком процентов населения — русские в стране! Православие — по численности верующих ни в какое сравнение не идет с мусульманами там или иудеями. Но Россия, тем не менее,

«многоконфессиональная и многонациональная страна»! Так кто ж тогда мононациональный в мире?!.. «Российская поэзия»! «Российский язык»!

Как там Путин говорил американцам в своем интервью? «Ведь в любой демократической стране — например, сейчас в Бельгии тяжелые процессы происходят, в других странах немало процессов — перед тем как принять какое-то решение, у населения спрашивают.»

Кто меня спросил, хочу ли я перестать быть русским и стать «россиянином»? Кто меня спросил, хочу ли *я*, чтобы графу «национальность» из паспорта убрали? Кому это выгодно? Подавляющему большинству населения в стране — русским, что ли?

В национальных автономиях РФ может повториться зеркально все то же самое, что мы проходили в Прибалтике или в Туркмении… *То же самое!* Тот же национальный гнет по отношению к русским, то же самое превращение русских в людей второго сорта! И по тем же направлениям — давление политическое, языковое, культурное. пардон муа, скорее — бескультурное! Экономическое давление, запрет на профессии для русских, отсутствие русских, даже если их больше националов в разы, на руководящих должностях!

Все то, на что Сергей Лавров жалуется в ООН и Совет Европы на латышей и эстонцев, сегодня в России могут начать проделывать по отношению к русским якуты, чеченцы, татары, чуваши и все кому не лень! «Единая Россия», говорите? Ни фига ж себе — «единая»!

Я теперь понимаю, почему в России никто серьезно не работает над историей Латвии, Эстонии или Украины, не говоря уже о Казахстане или Грузии! Да ведь если серьезно поработать, то там, в этой истории, такие хранятся *простые и однозначные* вещи, которые, будучи систематизированы и потом оглашены широко и публично, такой переворот в массовом мировоззрении русского народа произведут, что вся «идеология» и «легитимность» нынешней РФ полетят в тартарары вместе с ее идеологами!

Потому, наверное, и всех мало-мальски знающих людей из ведомств, работающих с постсоветским пространством, — убрали!

Уйду, на фиг, в рекламный бизнес! Буду лучше слоганы про пиво и соки сочинять, чем все это видеть и обо всем этом думать! Прославил тампакс, продвинул новую марку чипсов — и отдыхай! Сиди в келье под елью и молись Серафиму Вырицкому о спасении собственной души, благо есть что замаливать! Ну, если никому не нужно ничего, если русские люди сами покорно выю под ярмо в

очередной раз подставляют, то чего мне-то беспокоиться?! Если «патриоты» русские хуже тараканов и глупее моей кошки — только и могут, что трындеть в Интернете о происках жидомасонов, то мне-то все это на фига?

Пользоваться надо, Тимофей Иваныч, тем, что мы, в отличие от многих россиян, понимаем, какая свободная, добрая и богатая страна — Россия! Понимаем, что лучше в мире места нет — так вот сидеть надо и молчать в тряпочку, и жить в свое удовольствие! Да вот только жалко, что очень скоро все, чем Россия от вожделенного для россиян Запада отличается, на нет сойдет! Ну и на хрена мы тогда с Катюшей на Родину возвращались, если русские люди сдуру хотят Россию в Латвию с Эстонией превратить и ажно плачут по такому счастью?! Хрен редьки не слаще, а я хочу в России жить, а не в «Россиянии» с ее префектами, мэрами, президентами и гиб-эдэдэшниками! Кому ГАИ мешало, едрить твою налево? А что такое МРЭО, например, я до сих пор не знаю! — Иванов неожиданно захохотал так громко, что даже Марта вскочила резво и заметалась по кабинету, ощерив страшную пасть, ища врагов, чтобы немедленно вцепиться им в промежность. — Ладно, Тимофей Иванович, не пугайся, это я просто шучу так, что еще остается? Может, бальзамчику накатишь? Мне друг из Риги свеженького привез.

Гость действительно был недавно. К Ивановым частенько заезжали друзья, соратники по Русскому Движению Латвии. После вступления республики в НАТО и ЕС Движение, поставившее было в начале своей деятельности главной целью разработку идеологии русского национального сопротивления в Прибалтике в новых условиях, провозгласило очередной и окончательный лозунг о репатриации русских в Россию. Эта идея не всем пришлась по вкусу. Многим не хотелось предпринимать реальных действий, куда удобнее было виртуально сопротивляться в Интернете и нянчить свою боль, подобно латышам, для которых теория «исключительной» судьбы латышского народа стала главной игрушкой и последним утешением. Некоторые бывшие соратники стали громко кричать о том, что Иванов их предал, что они и на месте, в Латвии, не поддадутся ассимиляции, будут свято хранить и лелеять свою «русскость», и детей ассимилировать не дадут.

Но что говорить о соратниках, если руководители старейших «русских» культурных организаций Латвии сами признавались Иванову в приватных беседах, что Россию (которая их грантами кормит) на самом деле не любят и просто *боятся.* И даже ездят на всякие обязательные мероприятия, вроде «Всемирного русского собора» — с очень большой неохотой.

«Пусть их!» — подумал Иванов, прекрасно видевший, что многие русские в Латвии на самом деле облатышились настолько, что сами стали подобием латышей и замкнулись в своей боли, в безвыходном безгражданстве, в культурном и экономическом тупике. Россию же и российских русских многие русские в Латвии уже забыли и не понимали их; действительно стали бояться реальной России, начитавшись детективов в мягких обложках, насмотревшись сериалов из «русской жизни» по НТВ и ток-шоу центральных российских каналов. Многие не были в России уже со времен перестройки, но им все казалось, что они-то на самом деле помнят ее и понимают сегодня, как прежде. А в подсознании засел страх. Страх перемен, страх перед неведомой на самом деле жизнью России образца годов 2000-х с хвостиком.

Винить ли в этом одних лишь русских в Латвии, сломленных пятнадцатилетним угнетением и бесправием? Да и не латыши сломили их волю, а безразличие России к их судьбе. Не каждый выдержит такое, даже от Родины. Тем более что очень часто российские власти не просто были безучастны к русским соотечественникам, но, более того, слишком часто российская власть просто-напросто предавала их снова и снова, отдавая предпочтение не своим, а чужим. Не русским, а латышам, эстонцам, туркменам, казахам.

Короче говоря, Иванов сказал Кате: «Хватит! Хватит перевоспитывать взрослых людей! Кто хочет стать особенным — латышским русским или просто свалить дальше на Запад или ассимилироваться — пусть делает это! А мы не будем! Мы все всем объяснили, мы свою позицию не скрывали. Мы всех предупредили. Последний вагон уходит, и надеяться нам не на кого! Кто не с нами, тот пусть остается». И они уехали. Россия и власть — понятия все равно не настолько тождественные, чтобы сжигать себя ненавистью к фашистским режимам на окраинах бывшей Империи и в то же время позволять и дальше издеваться над собой.

Тот, кто понял их, тот тоже собрался в дорогу. Некоторые приезжали к Ивановым, уже прошедшим мучительный и долгий процесс переезда, просили совета, приюта, да просто моральной поддержки. Это было хлопотно; порою, чего там скрывать, просто затратно. Но перед этими людьми существовал моральный долг — никому из переселенцев в совете или поддержке Ивановы не отказывали. Да не так их много и было, на самом-то деле. Переубеждать и перевоспитывать было некого и незачем. Все взрослые люди, все самостоятельно должны были принимать важнейшее в своей жизни решение — возвращаться в Россию или оставаться в Латвии? Иванов всем говорил одно — это *ваше*

решение и ваша ответственность за него! И никто вам не поможет, надейтесь только на себя! А потом уж помогал, если мог, конечно. А чем он мог помочь? Только советом. Но и этого многим хватало, потому что именно совета им ждать было больше не от кого.

Ивановы и сами переезжали трудно. Перетаскивали родителей. Обустраивались. Привыкать было нелегко. Одно дело — любить Родину из-за границы. Совсем другое — оказаться на другой ее стороне. Но *дома* и стены помогают. Дома было неизмеримо легче жить и, главное в жизни появился смысл. А Латвия становилась все дальше и дальше, и проблемы русских в Латвии — теперь уже из России — виделись тоже совсем по-другому. Да и то, что Иванов не позволял себе видеть в России из Латвии, теперь, дома, можно уже было (среди своих) и поругать, и даже попытаться изменить. Теперь все было по-другому. И к счастью! Никогда, как бы ни было трудно, не пожалели Ивановы о возвращении на историческую Родину. Но и молчать, видя, как многие, слишком многие россияне стараются изо всех сил искоренить то, что счастливо отличает еще пока Россию от Прибалтики, не говоря уже о Западе настоящем, — Иванов не мог. Правда, кто его слушал? Немногочисленная аудитория тех изданий, в которых его печатали? Да я — сосед по даче — отставной козы литератор, переваливший уже за шестой десяток.

Когда наши беседы — то неторопливые и тихие, то ругливые, то иронические — завершились столь внезапным и невероятным образом, о чем мне еще предстоит рассказать в конце книги, я ощутил в себе давно не возникавшее чувство одиночества и наступившей старости. И еще — злость. И на Иванова, и на то, что с ним в конце концов случилось. Это помогло мне снова вернуться со временем к заброшенной было однажды рукописи и понять, почему Иванов иногда менял местами хронологию событий, утаивал какие-то детали, а что-то, по-видимому, и вовсе придумывал. Главным для него в рассказах о своей жизни были вовсе не щекочущие нервы подробности приключений, о которых только и хочет обычно знать ленивый и рассеянный умом слушатель. Валерий Алексеевич не рассказывал мне свои устные мемуары, он размышлял о том, как же все-таки *это* случилось?

И *этим* для него были события совершенно не равнозначные по своим масштабам. Например, Иванова искренне волновали истоки Православия в Прибалтике, уходящие своими корнями в седую древность, в те времена, когда о немцах-крестоносцах и вообще католиках и не слышали даже балтийские славяне, впервые объединенные в государственные образования властью полоцких, псковских да новгородских князей. Явно искусственное

происхождение псевдоэтносов, таких, какими по мнению Валерия Алексеевича являются латыши, эстонцы или украинцы, стояло в его размышлениях рядом с мучительными юношескими поисками любви и скрытого смысла жизни или же совершенно частными вопросами порядочности/непорядочности некоторых знакомых политиков. И конечно же, это все было рядом с личным покаянием за все поступки, совершенные в жизни, потому что, как он говорил, «сделанное не может стать несделанным». Только вера могла совершить чудо и поправить, казалось бы, непоправимое. Вера, а значит, раскаяние. Но покаяние перед Богом и народом православным вовсе не равно покаянию перед врагами Православия и

Святой Руси за то, что «наше дело правое, наша вера Православная». Вот эта тонкая грань между смирением, прощением врагов личных и неприятием врагов внешних, да и вообще «врага рода человеческого» — занимала Иванова более всего. «Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит.» — часто повторял он рассеянно, когда кто-то толковал ему о необходимости примириться со многими состоявшимися реалиями общественной жизни.

Не искал уже Иванов Царствия Небесного на земле, принял многое и в своей жизни, и в жизни Отечества, с каждым годом все лучше понимая неизменность природы человеческой и мира бренного. Но все хотелось ему познать, увязать вместе последовательность событий мистических — и политических, частной судьбы человеческой и роли личности в истории, да и вообще смысл истории. если есть он, конечно.

«Спасись сам, и вокруг тебя спасутся многие» — это он принимал, сокрушаясь о лености своей душевной и постоянно порываясь хоть чуть-чуть да сделать себя лучше — не перед людьми, перед Небом. Да не так-то просто было смириться и избежать искушений гордыни и просто плоти. Спотыкался и падал Иванов, как все мы, грешные. Поднимался и дальше шел; авось и дойдет!

«Мы — русские — хотим быть хорошими для всех и всем нравиться», — вторил Галковскому Иванов и тут же ругал Дмитрия Евгеньевича за то, что, посвятив главный труд свой Достоевскому и Розанову, напрочь отвергал последний русский философ современности Церковь и вообще Православие.

Но видимо, чем-то очень важным были для Иванова эти слова о желании «быть хорошим и нравиться». Да и кто не отнес бы это к себе, положа руку на сердце?

— Все перестроечные годы я жил на автопилоте, ведомый одним лишь компасом и одной системой координат —

убеждениями, сложившимися в детстве и юности, — сказал мне как-то сосед в ответ на мой прямой вопрос о том, мучили его или нет в тот сложный период жизни вопросы поиска истины, были или нет метания и смятение чувств? — Я не сомневался в правоте того дела, которому, как мне казалось, служил. Да и почему «казалось»? Я искренне служил тому, во что верил, и сейчас не отказываюсь от сделанного и угрызений совести не испытываю. Как сказал кто-то: «Тот, кто не испытывает сожаления о крушении Советского Союза, — тот не имеет сердца, а тот, кто мечтает о его возрождении, — у того нет разума». Не помню точно, но близко по смыслу. Так вот, сердце у меня было. А сожалений. нет Тогда и сейчас — две большие разницы, Тимофей Иванович! *Тогда* нужно было порядочному русскому человеку быть на нашей стороне, а не на стороне Ельцина. *Сегодня* я Зюганову с Прохановым или Алкснису не помощник. И опять мы в меньшинстве, — грустно улыбнулся Иванов. — Но не в той привычной интеллигентской оппозиции, что лижет задницу Западу. И не в той псевдорусской оппозиции, что выходит на улицу с хоругвями, оставив дома «кипу» на всякий случай. А просто в меньшинстве… на стороне большинства. Объяснить? Думаю, не надо, ты уже хорошо меня знаешь, Иваныч.

Не было у меня в перестройку ни сомнений, ни метаний, ни рефлексии, ни смятения чувств, ни страха перед будущим. *За* будущее — да, волновался. Как оказалось, не зря. Я сегодня ни от одной своей строчки, написанной тогда, не откажусь, и не стыдно мне. Потому что я ни в чем *себе* того времени и сегодня не противоречу. Русский человек не мог быть в перестройку помощником тех, кто разделял русский народ, кто, по еврейскому примеру, пытался сделать из двадцати пяти миллионов русских «сухие ветви» — и обрезать их начисто. Сегодня, когда все, что случилось, уже случилось, русский человек не может мечтать о возрождении Советского Союза, потому что не хочет снова повесить себе на шею очередное «братство народов» и пахать на него до полного своего истощения и смерти как нации. Да ведь в РФ так и не помер «Советский Союз»! И книжные полки в Доме Зингера с надписью «Российская поэзия» — тому пример. И деньги, перекачиваемые в бюджеты национальных автономий за счет русских областей — тоже. И страх перед употреблением слова «русский» у власти и у дикторов центральных каналов телевидения — тоже тому пример. «Совок» не умер в РФ именно в *худших* своих проявлениях! А не в лучших.

— Тогда и теперь да, две большие разницы.

А смятение и переживания с рефлексией у меня начались гораздо позже… Не в перестройку, нет После ее победы — полной

и окончательной. Вот тогда я взвыл, схватил автомат и помчался по белу свету искать, где оскорбленному есть чувству уголок… Таких, как я, много было тогда. Хоть и были мы опять в меньшинстве, стоящем по глупости за большинство… Кто-то этот «уголок» нашел в Приднестровье, кто-то в Абхазии, кто-то в Осетии. А кто-то был расстрелян в Белом доме или в обычном московском дворе. И не за Хасбулатова с Руцким тогда воевали русские люди, а за этот вот «уголок» в сердце.

Многое понял я тогда. И передумал многое. Ну а до августа 91-го думать мне особо не требовалось. Да и некогда было. Делай что должно — и будь что будет! Мы знали, что рыба гниет с головы, мы знали, что инициатором Народных фронтов и отделения Прибалтики от Союза была Москва. И что нам было делать? Согласиться, расслабиться и получить удовольствие? Нет уж! Изнасиловать нас не получилось. Этим горжусь. О том, что слишком мало сделал, а мог бы больше, — сожалею. И только. А вот после 91-го года думать и думать пришлось. Но это совсем другая история… — Иванов, страдальчески кряхтя, изображая немощного старика, подбросил в камин пару поленьев и, резко выпрямившись, вдруг потянулся большим и еще вовсе не хилым телом. — Эх-ма, денег бы тьма! Баб деревеньку… Да… помаленьку!

Глава 5

И пошло — поехало. Посыпались дополнения к пройденному материалу… В момент боя у МВД председатель Верховного Совета Латвии Горбунов находился напротив — в гостинице «Ридзене». Парился в сауне вместе с маршалом польского сейма. Возможно, из вестибюля гостиницы по омоновцам стреляла его охрана с перепугу. А может, и нет, потому что пришла информация, что охранники Горбунова попрятались, услышав *чью-то* стрельбу в вестибюле. Один из убитых в парке милиционеров — Кононен-ко, точно уже известно — шел на помощь ОМОНу и был убит выстрелами в спину с Бастионки, а его труп теперь вешают на самих омоновцев. Сотни свидетелей боя, естественно, противоречат друг другу. Все утро вокруг МВД и в парке вокруг Бастионной горки латыши тщательно собирали гильзы, выковыривали пули и уничтожали следы, так что трассологиче-скую экспертизу проводить теперь практически бесполезно. Следователи двух прокуратур — латышской и советской — никак не договорятся друг с другом о ведении следствия, а тут еще приехала московская комиссия, и все вообще перепуталось. Кстати, командующий округом предлагал премьеру Годманису десантников для того, чтобы те отбили МВД у ОМОНа! Вот и вся надежда на армию.

Мировые информационные агентства уже ночью получили видео и другую информацию от латышских властей и теперь сообщают самую фантастическую чепуху о штурме МВД в столице «независимой» Латвии. В Москве, Питере, Свердловске, Нижнем Новгороде и Ярославле прошли митинги Демократического союза с требованием вывести войска из Прибалтики. Там же прошла запись русских добровольцев, желающих принять участие в защите свободы и демократии в Прибалтике от «кровавого советского режима». Невзоров в «Секундах» показал сюжет «Наши» о Вильнюсском ОМОНе и теперь собирается в Ригу.

На проходной у базы постоянно толкутся журналисты со всех стран мира. А саму базу потихоньку обкладывают вооруженные формирования сельской милиции, но близко подходить боятся, накапливают силы. Под утро нас обстреляли со стороны шоссе, из автомашины, на большой скорости — понятно, что попали только в небо.

Делегации от предприятий, Интерфронта, Объединенного совета трудовых коллективов, Совета ветеранов и просто русские люди нескончаемым потоком несут на базу деньги, продукты, сигареты, чай, кофе и письма с тысячами подписей в поддержку

ОМОНа. Целыми экипажами, вместе со служебным автотранспортом и оружием в отряд снова начали переходить сотрудники милиции Рижского гарнизона. Интерфронтовцы прислали рабочую гвардию, людей и технику для обустройства обороны базы. В Верховном Совете и правительстве Латвии все заходятся в истерике. Личный состав несет службу согласно плановому графику по охране объектов и поддержанию общественного порядка в городе. Да и главной задачи — разоружения незаконных вооруженных формирований и криминальных сообществ — никто не отменял.

Сообщения сыпались чуть ли не каждую минуту. Все это надо было переварить и, выбрав важное для себя, заниматься своим делом. Офицеры сбивались с ног, людей не хватало.

А тут еще замена оружия, опрос всех бойцов отряда следователями да необходимость усиления внешней охраны базы. Сбор и анализ информации, работа с агентурой в городе, необходимость предоставлять прессе (и не только прессе) тщательно скоординированную и непротиворечивую информацию. Короче, день был хлопотным для всех.

Иванову через дежурку отряда позвонил Сворак, сообщил коротко количество людей, отправленных от Интерфронта на базу для усиления и для земляных работ, назвал старших обеих команд и передал трубку Алексееву.

— Валерий Алексеевич, здравствуйте! — буднично вяло проговорил голос в трубке.

— День добрый, Анатолий Георгиевич. — настороженно отозвался Иванов.

— Раз уж вы на месте, так используйте время с пользой, пожалуйста.

— Да, я понимаю, конечно.

— Нам на Смилшу народ несет деньги и продукты для ОМОНа, мы это все соберем и завтра отправим машиной, только заактируйте все, пожалуйста, чтобы потом лишних дурацких вопросов ни у кого не возникло.

— Хорошо, я прослежу. А как у вас обстановка? Чизгинцев обещал прислать ребят, если потребуется попугать баррикадников.

— Спасибо, пока справляемся. В случае, не дай бог, чрезвычайной ситуации я сообщу.

Ну, давайте, работайте там. И с наступающим днем рождения, Валерий Алексеевич, от всего коллектива вас поздравляю!

— Спасибо, Анатолий Георгиевич! Но тут как-то не до праздников пока.

— Именно на это я и надеюсь! — чуть-чуть добавил тепла в тихий голос Алексеев.

— Анатолий Георгиевич! Сухой закон у нас тут. на время по крайней мере, — обиженно протянул Иванов.

— Да, чуть не забыл. Тут к вам сегодня Украинцев должен подъехать со съемочной группой, он с утра звонил, так что подготовьтесь заранее.

— Так поезд же из Ленинграда только вечером отходит, как он успеет?

— Он на машине выехал утром, звонил уже из Пскова. Так что к обеду будет на базе, вероятно. Мы с питерцами Трегубова отправим на всякий случай, чтобы не заблудились они по дороге.

— Понял, буду ждать!

— Ну, всего доброго! Несколько дней я вам даю, но слишком долго тоже не засиживайтесь там, у вас и на Смилшу работы хватает, между прочим. — Алексеев подождал ответа, не дождался и уже чуть тише продолжил: — Все, что не для телефона, я передам через Регину, она завтра с машиной подъедет. И вы ей соответственно доложите.

— А Сворака не будет разве?

— Михаил Петрович нам тут нужен, а то все разъедетесь в войнушку играть, а у нас тут людей не останется! До завтра! — Шеф положил трубку.

Валерий Алексеевич вышел из дежурки, протолкался через узкий коридорчик, забитый людьми к Чизгинцеву. У капитана тоже было полно народу, причем половина из них — штатских. Евгеньич торопливо кивнул Иванову и вышел с ним на минутку в Ленкомнату, попросив удалиться покурить двух сержантов, устроившихся было у телевизора.

— Ленинградское телевидение едет, Юрий Евгеньевич, скоро будут здесь. Люди наши, проверенные. Будете говорить?

— Если свои, буду, конечно. Чукаловскому я сейчас звякну в дежурку, он их машину пропустит прямо на базу. Обсудите сами ситуацию в общих чертах, чтобы мне время не терять — сегодня все на разрыв, а потом ко мне, добро пожаловать! Мурашову скажите, пусть покормит гостей с дороги.

— Хорошо, спасибо. Я их сразу к нам в кубрик заберу, когда приедут, сориентирую и потом уже к вам. А угощать их найдется кому, я своим людям скажу, они потом их и накормят и напоят, но не на базе.

— Отлично, так даже лучше. Ладно, я пошел, там у меня еще. — Капитан устало резанул аккуратной ладошкой по горлу и удалился — маленький, ладный, совершенно невозмутимый человек. «Страшный человек!» — так потом скажет один из

бывших омоновцев, вспоминая тихого интеллигентного начальника кадров и одновременно замполита ОМОНа Чизгинцева. «С чего бы это?» — подумает про себя Иванов, но расспрашивать не станет. Все люди друг другу кажутся разными. И друг к другу все люди разные. Вот и сам Валерий Алексеевич — добрейшей души человек, а на него ведь тоже, бывает, наговаривают.

Иванов пошел к себе в кубрик — переодеться да положить автомат. Приказ приказом, но слишком много крутится у штаба визитеров, могут оказаться и знающие интерфронтовца в лицо — ни к чему светить камуфляжем и оружием. Вот рассосется немного, тогда.

Не рассосалось. Сначала под командой одного из членов Республиканского совета прибыли несколько парней помоложе и покрепче, недавно отслуживших в армии. Валерий Алексеевич вместе с Мурашовым проинструктировал их, потом Толян повел группу вооружаться и распределять ее по постам — пусть охраняют базу по периметру под руководством омоновцев. Но с условием, что разводить в караул интерфронтовцев и еще нескольких милиционеров, только что перешедших в отряд из ГАИ и приданных взводу Мурашова, будет сам Иванов.

— Под твою ответственность, Поручик! Мне некогда, а тебе не трудно будет тряхнуть стариной. Распределишь новеньких по сменам, проследишь, чтобы не запутались и не потерялись. Ну и разводить будешь, соответственно.

— Толян, я тебе что, начальник караула, что ли? У меня тут столько встреч уже набито, только отбивайся. Поставь сержанта какого…

— Нет у меня ни одного свободного сержанта. Кто на выезде, а кто через день на ремень в карауле, новеньких одних бесконтрольно тоже на пост не поставишь. Хорошо, что за нами два поста всего из шести. Но по три человека. Вот и считай. Плюс резерв, плюс моча в голову у командира ударит — и еще полвзвода ищи-свищи. Короче, помогай, не мальчик, чай, справишься и с этим.

— Ну, Толя! Хера ж ты из меня строевого командира лепишь? Я рядовой, необученный — давно уже «ать-два» забыл и из головы выбросил! Ладно. Вот список моих людей, а ты давай список милиции, что к вам перешла, и своих штатных. Омоновцев и милицию по сменам распредели сам. Я их не знаю все равно, а я подпишу к ним своих дружинников.

— Садись, пиши, писатель! Сразу бюрократию разводить! Строевую записку тебе подавать утром?

— Иди ты, Толян, на хер! Ты здесь командир взвода или кто?!

Давай служи, летеха. А я уж так и быть, помогу по старой дружбе.

Пока ругались, быстро составляя при этом график, от ОСТК прибыли несколько рабочих и экскаватор. Но их, слава богу, тут же забрали — засыпать мешки песком, вырыть кое-где траншеи и сделать прочие дела, до которых руки раньше не доходили. Через час, обходя своих людей — поговорить, приободрить, показать, что интерфронтовское начальство их не бросило и тоже находится на базе, Иванов с удивлением обнаружил среди рабочих, таскавших мешки с песком, Берзиньша. Этот полный, страдающий диабетом латыш часто приходил к Валерию Алексеевичу в кабинет, приносил свои статьи, написанные в школьных тетрадках корявым детским почерком.

Однако Берзиньш был совсем не прост, и статьи его, в которых он описывал ситуацию в стране с точки зрения латышского потомственного рабочего, пользовались у читателей «Единства» большим успехом. Сейчас латыш, задыхаясь, не позволяя себе ни перекура, ни просто минутки передышки, ожесточенно и очень ловко орудовал лопатой. Засыпал мешок товарищу, потом себе и сам же еще успевал бегом (!) оттащить мешок к ближайшему посту, сооружая вместе с омоновцами что-то вроде дзота.

— Ивар! Вы что тут делаете? — остановил Иванов высокого, очень объемного мужика в смешном длинном пальто и вязаной шапочке. По лицу Берзиньша градом катился пот, от большого тела валил жар. Он остановился, скинул со спины мешок и утер пот рукавом. Ивар хотел что-то сказать, но тут из громкоговорителей раздался бархатно-сдержанный голос командира отряда — Млынника:

— Внимание личному составу и всем находящимся на базе! Все работы на территории немедленно прекратить! Занять места согласно боевому расписанию! Оружие держать при себе, все передвижения по базе максимально ограничить!

Откуда-то вынырнул сержант и увел рабочих. Растерявшегося Берзи-ньша Иванов быстро ухватил за локоть и потянул за собой. В бронетранспортерах у входа в четвертый барак хищно задвигали стволами пулеметы. Омоновцы занимали круговую оборону в только что вырытых ячейках и за мешками с песком, рассредоточивались по периметру базы, каждый взвод у своего барака; часть людей тут же выдвинулась на крышу соседнего здания котельной. Там, на господствующей высоте, давно уже был установлен постоянный пост из трех человек с пулеметом, по «тревоге» его надо было усилить, так же как и остальные посты — в наскоро укрепленных огневых точках у проходной, за ангаром с автопарком, на крыше бани — в другом конце базы.

ОМОН не собирался переходить на осадное положение, хотя территория базы, конечно, охранялась круглосуточно. Но с началом баррикадных провокаций, и особенно в связи со вчерашним боем у МВД, ситуация резко изменилась. Отряд в любую минуту мог столкнуться с попыткой разоружения или уничтожения превосходящими силами латышской сельской милиции. Армия могла и не вмешаться, как показали ночные события. А могла и вообще выступить против ОМОНа. Об этом никто вслух не говорил, но думали. Понимали, кто сейчас в Москве приказы отдает. Конечно, даже шестьсот сельских милиционеров — латышей, спешно стянутых в Ригу правительством, не смогли бы противостоять всерьез прекрасно вооруженному, имеющему немалый боевой опыт личному составу ОМОНа. Пусть и было омоновцев не более ста пятьдесяти человек, да каждый стоил не одного участкового из Прейли или Талсы. К тому же омоновцы успели сработаться, не раз выезжали они повзводно в командировки в горячие точки, да и многие из них, еще до службы в отряде, прошли Афганистан, участвовали в локальных конфликтах, служили на неспокойных давно уже границах огромной страны.

Боевая подготовка непосредственно в Рижском ОМОНе тоже была поставлена на высоком уровне, к этому были привлечены несколько известных на весь Союз специалистов.

То, что осенью прошлого года отряд перешел из подчинения республиканскому МВД в ведение 42-й (Вильнюсской) дивизии Внутренних войск МВД СССР, тоже во многом изменило статус омоновцев и возможности. Поступило новое вооружение, обмундирование, не стало проблем с получением боеприпасов и вообще всех видов снабжения. Расширена и оптимизирована была внутренняя структура подразделения, уже не сдерживало новые потребности старое штатное расписание. Спецназовский камуфляж, сменивший черные комбинезоны, дополняли традиционные черные береты, в память о том, старом, Рижском ОМОНе. Но, по сути, уже с января 91-го года это было совершенно новое, уникальное по своей структуре, возможностям и предназначению боевое подразделение. Свой спецназ, своя разведка и контрразведка, свои аналитики, свои технические и экспертные службы, разветвленные связи — вертикальные и горизонтальные — на всех уровнях; своя агентура и, главное, массовая поддержка русского населения.

Своя идеология, свой, четко выстроенный в короткие сроки новый образ, наряду с тщательно создаваемым в общественном сознании всей страны героическим мифом о Рижском ОМОНе, — все это было вдохновенным творением профессионалов

высочайшего уровня. Не знаменитых и до сих пор почти никому не известных, почестями не отмеченных, растворившихся в пестрой постперестроечной толпе бывших граждан СССР — профессионалов, умевших видеть куда дальше, чем на два хода вперед.

Сила отряда была вовсе не в особых бойцовских и нравственных качествах рижских омоновцев, не в их фанатической политической убежденности или жесткой круговой поруке, хотя все это присутствовало в той или иной мере. Но уже после января 91-го года личный состав отряда обновился наполовину, если не больше. Меньше стало профессионалов, больше стало убежденных пассионариев, пришедших в отряд уже тогда, когда многие боялись к нему даже приблизиться. Все эти люди спаялись в боевое братство, подчиненное одной цели — выполнить поставленную задачу любой ценой. А задача была сформулирована командирами, общим собранием отряда и общественным мнением максимально просто: защита Конституции СССР, конституционных прав граждан СССР и самого Союза Советских Социалистических Республик. Защита до конца. Говоря еще проще — исполнение до конца Воинской присяги, которую давал каждый. А в том, что конец будет, — никто не сомневался. Просто никто тогда еще не мог на все сто процентов сказать — хороший он будет или такой, какой… есть.

Эта задача была невыполнимой с точки зрения достижения конечного результата. Эта задача была выполнена с точки зрения осознанного личного выбора и свободной воли каждого рижского омоновца. Поскольку исполнение присяги — это тот результат, который перевешивает успех или поражение. Долг отдан. Совесть чиста. У тех, кто останется жить, — будет пример, а значит — надежда.

Толян выскочил на крыльцо барака последним, остановился, наблюдая, как взвод занимает позиции, улыбнулся серому январскому небу и только потом перевел блеснувшие голубым льдом глаза на Иванова, тянущего за собой запыхавшегося Берзиньша.

— Валерий Алексеевич! У нас тут тревога на базе, между прочим, а вы без оружия. Да еще товарища куда-то прете, как мишень двухметровую!

Высокий толстый латыш сконфузился и совсем растерялся. Иванов втолкнул его в барак и указал на стул в коридоре:

— Посидите, отдышитесь и не обращайте внимания на шутки. Командиры тут добрые на самом деле, они о вашей безопасности заботятся. — Тут Валерий Алексеевич обернулся и украдкой показал Мурашову кулак — нашел когда и с кем

шутить! Освободившись от Берзиньша, он рванулся было в кубрик за оружием, но Толян резко тормознул его за плечо.

— Куда бежим? — Лейтенант сдернул с плеча второй автомат, не замеченный впопыхах Ивановым. — Бери свою пушку и не оставляй ее больше без присмотра! Погуляй тут, пожалуйста, пока в коридоре, присмотри за помещением, а то на базе слишком много посторонних. Ну а если начнется чего, то этого товарища в туалет, а сам ко мне, а то забыл уж, наверное, когда стрелял вволю! — Толик засмеялся и выбежал на улицу, чтобы не слышать витиеватое напутствие друга ему в спину.

Берзиньш мешком сидел на стуле, дрожащей рукой совал в рот кусочки сахара, припасенные в кармане, и все никак не мог отдышаться. Иванов принес ему кружку воды из туалета. Тот жестом поблагодарил и стал жадно запивать сахар холодной водой, обливая подбородок.

— Может, врача надо? — Иванов знал, что у Берзиньша диабет, но, конечно, понятия не имел, как поступать в таких случаях.

Ивар помотал головой, допил воду и с облегчением прислонился спиной к стене барака.

— Сейчас пройдет. Все уже хорошо.

— Какого черта вы сюда явились? Неужели здоровых мужиков у нас нет, мешки таскать?!

— Валерий Алексеевич, я латыш, как вам известно, — с достоинством выговорил Берзиньш. — А потому на мне есть определенная доля ответственности за все, что сейчас происходит в нашей стране. И за этих мальчиков тоже. — Он кивнул небритым мясистым подбородком в сторону выхода, куда убежал Толик. — Я не могу только писать правильные статьи и больше ничего не делать. Это неправильно.

— Господи, боже мой! — простонал Иванов, чуть не схватившись за голову. — Куда ж Сворак-то смотрел, вас отправляя на базу?

— А я сделал так, что он меня в машине не увидел, я хоть и толстый, но хитрый! — невозмутимо ответил Берзиньш. И точно, в списках интер-фронтовцев, присланных Петровичем Иванову, латыша не было.

— Ну хорошо, Ивар. Вы сделали очень много. Я очень вас ценю и очень вам благодарен.

Вы настоящий латышский стрелок, товарищ Берзиньш! Только на сегодня, пожалуйста, хватит. Сейчас посидите, пока не дадут «отбой», а потом я отправлю вас в город.

— Нет, я не латышский стрелок. Латышские стрелки — это вовсе не то, чем стоит гордиться Латвии, — грустно протянул

Ивар и посмотрел на Иванова в упор своими маленькими для такого большого лица подслеповатыми глазками. — Латышские стрелки слишком много стреляли в русских и даже в царскую семью.

— Ну, с вами не соскучишься! — развел Валерий Алексеевич руками.

— Русские перестреляли друг друга куда больше, чем латышские стрелки, Ивар. Хотя, конечно, есть тут о чем подумать, вы, как всегда, правы. Побольше бы нам таких берзиньшей, все могло бы быть совсем по-другому. И в 17-м, будь он неладен, между нами девочками говоря, и сейчас тоже.

— Анатолий Георгиевич очень хорошо знает нашу историю — семья Алексеевых в Риге уже двести лет живет. А вот мы, Берзиньши, только сто. Латышам до революции не так просто было поселиться в Риге. И не из-за русских, а из-за немцев, как вы знаете. Только при Александре Третьем, его личным указом, латышам позволено было в Риге свое дело открывать. Немцы очень были возмущены. А латыши бы так и сидели все на хуторах, а не в Риге, как сейчас. Доброта имеет свойство обращаться против того, кто ее проявляет. Русские на своем веку это не раз уже почувствовали и, боюсь, почувствуют еще. Но только русским в конечном итоге это не повредит, а только укрепит вас. А мой народ может погибнуть, уже во второй, даже в третий раз идя против русских за один лишь век.

— Ну, Ивар, это разговор очень философский. И крайне для меня интересный. Но давайте-ка, когда вы придете снова ко мне на Смилшу, мы заварим чайку и побеседуем славно, не спеша.

Одна за другой, почти слившись, прозвучали со стороны камышей автоматные очереди. Гулко разорвал воздух пулемет бронетранспортера в ответ. Иванов непререкаемо показал Берзиньшу на дверь в туалет, облицованный плиткой и потому хоть как-то защищенный, в отличие от дощатых стен всего барака, а сам перекинул автомат на грудь и, пригнувшись пониже, выскочил на крыльцо, тут же метнувшись на всякий случай под прикрытие широкой задницы БТРа, стоявшего у входа. Но все уже стихло. Толян и один из сержантов — Джефф, залегший рядом со своим взводным в крайних ячейках с внешней стороны барака, прямо перед «колючкой», опутывавшей границы базы, с любопытством наблюдали за тем, как Иванов с автоматом в руках осторожно осматривается по сторонам, не высовываясь особо из-за брони, и пытается оценить обстановку.

— Видно старого солдата — в бой не рвется сгоряча! — крикнул негромко лейтенант, вызвав одобрительный смех залегших рядом омоновцев.

— Наш человек! — в тон ему отозвался Джефф и поставил свой автомат на предохранитель. Толик выслушал короткий приказ по рации, лежавшей рядом с ним в выемке бруствера удобной стрелковой ячейки, легко поднялся на ноги и махнул рукой залегшей цепи:

— Отбой тревоги!

Все стали собираться у входа в барак, из бронетранспортера вылезли, матерясь друг на друга, Кабан с Рыжим. Иванов отошел от брони и закинул автомат на плечо, посмеиваясь про себя своему гражданскому виду. Но тут взводный прикрикнул, чтобы в кучу не собирались «на радость врагам мировой революции», и загнал всех по кубрикам «до объявления следующей войны».

Они с Ивановым отошли в сторонку, закурили.

— Молодец, что не стал на крыльце светиться чучелом, а то было бы неудобно за старого друга перед бойцами, — с ходу подначил Толян Валерия Алексеевича.

— Иди ты на.

— Как «одинаково»? — хохотнул Мурашов. — Пошли чай пить, Поручик! А то мне скоро на выезд.

— Пошли. Что за стрельба?

— Да какие-то мудаки Чесу подыграли из кустов по случаю объявленной тревоги — шмальнули пару раз по котельной. Ну, Рыжий в ответ из ПКТ как даст, так в камышах как будто стадо кабанов ломанулось от базы в разные стороны. Хуторяне, одно слово! А потом командир сразу «отбой» объявил.

— Он что, постоянно вас на нервах держит, чтоб не расслаблялись?

— Есть немного. Но с другой стороны, я его понимаю, оборона еще не отлажена, новеньких много. Да и стреляли же, в самом деле, какие-то придурки только что, не Чеслав же их под наши пули в камыши посылал. А что это за мужик смешной с тобой? Латыш?

— Хороший мужик. Больной, а мешки таскал и окопы рыл за двоих здоровых. Потом расскажу. А пока надо, наверное, всех, кто на работах, отправлять в город — скоро вечер, стемнеет. Да и главное не то, что они тут здорово помогли, а то, что они теперь героями себя почувствовали, почти под обстрелом побывали, на омоновцев посмотрели. Теперь каждый из них такую агитацию за вас развернет — лучше любой ходячей газеты.

— Циник ты, брат! — протянул с усмешкой Толян, открывая дверь в кубрик.

— Я не циник. Я председатель комиссии по пропаганде и агитации Президиума Республиканского совета Интерфронта, — язвительно отрезал Иванов, отправляясь вытаскивать Берзиньша

из туалета и выпроваживать по домам остальных интерфронтовцев. Чаю попить он так и не успел.

Подходя к КПП, Валерий Алексеевич издали заметил желтое такси с ленинградскими номерами, прижавшееся к обочине перед шлагбаумом. Тут из дежурки показалась мощная фигура Чука, рядом с которым щуплый Леша Украинцев смотрелся подростком, не успевшим закончить восьмилетку. Иванов порадовался, что успел оставить автомат в кубрике и не стал снова переодеваться в камуфляж из цивильного. А вот еще кто-то с ними — Апухтин, что ли? Ну, Ленинградское телевидение в Ригу на такси пожаловало, денег не пожалело — это хорошо!

Лешка даже побежал навстречу Иванову, маша на ходу распростертыми для объятия руками. Обнялись, похлопали друг друга по спинам.

— Ты бы еще слезу пустил, Леша, — почти растроганно шепнул другу на ухо Валерий Алексеевич.

— «Вы когда-нибудь видели плачущего большевика?» — не полез в карман за словом Украинцев. Тут и Апухтин подоспел, корреспондент, с которым Иванов здоровался, бывало, на телецентре, но поближе сойтись не успел.

Пошли гурьбою в кубрик. Мужики во все глаза рассматривали подробности военного быта базы, стараясь все ухватить, запомнить. У Апухтина была с собой камера, но снимать ему Иванов не дал — эти вопросы пусть Млынник или Чехов решают. Зашли в кубрик, сели пить чай. Иванов усадил гостей на свою койку, и тогда Леша тощим задом почувствовал под матрасом что-то жесткое. Пришлось вытащить оттуда автомат и без комментариев просто повесить его за ремень на гвоздик, заменявший собой вешалку.

Посыпались вопросы. Тут, на счастье, появился Мурашов. Валерий Алексеевич познакомил его с гостями, заставил рассказать о захвате МВД и ситуации в городе на сегодня. Толик только что вернулся из Риги, куда выезжал в штатском на простых «Жигулях», чтобы лишний раз не светиться перед ошалевшей после вчерашнего боя латышской милицией. Поэтому журналисты — не раскрыв рот, конечно, все-таки люди бывалые, но внимательно следили за тем, как, делясь новостями, отпуская веселые шуточки-прибауточки, пахнущий морозом и бензином Мурашов переодевается в камуфляж, как снимает пиджак и плечевую кобуру с пистолетом, выкладывает на стол рацию, запасные обоймы, перекладывает удостоверение, сигареты, спички в карманы камуфляжной куртки. Потом Толик расстегнул большую спортивную сумку и вытащил оттуда автомат, гранаты и несколько снаряженных магазинов.

— Вы так в город ездите? С оружием? — не удержался от вопроса Апухтин. Его можно было понять — оружие с правом постоянного ношения в те годы получали лишь в исключительных случаях, о которых только рассказывали да в детективах писали или показывали в кино про шпионов. А тут человек ездил семью проведать на часок, между другими делами — и с таким арсеналом.

Толик разозлился неуместному любопытству и в красках описал, как позавчера изнасиловали жену омоновца. Рассказал про боевиков, про угрозы семьям по телефону. О приказе министра Вазниса стрелять по омоновцам на поражение без всяких предварительных разговоров. Леша торопливо строчил в блокноте, Апухтин, чуть покраснев, внимательно кивал. Тут в дверь постучали и в кубрик ввалился громогласный Трегубов.

— Меня забыли?! Я их самогоном потчую, провожаю на передовые позиции, можно сказать, а они меня бросают в машине и бегут задрав хвост жареные новости собирать, репортеры хреновы! Здорово, Толик! Гони ты их всех! А особенно вот этого жука усатого в галстуке! Пусть едет на Смилшу мозги массам полоскать!

— Да я, Палыч, так и хотел было сделать. Но ведь не уходит! Обвешался оружием, штык-нож в зубы и ходит по базе, как «Рембо — первая кровь». Его все бойцы боятся, говорят, уберите этого монстра, пока он прямо в Ленкомнате не подорвался от ненависти к независимой Латвии.

— Палыч! Да ты никак ревматизм вылечил? Или он у тебя на язык не распространяется? Спина-то не гнется, зато язык без костей, не смотрите, что без пяти минут пенсионер и дважды дедушка! Вот ты сейчас как полетишь кубарем на мороз караул разводить, сразу язык к зубам примерзнет! — Иванов обернулся к весело оскалившемуся Толику — Товарищ лейтенант, я вам разводящего нашел на ночь! Очень приключения любит! Да и службу не испортит, еще в империалистическую казачьим эскадроном командовал. Белым, правда, но это ничего, простим, за давностью лет!

— Ах ты, щусенок! Вот посмотрите, люди добрые, и этот молодой фрукт занимается в Интерфронте идеологией! Да ему бы Петросяна с Райкиным на ЦТ заменить, а тех на его место, так никто бы не заметил! Все! Уношу обратно! — Трегубов подхватил с пола тяжелую авоську и повернулся к выходу.

— Куда?! Николай Павлович, вы лучше нам оставьте, мы ему не отдадим, сами употреблять будем! — отчаянно завопил Леша.

— Ну то-то! Вот ленинградцы — товарищи культурные, понимают толк в напитках, не то что вы, дикие люди из

Вецмилгрависа! — Палыч наконец подошел к Иванову и протянул жесткую, лопатой, ладонь. — Поздравляю, юноша, с твоим тридцати. однолетием! Расти большой, красивый и никогда больше с дурными компаниями не связывайся, а то каждый год свои именины будешь в такой обстановке праздновать!

— Так завтра у меня, завтра! — засмущался, аж румянец поплыл во все лицо, Иванов. Но было поздно, все уже обступили его, тянули за уши, поздравляли, трясли обе руки, не забывая от души чувствительно похлопать по всем частям тела.

— Ну, что у тебя там, не томи, — не выдержал Толик и показал глазами на авоську Трегубова.

Тот торжественно вытянул из матерчатой сумки трехлитровую бутыль с тяжело всколыхнувшейся прозрачной жидкостью.

— Шестьдесят градусов! Чистый, как слеза комсомолки! Из елгавского сахара! Все для именинника! Все для победы!

— У-у-у-у-у-у!!! — дружно восхитились все присутствующие. Только у Толика с Ивановым этот крик души потихоньку перешел в скорбное молчание. Сухой закон вряд ли теперь отменят быстро. А нарушать самим — не с руки, в такой обстановке не до выпивки, однозначно.

— Спасибо, дружище! Не забыл тыл фронта! — Валерий Алексеевич обнял седого, жилистого Палыча, усадил за стол, налил чаю. А бутыль с самогоном водрузил обратно в авоську и задвинул поглубже себе под койку — до лучших времен.

Обсудили все вместе положение в стране, поделились новостями, заодно и попрощались сразу с ленинградцами. Мурашов повел их к Чизгинце-ву — снимать сюжет для «Факта». Потом ребята должны были еще заехать к Алексееву, там доснять кусочек об Интерфронте и тут же, на том же ленинградском такси, ехать обратно в Питер. О перегоне материала через вышку Латвийского телевидения нечего было и мечтать.

— А чего ж вы на такси-то? — поинтересовался напоследок Иванов у Леши. — Что, на студии автотранспорт кончился?

— Да пока командировку оформишь, пока деньги получишь, пока водителя найдут. Я с Болгарчуком и Обленовым согласовал на ходу, у Апухтина друг в таксопарке — вот и рванули по горячим следам на тебя посмотреть!

— Леш, ты бы заехал к Алле, раз такое дело. Передай, что все в порядке, сам ведь видел. Сижу, пью чай, устраиваю пресс-конференции. Ну, сам знаешь, что сказать надо. Буду через несколько дней, когда все рассосется. Если что — пусть звонит, телефон она знает. Никак не заставить было ее к теще пока переехать с Ксюшкой вместе, — пожаловался на жену Иванов.

— А Трегубов не зайдет к ней?

— Палыча я здесь оставлю, для него тут тоже дело найдется.

— Ну ладно, сделаю, о чем разговор, Валера? Ты тут поосторожнее. Нам еще в Питере столько водки выпить надо! От Хачика тебе привет, от Тышкевича, Панкова, Жамгаряна, короче, долго перечислять! Держитесь тут! А мы материальчик выпустим завтра в эфир — все как договорились!

Леша махнул рукой на прощание и побежал в темноту ранней январской ночи — догонять Мурашова с Апухтиным. Палыч остался в кубрике. Шумно прихлебывал чай. Потом потребовал сигаретку.

— Ты ж не куришь, Палыч!

— А тебе жалко? — Трегубов сделал несколько затяжек, сморщился и погасил огурок в жестяной банке. — Так что, я на самом деле здесь нужен?

— Тряхни стариной, если можешь урвать хоть пару дней. У меня тут всякие свои дела, а Толян тоже на разрыв, просил помочь присмотреть за нашими ребятами. Мы тут со Свораком решили нескольких гвардейцев обкатать. Пусть вспомнят, что такое оружие, да заодно на постах померзнут вместе с омоновцами, в контакт войдут. И им помощь, все ж меньше людей своих отрывать, и нам польза. Одни они, конечно, не останутся, старшими везде омоновцы будут. Но тут и милиции уже два десятка человек перешли в ОМОН — из курсантов средней школы, из ГАИ, из райотделов… Проверять особо некогда. Так, берут, конечно, только тех, у кого здесь друзья, кто поручиться может. Но все же — новенькие. А тут еще наши гвардейцы… Короче, ты ребят знаешь, вот и покомандуй. С работы сможешь отпроситься?

— С работы не проблема, вот Татьяна… — Палыч осекся. Таня, его вторая жена, была намного моложе Трегубова и, конечно, беспокоилась всегда «за своего старика». Ну а Палычу хоть уже и подкатило к шестидесяти годам, на вид этого не скажешь, если не знаешь. Крепкий мужик — старой школы. Теперь таких уже не делают. — Ладно! Решим вопрос! Я пойду позвоню домой да с Лешкой попрощаюсь. А ты тогда ружжо мне вытребуй, а то как я безоружный воевать буду?

— Воевать, надеюсь, не придется. А ружжо у Мурашова требуй. Ладно, решай вопросы, а мне пора идти лезть людям в душу. Толян просил поработать с личным составом по политической линии. Что говорить да как, если вдруг на журналистов нарвутся. Или, того хуже, на прокурора или следователя. Политинформацию во взводе прочитать, о жизни поговорить, мол, народ с вами! К ночи еще гости пожалуют — это

к гадалке не ходи. Они все к Толяну в таких случаях водки попить нарисовываются. Ну, чайком на этот раз обойдутся. А я посижу в уголке — послушаю, нам тоже полезно. Короче, ты все понял. Спасибо, Николай Палыч, за поддержку. И за подарок спасибо. Тридцать один год! Все! Приехали! Сегодня в ноль часов мне уже будет за тридцать. А там и под сорок. А там и в ящик пора, — грустно протянул Иванов. — Кончилась молодость!

— Сопля ты зеленая, Валерий Алексеевич! Такие слова мне говорить, в мои пятьдесят девять?! Ну, я все равно и в семьдесят моложе тебя буду, вот увидишь!

— Увижу, увижу. Иди, отставной козы разводящий. Ночь скоро. Погоди! Бушлат накинь, мороз обещали. А снега все нет

— Зато звезды ярче! — Трегубов, кряхтя, накинул теплый бушлат поверх своей легкой короткой курточки и ушел, хлопнув дверью. А Иванов разделся и стал натягивать камуфляж, громко сопя шнуровать высокие парашютные ботинки, рассовывать по карманам патроны, сигареты и еще маленького бронзового питончика, подаренного Татьяной, казалось, вечность назад.

Помяни черта к ночи. Дверь открылась без стука, и в кубрик легкой походкой вошел майор Чехов. Уже не в армейском кителе, как обычно, а в новеньком спецназовском камуфляже, с автоматом на плече и папкой с бумагами в руках.

— Вечер добрый, Валерий Алексеевич! Ну, как вам у нас? Не обижают?

— Вечер, может, и добрый, Александр Андреевич! — Иванов поднялся, пожал протянутую руку. — Но уж больно длинный. Какие прогнозы на ночь?

— Невеселые, господин Поручик, крайне невеселые. — Майор подсел к столу, сморщился, увидев неубранные крошки, одним движением опустошил в мусорник банку, полную окурков, и только тогда закурил. — Отряд пополняется добровольцами из числа милиции Рижского гарнизона. Не скрою, несколько человек после боя у МВД, ушли и от нас. Но уже через несколько дней мы примем около пятидесяти человек личного состава в дополнение к имеющемуся. Их оформление и прочие дела — это наши проблемы, внутренние, вам это неинтересно. Спасибо, что помогаете нам, это важно. Отношения надо укреплять на деле. — Чехов вдруг резко переменил тему: — Вы с полковником Рысиным в ближайшее время не намерены встречаться, Валерий Алексеевич?

— А в чем дело, Александр Андреевич?

— Помощи у округа по мелочам хотелось бы попросить. Да только отношение к нам со стороны командующего — сдержанное. Да и не наш это уровень — наверх лезть с такими

проблемами. С другой стороны, отдельные командиры частей рады бы помочь, но без приказа они сейчас и снега с территории части не выдадут, не то что. Короче, надо бы прозондировать вопрос о выделении нам безвозмездно и безвозвратно кое-какого имущества. Через начдива в Вильнюсе это можно было бы решить, да далеко, хотелось бы быстрее и проще.

— Так в Латвии два полка 42-й дивизии стоят!

— Мы там и так уже прибарахлились, надо совесть иметь.

— Понятно. Что именно и в каком количестве требуется? Я встречусь со спецпропагандистами округа, а они, может быть, найдут, как, у кого и где можно будет получить требуемое вами… имущество.

— Рысин человек надежный? Говорят, он, помогая Интерфронту, многим рисковал уже.

— Это кто ж такие сплетни распускает? — помрачнел Иванов.

— Не волнуйтесь, Валерий Алексеевич! Это не сплетни. Это информация, да и то не для армейцев предназначенная. Так что все в порядке. Вот список. Запомните?

— Я же не Штирлиц все-таки. — пробурчал Иванов, пробегая глазами по цифрам основных позиций. — Главное понял, остальное уточните сами при встрече, если я договорюсь.

— Благодарю, коллега!

— Коллега? — Иванов даже прыснул от смеха.

— Я в том смысле, что мы с вами, можно сказать, однокашники, — невозмутимо объяснил Питон. — Я ведь тоже филфак университета на Висвал-жу заканчивал! Точнее, иняз, но все равно коллеги.

— Да ну? Вот уж точно говорят, что филолог — это самая широкая профессия, с нашим образованием куда только Бог не посылает! — улыбнулся Валерий Алексеевич и поднялся проводить майора.

Чехов остановился у двери и напоследок сухо предложил:

— Когда договоритесь о встрече, сообщите Мурашову, он организует машину, сопровождение и отвезет вас в центр. А то спецпропаганда неудобное место себе выбрала по нынешним временам — напротив памятника Свободы.

— Хорошо. Результат не гарантирую, но постараюсь выполнить вашу *просьбу*. — Иванов слегка нажал на последнее слово.

Питон очень по-домашнему, тепло улыбнулся и ласково произнес, почти прошипел, как настоящий Каа из мультика:

— А я постараюсь, чтобы на базе вас всегда ждали и никогда ни о чем лишнем не спрашивали.

— Будем дружить домами, — не удержался и сыронизировал

Валерий Алексеевич, лишь бы, по-детски, оставить за собой последнее слово. Но Питон и в самом деле заканчивал филфак и потому не полез в карман за своей репликой.

— Можно и семьями! — вежливо приложил сухую ладонь к берету и исчез, как и не было.

«Таня, Таня…, — вздохнул про себя Иванов. — Когда ж ты мне правду говорить будешь? А?»

Он нащупал в кармане бронзовый подарок Татьяны и снова попытался сломать ему тонкий хвост. Но металл не поддавался. «Террариум единомышленников, япона мать!» — выругался Иванов, подхватил со стены автомат и, закрыв на ключ кубрик, вышел на улицу. Яркие звезды на черном небе ударили прямо в глаза своей отчужденностью от земного мира. Ледяной, пронизывающий ветер ударил в спину и подтолкнул его навстречу возвращающейся с поста смене караула. Рядом с маленькой разномастной колонной, состоявшей из омоновцев, еще не успевших переодеться гаишников и интерфронтовцев в штатском, гордо шествовал с автоматом за спиной Николай Павлович Трегубов. «Смешались в кучу кони, люди… еще бы обойтись без тысячи орудий», — вяло пошутил сам с собою Иванов, свернул в сторону, чтобы разминуться с Палычем, встал за углом барака и долго курил на ветру, всматриваясь в знакомые созвездия, вспоминая Аллу, Питона, Татьяну и еще, почему-то, свой день рождения шестнадцать лет назад, когда он стоял под искрящимся от солнца снегом, слетавшим с тополей на крепостном валу возле старинного рыцарского замка на острове Сааремаа. стоял и мечтал о будущем.

Я черный камень с берега морского.
Меня катали волны столько лет.
Я, может быть, чужих планет осколок,
Я, может быть, по-своему, поэт.
Да, я тяжел, я угловат и черен,
Люблю я ветер и морской прибой.
Мой путь по дну никем не был проторен,
Но кем я был, не встретившись с тобой?

Глава 6

«День, как всегда, проходил в сумасшествии тихом.» — бормотал Иванов.

Маленький кубрик командира взвода был полон народу. Объявились к ночи друзья и друзья друзей. Сидели, правда, не шумно, не так, как еще год назад проходили такие встречи на базе. Тогда тут и женский смех можно было услышать, и переливы гитары. А уж про звон бокалов или скрежета-ние кружек и говорить не приходится. Сейчас посторонним на базу попасть не в пример тяжелее. А точнее, совсем не попасть. Но вот ведь появились на ночь глядя два офицера-спецназовца, а там подтянулся и этот разбитной веселый парень в штатском, который все сыплет прибаутками, все трещит ни о чем — явно ждет, когда уберутся из кубрика рослые мордовороты-армейцы. А те, наоборот, косятся на комитетчика и все заваривают чифирек — кружку за кружкой, в явной надежде пересидеть конкурента и расспросить наконец омоновцев о чем-то важном.

Но парень явно не собирался сдаваться. Он уж и коньячок вытянул из-под полы роскошной дубленки, которую так и не снял, несмотря на жару в кубрике, расстегнул только. Но пить никто не стал, а он и не настаивал — по-свойски поставил дорогую бутылку в шкафчик — дожидаться «до победы».

Спецназовцы не выдержали, вытащили Толяна в коридор, быстро там побухтели жесткими голосами, как жесть на крыше под ветром громыхает — такой у них шепот получился… И ушли. А комитетчик сразу же вытянул диктофон из кармана и, не спрашивая разрешения, нажал на клавишу записи. Впрочем, демонстративно показал всем, что пишет открыто и правила игры знает. Мурашов и Архаров быстро и дежурно изложили гостю свою картину штурма МВД, потом раздумчиво, не спеша, поглядывая искоса на Иванова, ответили на несколько вопросов, очень дельных и неприятных. Очень хорошо этот весельчак из конторы вопросы умел задавать, не хуже, чем травить анекдоты. Валерий Алексеевич понял, что дру-ган этот был не местный — явно московская птичка, точнее, союзного подчинения. С местными, из республиканского КГБ, вряд ли кто сейчас разговаривать будет.

Повернулся было шустрый малый и к Иванову, демонстративно дремавшему на своей койке. Знакомиться начал. Да только обломился. Валерий Алексеевич отвернулся к стене, а Толян тут же стал с гостем прощаться, дескать, дела.

Откуда ни возьмись объявился вездесущий Жора Херувимов.

Высокий, крупный, светлые кудряшки вокруг смазливого лица, голубые простодушные глаза — под стать фамилии — точно херувим с картин старых мастеров. Но Херувимову ничего не перепало здесь, никто даже разговаривать с ним не стал. Дружно, хоть и вежливо, послали на три буквы, дескать, не до тебя тут — ночь на дворе. Никто с Херувимчиком связываться не хотел — настолько тот был всеяден, что можно было пари заключать — на сколько разных служб, воюющих друг с другом, он работает одновременно? Каким чудом попадал Жорик на базу — тоже непонятно. Но ведь попадал же! Проходного двора на базе, конечно, не было, но столько нитей связывало Рижский ОМОН с множеством самых непредсказуемых сил, столько контактов протекало несанкционированно — за командиром или Чеховым не набегаешься, о каждом «чихе» разрешения спрашивать. Вот и встречались подчас в коридорах непритязательных омоновских бараков и старые друзья, и враги лютые. Делали вид, что не заметили друг друга, и снова растворялись в штабных кабинетах или кубриках младших офицеров. Несмотря на все это, на первый взгляд хаотическое движение, постоянно происходившее на базе довольно длительный период — с января до начала весны, в отряде не возникло ни раздрая, ни махновской вольницы, ни раскола. Просто — это был период переформатирования (как сейчас говорят) ОМОНа в совершенно новое качественно подразделение. Да и не Рижский ОМОН уже это был, если быть точным, а Отряд особого назначения 42-й дивизии ВВ СССР.

Шла проверка обновившегося почти наполовину личного состава, поиск новых союзников, окончательное определение безусловных противников, да и просто выкачивание информации из подставившихся на показное радушие омоновцев оппонентов. Дезинформация тоже сливалась порой именно через разнообразных гостей базы. Все было скоординировано, все ниточки стекались в один клубок — к Чеславу и Питону. И не дай бог кому-нибудь подумать даже, что можно поверх голов командиров сыграть свою игру. Жизнь у всех одна, и в этом все желающие половить свою, персональную рыбку в мутной воде политического и вооруженного противостояния, убеждались очень скоро. Личная инициатива всемерно поощрялась, но строго контролировалась. Ошибки стоили дорого, зато удачи позволяли компенсировать малочисленность отряда все возраставшим влиянием на ситуацию в Латвии.

Многие офицеры и даже сержанты, особенно из первого состава отряда, давно уже превратились по необходимости в самостоятельные фигуры, способные без постоянной опеки сверху создавать свои группы, оперативно реагировать на вызовы и

энергично, своими силами, реализовывать внезапно предоставляющиеся возможности. Все сливалось в одну, отнюдь не денежную, копилку, распоряжались содержимым которой два майора — командир отряда Чеслав Млынник и старший инспектор аналитической группы Александр Чехов. А вот кто из них был главнее — над этим суетным вопросом задумываться было незачем и некогда. Все решала конкретная ситуация, которую каждый из майоров разруливал силами отряда в рамках своей особой компетенции.

А вот кто командовал майорами? Кто формально — было известно. Фактически — сегодня не скажет никто, даже они сами.

Только за полночь стало потише. Архаров пошел в свой кубрик напротив сортира, Мишка Ленин повез куда-то на «Волге» Чизгинцева. Не слышалось и шагов в длинном коридоре барака. Толик захлопотал с ужином — открывал тушенку, перебирал какие-то припасы в маленьком «Морозко», стоявшем на тумбочке. Иванов нехотя поднялся с койки и стал надевать бушлат.

— Ты куда, Валера?

— Палыча посмотрю. Старик ведь не железный. Сейчас по времени на «Шифер» смену вести, а его что-то не видно.

«Шифер» — это позывной крыши котельной, на которой дежурил пулеметчик. Ну и еще пара ребят дополнительно к нему из резерва. А основной позывной базы — «Дубровка». И дальше уж — по номерам. Так и посты обзывали — по позывным — «Север», «Юг»… Районная котельная была за территорией базы, хоть и примыкала к ней. Здание было огромным, при большом желании в нем могла незаметно накопиться под видом рабочих большая группа. противника? Ну, называя вещи своими именами — именно противника. Шутки в сторону отброшены после недавней горячей ночи. Зато с крыши котельной прекрасно просматривались все подходы к базе и проходящее рядом шоссе.

Толик выдернул кипятильник из розетки.

— И правда. Пойдем посмотрим, что на улице делается. Конечно, без присмотра посты и без нас не оставят, но, поскольку наши люди тоже мерзнут, пройдемся и мы по холодку — лучше спать будем.

Оба прекрасно понимали, что вся эта бодяга с усилением омоновских постов пополнением затеяна командиром исключительно с целью сразу же обкатать новых людей, заставить их с ходу включиться в другую жизнь, в новый коллектив и новое место службы. Времени на сколачивание экипажей, или как еще это назвать (?), — не было.

Да и серьезность обстановки лучше всего понимается в ночном карауле, когда кругом враг, когда все кошки серы, а пули

— нет-нет да и посвистывают самые что ни на есть настоящие.

Друзья посмотрели по списку, кто сейчас заступает на смену, зашли в один из кубриков — Палыч был уже там — будил крепко отключившегося сержанта. Рядом с Трегубовым сонно покачивался курсант школы милиции — еще в шинелку одетый. Похлопали Палыча по спине, дескать — порядок, молодец! И пошли на улицу. Звезды светили все так же ярко. Мороз усилился, снегом и не пахло, несмотря на конец января. Покурили у крыльца, посмотрели, как пошла на пост смена. Жизнь на притихшей базе не прекращалась и ночью. Вот начальник штаба, пританцовывая на ходу с грацией тяжеловеса на ринге, пробежался по дорожке — пошел лично проверять караул. Вот вспыхнул ярко свет в полутемной обычно ночью дежурке и тут же погас. Все шторки на окнах во всех бараках были плотно закрыты — никому не хотелось в своем же кубрике светиться мишенью для снайпера. Приезжали и отъезжали машины через КПП. Но ни одного милицейского «уазика» среди них не было. То иномарка скользнет в ночь, то «Волга», то неприметный «жигуленок», то «рафик».

Автопарк ОМОНа за последний месяц серьезно расширился за счет конфискованных у незаконных военизированных формирований, проще говоря — у латышей, машин самых разных марок. К тому же рижская милиция, массово потянувшаяся в ОМОН, часто уходила в отряд не только со своим оружием, но и со своим служебным автотранспортом. Кто-то умудрился пригнать на базу даже фургон из вытрезвителя Московского района. Да еще, как оказалось, в фургоне мирно спал тем временем какой-то сержантик из Средней Азии. Заснул спьяну прямо на рабочем месте, а утром проснулся запертым уже на базе. Когда открыли его, чуть не замерзшего, решил парень, что допился наконец до «белочки» — уж никак не чаял оказаться вместо «Маскачки» в Вецмилгрависе. Таких, конечно, отправляли восвояси. Но это казус, анекдот.

А на самом деле сотрудники милиции, решившие перейти в ОМОН, рисковали всем — вплоть до уголовного преследования со стороны латышской прокуратуры. Но в Рижском ОМОНе уже успело сложиться железное правило — своих ни под каким предлогом не сдавать! Вытягивали из любых ситуаций, не считаясь ни с чем. БТР могли послать в город, если надо было защитить своего бойца. Впрочем, обычно хватало звонка с серьезным предупреждением тем, кто рискнул попробовать задержать в

Риге омоновца. Иначе было нельзя. Под постоянной угрозой находились экипажи, работавшие в городе, члены семей, да и

вообще все, так или иначе связанные с ОМОНОм, люди. И не важно было, о ком шла речь — об офицере или простом сержанте, перешедшем в отряд неделю назад.

Не будь этого, кто бы тогда пошел в отряд, бросив прежнее место службы да еще проживая в служебной квартире вместе с семьей на одной лестничной площадке с бывшими коллегами, решившими служить независимой Латвийской Республике?

Конечно, семьи старались отправить к родственникам, желательно за пределы Латвии. Командование помогало деньгами на содержание семей вдали от дома. Но всех не отправишь — попробуй поспорь с упертыми женами!

Никто из латышских милиционеров не спешил выполнять приказ министра Вазниса о стрельбе на поражение по омоновцам, появившимся в городе. Себе дороже шутить такие шутки. Приказать легко. А вот получить в ответ огонь на огонь, да еще знать, что неминуемо разыщут и накажут, если понадобится, всем отрядом. Поэтому латышские стражи порядка, опознав в городе омоновцев, предпочитали их «не замечать». Отвернулся на минуту — сохранил жизнь и здоровье.

А еще в Латвии находились пока что войска Прибалтийского военного округа — самой мощной на тот момент в Союзе ударной армейской группировки. Правда, армия держала нейтралитет. Без приказа — никто и ничего. А приказы в армии отдаются сверху. А кто там на самом верху? Ага, Верховный главнокомандующий… Горбачев Михаил Сергеевич.

Вот и оказалось, что в Риге, да и не только в Риге, порядок держался на шатком равновесии между собранной в столицу сельской латышской милицией, принявшей новую власть, и Рижским ОМОНом. Да еще посередине находился Рижский гарнизон милиции, державший нейтралитет, но все больше склонявшийся на сторону отряда. Такая чересполосица вооруженных людей, уже готовых стрелять друг в друга, но все еще живущих в одном городе, хорошо знающих друг друга по прежней службе, находящихся в состоянии броуновского движения между подразделениями, — чудом еще не привела к куда более серьезным последствиям, чем ночной бой у МВД Латвии.

— Алла к матери не переехала? — спросил Толя, вспомнив свою семью, так и не выполнившую его приказ покинуть квартиру хотя бы на ближайшее время.

— Ни в какую! — зло отозвался Иванов. Мурашов понимающе покачал головой.

— А ты ей про жену Лактиона рассказывал?

— Рассказывал. Что толку?

— Н-да. У меня та же самая история. Пока жареный петух не клюнет…

— Да не понимают они, Толя, что на самом деле в стране творится. Вроде бы они ходят на работу, ездят на трамваях. А вот то, что Алла, например, едет через Брасу, вдоль которой стоят сожженные вами трактора и КамАЗы, что в центре все в баррикадах, что сама же из почтового ящика письма с угрозами мне вынимает, — «не видит» в упор.

Включит телевизор — там кино показывают. Значит, все в порядке! Приезжаешь ты в гости с ребятами, автоматы в коридоре, как грабли, поскладываете, она меж них ходит с чайником — и не замечает. — Иванов передернул плечами, зябко поежился на ветру и полез за очередной сигаретой.

— Да что там Алла! Тут мужики взрослые, полковники, едрена вошь, не врубаются, что происходит… А бабы наши… Просто в шоковом состоянии. Нормальный стресс. «Ничего не вижу, ничего не слышу, никак не реагирую». Психика не выдерживает и тормозит восприятие.

— Грамотно излагаешь, взводный! Где военную психологию изучал?

— Какую такую психологию, окстись!

— Ага, ага. Мне недавно в политуправлении округа, в отделе спецпропаганды, пособие одно подкинули для повышения кругозора, по-товарищески, так сказать. Номерное, кстати… Так там примерно то же самое пишут!

— Эх, друган! Я просто сообразительный, понимаешь?

— Не знал бы я тебя уже пять лет.

— Но ведь знаешь как облупленного! Помнишь, как Сашка, сокурсник твой бывший, в участковые пошел? Как с винзавода на своем участке по этому случаю двадцатилитровую канистру железную вынес разливного шампанского?

— Ага! — захлебнулся смешком и дымом Иванов. — Мы его пить, а стаканов нет! А канистра тяжелая, в руках не удержать, а горлышко железное, да еще с пробкой на цепочке, а пузырьки газовые в нос лезут. Ой, бяда! А девчонку ту помнишь? Мы потом еще наутро встретились, а Саш-кец уже пистолет табельный притащил — стреляться, если мы ему с ней дорогу перейдем!

— Давно не встречались что-то. Сашка теперь в операх ходит, важный такой.

— Милиция-то латышская будет — попрут его — как пить дать сопьется!

— Я его к нам звал, не хочет. Говорит, у меня семья, дочка…

— Ага! А у нас кто? Котята, что ли, а не дочери?

— Валерка! Ты ж уже родился! — Толян внезапно обхватил

друга длинными руками, приподнял, поднатужась и, пыхтя, поставил обратно на мерзлую землю. — Поздравляю!

— Эх! Вечно я, как день рождения, так куда-нибудь влипну! В прошлом году в Питере застрял. Сейчас вот — здесь…

— Да брось ты, Валерка! Ты ж со мной! Кто тебе еще нужен? А ну, пошли в кубрик!

В кубрике включили ночничок, позвали Палыча, заменив его наконец омоновским сержантом, тут и Мишка Ленин объявился — и опять не с пустыми руками. Чаю вскипятили, намазали густо хлеба тушенкой, яблочки откуда-то нашлись, что еще надо?

— Ну, друг! За тебя! Береги себя, Поручик, ты нам нужен! Будет у нас еще небо в алмазах, как сказал один студент!

— Ну, мужики, это не серьезно, — загудел Палыч. — Хоть продегустировать-то символически!

— Ладно, по такому случаю наливай по пятьдесят! — махнул рукой Толя.

Иванов полез под свою койку, бережно вытащил давешний подарок Трегубова — трехлитровую банку с самогоном — и плеснул по чуть-чуть в алюминиевые солдатские кружки.

— Будь здоров, омоновец! — подмигнул Ленин, и все тихо чокнулись. Шестидесятиградусное зелье мягко обожгло горло, вмиг согрело замерзшее нутро, расслабило нервы, которые все ж и у мужиков — не канаты.

Сразу убрали банку на место, пошептались чуток, покурили по одной и, не раздеваясь, завалились спать. Бронежилеты раскатали в изголовьях — койки так стояли в кубрике, что случись ночью внезапный обстрел — пули прошили бы дощатые стены и дальше прямо в макушки вошли бы. Но сон все не шел отчего-то. Через полчаса Палыч первым подал голос:

— Чего не спите, мужики?

— А черт его знает, — проворчал Толик.

Мишка заскрипел растянутой сеткой кровати и повернулся в сторону шептавшихся товарищей:

— Бунжа.

— Чего? — не понял Иванов.

— Банка с самогоном у тебя под койкой стоит.

— Ну и что?

— Так ведь разбить могут, суки, если стрелять начнут, — зашипел на него Мурашов.

— Точно! — обрадованно забасил Палыч. — Я как раз об этом думаю! Быстренько вскочили, сняли бронежилеты со спинок кроватей и бережно, как дитя, окутали ими в три ряда трехлитровую заветную банку. Дружно посмеялись над собой и тут же отключились мгновенно — все разом.

Кто-то храпел, кто-то тихо посапывал, кто-то присвистывал во сне. В окно над занавеской просочилась луна, осветила бледно кубрик, блеснула мягко, матово на стертых кое-где стволах автоматов — у каждого под рукою. Ветер стих. Потом и луна пропала. Густо посыпал киношный, безумно красивый и крупный снег.

Короткая автоматная очередь из-за этого снега прозвучала как-то глухо, как будто во сне.

Но это был не сон, потому что тут же в кубрике все проснулись. Выстрелов больше не было слышно. Тревоги тоже никто не объявлял. Случайный выстрел? Бывает такое, когда оружие у каждого и постоянно с собой. Толян, матерясь про себя, поднялся и вышел.

Потом было слышно завывание «Скорой помощи», резко оборвавшееся, когда машина въехала на территорию базы. А там и Толян пришел и велел всем спать, пока есть еще время. Доигрался с автоматом молоденький курсант школы милиции, только вчера перешедший в ОМОН. Автомат старенький был у него, предохранитель ослаб, да еще парень сдуру, сидя на койке, поставил автомат между ног и начал постукивать прикладом по полу в такт музычке из приемника — коротал время до своей смены — не спалось, видно, от впечатлений. Ну и достучался. Разболтанный предохранитель снялся, затвор передернулся от резких движений сам собою, а может, патрон уже был в патроннике, а как там он на курок нажал — неизвестно. Факт тот, что короткая очередь вошла курсанту прямо в подбородок. Через всю голову навылет.

Похоронили его вскоре на Ивановском кладбище Риги.

За все приходилось платить. В том числе и за то, что ни у кого не было времени нянчиться со взрослыми людьми, сознательно сделавшими свой выбор. В недавнем бою, под перекрестным ураганным огнем, никто из омоновцев не погиб. А вот парнишка, пришедший после этого боя на базу и попросившийся на службу, подстрелил себя сам. И это тоже была цена выбора. Потому никто его не ругал, вспоминая, за глупую небрежность. Не обзывал молокососом, сунувшимся играть во взрослые игры. Такое и со старыми вояками случалось, чего ж там? Парень сделал свой выбор. И погиб не по пьянке, а на базе ОМОНа, окруженной противником. В реальной боевой обстановке. Так что хоронили его с почестями и всем отрядом. Мальчишку, случайно убившего себя из автомата, который он взял в руки, чтобы Родину защищать. Бывает. И хотя был он в ОМОНе всего лишь два дня, хоронили его как своего. Чтобы все знали: что бы ни случилось — прикоснулся к ОМОНу — ты свой.

Сильный или слабый, умный или простодушный, опытный или желторотый — какой бы ты ни был — теперь ты *наш.*

Не было ангелов в Рижском ОМОНе. Кое-кто потом и пулю в голову за предательство схлопотал. Но *своих в отряде не сдавали.* Это правда. Это главная военная тайна Рижского ОМОНа. Так было до тех пор, пока существовал отряд. Потом… Потом многие стали сами по себе. *Но только после того, как Советского Союза, которому они присягали, не стало…*

— Регина Васильевна, дай я тебя поцелую! Спасибо! Я так рад тебя видеть! — Валерий Алексеевич обнял молодую женщину за плечи, бережно поцеловал в пепельную макушку, пахнущую духами «Быть может». Регина смутилась, высвободилась неловко и подтолкнула к Иванову подругу — статную, высокую, белокурую (даром, что татарка) — Людми— С днем рождения, Валера! — Люда смущаться не стала, расцеловала Иванова в обе щеки, сунула пакет с домашними пирожками и небольшой подарок в красивом мешочке.

— Это от нас обеих! Цветы не повезли, было бы странно, не в ствол же автомата их совать, как пацифистки.

— Да уж точно, я бы и сама автомат взяла против этих сволочей, — пылко высказалась Регина и снова покраснела.

Валерий Алексеевич отошел с женщинами в сторонку, подальше от любопытных глаз дежурного сержанта, торчавшего у КПП и строго контролировавшего нахлынувший на базу поток людей. Всем хотелось просто посмотреть на омоновцев, пожать им руки, передать вкусненького, привезти домашнего. А некоторые — целыми делегациями от заводов, от организаций всяких приезжали — поддерживали, благодарили, требовали принять собранные тысячами людей деньги, продукты, сигареты, медикаменты, зубную пасту и мыло — в общем, все, что было в дефиците в этот самый горький и последний перестроечный год. Конечно, с людьми встречались и Млынник, и замполит, и популярный в прессе и потому всем известный командир первого взвода Кузьмин.

И не было душевных сил отказать людям в радости хоть что-то сделать для единственных своих защитников. Не осталось у русского населения никого, кроме бойцов ОМОНа. И самих себя. Впрочем, все эти люди, конечно, были сторонниками Интерфронта, многие были даже офицерами Советской армии, но. что они могли без приказа? А приказ защищать советских, русских людей, казалось, был только у одной вооруженной силы в Союзе — у Рижского ОМОНа. И Вильнюсского еще. Да и то приказ этот омоновцы отдали себе сами. И чудом было то, что омоновцам пока еще это сходило с рук. Пока их еще боялись, пока

еще держали на всякий случай. Иначе давно бы уже сгноили, и не кто-нибудь, а московские генералы — предатели.

— Давай поговорим в стороночке, — опомнилась вдруг и сама Регина, видя, как тянет ее подальше от толпы Иванов. С самых первых дней знакомства, когда встретились они на демонстрации Интерфронта, еще весной 89-го, не было у Иванова в Движении более близких людей, чем Регина с Людмилой. Вместе они создавали интерфронтовскую ячейку в своем Центральном районе, потом вместе влились уже в районный Совет Интерфронта, к Полийчуку. Но Регина еще и Алексеева знала с давних пор, так все и замкнулось между ними на искренности и доверии.

Коротко, четко, как всегда, когда речь шла о конкретных интерфрон-товских вопросах, Регина передала пожелания Алексеева. Сделать то. Сделать это. Сделать так. И придумать самому, как вообще это сделать. Иванов «чесал репу», потом так же конкретно — шеф любил ясность и определенность — доложил обстановку и свое видение дальнейшего развития ситуации. Передал все на словах, знал, что Регина ничего не перепутает. На базу приглашать не стал, незачем привлекать лишнее внимание. А так все выглядело очень мило — женщины поздравляют омоновца (он был в форме) с днем рождения. Пирожков вот принесли. Банальная сцена — кому какое дело?

Но дело было. Вышел из дежурки высокий худощавый майор, обвел безразличными серыми глазами толпу у КПП и тут же цепко выделил Иванова с Регионой. Подошел улыбаясь, тут же отметил, как внимательно следит за ними Людмила, — и ее оглядел не спеша, запоминая гибкую стройную фигуру, черные глаза под белокурой челкой. Протянул руку Валерию Алексеевичу и поздравил с днем рождения!

Оп-па! И тут же попросил представить дам. Галантен был чрезвычайно, комплиментов интерфронтовским активисткам наговорил изысканных. А потом попросил передать привет товарищу Алексееву и просьбу найти время для встречи. Желательно вместе с Валерием Алексеевичем. Ну а когда, между делом, Чехов сказал про Иванова «как и все офицеры ОМОНа», тут уж у женщин совсем глаза закатились от удивления и желания задать своему коллеге массу интересных вопросов. А на Валерии Алексеевиче, как назло, камуфляж, да еще и бушлат оказался со звездочками на погонах.

Но самое гадкое в манере Питона было то, что, подкинув такую интересную «информацию» Регине с Людмилой, он не дал Иванову возможности тут же, на месте, развеять все сомнения и сразу же объяснить реплику майора шуткой или оговоркой.

Совершенно невозмутимо Чехов сообщил, что у него с Валерием Алексеевичем есть одно очень срочное дело, и попросил позволения им обоим, вместе, попрощаться с дамами и тут же удалиться.

Что оставалось делать? Не строить же Регине страшные глаза и не подмигивать же… Еще хуже получится и двусмысленней. Сказать прямо сейчас, при Чехове, что, дескать, товарищ майор шутить изволит. Так реакция Питона непредсказуема, может еще интереснее дело повернуть! Иванов все это прикинул в оставшееся ему на размышление мгновение и решил ничего не делать. Улыбнулся, клюнул интерфронтовок в щечки и пообещал скоро вернуться на Смилшу.

— Дня через три-четыре, — тут же предупредительно добавил майор. Поцеловал ручки дамам, отдал честь и повлек Иванова железной рукою сначала в дежурку, а оттуда в свой кабинет. Иванов сначала было вспылил, а потом расслабился и, войдя впереди Чехова в сизый от дыма полумрак накуренного помещения, не спрашивая разрешения уселся на маленький диванчик, удивительный для аскетической в целом обстановке на базе, и спокойно спросил майора:

— А с какого, собственно, момента, Александр Андреевич, я у вас службу прохожу? Просветите, уж будьте так любезны, чтобы мне потом не путаться, объясняясь с Алексеевым.

Майор неторопливо снял бушлат, выдвинул из-за стола стул, аккуратно переставил его и уселся напротив Иванова.

— Вам привет от Тани. Она очень соскучилась.

Глава 7

Прошла неделя. Несколько раз Валерий Алексеевич выезжал с Мурашовым в город по разным делам. Разбитые зеленые «Жигули», веселый водитель по прозвищу Птица, без конца травивший анекдоты, которым сам же и смеялся, широко растягивая щербатый рот. Рядом с водителем плотный хохол — Кабан. Тоже тот еще шутник — прошлым летом на даче у Иванова в Кегумсе обрушил бачок у унитаза, запершись в туалете с подружкой. Хорошо, что Алла отлучилась в тот день, а то бы шуму было…

Иванов с Толиком сзади. Все в штатском. Простые рабочие парни в джинсах и курточках. Один только Валерий Алексеевич как мелкий начальник — в пальто, костюме и при галстуке. Прямо под ногами у сидящих на заднем сиденье — автоматы на всех да еще сумка с запасными магазинами. Пистолеты, гранаты у каждого. Так и ездили по родному городу, памятуя о приказе Вазниса своей милиции — по омоновцам стрелять на поражение без предупреждения. Но никто не узнал в них омоновцев. Или не стал узнавать — себе дороже. Ну и славненько. Покатались, решили все дела, навестили всех, кого было запланировано. Стряхнули увязавшегося перед Вецмилгрависским мостом «хвоста» — и на базу. А там свои заморочки. У Мурашова со взводом свои, у Иванова — свои. Придумывали с Чизгинцевым разные информационные поводы, стыковали информацию для прессы, готовились к приезду из Ленинграда «600 секунд».

На самом деле Иванов давно уже мог бы спокойно отправляться в свой кабинет на Смилшу. Но ребята его не отпускали почему-то, да и сам он не рвался к привычной рутинной работе. Конечно, на базе он был сам себе хозяин — собрался и ушел. Никто над ним не стоял, никто не мог им командовать. Погостил, наладил необходимое взаимодействие, написал пару материалов об ОМОНе, вывел руководство отряда на Ленинградское телевидение — и свободен. Тем более обстановка вокруг не то чтобы нормализовалась, вовсе нет Но стало спокойнее. Латыши пока так и не решились напрямую ввязываться в вооруженный конфликт с ОМОНОм. Не получили они на этот раз и поддержки из Москвы, хоть и старались сделать дело руками армии.

Оставался, правда, еще один должок перед Питоном. Вот его-то Иванов и решил погасить перед тем, как снова вернуться в штаб-квартиру Движения.

Группа почти в том же — обычном составе, только Кабана

заменил маленький юркий живчик по прозвищу Спейс, выехала в Ригу уже ранним утром. Покружили немного по окраинам Риги, потом нашли удобную будку телефона-автомата. Оттуда Валерий Алексеевич и позвонил Рысину — начальнику отдела спецпропаганды политуправления округа. Полковник легко согласился на встречу.

Машину пришлось поставить недалеко от центрального здания университета на бульваре Райниса — рядом с памятником Свободы теперь было не припарковаться. Птица со Спейсом остались в машине, а Толик подхватил спортивную сумку с автоматом и отправился проводить Поручика до места встречи. В машине была рация. Была рация и у Мурашова. Все на связи. Конечно, если бы Иванов уже стряхнул с себя пребывание на базе, то есть снова стал бы самим собой — обыкновенным функционером Интерфронта, никаких провожатых и оружия ему бы не понадобилось. Но до того момента некоторая предосторожность была не только нелишней, но и необходимой. Покушаться на Иванова было незачем и некому, а вот увязать омоновский экипаж в центре города с Интерфронтом, да еще и со спецпропагандой округа, кое-кому было бы очень на руку. Меж тем на улицах все было почти как всегда. Та же толпа растекалась ручейками по слякоти на тротуарах, те же сумрачные, торопящиеся люди — русские и латыши. Много иностранцев — журналистов, по-видимому. А вот и «-Милда» стоит в окружении бетонных плит. Вокруг «защитнички». Полевая кухня на газоне в близлежащем парке у канала; тетка в белом колпаке картинно разливает суп бездельникам, попивающим в тихую водочку, сидя на декоративных бревнышках у такого же костерка. Среди огромных красно-бело-красных флагов вокруг памятника Свободы Иванов вдруг заметил российский триколор. Им размахивало, пошатываясь, некое ЧМО в помятой шинелке, офицерской фуражке времен царской армии и с шашкой на кривом боку. Известный всей Риге душевнобольной — «поручик» Устинов демонстрировал иностранным журналистам поддержку русским народом латышского чаяния свободы и независимости. «Придурок», — брезгливо сплюнул словом в его сторону Иванов и резко свернул в подворотню рядом с кассами «Аэрофлота». Против обыкновения, дверца в железных воротах, перекрывающих въезд во внутренний двор старинного дома, была заперта. Толян неторопливо прошел мимо Иванова и остановился у телефонов-автоматов рядом. Рассеянно стал закуривать и искать двушки.

Тем временем в дверце на стук открылся глазок. «Иванов, к полковнику…», — тихо пробормотал Валерий Алексеевич. Дверца открылась, проглотила Иванова, как и не было его на тротуаре, и

тут же закрылась. Часовой у ворот был при оружии. «Ну-ну, интересно девки пляшут!» — хмыкнул Иванов и, не задерживаясь, свернул направо, потянул на себя высокую старинную дверь подъезда. Она не поддавалась.

— Кнопку нажмите! — посоветовал часовой. Нажал на кнопку звонка — дверь приоткрылась, за ней показался мощный прапорщик, одетый в полевую форму, в сапогах, портупее и с кобурой на боку. За его спиной вырос подполковник — замначальника отдела и, оттеснив прапора, протянул Иванову руку:

— Здравствуйте, Валерий Алексеевич! Юрий Владимирович сейчас будет, пойдемте пока чайку попьем.

— К осаде готовитесь? — поинтересовался вежливо Иванов, намекая на усиленную охрану у входа. Подполковник воткнул в розетку шнур никелированного чайника, жестом пригласил садиться, подвинул хрустальную пепельницу.

— Сами видите, в каком мы веселом окружении оказались! Да ведь у вас не лучше?

— Ну, у нас, на Смилшу, вообще баррикады с двух сторон от входа — идешь как сквозь строй каждый день. Скоро здороваться с баррикадника-ми начнем, они там все одни и те же, на баррикады, как на работу ходят. Их даже табельщица аккуратно в тетрадку записывает. А деньги выдает по вечерам, в подъезде Минфина, аккурат напротив нашего здания. Наверное, там же, в Минфине, и получает расходные суммы за счет трудящихся, — улыбнулся Иванов, закуривая.

В кабинет быстро вошел Рысин, поздоровался, энергично скинул шинель, стряхнул мокрый снег с фуражки, налил себе чаю и уселся напротив.

— А у нас ведь разрешили офицерам, проживающим далеко от частей, на службе переодеваться, а по домам ездить в штатском! Так вот! Участились случаи провокаций, были даже нападения на военнослужащих! Увольнения для срочников отменили. Оружие офицерам не выдают между тем.

— А чем мотивируют? Как раз нападениями? Чтобы пистолет, часом, не отобрали?

— Конечно! — Полковник раздраженно кинул на стол коробок со спичками, проследил, как тот упадет. Коробок закрутился, встал было на попа, закачался и, не удержавшись, свалился на бок. — Тьфу-ты, черт! — засмеялся, снимая раздражение, Рысин. — Опять мимо!

— Может, сыграем? — Иванов потряс коробок и тут же подбросил в воздух, ловко закрутив его в полете большим и указательным пальцами. Коробок сделал несколько оборотов,

опустился на стол торцевой стороной и тут же встал как вкопанный. — Десятка, однако! — удовлетворенно произнес Валерий Алексеевич.

— Где это вы так в «коробок» наловчились? — удивленно спросил полковник.

— Брат у меня в Ленинграде институт заканчивал — у них очень популярна была эта игра на первом курсе. Вот он меня и научил.

— Ловко! — Рысин отпил горячего чаю, сморщился, обжегшись и отставил стакан в сторону — остывать. — Так какие проблемы привели вас в сию юдоль армейской грусти и печали?

— Любопытство, Юрий Владимирович, что же еще? Хотелось бы узнать, долго ли армия наша доблестная будет печали предаваться и грустить да от хулиганов в штатской одежонке прятаться?

— Ой, как грубо! Как прямо! Просто беспардонные вопросы задаете, уважаемый Валерий Алексеевич, — как от зубной боли скривился полковник.

— Да я-то по-свойски, любя! А вот народ уже по-другому нас об армии, куда жестче спрашивает, вы уж поверьте, товарищи!

Молчаливый подполковник укоризненно посмотрел на Иванова, хотел что-то сказать, но смолчал, только рукой махнул в раздражении. А Рысин, наоборот, развеселился.

— А вы последнюю придумку Политуправления видели в действии?

— Это позорище? Стройные ряды офицеров и их жен с плакатами: «Горбунов! Вы оставили нам одно право — умереть за Родину!»? Это, что ли? Опять пикет офицерский напротив ДПП? «Оккупанты» смиренно просят угнетенных аборигенов о снисхождении?

— И это тоже! Я уже смеюсь, потому что плакать больно, ей богу! Вы-то хоть не шпыняйте нас, как мальчиков, чем мы виноваты? Тем, что нас скоро выгонят на хрен из армии, не дав дослужить до полной выслуги лет? Ну, семь бед — один ответ! Сам не могу смотреть на это безобразие! Из офицеров делают институток и проституток! Из Европы уже побежали, скоро отсюда побежим! Короче, что вам надо, говорите, пока я злой, может, и сделаю. А то нас тут уже поимели на военном совете за «заигрывание с Интерфронтом». Кто только настучал, хотелось бы знать?

— Ну уж не мы, это точно! — нахмурился Иванов. — Да только догадаться нетрудно, кто еще может нам помогать, кроме вас? И звукоустанов-ки армейские на митингах, и прочие дела. Чего уж тут догадываться?

— Да если бы только… Впрочем, это наши внутренние проблемы. Прошу прощения, сорвалось.

— Да что вы, Юрий Владимирович! Вы-то как раз свою службу знаете, а вот начальство… оно везде начальство.

— Ну, вам-то на Алексеева грех жаловаться. А вот коммунисты мне недавно про Рубикса с Клауценом такое принесли, что не знаю, что и думать. Если подтвердится, поделюсь с вами.

— Тогда и я с вами поделюсь. Тоже есть о чем задуматься, как посмотришь на наше горькое сотрудничество! Латыши-то знают ведь, как оно на деле обстоит! Потому и молчат в тряпочку, что знают! Нет бы статейку тиснуть в «Атмоде», что Интерфронт с КПЛ как кошки с собакой — не-е-е-ет! Зачем? У них там «светлые силы компартии», «темные силы компартии». А все одна шайка-лейка — латыши. И все про это знают. И катят на Рубик-са со страшной силой — вот он — вражина! А сами про себя хихикают: наш человек, национально ориентированный, все сделает правильно! Одни только русские наивно продолжают играть в дружбу народов! «Немецкий пролетариат с тылу ударит по гитлеровским армиям»!

— Похоже, что источники у нас разные, а инфу одну и ту же носят… — задумчиво потер лоб Рысин, горькая складка еще резче обозначилась над переносицей. — Вам-то можно и поерничать. Нам что остается? Волкого-нова бы послушали. Тот еще марксист-ленинист стал. Счет пожалуйста, Валерий Алексеевич! Предъявляйте, пока я еще на своем месте сижу.

— Попрошу. Да только на этот раз не за себя.

— Вот как?

— По понятным причинам ребята, о которых сейчас больше всего говорят в Латвии, сами к вам прийти не могут. Точнее, они-то могут, да вот вам это неполезно будет. Правильно?

Полковник устало посмотрел Иванову прямо в глаза, потом перевел взгляд на зама. Тот понимающе кивнул, вышел на минутку из кабинета в пустую приемную, слышно было, как он открывает дверь в коридор, потом плотно ее захлопывает.

— И что же просят наши доблестные омоновцы?

— Все просьбы связаны с пополнением личного состава отряда. В ближайшее время количество перешедших на сторону ОМОНа сотрудников Рижской милиции превысит несколько десятков человек. Людей надо разместить. Кровати есть. Нужны матрасы, подушки, белье, тумбочки. То есть ничего криминального. Единственное, что может вызвать у вас некоторые сложности — это магазины автоматные 7,62 и 5,45. И еще большая просьба — магазины под РПК — на сорок пять

патронов которые. Только магазины. О патронах и самом оружии речь, естественно, не идет. Сами понимаете, Юрий Владимирович, ну не из Вильнюса же, из дивизии ВВ, матрасы и тумбочки везти! Ну а остальное уж — до кучи!

— Спасибо, что танков не попросили. — протянул иронически полковник. — Надо подумать. Мне с кем практические вопросы решать? По городскому телефону дежурной части на базе?

— Нет, конечно… Я вам прямо сейчас одного из офицеров приведу, он в штатском, разумеется. С ним контакты и обговорите. Заодно он ответит на ваши вопросы, если они у вас есть. Из первых рук, так сказать, только для вас, Юрий Владимирович!

— Нет, ты посмотри на этого молодого человека?! — Рысин повернулся к подполковнику, который, проверив, нет ли лишних в «предбаннике», снова сидел и лениво черкал что-то в блокноте, не поднимая глаз. Тот улыбнулся невинно и снова занялся рисованием чертиков. — Ладно, ведите своего офицера, поговорим.

Подполковника словно пружиной подбросило. Иванов, которому из окна кабинета Рысина прекрасно был виден Толик, вальяжно прогуливавшийся под окном от телефонов-автоматов до университета и обратно, быстро накинул пальто и вышел вместе с замом Рысина во двор.

— Товарищ сейчас приведет человека — его пропустить к нам, а товарища потом снова выпустить в город, — строго приказал подполковник часовому.

— Не надо меня выпускать, я сразу уйду, а человек подойдет ровно через две минуты.

— Тогда до свидания!

— До встречи!

Толик вернулся к машине, в которой его ждал Иванов, примерно через полчаса — веселый и довольный.

— Мужики, погуляйте минутку, а? — приказал он сержантам. Те вышли из машины.

— Спасибо, Валера, все в полном порядке. Питон даст тебе медаль «За взятие Берлина!».

— Скорее я его награжу почетным знаком «Юный натуралист!». Ну что, сбросьте меня где-нибудь неподалеку, и отправлюсь я в родную контору. А то на Смилшу меня потеряли уже. А впрочем, лучше я прямо отсюда исчезну из вашей жизни. Зайду сначала в «Дружбу», накачу сто пятьдесят, пообедаю по-человечески.

— Может, плюнешь на все и окончательно перейдешь к нам?

— И что я буду у вас делать? Листовки писать? Так вам без надобности. Политинформации читать? Так на то у вас капитан есть. Да и Млынник с Чеховым сами мастера мозги полоскать личному составу. Всему свое время, Толя.

— Ну что же, тебе виднее! А я привык уже, что ты рядом храпишь, колыбельной не надо.

— Смотри, лабусы вам как пропоют из крупнокалиберного один раз по просьбе крестьян-единоличников… Ладно, пошел я сдаваться Алексееву. Береги себя!

— Береги себя, Поручик! Не забывай, самогонка в кубрике тебя дожидается!

— Успеем еще! Пистолет сдавать?

— Валерка, имей совесть, у тебя же свой есть!

— Уже обыскал, мерзавец!

— Да ничего подобного, случайно наткнулся. Я ведь не спрашиваю, откуда он у тебя взялся? А мог бы и спросить, между прочим!

— На базаре купил! На, держи свою пушку и вали отсюда, крохобор!

— Крохобор патроны бы тоже отнял!

Иванов вылез из тесной машины, попрощался с Птицей и Спейсом и побрел не спеша между баррикадами по Старому городу. Сделал кружок, другой, вздохнул и отправился в любимое кафе. Переход из одного агрегатного состояния в другое показался ему почему-то немного грустным.

В «Дружбе», она же «Драудзиба», оказалось безлюдно. Но один столик в углу оккупировали прочно и надолго. Сворак, Рощин и Наталья — главбух Интерфронта. Сидели, однако, на удивление скромно. Кофе, чай, пирожные.

Иванов заказал себе «Черного Петериса» — сто водки, пятьдесят бальзама и маринованный огурчик на краешке стакана; попросил знакомую буфетчицу заварить ему кофе покрепче.

Зашел со спины к увлеченным беседой коллегам и бесцеремонно втиснулся на свободный стул, как будто и не было этой недели на базе ОМОНа.

— А что это вы тут делаете? — противным голосом спросил он у онемевшей компании.

— Тебя вспоминаем, — искренне ответила Наталья.

— Ну, хоть не поминаете, и то ладно, — забрюзжал Иванов.

— Погоди-погоди, — перебивая друг-друга, потянулись к нему руки мужчин, здороваться.

Экспансивный Рощин даже полез обниматься, но столик закачался, и все кинулись спасать стаканы и чашки.

— Ну как там? — зачастил Володька, редактор «Единства». —

Я на следующий день приехал, как договаривались, репортаж делать, а ты куда-то укатил, говорят.

— Тебя же встретили? Материал дали? Значит, все в порядке! Мог бы и дождаться меня, переночевать ночку.

— Да мне предлагали! Хотели даже переодеть и оружие выдать!

— Чего ж ты не воспользовался случаем? Журналист меняет профессию — модная тема! — хохотнул Иванов, глядя на смутившегося Рощина и ехидно подмигнувшего ему Сворака.

— Да я хотел, но мне в «Советскую Латвию» статью надо было сдавать утром, кровь из носу, — заоправдывался возбужденно Володя.

— А что это они всех подряд берут и всем ружжа дают? — поставила вопрос ребром Наталья.

— Им, Наташа, сейчас любой, кто не побоялся к базе подойти, нужен! — рассудил Сворак. — Правильно, Валера?

— Правильно, Петрович, правильно! Думаешь, так уж им необходимы были наши люди в первые дни? Окопы рыть, с автоматами красоваться. Омоновцы сейчас изгои в глазах половины населения и в глазах начальства московского — тоже. Вот и надо было всем показать, что для одних они изгои, а для других — гой еси, добры молодцы! Так что каждый боец, перешедший сейчас в ОМОН из латвийской милиции, каждый доброволец, каждый русский человек, выразивший ОМОНу моральную поддержку, — на вес золота. Иначе им — труба. И нам, кстати, тоже! Так что все просто. Да и потом, у нас ведь война идет, ребята. И кровь уже пролилась. Латыши своим боевикам оружие раздают не стесняясь, чего же омоновцам-то от поддержки отказываться? Без народной поддержки ОМОН — ничто. И для Москвы, и для латышей. Какие бы они там крутые ни были, но без поддержки народа омоновцам не стать народными защитниками. Главное, что там есть люди, которые эту азбуку революции понимают. Вот что главное. А остальное — лирика и «Военные приключения» для юношества.

— А ты-то там что пропадал? — язвительно спросил обиженный Рощин.

— А я, Володя, как раз этим и занимался — крепил связь ОМОНа с народом. Связь с армией нам сегодня крепить, увы, бесполезно. Армия вон в пикетах смиренно стоит с плакатами, вместо того чтобы разогнать всю эту шоблу. воблу, начиная с Москвы и до самых до окраин! Дайте ж выпить-то, у меня день рождения четыре дня как прошел, а я все ни в одном глазу!

— За это ты не бойся! — заблестел глазами Петрович. — У меня уже неделю в сейфе резерв ставки прячется. Пошли в

контору, доложишься шефу и начнем!

— Так вроде еще рабочий день! Георгиевич не любит, сами знаете.

— Да он на час придет и снова в парламент — заседать отправляется. Пойдем-пойдем!

И точно, Алексеев уже запирал свой кабинет, когда в приемной объявился запыхавшийся Валерий Алексеевич.

— Ну что, защитили ОМОН? — тут же подначил шеф.

— Так получилось, Анатолий Георгиевич, — замялся Иванов.

— Не смущайтесь. Все было правильно. Подзадержались, правда, немного. Регина говорит, что вас даже в звании повысили, да? — Внимательные усталые глаза Алексеева лукаво блеснули и снова погасли.

— Да это Чехов пошутил над девочками, а они уже и разболтали, — досадливо отмахнулся Иванов.

— А вы не отмахивайтесь так, с ходу. Нам кое-что обдумать надо бы по этому поводу.

Хорошо. Вернулись, и это хорошо. Я в Верховный Совет, а вы отдыхайте, пожалуй, после всех приключений, завтра поговорим обо всем.

Алексеев отдал секретарше ключ от кабинета и вместе с Ивановым пошел по длинному коридору к выходу. На пороге, у лестницы, остановился и протянул молодому человеку руку. Пожал чуть крепче обычного и вдруг добавил на прощанье неожиданную новость:

— Пока вы там «воевали», Республиканский совет утвердил вас моим заместителем по идеологической работе. Так что дел у вас только прибавится.

Валерий Павлович забыл в суматохе последних дней, что декабрьский съезд утвердил новую структуру Движения. Теперь Алексеев стал председателем Республиканского Совета и единоличным лидером Интерфронта. Президиум РС, членом которого был и Иванов, упразднили, а вместо членов Президиума ввели заместителей председателя Республиканского совета по разным вопросам. Собственно, Иванов чем занимался, тем и будет заниматься, но его кандидатуру еще должен был утвердить заново Республиканский совет. Утвердил, значит. Ну и ладно.

— Сегодня отдыхайте, а с завтрашнего дня придется без выходных. Сворак вам объяснит все по повестке дня. — Алексеев с улыбкой кивнул на приоткрытую дверь кабинета, в котором вместе работали Иванов и Петрович. Из кабинета послышался тонкий звон бокалов, приглушенный гул голосов. — День рождения пропущенный? Кто там у вас?

— Только свои, — растерянно стал оправдываться Валерий

Алексеевич. — Да мы чисто символически!

— Ну, если только свои. Но в последний раз я это вижу в служебном помещении! — Тихий голос шефа внезапно приобрел стальной оттенок. Алексеев отвернулся и быстро стал спускаться по лестнице, раздраженно болтая портфелем с бумагами. А у Иванова, впервые после вечера 20-го, снова нестерпимо заныл зуб. Назавтра пришлось идти вырывать.

Но куда сильнее зубной боли ныло у Иванова сердце, едва только вспоминал он, то, о чем никто почти не знал, — о двадцати четырех часах, проведенных им на прошлой неделе *вне* базы ОМОНа.

— Татьяна Федоровна была женой моего близкого друга. Мы вместе служили на Кубе. Потом мой товарищ погиб при невыясненных обстоятельствах. Не суть важно, впрочем, про обстоятельства, но Таня долго не могла прийти в себя после смерти мужа. Это — важно. Мы не виделись с ней с того момента, как она улетела обратно в Союз. К счастью, ее легко уволили со службы, пошли навстречу в такой ситуации. Квартира у нее оставалась в Вильнюсе. Там и осела. Работала переводчицей, потом, когда началась перестройка, по просьбе старых знакомых стала помогать иногда интердвижению «Единство». Потом встретила случайно вас. Действительно случайно. Таня пожаловалась мне, что вы подозреваете ее в. некоей ангажированности по отношению к нашей службе. Зря. Она давно уже не в штате и если что и делает, то исключительно по собственной воле, просто как. как велит ей гражданский долг. Так же, как и вы, Валерий Алексеевич, не более и не менее того. Так что не выдумывайте себе нелепых подозрений.

Если когда и случится вам увидеть в Тане неординарные качества. аналитика, так скажем, так это просто отголоски старых профессиональных навыков. И все.

— Зачем вы мне это рассказываете, Александр Андреевич? Я — сам по себе, Татьяна Федоровна — сама по себе. Вы уж точно тут ни при чем. Непонятно совершенно, с какой стати Таня вообще сообщила вам о том, что мы встречаемся иногда. Сообщила ведь, правильно?

— Сообщила. Она долго не хотела меня видеть. Считала и, наверное, продолжает считать, что я косвенно виновен в гибели ее мужа. Не хотела принимать никакой помощи. Прошло четыре года с тех пор, как мы попрощались в аэропорту Варадеро. Теперь она нашла меня только из-за вас. Она решила почему-то, что вы непременно ввяжетесь в наши дела. Как я вижу, она была права. Все, о чем она меня просила, — попытаться уберечь теперь хотя бы вас.

— Я ни вас, ни Татьяну не просил о подобных услугах! Есть дело, и наши личные отношения никоим образом не могут влиять.

— Не могут. И, конечно, не будут. Потому я вам и рассказываю о том, о чем просила меня Татьяна.

— Вы что, хотите меня оскорбить?

— Наоборот. Я не могу не уважать человека, которого способна полюбить Татьяна Федоровна. Слишком хорошо я ее знаю для того, чтобы быть в состоянии оценить ее умение разбираться в людях. Просто, это упрощает наши с вами служебные взаимоотношения.

— А они существуют?

— Валерий Алексеевич. — Александр Андреевич!

— Послушайте, мы ведь не о том говорим.

— Не о том.

— Я не буду вас вербовать, в этом нет необходимости. Вы и так наш.

— А я не буду вас вербовать, вы все равно нам нужны в своем сегодняшнем качестве и все равно не откажете в любой помощи, если она будет нужна для дела.

— Да, не откажу.

— Где сейчас Татьяна Федоровна?

— Я вас провожу.

— Спасибо. Возьмите эту безделушку, я так понял, что это вы ее подарили Тане когда-то.

— Я никогда не забираю назад то, что подарил.

— Мне она тоже больше не нужна.

— Оставьте. Кто знает, когда и где нам придется передавать друг другу приветы? Может пригодиться. У меня есть второй, такой же точно. Видите? Может быть, когда-нибудь мне придется отослать его вам.

— Дешевый детектив.

— А вы думаете, дорогой детектив чем-то отличается от дешевого?

— Уже нет

Вот и замечательно. Пойдемте, она с утра ждет вас.

Хемингуэя начитался в юности.
«Прощай, оружие!» — хотелось мне сказать…
Какие романтические глупости
Жизнь предлагает нам всерьез переживать!
А если все же надо выбирать?
«Фиеста» наша в «маленьком Париже» —
Пародия на праздник и любовь.

От Риги до Валенсии не ближе,
Наш самогон их коньяку не жиже…
Быть может, чуть краснее наша кровь.
Холодные и скучные рижане —
На баррикадах нет, не парижане.
И наш роман военно-полевой
Проходит слякотной балтийскою зимой.
Кругом оружие. Зачем же я с тобой?
С кем попрощаться мне в промозглом январе?
С тобою? С Родиной? С Пэ-эМ-ом в кобуре?
Последний год счастливый на дворе —
Последний год страны в календаре.
Ты — женщина прощальных этих дней.
Привет, оружие! Прощай, Хемингуэй!

Таня дочитала стихотворение, набросанное Ивановым корявым почерком на бумажной салфетке. В пять минут и одну сигарету уложился Иванов, как на спор. Из динамиков, висящих в разных углах обшитого вагонкой подвала, уже который раз подряд пронзительно кричала солистка модной группы «Мираж»: «Музыка н-а-ас связала, тайною на-а-а-шей стала, всем уговорам твержу я в ответ, нас не разлучат — нет!» Таня зажала уши и попыталась сосредоточиться на тексте, поймать хотя бы размер, понять хотя бы, что он хотел ей сказать?

Валерий Алексеевич в одной простыне, как римский патриций в тоге, полулежал на деревянной скамье, свесив одну голую ногу в банном шлепанце на пол, согнув в колене другую; согнутая спина — на свернутом в подушку пальто, голова со встрепанными мокрыми волосами неудобно уперлась в стену. Он крепко спал.

Таня скинула с себя влажную простыню, обошла огромный деревянный стол, вместе со скамьями занимавший почти все небольшое помещение.

Налила себе коньяку в широкий стеклянный фужер до половины, отщипнула веточку винограда от огромной грозди, положила на тарелку, передвинула на другой конец стола. Потянулась к сумочке, висящей на вешалке в углу, мельком увидев себя — голую — в большом зеркале — зеркала тут были почти на каждой стене. Нашла с трудом новую пачку сигарет, распечатала, долго искала — куда бы выкинуть целлофан от пачки, не нашла, смяла в одной руке, другой прикурила сигарету. Снова обошла по кругу стол, села в ногах у Валерия Алексеевича, вспомнила наконец, где тут мусорник, — щелчком отправила

туда скрученные в шарик целлофан с серебряной бумажкой, оставшиеся от открытой пачки. Терпеть не могла, когда эти шарики бросают в пепельницу, а там они раскручиваются, начинают прилипать к огоньку сигареты.

Курила, отпивала глоточек из фужера и снова курила, не отрывая глаз от зеркала напротив, отражавшего пусть и утомленную бурной ночью, но все еще красивую, бесстыдно доступную в упругой, чуть возбужденной наготе — вполне еще молодую женщину.

Время как будто засбоило, перестало нестись вперед, перескакивало себе туда-обратно, как заевшая грампластинка. Да и кассета «Миража», которую гонял по кругу банщик, сидящий где-то в своей конурке, только усиливала это ощущение застывающего столетиями янтаря, в который попались неожиданно Таня с Ивановым и все никак не могли вырваться — голые, беззащитные, отделенные от толпы на улице лишь стенами подвала бани на улице Таллинас.

Здесь, в подвале, в отличие от верхних этажей находились шесть отдельных номеров с финскими банями. Все автономные — в каждом номере своя парилка, свой небольшой бассейн, душ, туалет и гостиная. Хозяин всего этого мимолетного рая — влюбленный в свой торс культурист, банщик Гена — был в дружбе с омоновцами. И потому самый большой и отдаленный — шестой — номер всегда оставлял для них, если вдруг позвонят, предупредят, что хотят погреть натруженные в борьбе с криминалом косточки. Так повелось давно, сейчас обстановка в городе изменилась кардинально, но Гена добро помнил и никогда еще омоновцам не отказывал.

Мурашов сам привез сюда Иванова с Татьяной, договорился с Геной на сутки, очень строго предупредил его, чтобы никто — ни директор бани, ни милиция, вообще никто не посмел бы даже постучаться в зарезервированную им сауну. А куда звонить в случае непредвиденных ситуаций, Гена и так знал — не первый раз уже Толик устраивал у него всякие любопытные встречи, о которых банщик молчал «как рыба об лед», потому что знал — иначе дружба с ОМОНом кончится так быстро и неприятно, как даже в самых страшных кошмарах не приснится.

Почувствовав внутри себя тихий звоночек подсознания, сообщавший, что Валерий Алексеевич сейчас проснется, Таня обвязалась большим банным полотенцем и стала готовиться к пробуждению. друга? Вскипятила воды в электрическом чайнике, засыпала в большую кружку молотого кофе на треть, залила кипятком. Помешала ложечкой всплывшие крупинки и накрыла кружку блюдцем — настаиваться. Улыбнулась разгромленному

столу, еше вчера с любовью и радостным предвкушением праздника накрывавшемуся в четыре руки из нескольких пакетов, наскоро заполненных на Матвеевском рынке нехитрыми и не очень дорогими деликатесами — Толик обо всем позаботился, вывезя их с базы в город «в увольнение», как все они шутили смущенно.

Но завтрак собрать еще было из чего.

Иванов, не пошевельнувшись, не прервав размеренного сонного дыхания, открыл глаза и тут же увидел перед собой тонкую, нежную, обнаженную женскую руку, водившую у него под носом кружкой с горячим черным кофе. Проснувшись окончательно, он плавно переменил позу — легко оторвался от служившего подушкой пальто, сладко потянулся, уселся чинно — с прямой спиной — на жесткой деревянной скамейке. Оглядел улыбающуюся Таню, благосклонно и важно кивнул ей в благодарность за кофе, перехватил кружку в свою руку и тут же другой рукой ловко сдернул с женщины махровое полотенце. Таня взвизгнула тихонько от неожиданности, ухватилась за пушистый край своего единственного наряда, но Иванов был непреклонен, тянул полотенце на себя до тех пор, пока оно не выскользнуло из слабых женских рук и не упало на пол.

Валерий Алексеевич медленно потягивал горячий и очень крепкий кофе, рассеянной улыбкой лаская глазами стоящую перед ним женщину. А она стояла дерзко выпрямившись, уперши руки в бедра, не пряча высокую упругую грудь, с победительной усмешкой на чуть приоткрытых чувственно изогнутых губах. Чем ниже опускался пристальный взгляд Валерия Алексеевича, тем шире и ироничней становилась улыбка Татьяны. Когда же взгляд его помутнел слегка, застыв на гладком, чуть выпуклом животе, на дрогнувших и чуть переступивших в волнении ножках, Таня и вовсе звонко расхохоталась.

— На себя посмотри, Поручик!

Иванов охнул, проследив направление взгляда лукавых синих глаз, грохнул чашку с кофе на стол, перехватил обеими руками вздыбившуюся на коленях простыню и резво выбежал из гостиной, получив вдогонку громкий шлепок по голой заднице.

А потом они завтракали чуть подвядшей, но все равно изумительно вкусной ветчиной с рынка, твердыми шариками домашнего масла, черным душистым караваем хуторской выпечки, так и не успевшим со вчера почерстветь, копченой маринованной курицей, изумительно упругим и нежным сыром, грушами и виноградом, черным кофе, боржомом и даже, несмотря на раннее (по часам) утро — коньяком, которого оставалось еще почти полбутылки.

Время исчезло в этом обшитом деревом подвальном гроте со своими переходами, водопадами, озерами и даже собственной преисподней парилки, нагретой, казалось, до состояния магмы. Следить за временем можно было только по часам, да и то с трудом, поскольку еще надо было вспоминать — шесть утра сейчас или шесть часов вечера?

Вчера выпито было много — и пара шампанского, и коньяку почти бутылка на двоих, но они не пьянели, только уходила, испарялась вместе с выпитым накопившаяся за последние два-три перестроечных года печаль — мрачная безысходность много знающих, к собственной грусти своей, людей. Сначала, впрочем, они поругались, даже поскандалили с битьем посуды и стуком кулака по столу, с багровой пощечиной на лице Иванова и до сих пор не совсем отошедшими следами тисков ивановских рук на запястьях и предплечьях удерживаемой им внезапно превратившейся в разъяренную кошку Татьяны.

Потом помирились, потом захмелели слегка и долго резвились, перебегая из душа в парилку, из парилки в бассейн и снова на полук — расслабляясь до изнеможения, не расставаясь ни на секунду, любя друг друга снова и снова, как только появлялось хоть чуточку сил. Не было для них никого в тот вечер, в прошедшую уже ночь; никого не осталось вокруг в сходящем с ума перестроечном мире. Не нужно было одеваться и раздеваться, смущаться и отворачиваться — первобытный, исступленно-чувственный, изначальный — без стыда и неловкости — мир овладел ими так же полно, как они овладели друг другом. А может быть, мир этот был совсем не изначальным, а наоборот. Последний вздох перед падением в тартарары, последний поцелуй среди обезумевшей, гибнущей Помпеи, в которой никому не было дела до соблюдения обычных приличий.

Сейчас, после двух-трех часов сна, после раннего завтрака, похожего в подвале сауны на поздний ужин, они уже не спешили насытиться друг другом. Покурили не спеша, погрелись в так и не остывшей еще парилке, упали с грохотом в прохладную воду бассейна, подняв облако брызг. И теперь уже медленно, почти через силу, почти по обязанности, как необходимый ритуал, бесконечно долго достигали Большого взрыва, который просто обязан был и наверняка породил новую вселенную.

Если бы только этой вселенной повезло родиться — сколько счастья было бы у Татьяны! Сколько гордости и радости, ответственности и сил — выдержать эту ответственность — появилось бы у Иванова. Но подождем загадывать, кто знает, как изменяется реальность, когда в ее физические законы вмешивается всесильное Провидение? Будем пока надеяться. Как

надеялись Валерий Алексеевич и Татьяна.

— Ты знаешь, что иногда у женщин рождаются дети?

— Догадываюсь. Ты *хочешь* ребенка?

— У меня не было детей. Мы не успели. Потом — какие дети? Все стало рушиться, и не было любви. А сейчас? А сейчас… Сейчас все рушится еще быстрее и все уже почти непоправимо. Но сейчас я люблю. И может быть, может быть, я научусь молиться, и нам повезет, и мы выживем. И может быть, даже коньяк, выпитый ночью, не помешает чуду. — Таня грустно улыбнулась и повернулась к Валерию Алексеевичу лицом. Они оторвались друг от друга с облегченным сожалением.

— Пойдем выпьем еще? — Таня вышла из бассейна и, не дожидаясь Иванова, мокрая, гладко блестящая, надломленная, бессильная и все равно безумно красивая, быстро прошла в сторону гостиной.

Иванов разлил коньяк по дешевым стеклянным фужерам.

— Ты знаешь, когда-то давно, в той, довоенной, жизни, я алкал любви. Я мечтал о ней, я придумывал себе любовь. И знал про себя, что по-настоящему любить — не способен.

Но именно тогда я придумал тост. Я его очень редко произношу. Правда.

Давай выпьем за то, чтобы мы любили тех, кто нас любит! А те, кого мы любим, — любили нас! Ведь этого в жизни почти никогда не бывает. Так выпьем за то, чтобы это случилось с нами!

Таня одним легким движением переместилась поближе к Иванову, обняла его и поцеловала, держа руку с фужером на отлете, как крыло перед взлетом.

— Не упорхни! — прошептал он одними губами.

— Никогда! — Стекло звякнуло тихонько, соединившись, и они медленно, глядя друг на друга, выпили до дна. — Курить хочу… — Таня соскользнула с колен Иванова, взяла сигарету себе, прикурила вторую любимому. — Давай покурим, оденемся и поговорим, пока я совсем не опьянела.

— Поговорим, Танюша. — грустно и бархатно проговорил помрачневший Иванов и потянулся к полотенцу — обтереться, за брюками — одеваться, за бутылкой — еще налить.

Вспомнили про белье, застыдились, отвернулись друг от друга, разбирая каждый свою кучку тряпок, стараясь не смотреть в зеркала, отражающие со всех сторон комическую картину одевания. Иванов вдруг хмыкнул, рассмеялся, обернулся на Таню, она уже давно, оказалось, еле сдерживалась, прыскала в ладошку с зажатым в ней кружевным лифчиком, потешалась над собой, над ним и над всем нелепым антуражем вокруг.

— Милая картина, — залилась она неудержимо, —

публичный дом в позднесоветском стиле. Не то комсомольский актив гулял, не то бандитская малина с девками и кокаином. Не могу больше! Застегни, пожалуйста… — Усилием воли Татьяна сдержала начинающуюся истерику. И вовремя — колонки, не умолкавшие прежде ни на минуту, вдруг захлебнулись и каким-то чудом замолчали вовсе.

Привели себя в порядок, прибрали разоренную гостиную, столовую, или как там еще ее назвать? Иванов сам заварил кипятком молотый кофе в кружках — «чупинь-кафия» — по-латышски. Посидели молча, подождали, пока настоится черный глянец, пока осядут крупинки. Поделились последним кружочком лимона. Разрезал его Валерий Алексеевич пополам, бросил в каждую кружку по желтому полумесяцу. Остатки коньяка тоже пошли в дело. И непременно сигареты. Одна за одной — одну под кофе, одну под коньяк и снова повторить — и с этим воспоминанием жить. Спешить было некуда, Толик приедет за ними только к обеду. И делать уже было нечего. Все, что могли сказать тела, было сказано. А вот разговора по душам не получалось почему-то, впервые за всю историю их отношений.

— Дурак ты, Валера!

— Благодарю. Я тоже тебя люблю.

— Ты что, ревнуешь? На самом деле ревнуешь?

— Уже нет Я почему-то думал, что Питон — твой бывший муж.

— Ну конечно. А если бы даже и так? Что изменилось бы? Ты женат. И вряд ли ты бросишь семью, особенно в такое время.

— Но ты свободна?

— Это я свободна? У меня есть ты, я теперь девушка со своим кавалером. Давно забытое чувство, знаешь ли. Или ты уже отказываешься быть моим. любовником? — Непросто далось женщине последнее слово. И Валерий Алексеевич передернул уголком губ.

— Та-ню-ша! У меня есть еще одна теория касательно любви. Тоже довольно грустная, как и тост, недавно мною с таким пьяным энтузиазмом провозглашенный.

— Любопытно.

— Правда? Так вот, мало просто найти свою единственную половинку в бесконечном мире. Надо еще умудриться совпасть с ней по возрасту или, что, впрочем, не совсем то же самое, зрелости души.

К тому же для одних половинок единение в целое возможно только в юности, для других — в старости, а иным предстоит пройти испытание на прочность огромной разностию лет. Вот потому, моя единственная, моя славная маленькая девочка,

половинок на всех и не хватает. А вовсе не из-за статистики. Ты ведь понимаешь, что «совпасть по возрасту» — это вовсе не означает — по количеству прожитых лет. Да и как сосчитать этот возраст? Один дожил до ста лет, а прожил лишь десяток. Другой за четверть века умудрился прожить вечность. Я банальности говорю, знаю. Потерпи еще минуту!

— У нас много времени, Валерик, теперь у нас просто тьма. времени.

— Ну, тьма так тьма. Кто это сказал: «Я люблю женщин с прошлым и мужчин с будущим»?

— «Я люблю мужчин с будущим… и женщин с прошлым» — Оскар Уайльд.

— Ну да, конечно, кто же еще?.. Я вот, наоборот, люблю женщин с будущим… И мужчин с прошлым, у которых что-то есть за душой.

— Значит, тебе мешает мое прошлое, которого, ты считаешь, у меня слишком много? Да у меня этого прошлого — только ты — сопливый студент и мой несчастный погибший муж. Даже детей у меня в этом прошлом нет Учеба, учеба, учеба, первобытные войны в Африке, за которые я получила свою синюю «Волгу» и на которой, кстати, езжу в Вильнюсе до сих пор. купринская тоска гарнизона в Линксмакальнисе, потом вдруг Куба, «наш человек в Гаване», погубивший мужа, Союз, похороны и после нескольких лет полного одиночества снова ты. *Это* прошлое тебе мешает во мне?

— Таня, сядь, пожалуйста. Ты никуда сейчас не можешь идти. Ты должна дождаться машину. И я тебя не отпущу. Ты хоть кричи — Гена даже пальцем не шевельнет, пока я не скажу или Мурашов не приедет. Ты же все это проходила не раз, правда? Ты же полгода отсидела в вонючей африканской тюрьме, тебя же еле откачали потом. Тебя же чуть в расход не списали — я все теперь знаю, Таня. Я теперь все понимаю про твою «слабость», изнеженность, чувствительную тонкость и страсть к тонким духам. Там так воняло, да?

— Ох, е… На этот раз ты прокололась, Татьяна Федоровна! Таким ударом мужика убить можно. А ты ведь только приласкала… ты ведь любишь меня, правда?

— Прости, прости, пожалуйста, прости!

— Да какие твои годы, Таня? Да тебе ведь вечные шестнадцать лет, девчонка ты романтическая и героическая. Поломала себе жизнь, мне поломать боишься? О чем ты просила Чехова? Сопли мне вытирать? Мне же с ним работать надо было, как я теперь с ним буду работать? Я разве смогу теперь его использовать? Как он использует — без тени сожаления, кого

угодно… Я ведь его теперь тронуть не смогу… Я ведь теперь с ним благородным должен быть!

— Дурачок, что ты о себе думаешь? Ты — использовать Питона? Не смеши меня.

— Это ты хоть и умная, но дура. Я не собирался играть с ним в ваши игры. Я простой чиновник от Интерфронта. Но за мной люди и правда. И за них я могу тронуть кого угодно, если потребуется. И он сам мне поможет себя использовать, потому что это в наших общих интересах, а не потому, что я решил посоревноваться с резидентом конторы, или ГРУ, или бог знает кого еще — в ОМОНе. Я тихий, мирный, трусливый маленький человек. Но у меня есть свое дело и никто, никакая женщина, даже самая любимая, не должна сметь вмешиваться в мои дела. Постараться уберечь меня от выполнения моих обязанностей по службе — это такая дурь, которую можно было бы ожидать от обыкновенной клуши, а не от офицера действующего резерва, пусть и в юбке!

Александр Андреевич умный человек. И только потому он сделал хорошую мину при вашей с ним плохой игре и весьма прозрачно дал мне понять, что и не думал даже принимать во внимание твои глупые бабские просьбы. Но я ведь тоже не последний идиот, хоть и не играл никогда в ваши игры. Я ведь понимаю, что он просто меня просчитал и успокоил. А сам все равно взял на себя ношу, которой ты его, меня не спрося, обязала. А как я буду чувствовать себя при этом, ты подумала?

— Прости меня, Валерик. Я хотела как лучше. Я давно уже всего боюсь. У меня мания преследования после Кубы. Преследования близких мне людей. Потому я и жила одна все эти годы после смерти мужа. Без подруг, без любовников, без собаки и кошки. Я за все это время ни разу не съездила даже к родителям и не пустила их к себе. Такие, как ты говоришь, дела. Такие дела, мой славный.

— Господи, боже мой! — тихо простонал Иванов, растирая лицо ладонями. — Я ведь всего-навсего журналист, да что там, просто школьный учитель литературы. Я ведь не рвался ни в Интерфронт, ни в ОМОН, я вообще никуда не рвался. Я просто жил, читал книги, писал в стол стишки, ссорился с женой, баловал дочь, пил водку с друзьями. Кстати, о друзьях. Ты сказала как-то, что Толик не простой лейтенант. Но ведь ты его всего два раза в жизни видела? Вчера и когда он нас к себе отвозил перед Новым годом. Или не только? Так что?

— А то, что я видела твоего Толика в Москве, когда увольнялась со службы. Он и тогда уже был лейтенант, только не милиции. А теперь вот, пять лет почти прошло, а он оказывается,

только в ОМОНе офицерское звание получил, ай бяда-бяда, — передразнила несмело Таня Иванова.

— Пять лет назад он только-только приехал в Ригу, женившись на Ольге, и Светочка у него здесь родилась, и вообще он был до ОМОНа старшиной вневедомственной охраны. Как будто. Да какая мне разница, в конце-то концов! Не мог никто запланировать тогда, что я стану одним из заместителей лидера Интерфронта, что ОМОН сформируют, что он не станет на сторону латышей, в конце концов! Какая ерунда, кто мог все это предвидеть? Все случайность. Все! Или мы с тобой не случайно встретились в Каунасе, в госпитале, девять лет назад? Ну ведь чушь собачья!

— С точки зрения планирования — конечно, чушь. А в остальном просто «Пути небесные». Ах да, ты же, конечно, не читал Шмелева… Когда-нибудь издадут и в России — прочтешь. Не забивай себе голову, милый. Не надо! Мир тесен — хуже коммунальной квартиры у Ильфа с Петровым. Старая для тебя. Вот ты и бунтуешь, и правильно делаешь. Отсутствие «материнского комплекса» — это вовсе не то, чего должен стыдиться мужчина.

— Это что еще за хрень? Тоже мне матушка нашлась…

— Девочки быстрее развиваются и больше успевают, в молодости, конечно. Тебе ли не знать, педагог?

— Запутала ты меня вконец, Татьяна! Я, наверное, люблю тебя. Настолько, насколько я вообще умею любить. Знаешь, недавно к нам, на Смилшу, вдруг один интересный мужик приехал — русский из Зеравша-на. Это река такая в горах Узбекистана… ну и поселок там есть, комбинат крупный золотодобывающий или обогатительный, я не понял толком.

— «Зеравшан» на фарси — «распыляющий золото», кажется…

— Да ну? У нас, кстати, примерно в тех же краях, только с туркменской стороны хребта, застава была. Ну вот, приехал к нам с этого комбината мужик. Интересовался Интерфронтом, опытом работы, рассказывал о ситуации в Узбекистане. Подшивки «Единства» собрал все до единого номера. Я ему еще и ваших, литовских, газет дал — Интердвижения, конечно, что нашлось. А он в благодарность начал нам будущее наше предсказывать. И даже рассказывать прошлое. Интересно так, очень многое совпадало, как будто он по книге читал. Я сначала в этом представлении не участвовал, он все больше Сворака да Наталью с Рощиным обрабатывал. Но по-доброму. Правда, правда, не так, как Чумак с Кашпировским. А я потом пошел его на вокзал проводить, и он мне вдруг говорит: «Мы с вами очень похожи. Мы оба Водолеи, но не это главное, у нас и судьбы похожи. А главное, вы постарайтесь привыкнуть, что не дано нам с вами любить, и не

обижайтесь, я ведь такой же. Мы ищем любви всю жизнь и будем искать, но нет у нас этого дара. Мы не можем любить беззаветно, вопреки всему. Для нас слишком важны мелочи — как ест, как говорит, как одевается, какие книги читает, как пахнет женщина.

Мы никогда не найдем идеал и до конца жизни будем любовь искать, если не смиримся и не поймем, что нет у нас этого дара. Я предупредить вас хочу, раз уж мы встретились, не переживайте так, не ищите безумного чувства. Довольствуйтесь тем, что есть. Зато, зато у нас с вами есть другой дар.»

Я, конечно, спросил — какой, а ответа почему-то не запомнил, можешь себе представить?

Все помню: как он выглядел, как зовут его, Алексей Иванович его зовут, а вот какой дар есть у меня — не запомнил! Фантастика! И уже перед вагоном, уезжая, он мне почему-то сказал: «Будут трудные времена, нужна вам лично будет помощь материальная — только напишите, я помогу. Лично вам! Не стесняйтесь!» Так сказал, как будто все золото Зеравшана — его. Вот У меня и адрес сохранился где-то. Я сначала думал — бред какой-то, выеживается мужик, впечатление производит. А потом понял, что нет, не нужно это ему, уж больно он был уверенный какой-то в себе и удачливый — сразу видно. Всплыло вот почему-то! — почти виновато сказал Валерий Алексеевич и опустил голову.

— Непростой мужичок — это ты верно почувствовал, — чему-то своему, больному, нахмурилась вдруг Татьяна. — У нас выпить больше ничего нет? Женский алкоголизм самый страшный, я знаю. Но ужасно хочется напиться.

— Бальзам есть, только он крепкий — Сорок пять градусов!

— Давай, Поручик, завьем горе веревочкой.

— Ну, давай, если хочешь.

Иванов порылся в сумке, вытащил глиняный кушинчик, маленький, граммов на триста, обстучал ножом сургуч, раскачал пальцами и выдернул пробку. Таня подставила широкие коньячные фужеры, больше нечего было, разломила шоколадку «Ригонда». Валерий Алексеевич покачал головой неодобрительно, но разлил пополам сразу всю бутылочку.

— За что пьем?

— За то, что ты, не умея любить, все же ищешь любовь и находишь!

— Таня, у меня дочь-первоклассница. Алла тоже никогда мне не сделала ничего плохого. Она хорошая мать, она по-своему заботится обо мне, она преданный человек.

— Я разве об этом, Валера?

— Я — об этом! Я не знаю тебя толком. Мы встречались с

тобою на день, на ночь — не больше пяти раз, и лишь девять лет назад — на неделю. Я не знаю, что ты любишь готовить на обед. Я не знаю, какие ты носишь халаты, что ты читаешь, как ты болеешь. Даже как ты сердишься я увидел сегодня в первый раз! Я знаю каждую клеточку твоего тела, но я не знаю больше почти ничего. Да и то самое важное, что я узнал, я узнал от Питона и не знаю, правда ли это вообще.

— Александр Андреевич очень порядочный человек. Это он считает, что я виню его в смерти мужа, но на самом деле это он для себя и про себя выдумал, потому что себя винит в том, что не уберег Олега. Ведь это он был его начальником, а не наоборот. А я отказывалась видеть Чехова и помощь принимать только потому, что боялась за него так же, как боюсь теперь за всех близких мне людей. У меня мания, я тебе уже говорила. Я психически больная, я полоумная, Валерочка, и ты абсолютно прав, когда.

— Когда, что?

— Когда не хочешь продолжать наши отношения. — Татьяна залпом выпила бальзам, поперхнулась, отхлебнула холодный горький кофе и заплакала.

— Не надо! Не могу видеть, как женщины плачут. Не могу. Перестань. Я рядом. Я еще никуда не ушел. Прекрати.

— Я исчезну из твоей жизни. Только, пожалуйста, береги себя. Так мне будет немного легче.

— Танюша, да трусливее меня только заяц, да и то не всегда! Я же всего боюсь, я же никогда на рожон не полезу, ты просто не знаешь! Знала бы ты, какой я трус, так даже не подошла бы ко мне никогда!

— Хоть ты и Иванов-Седьмой, а дурак! — Таня утерла слезы, глубоко вздохнула и посмотрела на часы. — У нас есть еще четыре часа на сон. Я больше не могу. Давай поспим хоть немного.

Иванов молча встал, расстелил свое пальто на деревянной скамейке, дубленку — маленькую и элегантную — свернул и положил Тане под голову. Поцеловал, наклонившись, терпкие и липкие от бальзама губы и сел, нахохлившись, напротив, опустив голову на стол, на сложенные ученически прилежно руки. Когда через несколько минут он поднял голову, Таня уже спала. Иванов выпил оставшийся бальзам и закурил, беззвучно вздыхая.

Питон много еще чего рассказал об этой маленькой женщине такого, что не могло не восхищать, что не могло не заставить сжаться сердце. Рассказывая это, Чехов был уверен, что больше никто и никогда не узнает содержание этого их непростого разговора. Майор умел разбираться в людях.

У Питона хватало дел, ему вовсе не было нужды самому поддерживать отношения с Ивановым, по крайней мере пока. Возможно, потом Иванов мог пригодиться в новом качестве — людьми в наше время не разбрасываются. Держать в запасе более-менее опытного политика, способного обучаться и идти дальше, никогда не мешало. Но пока что вполне достаточно лейтенанта Мурашова для этих контактов. Татьяна, конечно, влезла в разработку некстати, но это уже дело личной чести. Выполнять ее глупую просьбу он не собирался, но и безразличными, только деловыми, отношения с Ивановым теперь быть не могли. Питон без лишних сантиментов принял эту вводную к сведению и переключился на более насущные проблемы. Аналитическая группа отряда, старшим инспектором которой был майор Чехов, занималась сбором и анализом оперативной информации об общественно-политической ситуации в республике и об обстановке внутри отряда. Ежемесячно такую аналитическую справку Питон отправлял в Москву. Этим он и занялся, поручив Иванова с Татьяной попечению лейтенанта.

А Мурашов на следующий день подъехал снова на Таллинас, поболтал полчасика с Геной-банщиком, попил чаю, покурил, поглядывая на часы. Ровно в 14.00 он подошел к знакомой двери в конце полутемного коридора и размеренно постучал в дверь: «Карета подана!»

Дверь оказалась не заперта, Толя тихонечко ее приоткрыл и увидел мирно сидящих за столом с «боржоми» Иванова и Татьяну Федоровну. Оба как будто всю ночь доклад писали к очередному съезду. Женщина тщательно причесана и подкрашена, Валерка, как обычно, в костюме и при галстуке.

Татьяну они отвезли на вокзал, а сами поехали сначала на Илукстес к Мурашову, проведать Ольгу со Светочкой, а потом на Русова, успокоить Аллу, передать ей денег и отпросить Иванова еще на пару дней на базу. «Рано еще ему возвращаться на Смилшу. Пусть потрется подольше с оружием, пусть снова к форме привыкнет, помельтешит среди ребят, кто знает, что ждет нас еще впереди и где еще снова придется с нуля начинать движение, подобное Интерфронту?» — думал Толик. Иванов же с горькой усмешкой смотрел в грязное лобовое стекло на знакомые серые рижские пейзажи, сквозь которые резво проносил их форсированный «жигуленок»: «Надо еще побыть на базе. Среди вновь прибывших в ОМОН ребят много горячих голов, не понимающих толком, за что и почему они борются. Нет у них цельной, непротиворечивой картины мира среди хаоса внутри и вовне — надо помочь им обрести почву под ногами не в отчаянии и ненависти, не в островке привычных ценностей, оставшихся

пока что на базе ОМОНа, а в пути, по которому многим идти еще годами — к цели, которая может оказаться недостижима. при нашей жизни».

Глава 8

— И что же, Валерий Алексеевич, ты так и не спросил у Татьяны, зачем же она-то ввязалась в литовский этот Интерфронт, или как его там? С тобой понятно — мировоззрение, сформировавшееся на границах великой державы, впитанное с молоком матери, постоянное поддерживаемое средой, в которой все «свои» и думают так же и поступают одинаково, а «чужие» — они всегда по другую сторону фронта. Не зря же у вас «фронты» с обеих сторон и баррикады посередине, пусть и потешные. Символика — дело не шуточное. Но я давно хотел понять, Татьяне это зачем? Она, в моем представлении, довольно цинично должна была относиться к жизни вообще, и уж тем более к вашим любимым игрушкам, ты уж прости — «Родина, Присяга, честь, советский народ.».

— Ты, Тимофей Иваныч, забыл еще про одну игрушку — «справедливость». Ею на Руси уж сколько веков в бирюльки играют — все пытаются вытащить куколку за кончик из хаоса предлагаемых миром ценностей, да только как ни потянут — не могут не задеть других игрушек, сваленных в кучку, и тогда такое начинается. — Иванов чиркнул зажигалкой, резко взмахнул рукой, щелкнув закрывшейся на лету крышкой, стал вертеть машинально в руке приятно тяжелый и гладкий кусочек металла. Перехватил мой взгляд и сказал добродушно: — Я знаю, знаю — навязчивые состояния — один из признаков невроза, а то и шизофрении. Да только если и было у меня раздвоение личности, так только в тот десяток с лишком лет, что прошли между моим возвращением в Латвию в 92-м году и недавним возвращением в Россию. А вот до и после — ничего подобного. Самое шизофреническое состояние — это когда ты — русский, сидишь в фашистской Латвии и даже пытаешься как-то жить, что-то такое бессмысленное делать в частной жизни, в параллельном латышскому русском мире, а в России тем временем творится такое, чему ты помешать не в силах, а главное, почти никто из россиян того проклятого ельцинского безвременья *не хочет,* чтобы ты что-то делал, чем-то помог. Более того, из России всеми силами помогают твоим врагам в Латвии и даже больше — содержат и укрепляют нацистский режим, сами его создают, совершенствуют, пестуют и финансируют. Все это полная фигня, Иваныч, насчет антлантистов там или западноевропейцев, которые Латвией командуют. Ну да, все ключевые посты были у западных латышей — канадцев, американцев, англичан… Все — от президента до начальника местного КГБ (Бюро по защите

Сатверсме) — генерала английской разведки по совместительству. Но ведь не они, на местах — в Латвии той же — эту ситуацию создали! Московская, ельцинская камарилья пошла куда *дальше* ограниченных планов своих кукловодов! Куда дальше и по собственной воле! Кукловоды говорят: сделайте шаг! А «семья» с троюродными племянниками из «чикагских», «лондонских» и «тель-авивских» мальчиков московского происхождения — вместо шага сгинается в три погибели да ка-а-к сиганет тройным прыжком прямо в лужу!

— Ты, Валера, все же выбирай выражения! — Даже я, человек безразличный к политике и всяким национальным вопросам, не выдержал и вскипел. — Что валишь все в одну кучу для красного словца?

Иванов иронически посмотрел на меня, щурясь от дыма своей же сигареты.

— А чего ты, сосед, взбеленился тогда, если я просто чушь мелю — поток сознания репатрианта? Я ведь не по программе переселения соотечественников домой приехал, а за свой собственный счет. И из России я не уезжал, она сама от меня уехала. А когда мы в Тюмень вернулись — в благодатный сибирский край, — еще поддала, да так, что еле увернулись от родного сапожища, да и то не все.

Валерий Алексеевич хмыкнул, затушил, растерев в пыль, окурок о пепельницу и совершенно другим тоном продолжил:

— Ты про Таню спрашивал. Зачем она в Интердвижение вступила, зачем ей были все эти заморочки с нашим Интерфронтом и ОМОНом? Не из-за меня — дурака и не из-за старого друга Чехова, конечно. Нас она встретила случайно — судьба такая. Но я ее, поверь, никогда и не спросил даже — зачем, почему она — со своим-то аналитическим даром и профессиональным опытом — ввязалась в совершенно проигрышное по ее же убеждению дело? Не мог нормальный русский человек в то время поступить иначе. Русский человек, повидавший мир, принимавший, наравне с мужиками, присягу. Родившийся в Донецке, поживший на Западной Украине, а потом и в Литве. Объездивший полмира почти. Была бы она учительницей из Ярославля или библиотекаршей из Нижнего — тогда бы я сам удивился. А так… О чем спрашивать? Нужно ли интересоваться у матери, почему она своего ребенка защищает? Глупо как-то.

Я почему про учителок из Ярославля так уничижительно. была у меня одна такая знакомая в Риге. За два года до перестройки она в Ригу перебралась правдами и неправдами — приобщиться к «просвещенной и культурной западной латышской

цивилизации»… В Народный фронт вступила, на баррикады с триколором ходила, пирожками боевиков кормила. Она с женой моей первой в одной школе работала. Вся школа от директора — до пионервожатой в Интерфронте, а Галя на блузку значок красно-бело-красный нацепит — и ходит гордо, разглагольствует о свободе, потребной великому латышскому народу от гнусных русских варваров.

Латышского языка, насколько я знаю, она до сих пор, спустя двадцать лет, не выучила. Гражданства ей тоже не дали, и сколько раз ни пробовала натурализоваться — не смогла. Потом осталась без работы, как школу эту русскую закрыли. Голодала. Нищенствовала почти, но при этом умудрялась содержать любовника — бывшего ученика своего — на двадцать лет младше. И таких вот рванувших в Латвию самозабвенно бывших русских я, к сожалению, повидал. Немного их — процент-другой от силы было-то. Но для подавляющего большинства русских в Прибалтике, которые попали туда не по своей воле, оторванные от русской земли приказами коммунистической партии и советского правительства, эти два процента «добровольцев» всегда были даже не предателями, а просто — сумасшедшими дураками. Кто-то из них устроился, кто-то нищенствует, но все они до сих пор «бульшие латыши», чем курземские крестьяне. Это единственная поддержка рускоязычных официальных политических партий Латвии. От всяких там ЗаПЧЕЛ, ПНС до прочих, совсем уж микроскопических.

Ну и пользуются ими, конечно, «русскоязычные» по полной программе. Миф о том, что русские поддержали, дескать, независимость Латвии, да еще на одних баррикадах с латышами стояли, именно эти круги культивируют. Русскоязычные политики еврейского происхождения, русские, по своей воле еще в советское время сбежавшие в Ригу из России, да еще часть ассимилировавшихся за века старообрядцев, еще при Петре Первом осевших в Латгалии. Ничтожное число от русских в Латвии! Но все СМИ у них. Все русскоязычные политики — граждане ЛР — из них! Из Народного фронта они ловко перескочили в якобы «оппозицию» к «обманувшему» их местом у кормушки режиму. И, изображая защитников русского народа, стали тут же получать щедрую помощь от ельцинской России, да и европейские структуры их не обижали — те-то точно знали, кого пестуют. А выращивали они — «особенных», «латвийских русских Латвии», публично теперь заявляющих, что к России и к русскому народу в целом они никакого отношения не имеют и иметь не хотят, а путь их — в Европу!

Но ведь это — ничтожно малая доля русских в Латвии!

Ничтожно малая доля от тех русских, кто был против выхода Латвии из СССР, тех, кто поддерживал Интерфронт, тех, кто в первые же годы «независимости» сотнями тысяч, все бросив, уезжал обратно в Россию, пусть даже ельцинскую, лишь бы только не становиться людьми второго сорта в «демократической» Латвии. А остальные сотни тысяч русских ни при каких обстоятельствах не желали натурализоваться и получать синий паспорт гражданина ЛР — и это единственно возможная тогда и сейчас форма реального протеста. Но ведь эти сволочи внедряют понятие «русскоязычный» вместо «русский», чтобы еще раз наш народ разделить! Дескать, в России — русские, а в Латвии, Эстонии или Туркестане — русскоязычные, то есть не один, насильно разделенный народ, а что-то совсем другое, о чем и жалеть не след! А этот миф подлый о том, что русские поддержали независимость Прибалтики?! Это же для того, чтобы русские в России (многие из которых как раз и поддерживали *из России* Народные фронты) могли плюнуть на русских в Латвии и сказать: «Вы сами этого хотели, чего теперь жалуетесь и помощи просите?» Ведь эту подлость не только латвийские «СМ-сегодня», «ЧАС» или «Телеграф» тиражируют, но и российская пресса этот миф с другой стороны вовсю раздувает!..

Горько говорить об этом, но безразличие России к своим брошенным сыновьям и дочерям с каждым годом выращивает все больше равнодушных ассимилянтов и космополитов.

Ассимиляция идет столь стремительно не только из-за давления латышей, но и потому, что Россия слишком часто демонстративно пренебрегает русскими, оставленными ею в 91-м году за своими пределами.

Не могла Татьяна выбрать другой путь. Как не выбирало его подавляющее большинство русских в Прибалтике! Тем более что она многим могла пригодиться Интердвижению. А дальше все завертелось-закрутилось, и мы неожиданно встретились. Да только наша частная история — не главная здесь, потому что всю нашу жизнь тогда определяли не любовь и не личные проблемы, а наше «безнадежное», но необходимое дело — остаться человеком и сохранить свое достоинство тогда, когда миллионы людей в самой России предпочли сойти с ума, нежели трезво поразмыслить, кого же они себе сажают на шею и кормят.

Понимаешь, Тимофей Иваныч, я не к тому, что русский народ наш такой плохой в России. Я к тому, что больно мне за то, что мало кто вспомнил о двадцати пяти или тридцати (до сих пор точно сосчитать не могут!) миллионах русских людей, брошенных за границей. Я к тому, что больно мне за то, что миллионы русских людей увидели врага не в компартии, не в атеизме, не в

угнетении русских многонациональной советской империей в пользу «братьев наших меньших», а в самих себе! И, рьяно размахивая топором, принялись крушить государство и себя самих. Где ваучером махнет — улочка, где демократизация пройдет — переулочек. Все отдадим — ничего не жалко! Ради чего? Ради кого?

Мне тут все говорят — народ не виноват — его обманули! Народ был против! Однако как вместе с Ильичом пресловутое бревнышко на субботнике несли миллионы, так и в 90-е годы миллионы, оказывается, Ельцина у Белого дома с дрекольем от ГКЧП защищали. А теперь вдруг — раз — и опять опустела площадь у Белого дома. И оказывается, что никто-то Ельцина не поддерживал. Я помню, как Тюмень захлебывалась ненавистью, когда мы прилетели туда 1 сентября 91-го года. Я помню, как ликовали «демократы» на площадях. И не говорите мне, что этого не было.

И не к тому я это вспоминаю, что, мол, я самый умный был, а в России сплошь дураки сидели и сейчас сидят. Вернулся бы разве я на Родину, коли таким считал бы свой собственный народ? Но обидно мне и больно, что та самая «соображалка», которой земляк мой Задорнов все хвалится, по-прежнему у русских, у нас, в какую-то другую сторону работает. Рот раззявили и думают — все наверху само собой утрясется. Пока на местах, в собственном доме, в собственной деревне да райцентре Малые Тетюши народ не начнет своей головой думать да о себе сам заботиться — ничего не будет.

Покурили еще, кофе заварили. И тут Валерий Алексеевич снова выдал:

— Я понимаю, что банальности говорю, глупости порой, в запале, но ведь сколько в нас силы разрушительной накопилось, в русских, за века! Веками строили, самую большую страну в мире построили — целый космос! А потом устали строить — и давай разрушать — до основанья! И снова строить — и опять разрушать! Не позавидуешь Путину порою. Ведь если русских «националистов в законе» спустить с цепи — они же все опять разнесут в клочья, но только ничего не построят. А если русский народ опять, по советскому принципу, татарам, чеченцам, башкирам, якутам и всем остальным народностям — дай Бог им здоровья — подчинить? А если опять, как из русских сделали советских, сегодня россиян делать начать? Без роду и племени — новую политическую нацию породы «еди-нороссс»? Лучше?!! «Широк русский человек — я бы сузил!» Эх-х-х… А теперь узок стал русский человек — все турецкий ширпотреб по европейской моде с узкими плечиками на себя напялить пытается. Поговорить

серьезно не с кем… после смерти Махатмы Ганди! Потрындеть в ЖЖ — все мастера. Что-то реальное сделать, да хоть мусор подобрать за забором, да хоть перестать взятки ментам давать или наркопритон, собравшись с мужиками, самим разгромить — единицы. Да и эти единицы потом та же милиция посадит, а наркодилеров выпустит! С курением они бороться будут, конвенцию ВОЗ подписали. Да вы с наркоманией поборитесь сперва! Нет! Слишком большие деньги в руки плывут, нельзя отказаться. Садист, серийный убийца, маньяк получает пять-шесть лет! Российскому офицеру за то, что воевал, — сразу пятнадцать лет навешивают. Не понимаю.

Снова и снова скажу: Россия — лучшая в мире страна! Нигде так не живется, как в России! Только дурак этого не понимает и на европейский концлагерь санаторного типа заглядывается. Но и дерьма у нас полно. А я, пока еще не совсем старый и больной — хоть ты тресни, никому на хер здесь не нужен опять и ничего не могу сделать, кроме того, чтобы воздух сотрясать перед своим во всех отношениях приятным и интеллигентным соседом.

— «Пожалуйте, Валерий Алексеевич, департаментом управлять!» — этого, что ли, ждали? — не выдержал я и постарался уколоть побольнее.

— Да мог бы и покомандовать, коли надо, — не стал юлить Иванов. — Если уж больше некому, то готов! Уж наверное, я в программе переселения или в делах соотечественников, хотя бы, понимаю побольше, чем большинство московских чиновников, или боксер из Австралии, или граф из самого Парижу. Но я готов и попроще — просто порядок вокруг себя наводить, чем и занимаюсь, без особых претензий. Жалею, что я не инженер или архитектор, — просто бы строил, и все тут! А вот журналистов, телевизионных режиссеров или политических аналитиков отставных — никому не надо, своих перебор, аж тошнит. Может, и слава богу! Нельзя меня пока в люди выпускать — не перебесился еще после Латвии. А как перебешусь, так уж и помирать будет пора. Ну, зато под собственной березкой. Ты не смейся, Иваныч, мне на самом деле стыдно, что я вернулся в Россию и сижу тут практически без дела. Хоть бы в школу к детям, хоть куда пошел бы.

— Так кто мешает?

— Пробовал уже… — вздохнул Иванов. — Пока не очень-то хотят со мной связываться.

Все изменилось за два десятка лет. Все в России теперь другое. Ничего, обживусь еще малость, все равно без дела не останусь. Соскучился по работе для своей страны, понимаешь? Пусть даже просто какое-то свое маленькое дело, но чтоб налоги

в казну России отстегивать, а не так, как в Латвии, за каждый перечисленный ей сантим скрежетать зубами от ненависти, потому что на мои налоги она же меня и гнобит!

А! Пустой разговор! Надоело воздух сотрясать!

Иванов порылся в ящике стола, вытащил папку с распечатками и протянул мне одну из них.

— Я это написал, еще только перебираясь в Россию. Еще не была презентована Программа переселения соотечественников, но уже тогда было ясно, во что она превратится и почему.

Россия? Латвия? Европа?

Нет у нас другой Родины, кроме России

Валерий Иванов, Рига. 14.03.06 // 13:52

Когда мы говорим, о Европейском, союзе, у многих из нас тут. же всплывает, образ «свободной Европы», сформированный за многие годы, стараниями как русских «западников», так и непосредственно европейских пропагандистов и агитаторов. В этот, образ входят, туманные, но чрезвычайно привлекательные для обывателя понятия, такие как «демократия», «права человека», «культура», «благополучие», «высокий уровень жизни», «толерантность», «политкорректность» — и так далее, вплоть до «европейского ремонта».

Человеку свойственно искать идеалы, и верить в них. Человеку свойственно мечтать о рае на Земле и надеяться на лучшее. Человеку непонятно, для чего, почему до сих пор существуют, войны, и армии, военно-промышленный комплекс и границы. А также тюрьмы, смертная казнь, эксплуатация человека человеком, и эксплуатация народами народов.

Человеку также свойственно на подсознательном уровне вытеснять из памяти тяжелые воспоминания, да так, что со временем все неприятное совершенно стирается из памяти. Тем более что в любом обществе и государстве существует специальный идеологический аппарат, помогающий человеку забыть то, что было, и помнить о том, чего никогда не было.

Не прошло и десятка лет, как все забыли о том, что в толерантной и политкорректной Европе, в центре ее, европейские государства при помощи своего американского союзника уничтожили половину Сербии. Причем, в буквальном, смысле: ударами крылатых ракет, бомбардировками, экономической блокадой, сфабрикованными фальшивками, призванными внушить всему миру — православные сербы. — ЧУДОВИЩА!

Несколько лет. длились заседания Гаагского трибунала по делу Милошевича. За это время в застенках «самого демократического» трибунала на планете по официальной версии «покончили с собой» два высокопоставленных сербских лидера (оба должны были стать

важными свидетелями на процессе). Только что был казнен демократической Европой и сам Слободан Милошевич, вину которого так и не удалось доказать всему европейскому сообществу. Именно казнен. Поскольку неоказание медицинской помощи человеку, находящемуся в тюрьме, ничем иным назвать нельзя. Следствие зашло в тупик, но выход из тупика всегда находится. Чисто по-западному просвещенный подход: есть человек — есть проблема. Есть страна — есть проблема. Нет. Югославии, нет Милошевича, нет Ирака, нет Хусейна — нет проблемы. На какое-то время.

Но память у европейцев, да и у всего западного мира очень короткая. «Не было» ни Алжира, ни Вьетнама, ни Кореи, ни Фолклендских островов, ни Гренады. Не было и мировых войн, дважды начинавшихся в Европе и прокатывавшихся по всему миру. Не было колониальных войн, инквизиции, чумы, голода, и всегда стояла «тихая Варфоломеевская ночь» над благословенным континентом.

И все бы. ничего, да только «thouse russians»! И сербы… Проклятые ортодоксы, мешающие жить и забыть. Православный мир самим своим неистребимым существованием напоминает Европе и всей западной цивилизации о том, о чем они давно хотят забыть, и о том, что они давно уже переписывают в своей истории. Но как невыносимо сознавать, что еще не все источники уничтожены вместе с теми, кто хранит эти источники и эту память. О настоящей, преступной Европе. О Европе человеконенавистнической и хищнической, о Европе — источнике войн и неисчислимых бедствий. О Европе, отступившей сначала от Православия, а потом и вовсе от Христианства. О Европе, придумавшей расовую теорию неполноценности отдельных народов и ДО СИХ ПОР исповедующей ее.

Пресловутые двойные стандарты в отношении русских и сербов — это вовсе не ошибка, не сбой в «демократической машине» западного мира. Это многовековая ПРАКТИКА в отношении православных народов и государств. Это многовековая борьба за единоличное владычество над миром земным. А преступлений совершено столько, что страшно и подумать о Царствии Небесном и Суде Страшном.

Идеологический евроремонт производится тем не менее регулярно. И вот к этому-то «евроремонту» турецкие рабочие не допускаются. Это делается исключительно тонкими пальчиками лордов и высокими лбами утонченной европейской интеллигенции.

А мир Православный все кается и кается в своих грехах. Которых тоже немало, конечно. Но все чаще покаяние это не от души и не в том, в чем действительно должно покаяться перед

Богом… Все чаще это покаяние под пытками, все чаще это ОГОВОР себя и ближнего своего. Потому что иначе. Беслан. Иначе — взорванные многоэтажки, иначе — сотни и сотни заложников. Иначе — удушение миллионов экономической блокадой. И только до последнего, до войны открытой и явной не доходят «цивилизованные европейцы», потому что знают, что НЕЛЬЗЯ доводить врага до полного отчаяния. Иначе самим не будет спасения. Нет. Надо оставить ВЫХОД. Пусть какой-то, пусть иллюзорный, но ВЫХОД. Например, признать европейские «ценности» демократическими и человеколюбивыми. Европейские двойные стандарты — справедливыми. Ограбление — оказанием братской помощи. Не дай Бог ПОЙМУТ, что война не прекращалась, не дай Бог дойдет, что впереди все равно смерть, а двум смертям не бывать, одной не миновать!

Нет, мир не изменился со времен евангельских! И стояние за ВЕРУ остается ГЛАВНОЙ ареной борьбы на всемирном театре военных действий. Отсюда и значимость незыблемых ЦЕННОСТЕЙ смысла жизни, которые стоят в результате куда дороже ценностей материальных. Именно потому главное направление удара «европейской демократии» всегда было по душе человеческой. По тем, кто СПОСОБЕН сопротивляться. По тем, кто ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР СОПРОТИВЛЕНИЯ. Именно потому и погиб Слободан Милошевич в самом сердце «символа европейской СПРАВЕДЛИВОСТИ».

Такова Европа. Такой она была, такой остается. Как ни странно, четкие и ясные слова президента России Владимира Путина о СУТИ двойных стандартов Европы остаются не замеченными и не воспринятыми даже российскими чиновниками высокого ранга. Напомню в общих чертах основные президентские тезисы: вмешательство во внутренние дела России с помощью подкупа негосударственных организаций недопустимо. Недопустима манипуляция «двойными стандартами» при проведении выборов, где бы это ни было: на Украине, в Ираке или Афганистане. Недопустимо применение двойных стандартов по отношению к РАЗНЫМ народам: албанцам в Македонии или русским в Латвии. Недопустимы двойные стандарты при признании самопровозглашенных государств: Косово или Приднестровья, например. И знаменитое: террористов надо мочить в сортире. Независимо от того, где они находятся — в Грозном или в Лондоне. Этого МАЛО?

Многим кажется, что мало. Другим — что недопустимо много. При ЯСНОЙ определенности в ключевых вопросах, показывающих четкое понимание Путиным, главных проблем, противостояния Православной и Западной цивилизаций, при столь

же четкой и прозрачной православной традиции мирного существования с мусульманским миром, — но опять же в зримо очерченных рамках возможного и НЕВОЗМОЖНОГО на территории суверенного Российского православного государства, при всем этом тысячи и тысячи чиновников и целый сонм журналистов, политологов и пиарщиков делают, вид, что НЕ ПОНИМАЮТ, о чем. идет. речь. Ипоступают. абсолютно НАОБОРОТ. Поддерживают, двойные стандарты, западного мира по отношению к России, русским и Православию, а то и открыто выступают против России, Православия и национальных русских интересов. И вместе с тем. либо поддерживают, европейское стремление СТОЛКНУТЬ Россию и Православие с мусульманским, миром, либо ПРОВОЦИРУЮТ это столкновение как ожесточенными нападками на мусульманство, так и, напротив, ПОДЫГРЫВАНИЕМ мусульманским РАДИКАЛАМ в их стремлении к НЕСОРАЗМЕРНОМУ исторической ТРАДИЦИИ влиянию в России.

Отсюда и столь же ПРОТИВОРЕЧИВОЕ отношение высшего руководства России, воплощаемого сегодня президентом, и его администрацией, и среднего чиновного звена, включая политиков разного спектра, к проблеме репатриации на Родину русских, намеренно оставленных ельцинским режимом за пределами Российской Федерации.

Нас, конечно же, в первую очередь интересует частный вопрос положения русских в Латвии. Но именно эта, отнюдь не глобальная проблема человечества наиболее ЯРКО показывает, все противоречия между Россией и Европой, между Православной традицией и все более антихристианской, пока еще в основном протестантской, политикой ЕС и его лидера или нынешнего хозяина — англосаксонского мира. Тем более что история ВНОВЬ, в который уже раз за прошедшее тысячелетие, ОБОЗНАЧИЛА ГРАНИЦЫ физического противостояния между Востоком и Западом — ПОГРАНИЧНУЮ, не раз переходившую из рук в руки, территорию исконно славянской Прибалтики.

Позволю себе в очередной раз напомнить некоторым неосведомленным читателям, что ни в Латвии, ни в Эстонии не существует ни одного города, основанного эстонцами или латышами. Оставим в стороне пока историю Великого княжества Литовского. Или польско-литовского. Или русско-литовского — был и такой период в нашей общей с балтийскими славянами истории. Первые государственные образования на территории нынешних Латвии и Эстонии — это православные русские княжества. И первые города, основанные там же, — это столицы этих княжеств. И только ПОТОМ, в результате католической экспансии против «схизмы», против Православия, появляются на

этой земле города, основанные немцами. С точки зрения истории вплоть до XX века ни латыши, ни эстонцы не являлись самодостаточными нациями, способными влиять на историческое же противостояние Востока и Запада. И никто не может винить в этом онемеченных балтийских славян или угро-финнов. Тем более что немалая их часть при первой же возможности снова и снова переходила в Православие или в буквальном смысле слова бежала в глубинные территории России, спасаясь от ЕВРОПЫ, лицом которой в Прибалтике столь долгое время, вплоть до царствования Александра Третьего, оставались немецкие бароны.

Прибалтика — это лакмусовая бумажка состояния России. Ослабела — вырвали Прибалтику из рук. Окрепла — Прибалтика возвращалась. Вместе с тем КАЖДЫЙ РАЗ эти процессы сопровождались вынужденной репатриацией или прямой эвакуацией русского населения Прибалтики и немалого числа православных латышей в Россию.

Только в 1915 году в ходе Первой мировой войны, с территории сегодняшней Латвии были организованно эвакуированы на юг России, в соседние губернии, Санкт-Петербург и на Урал более сотни тысяч преимущественно русских рабочих и служащих из крупных городов. Наряду с этим, еще в начале войны, при занятии немцами области Курземе (Курляндской губернии), сотни тысяч беженцев, преимущественно латышских крестьян, устремились в центральные районы России, на Урал, Алтай и в Сибирь. Количество жителей Курземе сократилось с 812 тысяч человек в 1913 году до 245 тысяч человек в 1915 году. Население Риги с 520 тысяч человек в 1914 году уменьшилось до 185 тысяч в 1920. Всего же с 1914 по 1920 год численность населения Латвии сократилась почти на миллион человек (2 миллиона 493тысячи чел. в 1913 г. — 1 миллион 596 тысяч в 1920 г.). В 1920–1928 годах в буржуазную Латвию возвратились 236 тысяч беженцев, в Советской России остались около 250 тысяч латышей. (Все данные приведены по энциклопедии «Советская Латвия», Рига, 1985 г.).

В то же время в 1939–1941 годах и в 1944 году репатриация немцев (около 50 тысяч человек) и эмиграция значительного количества латышей (точные данные отсутствуют) в Западную Европу, США, Канаду и Австралию, вызванные Второй мировой войной, убедительно демонстрируют динамику миграционных процессов в зависимости от перехода пограничной территории в ту или иную сферу влияния.

Понятно, что после Второй мировой войны ценнейший (как мы в этом убеждаемся сегодня) человеческий ресурс был восполнен на территории Прибалтики ЗА СЧЕТ преимущественно РУССКОГО населения и без того обескровленной после войны России и ТОЛЬКО

к середине 70-х годов достиг уровня 1913 года.

Очередная волна миграции была вызвана выходом Латвии из состава Советского Союза. Более 700 тысяч неграждан Латвии, преимущественно русских по национальности, были поражены, в правах, и в период с 1991 по 1994 год более 250 тысяч из них проголосовали за независимость «ногами», вернувшись в Россию. Вернувшись вопреки воле и желанию тогдашней российской власти, на свой страх и риск; многим, пришлось оставить все свое имущество и квартиры, в лучшем, случае распродав их за бесценок.

В отличие от 1915 года никакой организованной эвакуации не было. Не вывозились заводы, имущество. Главное, на произвол судьбы брошены были ЛЮДИ. Те из них, кто не смог вернуться в Россию сразу же (а объективных обстоятельств, способствовавших этому, не перечесть), вот уже 15 лет демонстрируют свою ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ и ПРИВЕРЖЕННОСТЬ России ОТКАЗОМ принимать латвийское гражданство на позорных и капитулянтских условиях натурализации, прекрасно понимая, что получение ими гражданства ЛР НАВСЕГДА лишит их возможности вернуться в Россию или получить российское гражданство, оставаясь в Латвии. Почти полмиллиона неграждан, остающихся сегодня в одной только Латвии, — это потенциал ОРГАНИЗОВАННОЙ РЕПАТРИАЦИИ, равно как и 40 тысяч, граждан РФ, постоянно проживающих там же.

Говорить о том, что кто хотел, те все уже переехали в Россию, — значит лукавить, поскольку никакой ОРГАНИЗОВАННОЙ РЕПАТРИАЦИИ за прошедшие 15 лет. НЕ БЫЛО. Более того, с упорством, достойным, лучшего применения, все эти годы и русскоязычные СМИ Латвии (СМИ ГРАЖДАНЛР!), и российские политики и чиновники последовательно подвергали сомнению саму идею необходимости возвращения русских в Россию.

С одной стороны, русскоязычные политики Латвии, выходцы из русскоязычного крыла НФЛ, политики прозападные (что доказала публичная агитация ими за вступление в ЕС и нынешний явно пробрюссельский вектор всей политической деятельности русскоязычной официальной «оппозиции»), не желают, терять влияние на русскую общину в Латвии, в том числе на неграждан, как ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ (в результате натурализации в граждане ЛР) электорат. С другой стороны, многие российские чиновники, сидящие на своих должностях еще с ельцинских времен «особых отношений с Прибалтикой», замазанные и в непосредственном участии в предательстве русских, оставшихся за пределами РФ, и в тесных экономических связях с националистической верхушкой прибалтийских государств, не желают, ставить под угрозу как приносящие реальную прибыль бизнес-проекты, так и само свое

существование в качестве чиновников, если доля русских репатриантов из постсоветских республик в России достигнет, критической массы. — то есть станет, массой ПОЛИТИЧЕСКОЙ.

Более того, с реализацией программы репатриации ЗАКРОЕТСЯ и сам Прибалтийский проект, необходимый старой ельцинской гвардии для поддержания тесных контактов с ЕС в области антироссийской и антирусской деятельности и, в немалой степени, как «прачечная», позволяющая отмывать финансовые вознаграждения «агентов влияния», и как «запасное убежище» для той политической мелочи, кого Лондон по причине этой самой «мелочности» спишет, в расход.

С русскими в Латвии все будет так же, как с сербами в Европе. Иллюзий здесь быть не должно. И если в Сербии поставили прозападного президента, чтобы сдать сербов, то в Латвии для этого есть проевропейская русскоязычная «оппозиция», которая мягко сдаст, всех русских в лоно ассимиляции, что она и делает последовательно уже 15 лет.

А какой была ассимиляция при Ульманисе — желательно помнить всем, у кого еще осталось немного здравого смысла. Сейчас процессы те же. Откуда в современной Латвии столько ультраправых латышских националистов с русскими фамилиями? Да оттуда же — из ульманисовского превращения остатков русских, не эвакуированных в Россию, в латышей. «Вторая» латышская республика ничуть не отстала в деле ассимиляции русских от «первой». Те, кто не репатрируется, будут ассимилированы. И первый шаг в направлении ассимиляции — это принятие латвийского гражданства. Принятие гражданства ЛР на УСЛОВИЯХ ЛР со всеми вытекающими последствиями в плане антироссийской и антирусской идеологии, антироссийского и антирусского прочтения истории, антироссийской и антирусской ПРАКТИКИ и де-факто, и де-юре.

Всяческие байки русскоязычных граждан ЛР (и одновременно граждан ЕС!) о том, что можно МАССОВО сохранить «русскость» и «оказывать пророссийское влияние», будучи гражданами ЛР, лишены всяческих оснований, если вспомнить о том, в КАКОМ государстве эти русские находятся, КАКОВА была и есть позиция ЕВРОПЫ в целом по отношению к русским и православным вообще и насколько она будет УЖЕСТОЧАТЬСЯ в будущем.

На самом деле русскоязычные партии граждан ЛР и в Латвии-то НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО ВЛИЯНИЯ, так о каком «пророссийском влиянии» вообще можно говорить, оставляя сотни тысяч русских в Латвии на откуп как европейским, так и латышским и даже «русскоязычным» асси-милянтам и натурализаторам?!

Когда высокопоставленные российские чиновники МИДа и

известные политики говорят о том, что русские в постсоветских республиках ДОЛЖНЫ принимать гражданство стран проживания, понимают ли они, что тем самым ОТРЫВАЮТ от России миллионы русских патриотов, лишая их возможности даже юридической (из-за гражданства ЛР, например) получить российское гражданство или вернуться на Родину?

Думаю, что многие понимают. Думаю, что русских в России многие БОЯТСЯ как национальной и политической силы. Особенно русских из Прибалтики, ЗНАЮЩИХ на деле, КАКОВА она на самом деле — «свободная Европа»; знающих цену предательства коррумпированной антирусской и антироссийской ельцинской чиновничьей элиты, до сих пор еще во множестве сидящей на теплых местах, в том числе и в МИД РФ. В том числе и во всяких миграционных и паспортно-визовых службах. Не говоря уже о тысячах контор по всей России, греющих руки на ПРОДАЖЕ российского гражданства, регистрации и прочих связанных с этим услугах.

ОРГАНИЗОВАННОЙ РЕПАТРИАЦИИ РУССКИХ ЕЩЕ НЕ БЫЛО! Поэтому заявлять ничтоже сумняшеся о том, что «никто никуда не поедет и ехать не хочет», так, как это делают ответственные чиновники МИДа из профильных управлений по работе с соотечественниками, — и рано, и ПРЕСТУПНО. Наверное, сидящие внутри Садового кольца чиновники просто плохо представляют себе, что это ТАКОЕ — переехать из страны в страну. Особенно после того, как тебя последовательно, в течение 15 лет лишали работы, языка, политических прав, часто — и имущества. После того, как дети уже давно не знают, что такое нормальное образование на родном языке. После того, как многие уже десятилетиями не имели возможности побывать в России, о которой сама же российская пресса по сей день пишет как о стране, в которой «детей едят».

Мифы, о том, что «в России все плохо», а «в Прибалтике русские живут лучше, чем. в России», гуляют, каждый день и по российским. СМИ, и по русскоязычным СМИ Прибалтики. Безвизовый режим для неграждан и тот отменили уже несколько лет назад. Российские чиновники вторят друг другу, что русские за пределами РФ должны оставаться там на местах, выживать как хотят, и составлять собою «пророссийский ресурс» — тоже как хотят. Так откуда же взяться в России, снова обезлюдевшей, как после Отечественной войны, русским людям? Если отталкивать их каждый день своими политическими заявлениями и практическим затруднением всяческих контактов с Родиной? Если изо дня в день убеждать общество, что нам в России нужны мигранты с Кавказа и Средней Азии или из Китая, но только, упаси

Бог, не из числа 25 миллионов русских, брошенных за пределами РФ?

Я начал эту статью с размышлений о судьбе Слободана Милошевича. Кто тут еще надеется на то, что Запад нам поможет? Национальные, народные силы надо собирать сегодня в России и не транжирить их более направо и налево, как в годы советской власти. Не распылять по всей земле, как пыль, как удобрение для глобалистских проектов. Нет. у нас другой Родины, кроме России. И хочет, ли этого нынешняя российская власть или не хочет, каждый русский вправе и ДОЛЖЕН сам. выбирать — нужна ли ему Россия. А не у чиновников российского МИДа и русскоязычных вождей с гражданством. ЕС спрашивать.

Только обольщаться не надо Европой. У нее свои интересы. И один из главных — победить наконец-то навсегда русскую, сербскую, славянскую Православную цивилизацию. Даже с такой Европой можно и нужно сотрудничать. Но ПОМНЯ о СВОИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСАХ. А российскому чиновничеству пора бы уже обрести национальные интересы не только в национальных проектах президента по долгу службы. Но и в уме, и в сердце. Иначе ведь само хлебных мест, лишится.

RUSSKIE.ORG

Иванов дождался, пока я пробегу глазами статью, выхватил распечатку у меня из рук и бросил в камин, тут же объяснив свой импульсивный поступок:

— Весь мой пафос оказался бесполезным. Даже мой старый друг и коллега — редактор портала, на котором опубликована была статья, вынужден был вычеркнуть из текста конкретные ссылки на выступления видных чиновников МИДа, которые заранее предупреждали — нечего переселением даже начинать заниматься, ни под каким видом — *низ-зя!* Это к вопросу о моем трудоустройстве тут, в России, — добавил он мрачно. — Печатать кое-где печатают, правда, гонорары регулярно зажимают. Но это бы еще ничего. Как-нибудь проживем мы с Катей — нам много не надо. Но я действительно не хочу превращаться в микроскопического Солжени-цера в Вермонте-Вырице… Только начнешь задумываться о предложении поработать в каком-нибудь глянцевом журнале на хорошую ставку, как снова звонит какой-нибудь политический редактор и настойчиво требует «осветить» прибалтийскую тему. Мне бы насрать, да ведь знаю, если они начнут писать сами — они такое напишут, блин, из Москвы… Чертыхаюсь, связываюсь с людьми в Риге, в Таллине. Иногда даже сам еду туда… Трачу уйму времени, пишу материал, получаю за него гроши, а контракт тем временем опять ушел. А я хочу просто пить чай в редакции с коллегами, получать зарплату в

бухгалтерии, скидываться на дни рождения, ездить в командировки, иметь запись в российской трудовой книжке и платить налоги в родной бюджет на медицину и ядерные боеголовки. Хочу жить как все люди. Я так соскучился по жизни и работе на свою страну, которая пока еще не состоит в НАТО. Я сумасшедший, да?

— Да! — честно ответил я соседу и раскланялся.

Не успев дойти до калитки, я резко развернулся и снова вбежал в дом Ивановых. Марта, гулявшая во дворе, для приличия рыкнула на меня, потом завиляла хвостом и проводила до дверей. Я не стал звонить, просто рванул всегда открытую дверь на себя и быстро прошел в кабинет Валерия Алексеевича мимо Катерины — жены его, изумленно посмотревший мне вслед. Иванов так и сидел у камина, только в темноте. Смотрел на огонь, курил и совершенно не удивился моему неожиданному возвращению.

Я без приглашения плюхнулся в мягкое кресло напротив и тут же выложил все, что давно накопилось у меня на сердце. Я сказал, что он не просто сумасшедший, что он просто псих. Что ему пора забыть навсегда Латвию и вообще все эти двадцать или тридцать миллионов русских, о которых он мне все уши уже прожужжал за эти два года. Я сказал, что нельзя жить в постоянной ненависти к тем, кто когда-то ошибся и принял за чистую монету идеалы демократии и свободы. Я сказал, что он не имеет никакого права возмущаться российской интеллигенцией, поддержавшей в свое время независимость всех советских республик. Я кричал, что он слишком молод для того, чтобы понять, в каком дерьме мы жили при совке. Я ругал Иванова русским фашистом и красно-коричневым эмигрантом, которому нечего делать в демократической России. Я вскочил на ноги и уже просто вопил ему в лицо, что именно из-за таких, как он, мы до сих пор не можем нагнать даже самую бедную страну Евросоюза!

— Это Румынию, что ли? — спокойно уточнил у меня Иванов и, попыхивая в темноте сигаретой, продолжал меня слушать, только теперь уже не один — вместе с Катей, прибежавший на мой крик, но теперь тоже спокойно стоящей в дверях и внимательно смотрящей на лицо Иванова, бесстрастное даже в отсветах яркого пламени гудящего ровно камина.

— Да хоть бы и Румынию! Вы, Валерий Алексеевич, нашу вырицкую грязь предпочли развитой и культурной европейской стране — вы курите по три пачки сигарет в день, вы не пьете водки, вы постоянно недовольны тем, что происходит в стране, — вам все мало — мало — мало! Вам мало Мюнхенской речи Путина, вам мало ограничения свободы слова, вам ни на минуту не стало жалко ни Политковской, ни Ходорковского! Вы жалеете

Ульмана и других убийц в камуфляже, вы просто тащитесь от своего отмороженного Рижского ОМОНа, вы постоянно учите нас жить, как будто вы не такой же русский, как все мы, а минимум американский кризисный менеджер из Госдепа! Вы ненавидите телевизор, вы издеваетесь над современной российской литературой, вы в грош не ставите. — Тут я осекся, не найдя, что бы еще такое сказать.

— Ксюшу Собчак, наверное? — Иванов вдруг улыбнулся. — Да вы присядьте, Тимофей Иванович, в ногах правды нет!

— Вот-вот, а я вам чаю принесу, хотите? — ласково спросила меня Катя.

Я развернулся, хлопнул дверью и попытался уйти навсегда из этого сумасшедшего дома. Но не тут-то было! Марта — общая любимица Марта — встретила меня у калитки, распластавшись, как перед прыжком, на брусчатке и вытянув вперед огромную морду с презрительно ощеренными клыками. Она лишь раз глухо, предупреждающе заворчала, а я уже застыл на месте, не в силах сделать ни одного движения. К счастью, на крыльцо вышел Иванов и отозвал овчарку к себе. Марта пружиной вскочила, почти взлетела в воздух и побежала рысью к хозяину, одним неуловимым движением располосовав мне на бегу брючину, слава богу, не тронув самой ноги.

Глава 9

Я сдержал свое слово и больше никогда не переступал порога в этом доме.

Неслышно и бесснежно, темный и неласковый наступил Новый — 2008 год. Никто из моей большой семьи не смог приехать ко мне на праздники. В церковь на этот раз тоже пришлось идти одному. Сочельник порадовал яркими звездами, мерцавшими в разводах иссиня-черного неба, в просветах между быстро бежавшими над верхушками елей облаками. Но снега не было и на Рождество Христово.

Я постоял немного в переполненном народом бревенчатом — старинном — храме.

Грустно стало — невмочь. Тогда, пробравшись к выходу, я в лунном неверном свете прошел в часовню. Поклонился Серафиму Вырицкому Чудотворцу, припал на коленях к святым мощам и долго стоял так, перебирая жизнь, прося у старца вразумления и заступничества перед Господом, чтобы не оставлял меня на старости одного.

Наверняка в храме были сегодня Ивановы, да и Миша с Ларисой — тоже соседи.

Я постоял немного на улице, послушал пение, доносившееся из церкви, позавидовал жару многочисленных свечей, хорошо видных снаружи в цветных оконцах, и побрел домой.

На Крещенье грянули морозы, потом снова оттепель, незаметно промелькнул февраль, дотянул я и до Великого поста. Заброшенная рукопись пылилась на столе.

Я видел в окно, как играл Валерий Алексеевич с Мартой по утрам, бегая с ней наперегонки вокруг дома. Видел, как вечером Катя выводила волкодава на длинном поводке — прогуляться за пределами участка. Остальное время Марта бродила свободно. Точнее, не бродила бесцельно, а тщательно патрулировала довольно обширную территорию двора Ивановых, порыкивала грозно на проходивших мимо цыган и таджиков, строивших неподалеку коттедж очередному новому русскому. На меня Марта не обращала внимания, даже если я стоял у нашего общего забора. Сядет, посмотрит на меня безразлично, ощерит, пожевав черными губами, белые клыки, но ничего не скажет — поднимется и потрусит дальше.

Плевать мне было, конечно, на Политковскую и на свободу слова — уж кто, кто, а я-то прекрасно знал, как призрачна эта свобода. Да и вообще, на все мне было плевать, кроме того, что ни дети, ни братья не объявлялись у меня уже полгода. Позвонит

кто-нибудь раз в месяц или поздравит с праздником открыткой по «мылу» — вот и все. Зато Иванов все чаще показывался в другом соседнем дворе — у фермера Миши. О чем они там разговаривать могли — понятия не имею. Миша был высок, худ и расписан от век до мизинцев ног татуировками, по молодости еще наколотыми на зоне. Занимался он торговлей молоком и мясом, сам держал скот, сам ездил в Псковскую губернию на ферму за свежей убоинкой, а потом вместе с молочными продуктами развозил по садоводствам или проверенным оптовым клиентам из числа новых русских, сразу покупавшим впрок по паре барашков, теленочку, забивавшим морозильные камеры в кухнях своих особняков домашней птицей. А еще у Миши своя лесопилочка маленькая была — пилил доски и брус — заказов в постоянно строящейся Вырице у него хватало.

Ивановы как-то сразу сошлись и со мной, и с Мишей, только если я зачастил на семейный огонек к Ивановым, то они, наоборот, у меня бывали редко, а вот к Силантьевым забегали каждый день хоть ненадолго — поговорить, чайку попить, решить немудреные хозяйственные вопросы, в чем работящий Миша всегда был Валерию Алексеевичу помощником. О чем могли они беседовать часами, что соединяло таких непохожих людей — непонятно. Я с Силантьевыми знаком был давно, но дружбы у нас, естественно, не сложилось. Да еще страшен был Миша на вид и суров — легенды про него по поселку ходили самые разные. На всякий случай я старался держаться от этого крестьянина с темным прошлым подальше. А теперь вот и с Ивановым разругался. Обидно мне стало, что вот приехал откуда ни возьмись человек, и живет себе как дома. И цыгане у него не воруют, и Миша к нему с уважением, и знакомствами Валерий Алексеевич быстро оброс в нашем немаленьком, прямо скажем, поселке. А я уж десяток лет живу тут как чужой.

Но он ведь, Иванов-то, еще и смеет о жизни российской судить, так, как будто не прожил всю жизнь свою по национальным окраинам. Скромнее надо быть, скромнее! Признаться, и я почти два года обогревался у соседского огонька, и многое казалось мне интересным — даже встряхнулся я как-то от свежих людей, начал писать, тряхнув стариной, немудреную книжку о соседе, как о диковинном для наших мест звере. Придумал себе историю, одиночество скрасить решил. Родня помогла мне устроиться материально, присылала денег, не отказывали в помощи дети, но все дальше расходились со временем наши пути.

Все менялось в новой России. И тот уклад, который остервенело пытались разрушить мои бывшие коллеги,

неожиданно показался мне куда более теплым и нужным, чем возможность прокатиться среди зимы в Тунис — путевкой в который недавно опять порадовал меня младшенький. А я не поехал — один — на старости лет, что мне делать там, скажите, пожалуйста?

Достал меня, говоря современным языком, Иванов. И друзья к нему приезжают старинные из Риги, и брат из Владивостока, и даже племянник — подводник с Камчатки — к дядьке в отпуск летит! Родители, перевезенные в Питер из Латвии, все лето в гостевом домике проводят, тещу из Риги и ту перетянули. Да и москвичи всякие частят, и из Питера, бывает, приезжают целыми машинами. Смеются, жарят шашлык, о чем-то все говорят, а какой-то музыкант все норовит попеть под гитару — даже цыгане наши заслушиваются. И это Ивановы называют отшельничеством в тихой деревне? Пишет стишата — и не печатает их! Я отослал подборку тайком в «Масонский» — тьфу! — «Московский литератор» — те сразу его напечатали! А он даже экземпляра на память не купил. Снимает художественные фото — и не продает. Печатает огромных размеров картины, рамки подбирает — и раздаривает, ничего не ценя — ни талант свой, ни труд. Ни одной грядки на семнадцати сотках! Все газон, да цветы, да какие-то кусты. Собака не на цепи — бегает свободно по двору, в доме спит на коврах, мебель не грызет, на диваны бархатные не лезет. Сволочь! Брюки мне разодрала ни за что ни про что!

Так вот сидел я за бутылочкой и растравлял в себе злобу. Наполовину шутливо, конечно, что ж я, совсем, что ли, выжил из ума? Ерничал, сам над собою больше подсмеивался, чем над соседом. А рукописи незаконченной было жалко. Я ведь не Валерий Алексеевич, я свой труд ценить приучен! Но Господь все видит. И действительно — не горят рукописи! Похерил я уже свой труд — конца-то не знаю, не самому же все придумывать — как-то нехорошо из реалистического романа фэнтези в стиле Бушкова наворотить! Я уж и так многое домыслил, присочинил по мелочам. Но тут пришел апрель. И наступила в стране такая непонятица, при всей внешней тиши да глади, что и в голову никому не могло придти!

Воды вешние зашумели, лужи во дворе по колено — никакой дренаж не спасает. Вот и май подернул деревья нежной зеленой дымкой.

В один из таких веселых весенних дней — аккурат после памятного всем выступления уходящего в премьеры президента — пропал Иванов.

Обнаружил я это не сразу. Ну, не видно соседей на улице, да и ладно. Дом у них большой, сидят себе в Интернете и в ус не

дуют — можно месяц на двор не выходить. Вот только Марта вдруг стала страшно выть по ночам. Так продолжалось с неделю. А потом пришел Миша, вынянчивший Марту щеночком и подаривший ее Иванову еще месячной девочкой.

Не давалась сперва Марта и ему. Но удалось как-то Мише уговорить собаку и увести волкодава на свой двор. Пришлось идти к Силантьевым — узнавать, что случилось.

Миша и сам толком ничего не знал. Говорит, рано утром он скотину кормил, тут и подъехали к воротам Ивановых сразу два джипа. Ну, не джипы, так, внедорожники «мерседес». Оттуда мужики крепкие выскочили — и к калитке. Марта их не пускает, конечно, захлебывается от ярости; ее тут же Мишины волкодавы — родители Марты — поддержали. Лай, шум, грохот. Миша побежал в дом за ружьем — возвращается, Иванов уже из дома вышел. Марту на поводок взял, но привязывать не стал. Переговорил о чем-то с приехавшими, все головой мотал: типа нет! Потом все одновременно пистолеты повыхватывали — и те двое мужиков, что у калитки стояли, и даже Валерий Алексеевич! Марта поводок вырвала и чуть руку не откусила одному незваному гостю — он, дурак, над забором пушкой своей махать начал, так и выронил ее через забор со страху. Миша со своей двустволкой из-за угла сарая выскочил и давай орать, что сейчас вся Вырица сюда сбежится!

А Иванов со вторым незнакомцем так и стоят напротив друг друга с оружием в руках. Тут из второго «мерина» вышел дядя такой представительный, пожилой уже — и всех развел. Его люди пушки попрятали, а Иванов только опустил, но по-прежнему в руке держит. Тут снова крик — у Ивановых из трубы камина дым пошел — Катя, наверное, сжигать что-то стала. А в дом к ним даже захочешь — сразу не войдешь — двери железные, на окнах решетки. Валерий Алексеевич как дым увидел, так сразу пистолет на скамейку положил, медленно полез в карман, показывая, что сигареты достает, и закурил. С дядечкой в костюме стоят, торгуются. Марту он снова на поводок взял. Ну а дальше Миша сам уже ничего не видел. Потому как волкодавы-то его на цепи… Обошли Мишу сзади, ружьишко вырвали, скрутили, аккуратно, правда, без побоев, наручники нацепили на руки, да к дереву, и посадили у яблони — отдохнуть. Но Лариса, жена его, все подглядела. Как Мишу заломали, так через их двор человека три ринулись к дому Ивановых — окна-двери вскрывать. Но быстро у них ничего не получилось. Потому как ломали аккуратно — монтировоч-кой, а не как в кино показывают — кувалдой да гидравликой. Но и тут у них облом вышел. Пока старались, дверь открылась центральная, и оттуда Катерина вышла. «Заходите, —

кричит, — гости дорогие!». Валерий Алексеевич Марту привязал, калитку открыл, и все в дом пошли. Спокойно так, почти по-дружески.

Тут и Мишу от яблони отцепили, патроны из ружьишка в кусты бросили, а самому ему какие-то «корочки» в нос сунули и велели в дом идти и молчать потом в тряпочку. Ларису тоже от окна прогнали и велели нос куда не надо не совать. Цыгане, что за глухим забором, так вообще сразу как вымерли — как и не жил у них в доме никто и никогда.

Прошел час, наверное, — услышали Силантьевы, как машины от дома отъезжают. Тут и Марта завыла. С поводка ее снял хозяин, так она по двору с тех пор и бегала, пока Миша ее не подманил. Неделю не ела ничего. У Силантьевых ключи от дома Ивановых есть — они иногда присматривали за хозяйством, если вдруг хозяева ненадолго куда отъезжали.

Пошли они в дом тогда — двери все опечатаны наружные. Но Миша соседям помогал воду проводить, канализацию- ванную и туалет городские в доме обустроить. Сам скважину пробивал, насосную станцию в кухне под полом ставил. Короче, залез он под дом, через продух, лючок снизу выломал и попал в избу.

Внутри порядок, разве что пыль немножко успела нарасти. Вещи на месте, только ноутбуков нет в кабинете, да письменный стол старинный весь нарастопашку и половина ящиков пуста. Шкафы в спальне открыты — но стоят почти полные, может, какие вещи носильные собрали Ивановы с собой, но не все. Взял Миша домашние тапочки Валерия Алексеевича и Кати с собой, электричество вырубил полностью на всякий случай — и обратно через люк вылез.

И вот, когда вылезал, рядом с насосом папку нашел в пластиковом мешке герметичном. На папке написано: «Миша, передай это Круглову! С нами все в порядке, не волнуйтесь. Даст Бог — увидимся! Марту сберегите! Спасибо за все!»

Тапки Миша сунул в вольер, куда Марту запер. Та заскулила, легла, морду на тапки положила и еше дня два так и лежала. Потом есть начала. А папку Миша мне отдал, как и было в записке велено.

Как я всю эту катавасию с исчезновением Ивановых пропустил — не знаю, впрочем, сон у меня после водочки крепкий, да и спальня на втором этаже.

Пришел я от Миши домой сам не свой. Ручонки подрагивают, слезы наворачиваются — Марта так на меня смотрела сквозь сетку вольера, чуть душу не вывернула своими собачьими глазами наизнанку. Полез я в бар-чик, понятное дело. Выпил полстакана, закурил и открыл папку. Там конверт с деньгами,

написано: «На Марту». Ну, это я Мише отдал потом. Тысяча евро была, новенькими сотенными.

А еще в папке лежала пачка листов А4, отпечатанных на лазерном принтере.

Глава 10

(Из рукописи Иванова)

«Уважаемый Тимофей Иванович! Если Вы читаете это письмо, значит, я не ошибся в сообразительности и любознательности нашего общего соседа Миши. Это приятно. Неприятно то, что тот же самый факт обозначает мой неожиданный отъезд на неопределенное время, а куда — мне и самому неведомо. Смутное время предполагает неясные обстоятельства. Однако на все Божья воля, и все, что ни делается, все делается к лучшему.

Для меня не является секретом. Ваше желание превратить мою скромную биографию в художественное, я надеюсь, произведение. Трудно было бы предположить какой-либо иной интерес с Вашей стороны к моей скучной персоне. Все-таки два года почти, проведенных Вами в нашем доме за выслушиванием моих не всегда, признаюсь, искренних откровений, говорят о многом. Пусть так! Вы — литературный работник, а бывших литераторов не бывает.

Я не беспокоюсь за персонажей, которые в моих рассказах всегда назывались вымышленными именами. Более того, не скрою, что я сознательно произвольно передвигал последовательность тех или иных описываемых мною событий, да и упоминал не обо всем, что могло бы заинтересовать пытливого исследователя перестроечных лет. Это легко объяснимо. Мне не хотелось искушать Вас возможностью издать некое документальное произведение мемуарного характера. Нет более простого способа оболгать действительность, нежели написать о ней мемуары. А мне нескромно хотелось бы совсем другого. Мне не кажется целесообразным очередное тиражирование фактов, которых и без того в Интернете хранится больше, чем листьев, спрятанных в лесу Честертоном. Мне важнее образ спрятанного в лесу фактов листа, мне нужнее миф о спрятанном листочке — миф, который позволит безошибочно найти его в куче опавших собратьев. Если же совсем попросту: за деревьями — леса не видать. Болтовне журналистов и политологов, промывших мозги нашим современникам, нужно противопоставить простую человеческую жизнь. Может быть, тогда проще будет читателю понять, что у него болит и от чего он в поисковиках на свой запрос ничего, кроме мусора, найти не может.

Думаю, Вам понятно.

Считаю необходимым подчеркнуть: Вы совершенно свободны в

использовании предоставленных мною материалов. Все авторские права — Ваши. Все совпадения — случайны, все предположения — недоказуемы, все в целом — не более чем фантазии рассеяного беллетриста. «Не любо — не слушай, а врать не мешай!» — вот девиз современной «литературы факта».

Дорогой Тимофей Иванович! Несмотря на нашу досадную размолвку, я буду рад, если Вы все же доведете свой труд до конца. Я люблю законченные дела. Тем более если они делаются чужими руками! Мы закончили наши беседы накануне Нового года. Я как раз успел рассказать Вам о январе 1991-го. Хотите, обрабатывайте мой дальнейший рассказ, хотите, публикуйте как есть — Ваше право. А если перегорели или слишком сильно на меня рассердились — просто забудьте обо всем. Желаю удачи! Есть Бог на свете, и я верю, что мы еще встретимся.

Искренне Ваш, Валерий Иванов

P.S. На самом, деле, конечно, и меня, и Катерину зовут, немного по-другому, так что не мучайтесь с псевдонимами. Пишите как есть, какими нас знаете»

…Татьяна меня обескуражила. Я начал и в самом деле сомневаться в ее психическом здоровье. Удивительного тут мало — в наше время серьезные мужики сходят с ума. Я сам не всегда кажусь себе адекватным, особенно после того, как почитаю утренние газеты. А с этого чтения начинается каждый мой рабочий день!

Неделя прошла, как я вернулся в свой кабинет на Смилшу, 12. Но за этот короткий срок все омоновские заморочки отошли для меня на третий план. А уж Татьяна — еще дальше. Наш роман, наверное, навсегда останется пошлым — госпитальным, как и начался когда-то. «Она его за муки полюбила, а он ее за состраданье к ним». Ни я не мучился, ни она не сострадала. Свела жизнь вместе на время — развела. Свела — развела. И хватит об этом!

Алла так радовалась, когда я вернулся с базы! Ксюха не отходила от меня весь вечер. Черный кот Бегемот всю ночь проспал у меня на груди, мурлыча. Дом! Я отнес в химчистку костюм, сделал уборку, выровнял книги, которые волшебным образом всегда после моего отсутствия стоят на полках не по росту, не по жанру, не по ранжиру — не по весу и жиру. Девочки мои неаккуратны, а читать любят!

Сегодня вечером у нас прямой эфир на Латвийском ТВ в программе «Телефорум». Первый раз за последние годы поеду на Закюсала! От Интерфронта нас будет пятеро: Алексеев, конечно, Сворак, Мошев, Мильч и я. Мероприятия зряшное — все равно ничего толком сказать не дадут, но идти придется. Встретились в

городе, на конечной 19-го троллейбуса. Ехать — пять минут. На середине Московского моста через Даугаву вышли и постояли немного, глядя на панораму Заячьего острова под нами. Вокруг современного телецентра, который совсем недавно построили латышам ленинградцы, огни десятков костров. Колючая проволока в два ряда. Деревянные (!) противотанковые ежи! Перед стеклянным фойе у входа в телецентр нагромождены бетонные блоки. Искусно так, как в средневековых замках — зигзагом. Чтобы пройти можно было только по одному через лабиринт заграждений. Внутри бетонного лабиринта оставлены аккуратные амбразуры — отстреливаться от армии! Обыскивать нас не стали, но глазами обшарили, как «змею двухметроворостую». Две хуторского вида латышки в милицейской форме и с автоматами на груди приветствовали гостей «телефорума». А в глубине фойе то и дело мелькали охотничьи камуфляжи «белых беретов». Больше ничего интересного не было. Мы выпили кофе на первом этаже в овальном баре. Отсидели всю болтовню в студии, сказали несколько раз по паре слов в прямом эфире и разъехались по домам. Я, правда, еще погулял немного по коридорам, посмотрел в общих чертах расположение охраны, но меня довольно скоро попросили на выход. Ладно, всплывет!

Все-таки рассказывать Круглову куда проще, чем за собою самим записывать! Но я постараюсь.

3 февраля в Вецмилгрависе, по дороге на Вецаки, у последней девятиэтажки перед железнодорожным переездом, там, где начинается сосновый бор, ночью обстреляли омоновскую «Волгу» с Млынником и Невзоровым. Без Мурашова, конечно, тоже не обошлось! На Смилшу меня разрывали на части, сразу вырваться не удалось. Но когда через пару дней я приехал на базу, обожженный остов машины все еще стоял у штабного барака.

— Гляди, как бензобак рванул! — весело показывал мне Толя останки командирской «Волги».

— А дырок-то сколько! — Я внимательно разглядывал десятки пробоин в обгоревшем, закопченном металле. — Просто чудо, что вы все без царапинки… Вон как очереди пошли — через весь салон, крест-накрест, а никого не зацепило!

— Мы сразу покинули «Волгу» — через несколько секунд рванул бак, а потом они уже горящую машину решетить продолжали, так что ничего удивительного!

— А чего ж Глебыч тебя никак не обозначил в педераче?

— А ты видел? Где? У нас еще не видел никто, в Латвии же «Секунды» теперь вырезают из питерского эфира! Ну, Невзоров человек горячий, он у нас и суток не был — перепутать

немудрено.

— Я-то видел… Могу вам копию привезти, я на днях на студию еду.

— А записочку от меня Шурику передашь? — оживился Толян.

— Вы что, такие друзья стали? — Я все ходил вокруг бывшей «Волги» и ковырял пробоины.

— А то! Да ты не переживай зря, там просто несколько слов на память! — Толик потянул меня за рукав подальше от искореженной машины. — Слушай, дружище, я сегодня вечером в дежурку заступаю на сутки, а ко мне с Мишкой девочки вечером должны подъехать, ты ему компанию не составишь вместо меня? А то неудобно получается.

А как сменюсь, мы все вместе в сауну на Таллинас рванем!

— Не знаю… — нерешительно протянул я. С Аллой мы только вчера поругались по поводу частых моих отлучек. Да еще в Питер снова надо ехать… — По девочкам незнакомым я не ходок. Водку пьянствовать без тебя мне тоже как-то особо не хочется. Давай в другой раз!

— Как знаешь! — легко согласился Толик. — Тогда письмишко прихвати, мало ли — не увидимся до твоего отъезда. Ты меня в кубрике пока подожди — вот ключ. А я на минутку к Чесу забегу, дельце одно есть… — Мурашов вихрем сорвался с места.

Советоваться побежал? Или письмишко не от Толика на самом деле будет? А, пусть сами разбираются! Я был немного зол на Невзорова, который внезапно спутал все мои планы по поводу подачи ОМОНа на всесоюзном экране. Во-первых, он расстался с Вадиком Медведевым, контакт с которым у меня получался гораздо лучше, чем с Глебычем, с которым я старался не пересекаться и разве что здоровался при вынужденной встрече. Я и сам не лишен здорового цинизма, но Невзоров в этом отношении совершенно отмороженный. Профи высшего класса, репортер от Бога — этого не отнять у Шурика. Но характер… Может быть, так и достигают вершины признания в профессии — идя по трупам коллег и героев своих сюжетов? Но меня это как-то не грело. Тем более что Украинцев, давно ставший живой легендой ЛенТВ, много мне успел рассказать о своем бывшем ученике не очень приятного в человеческом плане. Да еще Чес переиграл меня с Чизгинцевым, да и с Питоном тоже. Каким-то образом они снюхались с Невзоровым раньше, чем я предполагал. Мы с Украинцевым и Хачиком уже просчитали серьезный большой прямой эфир в Питере с участием офицеров Рижского ОМОНа. Все было готово, осталось определить срок выезда на

студию. Правда, Млынника мы как раз в эфир тащить не хотели. Но тут грянули события в Вильнюсе, на которые коршуном кинулся Невзоров, потом он ринулся в Таллин, но просчитался, там все было тихо. И вот, после того как рвануло у нас, он тут же сам вышел на Чеса и мгновенно сделал самый забойный репортаж из цикла «600 секунд» — «НАШИ».

Все пошло наперекосяк. Наш формат после этого эфира уже не годился. Да и Млынник теперь никого из офицеров не выпустит на телевидение, сам будет светиться. А я как раз хотел, чтобы узнаваемыми стали у зрителей совсем другие герои, а вовсе не Чеслав.

Ладно. Это мои проблемы. И Питона, пожалуй, тоже. Кто же сдал нашу задумку Чеславу? Почему он, такой осторожный с прессой, так резко вдруг пошел на контакт с Невзоровым? Эх, Толик, Толик. Друг ты, конечно, старый, но дружба — дружбой, а служба — службой, так вот получается? А как же тогда Чехов? По идее, Толян — это как раз его креатура. Да и Таня меня предупреждала об этом. А может, не совсем все так? Ласковый теленок двух маток сосет. А Толян у нас — ласковый. Придется пользовать ситуацию такой, какая она есть.

Пока я перекуривал свои невеселые мысли, вернулся Толик. Протянул мне обыкновенный листок из тетрадки, исписанный с одной стороны его красивым — писарским почерком.

— Прочти на всякий случай! Может, я ошибок наделал? — Толя добродушно и искренне посмотрел мне в глаза, прежде чем отдать письмо.

Я, не читая, аккуратно сложил листок пополам и сунул в карман пиджака.

— Ты когда заступаешь?

— Да утром уже заступил. Меня подменили тут братишки на часок, когда ты явился. Неужто не заметил?

— Тебя в дежурке не было, я потому и к Чизгинцеву сразу пошел.

— Понятно! Ну что? Насыпать тебе стакан на дорожку? Мне-то нельзя.

— А давай! — махнул я рукой. — Когда Мишка со своими шлюхами явится?

— Да ты что! — обиделся даже Мурашов. — Какие шлюхи на базе? Это сочувствующие нам девчата — абсолютно честные и даже, наверное, невинные!

Я замахнул стакан водки, зажевал задумчиво копченой салакой из открытой банки. Толик недавно развозил продукты омоновцам по квартирам. Алла обомлела, когда вдруг Мурашов заявился к нам домой с парой бойцов и начал таскать на пятый

этаж мешки с картошкой, консервы, сахар. Вот и копченой салаки тоже банок двадцать приволокли, не считая всего остального. — «У меня денег нет столько», — испугалась Алла. — «Валера заплатил уже», — тут же соврал Толян, выпил с бойцами кофе, закусил пирожками, как раз она к выходным пекла, и испарился, даже мне ничего потом не сказав.

— Толян, сколько я тебе за продукты должен?

— Давай я тебе лучше долью, а то в бутылке останется ни тони се, будет только место занимать! — Он надоил мне еще полстакана и, завернув бутылку в газетку, сунул пустую тару в мусорник, прикрыв сверху кожурой от мандаринов, аккуратной горкой лежавшей на столе.

— Так сколько? — Я как раз получил зарплату утром, но даже ее вряд ли хватило бы рассчитаться за то количество продуктов, которое завез нам Мурашов.

— Нисколько! Я всем бойцам взвода развозил, командир приказал, дескать, время тяжелое — надо, чтобы семьи ни в чем не нуждались. А ты что нам, чужой, что ли? Или у тебя зарплата большая? Теперь все с каждым днем дорожает и будет еще дорожать. Так что замяли вопрос и пошли дальше.

— Куда дальше?

— Так ты останешься ночевать?

— Так когда Ленин явится? Что я тут, один сидеть буду?

Мишка явился тут же. Веселый, уже чуть поддатый, он быстро впихнул в кубрик двух симпатичных девиц — черную и рыжую. Присмотревшись получше, я понял, что девочки были вполне себе приличными, но давно уже не девочки — сто процентов! Лет по двадцать пять — не меньше — каждой. Правда, фигурки хороши, да и личики не страшные.

Тут же раскатали общими усилиями скатерть-самобранку, зазвенели тихонько бутылки с водкой и ликером «Мокко» — для дам. Женщины, впрочем, от ликера тут же отказались, а вот водочка пошла у них наравне с мужиками.

Толик посидел пять минут и свалил на дежурство. Миша вовсю ухлестывал за рыженькой пампушкой, а я вежливо обсуждал бесснежную зиму и виды на урожай зерновых с высокой брюнеткой. Есть такие латышки — с черными глазами, бойкие, как хохлушки, горячие, как сковородка на плите. Илона, так ее звали, сначала надула губки, увидев, как прощается с компанией красавец Мурашов, но потом вздохнула и переключила свое внимание на меня. А я, пользуясь случаем, пообещал ей попробовать вернуть Толяна и выскочил пулей из гостеприимного кубрика. День клонился к вечеру. На базе было тихо. Командир куда-то свалил, другие старшие офицеры тоже. Понятно, почему

Мишка именно сегодня решил устроить банкет прямо на базе. Мурашов не сдаст, а остальные взводные озабочены порядком в своих бараках, им тоже до соседей особого дела нет, если все происходит культурно и тихо.

Однако стоило мне выйти из штабного барака, как откуда-то материализовался Чехов и увел меня к себе. Мы не торопясь обсудили ситуацию с Чеславом и с Невзоровым. Млынник нас опередил, воспользовавшись удачной конъюнктурой на рынке телевизионных героев. Теперь сдвинуть его с места будет немного труднее. А может быть, этого и не потребуется вовсе? Герои. Героев сегодня делают СМИ, а не героические поступки! Вон стоит покуривает Саня Кузьмин — командир 1-го взвода, полюбивший общаться с прессой при каждом удобном случае; да он и на митингах никогда не отказывался выступить. Так его в Риге знают чуть ли не лучше Млынника!

Если ситуация в Союзе окончательно зайдет в тупик, а точнее — страна пойдет под откос, то тогда и смысла нет впрягаться в сложную комбинацию. Чеслав, конечно, мужик боевой и командир хороший. Но дров наломать тоже может немало. Если всему хана, тогда лучшего командира и не сыскать. Если же выпадет шанс, последний шанс на планомерное разрули-вание грядущего развала Союза, тогда… Тогда придется думать. Люди сейчас перестали быть пешками — личный состав знает себе цену и помирать за просто так, за «рванем рубаху на груди» не будет — все поумнели. А четкого понимания целей и будущей идеологии страны, которую придется строить заново, ни у кого практически нет На одних нервах многого не добьешься. Конечно, отряд сегодня в таком состоянии, что и сам готов кого угодно зубами рвать, но *за что* именно — толком не знает. Спасти положение можно только двумя путями. Или выстраивать другую схему воздействия на личный состав — схему *убежденности и веры.* Или. оставить все как есть. В случае стремительно обостряющегося кризиса бесполезно даже пытаться что-то менять в создавшейся иерархии. На переправе командиров не меняют. Тогда, наоборот, надо будет Чеслава всемерно поддержать, включая все резервы, как внутренние — в общем собрании отряда, становящемся все более действенной силой, так и внешние — давление общественного мнения русского населения, например. Не в безвоздушном пространстве бойцы живут, и их семьи — тоже. Конечно, Млынник старается максимально изолировать отряд от внешних воздействий. Но база, — не тюрьма, на сто процентов исключить связи с миром все равно невозможно. Я усмехнулся, вспомнив сегодняшних гостей Миши Ленина.

— И надо мне все это?! — возопил я уныло, поспешая обратно в кубрик и стараясь при этом не попасться на глаза Мурашову — пусть думает, что я водку пьянствую.

В кубрике, отвернувшись в угол, со стаканом водки в руке сидела скучающая Илона. Свет был выключен. За ее спиной, на Мишкиной койке, характерный скрип и негромкие, но весьма прочувствованные стоны недвусмысленно обрисовывали ситуацию.

Я присел рядом с Илоной, внезапно показавшейся чертовски хорошенькой, особенно по сравнению с Питоном, и выпил за ее здоровье. Курнул, вздохнул и только собрался потихоньку исчезнуть с базы, как дверь тихонько приоткрылась, и в кубрик скользнул Мурашов, пахнущий свежим морозцем и хорошим одеколоном. Мгновенно оценив ситуацию, тем более, что дело у парочки в углу явно подвигалось к счастливому концу, Толян приветливо сделал нам с Илоной ручкой, тут же вышел и прикрыл дверь… закрыв ее на ключ с той стороны. Не успел я даже закрыть рот, как к нему прильнули горячие губы; и о-о-чень ласковые, длинные руки раздели меня догола быстрее, чем одесситы заезжего лоха на знаменитом Привозе.

На следующий день, невыспавшийся и злой, я заявился домой, как только Алла с Ксюшей ушли в школу. Принял душ, побрился, выпил чашку кофе и сразу же, не заезжая на Смилшу, поехал в ЦК. Поднялся на шестой этаж, встретил у лифта Сметанникова — редактора радио «Содружество» и тут же переговорил с ним о ближайшем своем эфире. В студии меня уже ждали Баранов и Людмила. Стас быстро просмотрел сценарий программы, проверил мою кассету с фоновой музыкой и сел за пульт. Мы с Людой отправились к микрофонам, и пошла запись.

Людей не хватало катастрофически. Чем больше мы включали в пропаганду собственных СМИ, тем больше требовалось профессионалов. А где их взять? Те, что были, — были латышами — это раз. Или «русскоязычными», то есть по определению принадлежали к убежденным сторонникам перестройки и, соответственно, независимости Латвии. Редкие, не сбежавшие на сторону, партийные кадры были не в состоянии работать по-новому в новых условиях. Учить и воспитывать своих людей мы не успевали, да и кому было учить-то? Я и сам учился на ходу. Недавно обзвонил нескольких девчонок с нашего курса филфака, в надежде хоть одну вытащить на радио — редактором, диктором, комментатором — все равно! Но ни одна не смогла. И не потому, что никто не интересовался политикой, — все сидели в декретах — им как раз рожать подоспело! Время. Нашли время!

Пришлось обходиться интерфронтовскими активистами.

Людой вот, по старой памяти. Она, конечно, бесплатно была согласна работать, но я пошел на принцип и выбил ей у Алексеева небольшие деньги за каждую запись. Меня душила злоба оттого, что ЦК КПЛ, сидя на миллионах, пользовал интерфронтовскую видеостудию, наших специалистов, которым мы же и платили зарплату! ЦК дрожал за каждую копейку, в то время как надо было срочно тратить деньги на собственные СМИ и, главное, — на людей! Да можно было банально перекупить половину беспринципной журналистской братии! Было бы желание! Мы с Алексеевым давно уже пришли к выводу, что все это — явный саботаж со стороны Рубикса. Но сделать ничего не могли. Обходились собственными скудными средствами. Но и наши скромные средства — и творческие, и технические ЦК старался подгрести под себя; а фактически просто парализовать контрпропаганду с нашей стороны. Эфир «Содружества» обеспечивала армейская полевая радиостанция, развернутая на территории военного училища. Все передачи шли в записи. В ЦК, с помощью наших же, опять, специалистов, оборудовали примитивную студию звукозаписи. Отсюда увозили готовые пленки на передатчик, мощности которого едва хватало, слушатели ловили «Содружество», как совсем недавно диссиденты «Голос Америки» — с хрипом и воем. Но на безрыбье и раком станешь! А десятки миллионов рублей, тщательно приберегаемые Рубиксом на счету КПЛ, после августа ушли в бюджет независимой Латвии, как ценный подарок компартии новой власти.

В сегодняшней программе мы с Людмилой комментировали свежий документ, принесенный нам Алексеевым прямо с заседания Верховного Совета:

«Постановление Верховного Совета Латвийской Республики О поддержке процесса демократизации в Российской Федерации Верховный Совет. Латвийской Республики постановляет:

1. Призвать демократические организации и движения Латвийской Республики организовать массовые акции поддержки процесса демократизации в Российской Федерации.

2. Поручить Совету Министров Латвийской Республики срочно организовать поставки продуктов питания для детей в районы забастовок шахтеров.

3. Предложить в ближайшее время созвать заседание Балтийского Совета в поддержку демократической России.

4……»

И так далее и тому подобное. Рука руку моет, ворон ворону глаз не выклюет!

Все было в республике — склады ломились от

остродефицитных товаров, продовольствие гноили, а потом вновь забивали им промышленные холодильники размером с многоэтажные дома. Потом выбрасывали, завозили новое и опять морозили, а потом — опять гноили. Та же ситуация была в Москве и Питере. Невзоров, надо отдать ему должное, сумел не только добыть факты, но и снять, как *это* происходило в Ленинграде! Как уничтожали поголовье на птицефабриках — забивали тысячами птиц и. оставляли разлагаться, потому что никто их не вывозил. Во время табачных бунтов на складах обнаруживали десятки тонн сигарет, папирос, махорки, спрятанных от потребителя. И так во всем. Саботаж! Организованный и тщательно скоординированный саботаж по всей стране, по всему Союзу. А теперь вот — координация забастовочного движения. Только наоборот. Если в Прибалтике русские бастовали, требуя восстановления конституционного порядка в стране, то в России шахтеры бастовали, требуя разрушения остатков действующей власти и передачи ее Ельцину. А независимые — с подачи России — прибалты всемерно поддерживали в ней же, матушке, шахтерские бунты. Схема работала.

Я опять стоял в тамбуре поезда Рига—Ленинград, опять курил одну за одной, вспоминая пролетевшую птицей неделю. Время спрессовывалось прямо на глазах. Казалось, что целые геологические эпохи пролетали в одно мгновение. Вроде бы совсем недавно я благодушествовал в армейской типографии, пил водку с печатниками во вторую смену, редактировал идиотские, но безвредные опусы Политуправления, ходил с дочкой в цирк и зоопарк, с женой — в театр. Но вот уже и Шапиро, говорят, скоро попросят вон вместе с русской труппой ТЮЗа. И выгоняет русский театр не кто иной, как маэстро Паулс, мать его ети! Еще недавно, перейдя в школу, я сдваивал уроки литературы своим десятиклассникам, водил их по окрестностям, показывал дом, в котором Горький, сбежав в Ригу после «Кровавого воскресенья» — 9 января 1905 года, укрывался у знакомой актрисы Русского театра и в котором он начал писать знаменитую «Мать». мать, мать!

Или дом, в котором родился Сергей Эйзенштейн, автор «Броненосца «Потемкин»! Мать. мать. мать. Ярчайший пример того, как делалась перестройка образца 1917 года… Мать… мать… мать! А рядышком — здание бывшего посольства Советской России в буржуазной Латвии, где Маяковский, которому латыши запретили публичные выступления в Риге, впервые прочитал свою поэму «Люблю». Хорошо еще, что я не мог знать тогда, что через пятнадцать лет в этом самом доме, снова

ставшем посольством РФ, я буду получать российское гражданство и «Удостоверение переселенца в Российскую Федерацию», чтобы вернуться в конце концов на постоянно убегающую от меня Родину.

Во-первых, как это ни странно, и Латвия — страна.

Все причиндалы, полагающиеся странам, имеет и она.

И правительство (управляют которые), и народонаселение, и территория…

ТЕРРИТОРИЯ

Территорий, собственно говоря, нет — только делают вид…

Просто полгубернии отдельно лежит.

А чтоб в этом никто не убедился воочию — поезда от границы отходят ночью.

Спишь, а паровоз старается, ревет — и взад, и вперед, и топчется на месте.

Думаешь утром — Напутешествовался вот! а до Риги всего верст сто или двести.

Республика много демократичней, чем у нас.

Ясно без слов.

Все решается большинством голосов.

(Если выборы в руках — понимаете сами — трудно ли обзавестись нужными

Голосами!)

голоснули, подсчитали — и вопрос ясен…

земля помещикам и перешла восвояси.

«Если выборы в руках — понимаете сами — трудно ли обзавестись нужными голосами!».

Вот и весь секрет независимости. А скоро так называемый «референдум» по этому вопросу. На самом деле — никакой это не референдум, а просто «опрос населения», не имеющий никакой юридической силы. К тому же. «трудно ли обзавестись нужными голосами»? Опять же, кто будет считать? Результат предрешен. А потом будут говорить, что «русские *тоже* голосовали за независимость»! Брехня. Но брехней этой будут прикрываться много лет. И брехню эту будут тиражировать в том числе и россиянские СМИ. Зачем? Да чтобы оправдать то, что России до русских в Латвии нет никакого дела! Маленькая Сербия и то, как может, борется за то, чтобы сербский народ не стал разделенным. И воевать за это с НАТО не побоялась! А россияне.

Я смешиваю 91-й год с нынешним — 2008-м… Больше не буду, право. Вот только гляну в окно, где клонит верхушки вырицких елей снежная метель, и снова обратно — в февраль 91-го года, в холодный тамбур плацкартного вагона — на рельсы, бесконечными серебряными нитками тянущиеся так близко под

ногами. Открыл дверь перехода, бросил окурок в снежную круговерть — и скорее захлопывать дверь, бежать в обманчивый уют душного вагона. Что за Ариадна раскручивает эти железные нити рельсов перед нами? Как там говорила Татьяна? «Пути небесные». Надо бы поискать Шмелева в Ленинграде, может, и правда уже издали.

В баре гостиницы «Дружба» снова та же компания. Хачик, Леша, Толя, Мишка Панков. Все со стаканами водки в руке. Только вместо треугольных бутиков с икрой по простой печенюжке! Голодно стало в Ленинграде! Надо не забыть достать «Беломора» фабрики Урицкого — взять в Ригу.

Все пьют, пью и я. Потом идем на студию — разговаривать. Леша предлагает вместе съездить в Эстонию — снять, как военные будут подрывать памятники эсэсовцам. Я отказываюсь — некогда, дел невпроворот и в Риге. Быстренько перегоняю в Бету свои кассеты — тоже со взрывами. Только это уже нас взрывают. Записываю короткий комментарий для «Факта» и убегаю этажом выше. Там, над главной редакцией информации, в которой я обычно провожу все свое время на Чапыгина, столовая. А перед столовой — ставшая легендарной и пока что еще непобедимой «Независимая телевизионная компания». НТК «600». Как Глебыч удержался от «666» — не понимаю.

Стучу в железную дверь — не открывают. Снова спускаюсь к Леше, тот звонит Невзорову от себя, я снова поднимаюсь наверх. Знакомый плакат «Ты убил дерьмократа?» первым встречает каждого входящего. Две комнатки, разделенные перегородкой. Вот и вся НТК. Невзоров торопливо доедает шницель с макаронами из студийной столовки. Свита суетится в основном у разрывающихся на части от звонков телефонов. Шурик быстро рвет у меня из рук записочку Мурашова, просит передать всем омоновцам привет и с набитым ртом грозно кричит своей ассистентке — симпатичной, но немолодой, стервозного вида брюнетке: «Этому человеку сделать все!» Та пытается что-то возражать, что некогда, что машина занята, что.

— Я сказал: э-то-му человеку сде-лать все и не-мед-лен-но! — наливаясь яростью, по слогам, медленно повторяет Шурик приказ. Он явно не узнает меня, но мне все равно. Мы обмениваемся символическим рупожа-тием, договариваемся встретиться на митинге на Дворцовой площади, и Невзоров с видом человека, у которого каждая секунда стоит миллиона человеческих жизней, срывается с места и убегает. Как потом оказывается, чтобы послать кого-то из своей команды еще за одним шницелем.

Я договариваюсь с ассистенткой о нескольких копиях всего

цикла «Наши», которые должны быть готовы к 19.00, поскольку вечерним поездом я уезжаю обратно в Ригу.

Та пытается стрясти с меня хотя бы чистые кассеты VHS, но я обещаю ей переслать их после, если так уж необходимо, ассистентка тоскливо смотрит через стеклянную перегородку на беснующегося в соседней комнате шефа и смиряется. Оператор и осветитель НТК, приехавшие с очередной съемки, красуются в новеньких спецназовских бушлатах — явно подарке Млынника. Я опять вспоминаю Маяковского… Ему бы, наверное, понравилось у Невзорова. Трагифарс, япона мать!

Нет, «трагифарс» — это Северянин, эстонский пленник. «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб!» Да не «трагифарс», а «грезофарс»!

«Ананасы в шампанском» у Северянина. А у Маяковского наоборот: «Ешь ананасы, рябчиков жуй! День твой последний»… Приходит, буржуй!!! Уже пришел.

Главное сделано, теперь можно идти обедать. Я захожу к Хачику в кабинет. Давидов мрачен. Его опять обещают выпереть из главных режиссеров. Повод — пьянство. Причина — постоянное соперничество с Бэллой Курковой и ее ультрадемократическим «Пятым колесом». Боюсь, что скоро «пятым колесом» в телеге Ленинградского телевидения окажутся уже мои друзья. После августа так и будет, только я этого пока еще не знаю.

В курилке у окна меня встречает Апухтин. Мы долго обнимаемся — как же, последний раз встречались на базе ОМОНа сразу после штурма МВД! Он предлагает подвезти меня на своей машине на митинг трудящихся, который ему поручено снимать для новостей. Заходим выпить кофе на второй этаж, беспрерывно здороваясь и тут же прощаясь с множеством разного телевизионного люда. Выпиваем по две чашки под сигаретку и несемся вниз, к широкой «паперти» телецентра.

По дороге на Дворцовую — Апухтин сам за рулем — посмеиваемся над неистовым Шуриком, который совсем недавно увлеченно собирал на том же месте митинги «демократической общественности» против «коммуняк». Теперь карты НТК перетасованы и сданы по-новому — поддержкой перестройки и Собчака уже никого не удивишь, и Шурик резко переключился на борьбу с «демократами». Телезритель восхитился и с еще большим аппетитом стал кушать «Секунды», ни на миг не отрываясь «свысока» от харизматичного ведущего в кожаной курточке — единственного человека в Питере, которому все верили безоговорочно.

«Кровь — сок совсем особенного свойства», — сказал

Шекспир. Помню, как первая красавица нашего класса Светка Даркова выловила из «Гамлета» эту строку и как мы пытались обсуждать ее на уроке литературы в девятом классе. Невзоров в этом соке купался. Потому, наверное, и сам уцелел, что напился этого сока у тысяч героев своих репортажей.

Но, смейся не смейся, а такой популярности, как у Невзорова, больше в истории советского, да и нового российского телевидения не было никогда и ни у кого — и не будет. Иногда казалось, скажет Невзоров в кадре: «Всем телезрителям прыгнуть из окна! Раз! Два!.. Три!!! — и на счет «три» шестьдесят миллионов телезрителей (такова была тогда аудитория ЛенТВ) — уже будут лететь в воздухе с телевизором в обнимку, чтобы не пропустить в полете последние секунды программы.

Сырой ветер мел снежную поземку по огромной площади, наполовину заполненной черным, в сумерках начинающегося зимнего вечера, народом. У знаменитой решетки ворот стоял покрытый кумачом грузовик с откинутыми бортами. Рядом водрузили огромные звуковые колонки. Мы с Апухтиным пробились через оцепление милиции и добровольных дружинников, тесно оцепивших грузовичок, и поднялись по вихляющейся лестничке в кузов. Апухтин, любивший снимать сам, расчехлил камеру и приник к видоискателю. Невзоров как раз заканчивал свою речь. Помню только, что знаменитый телеведущий беспрестанно поминал Латвию, Рижский ОМОН и «Белую гвардию» русских людей, в которую превращаются «Наши» ребята в Прибалтике. Резко оборвав выступление, Глебыч сорвал внушительные аплодисменты, тут же разнесенные ветром по площади, отраженные зданием Главного штаба и Зимним дворцом, столкнувшиеся вместе эхом очередного выстрела новой «Авроры».

Совершенно спокойный, Невзоров протиснулся во второй ряд и заметил меня.

— Вам все сделали?

— Обещали к девятнадцати часам сделать. Я вечером на поезд, что-нибудь передать ребятам?

Скажите Чеславу, я позвоню и держитесь там!

Глебыч внезапно круто развернулся и, подловив паузу в выступлениях, перехватил микрофон:

— Товарищи! Я хочу сейчас дать слово человеку из Риги, сегодня он уезжает обратно — на фронт! На передний край открытой борьбы с фашистами! — Недолго думая Невзоров вытащил меня за плечо из второго ряда и сунул в руку микрофон.

Я медленно обвел глазами притихшую Дворцовую площадь. Сумерки сгустились, толпа поэтому еще больше казалась

чернильным пятном, растекшимся вплоть до Александрийского столпа по мокрому, тут же тающему снегу.

— Товарищи! Дорогие русские люди! Братья и сестры! — Медленно подбирая слова, я обводил взглядом притихшую площадь. — Не время сейчас для длинных речей. Кончилось это время! От имени миллиона русских людей, борющихся с нацизмом в Латвии, от имени Интерфронта Латвийской ССР и Рижского отряда милиции особого назначения я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь ленинградцев за то, что вы даете всем нам в Прибалтике надежду! Надежду на то, что Россия и русский народ все-таки будут с нами, а не с теми московскими предателями, которые разваливают нашу великую державу; с нами, а не с теми, кто продает и предает русских по всей огромной стране!

Пройдет совсем немного времени, и мы с вами узнаем, кто на самом деле был нам братом в семье народов, а кто Иудой, до времени затаившим ненависть ко всем нам и предавшим нас при первой возможности за бутылку кока-колы и пожеванную жвачку из чужого рта! Будьте бдительны, товарищи! Умейте самостоятельно отличать правду от лжи, и тогда мы вместе будем непобедимы! Да здравствует наша Родина! Ура!

— Ура-а-а-а-а! — нестройно раскатилось по площади эхо, перешедшее в канонаду рукоплесканий.

Я приветственно махнул толпе рукой, отдал микрофон, прямо мимо объектива камеры Апухтина, снимавшего весь митинг, пробрался к заднему борту грузовичка и спрыгнул на снег, поскользнувшись и едва не упав. Сильной рукой меня поймал за плечо и поддержал Хачик.

— Молоток! Поехали ко мне, поужинаем!

Мы отошли немного в сторону от Дворцовой и поймали в качестве такси «Скорую помощь». За относительно небольшую мзду водитель «мухой» доставил нас на телецентр, где я слетал в НТК за кассетами с перегоном «Наших», а потом на Васильевский остров, там, в небольшой коммуналке на Гаванской улице, получил когда-то Давидов маленькую комнатку. Так и жил в ней, теперь уже с молодой женой, несмотря на серьезную должность и уже не юношеский возраст. Хачику было сорок два, а его жене — Светлане — ровно на двадцать лет меньше.

— Сейчас я вам «говнятинки» приготовлю по-гасконски! — споро поворачивалась на маленькой, хоть и коммунальной кухоньке Света. В одно мгновение она начистила уйму луку, порезала привезенную Хачиком вырезку — явно от повара-армянина из столовой на Чапыгина. Вывалила в сковородку поверх тщательно уложенных слоями мяса и лука банку сметаны

и поставила тушиться.

Мы с Хачиком уже сидели в маленькой комнатке, заставленной мебелью, и смотрели по телевизору новостной сюжет о митинге, с которого только что приехали сами.

Вот Невзоров, похожий на Наполеона в кожанке, а вот и я — крупным планом, медленно, как куски от сердца отрываю, произношу первые слова «Товарищи! Братья и сестры!». И панорама со второй камеры по притихшей враз толпе через мокрую метель пушистого снега.

— Ты бы еще как Джамбул начал, — засмеялся Хачик, разливая по первой, — «Ленинградцы, дети — мои!»…

— Да я как-то не думал выступать сегодня — это все Невзоров. (Мне и правда было неудобно за свой немудреный экспромт.)

— Чего ты комплексуешь? — удивился Давидов. — Народу понравилось — это главное! Ты когда в Ригу едешь?

— Хотел сегодня! Теперь поеду завтра! — Я расслабился, согрелся и чуть не мурлыкал в уютной обстановке среди своих в доску — родных людей.

— Отлично! — оживился Хачик и хищно потянул воздух, раздувая ноздри огромного армянского носа. — Сейчас Света горячее принесет! А ночевать у соседки будешь, она уехала к внуку, ключ нам от своей комнаты оставила — как раз на случай гостей непредвиденных.

Хачик неоднократно бывал в Риге по нашим общим делам, частенько останавливался у меня дома, даже со Светой раз приезжал на недельку, так что я тоже не стал чиниться и с радостью согласился. Засиделись мы допоздна. Утром я проснулся на соседкиных перинах и долго еще валялся в постели, глядя в потолок и соображая потихоньку — на каком я свете и как же мне теперь жить дальше.

Света давно убежала на работу в свой исполком, где отсиживала место на какой-то непыльной должности в одном из отделов. Хачик. А где Хачик? В соседней комнате что-то зазвенело, упало и покатилось, сопровождаемое матерным шипением. Хачик был дома. Я с сожалением выбрался из мягкой постели, кое-как натянул брюки и побрел в туалет. Потом умылся с наслаждением, побрился и наконец-то увидел хозяина. Хачик сидел на кухне, напевал про себя что-то армянское и меланхолично пил пиво.

— Доброе утро, дорогой!

— Доброе, коли не шутишь! А ты что, из-за меня на студию не поехал? Разбудил бы меня пораньше, я бы и слинял в город, не стал бы вам мешать.

— Перестань! Мы с тобой уже давно «работаем»! Я Севе позвонил с утра, сказал, что мы поехали в Смольный — договариваться о съемке.

— О какой еще съемке?

— А я знаю? Потом придумаем. Вот только в магазин схожу, позавтракаем и обязательно придумаем!

— У меня билет пропал. Хачик, ты не позвонишь начальнику вокзала насчет нового?

— Позвоню, позвоню, вот схожу в магазин и позвоню! — Давидов впал в меланхолию.

Чтобы меланхолия не переросла в депрессию, я сам быстренько оделся и выскочил на улицу до ближайшего гастронома.

Когда мы выпили по стопочке-другой под остатки вчерашнего мяса, не преминув вспомнить знаменитый булгаковский пассаж о похмелении Воландом Степы Лиходеева, Хачик воспрянул духом и сделал мне предложение:

— Валера, а ты не думал о том, чтобы бросить к черту своих латышей и перебраться в Питер? Работать будешь у нас, возьмем тебя редактором в «информацию и пропаганду». Процесс ты уже знаешь, опыт новостной и журналистский у тебя вполне достаточный. Начальство против не будет, да я и сам такие вопросы могу решать — в пределах своей компетенции. Зарплаты небольшие, но зато все остальное — всегда к твоим услугам, телевидение у нас уважают.

— Долго ли усидит это твое начальство, Хачик? — сморщился я невольно, вовсе не от очередной стопки. — А жить где? Ты сколько лет работаешь и все в коммуналке сидишь. Лешка с женой — оба работают на студии два десятка лет, а все с мамой на Восстания живут. Тышкевич свою трехкомнатную благодаря жене получил, когда та еще на Адмиралтейском работала.

— Можно снимать первое время! Или поменять твою в Риге!

— Этот поезд с обменом давно ушел, Хачик! Латыши обмен с Россией еще в прошлом году запретили. Алла в никуда не поедет, однозначно. Бросать жену с ребенком — тоже не вариант. Да и потом, надо же разобраться до конца с этой латышской революцией, Хачик! Если у нас там будет звиздец, то, думаешь, его в России не будет? Да вас самих, не дай бог, конечно, выкинут с канала в ближайший канал. Что там у вас поближе? Речка Карповка?

Хачик даже не улыбнулся моему дурацкому каламбуру, сидел, нахмурясь, как когда-то его прадеды над побитой градом лозой.

— И куда я тогда денусь? Нет уж, спасибо, конечно! В советское время я бы за такое предложение двумя руками ухватился — лишь бы на хорошее телевидение попасть из нашего провинциального болота! Да только время у нас сейчас. хер его знает, короче говоря, какое у нас сейчас время! Нехорошие у меня предчувствия, Хачик! Такое впечатление, что не хватает только последнего решительного мазка для того, чтобы завершить картину Репина «Приплыли!».

— Так тебе тогда развязываться надо с Интерфронтом и с ОМОНом, уходить в тину! Э! Ара! Я знаю, как у нас теперь в Армении.

— Да у вас вообще война полномасштабная в Армении! Я тоже знаю. У тебя там мать. А у меня в Риге родители, семья. теща, в конце концов. Но не это главное, главное — пока нас не прикончат, я сам не сдамся.

— Ну и дурак же ты, Валера!

— Сам дурак! Если ты такой умный, просился бы к Курковой режиссером на «Пятое колесо»!

— Да ты за кого меня держишь?! — вскипел Хачик.

— А ты меня за кого? — тихо спросил его я. Мы помолчали.

— Тебе от Мишки привет, — вспомнил вдруг Хачик.

— От Лысенко?! Где он сейчас?

— То в Москве, то у нас где-нибудь, в Питере. Забастком эстонский помогает по чуть-чуть. Ну, мы, чем можем. Даем ему эфир, нашли юриста опытного. Он тебя благодарил за статьи в его поддержку.

— Да что статьи.

Миша Лысенко — председатель Забастовочного комитета Эстонской ССР — был вынужден скрыться от эстонских властей в связи с обвинением в «попытке государственного переворота». 15 мая прошлого года, в тот день, когда мы в Риге штурмовали латвийский Верховный Совет, протестуя против принятия им Декларации о независимости, Миша предпринял такую же и даже более успешную акцию в Таллине. У них не было ОМОНа, который нам тогда спутал все карты в Риге. И хотя после того, как русские заняли внутренний дворик парламента Эстонии и водрузили над зданием красный флаг, Лысенко сам предпринял все для того, чтобы предотвратить кровопролитие, и увел своих людей, удержав от дальнейших столкновений с эстонской полицией и боевиками НФЭ — Мишку тут же объявили в розыск. Какая советская власть в Эстонии? Какое верховенство законов СССР? С мая 90-го года Лысенко так и курсировал по России, пытаясь добиться правды в союзных инстанциях. Безуспешно. Миша не мог попасть ни в Ригу, ни в Вильнюс — мы не могли

полностью гарантировать ему безопасность — разве что запереть на базе ОМОНа. А в Москве никому дела не было до того, что председатель эстонского Забасткома защищал Конституцию СССР и действовал в поддержку президентского указа, объявившего все прибалтийские декларации о независимости недействительными.

Мы с Мишей успели подружиться во время коротких, но довольно частых совместных мероприятий в Ленинграде — вместе устраивали встречи с рабочими крупнейших предприятий, оказавших всем нам немалую поддержку.

15 мая прошлого года мне тоже пытались предъявить обвинение в попытке совершения «государственного переворота». Статья 59 УК Латвийской ССР — измена Родине. За ее защиту… Мне повезло, оказалось трудно доказать документально, что именно я организовывал это мероприятие в Риге. Алексеев уже был депутатом ВС и сам находился в здании парламента во время штурма. Тоже не сумели зацепиться. А вот Миша — парень рабочий и осторожности не обученный — попал под каток. Впрочем, ситуация в республиках тоже была разной. У нас был Рижский ОМОН. Интерфронт тоже считался организацией, с которой особо зарываться не стоило. КГБ ЛССР предпочел в тот момент «закрыть глаза» и сохранить нейтралитет в наших разборках. У латышской прокуратуры и латышского МВД против Интерфронта и ОМОНа руки оказались коротки. А Мишка остался внезапно без прикрытия и вынужден был уже год, оставив семью в Таллине, скитаться по России. Вскоре пути наши пересекутся в Приднестровье, но это вскоре.

Мы покурили, допили бутылку и поехали на Варшавский вокзал — покупать мне билет на вечерний поезд. Без Хачика я бы там торчал в очереди весь день, и то не факт, что уехал бы.

Потом Давидов отправился на Чапыгина, а я поболтался по Невскому, безуспешно прошерстил продуктовые магазины в стороне от главного проспекта, перекусил в рюмочной на площади. уж не помню, как она тогда называлась… Сейчас площадь Александра Невского. Питер все больше и больше стал напоминать иллюстрации к книжкам о революциях, которым город был колыбелью. Слава богу, хоть шоколадок местных накупил дочке. А больше — фиг. Ни гуся финского мороженого, ни консервов, ни просто колбасы, кофе или чая — ничего не удалось прикупить. А в Риге вообще — голяк уже. Доперестраивались. Конечно, все это где-то лежит, затаренное до поры до времени — до окончательной победы Ельцина над собственной страною… Но мне не дотянуться. Ладно, переживем. Я купил еще двадцать пачек «Беломора», чудом подвернувшегося в маленьком ларьке на Владимирском проспекте, сел в метро и

поехал на вокзал. Шесть кассет с передачами Невзорова лежали у меня в сумке, да еще Апухтин обещал к поезду привезти перегон со своей камеры на память о моем выступлении с грузовичка на Дворцовой площади.

Синие горы Испании,
И водка в хорошей компании,
И пачки зеленых банкнот,
И тетради аккордов и нот,
И все, что случилось ранее, —
Не стоит твоих забот.
Ведь вот уже скоро год
Я твой персональный Кот.
Я твой персональный код
Из слов, привычек, любимых книг.
Я твой полуночный крик.
Синие горы Испании
Я вспоминаю тогда,
Когда говоришь со слезами мне:
«Останься со мной навсегда!»
А я целую твои глаза,
А я не знаю, что мне сказать?
Валенсия снится мне.
А я — молодой жене.

Пройдет время, и я, живой и невредимый, на самом деле прилечу летней ночью в Валенсию. И запах цветов окутает меня уже в аэропорту. А когда утром я выйду на огромную лоджию гостиничного номера с двумя спальнями, кабинетом и отдельной комнатой вместо платяного шкафа. Когда я сяду в плетеное кресло, отопью первый глоток кофе и закурю первую в этот день сигарету… Тогда, этим ранним утром я увижу с высоты своего двадцать второго этажа панораму лежащего подо мной сказочного города: и голубые горы вдали, и даже краешек моря, а главное — небо! Небо будет такого цвета, каким оно могло быть, мне казалось раньше, только в рассказах Хемингуэя. И молодая, очень молодая жена у меня будет — правда, недолго. А еще я объеду всю Европу — от Стокгольма до Кентербери, долечу до Австралии, объеду весь Ближний Восток, который навсегда отобьет у меня желание вернуться, искупаюсь в Индийском океане, попинаю колесо «Стеллса» на американской базе ВВС «Диего-Гар-сиа», схожу в рейс на норвежском танкере, и еще много чего покажет мне Господь в милости Своей для того, чтобы, сидя в Вырице под елками, я больше не рвался никуда и ни о чем

не желал, кроме одного — вернуть давно ушедшую музыку, которая в молодости иногда все же слышалась мне в словах.

Когда-нибудь за мной все же придут. Не в Латвии, так в России. Я это твердо знаю. Лишь бы Катю не трогали. Зачем пишу? В надежде, что рукописи не горят и Тимофей найдет мое уцелевшее при небрежном обыске письмо? Не знаю. Я ничего не знаю. У меня давно не осталось секретов и примечательного ничего не осталось — рассказать скучающему человеку при случае. Тогда зачем пишу? Так вспоминать легче. Ведь это была моя жизнь. Какая ни есть, а она у меня одна. Жалко. «Жил-был я. Стоит ли об этом?»

Глава 11

(Из рукописи Иванова)

Кассеты с записью передачи Невзорова о Рижском ОМОНе тут же пошли в дело. Одну копию я отдал на базу, за что был упоен в стельку и отлеживался потом все выходные дома под долгоиграющие нотации Аллы и неодобрительные взгляды дочки и даже кота Бегемота. Еще одну копию — со всем циклом — мы размножили в нашей студии в десятках экземпляров и разослали по районным советам Интерфронта по всей республике, а там уже коллеги сами устраивали коллективные просмотры на предприятиях и в различных организациях. Еще одна кассета пошла в войска.

Ко всем невзоровским программам мы подписывали свои документальные фильмы — как производства интерфронтовской студии, так и наиболее значимые совместные с ЛенТВ проекты. Но и этого не хватало. После того как Ленинградское телевидение в Прибалтике блокировали, спрос на Невзорова вырос необычайно. В тот момент Глебыч играл на нашем поле, и мы этим активно пользовались.

Я дозвонился до НТК «600» и попросил права на распространение знаменитого цикла «Наши» в аудио и газетном формате. Невзоров согласился, и тогда мы представили «Секунды» в интерфронтовской газете «Единство» и на радио «Содружество» — один текст, без картинки. И все равно это работало. Главное — результат.

Невзоров не имел тормозов совершенно. Я бы никогда не написал такой текст и не снял такую передачу. Внутренний цензор, тщательно вычеркивающий всякую фальшь, неточность, патетическую фразу, часто мешал мне и многим моим коллегам той поры.

Со временем я тоже от многих сдерживающих факторов избавился. Но Невзоров, конечно, мастер убойной журналистики. Латышские и прочие «демократические» борзописцы на его фоне были лишь лживыми шакалами. Как там у Ильфа с Петровым: «гиены пера и шакалы ротационных машин», не больше. Но зато беспринципность Глебыча с лихвой перекрывала его недюжинный талант и в результате похоронила его самого. Выращивает лошадок — пусть, это не самое страшное, что могло бы с ним случиться, особенно после сотрудничества с Березовским на закате телевизионной карьеры.

«Черные береты», или «18 часов в городе Риге»

«Демократические и независимые» средства массовой информации «суверенной Латвии» достигли совершенства в глушении неугодных им передач, радио и телевидения. Это все в полной мере относится к передачам Ленинградского телевидения, особенно в отношении к материалам Александра НЕВЗОРОВА. Телезрители Латвии могли в этом убедиться еще раз, когда передача «600 секунд», посвященная событиям, в нашей республике, была по-пиратски прервана и заблокирована Латвийским телевидением. (что, впрочем, произошло далеко не в первый раз).

Но, исходя из пожеланий наших читателей, мы связались с А. Невзоровым, и сегодня представляем, вашему вниманию расшифровку передачи, трансляцию которой оборвали в латвийском, телеэфире.

Александр НЕВЗОРОВ и его независимая телекомпания представляют:

ПРОГРАММУ «ПАНОПТИКУМ». РЕПОРТАЖ 21. «НАШИ». Часть пятая и последняя.

Рига. 3 февраля. Штаб Рижского ОМОНа — Отряда милиции особого назначения, отказавшегося подчиниться МВД Латвии и сохранившего верность Союзу.

Эти ребята легко берут в плен генералов, а как-то ради шутки ненавидящему их министру внутренних дел, перехитрив всю его охрану, подложили прямо на стол, прямо в его кабинете записочку: «Привет от «черных беретов», министр!»

Не только здесь, но и во всей стране уже страшная аббревиатура — ОМОН — стала означать нечто большее, чем просто — Отряд милиции особого назначения.

По городу ОМОН передвигается только так: задняя дверь УАЗа нараспашку и в дверь выставлен ствол пулемета, в окна — стволы автоматов. В штабе — пулеметные гнезда, мешки с песком, пулеметы на крышах и на окнах. И всюду, круглые сутки, в руках, на плечах, на коленях, всегда — автоматы.

По сути дела — война. Война, которой никто не хочет.

Не хотят омоновцы, ибо не может хотеть нормальный человек сутками напролет смотреть на мир через амбразуру в пулеметном, гнезде, через совмещение целика и мушки на автомате. Не может, хотеть дом. свой, из которого давно вывезена и спрятана семья, посещать раз в месяц, тайком, ночью.

Каждую минуту ожидаешь, что загремят, очереди и пули защелкают по маленькому дочкиному портрету на стене.

Не хотят и здесь, на хуторах, на дальних и ближних латышских хуторах, где тоже наши. Русские наши. Латышские наши. Всякие. И потому у самых дальних от всех этих

политических беснований, даже у латышской крестьянки, муж которой русский, каждую секунду на глазах слезы надежды, страха, беспомощности.

— Что вы плачете?

— Просто вспомнила, когда была война… Я маленькая была, но все помню.

— Что для вас самое сейчас важное? В вашей жизни?

— Чтобы спокойно работать и внуков вырастить, чтобы они ничего не видели такого плохого, чтобы войны не было.

Чеслав. *Командир ОМОНа.*

Поляк. Крутой, умный, веселый и жестокий мужчина. При необходимости давать интервью напускает на себя необыкновенную важность и степенность и на себя полностью перестает быть похож.

— Чеслав, с кем вы боретесь и за что вы боретесь?

— Мы боремся с фашизмом, который все больше и больше процветает на территории Латвийской ССР. Мы остаемся до конца верными данной присяге.

— Ты помнишь, что сейчас пришло время, когда человек, который на территории этой страны пытается сохранить верность присяге, рано или поздно окажется преступником?

— Да, мы это осознаем, и мы прекрасно это видим, на деле, потому что на территории Латвийской ССР нас лишили статуса работников милиции. Мы вне закона. Приказ 018 от 17 января, подписанный господином Вазнисом, как его сейчас называют, разрешает работникам латвийской милиции стрелять в нас без предупреждения при появлении возле их объектов.

— К вам идут люди или нет?

— Да, идут. Я только могу привести такой вот. пример — за последний месяц к нам пришло тридцать человек.

Слава. *Командир штаба ОМОНа. Русский. Пулей из автомата за 50 метров навскидку бьет маленькую лампочку. В бою равных даже здесь, в ОМОНе, восемь человек из которого берут МВД, где несколько десятков охраны, ему, кажется, равных нет Человек основательный и спокойный.*

— Чего ты, вот ты, хочешь в жизни?

— Чего я хочу? Восстановления советской власти в Прибалтике, во всей. Эстония это, Латвия или Литва. И не хочу, чтобы, черные, коричневые становились у власти. Вот что я хочу.

— И за это ты дерешься?

— Да, и за это я дерусь.

— И будешь драться?

— И буду драться до конца.

Краповый, или же Дед. *Прапорщик спецназа. Прозвище*

Краповый заслужил за цвет, берета. Прошел все, что можно и нельзя. Без него не обходилось и не могло обойтись ни одно спецназовское дело. Ворчлив, добродушен, но очень сам себе на уме.

Солдат, который пережил на службе десятки командующих, четырех генсеков, привык к подлости и идиотским поворотам нашей политики, к генеральскому предательству, ко всему привык.

— Мы хотим законности и порядка в Советском Союзе, для того чтобы люди не страдали и не жили с оружием.

Их на самом деле немного. Но Чеслав — командир отряда — храбрец.

— Нас достаточно, чтобы навести в Риге порядок. Их немного. Но их боятся. Боится правительство, боятся и ненавидят министры. От слова «ОМОН» трясет Народные фронты и подпольные, полуподпольные и явные националистические фашистские организации типа департамента охраны или местного МВД.

— По сколько тысяч предлагают, чтобы вы отсюда ушли?

— Последнее предложение было таким: каждому омоновцу выплатить по пятьдесят, тысяч, чтобы, мы вышли за пределы, республики.

— Но вы не уйдете?

— Нет, подразделение отсюда не уйдет, это однозначно.

— Но вас же все равно сдаст Москва, вас же все равно рано или поздно объявят вне закона.

— Мы ставили такой вопрос на общем, собрании подразделения — вопрос стоял однозначно, что, даже если нас сдаст Москва, мы отсюда не уйдем.

Странно. Дикая вещь.

Над омоновским оцепленным лагерем — простреленный красный флаг, который нынче в Союзе поднять, почти всюду, можно только подприкрытием пулемета.

Ведь что-то подобное уже было. И ОМОН, и десантники, и краповые, и все прочие, сохранившие понятие чести и присяги и готовые умереть в любую минуту, все больше и больше напоминают Белую гвардию. Тоже объединившую когда-то людей, не пожелавших среди беснований, мгновенной перемены идолов и цвета знамен забыться вместе со всеми, но не забывших чести и присяги. Все это у нас уже было — это Белая гвардия, и судьбу ее мы знаем.

Сейчас, да и по нескольку раз в день, глядят омоновцы одну и ту же затасканную пленочку: 20 января, МВД. День, назначенный для расправы, с ними, когда их заманили под огонь, спровоцировали на бой в МВД. Только в январе—феврале пять подобных случаев.

Дорога на Вецаки. Два часа ночи. 3 февраля.

Омоновская новенькая «Волга» без пулеметчиков и прикрытия. В машине все руководство ОМОНА: Чеслав, Слава, старшина.

— Славик, ты. живой? Саша! Не выглядывай, не выглядывай! ***(Автоматные очереди, бой в ночном лесу.)***

Кому угодно принять это за инсценировку — пусть принимает, тот, кто был в бою, — не спутает. Тут хорошо видно — бьют в упор по машине, сразу пробив багажник и бак. Стреляют, трассирующими, чтобы, поджечь. Машина, остановленная на полном, ходу очередью по колесам, и кузову, врезалась с людьми, в ней сидящими, в столб. Потом полетели гранаты. Ночью, в лесу, снять что-либо практически невозможно. Мат, автоматный грохот, перебежки, темнота, елки. В общем-то пустяки. Позже задержаны люди, у которых — запись приказов по эфиру, номер омоновской «Волги», график ее перемещения. Впрочем, это действительно «пустяки», поскольку обошлось без трупов.

И втягивают, головы, в плечи люди на хуторах, и страшнее с каждой минутой жить им, да и прочим, кто молится, чтобы и Латвия, и Прибалтика, и страна не стали одной большой дорогой на Вецаки. И не уйдет мятежный ОМОН из рижского пригорода, понимая, что, по сути, он один сейчас маленькая плотина, удерживающая здесь те водопады и потоки крови, которые хлынут на землю Союза, когда начнут делить Союз те, кто никакого отношения к созданию его не имел. И людей в расчет, не принимают. И тогда тысячами и сотнями тысяч будут гибнуть люди.

И не съемочная группа написала это слово **(НАШИ)** *на рожках автоматов. Эти слова здесь пишут сами омоновцы: грузины, латыши, русские. Этими словами подписывают адресованные им письма.*

Понимающие чуть больше, чем остальные, и верные чести — солдатской, офицерской и человеческой, **наши., это все те нормальные люди в Союзе, кто не хочет войны и крови, кто хочет жить, но и умереть тоже готов.**

Штаб ОМОНа. Рига 3 февраля 1991 г.

Номер «Единства» с расшифровкой дикторского текста из «Секунд» разошелся мгновенно. Тиража не хватило, пришлось допечатывать. Когда я привез пачку газет на базу, Эдик Чечава — единственный, по-моему, грузин в отряде, да еще рижанин с огромным стажем, от души посмеялся над абзацем с «грузинами». Но люди были довольны. А я вскоре получил письмо из суда с копией иска министра внутренних дел Вазниса по поводу клеветы на него и его министерство в нашей газете. Обиделся, что его министерство Невзоров назвал «фашистским». Не первый иск ко мне и не последний. Ладно, скоро Вазнис запоет совсем другую

песню.

— Виктор Имантович, что новенького в столицах? — Один из лидеров парламентской депутатской группы «Союз» полковник Алкснис все реже появлялся у нас на Смилшу. Он ведь был еще и депутатом ВС Латвии. Я так и вовсе, не считая митингов, в которых он, бывая в Риге, всегда принимал участие, виделся с полковником в последний раз еще летом. Да и то случайно — в карельской Кондопоге. Мы со Свораком приехали туда на ЦБК — добывать бумагу для «Единства».

Бумага была в то время страшным дефицитом и шла на вес золота. Но нам помогли, выделили вагончик — это была большая удача. Зато на вокзале огорошили — билетов на Ленинград нет Ни на один проходящий поезд. Что делать? Тут как раз к билетной кассе подошел Алкснис. Мы обрадовались — депутат Верховного Совета СССР наверняка мог и нам помочь с билетами. Не очень охотно, но помог. За что и теперь скажу «спасибо». Супруга, оказывается, у Виктора из Кондопоги, навещал тещу полковник. И нам повезло.

И вот наконец поймали неуловимого полковника. В моем кабинете сидит Андрей Рискин — капитан третьего ранга, военный журналист, часто печатающийся у нас в «Единстве», и берет интервью у Алксниса. Я занят своими делами, но слушаю краем уха эту беседу. Краем уха, потому что потом все равно буду читать материал Рискина перед сдачей его в номер.

— Какие еще новости? Положение уже не критическое, налицо все признаки катастрофы. Я встречался недавно с системными аналитиками, занимающимися политологическими исследованиями на базе математических расчетов. В том числе для высших лиц страны. Аналитики прямо говорят о наличии в руководстве партии и государства значительной прослойки людей с партийными билетами на руках, но являющихся ярыми антикоммунистами. Эти люди находятся на высоких постах и серьезно влияют на события в стране. Кроме того, они имеют обширные связи с Западом. И все, что сейчас происходит в стране, — итог хорошо скоординированной деятельности этих личностей. Основная цель этой прослойки — смена общественно-экономической формации. Понятно, что это процесс сложный, тем более что социалистические идеи, несмотря на определенный кризис, все еще пользуются популярностью в народе. И бесспорно, что просто так социализм уничтожить не удастся.

Виктор говорит горячо, как с трибуны, немного невнятно, правда, но логично, не теряя хода мысли, как будто формулу выписывает — инженер все-таки.

— Тут нужна диктатура, причем диктатура фашистского

толка. А важнейшим условием является то, что на момент ее возникновения в стране должна быть компартия, как организация скомпрометировавшая себя полным развалом страны. Чтобы таким образом выработать у народа аллергию к коммунистам. Главный принцип всех расчетов — «чем хуже, тем лучше». Так что нам только кажется, что негативные явления происходят спонтанно, на самом же деле это звенья одной цепи.

Я машинально киваю, соглашаясь с Алкснисом — стоит увидеть, как гноят продукты и табак, дефицитные товары держат под замком на базах, организуя ажиотажный спрос; стоит только послушать наших железнодорожников, которые вынуждены гонять по стране тысячи составов с насущно необходимыми людям грузами, тысячи составов, которые годами колесят по стране, отправляемые в никуда.

Алкснис начинает говорить о нелепых кадровых перестановках, разрушающих управление страной, о развале армии и подрыве ее престижа прессой. тут я отключаюсь на свои дела — все это давно известно, к сожалению. Ага, вот Алкснис называет имя Александра Яковлева — главного идеолога перестройки и руководителя агентов влияния запада. Кто бы спорил? Стоило мне недавно в Ленинграде, на встрече с активом Куйбышевского (центрального) райкома партии, произнести имя Яковлева — солидные дядьки стоя мне аплодировали только за то, что я публично назвал его главным предателем страны. Конечно, они знали это и без меня. Публично сказать боялись — партийная дисциплина, понимаешь ли, их держит. А ведь взрослые люди, опытные руководители… Как бараны на бойне — сами дисциплинированно ждут, когда их же руководство их же зарежет!

— Мне попала в руки информация стратегического плана… — говорит Алкснис, и я снова прислушиваюсь. — Встреча народных фронтов и Руха имела место. Я знаю город в Польше, где это происходило, состав участников встречи.

Ну, тут и без деталей все ясно. Только в Риге фактически легально действуют в качестве советников НФЛ десятки сотрудников ЦРУ, британских и немецких спецслужб.

Ельцин в июле опять отдыхал в Юрмале, уже будучи Председателем ВС России, встречался с Горбуновым, Ландсбергисом, Рюйтелем, но главное все они получали указания своих западных кураторов. Сотни и тысячи латышей, эстонцев, литовцев, грузин, украинцев и, конечно, россиян тоже регулярно отправляются в длительные командировки за рубеж и там готовятся целенаправленно к роли туземной полицейской администрации, создаваемой Западом для распадающегося

Советского Союза.

Рискин задает все же сакраментальный вопрос, который я давно уже поджидаю:

— А какова роль президента во всем этом?

Алкснис напрягся и заговорил медленно, тщательно обдумывая каждое слово:

— Михаил Сергеевич — честный человек. Но слабый. На мой взгляд, он находится под мощным давлением тех группировок, о которых я говорил. Слабость Горбачева в неумении самостоятельно разрабатывать теоретические концепции перестройки. И он пользовался расчетами интеллектуалов теневых группировок. Правда, по моим данным, сейчас он порвал с ними. К чему это приведет? Посмотрим.

Я неинтеллигентно и крайне разочарованно присвистываю. Виктор, уже тогда набравшийся спеси столичного депутата, смотрит на меня с крайним раздражением.

Едва сдерживаясь, я извиняюсь и направляюсь к выходу.

— Не буду вам мешать, товарищи! До свидания, Виктор Имантович!

— До свидания, — хмуро буркнул полковник, пришедший к нам через баррикады в штатском, и снова обернулся к невозмутимому, маленькому, настырному кап-три Рискину.

Я спустился на этаж ниже, в редакцию. Зашел к Володьке Рощину в кабинет, но его нет на месте. Только молоденькая девчонка, взятая на испытательный срок из «Голоса Земгале», стучит неуверенно на его машинке. Девчонка фигуристая. Высокая грудь, задница в джинсах — просто фантастическая. Ума нет — совершенно. С кем работать? Заметив мой скептический взгляд, девочка вспыхивает, робко здоровается и вылетает в редакцию. Я сажусь за Володькин стол и рассеянно перелистываю макеты. Тоска!

Наталья, наш боевой главный бухгалтер, тоже пытается найти Рощина. Сидим с ней вдвоем в его кабинете, курим. Говорить не о чем. С одной стороны — дел невпроворот. С другой стороны. Я коротко пересказываю Наташе беседу Рискина с Алкснисом. Она сначала хмурится, потом подбадривающе подмигивает мне сквозь дым больным от постоянного напряжения, небрежно накрашенным глазом:

— Ничего, Валерка! И не из такого дерьма выкручивались!

— Ага. — уныло киваю я. — Душно что-то. И скучно. Работы — не про-дыхнуть. Да только как послушаю партийных товарищей — от Рубикса до Алксниса — с их верой в «честного Горбачева», который «всем еще покажет». Блевать хочется!

Тут я вспомнил, как год. полтора? Уже почти два года назад!

Меня снимали московские кинодокументалисты. Долго искали подходящую натуру, потом почему-то поставили на перроне вокзала, перед уходящим поездом Рига—Москва. За спиной, как я прикинул, у меня в кадре должны были быть еще шпиль собора Петра и знаменитые вокзальные часы.

— Ну скажи же ты, парень то, что на самом деле думаешь! — почти орал на меня старый толстый режиссер. Звукооператор в наушниках, присев на корточки, безучастно перематывал пленку магнитофона. Оператор раздраженно поглядывал на солнце, то выглядывающее из облачков, то пропадавшее в них. А я все никак не мог сосредоточиться и найти подходящие — одновременно жестокие и правдивые и вместе с тем в меру лояльные слова о Горбачеве.

— Ну что тебе терять, чего ты боишься? — все кричал мне режиссер. А я все мямлил и мямлил что-то о деструктивных силах и националистических настроениях.

— Стране песец, ты же лучше меня это понимаешь, так и скажи, прямо, нечего тебе терять и нечего бояться, ты же не секретарь райкома! — бесился режиссер.

Это был мой первый день работы штатным сотрудником Интерфронта. Но, вспомнив тот позорный день, жалеть опытного депутата Верховного Совета, «целого полковника» Алксниса я не стал. Шел уже год 1991-й. Не до сантиментов было.

Времени все меньше остается у меня. Интуиция, предчувствия, постоянное ощущение чужих, пристальных глаз за спиной. Впервые после возвращения в Россию я вспомнил эти давно забытые чувства. Паранойя? Не иначе. Но предчувствия меня никогда не обманывали, на этом держалась моя работа — выхватывать буквально из воздуха тенденции, ловить верхним чутьем направления потока силы. «Все будет хорошо! Или. плохо», — любил изрекать директор нашего телеканала когда-то, в той, прошлой — рижской — жизни. И никогда не ошибался. Сейчас он работает в мебельном магазине. Канал накрылся медным тазом в 2000-м, за русский язык. Тогда же Латвия начала торопливо готовиться к вступлению в ЕС и НАТО. Подготовка заключалась в первую очередь в крайнем обострении националистических болезней и окончательной зачистке воли к жизни оставшегося русского населения. В России к власти внезапно пришел подполковник КГБ Путин. Я стал присматриваться снова к отдалившейся от меня при Ельцине Родине.

Я еще побарахтался, открыв для себя Интернет и связанные с ним возможности. Я еще хлопнул дверью, выйдя из политического небытия. Но мой аналитический портал слишком

точно предсказал будущее Латвии после очередной потери «независимости», после вступления ее в ЕС и НАТО.

И я сказал себе: «Хватит! Я никому и ничего больше в Латвии не должен! Я не буду опять тянуть оставшихся русских за яйца в счастливое будущее. Никто меня, тем более, об этом не просил». Я взял шинель, жену, родителей, тещу, тетку жены, обоих котов и вернулся в Россию.

«Может, просто не весь я вернулся назад?» — писал Иванов когда-то про свое возвращение из России в Латвию после 91-го года. Я писал. Теперь вот опять интуиция.

«Утренний воздух марта особенно дик и свеж. Но не движется с места барка моих последних надежд», — Эренбург писал. Это стыдно — любить стихи Эренбурга?

Я выхожу ночью в сад, вслед за мной, потягиваясь со сна, трусит верная долгу овчарка — охранять, вдруг кто-то обидит «папу»? Я всегда любил собак, с пограничного детства. Но потом мне стало не до них из-за жизни в городе, и я стал завзятым «кошатником». Как герой папы Хэма в «Островах в океане». Там, в самом конце романа. Потом я стал считать, что собак заводят только те, кто боится. А я вернулся в Россию, и мне не было страшно. Но у соседа два волкодава — «мальчик с девочкой», — и у них народились щенки. Он сказал — выбирай себе одного, а остальных я утоплю. И так у нас появилась Марта.

И мы вместе нюхаем ночной воздух и обходим границы участка по обледеневшей брусчатке. Я так люблю вырицкие ели, их остроконечные, как в песне, верхушки, и излучину Оредежа, и березы на пригорке — такая малость, скажет кто-нибудь.

Вернулся к компутеру, пролистал страницы своего редко-редко посещаемого ЖЖ.

Нашел подходящее по настроению:

Фотография времени

Вышел ночью во двор, проветриться после сигарет, и компутера. Включил наружное освещение, чтобы в лужу невзначай не вляпаться. Походил кругами по дорожкам, поглядел на черные ели вокруг, на раскидистую черемуху у калитки, послушал капель.

Снег тает, как фотобумага в проявителе. Сперва на фотографии весны появляются силуэты деревьев, еще недавно белые и пушистые. Потом проступают дорожки — кубиками брусчатки, все резче и резче. По краям дорожек начинает зеленеть прошлогодняя еще трава. Дом обретает четкие очертания, окаймленный проталинами со всех сторон, службы…

Чуть пополощешь сознание воздухом, и начинают, связываться в жизнь кусочки воспоминаний.

Все начинает, оформляться в тебя и мир вокруг тебя. Тут.

главное — не передержать фото в растворе. Дать стечь проявителю во сне и утром закрепить снимок под солнцем. Ветер просушит, и наведет, глянец. Так печатаются фотографии времени. По старинке. Год за годом.

Осенью снимок выцветает, покрывается зимой снегом, замерзает на морозе, и только следующей весной время медленно открывает, фотолабораторию, позвякивая извилистыми ключами сосулек в звездных замках.

Эстонское затишье

Лечение безмолвием, и уединением, я думаю, не из худших. Душа человеческая вечно растет, но не чрезмерно, не ускоренно и не порывами. Нужно очень много внимания к себе, чтобы, утилизировать этот медленный рост и раскладывать его на те меленькие ежедневные дела, без которых невозможна наша жизнь. Когда же к ним присоединяется так называемое «творчество», то расходование ичерпывает не только рост души, но задевает и ее «неприкосновенный фонд», который непременно и властительно требует восстановления себя. Для такого-то восстановления и нужны не лекарства, не лечение, не вода, солнце или воздух, а уединение или безмолвие. Ведь потратилась именно душа: и ее не восстановишь прибавками веса тела.

— Чего лучше, — поезжайте в Аренсбург. Тишина, климат, люди — все удовлетворит вас, — говорили мне знатоки, которым я излагал свою теорию нервной реализации…

… Я послушался добрых советчиков и вот в первый раз в жизни провожу лето на острове…

Узел всего города составляет, старая рыцарская цитадель; вокруг нее, ниже, расположен парк; вокруг него во все стороны, идут, улицы.

Очень широкий крепостной ров теперь засыпан и образует, ленту с неестественно высокою травою. Не было также маленьких дамбочек, отодвинувших теперь море на несколько сажен, и в старое воинственное время корабли могли подходить прямо к земляному валу. Теперь этот вал обращен в бульвары. Местами он осыпался, везде порос травою, и так как он был в несколько сажен толщиною и по нем, очевидно, могли свободно скакать всадники и двигаться пехота, то в полуразрушенном виде он дал великолепный фундамент для аллей, тропинок, то повышающихся, то понижающихся…

… В июльскую ночь, когда луна поднимается над горизонтом, смотришь ненасытно на фантастическую гладь моря, такую красивую, и темную, и сверкающую. А днем, в жару, нет ничего лучше, как бродить, то поднимаясь, то опускаясь, по заросшим, развалинам, старой цитадели. Замок постоянно перед глазами. Он

вполне сохранился и представляет собой стального серого цвета громадный куб с разбросанными редкими окошечками, не на одной линии…»

(В. В. Розанов. Новое Время. СПб., 1903. 20 августа).

Спасибо, Василий Васильевич! Вот и я теперь живу в СПб… А детство свое провел в Аренсбурге—Кингисеппе-Курессааре на острове Эзель—Саа-ремаа… Остров Сырой называли его славяне…

И именно таким, как описывал Розанов, оставались и замок, и старин-ныйпарк вокруг крепости, и заросшие деревьями, кустами и цветами валы и бастионы. И тропинки все те же были, и на них проводили мы все свое свободное время… Так удивительно было оказаться на островах после туркменского зноя, после Каракумов и Копетдага…

Розанов удивительно подробен в своих корреспонденциях — путевых заметках (как же — строчка — деньги, а калошки детские — вот они — стоят в ряд в прихожей — всех надо кормить!). На мое счастье, подробен. Так вот, листаешь книжку и натыкаешься вдруг на самое лучшее и подробное описание своих взрослых снов о далеком и, конечно, счастливом детстве.

Там много у Розанова об островах, и об Аренсбурге, и о русском курортном обществе, и о море… Все не перепечатать, да и кому это теперь, кроме меня, надо?

Два раза я был на Сааремаа после того, как шестнадцатилетним, уехал с острова на материк, в другую, опять, республику, в ее столицу… Первый раз, спустя двадцать с лишним, лет, в 1998 году, я еще застал замок и парк нетронутыми, долго снимал на видео, сделал даже несколько телепередач про острова, пользуясь счастливой возможностью рассказать о родном… Второй раз — три года назад. Приехал на пару дней, побродил по своим местам и решил больше сюда не возвращаться. Получившие волю эстонцы провели на валах «евроремонт», вырубили все дивные заросли и аллеи — превратили в ровный лысый газон. Наставили пластиковых стульев рядами перед замком, натянули тенты с рекламой кока-колы, поставили эстраду и проводят под пиво рок-концерты с лазерными шоу для иностранных туристов.

Пустынные и прекрасные берега замусорили, слоняются толпами по острову, восхищаются его дикой аурой и тут же гадят. Мне повезло, на островах в советское время была погранзона — сейчас это модный курорт. А я застал еще точь-в-точь то, чем восхищался Розанов, чего теперь уже, наконец (!), нет И потому наткнуться на эти страницы со старой статьей любимого писателя — просто чудо. Привет из детства — мостик к настоящему. Да и живу я сейчас в Петербурге, что еще надо?

Наверняка где-то рядом живут мои бывшие одноклассники из Кингисеппской средней школы. Все растерялись — ведь русские дети на острове были детьми офицеров и разъехались кто куда: разлетелись поступать учиться, жить дальше — не куковать же на острове детства вечно.

Ау! А вдруг кто-то откликнется…

Я вышел из Сети, выдернул Sky Link из концентратора USB. Теряю время. Кому нужны мои ощущения?

Никто не откликнулся. Мурашов, должно быть, уцелел и живет где-то рядом — в России. В Приднестровье он стал уже майором, но потом напоролся все же везучий мой братишка. И все равно — вывернулся. Хочу верить, что жив. Архаров где-то здесь, здесь, я чувствую это. Чеслав в Питере, но я не хочу с ним встречаться, а он давно меня забыл — и слава богу! Чехов выжил в 93-м. Живет где-нибудь. Могу узнать даже где, да захочет ли он, чтобы я узнавал? Он заслужил покой. Он аналитик, хотел бы — нашел бы меня через Сеть, уж что- что, а искать он умеет. Так вот, интуиция. Мы с Мартой нюхаем воздух ночами. Пахнет свежим ветром, сырым ветром, поземкою по вчерашним оттепельным лужам. Я так не люблю перемен.

Мне нравится очень немногое у Высоцкого. Вот это, например.

Как призывный набат, прозвучали в ночи тяжело шаги, Значит, скоро и нам — уходить и прощаться без слов. По нехоженым тропам протопали лошади, лошади, Неизвестно, к какому концу унося седоков.

Значит, время иное, лихое, но счастье, как встарь, ищи! И в погоню за ним мы летим, убегающим, вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей, На скаку не заметив, что рядом товарищей нет

И еще будем долго огни принимать за пожары мы, Будет долго казаться зловещим нам скрип сапогов. Про войну будут детские игры с названьями старыми, И людей будем долго делить на своих и врагов.

Но когда отгрохочет, когда отгорит и отплачется, И когда наши кони устанут под нами скакать, И когда наши девушки сменят шинели на платьица, Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать!

Оказывается, это называется «Песня о новом времени». Упс!

Боже! Как же я не хочу «уходить и прощаться без слов»! Как я надеялся на «Не забыть бы тогда, не простить бы и не прозевать!». Кысмет. Такое восточное слово — от судьбы не уйдешь, если по-русски. Вот и я уходить не буду. Как там у Булгакова, в «Белой гвардии»? «Никогда не убегайте крысьей побежкой на

неизвестность от опасности. Сидите, читайте — ждите, когда за вами придут».

Я буду сидеть и писать. Не для того мы с Катей поселились в этой избе под елками в Вырице, чтобы отсюда бежать!

Глава 12

(Из рукописи Иванова)

Татьяну убили тремя выстрелами в спину. Тогда еще не было сериалов с «контрольным в голову». Поэтому ее пепельно-русая головка совсем не пострадала. Юное, еще больше помолодевшее от смерти, лицо ее было строгим и торжественным, как у десятиклассницы, получающей из рук директора заслуженную золотую медаль. Ветер, легкий морской ветерок — постоянный обитатель Юрмалы, ласково ворошил завиток на затылке, прямо у беззащитной голой шеи, с которой тот же самый проказник ветер утащил на память волнам — поиграть — легкий шелковый шарф.

Животик только слегка наметился под белым мягким пальто, и темное, карминное, как на латышских новых флагах, венозно-кровавое пятно еще не успело расползтись широко по хорошо впитывающей шерстяной ткани. Даже не успели слиться вместе три пятна от трех, кучно посаженных в беременную женщину, пуль. Пули прошли навылет — стреляли со спины, но крови все равно больше было спереди.

Теперь Таня стала для меня просто застреленной на пляже беременной женщиной. Книга в кожаной обложке с выдавленным силуэтом Риги валялась на песке под скамейкой, на которой эта мертвая женщина так и сидела, откинувшись, навсегда. «Ка-ламбур!», — отчетливо вырвалось у меня вслух единственное слово. Там же, под желтой — из досок на железных трубках — скамейкой, рядом с опрокинувшейся сумкой, лежал тяжелый ПМ. Теперь я понял, почему правая рука женщины была неестественно вывернута и повисла *за* спинкой скамьи. Женщина успела выстрелить назад, не глядя, уже почти мертвой. Пистолет я поднял, понюхал ствол и положил оружие себе в левый карман. Никого, кроме чаек, не было в этот сумеречный вечерний час на пляже в Меллужи ранней весною.

Кровавый след начинался в пяти-шести шагах от скамьи, на поросшей ивняком невысокой дюне и тянулся в сосны. Я пошел по следу, держа руки в карманах, только расстегнул, перед тем как отвернуться от женщины навсегда, верхние три кнопки на своем пальто. Поднявшись повыше, к соснам, я огляделся. Совсем почти стемнело, шум прибоя отсюда, сверху, неожиданно показался сильнее, чем внизу, у моря. Наверное, потому я и не услышал выстрелы, когда шел на встречу… с женщиной. Крови на песке, плотно покрытом блестящим слоем хвои, уже не было

видно. Да и темно было здесь. Положенный в таких случаях багровый луч заката внезапно пробился сквозь тяжелые облака на горизонте и на мгновение ослепил меня своей книжной, не от мира сего, красотой. Сразу две пули, почти слитно чмокнув, втянулись в шершавое тело сосны у меня за спиной, только чуть выше. Я отступил за это же дерево, уже пострадавшее из-за меня, и подумал: «Меня он почему-то хочет убить в голову, почему же женщине он стрелял в спину, почти в поясницу? Знал, что там, сразу за ее спиной, уже начал округляться животик? Наверное, кино любит хорошее, сука.»

«Сука!» — крикнул я из-за сосны, вытаскивая пистолет, снимая с предохранителя и передергивая затвор. Совсем рядом мне ответили что-то непонятное азартным и уверенным голосом по-литовски. Не так уж близки эти родственные балтийские языки, чтобы я понял. Я высадил на звук всю обойму из ПСМ и, когда затвор лязгнул звонко, отойдя в крайнее заднее положение, сунул левую руку в карман и вышел вперед. Он стоял на коленях, держась одной рукой за сосну, а другой не очень твердо, но спокойно опять выцеливал мою несчастную голову.

Он считал выстрелы, он видел, что я не перезаряжаю свой пистолет, и хотел все сделать тща-т-тель-ль-но. На-вер-ня-ка-а.

Я кинул ПСМ ему под ноги, и, не вынимая левую руку из кармана, очень быстро, идя прямо на него, выстрелил остававшиеся в «макарове» женщины шесть патронов. Я ведь русский, мне главное дело сделать. Пусть неаккуратно, очень неаккуратно. Но такой уж этому литовцу неаккуратный пришел песец. Я подобрал свой ПСМ, нагнулся и рассмотрел поближе диковинный для наших мест «Дезерт Игл» — очень мощный пистолет литовца, сделанный в Израиле. Слышал, на картинках видел, но не думал никогда, что придется встретиться с этим, для кого спортивным, а для кого — ликвидаторским оружием.

Я еще вытащил у него липкий бумажник из кожаной куртки, обернул своим носовым платком, чтобы не пачкать карман, и унес с собой. А белокурый волк из «Охраны края», как Сталлоне прямо, все еще тянул ко мне свои длинные толстые крестьянские пальцы. Ну, подергались пальчики и замерли, наверное, я не видел — совсем стемнело.

Я не таясь закурил и стал спускаться. По ощущениям — вокруг скамейки все еще никого не было. Шторм усиливался, пошел ливень, что тут увидишь или услышишь? Да и не учил меня никто и никогда, как надо подбираться к телу недавно убитой беременной женщины.

Я все еще мысленно называл ее «женщиной». Потому что если бы я даже мысленно назвал *ее* хоть раз Таней, то сорвался бы и

потом лежал с пулей в голове, некрасиво зарывшись мозгами в сырой под хвоей песок.

Таня так и сидела на скамейке, откинув голову, как будто ей очень хотелось пить, и она ловила губами холодные капли воды, потоком падающей с бездонного черного неба.

Я на ощупь закрыл ей глаза, поцеловал в холодную макушку, подобрал промокшую книгу в кожаной обложке и сумочку тоже. Паспорт она обычно носила в потайном внутреннем кармане пальто — пусть там и лежит, чтобы опознали сразу.

Начинавшийся шторм нагнал воду с залива, волны потихоньку подбирались уже к скамейке, а значит, завтра, когда рассветет, никто уже ничего не разберет толком, когда море схлынет, запутав все то, что я тут натоптал. Да и кому разбираться? Двум параллельным прокуратурам, вцепившимся друг другу в глотки? Кому?

Книгу я положил в сумку Татьяны, а сумку засунул под пальто. Хорошо, что я вымок до нитки — пальто потеряло всякий вид. Мокрое, оно повисло на мне бесформенным мешком, и даже оборванный мною с мясом накладной левый карман — весь в дырках — не бросался в глаза. И пошел я по пляжу пешком в сторону Пумпури. Там сел на электричку, доехал до Кеме-ри. Обсушился в буфете, выпил водки и только оттуда последней электричкой вернулся в Ригу.

В пустом вагоне я тщательно осмотрел сумку и забрал из нее свой интерфронтовский значок, подаренный когда-то в обмен на маленького бронзового питона. Плотный пакет с фотографиями и паспортными данными людей, вытащенных «волками» Буткявичюса из моргов и подброшенных под танки у телебашни, или простреленных мертвыми уже и тоже подброшенных на площадь, или убитых с верхних этажей башни литовскими же снайперами, я сунул во внутренний карман. Потом открыл окно, и, когда электричка проезжала мост через Лиелупе, я выкинул в реку сумку вместе с двумя пистолетами — своим и Татьяны. Промокшую книжку Шмелева «Пути небесные», только что изданную в Москве, я поразмыслив, оставил себе. Наверняка она мне и предназначалась.

Почему убийца не осмотрел вещи и не забрал пакет? Не успел? Был ранен и решил не рисковать больше? Я его спугнул? Непонятно. А может быть, они просто не знали, для чего женщина назначила мне свидание.

Решили вопрос превентивно. Почему не ликвидировали меня вместе с ней? Не знали, кто придет на встречу? Или вообще, наши дела тут ни при чем, а всплыла какая-нибудь давнишняя история из прошлого? Ответа у меня не было. Спросить было некого.

Вот оно!

Потемнели, поблекли залы.
Почернела решетка окна.
У дверей шептались вассалы:
«Королева, королева больна».
И король, нахмуривший брови,
Проходил без пажей и слуг.
И в каждом брошенном слове
Ловили смертный недуг.

— Это тебе, такая же, как ты, колючая… — Я прошел через зал и торжественно вручил даме розу.

Наши пальцы встретились на стебле, одновременно укололись до крови, мы вздрогнули и засмеялись неловко, глядя на капельки крови, выступившие у нас на руках.

— Мелодрама. — прошептал я, не отводя глаз от алых капелек.

— Контрапункт. — вздохнула Таня, потянув цветок к себе другой рукой, а пораненными пальцами прикоснулась нежно к моим пальцам, смешав капельки вместе; поднесла пальцы к губам, поцеловала, глядя мне прямо в глаза.

— Так почему королева больна? Таня?

Вот почему.

В Риге я первым делом позвонил из телефона-автомата в дежурную часть ОМОНа. Мурашов приехал за мной на белом «рафике», набитом под завязку ребятами из «Дельты». Я отдал ему пакет с фотографиями и залитый кровью бумажник литовца, рассказал об обстоятельствах их обнаружения и наотрез отказался ехать на базу. Толя передал бумаги офицеру «Дельты», потребовав немедленно доставить их майору Чехову. Мы стояли с Мурашовым, курили под дождем на асфальтовой площадке напротив филфака университета, прямо у железнодорожной насыпи, ведущей к вокзалу. Микроавтобус все не отъезжал. И только когда на площадку с визгом влетел и застыл возле нас, покачнувшись, потрепанный «жигуленок», «рафик» тут же сорвался с места и помчался на базу.

За рулем «Жигулей» сидел Птица в штатском. Он даже не смотрел на нас, пока мы снова курили сигарету за сигаретой, пока я зачем-то рассказывал Толику про родной филфак, серой коробкой угрюмо вросший в землю через дорогу. Потом Мурашов открыл заднюю дверцу, втолкнул меня в машину и, усевшись впереди, рядом с Птицей, велел ему ехать по адресу в Иманте. Кабаки ночью тогда не работали; встречаться с Питоном я не хотел, поэтому база отпадала тоже. Набрали водки на знакомой «точке» и рванули в Задвинье. Адрес оказался в желтой

девятиэтажке на Рудзутака, напротив нашего старого «пограничного» дома. Даже лоджия моей бывшей комнаты видна была из окна квартиры, в которую мы вошли.

Квартирка была обыкновенной распашонкой, так же точно, как все квартиры вокруг, обставленной темной полированной мебелью Рижского комбината. Здесь было чисто и светло — девчонки включили весь имеющийся в наличии свет. Даже накрыли уже журнальный столик напротив углового дивана. Птица, так и не сказав ни слова, пожал мне руку, кивнул Мурашову и отчалил в ночь.

Студентки РКИиГА, снимавшие эту квартиру на двоих, были милы и веселы. Правда, я так и не могу вспомнить сейчас, как их звали, как они выглядели и с которой я спал в ту ночь. На следующий день, пока хозяйки еще отдыхали, мы с Толяном быстренько похмелились и ушли «по-английски». На улице я постоял под своими бывшими окнами, потом повел Толя-на через дорогу — на верхушку Лысой горы. Это, конечно, была просто высокая песчаная дюна, за которой начинался сосновый лес. Если идти по этому лесу долго-долго, можно было выйти к устью Лиелупе. А там, за рекой, начиналась Юрмала.

На Лысухе мы выпили уже как следует. Тем более что дождь давно кончился, выглянуло жаркое весеннее солнце, и мы сразу согрелись.

Я сидел на корнях той же самой сосны, у которой в юности назначал все свидания с местными девчонками, смотрел на наш «пограничный» дом, с которого началась для меня Рига, пил и курил, пил и курил. Да и Мурашов не отставал, последнее время ему тоже приходилось слишком много работать и думать. А весной 91-го года думать о будущем никому из нас не хотелось по причинам, вполне понятным сегодня, когда будущее уже настало и даже успело стать прошлым.

Мы медленно спустились с горки и поймали такси. До Юрмалы из Иманты было рукой подать. Еще три дня мы гуляли, во всех смыслах, в Майори и Дзинтари. Домой я не звонил, знал, что Толик позаботился о спокойствии Аллы и отправил меня в «командировку». Алексееву позвонил на этот раз сам Питон и вежливо выпросил меня «у Интерфронта» на несколько дней по «чрезвычайно важному делу». Сколько мы обошли кабаков — не помню. Наверное, все, что тогда были в ближней Юрмале. Понятно, что в сторону Меллужи мы и не взглянули ни разу, даже выходя проветриться на приветливое уже весеннее море. Денег у Мурашова оказалось столько, что нигде и ни в чем нам отказу не было. Мы даже купили мне новую куртку, а старое пальто, с оторванным левым карманом, выбросили куда подальше.

Толик действовал по проверенной схеме. За те несколько дней, что он неотступно сопровождал меня в наших пьянках-гулянках, я выговорил ему все, что мне нужно было выговорить, для того чтобы потом забыть это навсегда. И чтобы никогда больше, даже мервецки пьяным или под воздействием психотропных средств или просто в стрессовой или депрессивной ситуации, меня бы не тянуло поделиться наболевшим с кем-нибудь из чужих, случайно подвернувшихся или, наоборот, подставленных не случайно людей. А потом я вернулся домой, Толян — на базу, и все пошло своим чередом. С Питоном я не встречался вплоть до августа. И не спрашивайте меня — зачем со мной возились, для чего берегли? Я не знаю.

Весна была бурной. Сначала я весь отдался работе, потом все чаще начал вечерами попивать в своем кабинете от непонятной, совершенно бессмысленной тоски. Не оттого, что будущее было туманно. Не оттого, что я так уж тосковал по Татьяне — да я ее вообще потом не вспоминал. Правда, правда! Сейчас вот только нахлынуло, да и то по необходимости как-то связать канву событий.

С Аллой отношения стали ровнее и крепче. Я стал внимательнее к ней, баловал, как мог и чем мог — ее и дочку. Если бы только не пил все чаще, так и вообще семейную жизнь нашу можно было бы считать образцовой.

Однажды, выпив лишку, я очнулся в своем кабинете запертым на ключ. Наверное, это Петрович позаботился, чтобы не шатался я вечером по конторе, чтобы не видели меня в таком состоянии дежурный и охрана. Впрочем, сам Сворак продолжал праздновать день рождения Натальи у нее в кабинете — напротив. Мне тогда показалось это обидным. Я открыл окно, вылез на покрытый жестью узкий карниз, опоясывающий наше здание на уровне пятого этажа, и под дождем, оскальзываясь на мокрой жести, пошел по карнизу к соседнему окну в конференц-зал. Напротив нас — метрах в десяти, не больше — находилось Министерство финансов. Внизу по тесной улочке спешили с работы люди, которым вовсе невдомек было под своими зонтами, что наверху — а этажи в старинных зданиях высокие — по карнизу ползет, прижавшись к стене, Валерий Алексеевич Иванов. Не помню, как я добрался до окна конференц-зала. Помню только, что там меня постигло разочарование — окно было закрыто.

Развернуться и возвратиться назад в свой кабинет я даже не попытался — верная смерть на мокрой брусчатке далеко внизу подо мной. Я с тоскою, наверное, а как иначе? С тоскою поглядел я на черного кота, оседлавшего шпиль Кошкиного дома неподалеку. Хорошо ему! Сидит там уже сотню лет, наверное, и

ему хоть бы что! Делать нечего, я локтем разбил одно стекло, второе — осколки посыпались со звоном — завизжали внизу, разбегаясь, прохожие. и ввалился в конференц-зал. Не успел я подняться с пола, как в помещение влетел Сворак с дубинкой в руке, а за ним и дежурный охранник. Увидев меня, они облегченно вздохнули и повели перевязывать пораненную стеклом руку.

Так бы все и прошло на этот раз, без особых последствий. Да только охрана Минфина, засекшая, как я с карниза ввалился внутрь интерфронтовской штаб-квартиры, тут же вызвала милицейский патруль, решив, что это нападение на Интерфронт. Хорошо хоть, что баррикады у входа в наш дом к тому времени латыши уже сняли, а то бы цирк получился еще похлеще. Милиция забрала меня, перевязанного, для выяснения обстоятельств в районное отделение на Революцияс, что у Матвеевского рынка. Центральный район, к сожалению, был на стороне латышей, так что отстоять меня сразу Свораку не удалось.

В милиции я наконец-то пришел в себя и прикинул свое незавидное положение. Вот сейчас сюда явятся телевидение, журналисты, латышская прокуратура и. весело будет не только мне, но и Алексееву, и всему Интерфронту. Хорошо еще, что с недавних пор я ходил по городу «чистый» — никакого оружия. С меня сняли показания, в которых я наплел по пьяной лавочке что-то совсем уж несуразное, и посадили в дежурке — ждать. Дежурный капитан был русским. Я собрался и тихо попросил его позвонить по телефону 342–073.

Лицо капитана сразу поскучнело. Однако он все же набрал явно знакомый ему номер и сообщил, что у него тут сидит задержанный гражданин Иванов из Интерфронта и дожидается начальства из латышской прокуратуры и республиканского МВД. Что ему ответили, я не знаю, но догадываюсь. Потому что капитан побледнел, бросил трубку и тут же побежал наверх к латышским операм, которые снимали с меня допрос.

Через пять минут мне отдали написанные мною раньше бредовые показания и попросили подписать бумагу о том, что я не имею претензий к задержавшим меня сотрудникам. Свои показания я порвал и сунул в карман, получил личные вещи и документы и тут же быстро вышел на улицу, не устраивая долгих прощаний.

Неподалеку, на углу Суворова и Революцияс, жила пионервожатая из моей бывшей школы, пока еще одинокая и незамужняя. Я успел добежать до ее подъезда и укрыться под аркой входа, когда мимо меня промчались в сторону отделения

милиции сразу несколько машин — «Волга» латышской прокуратуры, микроавтобус МВД и ТЖК Латвийского телевидения. Тут как раз Наташка спустилась вниз и открыла мне дверь подъезда. У нее я и пересидел остаток вечера.

Толик потом передал мне стандартную фразу, ставшую причиной моего стремительного освобождения: «Капитан, или ты сейчас же отпускаешь *нашего* человека и уничтожаешь все документы, или взвод ОМОНа долго будет разносить твое отделение по кирпичикам. Выбирай!» Капитан был умным, повидавшим жизнь человеком, и к тому же — русским.

Понятное дело — не заладилось у меня после этого с Алексеевым. Не мог простить мне шеф предательства. А предательством он посчитал мое поведение, перечеркнувшее все его планы по отношению ко мне. Наверное, Анатолий Георгиевич слишком хорошо про меня думал. А может, ценил за некоторые успехи в работе. А может, просто близких людей, понимавших его с полуслова, у него оказалось не так уж много.

Конечно, шеф прилюдно «отымел» меня на общем собрании штатных сотрудников Республиканского совета. Конечно, мне на это было по большому счету — плевать. Ближайшие коллеги меня не осуждали строго — всякое случалось порой и с ними — просто не выплывало наружу. Люди случайные, оказавшиеся на этом разносе, конечно, были рады скандалу и злорадно разнесли сплетни вплоть до ЦК.

Я, конечно, признал свою вину — история была действительно на редкость дурацкой.

Скомпрометировать она никого, кроме меня лично, конечно, не могла — такое уж было время. Не мне чета начальники и известные всей стране люди выделывали фортели куда покруче моего циркачества. Но они — это они, а я — это я. Повинившись за глупость, я вместе с тем не позволил себя выпороть и, выпоротым публично, продолжать работать дальше, чего от меня наверняка ожидали.

Тут же, при всех, я высказал твердое желание по истечении положенного месяца уволиться и предложил шефу заранее начать искать мне замену. Меня потом пытались отговорить, я не поддавался. Честно отработал еще месяц, потом ушел в отпуск, уже не рассчитывая вернуться после него на Смилшу. Сворак долго еще пилил меня по-дружески, потом не выдержал и напрямую сказал главное:

— Ты что, Валера, не понимаешь, что твоего ухода только и ждут оппоненты Алексеева?

Он и так почти один остался, а тут и ты еще уходишь.

— Не кричи, Петрович, уши глохнут! Не потому я ухожу. Во

всяком случае, не из-за этой глупой истории. Ты не хуже меня знаешь, что из таких историй про каждого из нас, или про «народников», или про тот же ЦК новую «Шахерезаду» составить можно!

— Так что тогда? Испугался?

— Чего, Миша? Чего я испугался?

— Не знаю.

— Исчерпал я себя, Миша, на этой работе. Сделал все, что мог сделать. Все свои способности и таланты я проявил. Других нет, да и те, что есть, становятся ненужными. Сам видишь, теперь остается только сидеть и ждать. «Красные» приходят — грабят. «Белые» приходят — грабят. А мы никому будем не нужны. Если все вернется — нас первых погонят именно те, кто предал «красных». И снова займут свои места. Если победят «независимцы» — будет то же самое. Только еще нас дополнительно будут гно-бить те из «наших партийцев», кто сегодня из осторожности еще не перешел на сторону латышей. За то, что мы про них знаем. Русское народное движение, Петрович, не укладывается ни в одну схему будущего! Ни в «красную», ни в «белую». Ни в «советскую», ни в «западную». Интерфронт сейчас — кость в горле у всех — и у Горбатого, и у Ельцина, и у латышей, и у Рубикса. Завтра будет еще хуже. Но я не этого боюсь, тут нам всем терять давно уже нечего, Миша!

— Так что тебе надо? Доиграем партию, как можем, только и всего.

— Скучно стало мне — просто доигрывать. Я выиграть хочу. А как — пока не знаю. Буду думать.

— Ну вот, иди в отпуск — у тебя еще оплачиваемый остался, и думай! Мыслитель херов. А мы пока за тебя отдуваться будем!

— Алексеева сейчас убирать будут потихоньку, вот увидишь, Миша… А без него Интерфронт превратится в карманную лавочку Рубикса. В эти игры я не играю.

— С чего ты решил?

— А вот увидишь.

Я как в воду глядел. Пока был в отпуске, прошло расширенное собрание Республиканского совета. Аудиозапись мне сделал Рощин. Привез, с Натальей вместе, прямо на дачу в Кегумсе, где я последний раз отдыхал с семьей. Мы взяли лодку, пива, рыбки вяленой и погребли, не спеша, между камышами на уединенный островок неподалеку от базы отдыха.

Там я внимательно прослушал выступление Саши Васильева на Республиканском совете. Саша, Саша… мы все же дружили с ним. Он многому научил меня, особенно в том, что касается профессии, — все-таки Васильев был профессиональным

режиссером и оператором. Саша познакомил меня со своими однокурсниками, работавшими на Ленинградском телевидении, и все они стали моими друзьями и научили меня еще большему. Васильев был старше меня на двенадцать лет, и я часто находил в нем старшего брата — заботливого, ироничного, немножко, как все старшие, «тор-мознутого», но все-таки — брата. Став неожиданно его начальником, я как мог берег его, относился с уважением, выбивал ему премии, защищал не раз перед Алексеевым и Свораком, грозившими раз и навсегда избавиться от «беспринципного и двурушного» директора видеоцентра. Основания говорить так о Саше — человеке внутренне все же честном, как ни странно, были. Я догадывался, что настоящие его друзья были не в Интерфронте, а в ЦК или среди той, «русскоязычной» творческой интеллигенции — полулатышской-полуеврейской, которая хоть и не считала Васильева совсем своим, но и не выпускала его из своих потных объятий. Саша по-прежнему вращался в кругу изгнанных из Интерфронта Жданок и Белайчука, терся с сомнительными деятелями из ЦДИ, РОЛа и Балто-Славянского общества. Интерфронт для Васильева давно уже стал только площадкой для размещения видеостудии. А как только студию перенесли со Смилшу в здание ЦК, так Васильев и вовсе стал появляться только за зарплатой.

Когда-то я помогал его сыну-пятикласснику делать уроки, устроил его в школу к своей жене — жалел мальчишку, оставшегося без матери, — с женой-актрисой Саша развелся еще в Ашхабаде. А сына забрал в Ригу совсем недавно. Нас грело наше общее «туркменское прошлое», мы любили поговорить о жизни и об искусстве, если бы не политика, мы, наверное, до сих пор были бы хорошими друзьями. Хотя, только политика и свела нас вместе, ведь я был совсем из другой среды.

Короче говоря, на Совете Васильев выступил против меня и наврал столько, что даже привычный ко всему опытный журналюга Рощин возмутился и примчался ко мне вместе с Натальей, вопя о подлости, которую надо пресечь! Саша приписал себе все, что делал я, и обвинил меня в том, чему виной был именно он! И это на расширенном Совете Движения! В курсе о том, кто и что конкретно делал в нашей конторе на Смилшу, были немногие, на это и был расчет Васильева. Сворак и Наталья, как замы Алексеева, попытались было поставить все с головы на ноги, но тут началось подготовленное заранее наступление части Совета уже на Алексеева, и всем стало не до меня. (Пройдут годы, и судьба снова сведет меня с Сашей, и он во многом поможет мне снова стать на ноги после возвращения в Латвию. Но как бы ни был я ему за это благодарен, та трещина, которая появилась

между нами тогда — после его выступления на Республиканском совете, — никогда больше не зарастет.)

— Помер Максим, ну и хер с ним! — Я выщелкнул окурок далеко в воду и закурил новую сигарету.

— Но нельзя же такое терпеть! — горячился Рощин.

— Да ерунда это все, Володя, — отмахнулся я. — Противно, да. Васильева жалко, не думал, что человек до такого опустится. да и приказали ему наверняка его цэковские друзья — вот он и выступил. А что Георгиевич?

— Да на него самого такую бочку вдруг покатили! И то, что он выделяет русских в Движении, и что не пошел на слияние с демократами, и что от Рубикса дистанцируется. В общем, Алексеев сам чуть не ушел. Но поскольку его можно «уйти» только съездом, решили осенью провести съезд и там все решить. А сам он практически устранился. Сосредоточился на работе в Верховном Совете, тем более что там он независимый от партийной группы «Равноправие» депутат. Да и лето уже началось, мертвый сезон в политике.

— Ты считаешь? — Я с сомнением покачал головой. — Время покажет, не загадывай.

— Мешаем мы все их игре, из-за нас у них годовой отчет не складывается, — горько усмехнулась ярко накрашенным ртом Наталья.

— Мешаем, Наташенька, ой как мешаем, ты даже себе не представляешь. — Я вспомнил недавнюю встречу с Мурашовым на базе.

Последнее время мы с Толиком встречались редко, только для того, чтобы обменяться новостями. Все шло под откос, новости не радовали. На Млынника было покушение — в подъезде собственного дома, на лестнице — в него стреляли. Ранили, к счастью, не сильно, везучий он оказался и быстро вернулся в строй. На базе пытались тоже устроить передел власти. В мае командир 2-го взвода с ручным пулеметом наперевес бегал по коридорам, искал Чеслава для разборки. Успокоили ребят. Уволили Бумб-арашко и половину его взвода. Набрали новых. Тут началась работа по разблокированию границ. Горели незаконные таможни, отжимались с криком «Да здравствует Советский Союз!» новоявленные латышские и эстонские «таможенники» и «пограничники». В литовском Мядининкае провокаторы застрелили на таможне семь человек, один чудом выжил и якобы «опознал» в нападавших рижских омоновцев. Бред полный. Но пресса быстро подхватила дикие измышления.

В Ригу то перебрасывали, то убирали из нее десантников

Псковской дивизии. Казалось, власть в Москве сама не знает, что делает, только дышит судорожно и, конвульсивно, то сжимает пальцы в кулаки, а то разжимает бессильно.

После приезда Рощина, оставившего мне на «долгую память» запись выступления Васильева на Республиканском совете, я съездил в Ригу, забрал из своего кабинета на Смилшу вещи и оставил секретарше Алексеева сухое заявление об уходе.

Сворак тоже собрался в отпуск. Мы выпили с ним в «Дружбе» по паре коктейлей, обсудили запасные каналы связи на всякий случай и расстались, как и были — друзьями. Наталья выдала мне расчет и трудовую книжку, вписав туда на всякий случай вместо Интерфронта свою левую коммерческую фирму «Санкт-Петербург», в которой присвоила мне, посмеиваясь, должность «исполнительного директора».

Странное дело! «Контрапункт!» — говорит в таких случаях Катерина. Ведь и Питер тогда был еще Ленинградом. А тут почти двадцать лет прошло, и осел я действительно в Петербурге.

Мы еще раз съездили с Аллой в Ленинград, как бы предчувствуя, что многому предстоит измениться в нашей жизни. Поехали вместе с Людой и ее другом-интерфронтовцем, на его вишневой «девятке». Выехали рано утром, почти ночью. На выезде из Риги, сразу за Юглой, едва переехав мост, мы остановились. Оживленное обычно шоссе было пустынно. Посмеиваясь, наш водитель Валера — мой тезка, — полез в багажник и достал оттуда банку с краской и две кисточки. Мы разбрелись по разные стороны шоссе и старательно намалевали на огромных рекламных плакатах недавно появившейся правительственной латышской газеты «Диена» по большому матерному слову. Глупо как-то, конечно, но раз уж тезка не поленился взять краску.

Смешнее было потом, когда, вернувшись из Питера в Ригу, мы увидели в той же самой «Диене» фотографию испорченных нами рекламных стендов с возмущенным репортажем под снимком: «Когда художники нашей газеты отправились ремонтировать испорченные русскими вандалами рекламные плакаты, на шоссе, рядом с ними, остановился вдруг белый микроавтобус «Латвия» с неустановленными номерами. Из машины вышли несколько молодых парней, и, закричав по-русски: «Ага! Так вы из «Диены»!», — хулиганы избили наших художников и снова испортили похабными надписями только что отреставрированные стенды».

Но это было потом. А в Питере мы с Аллой провели незабываемые семь последних «довоенных» счастливых дней. Мы снова гуляли по любимому городу, встречались с Лешкой, Хачиком, Толей и другими старыми друзьями. Нам казалось, что

все вернулось к нам, как в первые дни после свадьбы. И доверие, и любовь, и нежность…

Вот только мысли о будущем омрачали иногда наше свидание с Ленинградом. Уезжать в Латвию не хотелось.

На обратном пути, уже въезжая в Эстонию, маленький кусочек которой надо было проехать по дороге на Ригу, мы столкнулись с эстонскими таможенниками.

Маленький вагончик на дороге, знак «STOP» перед ним. И несколько молодых парней в самодуйной форме с автоматами в руках. Мы возмутились: что это еще за комедия? Я демонстративно стал фотографировать оружие в руках «таможенников», водитель наш категорически отказался открывать для досмотра багажник и даже предъявлять документы. Разразился скандал. Я потрясал журналистским удостоверением, тезка совал в нос эстонцам свой депутатский значок, а Алла громко крыла их матом по-латышски. Тут и я не сдержался, припомнив несколько обидных эстонских фраз. Горячие эстонские парни уже стали хвататься за оружие, старший поста тем временем по рации вызывал подмогу. Но в это время со стороны России показалась целая колонна грузовых автомашин, и «таможенники», плюнув на нас, кинулись перегораживать дорогу грузовикам самодельным шлагбаумом. Мы сели в машину и уехали, вовсе не гордясь своей маленькой «победой». Настроение после Ленинграда было испорчено. Мы вспомнили, куда мы едем и что нас ждет дальше.

Конечно, я был пару раз на разблокировании вместе со взводом Толя-на. Не тогда, когда с ними ездил Невзоров, нет У меня был свой интерес к одному пограничному пункту на литовской границе. К литовцам я вообще с некоторых пор «дышу неровно».

Никто не оскорблял тех литовцев, которые нам попались. Их просто смели с лица земли вместе с их вагончиками, аккуратным деревянным сортиром и полосатым шлагбаумом. Конфисковали оружие, сорвали нагрудные знаки, забрали документы и пустили в поле — бежать к родному дому. Был указ Горбачева привести дороги на границах союзных республик в соответствие Конституции, и мы его выполняли. Омоновцы то есть. А я так, за компанию. В качестве представителя народа, поддерживающего справедливые действия в защиту Конституции СССР.

На этот раз эстонский пост остался целехонек. «Ну, это пока…» — подумал я, уже прикидывая в уме свои фото незаконных таможенников с автоматами в руках. В конце концов, приказа о разоружении незаконных военизированных формирований пока еще никто не отменял..

Вскоре пришел август. 2-го числа, в День десантника, ребята пригласили меня попить с ними пивка в Кировском парке — по старой традиции. Я, конечно, не десантник, но тоже не медбратом служил, а потому с удовольствием присоединился к омоновцам. День был солнечным и ярким. В парке, вокруг эстрады, собралось больше сотни бывших десантников. Наверное, половина из них были омоновцами. Побродили группками, потравили байки. Потом вдруг стали строиться в ротную коробку. Получилось внушительно. Рота вышла на проезжую часть улицы Ленина и несколько раз демонстративно прошлась мимо здания Совета министров, каждый раз, равняясь с ним, по команде «и-раз-и-два!» — выкидывая вперед правую руку и отрубая ее левой по локоть — со свистом и улюлюканьем.

Латыши из охраны Совмина даже глазом не моргнули, только втянулись аккуратно за массивные двери — от греха подальше. Движение на улице, конечно, затормозилось, но никто из водителей не сигналил возмущенно, наоборот, приостанавливались, освобождая улицу для прохода колонны.

Августовская жара не сморила разгулявшихся мужиков, вскоре кто-то из заводил кинул клич: «В Юрмалу!» Но уже в вагоне электрички мне стало вдруг как-то тошно.

Я ткнул в бок сидевшего рядом Мурашова — он даже поперхнулся пивом из алюминиевой банки — тогда еще довольно редкой «роскоши», а потому несуразно дорогой.

— Все, Толян! Потащусь я домой.

— А и правда, — весело и согласно кивнул он светло-русым чубчиком отросших не по уставу волос. — А то народ учинит чего, а тебе это надо?

— А ты?

— Мне надо. Должен же хоть кто-то за этой оравой присмотреть, вот мы с Кузей и приглядим.

Я вяло кивнул и пробрался к выходу, пожимая по пути крепкие загорелые руки, хлопая кого-то по спинам, получая дружеские тычки в ответ, отводя рукой фляжки, стаканы, бутылки, банки с пивом, что протягивали мне глотнуть на прощание ребята.

Разморенный, потный, я потек по тротуарам вместе с текущим от адовой жары асфальтом. В Кирчике все еще опасливо терлись милицейские патрули, но по-прежнему не трогали редкие компании десантников, оставшихся в парке. Себе дороже.

Я сел на родной 11-й трамвай и покатил не спеша домой.

Алла была вместе с дочкой на даче у тещи. Солнце давно перевалило на другую сторону нашего дома, я сразу открыл нараспашку все окна, устроил сквозняк и плюхнулся на мягкий

диванчик, стоявший у нас на огромной — через всю квартиру — лоджии. Легкий ветерок с близкого Киш-озера приятно холодил тело. Я скинул с себя потную майку, покурил, отошел слегка и полез в душ.

Красный кирпичный магазин на 2-й Длинной не баловал последнее время разнообразием напитков и закуски. Какой-то дорогой джин без талонов, тоник местного производства, подозрительного вида кусок говядины — вот и весь улов. По случаю воскресенья улица словно вымерла. Я вернулся домой, тщательно прожарил мясо, обильно посыпав подрумянившиеся кусочки солью и перцем. Смешал в большом стакане джин с капелькой тоника и снова устроился на лоджии. Ел. Пил. Похмелялся, трезвел и снова пил. Надо было как-то жить дальше. Устроиться в кооператив? Наварить по-быстрому деньжат и уехать в Россию? А что Россия? Как там в России? Лешка с Хачиком вот-вот сами останутся без работы, если так дальше пойдет. А я что там буду делать? Все разваливается, все рушится, все падает, все идет вразнос, вихляясь и звеня отвинчивающимися гайками.

Если нужны будут люди все это восстанавливать — сами позовут. А если нет Падать дальше вместе со всеми? Родители, дочь, жена. Как и на что их содержать? Я сходил к холодильнику и снова наполнил высокий стакан. «Да, сказали мы с Иван Иванычем.» Похоже, что, озабоченный последние три года судьбами Родины, я совершенно упустил из виду свою собственную судьбу. Налево пойдешь. Направо пойдешь. Прямо шел — опять никому не нужен оказался. А жизнь как в сказке, чем дальше, тем страшней.

Ничего, кроме обрывков готовых фраз и конструкций, в голову не лезло. «Определенно, сегодня не мой день», — подумал я лениво, следя за нежными облаками над зеленым краешком Межапарка, хорошо видным отсюда, с моего пятого этажа. «… Подумаю над этим завтра!» Я допил джин и на ощупь, аккуратно поставил пустой стакан на холодный крашеный бетон лоджии. Повалился на диван и тут же заснул.

Там, у Врат, ведь тоже есть скамейка?
Не прогонит же апостол Петр?
Посиди там, подожди меня маленько.
Ты скажи ему: «Он обещал — придет!»
Отдохни! Когда еще дорога
На небо покажет поворот?
Говорят, у Бога судят строго.
Здесь судили. Вдруг там повезет?

Ты поспи! Не бойся за ребенка.
Там его никто не отберет!
Там не будут под одну гребенку,
То, что здесь никто не разберет.
Было больно? Или было страшно?
Прошептала что-то или нет?
Знаешь, это было так прекрасно —
Я одной тебе скажу секрет.
Я тогда как будто был с тобою,
Я как будто рядышком летел.
Я, ты знаешь, очень был спокоен.
Я ведь тоже умер, как сумел.
Ненадолго. Оживать страшнее,
Чем холодным по земле ходить.
Я, наверное, больше не сумею
Так бесстрашно, глупо так любить.
Я попью еще немного, ладно?
Но кого ни назову женой,
Как бы это ни было досадно —
Страх любви теперь всегда со мной.
Я теперь всегда буду бояться
Потерять, расстаться, не успеть…
Я, конечно, научусь смеяться,
Если будет что-нибудь болеть.
Посиди, родная, с кем-то рядом.
Там, конечно, очередь, у Врат.
Только не подсматривай, не надо,
Как я тут решу, кто виноват.

Глава 13

(Из рукописи Иванова)

Конечно, позвали. Ранним утром позвонил Лешка из Питера. Просто велел телевизор включить. А через час за мной уже заехали. Сводная команда, туда-сюда… Каждой твари по паре. Десантный взвод, отделение ОМОНа, спецназовцы из Москвы — от какой конторы, сам черт не разберет. Ну и я с друзьями — в качестве представителей народа, поддержавшего всей душой ГКЧП. Короче, славная подобралась компашка, хоть и разномастная, и у каждого в ней была своя задача. Действовали по особому плану.

А еще раньше Чеслав Млынник вскрыл по звонку командующего секретный пакет и приступил к исполнению. Пожалуй, только в Прибалтийском военном округе, и особенно в Латвии, режим Чрезвычайного положения был введен в первые же часы с момента его объявления и в полном объеме.

Все, что надо, все было взято под охрану немедленно. Первым шел ОМОН. Захватывал штабы силовых структур, разоружал незаконные военизированные формирования, брал под контроль узлы связи, телевидение и радио. Над Ригой барражировали военные вертолеты, давили на психику латышей, сразу же давших задний ход, заткнувшихся в тряпочку, разбежавшихся по кустам — формировать очередное правительство в изгнании или искать рыбацкую лайву, чтобы попытаться сбежать на ней по проторенному пути — к шведскому берегу.

Вслед за Рижским ОМОНом занятые объекты перенимали под свою охрану десантники. Они же контролировали выезды из города, основные транспортные магистрали и мосты. А омоновцы шли дальше — методично, пункт за пунктом выполняя каждую строчку приказа. Латышское население притихло, извинительно заулыбалось и подчеркнуто красиво заговорило по-русски. Русским было плевать на латышей. Никто не злобился, не торжествовал злорадно. Просто занимались своим делом, надеясь, что вернулась наконец нормальная жизнь, а значит, пора приниматься за восстановление разрушенного за годы перестройки мира.

Министр внутренних дел, тот самый Вазнис, сбежал и пьянствовал на укромной лесной даче на границе с Россией, трясясь и готовясь к расстрелу. Разбежались, как тараканы, все. Вся новая власть тут же рассыпалась, никто не мог найти друг

друга, даже если очень хотел. Доставали из тайников партбилеты и сами рысью бежали сдавать оружие. Или просто бросали открытыми ружкомнаты и разбегались по родным хуторам в сельской местности. Все. И та часть милиция, что перешла было на сторону «независимой Латвии», и бандиты из «стражей порядка» Бесхлебникова, и бравый (вчера еще) Первый полицейский батальон «белых беретов» Вектиранса. Вектиранс отличился еще и тем, что украл шестьсот с лишним тысяч рублей со счета родного батальона и так потом и не смог за них отчитаться. А кое-кто из политиков уже начал являться к своим вчерашним оппонентам со списками наиболее преданных, по их мнению, сторонников Латвийской Республики.

Такого позора даже я не мог себе представить. Сколько было вони, сколько гонору, сколько обещаний уничтожить русских оккупантов и колонизаторов… Вот вам, пожалуйста! Тот самый случай! Защищайте свою «революцию»! Боритесь всенародно за независимость! У вас есть оружие, у вас есть несгибаемый Народный фронт, у вас все административные и экономические ресурсы республики! Сопротивляйтесь! Воюйте! Стреляйте, режьте из-за угла, грызите зубами! Давайте же!!! Голые, мертвые, но свободные латыши, где же вы?! Ни одного выстрела. Ни одной попытки сопротивления.

Не было никакой революции в Латвии. Не было никаких народных защитников. Не было никакого желания бороться за свободу и независимость. Была *халява,* в очередной раз обломившаяся из Москвы в результате очередного московского переворота. И кончилась. И никто не пикнул.

А потом халяву снова вернули. И снова из Москвы. Государственность Латвии? Не смешите меня… Народ, на территории которого *нет ни одного города, латышами основанного,* не может стать нацией, не в силах самостоятельно основать государство, никогда не отстоит его в борьбе. И сейчас, когда я пишу эти строки — в начале 2008 года, я вижу, как снова рушится гнилой курятник, напыщенно названный потомками вечных лакеев — «Латвийская Республика». Рушится под собственной тяжестью, под тяжестью тупой, ублюдочной, жадной латышской пародии на власть и на собственную государственность.

А тогда… Тогда рушилась сверхдержава. Национальные статисты, на которых сегодня многие русские так удобно списывают крушение СССР, никогда не играли в этом значительную роль. Сами мы строили, сами разрушали. Теперь вот отстраиваем заново. Вот она — русская история. Новейшая — в том числе.

Трагедия русских Латвии, да и всех русских, брошенных в 91-м году на окраинах СССР, в том, что им воевать пришлось бы и порой приходилось — не с латышами и грузинами, туркменами и эстонцами. А друг с другом! Противником русских в союзных республиках стала Россия! И значит, воевать в августе 91-го, после невнятного «путча», русским в Латвии, например, пришлось бы с русской армией. С русской милицией. С русским спецназом. С русским народом. Брату — с братом. Братья ведь тоже бывают сволочами, порою большими даже, чем соседи. С этим нам и жить. *Этого бы. нам. никогда не забыть!*

К вечеру 21 августа, когда уже стало окончательно понятно, что к чему, я позвонил все же на базу, Толяну. Не мог не позвонить. Знал, что звонить нельзя. Знал, что у меня своя задача и свой путь. Что надо обернуться и вживаться. Все знал. Но еще я знал и то, что все равно меня продадут. Так же точно, как продали уже всех нас. И осталось у меня одно желание — справедливости. Порвать на куски, до кого дотянусь, и умереть со своими.

Этим жарким, безветренным, душным августовским вечером кончилась моя первая жизнь. А вторая еще не началась. Я повис в безвременье на тонкой паутинной ниточке. Но я был не один. Против меня была моя страна. Моя Родина. Моя столица — город-герой Москва. Моя армия, — я уже знал это — была теперь против меня. Мой народ, я понял это, был теперь против меня. Но я был не один.

Толян как будто в дежурке сидел, когда я позвонил в Вецмилгравис, — так быстро его позвали!

— Приезжай, Поручик, я знал, что ты позвонишь, помрем вместе! — *весело* сказал Мурашов. И с той самой минуты меня тоже долго не покидала веселая и злая уверенность, основанная на удивительном чувстве свободы, когда ты летишь в никуда. Когда нет у тебя больше ни Родины, ни службы, ни работы, ни дома, ни семьи, ни будущего. Когда ничего у тебя больше нет Для Родины ты — враг. Для семьи — обуза и опасность. Для себя… Себя уже нет Родится ли новый Иванов — если выживет — время покажет.

Я не спеша вернулся домой и стал собираться. Прибрал кое-какие документы, переоделся. Дождался Аллу, которая приехала вместе с дочкой с дачи. Поужинали мы в тишине. Поцеловались. Алла, как всегда, была сдержанно—спокойна и снова отказалась уехать хоть на время к теще: «А вдруг ты вернешься?» Велела Толику привет передавать. Ксению я еще за хвостики-бантики подергал — на счастье. Пистолет, снова полученный совсем недавно, разрядил, завернул отдельно две обоймы да пачку

патронов и попросил жену отвезти отцу. Он поймет. Сунул в наплечную сумку остававшиеся две гранаты и ушел. В отряде я без оружия не останусь, а те, кто выдавал мне пистолет еще позавчера, никогда уже не спросят меня ни о чем и даже не узнают при встрече. А батя у меня боевой офицер, ему пригодится.

Как быстро, однако, меняются полосы на тельняшке. Каких-то три дня, а как будто со дна — вверх подбросило, воздуха глотнул, головой повертел ошарашенно, не веря, что выплыл, и тут снова вдруг за ноги потянули — и снова на самое дно.

В Риге трудно поймать частника — это не Питер. Здесь, кроме таксистов, никто почти никогда тебя не подвезет, даже за деньги. Но мне именно частник нужен был. Повезло. «Москвичок» затрюханный, мужик русский за рулем, к багажнику сверху удочки прикручены — то что надо! Уговорил. Высадил меня хмурый дядя на шоссе на Вецаки, едва развилку к базе проехали. И тут же газу дал, понял, куда я собрался.

На остановке 2-го автобуса, метрах в стах позади меня, торчала группа латышат, но мне уже было по фигу. Ребята на «Шифере» — пулеметчики на крыше котельной — уже приняли меня под свое сопровождение. И я спокойно пошел по щебенке к знакомому КПП, ощетинившемуся колючкой перед шлагбаумом, остро глянувшему стволами поста, справа от ворот, в амбразурах наскоро забетонированного недавно дота.

Мурашов с Джеффом, в камуфляже, обвешанные по-боевому железом, вышли мне навстречу, приветливо сделав ручкой. Джефф еще умудрился смешное «па» изобразить, показывая пантомимой, что клал он на все, когда такие гости. Толян деловито обнял меня, Игорь состроил рожу и хлопнул по плечу по-свойски, чего раньше себе не позволял.

— Добро пожаловать в Советский Союз! — хором сказали оба, переглянулись и довольно заржали.

— А вы тут что, пограничники, что ли?

— Ага! И пограничники, и колхозники, и даже Политбюро! Вся страна в одном флаконе — полтораста человек населения осталось на все про все.

— Так, значит, в связи с моим прибытием в Союзе демографический взрыв?

— Считай, что так! А если еще кого приведешь, так мы врага просто шапками закидаем, по причине своей многочисленности!

— Попробую. Да только август — не январь, мужики! Шутки кончились. Откуда ж шутников теперь набраться? Теперь ведь народу придется объяснять, что не с работы надо отпрашиваться, а идти с концами.

— Не с концами, а до конца!

Мы прошли гуськом через разрыв в заграждении, и я вступил на территорию базы, ставшей последней землей на свете, над которой развевался на мачте советский флаг, которую охраняли с оружием в руках последние солдаты империи, еще верные присяге уже погибшей стране.

Вот и наш барак. Тот самый 12-й кубрик. И койка свободная нашлась. Бубнов слетал к старшине, приволок мне новый камуфляж, пару тельников; берет мой давно меня здесь дожидался. Он сам сходил за оружием — АКМ, пистолет, магазины, обоймы. Патронов и гранат в самом кубрике хранилось немеряно. Бронежилеты, каски, цинки, ящики с гранатами и даже «Мухами». Флаг Латвийской ССР на стене. Все лишнее барахло тщательно убрано, чтобы не мешалось под ногами в случае чего. Чистота, порядок, собранность.

Я переоделся. Снарядил магазины патронами. Толян, ожидая, пока я соберусь, расслабленно прилег на свою койку, снял гитару с гвоздя и запел тихонько:

«Темная ночь, только пули свистят по степи»… примолк вдруг… и заиграл мою любимую: «Жил-был я — стоит ли об этом.» Длинные, сильные пальцы, способные проткнуть человека — я сам это видел однажды, нежно и точно, совсем не фальшивя, перебирали струны, заставляя звучать непростую мелодию. «…В порт плыл флот с выигрышным билетом…» Толян резко прижал струны ладонью, остановившись на полуслове, и повернулся ко мне, я уже прохаживался по кубрику, потягиваясь, привыкая заново к форме, проверяя — все ли подогнано, ловко ли сидит, на своих ли местах тяжелая сбруя?

— Красавчик ты, Валерка! Костюм-тройка тебе идет куда меньше!

— Что ж ты песню испортил? Хорошо поешь, лейтенант!

— «Страшный» лейтенант! — Толик небрежно тронул погон, на котором недавно появилась третья маленькая звездочка. — А песня… Флота пока не видно, Поручик!

— Думаешь, есть откуда приплыть флоту? — Я присоединил к автомату магазин и забросил АКМС на плечо, стволом вниз.

— Флот не приплывет. А вот мы выплывем, Валерка! Обязательно выплывем!

Пошли к Питону, он тебя заждался. Соскучился, говорит.

— Ага, наверное, кушать хочет, — съязвил я. — Так ведь я не кролик!

— Для Питона все — кролики, — совершенно серьезно ответил Мурашов, и мы двинулись в штабной барак.

Дальше все пошло спокойно и даже размеренно. Не было

суеты, страха, истерики. Никто не рвал на себе тельняшку с криком: «Погубили Россию!» Укрепляли оборону. Проверяли минные поля в камышах. Разматывали малозаметные препятствия на подступах. Оборудовали дополнительные огневые точки, пулеметные гнезда, отрабатывали в разных вариантах взаимодействие в случае нападения противника. Вели разведку. Вытаскивали, иногда даже на бэтээрах, своих, оставшихся по тем или иным причинам в городе. Думали. Думали. Думали. На первом же общем собрании отряда единогласно приняли решение: «Новой власти не признавать, оружие не сдавать, отряд не расформировывать, в случае нападения — принимать бой и держаться до последнего бойца. На территории базы действуют Конституция СССР, УК Латвийской ССР и воинские уставы Советской армии. В случае нападения на семьи или на бойцов отряда, действующих за пределами базы, — отбивать своих любой ценой, всеми возможными силами и средствами, не считаясь ни с чем».

Много лет спустя, уходя в море на танкере или вылетая на грузовом борту на другой конец света, чтобы вернуться домой только спустя месяцы. я понял то *главное,* ради чего люди идут в моряки или в летчики.

Когда судно отваливает от причальной стенки, когда самолет отрывается от земли и начинает набирать высоту, когда впереди много-много дней в отрыве от привычного мира — ты начинаешь жить совсем другой жизнью, чем все люди.

Ты становишься недосягаемым для проблем привычного, стабильного земного мира. Чтобы ни происходило там, на земле, ты при всем желании уже просто не можешь до этого дотянуться. И точно так же тот, земной, мир тоже не в силах тебя зацепить своей, такой цепкой обычно, когтистой лапой условностей, распоряжений, инструкций, долгов, обязанностей, правил и даже любви.

На войне те же правила игры, что в воздухе и на море. Если воздух — это пятый океан, то война — шестой. Так же точно весь мир в этом огромном океане сжимается вокруг тебя до пределов твоего экипажа, взвода, батальона — вокруг *своих.* А все остальное — потом. Если когда-нибудь будет это «потом». Потому и говорят: «Война все спишет».

Море и небо — это такая маленькая война. А война — это такое бездонное море.

Ты можешь воевать — и не сделать ни одного выстрела. И тебя не ранит, и ты вернешься живым и почти невредимым. Почти — это потому, что совсем «невредимых» после войны — даже штабных писарей не остается. Вот в этом все дело. Ты можешь

всю жизнь ходить в море и спокойно умереть на суше в собственной постели. Но точно так же ты можешь пойти на дно в первом же безопасном рейсе. И так же точно, на войне, тебя могут убить в любую минуту, потому что это война. Даже если ты сам не собирался никого убивать. Даже если ты не ходил каждый день в атаку. Потому что море — это море. Война — это война. Бывают такие войны, когда месяцами никто не стреляет. И все равно — это война.

Все это — мысли задним числом. Тогда я ни о чем подобном не задумывался. Тогда мы все еще не привыкли к тому, что война надолго снова станет обычным состоянием русской души. Что после афганской и множества горячих точек, после Москвы 93-го, начнутся чеченские войны. Что целый десяток лет каждый день, как на войну, будет уходить в ночную смену даже девчонка из кооперативного ларька. Что правила игры изменятся надолго, что море будет штормить без остановки, что погода станет нелетной настолько, что все плюнут и снова начнут летать, невзирая на состояние атмосферы. И убийство станет привычным, как в библейские грубые времена. Вот только о Боге многие так и не вспомнят, потеряв систему координат, забыв все точки отсчета, кроме двух — страха и ненависти.

И так будет продолжаться, пока не встанет на *перевале* 6-я рота псковских десантников. И Родина не начнет снова обретать свои черты, за которые не страшно умереть, потому что — родные. Но ведь это уже новое тысячелетие будет, правда? До которого мало кто из нас думал дожить в августе 1991-го.

…В первый день на базе мне так и не удалось встретиться с майором. У него оказалось много дел. У нас с Толяном — тоже. Только поздно вечером 24-го Мурашов внезапно оторвал меня от беседы с бойцами и почти бегом потащил в штаб.

Чехов был элегантен, чисто выбрит, несмотря на то что ночь уже на дворе. Он встал, протянул руку, мы поздоровались. Одним кивком Александр Андреевич сухо отпустил Мурашова и предложил мне сесть. Мы закурили. Питон молчал. И я молчал.

Потом, глядя в сторону, как будто оправдываясь, он сказал ровно и без эмоций, как робот:

— К сожалению, реализовать Танину информацию не удалось. Если быть точным, то донесение просто никто не захотел принимать во внимание. Военная прокуратура установила высокую точность данных. Был организован слив информации в ряд патриотических СМИ. Никакой реакции со стороны союзных органов не последовало. Очевидно, там и так все знали. Остальные, те, от кого уже ничего не зависит, просто приняли информацию к сведению. Если бы последние события не

окончились так, как они окончились, тогда мы бы сумели многое сделать на основе этих документов. Сейчас пока это все…

— Сделанное не может стать несделанным, Александр.

— Китайцы, мудрые китайцы — у них людей много. А Таня была одна. — Чехов встал, длинная тень его метнулась по потолку — в кубрике горела одна лишь настольная лампа. — Давай помянем без лишних слов и забудем. *Пока.* — Он притушил интонацией мой ледяной взгляд. — Дел много, Валера. Неотложных.

Мы выпили по сто грамм, не чокаясь. Стоя. Питон убрал коньяк в шкафчик и снова сел, тускло глядя в зашторенное наглухо окно.

— Иди, Валера, пожалуй. Наговоримся еще. Ты все правильно сделал. Это все — прошлое. Поработай, пожалуйста, с Толиком, пока. Сам выбирай — кому доверять, кого здесь оставить, что им оставить. Мурашов все выполнит и поможет. Меня не дергайте, чем меньше ты со мной будешь контактировать, тем лучше… пока.

Возможно, всем нам придется передислоцироваться очень далеко.

— На тот свет, что ли?

— Это если не будем шустро передвигаться на этом. На днях в Юрмалу пожалует Ельцин, охранять его будет «Альфа».

— Советоваться будет.

— Я бы сказал — приказы получать, кому надо с ним советоваться?

— А они… прибыли уже?

— Они с 15-го числа здесь. Вот в том-то все и дело. Не дотянуться было никак. Никак! Еще бы один день ЧП продержалось!

— А Ельцин, значит, еще и «Альфу» притащит.

— Да. Положим весь отряд, а все равно не дотянемся. Иначе был бы хоть один шанс.

А ведь когда-то наши ребята в Юрмале его охраняли! Эх…

— Надо еще поработать с авиаторами среднего звена. Наверняка базу попытаются сверху раздолбать — ракетами с вертолетов или еще как. Я бы проехался по знакомым офицерам из Воздушной армии, поговорил на упреждение.

— Давай, попробуй. Шифрограмма уже пришла в Штаб округа новому командующему.

— Кузьмина сняли?

— Уже. Шифрограмма предлагает в случае нашего отказа разоружиться уничтожить отряд силами авиации ПрибВО. Так что ты правильно мыслишь, филолог.

— Э-хе-хе-хе… Сам филолог! У нас специальность суперширокого профиля. Ладно, пойду.

В дверях я задержался и посмотрел Питону в глаза. Он выдержал взгляд молча. Я все не уходил. Тогда только, сухо и недовольно, майор процедил:

— Она в Вильнюсе, на гарнизонном. Несчастный случай… Литовца никто не обнаружил. Куда его сунули, вместе с вашими дырками, тебе тоже интересно?

Я вышел, хотел было хлопнуть дверью, но по коридору шел какой-то сержант, поэтому я сдержался и, сжав до боли ручку, медленно и аккуратно дверь притворил.

Мурашов ждал меня в кубрике.

— Представляешь, сейчас новости смотрел в ленкомнате по ящику. Тем троим… которых в Москве под гусеницы запихнули, Ельцин торжественно присвоил Героя России!

— Да и хрен с ними! — Я посмотрел на часы, — Двадцать один тридцать! Самое время!

Переодевайся, бери водителя и еще кого-нибудь попредставительней, тоже в штатском.

Через час, не позже, мы должны быть в Пурчике.

— Слушай, Поручик, вредно тебе с Питоном разговаривать. Сразу грузить начинаешь, — проворчал Толян, однако, уже выходя из кубрика.

— Гальстерс! Холодок! Гаас! На выход! — заорал он, пробегая по коридору.

Я аккуратно ударил кулаком в стену, так, чтобы больно, но не громко, и начал переодеваться в цивильное.

На развилке за нашим «жигуленком» попыталась пристроиться какая-то допотопная иномарка, но Рыжий стряхнул ее уже на развязке перед Вецмилгравским мостом. Потом мы резво пронеслись мимо гаишного патруля, даже не попытавшегося махнуть палочкой, и свернули прямо в Межапарк. В парке было уже темно, редкая цепочка фонарей освещала только две центральных аллеи. Рыжий вырубил фары и на ощупь погнал подрагивающую машину прямо через лес, по пешеходным дорожкам — мимо старой парашютной вышки, потом левее, еще левее, забирая в сторону зоопарка. Тут, на пятачке потрескавшегося и вспучившегося от древности асфальта сталинских времен, мы остановились. Из-за полуобвалившейся раковины Малой эстрады так же тихо и без фар выехала «Волга»-такси. Вместо таксиста из передней дверцы вытащил свое длинное тело Птица.

— Карета подана! — Он засмеялся, вытащил из «Волги» спортивную сумку с автоматом, и мы стали пересаживаться.

— Ты что, один? — удивленно спросил я Птицу.

— Адын, савсем адын! — негромко схохмил отделившийся от сгустка темноты, оказавшегося окруженной кустами скамейкой, Архаров. Оружие было у него в руках.

— Ну, ясно! «Ниндзя из Земгале», часть вторая. Все не наиграетесь, блин!

— Время! — строго зашипел Толян, и я плюхнулся на заднее сиденье «Волги» вслед за ним и Немцем. Огромный Холодок уселся впереди, Рыжий опять за руль, и мы неторопливо, почти соблюдая правила, поехали через Эзермалас на Шмерли и лишь оттуда, опять скользнув через окружающий киностудию лес, въехали в Пурвциемс.

— Кто пойдет? — толкнул меня в бок Мурашов.

— Ты. Серега — он внушительный — на Рембо похож… Только ты, Сережа, молчи, как будто ты большой, но не очень умный.

— У него получится, — хихикнул Рыжий из-за баранки.

— Ты остаешься, у тебя уже получилось, — оборвал я невежливо прапорщика. — И… Гаас. Интеллигента будешь изображать. Типа, особиста-аналитика-экстрасекса высшей категории с полномочиями от Союза офицеров Москвы и Приморского края.

Немец Гаас невидимо в темноте, но явственно, голосом, тонко улыбнулся и процитировал Гете:

— Nur der verdient sicli Freiheit wie das Leben, / Der taglich sie erobern muB!

— Надоело на бой ходить, каждый день-то, — хмыкнул Мурашов.

— К машине, золотая рота! — Я вышел первым и тут же матернулся тихонько. Вы же все-то сумки с собой не тащите!

— Тащите все, — непререкаемо приказал Толян. — Ты, Поручик, извини, но это уже моя забота. Мы пятый день вне закона, если ты забыл. И не перед лабусами, а перед всей нашей бывшей страной и даже армией родной. Во! Аж стихами заговорил!

Мы зашли в подъезд хорошенькой пятиэтажки улучшенной планировки, увитой какими-то декоративными лианами или виноградом, черт их в темноте разберет.

Холодок бесшумно проскочил до верха и обратно и остался площадкой выше нужного нам третьего этажа. Мурашов и Гаас остались площадкой ниже. Я деликатно нажал на звонок.

— Кого там черти носят? — Послышались за дверью уверенные шаги, щелкнул выключатель, потом выключился, хозяин квартиры пытался разглядеть меня в глазок.

— Рыбнадзор! — хихикнул я «пьяно».

Дверь тут же открылась, смуглый капитан (в полутемном подъезде не видно было, но я знал, что он смуглый) вышел на площадку, щелкнул зажигалкой, прикуривая и освещая меня одновременно, и протянул мне руку.

— Вы один? Заходите.

— Добрый вечер! — С верхней площадки ссыпался мягко, как песок, Серега и, нежно переставив капитана в сторону, втек в квартиру.

— Это что?! — потерял дар речи летчик.

— Это все свои, Арсен, — успокоил я его. — Время такое, извините.

В небольшой, хорошо обставленной и чистой квартирке капитана было светло и уютно. Шторы, правда, были плотно задернуты. Негромко бурчал телевизор. На журнальном столике стояли минералка, фрукты, чашки, фужеры — все нетронутое. А ведь капитан ждал нас не один. Нам навстречу поднялись два майора и подполковник — все в форме, все авиаторы. Никто не возмутился поведению Холодка, быстро, но внимательно осмотревшего все помещения, прежде чем запустить нас. Офицеры сразу увидели во мне с Мурашовым старших и вели себя соответственно.

Коротко представились друг другу, без лишних подробностей. Я без околичностей выложил нашу просьбу. Отряд заперт на базе. Ситуация напряженная. Либо латыши осмелятся и попробуют уничтожить ОМОН самостоятельно, либо будут ждать, пока Москва — вашими, товарищи, руками — сама нас не уничтожит.

С латышами мы справимся.

Во всяком случае, мясорубку они получат такую, что запомнят надолго, а лучше бы — навсегда. Но они этого и боятся. А шифрограмма в округ уже пришла — «оказать содействие». Вот и все, что мы хотели сказать.

Офицеры помолчали, переглядываясь. Арсен, на правах хозяина квартиры, предложил хорошего коньяку — из дома прислали. Мы не отказались. Попросили разрешения курить.

— Жена с дочкой у родителей сейчас, в Ереване, приедет не скоро, курите, я и сам закурю, — гостеприимно разрешил Арсен.

Выпили, расслабились, поговорили ни о чем, прощупывая друг друга. Ребята вдохновенно играли тех омоновцев, миф о которых создался в народе. Летчики цепко ухватывали каждую деталь — пистолеты под одеждой в плечевых кобурах, жесткие взгляды, скупые, экономные жесты; как двигались, как с полуслова понимали друг друга, как реагировали на любые

внешние раздражители. Подполковник, явно не случайно, как бы неловко, задел ногой одну из спортивных сумок, сложенных в углу комнаты, понял, что там лежит, и смущенно улыбнулся. Опытные, успевшие повоевать, пилоты были далеки от земного стрелкового антуража, от стычек лицом к лицу — все им было по-человечески интересно. Офицеры потихоньку стали воспринимать нас согласно заранее распределенным ролям — четыре разных типа профессионалов, дополняющих друг друга. Арсен знал меня прежде только как идеолога Интерфронта, и это было хорошо — офицеры увидели в нас не просто загнанных в угол отчаянных рижских омоновцев, но и обычных русских людей — народ, проще говоря, тот самый народ, который армии вроде бы и положено защищать. Мы намеренно дали летчикам возможность вести себя чуть покровительственно, стать хотя бы на время самими собой — защитниками *своих,* воинами с офицерской честью.

Все они представляли разные подразделения, каждое из которых могло быть задействовано в авианалете на базу. Каждый, конечно, имел доверенных сослуживцев и тесные связи в тех частях и соединениях, которые мы сами не могли охватить. И они дали нам слово, что никто из авиаторов округа не пойдет на выполнение приказа об уничтожении Рижского ОМОНа, пусть даже это будет стоить погонов. А если Москва пришлет вдруг своих, если прилетят сюда с этой целью варяги из Московского округа, то диспетчеры наши по крайней мере постараются предупредить нас об этом.

Мы выпили две бутылки отличного коньяка, но никто не захмелел, даже глаза ни у кого не заблестели. Прошло всего лишь несколько дней с 21 августа, а мы уже стали с этими офицерами по разные стороны баррикад. Точнее, нас развели по разные стороны. Теперь мы были никто — бунтовщики, смутьяны, преступники. Отверженные Москвой, ненавидимые Латвийской Республикой, мы были последние советские люди, открыто признавшие себя таковыми и поднявшие оружие против всей новой власти. Что Рижской, что Московской — все одно. Мы понимали, что, помогая нам, эти офицеры ВВС сами подставляют свои головы. Такова была новая действительность. Помогая нам, офицеры Советской армии становились преступниками. И они же были обязаны выполнить приказ сверху, если он поступит, — уничтожить нас, по просьбе «братской» независимой Латвийской Республики — суверенного латышского государства, уже признанного Россией.

Это было дико, это было противоестественно, но это было так.

Прощаясь, мы обнялись. Они были старше нас, эти летчики,

особенно подполковник. Да и орденские планки у них состояли не только из юбилейных медалей. Но тогда они смотрели на нас виновато, как младшие братья на старших, уходящих в армию. Это было… Просто это так было.

Мы ехали по ночной Риге, мы ехали по родной когда-то Риге, мы знали здесь все.

Здесь мы целовались, любили, учились, набивали шишки, работали, служили, здесь был когда-то наш дом. А еще у нас была когда-то, недели еще не прошло, как была у нас великая держава, огромная — шестая часть суши. И в ней были Москва и Питер, Владивосток и Пермь, Горький и Тбилиси, Вильнюс и Ашхабад — и все это было наше.

У нас были Тихоокеанский флот и Группа советских войск в Германии, у нас были Большой театр, Третьяковка и Эрмитаж. У нас были Кировский завод и ВЭФ, у нас были якутские алмазы и туркменский хлопок. У нас были балет, ракеты и Енисей, в конце концов!

Теперь у нас остался огороженный колючей проволокой кусок земли на окраине Вецмилгрависа, наши бараки, превращенные в крепость, и наши товарищи, готовые по первому зову выехать хоть всем отрядом, но вытащить нас из любого боя, из любой засады, да хоть из-под земли! Пусть даже весь ОМОН погибнет из-за этого. Но они приехали бы за нами. А мы, узнав о нападении на базу, пробились бы туда любой ценой, даже мертвыми.

Это было все, что осталось у нас от Родины, но сегодня мне иногда кажется, что это было больше, чем то, что приватизировали в 90-х Ельцин и вся его компания. Самое главное украсть они так и не смогли. И потому попытались за деньги стереть память об этом у всего народа. Получилось ли? Даже если никого из нас не останется. Мы — русские, знаем про Божий суд.

На базу мы возвращались утром. Забрали в Межапарке «жигуленок», в котором терпеливо поджидали нас Архаров с Птицей, и на двух тачках без приключений вернулись домой.

Мы объездили много квартир. Там были мои контакты и Толика. Там были спецназовцы, которых «подвел» к нам отец Рыжего — сам старый вояка, легендарный даже, можно сказать. Мы делали что могли. Нам нужно было выиграть время. И мы делали свою часть работы, которую делал весь отряд. По-разному можно относиться сегодня и к Чеславу, и к Чехову. Но эти два майора сохранили Рижский ОМОН в ситуации, когда никто уже — ни друзья, ни враги — не верил, что мы выживем. Потерь у нас не было — и это их, и только их — командирская заслуга.

Август — не январь. Вокруг базы все как вымерло. Никто не

осмеливался приблизиться к обреченному Рижскому ОМОНу. В Риге все уже давно решили — нам конец. В нашей задачке решения и в самом деле не было. Сдаваться мы не собирались. Терпеть в тылу у нового режима вооруженный до зубов, загнанный в угол и способный поднять на уши всю Латвию отряд — латышам тоже было невозможно. Сам факт нашего существования — с оружием в руках и под Красным знаменем — ставил под сомнение победу не только латышской независимости — Рижский ОМОН стал вызовом новой, ельцинской, власти в России, да и всем властям во всех огрызках фактически уже бывшего Советского Союза.

Из Москвы прилетел генерал. Вместе с латышами, постоянно перезваниваясь с Москвой, они пытались найти решение головоломке Рижского ОМОНа. А мы жили своей жизнью. Экипаж за экипажем постоянно выезжали в город, и никто не смел их трогать, зная: тронут одну машину с омоновцами — тронут весь отряд. Я тоже не вылезал из этих рейдов. Многое надо было закончить, свернуть или, наоборот, оставить в готовности. А были еще задачи утилитарные. Например — бензин, запасы которого таяли на базе катастрофически. Мы с Толяном решили задачку с помощью одного из офицеров, служившего начальником ГСМ недалеко от Риги. Целый бензовоз пригнали на базу. И снова все обошлось.

Однажды утром меня нашел по телефону Сворак. Я обрадовался и стал кричать ему давно обусловленным шифром, чтобы присылал людей — теперь всем найдется и дело, и оружие. Петрович сначала просто потерял дар речи, а потом начал орать в трубку открытым текстом:

— Валерка, мудак, что ты там делаешь? Они все смертники, и ты вместе с ними! Немедленно бросай все и вали от ОМОНа как можно дальше! Ты молодой, тебе жить, у тебя дочь, ты что, совсем свихнулся на этих играх? Слушай приказ! Чтобы через пять минут твоего духа в Вецмилгра-висе не было! И чтобы никто, ни одна душа не знала, что ты там вообще был!

— Петрович, так ведь ты мне не командир, хоть и бывший полковник.

— тихо ответил я, чувствуя, как во рту противно кислеет язык отчего-то.

— Прости, Валерий Алексеевич, но я тебе как другу сказал. — резко сменил тон Сворак.

— Что-нибудь конкретное есть? По делу?

— Васильев отчаянно просит тебя уговорить жену выдать сыну-двоечнику табель, чтобы отправить его в Москву, от греха подальше.

— А что он сам к ней зайти не может? Хорошо, я позвоню Алле, она нарисует Сережке тройки и поставит у директрисы печать. Пусть Васильев не волнуется. И еще передай ему спасибо за все, сам знаешь какое… Ладно, Михаил Петрович, счастливо оставаться!

Вышел я из дежурки, устроился на солнышке и закурил. Автомат на колени, берет под голову, затылком в теплую стенку барака уперся. Сижу, курю. Ну и что ж наш Интерфронт, думаю? А что Интерфронт… Был запрещен в первый же день новой власти.

А сотни тысяч сторонников? Где они? Вокруг базы — пусто, только латыши в засадах сидят. В Риге ни демонстраций, ни протестов. А против кого протестовать? Против Москвы-матушки? Против союзного правительства, которое хотели мы сохранить? Против Горбачева, который всех русских сдал и подставил — «Форосским сидением», в том числе? Против Советской армии, которая теперь по приказу из Москвы готова Рижский ОМОН уничтожить своими руками? Или на два фронта воевать? Одновременно с латышами и с Россией, выбравшей Ельцина? Вот и весь Интерфронт.

Было бы все отдельно взятым латышским фарсом, так ОМОН с Интерфронтом всю власть бы здесь без помощи армии перевернули. Пусть сидит в казармах, без нее бы обошлись. А против России *как* выступать? Эх, Россия, мать.

Зря я на Петровича наорал. Куда в самом деле ему людей посылать? На смерть? Я-то просто не могу по-другому, я здесь был всегда своим, как же я *теперь* чужим стану?

Подошел Толян. Веселый, подтянутый, как на строевом смотре прямо

— аж противно.

— Чего насупился, пан Поручик?

— Это Чеслав тебе пан. А я — гвардии рядовой Иванов. Да и то — запаса.

— Ну, это ты не переживай, офицерское звание мы тебе хоть сейчас подгоним. С капитана начнем? Или сразу в майоры? Ты не стесняйся, в самом деле, мне велели тебя в списки отряда внести — все равно теперь скрывать нечего. А отчетность требуют — каждого человека в отряде Москва велела сосчитать.

— Пиши как хочешь. А лучше простым сержантом. Сержант Иванов — вот так.

— Я ведь серьезно спрашиваю, чудило!

— А я тебе серьезно говорю — сержант Иванов. Буду в твоем взводе числиться, если надо.

— А Питон сказал Чизгинцеву в аналитическую группу тебя

оформить.

— А ты скажи капитану Чизгинцеву, что я сержант Иванов и служу в твоем взводе. Понял?

— Понял. Только я все же с Чеховым еще посоветуюсь.

— А ты не советуйся, ты ему просто передай мое решение, ясно? — Я затушил бычок о подошву ботинка и пошел в кубрик.

Перед нашим бараком стояла незнакомая черная «Волга», «двадцать первая», еще с оленем на капоте!

Я аж присвистнул от изумления. Кто ж это такой пожаловал? Но спросить было не у кого.

Я заглянул в коридор, дверь первого кубрика была открыта, там сидела веселая компания.

Джефф, Архаров, Спейс, Рыбалка. все уже немного поддавшие. Впрочем, они только с выезда, вряд ли их до утра теперь тронут, почему бы и не накатить? Я зашел в гости и поднял было уже кружку к губам, как вспомнил раритет, стоящий у входа. Так и не выпив, я спросил:

— Мужики, а что это за «тачка» там у крыльца? Может, кто из вас приехал?

— Батюшка прикатил, — совершенно серьезно ответил мне Джефф, морща скуластое лицо от спирта, торопясь зажевать «чистоган» маринованным огурчиком из старых, январских еще запасов.

— Чей батюшка? — не понял я. — Твой, что ли? Так он же в море, ты говорил.

Все дружно засмеялись, даже Спейс стянул с себя наушники плеера, с которым не расставался даже в сортире. Наверное, случись бой, он и тогда будет воевать под музыку.

— Православный батюшка. Крестить народ будет, кто некрещеный, — пояснил наконец Архаров. В качестве иллюстрации жилистый, весь в узлах длинных мускулов, узбек вытащил из-под тельняшки нательный крест. — Меня еще бабка крестила, — пояснил он и потянулся своей кружкой чокнуться со мной. — Давай, Поручик! Выпьем за победу! Не журись! Вы с Питоном мозги, зато мы — ваши щупальца! «Нам нельз-я-я друг без дру-у-га…» — дурашливо пропел он.

— Да ну тебя, дурака, нашел мозги! — рассердился я и снова отставил кружку, хотя выпить хотелось просто невыносимо. — Была б у меня хоть капля мозгов, я б тут не сидел с вами!

А где крестят-то?

— А в спортзале.

— И что, всех?

— Кто пожелает, конечно! Ты у нас не партийный разве?

— Бог миловал… Но и не крещеный. Там, где я родился, там

одни мечети были! Это тебе повезло в Риге родиться, а то был бы мусульманином, не иначе!

— Ты меня еще «духом» назови, — невозмутимо отозвался рижский узбек Архаров. На его камуфляжной куртке, аккуратно висевшей на спинке колченогого стула, кроваво поблескивал орден «Красной звезды», полученный еще на срочной — в Афгане.

— Старый, ты, в натуре, пить будешь или креститься? — Джефф снова занес фляжку над моей все еще полной кружкой.

— Пойду посмотрю, — выскочил я вдруг из-за стола.

Путь по длинному коридору, в торце которого находилась дверь в небольшой борцовский зал, дался мне непросто. Сначала я остановился у нашего с Толей кубрика. Толкнул дверь, она приоткрылась. Толян, как на грех, стоял с бутылкой водки в руках и задумчиво глядел в потолок, вероятно, мучительно придумывая повод.

— О! Стоит открыть пузырь, и брат мой бледнолицый тут как тут. Ты, случайно, не джинн? Это я не тебя из бутылки выпустил?

— Э, Толян, погоди, сейчас. — Я захлопнул дверь и прислонился к стене. В спортзале явно что-то происходило. Оттуда слышались голоса, лязгало оружие. Вздохнув тяжело, я подошел к ставшей почему-то таинственной двери в торце коридора. Тут дверь сама открылась и оттуда показалась взъерошенная голова сержанта из нашего взвода.

— Ты чего тут топчешься? Давай скорей!

Я зашел в спортзал, давно уже превращенный в огневую точку. Стены были заложены мешками с песком, кое-где, для надежности, к ним были прислонены железные «блины» от штанг. В углу, у окна, выходившего на внешнюю сторону базы, дежурил пулеметчик.

А вот остальные омоновцы почему-то строились в одну шеренгу. Босиком, без оружия, без беретов. Расстегивали куртки на груди, освобождали запястья, закатывая рукава.

Перед шеренгой стоял батюшка в черной рясе, рядом с ним, на импровизированном столике мерцали золотом какие-то предметы, высокая чаша, как в фильмах про древнерусскую старину, и еще много всякого непонятного.

Я пожал плечами, оглядел шеренгу мужиков, не нашел ни одного хорошо мне знакомого — многих знал в лицо, кого-то по имени, но почти все они были с других взводов. Мне стало неуютно, и я тихонько вышел обратно в коридор.

Тут же открылась дверь нашего кубрика, и Толян призывно помахал мне рукой — давай, дескать, не тяни, водка греется. И сразу же из первого кубрика высыпала гурьбой вся веселая компания Джеффа. Загудели, увидев Толяна, ломанулись к нам в

кубрик, потащили и меня, конечно. Я вырвался и вернулся в спортзал. Батюшка уже начал читать какие-то молитвы, помахивая размеренно кадилом, незнакомый, щекочущий ноздри запах разносился по пропахшему потом, формой и оружием помещению.

Тут что-то надломилось во мне, а может, наоборот срослось. Я поставил в угол автомат, вытащил пистолет из вшитой в камуфляж кобуры и лихорадочно стал снимать ботинки. Батюшка на мгновение скосил на меня глаза и ободряюще кивнул. Я мигом стянул носки и пристроился с краю шеренги, в которой уже стояло человек пятнадцать. Рослые, крепкие, успевшие заматереть в кости, но все еще молодые мужики, в среднем лет под тридцать, доверчиво и покорно склонили головы перед пожилым невзрачным батюшкой, не побоявшимся приехать в Рижский ОМОН, над которым по-прежнему развевался красный советский флаг, к людям, которые поголовно почти были коммунистами и комсомольцами, к бойцам, до последнего защищавшим Союз Советских Социалистических Республик! К омоновцам, поклявшимся умереть за Конституцию СССР и не сдаться. К солдатам, принявшим советскую Военную присягу и оставшимся верным ей.

А батюшка терпеливо говорил о том, что долг его быть с теми, кто не щадит живота своего за други своя. Что перед смертным часом, если выпадет он нам в бою, нет большего облегчения, чем крещение, отпущение грехов и возможность войти после смерти в жизнь вечную, «смертию смерть поправ».

Потом началось Таинство. Я ничего не понимал тогда в обряде. Я Символа веры не знал и не понимал толком, какие слова повторяем мы вслед за батюшкой. Я так же, как все, подставлял лоб, руки, грудь, ноги — под помазание. Послушно называл свое имя, подставлял голову под простой медный крестик на дешевом шнурке. Причащался, не зная, что такое Тело и Кровь Христовы. Неумело, вслед за батюшкой, боясь перепутать руку, впервые осенял себя крестным знамением.

Я не понимал, какое чудо происходит со всеми нами. Да и товарищи мои, наверное, тоже. А батюшка не ругался, не изумлялся нашему неумению и незнанию. Только все тяжелее сгиналась его спина под тяжестью наших грехов. А глаза становились все печальнее и добрее.

Закончив обряд, батюшка поздравил нас. И тут же деловито, повторив несколько раз, «для тех, кто на 23-м бронетранспортере», объяснил нам, как теперь мы сами можем в бою окрестить тяжело раненного, умирающего товарища и тем самым спасти его душу тоже.

Каждый день молюсь я теперь за крестившего нас батюшку, имени которого даже не запомнил тогда. Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя, грешного!

Батюшка уехал. А длинный день продолжался. Толян выгнал подпившую компанию сержантов отсыпаться после бессонной ночи в городе и теперь ждал меня, как будто сам и не пил — снова веселый, трезвый, собранный, только дерганый немножко.

— Ты Трегубова вызвонить можешь?

— Могу, наверное, а что стряслось?

— Дело есть. Буду краток. В случае нападения на базу диспозиция простая — бьемся до последнего. Но есть одно но. Или расколошматят нас все же с воздуха. Или окажемся в городе, на выезде, и уже не пробьемся к своим… Всяко может быть, не по плану. Питон велел закладку сделать на всякий случай вне базы. Потому что все, кто после боя останется, так или иначе получат до конца жизни, а она все равно будет короткой — одно задание — по группам или поодиночке — прорываться в город и действовать самостоятельно. Сам себе диверсант, короче! Устроить такой шухер, чтобы земля под ногами у латышей горела!

— Разумно. Но я так полагаю, что и закладки уже сделаны, и люди заранее за пределами базы оставлены.

— Правильно полагаешь. Но нам свою закладочку иметь тоже нелишне. Я человек запасливый, да и Питон плохого не посоветует. Короче, сейчас поедем в город. Повидаешься с женой заодно, да и я домой заеду. Собери комплект штатской одежды неброской. Я тоже возьму дома. Консервы здесь уложим. Водки… для дезинфекции… Аптечку. Промедол, само собой. Два автомата, патроны, гранаты. Пистолетов пару, «Муху», хоть одну. А вот Палыч наш должен будет все это добро (надеюсь, в две сумки уместится) в надежном месте закопать. А потом точные координаты нам сообщить.

— Палыч сделает. Есть одно местечко хорошее в лесу, в Калнгале. И отсюда, если что, пешком за пару часов добежим — по воде, камышами, огородами, лесом — я там каждую тропку знаю. И из города добраться легко, хоть на тачке, хоть на электричке. И главное, Палыч это место знает, мы там вместе ходили, легко найдет, и мы потом не перепутаем.

— Понял, не дурак. Тогда собирайся, надо ехать, пока машина свободна. И. поздравить тебя?

— С чем?

— С крещением, дурашка!

Глава 14

(Из рукописи Иванова)

— Хорошо, я все сделаю. — Палыч решительно тряхнул седой головой, но выцветшие голубые глаза его смотрели тоскливо, пушистые усы опустились книзу, как у запорожца. Без долгих разговоров мы сгрузили ему прямо на диван оружие, консервы, водку, сигареты, спички и два пластиковых мешка со штатской одеждой.

— Если нам не пригодится, сам используешь, тебя учить не надо, старый конь борозды не портит, — хохотнул я дежурно.

— Это значит, вас там убивать будут, а я потом консервы трескать да водку по стаканам разливать на безымянной могиле? — тяжело произнес Трегубов.

— Что-то ты, Палыч, сентиментальный стал какой-то! Стареешь, что ли? — Толян тут же включился в нелегкий разговор. — Это мы убивать будем. Если понадобится. А нас, дураков, пуля хер догонит, не раз доказано, правда, Поручик?

— Неоднократно! — нажимая на «о», подтвердил я и важно поднял кверху указательный палец. — Говно, как наука доказала не тонет! — Это кто здесь говно? — подскочил со стула Мурашов. — Высокий суд, я протестую!

— Будет вам, дурака валять со стариком! — одернул нас обоих Трегу-бов. — Сказал, сделаю. А сейчас идите. Скоро Татьяна придет, а мне еще все это добро упаковать надо, не дай бог, увидит.

— Ну и пойдем, — обескураженно развел руками Толян.

— Прощаться не будем, Палыч! Все пули — мимо нас! — Я все же не удержался, приобнял старого товарища и вышел во двор.

— Ну чего он панихиду развел, старый хер? — смущенно загрубил Мурашов, когда мы погрузились в машину и поехали к моему дому.

— Жалеет, что на дело не берем. Все ему кажется, что раз жена такая молодая, то и он петушком бегать должен! А самому шестьдесят уже стукнуло. Ладно, проехали!

— Проехали?! — удивленно вдарил по тормозам сидевший за рулем Кабан.

— Тьфу, черт, еще два квартала! Проехали, да не то!

— А то я твою квартиру не знаю. — пробурчал ничего не понявший и потому обидевшийся Пилипчук.

— Ну, я пошел! Жду через час, максимум — полтора. Управитесь? — Толян кивнул. Я подхватил тяжелую спортивную сумку со снаряжением и пошел к своему дому. Машина остановилась метрах в ста от него, на соседней улице.

Алла была дома, а вот дочка у моих родителей. Я расстроился. Жена развела руками. И то правда, я же не предупреждал, что приеду. А ей как раз надо было отвезти отцу мой подарок. Надеюсь, что не последний.

— Как вы там? Есть хоть какой-то выход? — Собирая на стол, Алла разговаривала со мной на ходу, тихим, отрывистым голосом.

— Выход, Аля, всегда есть. Пробьемся. Тебе от Толика привет! Он к Ольге поехал, через час должен вернуться, забрать меня.

— Через час?! А я думала пироги поставить. — Алла остановилась посреди кухни с полотенцем в руках, постояла, не зная, куда теперь идти, вытерла руки и медленно села за стол напротив.

— Пироги я люблю!

— Вот я и хотела.

Раздался резкий звонок в дверь. Алла побледнела. Я показал ей пальцем — тихо!

— Спроси, кто там? И сразу не открывай, кто бы ни был.

Я выскочил в комнату и рванул молнию спортивной сумки. Присоединил магазин к автомату, сунул в карман эргэдээшку и стал в простенке перед коридором.

— Сейчас, одну минуту! — громко сказала Алла кому-то через дверь и торопливо вошла в комнату. — Это Люда с Виталиком, — прошептала она.

Я аж зубами заскрипел от злости.

— Запускай, только веди на кухню сразу, скажи, что я переодеваюсь. И сразу за ними дверь закрой на ключ.

Я аккуратно положил оружие в шкаф, снял, чертыхаясь, плечевую кобуру; пистолет сунул сзади под ремень, выпустив рубашку небрежно, по-домашнему, поверх брюк.

Люда — давнишняя, еще школьная подруга жены. Виталик — ее шебутной сынишка — ровесник Ксении. Это надолго. Живут они на другом конце города, у «Авроры», и на пять минут никогда не заходят. Из кухни послышалось веселое щебетание Людочки — миниатюрной блондинки с внешностью вечного ребенка. Я вышел к ним на кухню, поздоровался и пригласил в комнату. Не знаю, как это Алле удалось, но она напоила гостей чаем и спровадила уже через полчаса. Только мы обнялись, только прижались покрепче друг к другу, как заверещала рация в сумке. Просто

несколько прерывистых нажимов на тангенту. Сигнал Мурашова, что они подъезжают. Впервые у Аллы слезы выступили на глазах и задрожали губы. Я поцелуями собрал соленую воду с лица жены и успокаивающе сказал:

— Я скоро снова приеду. Все у нас тихо. Они боятся, Аля! Они нас боятся и потому никогда не полезут на базу. А мы за это время что-нибудь придумаем.

Алла оторвалась от меня, шмыгнула носом, села на диван, поправляя и застегивая халатик. Я вытащил из шкафа автомат, сложил в сумку. Отправил туда же забытую было в кармане гранату и стал одеваться — заправлять рубашку, застегивать ремешки кобуры, искать чистый платок в ящике того же шкафа.

— Я все приготовила, — ровным голосом сказала Алла. — Вот здесь, в пакете, носки, платки, белье на смену. Вы там хоть моетесь иногда?

— Да там такая сауна — обалдеть! — Я не соврал, правда, на крыше сауны сейчас было пулеметное гнездо. Да и душ принять я хотел именно дома… ладно, намоюсь еще… когда-нибудь.

У ног терся черный кот Бегемот, обиженно требуя ласки. Всем хочется ласки.

— Что родителям твоим сказать? Я пистолет отдала. Страху натерпелась, когда везла, все казалось, сейчас остановят и сумочку потребуют предъявить.

— Ты моя героиня! Ты моя любимая женушка, ты мечта моя кареглазая! — Я еще раз обнял жену на прощание и подошел к двери. — Скажи, что со мной все в порядке. Новостям в местной прессе пусть не верят.

Верить можно только мне. Ксюху поцелуй! До встречи! Подожди! Деньги! Вот, возьми.

— У меня есть еще, тебе самому могут пригодиться. Да и много здесь, откуда?

— Я теперь на полном обеспечении. А деньги — выдали, чтоб семьи хорошо питались и не плакали! Люблю, жди!

Я выскочил за дверь и только потом осмотрелся. Все было тихо. Только дворничиха встретилась на лестнице и, поздоровавшись по-русски, долго смотрела мне вслед. Машина на этот раз стояла прямо у подъезда. Я протянул Толику сумку в открытую им заднюю дверцу, сам уселся вперед и закурил. Кабан сразу рванул с места и погнал в сторону центра.

— Куда это мы?

— Джефф открытым текстом сообщил по рации, что его в кафе на Брасе блокировали.

— Япона мать! Что он там делал?

— Он к матери заезжал на работу, на Ленина, потом решил

пожрать по дороге на базу чего цивильного. Наверное, у матери «хвоста» поймал.

— Давно?

— Только что был на связи.

Открытый канал прослушивали все, кому не лень, так что времени у нас было в обрез.

Кабан ощерил зубы и несся по узким улицам Чекура, как камикадзе последнего императорского призыва. Толян деловито доставал из сумок автоматы, прищелкивал магазины, на ходу передавая нам оружие вперед, чтобы под рукой было. Доехали за пять минут, «мушкой», как говорится.

Кабан резко тормознул прямо перед остановкой 11-го трамвая на левой, для нас, стороне улицы Миера. Там, почти сразу за Брасовским мостом, на первом этаже нового кирпичного дома было кооперативное кафе, где мы все иногда обедали. Перед входом в кафе стоял патрульный «жигуленок», в котором сидели двое сержантов. Один из них оживленно болтал по рации, очевидно, вызывая подмогу.

Мы с Толей выскочили одновременно, на бегу, для убольшей убедительности, передергивая затворы автоматов, и направили стволы на милиционеров. Кабан тоже выскочил из-за баранки и, прикрывшись машиной, взял под контроль улицу.

Сержанты в машине дернулись было (от испуга, вероятно, не от героизма же), но Толя, держа автомат в одной правой руке, левой выразительно показал им пальчиком — ни-з-зя! Будет дырка в теле! Потом тем же пальчиком он приказал тому, что болтал по рации, закрыть рот и бросить микрофон на пол. А потом столь же выразительно заложил левую руку за голову. Сержанты все прекрасно поняли и прилежно сомкнули руки за головами, тем более что я успел сделать еще пару шагов, и теперь ствол моего автомата смотрел через открытую форточку прямиком в ухо водителя. А за ним и ухо напарника было — на одной линии. Все делалось тихо, без крика, без лишнего шума.

Я, правда, чуть было не растянулся на скользкой брусчатке, когда выпрыгивал из машины, но чуть-чуть не считается…

Джефф, наверняка сидевший у окна и просекший мгновенно мизансцену, выскочил из кафе как ошпаренный, толкая перед собой латышонка в штатском с завернутой за спину рукой да еще сверля ему шею стволом пистолета.

Редкие прохожие сразу передумали ехать на трамвае и прыснули в разные стороны.

Опера в штатском кинули на мостовую рядом с колесами ПМГ, туда же, мордой в асфальт, вытащили обоих сержантов. Пока мы с Толяном держали их на мушке, Джефф сноровисто

вытащил у лабусов пистолеты, обшарил «жигуленок», разжился еще одним АКСУ, оборвал надрывающуюся в машине рацию и запрыгнул в нашу «тачку» на заднее сиденье. Кабан уже снова был за рулем. Мы с Толяном резво попятились, театрально вертя туда-сюда стволами, цыкнули одновременно на поднявших было головы латышских ментов и, когда Кабан наконец развернулся, быстренько уселись на свои места и укатили подобру-поздорову, прислушиваясь, как за спиной, где-то в районе Покровского кладбища, уже завывают сирены. Кабан был не дурак — и без команды Толика догадался не ехать через путепровод. Опасным рывком он бросил машину вперед прямо перед носом заворачивавшего на мост КамАЗа и съехал на крутую развязку. Еще рывок, другой, и мы были в Мангали, а там, перед Вецмилгравским мостом нас уже поджидал БТР с «Дельтой». «Встреча на Эльбе» была теплой, но короткой, поскольку со всех сторон уже начали было к нам подруливать «бобики» с нехорошими людьми, перешедшими на службу к новым хозяевам. Однако, увидев БТР, а потом еще и получив наверняка от дежурного по городу сообщение о тревоге, поднятой на базе, «бобики» сначала притормозили, а потом сделали вид, что они просто катаются по городу, и разъехались в разные стороны.

— Ты что, Джефф, совсем оголодал? Ты на себя посмотри, рожа моей жопы шире! — отчаянно материл Игореху Мурашов. — Ты почему один в городе, без машины?

— Хорош орать, у меня у матери сердце больное, пока меня не увидела, не успокоилась, вбила себе в голову, что нас всех похоронили давно.

— Екэлэмэнэ, а доложить? Мы что, не могли ей встречу организовать по-человечески? На хера такая самодеятельность? Хорошо, что мы рядом, у Валерки были… А то вязали бы тебя уже, мудака, а отряд потом Централ штурмовать должен?!

А ты знаешь, что Поручику вообще запрещено принимать участие в акциях? А?! Ты знаешь, что он у нас совсем не для того, чтобы с автоматом перед ПМГ прыгать?

— А хера ж, Поручик не человек, что ли? Очень даже славно смотрелся, как в кино про Чикаго 30-х! Даже чуть было на «шпагат» не сел, точно как в кино… — пробурчал виновато Джефф. Все дружно загоготали, начиная расслабляться.

— Ладно, — примирительно пробурчал Мурашов, — пусть с тобой Питон разбор полетов проводит. Только я — за что должен звиздюлей получать?

— А чего сразу Питон? — забеспокоился Игорь и даже заерзал на сиденье. — Чего Питону-то? Уж лучше пусть Бровкин вздрючит или там даже Чеслав… Че Питон-то сразу?

— А это ты у него и спросишь, — ехидно подначил Кабан, расслабленно убрав одну руку с баранки и делая ею вошедший недавно в моду неприличный жест из американских фильмов в сторону поста ГАИ на выезде с развязки Вецмилгравского моста. — Я давно заметил: что Питон, что наш взводный как-то очень трепетно относятся к тому, чтобы нашего интер-фронтовского друга случайно не продырявили. Наверное, они Поручика на десерт держат, сами хотят слопать на сладкое. Уй, е-е-е. — Сидящий сзади водителя Мурашов резко и, видимо, очень больно отвесил толстому британцу затылку Кабана «пиявку» своими железными пальцами — аж машину занесло.

— Болтаешь много, испугался, что ли? — строго спросил старлей, и все тут же примолкли, поняв, что товарищеская беседа кончилась и начался разговор по уставу.

На подъезде к базе, как всегда, неподалеку от конечной 2-го автобуса, на изгибе узкого шоссе, стояли нагло, притершись к обочине, две латышские «Волги» в гаишной раскраске — пасли омоновцев, выезжающих с Атлантияс, и передавали потом их по рации «наружке». Неторопливо прущий позади нашей машины БТР вдруг плавно вильнул вправо и буквально снес зеркала надоедливым соглядатаям. Раздался треск, звон, морды сидящих в «Волгах» латышей перекосились от страха, но веселая картинка уже исчезла за поворотом, а впереди показалась родная грунтовка, ведущая к воротам базы. Уже темнело. Кабан врубил фары, ярко осветив шлагбаум и тут же резко остановил машину, так что все чудом носы не разбили. Сзади недовольно рыкнул дизелем и вдруг тоже встал как вкопанный сопровождавший нас бронетранспортер. Более того, БТР осторожненько стал сдавать назад, как бы выискивая более удобную для стрельбы по базе позицию.

— Они что, офуели вконец, что ли? — насторожился Толян. — Ты чего встал?! — заорал он Кабану, мощный затылок которого не позволял ему рассмотреть, что творится у шлагбаума.

Из БТРа тем временем горохом посыпались в кювет «дельтовцы», занимая круговую оборону, сразу изготовившись «к бою». Нервно дернулся — вверх-вниз — пулемет на башне бронетранспортера. Я машинально снял предохранитель лежавшего на коленях автомата.

Кабан торопливо зачастил, опомнившись:

— Мужики, за шлагбаумом не наши люди! Форма не та, люди не те, да еще в касках.

И на котельной никого нет!

— Точно! — пригляделся наконец и Толян. Он попытался было вызвать «Дубровку» по рации, но на привычной частоте

кроме треска помех никто не отозвался.

— Все к машине, быстро! Мордой в землю, жопы не поднимать, оружие к бою!

Так, в томительном молчании, прошло несколько минут. Потом от шлагбаума, все еще ярко освещенного с нашей стороны — Кабан не выключил фары, ослепляя возможного противника, — отделилась высокая сухая фигура в камуфляже и черном берете. По скользящей, как бы летящей над щебенкой походке мы сразу узнали майора Чехова. Однако вставать и убирать оружие никто даже и не подумал. Подумаешь, Чехов! А вдруг его сзади пулеметчик или снайпер стволом провожает, чтобы не дергался?

Питон все это понимал, поэтому длинным привидением прошествовал прямо к нам и насмешливо сказал, оглядывая нацеленное на него оружие:

— Отставить расстрел командного состава! Рано, голуби, командиров убивать, мы еще пригодиться можем!

Я первым поднялся неловко с земли, машинально отряхнул колени от пыли и протянул руку:

— Ладно, погодим стреляться! Только, чур, я секундант, а уж вы тут между собой дуэлируйте сколько угодно.

— Товарищ майор! — К нам подбежал старший группы «дельтовцев».

— Все в порядке, заезжайте на базу. Там все узнаете, — приказал майор.

В Ленкомнате яблоку некуда было упасть, сейчас здесь собрался, кажется, весь отряд. Все стояли, сидя было бы не поместиться, да и стульев не было. Все, затаив дыхание, слушали Млынника, тихий, домашний голос которого был, тем не менее, отчетливо слышен каждому.

Командир говорил о том, что всем нам пришлось пережить. О том, что мы сражались до конца и не проиграли. Победа еще впереди, сейчас главное — не потерпеть поражение. Отряду за эту неделю предлагали многое. Рижский ОМОН в полном составе и с семьями готовы были забрать к себе несколько государств — от ЮАР до Азербайджана. Эти варианты обсуждались на общих собраниях — никто не захотел становиться чьей-то личной гвардией, никто не захотел превращаться в наемников у англосаксов. Отряд был готов погибнуть, но не сдаться и с честью выдержал осаду латышской милицией, угрозы уничтожения со стороны армии, не поддался на многочисленные провокации, в том числе и против семей омоновцев. Мы не потеряли ни одного бойца — и это главное. Потому что впереди у нас еще много боев и каждый человек — на счету.

Ситуация сложная, говорил командир, но сегодня мы

достигли наконец более-менее приемлемого соглашения. И сейчас всем нам, всему личному составу Рижского ОМОНа, всем прикомандированным, всем членам семей, которые находятся здесь, всем вместе нам нужно решить окончательно — соглашаться ли на предложение, поступившее со стороны МВД Российской Федерации и правительства Латвийской Республики. В маленьком помещении стало еще тише.

— Правительство Годманиса специальным постановлением, подписанным высшим руководством Латвийской Республики, гарантирует всем сотрудникам Рижского ОМОНа и членам их семей полную судебную неприкосновенность и обещает не преследовать их далее в том случае, если они останутся проживать на территории Латвии. В то же время, по договоренности с правительством Латвийской Республики, МВД РФ предлагает Рижскому отряду особого назначения 42-й дивизии внутренних войск МВД СССР в полном составе, без расформирования, с сохранением оружия и воинской чести передислоцироваться на территорию Российской Федерации для дальнейшего продолжения службы в Управлении внутренних дел Тюменской области, в городе Тюмень.

Тишина постояла, раскачиваясь, и вдруг взорвалась вопросами: а семьи? Жилье? Сроки? А что будет с теми, кто не захочет ехать в Сибирь? Сохранят ли отряд в том же составе? И главный вопрос — можно ли доверять этому соглашению?

В конце концов выяснили главное — весь отряд со всем имуществом, оружием, автотранспортом, кто желает, сразу с семьями, улетает из Риги 31 августа на специально предоставленных для этой цели военно-транспортных самолетах Ил-76.

Количество бортов — достаточное, чтобы забрать всех и все. Отряд будет сохранен полностью и будет выполнять ту же задачу, что и раньше в Риге, до переподчинения в связи с известными всем событиями внутренним войскам. Никакой больше политики, только борьба с преступностью в России. Квартиры будут предоставляться в порядке очереди. Сначала — наиболее нуждающимся. Семьи могут ехать сразу, могут переезжать постепенно, правительство ЛР гарантирует их неприкосновенность.

— Могу ли я подписывать это соглашение от имени всего отряда? — тихо спросил наконец Чеслав. — Кто «за», поднимите руки.

Тяжелый вздох пронесся по залу, потом, одна за другой, стали подниматься руки.

— Подавляющее большинство, — констатировал Чеслав.

Выражение его лица так и не изменилось ни разу за те полчаса, которые длилось собрание. — Командиры взводов к начальнику штаба. Остальные могут разойтись. Минуту! — Чеслав провел ладонью по пышной, ровной щеточке усов и деликатно кашлянул.

— Товарищи! Я всех очень прошу — давайте оставим базу в полном порядке. Мы все заберем отсюда, все, до последнего гвоздика, мы заберем даже котов и собак, но мы оставим помещения базы и всю территорию в идеальном порядке. Потому что мы — другие! Будет идти погрузка на машины, не ходите по газонам. Трава — живая, ей больно! Помните, мы уходим непобежденными, и мы еще обязательно вернемся.

Охрану базы, согласно соглашению, приняли на себя расквартированные в Риге бойцы военно-милицейского полка МВД СССР — срочники. Латыши обязались не приближаться к территории базы и не препятствовать омоновцам передвигаться по городу, чтобы собраться в дорогу.

Вот потому мы и не увидели своих привычных постов, возвращаясь на базу вечером.

Все кончилось. И Трегубов зря сейчас копает в лесу у моря тайник для нашей закладки с оружием. И мы остались живы. И флаг Латвийской ССР по-прежнему развевается на мачте над базой как символ непокоренного Рижского ОМОНа — единственного во всем Союзе воинского подразделения даже *после* 21 августа 1991 года, с оружием в руках выступившего против нового порядка в нашей родной стране. Мы выполнили свою воинскую присягу. Всеобщая ненависть и презрение трудящихся и суровая кара советского закона не падут на наши головы.

Нас еще буду судить — и не раз. Но единственное, в чем мы виновны, — это в том, что мы защищали Родину. Пройдет совсем немного времени, и защиту Родины назовут изменой. Предатели сделают карьеру, Родину распродадут по кусочкам, народ превратят в голодный электорат. Но мы к этому не имеем отношения. Наша совесть чиста. Сделанное — не может стать несделанным.

«Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды. Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным, воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы, и приказы, командиров и начальников.

Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным, своему народу, своей Советской Родине и Советскому

правительству.

Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины. — Союза Советских Социалистических Республик, и, как воин Вооруженных Сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами.

Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет, суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

— Наливай!

База гудела. То огромное напряжение, которое висело на каждом из нас на протяжении года, не меньше, начало спадать. Странное ощущение. С одной стороны — крушение всего. С другой стороны мы вышли из этого позорища непокоренными. Мы выжили, хотя уже не мечтали об этом. Но. То один, то другой боец вдруг замолкал, выпив очередные сто с прицепом, и произносил другу: «А все же лучше было бы принять бой!»

Все кончилось. Но у каждого, почему-то, засело занозой в сердце искреннее сожаление о том, что латыши все же не решились на штурм. Напряжение требовало выхода. А последнего боя так и не случилось. Враг снова сдался. И что ты будешь делать?!

Скоро, очень скоро многие поймут, что им делать. И никуда не уйдут от боя. И для многих он не будет последним. А для некоторых станет… Но это будет потом.

А сейчас нас ждала Родина — Россия. Родина, в последний момент передумавшая сметать нас в пыль ракетами «воздух—земля». Родина, готовая принять нас хотя бы в Сибири.

Мы с Толяном решили все же заехать к Сашке Боготину в райотдел. Наш старый друг, сведший когда меня и Толика вместе, мой бывший сокурсник, сидел у себя в кабинете на первом этаже потемневшего кирпичного дома на улице Горького и листал толстое «дело», из которого так и сыпались неподшитые еще листы.

Мы вышли на улицу, встали под уже начинавшим краснеть огромным старым кленом.

— Полетишь с нами?

Сашка опустил голову, пошмыгал носом туда-сюда, а потом и вовсе отвернулся, глядя с тоской на первые опавшие листья в глубокой темной луже.

— Вот прямо так, в чем есть. Бери пистолет из сейфа, вместо него положи рапорт и садись к нам в машину. Заедем к тебе домой, соберем вещи на первое время, объясним все Аленке… А

она потом к тебе прилетит!

— Не прилетит, — помотал головой Сашкец.

— Ну так все равно разведетесь. Чего тебе здесь терять? Латышского ты не знаешь. раз-другой поймают на пьянке и выгонят вон. И что ты здесь, в Лабусятии, будешь делать?

— Опергруппа, на выезд! — громко выкрикнул выбежавший на крыльцо дежурный.

Сашка оглянулся, торопливо пожал нам руки и сгорбившись метнулся к подъехавшему к райотделу «уазику».

Мы с Толяном переглянулись и понимающе вздохнули оба.

— Домой?

— Домой!

Впервые за последние десять дней я ночевал дома. Так привычно стрекотала секундная стрелка кварцевых часов над головой. Так уютно сопела во сне Алла. Дочка в другом конце комнаты, в своем закутке, то и дело ворочалась, стягивала с себя одеяло — жарко ей было. Бегемот навалился мне на грудь и тихо мурлыкал, слегка царапая когтями плечо. Луч фонаря падал через окно на золотые корешки книг, играл, раскачиваясь, светом, причудливые тени бегали по потолку.

Вечером ненадолго приезжали родители. Говорить особо было не о чем. Мать не плакала, она только смотрела на меня все время с сожалением и повторяла одно и тоже — учился бы дальше, пошел в аспирантуру, стал бы человеком. Отец вздыхал, он хорошо представлял себе, чем на самом деле может кончиться наша «передислокация».

— Оружие не сдавайте, пока не прилетите на место. Да и там не торопитесь.

— Да, пап, конечно, папа.

— За своих не бойся, пока мы здесь, с ними все будет в порядке.

— Я знаю, папа.

— Хорошо, что я уже уволился. До перестройки…

— Да, отец.

— Если все будет. в порядке, поскорей забирай Аллу с Ксюшей в Россию. А мы тогда к Юре во Владивосток переберемся.

— Если будет, папа.

— Ты не пей там, сынок, ведь новое место, новые люди.

— Конечно, мама.

— Смотри там.

— Мы еще увидимся, езжайте, поздно уже.

Толян утром заехал за мной на такси. Алла вышла меня проводить. Увидев ее, Толик выскочил из машины, поцеловал в щеку.

— Я за ним присмотрю, ты не бойся!

— Сам не пропади.

— Как только будет какая-то ясность, сразу вас вызовем!

— Мы будем собираться. Ксения вчера уже искала по карте Тюмень…

— Везде люди живут. Ну, до встречи, любимая?

— Берегите себя и держитесь вместе!

— Да нас водой не разольешь!

— Ангела-хранителя в дорогу!

Ангела? Какого ангела? Под майкой на груди что-то непривычно кольнуло. Я засунул руку под рубашку и нащупал крестик, который вчера еще перевесил со шнурка на цепочку. Хлопнула дверь подъезда, такси медленно повернуло на Гауяс, не спеша прошелестело под мелким дождем через липовую аллею и рванулось в сторону Вецмилгрависа.

— Слышь, Толян?

— Чего?

— Ведь только-только батюшка приезжал крестить нас.

— Ну и что?

— Так ведь в тот же день, вечером, все рассосалось.

— На чудеса намекаешь?

— Дурак ты, Толян! А разве все эти самолеты в Тюмень, уносящие нас, как божьих коровок, в Россию, вместе с бронетранспортерами, пулеметами и знаменами, — это разве не чудо?

— Я не знаю, Валерка… Не знаю…

В кубрике остались только кровати, и даже матрасов на них уже не было — все собрано. Вещи мы запихали в микроавтобус, который нам выделили для переезда.

Маленький человечек со стариковским лицом — Ваня Демидов — пил одну за одной и все время приставал ко мне с одним и тем же вопросом: лететь ему в Тюмень или остаться в Риге?

— Ваня, откуда я знаю? Я знаю ровно столько же, сколько и ты. Решай сам!

— Да как же я могу решить? Хоть бы приказали, что ли… — чуть не плакал сержант.

Утром на базу ворвалась запыленная «Волга» с литовскими номерами. На ней к нам прорвались через прозрачную пока границу три офицера Вильнюсского ОМОНа.

Теперь они пили вместе с нами, еще не отойдя от возбуждения ночной опасной дороги, рассказывали, как хреново все у них в Вильнюсе обернулось. Отряд фактически распался. Макутинович пропал, литовцы оборзели. Местный КГБ

приготовил к сдаче Буткявичюсу два грузовика с пулеметами и автоматами, одних РПК — двести пятьдесят штук. так какой-то лейтенант-пограничник, случившийся рядом с отделением солдат, отбил оружие и увез в погранотряд. А вы? А у нас…

Я пишу фрагментарно. Вспоминать тяжело. Да и не все до сих пор еще можно себе позволить вспомнить. Люди — живы. Некоторые до сих пор в международном розыске. Аресты продолжаются до сих пор.

А еще — постоянное ощущение, что я опаздываю. Куда? Уже весна. Я в России. На дворе 2008-й, страшно подумать, год!

Я давно никому не нужен и не интересен. Доживаю свое. Но откуда же это чувство?..

Трегубов приехал, привез две огромные сумки, припорошенные песком. Как и доволок, не побоялся. Достали из сумок водку, консервы. Усадили Палыча с нами за стол. Тот просится — возьмите меня с собой! И ведь всерьез просится! Ну куда мы его возьмем? Списки отряда уже поданы латышской и российской сторонам. Туда внесены все, кто улетает, пофамильно, с адресами жительства в Риге, с номерами паспортов и служебных удостоверений. Литовцы, правда, с нами летят. И два офицера армейского спецназа, которые перешли к нам еще 22 августа, — тоже летят. Хотя не верится мне, что их не заберут обратно. Круто мясорубка проворачивает всех, кто в армии поддержал ГКЧП. И это только начало.

Ночью приезжал Арсен на армейском «уазике». Простились с ним по-человечески, поблагодарили за все. Базу показали. Рыжий, правда, разгуливая с автоматом, случайно нажал курок, и пуля вошла в асфальт прямо между капитанскими ногами. Ему понравилось! Целый сейф загрузили оружием под завязку, закрыли на ключ и отдали на хранение Арсену. Он обещал со временем переправить нам в Россию, военным бортом, когда армию выводить начнут. А ведь и правда, начнут, не задержатся!

Колонна разномастных автомашин вытянулась у ворот базы. Наверное, около тридцати единиц техники, не меньше. «Латвии», милицейские «бобики», грузовики, АТНы, четыре БТРа, «Волги», «Жигули», иномарки. Все забито под завязку.

Мы едем с Толяном и Рыжим в белом «рафике». За рулем, конечно, Рыжий. Рядом с ним — Толян. Я один развалился в салоне, просунув между сидящими впереди мужиками длинный ствол пулемета. За мной все завалено сумками с вещами. Мне жарко, я снял берет, на плече у меня изогнулся дугой взводный котяра по кличке Сидор. Я в таком виде колоритный, меня, с пулеметом и котом на плече, усиленно снимают многочисленные корреспонденты. Я сначала отмахивался и матерился, потом

плюнул — пусть снимают.

Наконец колонна медленно трогается с места. На выезде, у поворота на шоссе, целая толпа людей. Кто-то плачет, кто-то нас проклинает, кто-то вместе с телекамерой чуть не попадает под колеса. И вдруг раздается хлопок, дорогу окутывает синий дым. Какой-то мудак из толпы бросил дымовую шашку. Рыжий, отчаянно матерясь, вслепую выворачивает с нашей грунтовки на асфальт. Колонна потихоньку набирает скорость. Мы едем через Саласпилс, объезжая Ригу, — боятся суки! Над каждой машиной развевается флаг Латвийской ССР, из каждой машины кто-нибудь машет прощально толпе черным беретом. И почти на каждой машине плакат: «Мы вернемся!» Ребята из «Дельты» на серой «Волге» начинают объезжать колонну сбоку, равняясь по очереди с каждой машиной. Поравнялись и с нами. Дюжий сержант протягивает Рыжему литровую бутылку водки и стакан. Тот, руля одной рукой, передает все это Толяну. Толян разливает, мы выпиваем и отдаем бутылку обратно в «Волгу». Сержант машет рукой и нагоняет следующую машину, впереди нас.

Весь отряд пил сутки перед отъездом, но пьяных нет И сейчас не будет. Водка течет как вода, и это не метафора. Это прощание с Ригой.

Вот и аэропорт. Суета, распределение по бортам. На полосе стоят, ожидая очереди на погрузку и взлет, не то двенадцать, не то четырнадцать военно-транспортных Ил-76. Почти целый полк транспортной авиации. Темнеет. Час, другой проходят в нервном ожидании. Наконец и мы идем на посадку. Рыжий — спецназовец все же — резво влетает на микроавтобусе в железное чрево самолета вслед за БТР и как вкопанный встает на свое место. Операторы крепят груз цепями, мы рассаживаемся на откидных скамейках и последний раз вглядываемся через отверстую пасть грузового люка в мигающую огнями далекую панораму Риги. Ее не видно на самом деле за лесом, но каждый убеждает себя, что это именно она.

С визгом включается вспомогательная силовая установка, медленно сдвигаются навстречу друг другу и с лязгом захлопываются наконец огромные створки грузового люка. Падает на свое место вертикальная железная перегородка с сиротливой дверцей посередине. И все. Тяжелый «Ил» долго выруливает, чуть покачиваясь, на взлетку, быстро разгоняется, турбины визжат все сильнее и. глуше. А потом уже воздух, латвийское серое небо, чуть подсвеченное заревом города снизу. Я подхожу к технику, прошусь в штурманскую на минутку. Тот неохотно отодвигается в сторону от прохода в кабину. С верхнего, пилотского, этажа как раз спускается какой-то майор, зависает на трапе и понимающе

кивает мне в сторону штурмана: иди, мол, парень, полюбуйся в последний раз!

Я протискиваюсь вперед к прозрачному колпаку под ногами у штурмана, становлюсь на колени, приникаю к стеклу и минут пять провожаю редкие огоньки внизу. Рига давно уже в стороне. Пора и честь знать. Я, кряхтя, поднимаюсь с коленок и возвращаюсь в грузовой отсек. Толян по-свойски курит у ведра с водой и болтает о чем-то с техниками и операторами. Наверное, рассказывает, сколько тысяч латышей замочил одной левой. Я отстегиваю лавку и укладываюсь спать — лететь еще долго.

Прежде чем забыться, смотрю на часы, стрелка на моих «Командирских» давно перевалила за полночь. Значит, лето кончилось. Уже 1 сентября.

Глава 15

(Из рукописи Иванова)

Ранним утром 1 сентября 1991 года колонна Рижского ОМОНа проследовала из аэропорта через окраины спящей Тюмени за город — в пионерский лагерь МВД «Юный дзержинец». Редкий обыватель, попадавшийся на пути колонны, долгим сонным взглядом провожал диковинное зрелище: длинная вереница разномастных автомобилей, среди которых затесались, рыча дизелями, бронетранспортеры; красные флаги на каждой машине — и это в победившей коммуняк демократической России?! Угрюмые, почерневшие от бессонницы и злости взрослые мужики в камуфляже и черных беретах смотрели тюменцам прямо в глаза, и не каждый сибиряк выдерживал эти прямые взгляды.

— Кто шагает дружно в ряд?

— Пионерский наш отряд!

Архаров с Джеффом на пару разыгрывали одну из любимых своих пантомим. Особенно смешно у них получалось обычно про «мохнатый шмель на душистый хмель» и «про цаплю серую в камыши». Но сегодня просто напрашивалась пионерская тематика.

Стоявшие рядом бойцы покатывались со смеху, глядя на неунывающую парочку. Маленький, жилистый Архаров изображал пионера, а Джефф, конечно, пьяного в дупель пионервожатого.

Рижский ОМОН временно разместился в корпусах пионерского лагеря областного УВД. Сначала, конечно, построение. Сто девять человек личного состава плюс несколько женщин с детьми. Остальные — с полсотни примерно, остались на свой страх и риск в Латвии. Большинство из оставшихся были людьми случайными в отряде или не успели совершить никаких, строго преследуемых латышской прокуратурой, подвигов. Некоторые понадеялись на подписанное Годманисом отпущение грехов. Но те, кто поопытнее и постарше, никаким индульгенциям новой власти не доверяли. Сказать по правде, многие не доверяли и властям новой демократической России. И правильно делали.

Омоновцев хорошо покормили в лагерной столовой, в большом современном спальном корпусе уже застелены были свежим бельем койки в просторных светлых палатах. Офицеры и семейные сержанты расположились в отдельно стоящих деревянных домиках, в которых обычно размещались

пионервожатые и администрация лагеря.

Скидывая тельняшку в новом, блистающем чистотой умывальнике, я снова ощутил непривычное чувство — раскачавшийся на цепочке новенький крестик приятно прикоснулся к солнечному сплетению. Это чувство было новым и волнующим, как будто что-то очень важное значило, несмотря на свою блестящую невесомость. Повинуясь внезапно возникшей мысли, я приподнял крестик и поднес к губам, как когда-то краешек гвардейского знамени полка, в котором принимал воинскую присягу. С наслаждением обливавшийся холодной водой могучий «дельтовец», оказавшийся рядом, которого я смутился, улыбнулся в ответ и подмигнул карим глазом со шрамом над бровью, а потом выпрямился и гордо пошлепал себя по груди, на которой, на одной массивной цепочке, висели и офицерский жетон, и тяжелый серебряный крест.

— На базе крестился? — спросил он меня, не переставая улыбаться, как старому другу.

— Да, совсем недавно, — ответил я, улыбнувшись радостно в ответ.

— Молодец, браток! Запомни, первый год после крещения Господь особенно сильно помогает. — Лейтенант растерся, фыркая, полотенцем, натянул тельник, накинул камуфляжную куртку, тускло блеснувшую защитными звездочками на погонах и, уже выходя из умывальника, хмуро добавил, обернувшись: — А надеяться нам, брат, кроме как на Бога, больше теперь не на кого. — Сказал и ушел.

Через год он подорвется на мине в Абхазии, этот парень.

Я выспался в самолете и потому не стал заваливаться на койку, как безмятежно спящий Толян. Я подошел к большому окну и долго стоял так, глядя на сосны вокруг, на залитую асфальтом площадку для пионерских линеек, уже присыпанную за утро свеженападавшей хвоей; на небо в низких белых облаках, сквозь которые нет-нет да проявится прохладное, совсем по-прибалтийски, солнышко. Как будто и не в Тюмени мы, а где-нибудь в Вецаки, в пионерлагере ПрибВО, подумалось мне. За окном послышался приглушенный стеклом собачий рык. Это рядом с пионерским флагштоком, на котором уже поднял кто-то выцветший красный флаг с бело-голубою волною, мужики мастерили будку для Джона — базовской овчарки. Джон дисциплинированно сидел рядом с флагштоком и только порыкивал чуть недоуменно на новые, непривычные запахи, принесенные свежим ветром.

Я спустился на первый этаж и вышел осмотреться в лагере. Навстречу попались Беккер с Чечавой.

— Поручик, пошли в лес сходим, говорят, там грибов!

— Пошли, — равнодушно пожал я плечами.

Лес оказался сразу за забором. Огромная белоснежная березовая роща спускалась по косогору вниз, к свинцово поблескивавшим водам широкой, с мощным течением реки.

Березы были неправдоподобно белыми — никогда я не видел таких в Латвии. А между ними, в невысокой, уже пожелтевшей траве, сотнями краснели головки грибов. Подберезовики, подосиновики, белые! Хоть косой коси, вот уж действительно. Россия.

Мы не стали ничего собирать, просто побродили между березами и вернулись в лагерь.

У одного из деревянных домиков на крыльце сидела броская молодая брюнетка в спортивном костюме, приятно для глаза обтягивающем стройную фигуру.

Не успел из дома улететь, а уже инстинкты заговорили — удивился я про себя. Инстинкты быстро пропали, подойдя поближе, я узнал жену командира — Риту.

— Не спится, Валера? — Мы никогда не были близко знакомы, но оказалось, что жена Чеслава хорошо помнит, кто есть кто во вверенном мужу отряде.

— В самолете выспался. Брожу вот.

— Кофе хотите?

— Очень хочу!

— А в город со мной съездите? А то Чеслав без свиты отпускать не хочет, а у меня дело важное.

— Конечно, я с удовольствием. Переодеваться надо? — Я был в камуфляже.

— Зачем? Мы же уже в России. Давайте я сварю вам кофе, а пока пьете, быстренько соберусь.

Чеслав был дома. Он заглянул на маленькую кухоньку, протянул мне на ходу руку и тут же ушел. Я пил крепкий вкусный кофе с рижским еще печеньем, слушал, как за тонкой стенкой Рита, собираясь, напевает что-то негромко. А может, и в самом деле все кончилось? Оформлюсь в кадры, хотя бы в аналитическую группу. Будет нормальная служба, дадут рано или поздно квартиру, перевезу Аллу с Ксюшей. Будем ходить за грибами.

Друзей, земляков, товарищей — целый отряд — сотня добрых молодцев. И никаких латышей, эстонцев, литовцев… Русский язык, русские люди.

Рита вышла на кухню в длинной темной юбке, черной кофточке с длинными рукавами и платке, наброшенном на плечи.

— Готов? Тогда поехали.

Поехали мы на нашей белой «Латвии» с неизменным Рыжим за рулем. По дороге все больше молчали, всматриваясь в незнакомые леса, в непривычно раздолбанный, как под бомбежкой, асфальт шоссе. Потом потянулся провинциальный, неухоженный город. Бетонные административные здания вперемежку с избами, лужи, глинистая грязь на тротуарах. Сибирь.

Доехав до центра, уже вполне прилично выглядящего, почти как настоящий город, Рыжий спросил дорогу у попавшегося навстречу старика, и мы свернули опять на окраину. Вскоре среди сосновой рощи показалась маковка церкви.

Я впервые попал в православный храм. Вот ведь дела какие… Крестился уже, а в церкви и не бывал ни разу. Правда, случилось как-то побывать в костеле, в Несвиже, рядом с нашей учебкой, но то — костел. В лютеранской церкви раз побывал на Рождество с подругой-латышкой. А в православном храме, да еще действующем — не был до сих пор ни разу.

Робко вошли мы с Рыжим вслед за повязавшей платок на голову Ритой в храм. Перекрестились у порога три раза, поклонились, все делали, как она. Рита вынула из сумочки длинный список, показала нам — чтобы мы посмотрели, есть ли мы в этом длинном списке имен. Там был весь отряд, вероятно. За некрещеных, кажется, записочки подавать нельзя, но Рита уж как-то сама решила, что правильно, а что нет Пока Рита о чем-то договаривалась со свечницей, мы сами купили свечи, поставили у образов, не понимая, конечно, кому, зная только — зачем. Кроме «Господи, помилуй» и слов-то других у нас не было.

Рита молилась долго, стояла на коленях перед большой иконой, на которой под стеклом было вывешено множество серебряных крестиков, цепочек, колечек. Мы с Рыжим тихо стояли поодаль и думали о своем. Наконец Рита легко, по-девичьи, поднялась с колен и с просветлевшим лицом вышла из храма. Теперь она повеселела, стала расспрашивать нас о семьях, предложила заехать в попавшуюся по дороге пельменную — перекусить. Пельменная оказалась по ценам круче любого рижского ресторана. А из спиртного — только пиво финское — по семнадцать рублей за кружку. Мы крякнули, съели по порции пельменей и отправились обратно в лагерь.

Потянулись будни. Я замкнулся в себе. В отличие от большинства омоновцев у меня сейчас не было никакого конкретного дела. У меня не было ни штатной должности в ОМОНе, ни даже удостоверения. По утрам, пока Бровкин или Парфенов выгоняли ребят на зарядку и кросс, я спокойно отсыпался. Потом бродил по лагерю, беседовал со знакомыми

офицерами о том о сем, потихоньку прощупывая, какое будущее всех нас ждет. Толян запропал куда-то, Питон заперся в своем отдельном домике и колдовал над архивом. Перебирал, переписывал, сжигал еще недавно такие важные бумаги.

Я шел на обед, потом снова отлеживался и все думал, думал и думал. Уже в первый день я скупил в Тюмени все местные газеты и тщательно проработал их с карандашом в руках. Такой мерзости, какая лилась с этих плохо пропечатанных полос, я не предполагал увидеть. Ненависть животная, патологическая какая-то ненависть к своей собственной стране, к русскому народу, к нашему прошлому сочилась из каждой печатной буквы. И это в провинции. А что творилось в Москве и в Питере в эти первые дни — все помнят.

Отряд стали привлекать к патрулированию в городе. Сразу начали возникать конфликты с местной милицией и населением, не привыкшими к строгому соблюдению законности и порядка и жестким методам их наведения. Офицеров начали вызывать по одному в УВД, на комиссию, потом стали таскать и сержантов. Устраивали фактически допрос с пристрастием, а не собеседование. Настроение у людей резко упало. Отряд разделился на безудержных оптимистов, особенно это касалось тех, кто привез с собой семьи и кому деваться просто было больше некуда, и на яростных пессимистов — заранее решивших, что с *такой* Россией, как ельцинская, им не по пути и что война далеко не кончилась.

Объявился внезапно в лагере старший лейтенант Кузьмин. В августе он был в отпуске — на Украине и только теперь догнал отряд в Тюмени. Прилетел совершенно больной, простуженный. Устроился с нами в одной комнате, и я его долго лечил от бронхита народными средствами да натирал вьетнамским бальзамом «Звездочка». Как ни странно, бывший борец не подкачал и быстро пошел на поправку. А там и Мурашов вернулся. Да не один, с Гришей — оперативником из угрозыска. Я знал, что Гриша был помощником подполковников Гончаренко и Антюфеева — кураторов Рижского ОМОНа со стороны МВД СССР. И для меня только теперь стала потихоньку проясняться картина смутных подводных течений, происходящих в отряде. Да и то — зачем, собственно, утащил меня Питон с собой в эту дыру под таежными соснами.

Но виду я не подавал. Я и сам не хотел возвращаться в Латвию. Злоба не проходила, ненависть не остывала — хотелось действия. Я продал сержанту-меломану из 2-го взвода свой кассетник, кликнул Толяна, мы поехали в Тюмень и купили водки.

Не успели, вернувшись, войти на территорию лагеря, как в одном из деревянных домиков прогремел выстрел, зазвенело разбитое стекло. Мы первые подбежали к разбитому вдребезги окну, из которого озадаченно выглядывал с карабином в руках начальник штаба Парфенов.

— Все в порядке, мужики! — смущенно крикнул он нам через окно. — Карабин вот чистил.

Мы пожали плечами, не делать же Сергею замечание по поводу неосторожного обращения с оружием, и направились к Питону. Чехов обрадовался нашему приходу, тут же накрыл немудреный «стол» на табуретке, и мы начали разговаривать. Две пол-литры ушли на разговор, но это того стоило. Как оказалось, майор уже предупреждал Парфена и других офицеров, что Россия не оставит нас в покое и начнет выдавать латышам. Серега не верил: «Россия? Нас? Латышам? Да ты с ума сошел, Чехов, пора менять профессию…» Между тем дела были нерадужными. Отряд сохранили, вывели из Риги без потерь, теперь пора было определяться с дальнейшими действиями.

То, что самоотверженной борьбой с тюменской оргпреступностью дело не ограничится, я понял давно. Ну а Чехов с Толяном и, наверняка, Млынник тоже уже перед выводом отряда из Латвии приняли твердое решение, как бы это выразиться помягче, не останавливаться на достигнутом.

Рижский ОМОН заканчивал свое существование. В Тюмени, несмотря на данные раньше обещания, отряд стали дробить, дело шло к его фактическому уничтожению как боевой единицы. Все изменилось. Время, политический строй, люди… Цели и задачи тоже стали другими. Кто хотел, тот мог попытаться остаться простым тюменским милиционером. Кто хотел, тот мог продолжить борьбу. Кто хотел, тот отправлялся вслед за дикими гусями на юг. Туда, где сухо, солнечно, тепло и кроваво.

А я… я просто не знал, куда себя деть. Родины у меня уже как будто бы не было. В Латвии меня тоже ничего хорошего не ждало. Как оказалось, в России с нашими убеждениями жить теперь будет не легче, чем в Латвии, а даже сложнее. И мы стали на крыло в поисках новой жизни. До кого дотянемся — отомстить. Кому не зазорно — помочь. Если получится — выжить. Вот и вся программа — минимум. Ну а о максимуме речь уже не шла. Никто не даст нам ни работать, ни осесть с семьями в Тюмени. По крайней мере, тем, кто не готов смириться с новой россиянской властью. А мы были еще совсем не готовы.

Из лагеря стали организованно исчезать люди. Писали рапорта, оставляли на подушке и исчезали группами по три, по пять человек. Однажды ночью уехали из Тюмени и мы

Майор Чехов, старший лейтенант Кузьмин и… сержант Иванов. Москва встретила нас неласково. Впрочем, я никогда не любил Москву. Питон поехал к Алкснису, навести кое-какие справки, а мы с Кузей долго болтались по городу, полному спекулянтов, кавказцев, иностранцев и совершенно обнаглевшей милиции. Учитывая тот факт, что у каждого из нас в рюкзаках имелись камуфляж и закутанное в него оружие, мы старались особенно не отсвечивать.

С этого и начались мои странствия по сошедшим с ума просторам бывшего Советского Союза. Кузя, правда, быстро плюнул на все и смотался на Украину. Мы с Питоном сдружились наконец, уже не по-служебному, а по-человечески. Много приключений пришлось нам пережить в эти дни. И искушений тоже. Нас хотели было сначала отправить на Кубу. Но мы отказались и оказались в воюющем Приднестровье. Туда, в Тирасполь, стали стягиваться потихоньку и остальные омоновцы. Мы снова повстречались с Мурашовым, снова объявились Архаров и Рыжий, Джефф и Кожевин.

Мы меняли паспорта, конфликтовали с Гончаренко и Антюфеевым, быстро перехватившими многие властные рычаги в суматошной вольнице Приднестровья.

Мы служили и уходили со службы. Мы устраивали политические перевороты, и нас свергали. Нас били, в нас стреляли, настрелялись досыта и мы Потихоньку судьбы многих омоновцев стали расходиться. Остался в Тирасполе Мурашов, а я, через Одессу, скрываясь от преследования, ускользнул в Москву.

Я помню штаб-квартиру «Памяти» в столице. Мальчиков в черной униформе, овчарок на лестнице. Девушку неземной красоты с сумасшедшими глазами, накрывавшую нам чай на круглом столе у Дим Димыча. Сочный мат, которым Васильев крыл всех вокруг, и его проникновенное: «Вы же офицеры, вы же должны понять!..» И тут же два дорогих билета в СВ на Питер, чтобы убирались куда подальше и не мешали вождю думать о русском народе.

Я помню известных публицистов патриотического толка из «Дня», чай из самовара и серьезные разговоры о том, как бы перебросить нас через границу, в Курдистан под брюхами овец — ведь получилось же это у Одиссея.

Зимой — уже в Питере, Лешка с Хачиком и Тышкевич прятали оказавшегося во всесоюзном розыске моего друга на конспиративных квартирах, доставали нам карточки, подкармливали в самое голодное время.

Мелькали лица политиков и военных, разведчиков и авантюристов, иностранных дипломатов и журналистов; дворцы и

подвалы, голод, безденежье и дармовые кабаки.

В конце концов нам на полном серьезе предложили принять китайское гражданство и вместе с семьями уехать в Поднебесную на вполне престижную и хорошо оплачиваемую работу. Вот только работа эта явно была не в пользу России.

Старые знакомые то и дело попадались на нашем пути. Всем что-то было надо, все что-то требовали или просили о чем-то, чем-то угрожали; все суетились, но тропы, которыми они шли, были «извилистые, кривые и вели к океану смерти». Смерти мы уже не боялись. На лучшее не надеялись. Ненавидеть — устали. Все перебродило в нас, наконец. Самыми опасными людьми, как водится, становились «свои». Ведь «свои» о «своих» всегда слишком много знают. Паранойя охватывала многих. И люди начали гибнуть уже не в бою, а просто из-за кем-то неверно понятого слова.

Так было, и не было в этом ничьей вины, кроме времени перемен.

Зима началась рано в тот год. У Финляндского вокзала, потаптывая в ритм музыке огромными, явно для подледной рыбалки раньше предназначенными валенками, маленький духовой оркестр играл на пронизывающем ветру, бросающем в лица колючую снежную крупу, то «Ламбаду», то «День Победы». Рядом, в огромной стеклянной витрине магазина «Кооператор», чернела толпа. Там без карточек можно было купить колбасу. Я остановился на углу и закурил, согреваясь «Беломором», отбивая сосущее постоянно чувство голода. Оглянулся на витрину у себя за спиной и тут же встретился глазами с молодой женщиной — по виду — учительницей. Она была прилично одета; чуть подкрашенное лицо, бледное от недоедания и огромные карие глаза, смотрящие сквозь меня на заснеженный город, на толпу перед входом в вокзал, на гранитного Ленина на броневичке. В глазах стояли слезы. Женщина не удержалась, купила по совершенно невозможной цене маленький кусок полукопченой колбасы и тут же, в магазине, отвернувшись к витрине от остальных покупателей, стала ее есть. Судорога проходила по ее тонкой красивой шее, когда она откусывала очередной маленький кусок и наслаждалась им, ничего не видя и не слыша вокруг себя. Она смотрела прямо мне в глаза и сквозь меня, и, только чуть не укусив себя за нежные длинные пальцы, в которых не оставалось уже колбасы, она пришла в себя, покраснела и отвернулась.

Мы с другом сидели в пустой, с одним лишь продранным диваном, конспиративной квартире и смотрели маленький переносной телевизор. У нас не было сигарет, у нас не было еды, не было карточек, зато был флакон «Лаврентия Палыча» —

настойки спирта на лавровом листу, купленной за последние деньги в кооперативном ларьке на углу.

Но вскоре мы должны были идти на встречу. Встреча была назначена в пирожковой и вполне возможно, там удалось бы еще и поесть. Коротая время перед выходом, мы включили «600 секунд». Знакомый голос Невзорова мрачным тоном сообщил последнюю новость: только что, в той пирожковой, где у нас была назначена встреча, ударом ножа в спину был убит бывший рижский омоновец Шестаков.

На пару дней ко мне в Питер приехала Алла. Она привезла зимнее пальто, немного еды и немного денег. Она даже не побоялась перевезти через границу мой пистолет с патронами, оставленный у отца. На всякий случай. Она привезла еще письмо от Ксюши, в котором та просила меня скорей возвращаться.

Судьба переменчива. Тюлькин — лидер Российской Рабочей Коммунистической партии принял меня в своем кабинете напротив Смольного. Ничего предложить не смог — ни работы, ни службы, ни прописки. Он просто полез в сейф и вытащил две пачки денег — по тысяче рублей — мне и моему товарищу, находящемуся в розыске и в Латвии, и в России.

К тому времени уже был арестован латышами прямо в Тюмени Парфенов, ускользнул от латышей Млынник, в Тирасполе молдаване захватили Джеффа и Кожевина и тоже передали латышам.

Идти в криминал не хотелось. Воевать уже было не за что. Работы и денег не было.

Вера осталась только в Бога. Надо было искать, для чего жить. Пешкой с автоматом — в руках других пешек — я теперь отказывался быть категорически. Организовывать политические партии в свободной демократической России — был и такой вариант — увольте!

21 декабря мы прямо у телевизора помянули стоя Советский Союз и свою Воинскую присягу Союзу.

Я всю перестройку работал под журналистским прикрытием, мне мало что могло грозить даже в Латвии. Друг был в розыске, и это было надолго. После похорон Союза мы расстались. Больше я никогда его не видел. И не искал. Чтобы ничем не повредить. Майор до сих пор является самым разыскиваемым латышскими спецслужбами человеком. Надеюсь, что Россия, наконец, поумнела и нашла достойное место одному из вернейших своих сыновей. Русскими становятся сегодня, как к Богу приходят — только через страдания.

Я вернулся в Ригу. Я ведь не герой, не спецназовец, не вояка. Я обычный человек.

Я просто — свидетель. Из Интерфронта я официально уволился в июле 91-го года, как раз перед августовскими событиями. С советскими спецслужбами я никогда не был связан. Мое имя в списках Рижского ОМОНа всегда можно объяснить чисто журналистским стремлением написать книгу о горячих событиях конца века. Все остальное — недоказуемо. Да и не было ничего.

Если бы знать давно известное… Но так долог путь. Так труден путь.

От Иоанна святое благовествование, гл.15

12. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.

13. Нет больше той любви, как если кто положит, душу свою за друзей своих.

14. Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.

15. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает, господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам. все, что слышал от Отца Моего.

16. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы, вы. шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам.

17. Сие заповедаю вам, да любите друг друга.

Эпилог

Рукопись Иванова, чем дальше, тем больше становившаяся все более сжатой и отрывистой, на этом заканчивалась. Я долго пытался ее переработать, как-то присоединить к своим материалам. Потом махнул рукой и забросил все вместе на самый верх книжного шкафа в своем кабинете.

Дом соседей уже второй месяц стоял пустой. Распустилась пышно листва, давно зазеленела трава на любовно выращенных Валерием Алексеевичем газонах.

— Косить бы пора, — подумал я как-то, проходя мимо забора.

— Тимофей, иди чай пить, — позвал меня с улицы другой сосед — Миша. После исчезновения Ивановых мы с ним внезапно сдружились.

— Пойдем, — легко согласился я. Свистнула призывно и пронеслась мимо пришедшая из Питера электричка.

— Что-то Марта уже второй день места себе не находит, — озабоченно сказал Миша, разливая кипяток в огромные кружки.

— Может, приболела?

— Нет, здоровенная сука, аж самому завидно, что такого щенка отдал когда-то.

— Ну так ведь все равно тебе досталась.

— Я ее из вольера боюсь выпускать — сразу к Иванову на участок бежит. Один раз калитку даже проломила, не удержишь. А тут снова перестала есть.

— Воет? Может, случилось чего с хозяином, а она чувствует?

— Да, понимаешь, скорее радуется! Носится, как щенок по вольеру, скребется в дверь, лает! Никак в толк не возьму, что сей сон значит. Ты куда уставился?

— Да похоже, сон в руку, Миша! Смотри!

Миша прильнул к окну рядом со мной. Двор Ивановых хорошо просматривался с этой стороны, и мы долго, затаив дыхание, смотрели, как открывает заевший замок железной калитки наш пропавший сосед. Немного похудевший и поседевший, в хорошем летнем костюме, с сумкой для ноутбука через плечо, он ковырял длинным ключом давно не открывавшийся замок и рассеянно улыбался, щурясь на июньское солнце. Калитка все же уступила хозяину. Валерий Алексеевич вошел во двор и неторопливо, оглядываясь во все стороны, пошел по брусчатке дорожки ко входу в дом.

— Марта! — заорал вдруг у меня над ухом Миша. И точно, отогнув мощной грудью край сетки вольера в углу, овчарка, в кровь обдирая шкуру, вырвалась из загородки и огромными

скачками полетела к забору, разделявшему два соседних участка. Как уже было однажды, она всем телом на бегу ударила в деревянную калитку, снесла ее, как бумагу, и не успел даже обернуться срывающий с двери дома печати Иванов, как лапы волкодава уже лежали у него на плечах, а длинный язык пылко вылизывал ему лицо.

Валерий Алексеевич медленно опустился под тяжестью собаки, сел прямо на крылечко и обнял огромную черную голову обезумевшего от радости зверя.

— Непонятка вышла, Тимофей Иванович! — Сосед расхаживал привычно по своему кабинету, открывая нараспашку все окна, двери веранды, подставляя отсыревший дом свежему ветру и яркому солнцу. — Бальзам-чику будешь? Кофе не предлагаю пока, надо насос запускать, включать электричество — Миша перекрыл все, видать, пока меня не было.

— Давай, за встречу! — Я и сам не ожидал, что так искренне обрадуюсь возвращению Иванова. — А где же Катя? С ней все в порядке?

— Лечится. Давно ее уговаривал, да пока все не определилось, здесь, в России — не уговорить было. Отправил в санаторий, в Дагомыс, она давно просилась к теплому морю! Мы же с ней как в 2000 году снова встретились, так и не расставались никогда больше. Первый раз вот. А сам я, как только освободился, сразу сюда, Марту проведать!

— Что значит «освободился»? — насторожился я. — Тебя что, арестовали?

— Да нет, что ты, — рассмеялся Валерий Алексеевич, нашаривая в секции глиняный кувшин с черным рижским бальзамом. — От дел освободился немного. я же говорю — непонятка тогда вышла. Перестарались ребятишки от чрезмерного усердия. А может, решили крутизну свою показать. Ну, их за то усердие не по чину потом крепко выпороли — наука будет.

— Так что ж это было? Миша мне такую историю рассказал, «Фанто-мас» прямо какой-то.

— Да как бы тебе это объяснить, Тимофей Иванович. Сам знаешь, какой у нас в стране поворот происходит. Понадобился я одному старому товарищу, который сейчас большое дело поднимает. Ну, не в одиночку ж ему работать? Вот и вспомнил он обо мне. Да дело было срочное, сам не мог пожаловать — ребятишек своих прислал. А те, вместо того чтобы строго следовать инструкции, решили самодеятельность проявить, проверить, так сказать, мои непосредственные реакции. Вот и вышел небольшой скандал с цирковым маханием «пушками».

Ясно, что, если бы всерьез надо было, спеленали бы меня прямо в постели, я б и проснуться не успел. И даже Марта не помогла бы. Иди сюда, моя маленькая. Ко мне!

Марта улеглась у ног хозяина, перевернулась на спину и по-щенячьи доверчиво подняла вверх все четыре лапы, требуя немедленно почесать ее под мышками. Черную, страшную морду овчарки слегка разрезала белая линия сверкнувших на солнце клыков — Марта улыбалась.

— В общем, сказано было господам, вынувшим меня из равновесия, не выеживаться, а первым делом передать мне вот эту безделушку. — Валерий Алексеевич полез в карман и вытянул на свет Божий ярко блеснувшую начищенной бронзой фигурку маленького питона, туго свившего кольца на чуть подрагивающей широкой ладони соседа.

— Питон?! Тот самый? Я осторожно потянулся к изящной безделушке, взял ее в руку и подивился тяжести маленькой вещицы.

— Тот самый. Валерий Алексеевич подошел к письменному столу, подмигнул мне и одним движением открыл тайничок, хитроумно упрятанный в боковой стойке антикварного чудовища. Там, в углублении красного дерева, затаился двойник питона, которого я сейчас вертел в руках.

— Так это был… Питон.

— Нетрудно догадаться, — снова засмеялся довольно Иванов. — Просто его идиоты отдали мне эту штучку уже в машине, по дороге в аэропорт.

— Невероятно. И что потом?

— А потом пришлось потрудиться! И еще придется. Но это я люблю, честное слово! У русских в России всегда должно быть дело! Этим летом многое должно решиться, Тимофей Иванович. Очень многое!

— Бог в помощь! — Что я еще мог сказать?

В самом начале августа Ивановы внезапно собрались и уехали куда-то, поручив Марту и дом попечению Миши. Обещали к зиме вернуться. Уже сентябрь. Я с восьмого ноль восьмого две тысячи восьмого не выключаю телевизор и не вылезаю из Сети. Теперь многое стало мне понятно в жизни Иванова. Именно теперь. И я больше не считаю его — чужим, не таким как я. Мы оба — русские. Все мы — русские, как оказалось. Я стал узнавать руку Иванова даже в материалах, подписанных псевдонимами и с пристрастным любопытством то и дело нападаю на его след. Скоро зима, Иванов обещал вернуться.

Конец 2007–2008

Рига-Санкт-Петербург-Вырица

Институт Русского зарубежья — автономная некоммерческая организация, созданная в марте 2005 г. с целью совершенствования исследовательской, информационно-аналитической, экспертной и организационной работы государственных и общественных структур Российской Федерации с российскими соотечественниками за рубежом.

К настоящему времени Институт Русского зарубежья стал одной из ведущих российских неправительственных организаций, осуществляющих работу по поддержке российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Осуществляя свою деятельность в рамках Общественной дипломатии, Институт поддерживает прочные связи с общественными организациями зарубежных российских соотечественников, активно сотрудничает с государственными структурами Российской Федерации, курирующими работу с российскими соотечественниками за рубежом.

Институт на регулярной основе проводит научно-практические конференции, экспертные круглые столы, другие общественно-значимые мероприятия, посвященные проблемам положения русского и русскоязычного населения в ближнем и дальнем зарубежье, общественно-политическим процессам на пространстве СНГ и Балтии.

Использование в работе с российскими соотечественниками за рубежом современных информационных технологий является одной из отличительных сторон деятельности Института. Организация активно работает в Интернет-пространстве, поддерживает работу информационно-аналитического портала «Россия и соотечественники» (www.russkie.org). В 2007 г. информационно-аналитический портал «Россия и соотечественники» стал лауреатом Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет («Премия Рунета»), заняв первое место в номинации «Рунет за пределами. Ру». В 2008 г. портал «Россия и соотечественники» был отмечен наградой Евразийского конкурса электронных СМИ «Гуманитарное сотрудничество во имя процветания», учрежденного Комитетом Государственной Думы ФС РФ по безопасности, Некоммерческим партнерством «ИНФОФОРУМ» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

По всем вопросам, связанным с изданием и распространением романа Тимофея Круглова «Виновны в защите Родины, или Русский» обращаться в Институт Русского зарубежья Тел: +7 495 718-84-11 E-mail: info@russkie.org

notes

Примечания

1

Здесь и далее авторство стихов без подписи принадлежит Валерию Иванову.